

В  
Б

ОТЦЫ  
ОСНОВАТЕЛИ

Весь  
БРЭДБЕРИ

ЗОЛОТЫЕ  
ЯБЛОКИ  
СОЛНЦА

Весь

БРЭДБЕРИ

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ  
СОЛНЦА

ОТЦЫ - ОСНОВАТЕЛИ  
SCI-FI FOUNDATION





Весь  
БРЭДБЕРИ

Вось

# БРЭДБЕРИ

КАНУН ВСЕХ СВЯТЫХ  
ОКТЯБРЬСКАЯ СТРАНА  
ЗОЛОТЫЕ ЯВЛОКИ СОЛНЦА

СЕРГЕЙ ГАЛКИН



*Рэй*

# БРЭДБЕРИ

**ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ  
СОЛНЦА**

**Сборник**



**Москва  
2018**

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Coe)-44

Б89

Ray Bradbury

THE HALLOWEEN TREE

Copyright © 1972, renewed 2000 by Ray Bradbury

THE OCTOBER COUNTRY

Copyright © 1955 by Ray Bradbury

THE GOLDEN APPLES OF THE SUN

Copyright © 1953 by Ray Bradbury



Школа перевода  
В. Баскина

Разработка серии А. Саукова

Иллюстрация на обложке В. Еклерис

**Брэдли, Рэй.**

Б89

Золотые яблоки солнца : сборник : [пер. с английского] / Рэй Брэдли. — Москва : Издательство «Э», 2018. — 672 с. — (Отцы-основатели).

ISBN 978-5-699-92953-5

Рэй Брэдли — писатель, чье имя известно миллионам людей во всем мире. Из года в год его книги переиздаются огромными тиражами, читательская любовь, кажется, становится лишь сильнее, а сам он еще при жизни был признан классиком современной литературы.

И все же начало его творческого пути связано именно с фантастикой, с попыткой представить мир будущего и людей, живущих в нем. Какие они? Что их волнует? Насколько они похожи на нас, настоящих?

Во второй том собрания сочинений Рэя Брэдли в культовой серии «Отцы-основатели» вошли роман «Канун Всех Святых» и два авторских сборника рассказов — «Октябрьская страна» и «Золотые яблоки Солнца».

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Coe)-44

© Л. Жданов, наследники, перевод на русский язык, 2017

© М. Ковалева, перевод на русский язык, 2017

© В. Серебряков, перевод на русский язык, 2017

© Н. Гиль, перевод на русский язык, 2017

© М. Молчанов, перевод на русский язык, 2017

© А. Отаян, перевод на русский язык, 2017

© О. Васанг, перевод на русский язык, 2017

© Л. Брылова, С. Сухарев, перевод на русский язык, 2017

© М. Воронежская, перевод на русский язык, 2017

© С. Анисимов, перевод на русский язык, 2017

© М. Пчелинцев, перевод на русский язык, 2017

© Н. Аллуян, перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательство «Э», 2018

ISBN 978-5-699-92953-5

**КАНУН  
ВСЕХ СВЯТЫХ**



Тише-тише!.. Тихо, неслышно. Скользите, крадитесь. А зачем? Почему? Чего ради? Как! Когда? Кто? Где началось, откуда все пошло?

— Так вы не знаете? А? — спрашивает Череп-Да-Кости Смерч, восставая из кучи сухой листвы под Праздничным деревом. — Значит, вы совсем ничего не знаете?

— Ну-у... — отвечает Том-Скелет, — это... не-а.

Было ли это в Древнем Египте, четыре тысячи лет назад, в годовщину великой гибели солнца?

Или — еще за миллион лет до того, у горящего в ночи костра пещерного человека?

Или — в Британии друидов, под ссссссвистящщщщие взмахи косы Самайна?

Или — в колдовской стае, мчась под средневековой Европой — рой за роем, ведьмы, колдуны, колдуньи, дьявольские отродья, нечистая сила?

Или — высоко в небе над спящим Парижем, где ди-ковинные твари превращались в камень и оседали горгульями и химерами на соборе Парижской Богоматери?

Или — в Мексике, на светящихся тысячами свечей кладбищах, полных народу и крохотных сахарных человечков в El Dia Los Muertos — День мертвых?

А может, где-то еще?

Тысячи огненных тыквенных улыбок и вдвое больше тысяч только что прорезанных глаз — они горят, подмигивают, моргают, когда сам Смерч ведет за собой вось-



мерку охотников за сладостями — нет, вообще-то их девять, только куда девался Пифкин? — ведет их за собой то в вихре взметенной листвы, то в полете за воздушным змеем, выше в небо, на ведьмином помеле — чтобы выведать и поведать тайну Праздничного дерева, тайну Кануна всех святых.

И они ее узнают.

— Ну-с, — скажет Смерч в конце странствий, — что это было? Сласти или страсти-мордасти?

— Все вместе! — решили мальчишки.

Сами увидите.

## 1

Это был маленький городок на маленькой речке возле мелкого озера в дальнем уголке одного из штатов Среднего Запада. Не так уж много было кругом деревьев, чтобы городок совсем было не видеть. Зато и домов было не так уж много, чтобы за ними не было видно леса. В городке было полно деревьев. И вдоволь сухой травы и опавшей листвы — ведь на дворе уже стояла осень. И вдоволь заборов, по которым так здорово бегать, и дорожек, чтобы раскатываться по льду, а еще — громадный овраг, чтобы кубарем скатываться вниз или перекликаться с кем-то на то-о-ом берегу. И в городке было полным-полно...

Мальчишек.

И это было под вечер, накануне Дня всех святых.

В домах все двери крепко затворены от сквозняков.

И весь городок залит до краешка негреющим солнцем.

Но вдруг — дня как не бывало.

Откуда ни возьмись выползли из-под каждого дерева ночные тени и все заполонили.

Во всех домах за закрытыми дверьми поднялась кутерма, беготня на носочках, мышинные шорохи, крики шепотом, замелькали летучие огоньки.

За одной такой дверью тринадцатилетний Том Скелтон остановился и прислушался.

Снаружи ветер гнезвился в каждом дереве, подкрадывался по всем дорожкам сразу, незримый, как кошка-невидимка.

Тома Скелтона пробрала дрожь. Всякому ясно, что ветер нынче совсем особенный и темнота необыкновенная — потому что настает Канун всех святых. Кажется, что все вокруг вырезано из мягкого черного бархата или из золотого, из оранжевого бархата. Дымок поднимается из тысяч труб клубами — точь-в-точь как плюмажи на упряжке в похоронной процессии. Из кухонных окон сочится двойной аромат, хорошо различимый: вот свежие тыквы, только что взрезанные, сочные, а вот пироги с тыквенной мякотью.

Крики за запертыми дверьми становились все отчаянней, а тени мальчишек металась за окнами. Еще не натянув до конца свои костюмы, размазывая по щекам жирную краску: вон там горбун, а вон — великан-недомерок. Все еще продолжался штурм и грабеж чердаков, замки сбивали, а древние бабушкины сундуки потрошили в поисках маскарадных нарядов.

Том Скелтон облачился в свой костяной доспех.

Он улыбался во весь рот, прилаживая позвоночник, грудную клетку, коленные чашечки — белые, нашитые на черный бархат.

«Вот повезло-то! — подумал он. — Удачное имя тебе досталось! Том Скелтон! Прямо к празднику! Тебя ведь все дразнят Скелетом! Значит, что тебе лучше всего надеть?»

Костюм Скелета!

Бам! Восемь входных дверей с грохотом захлопнулись.

Восемь мальчишек разом великолепными прыжками преодолели цветочные бордюры, перила, живые изгороди, кусты — и приземлились каждый на своем накрахмаленном морозцем газоне. На всем скаку, на бегу они заворачивались в простыню или поправляли наспех нацепленную маску, натягивали диковинные, как шляпки невиданных грибов, шляпы или парики, орали во все горло вместе с ветром, толкавшим в спину, так что они не-

слись еще быстрее, во всю прыть, — какой славный ветер, ах ты! — выругав страшным мальчишечьим проклятием маску за то, что она съехала, или зацепилась за ухо, или закрыла нос, сразу заполнившись запахом марли и клея, горячим, как собачье дыхание. А может, просто дать волю бьющему через край восторгу — просто быть живым, бежать куда-то в этот вечер, набирая полную грудь воздуха и во все горло вопя, вопя... вопя-а-а-а!

Все восемь мальчишек столкнулись на одном перекрестке.

— А вот и я: Ведьма!

— Обезьяночеловек!

— Скелет! — сказал Том, едва не выпрыгивая от радости из своих костей.

— Горгулья!

— Нищий!

— Сам мистер Смерть!<sup>1</sup>

Блям! Они столкнулись и отлетели как мячики, никак не могли сразу распутаться, разобраться в веселой неразберихе рук и ног, под уличным фонарем. Фонарь на перекрестке раскачивался под ветром, гудя, как соборный колокол. Плиты уличного тротуара превратились в доски пьяного корабля, уходящего из-под ног, то поглощаемые тьмой, то выныривающие на свет.

Каждая маска скрывала мальчишку.

— Ты кто? — ткнул пальцем Том Скелтон.

— Не скажу! Тайна! — крикнула Ведьма петушиным голосом.

Все покатались со смеху.

— А это кто?

— Мумия! — крикнул мальчишка, запеленутый в пожелтевшие от старости тряпки и похожий на сигару, ковыляющую на одном кончике по ночной улице.

— А ты?

---

<sup>1</sup> В английском языке «смерть» — мужского рода.

— Да некогда же! — завопил Некто, Скрытый за Таинственным Облачением из Расписанной Марли. — Сласти или страсти-мордасти!

— Урра-а!

С своим визгом, воплями они неслись, как счастливые бесенята, куда угодно, только не по дорожкам, перелетая через кусты и приземляясь почти на спину перепуганным собакам, которые улепетывали с визгом.

Но вдруг они словно натолкнулись на что-то среди всего этого визга, хохота, лая, на полном скаку — словно гигантская ладонь ночи и ветра — предчувствия беды — накрыла их и остановила.

— Шесть, семь, восемь...

— Не может быть! Считай снова!

— Четыре, пять, шесть...

— Нас должно быть девять! Кого-то нет!

Они принялись друг к другу, как перепуганные зверята.

— Где Пифкин?

Как они догадались? Ведь все они скрывались за масками. И все же... и все же.

Они почуяли, что его с ними нет.

— Пифкин! Да он же тыщу лет не пропускал Канун! Вот ужас-то! Бежим!

Круто развернувшись, они побежали собачьей побегой, рысцей, вдоль по мощенной камнем улице, словно листья, гонимые ураганом.

— Вот его дом!

Они встали как вкопанные. Дом-то и вправду Пифкина, только вот не хватает в окнах тыквенных голов, на крыльце — кукурузных снопов, маловато призраков, глазеющих сквозь темные стекла в самой высокой мансарде.

— Ой, — сказал кто-то, — а вдруг Пифкин заболел?

— Без Пифкина праздник — не праздник!

— Не праздник! — простонали все.



Тут кто-то бросил дикое яблочко в дверь дома. Оно тюкнуло еле слышно — будто кролик лягнул дверь лапкой.

Они стояли и ждали, невесть от чего погрузневшие, как в воду опущенные. Все их мысли были о Пифкине и о празднике, который может превратиться в гнилую тыкву с погасшей свечкой внутри, если только... если Пифкин не выйдет.

Где же ты, Пифкин? Выходи! Спасай наш праздник!

## 2

Почему они ждали, с какой стати их так перепугало отсутствие какого-то маленького мальчишки?

А потому что...

Джо Пифкин был самый замечательный мальчишка на всем свете. Самый мировой парень из всех, кто хоть раз сверзился с дерева или чуть не лопнул со смеху. Самый лучший друг из всех, кто мчался по беговой дорожке, оставляя всех бегущих на милю позади, а потом, оглянувшись, вдруг спотыкался и шлепался на землю, поджидая, пока они с ним поравняются, и вместе, голова в голову, рвал грудью финишную ленточку. Самый славный выдумщик из всех: уж он всегда разведает все дома с привидениями в городе — а их ох как трудно вынюхать! — и всегда позовет ребят пошарить по подвалам, всласть ползать по обвитым плющом кирпичным стенам, покричать в жерла труб и пустить тугие струйки прямо с крыши — накричишься, навопишься, напляшешься, как обезьяна, до упаду.. В тот день, когда Джо Пифкин появился на свет, все бутылки с пепси-колой и шипучим лимонадом во всем мире вышибли пробки и салютовали пенным залпом, а спятившие от радости пчелы роями носились по полям и лесам и всюю жалили почтенных старых дев. На каждый его день рождения озеро в разгаре лета уходило от берегов и набегало обратной волной, полной

мальчишек, которая взмывала вверх, подбрасывая ребятню, и расшибалась в визге и хохоте.

На рассвете, бывало, лежа в постели, слышишь, как птица стучится в окно. Пифкин.

Высовываешься из окна глотнуть прозрачного, как с горного ледника, рассветного воздуха летнего утра.

На газоне, посеребренном росой, кружево кроличьих следов даст тебе знать, что всего мгновение назад не десяток кроликов, а один-единственный кролик выплясывал здесь и выделывал коленца, выписывал кренделя и закладывал виражи от простой, немислимой радости жить, в восторге скакал через изгороди, сшибал перья папоротника, топал по клеверу. Сеть следов напоминала переплетение рельсов на сортировочной станции. Миллион путей и дорожек в траве, но никого не видать. Где...

Пифкин?

Да вот же он, выглядывает, как дикий подсолнух в саду. Его славное круглое лицо светится, встречая солнце. А глаза сверкают, сигналиа, как зеркала по азбуке Морзе:

— Торопись! Вот-вот все кончится!

— Что?

— Этот день! Сия минута! Уже шесть утра! Нырй сюда! Окунись с головой!

Или:

— Да лето же! Не успеешь оглянуться — бах! — и ушло! Давай быстрее!

И он окунался обратно в подсолнухи, чтобы вынырнуть уже в луковицах, сплошняком.

Пифкин, милый ты наш Пифкин, самый настоящий, самый лучший из всех мальчишек.

Прямо непостижимо было, как он ухитрялся так быстро бегать. Его старые кроссовки едва держались. Когда-то белые, они набрались зелени в лесах, которые пришлось пробежать, побурели от прошлогодних осенних пробегов по сжатым полям в сентябре, а смоляные пестринки и разводы усеяли их после рейдов по причалам

и пристаням, где разгружались баржи с углем, желтыми пятнами их украсили беззаботные собаки, и еще были они утыканы щепками и занозами от множества заборов и плетней. Одежда у него была под стать вороньему пугалу, ведь ее по ночам таскали друзья Пифкина — собаки, он им давал поносить, пофорсить — ясно, что все обшлага были изжеваны, а брюки в пыли и протерты на коленках.

А волосы? У него на голове шапкой стояли, шетинясь, как иглы у ежика, топорщась во все стороны, пестрые — каштаново-золотистые — вихры. Уши — чистый персиковый пушок. А руки — на них были словно перчатки из пыли и славного запаха псины, мятных леденцов и ворованных где-то за тридевять земель персиков.

Пифкин. Сгусток скоростей, запахов, фактур, таких разных на ощупь; копия и прообраз всех мальчишек, которые когда-либо мчались во всю прыть, падали, вскакивали и неслись дальше.

За все годы никто и никогда не видел его сидящим на месте. Невозможно было вспомнить, чтобы он просидел в школе, на своем месте, хотя бы час. Он последним прибегал в школу и первым вылетал из дверей, как ракета, под звон последнего звонка.

Пифкин, славный малый Пифкин.

Он умел издавать такие залиvistые вопли, наяривал на губной гармошке и ненавидел девчонок больше, чем все ребята в его уличной команде, вместе взятые.

Это Пифкин, обняв тебя за плечи, нашептывал тебе в ухо про великие дела, ждущие вас в этот день, был твоей опорой и защитой от всего мира.

Пифкин...

Сам Бог старался встать пораньше, только бы увидеть, как Пифкин выскакивает из своего дома, будто апостол на башенных часах. А уж погода всегда стояла отличная везде, где был Пифкин.

Пифкин.

Они толпились перед его домом.

Вот-вот дверь одним махом распахнется.

Пифкин вылетит пулей в россыпи искр и клубях дыма.

И тогда праздник начнется взаправду!

«Выходи, Джо, эй, Пифкин, — шептали они. — Давай выходи!»

### 3

Дверь дома отворилась.

Пифкин вышел на крыльцо.

Не вылетел. Не выскочил. Не вырвался, как из пушки. Вышел.

И пошел по дорожке навстречу друзьям.

Шагом. И без всякой маски! Без маски!

Он шел медленно, будто старик какой-то.

— Пифкин! — заорали они хором, стараясь спугнуть свой испуг.

— Привет, ребята, — сказал Пифкин.

Он был совсем бледный. Пытался улыбнуться, но глаза у него были какие-то странные. Одну руку он прижимал к правому боку, как будто у него там нарывает.

Они все уставились на его руку. Тогда он отнял руку от правого бока.

— Ну что, — сказал он каким-то тусклым голосом. — Готовы в поход?

— Мы-то готовы, а вот ты как? — сказал Том. — Заболел?

— Под праздник? — сказал Пифкин. — Шутишь?

— А где твой костюм?

— Вы идите, я вас догоню.

— Нет, Пифкин, мы лучше подождем, пока ты...

— Ступайте, — еле вымолвил Пифкин, бледный как смерть. Руку он снова прижал к боку.

— У тебя что, живот болит? — спросил Том. — А твои знают?

— Нет-нет, не могу я им сказать! Они... — Слезы брызнули из глаз Пифкина. — Да это пустяки, я же говорю! Идите напрямик к оврагу. К тому дому, ладно? К Дому с привидениями, поняли? Я там буду.

— Клянешься?

— Клянусь. Погодите, увидите, какой у меня костюм!

Мальчишки стали отходить. Уходя, каждый или трогал его за локоть, или легонько стучал в грудь, или нежно касался сжатым кулаком его подбородка, будто бы в драке понарошку.

— Ладно, Пифкин. Раз уж ты обещаешь...

— Обещаю, точно. — Он перестал держаться за бок. Лицо его залилось румянцем, как будто боль отпустила. — А ну, на старт! Внимание! Марш!

Когда Джо Пифкин крикнул «Марш!», они сорвались с места.

Они побежали.

Полквартала они пробежали задом наперед, не сводя глаз с Пифкина, который стоял и махал им рукой.

— Догоняй, Пифкин!

— Догоню-ю! — крикнул он им вслед из дальнего далека. И ночь поглотила его.

Они бежали вперед. А когда снова оглянулись, Пифкина было совсем не видать.

Они хлопали дверьми, кричали: «Сласти или страсти-мордасти!» — и их мешочки из коричневой бумаги уже начали наполняться несусветными вкусами. Они бежали вприпрыжку, а зубы у них увязали в розовой жевательной резинке. Губы у них ярко горели, красные как кровь.

Да вот только все, кто открывал им дверь, были как две капли воды похожи на их собственных родителей — как леденцы, сыпавшиеся с конвейера на конфетной фабрике. Слово ты и вовсе из дому не выходил. Каж-



дое окно, каждая дверь заливали их добротой, как сиропом. А им хотелось услышать рев драконов в подземелье и скрежет подъемных мостов в замках.

Таким образом они, оглядываясь — не идет ли Пифкин? — дошли до самых окраин города, где цивилизация уступала место темноте.

Овраг.

Овраг, в глубине которого таились неисчислимые ночные шорохи, змеились ручьи и речонки чернее чернил, копились сокровища каждой осени, что прокатилась вся в золоте и багрянце — за целую тысячу лет... Эта глубокая трещина в земле порождала мухоморы и поганки, и холодных, как галька, лягушек, и мокриц, и пауков. Там, в черной яме, начинался длинный подземный ход, где сочились отравленные воды, а эхо бесконечно перекликалось, звало: «К нам — к нам — к наммм»; — а уж если ты замешкался, то навеки останешься здесь, навсегда, в шорохе, перестуке, перебежках, перешептываниях, и не вырвешься никогда, ни-ко-гда...

Мальчишки столпились на краю бездны, заглядывая вниз.

Как вдруг Том Скелтон, продрогший до костей в своем скелетном костюме, со свистом втянул воздух сквозь зубы — так свистит сквозняк, ночью, за ширмой в спальне. Он вытянул руку, показывая:

— Эй, вот куда Пифкин велел нам бежать!

И он исчез.

Все смотрели вслед. Они видели, как маленькая фигурка побежала по тропке и нырнула в сто миллионов тонн ночной тьмы, сгустившейся в этой бездонной пропасти, в этом сыром погребе, в чудесной, жуткой глубине оврага.

Они бросились следом, крича во все горло.

Обрыв, где они только что стояли, обезлюдел.

А город остался позади, наслаждаться собственной сладенькой жизнью.

Они мчались вниз на дно оврага быстрой стайкой, с хохотом, толкотней, словно сплошь состояли из локтей и коленок, фыркая и задыхаясь от смеха, и затормозили, налетев друг на друга, когда Том Скелтон встал как вкопанный и показал куда-то вверх, за крутой тропкой.

— Вон там, — прошептал он. — Там стоит единственный дом, который надо навестить в Канун всех святых! Вон!

— Ага! — сказали все.

Потому что он сказал правду. Дом был необыкновенный, старинный, высокий и темный. В нем было, наверное, не меньше тысячи окон, и в каждом мерцали холодные звезды. Казалось, что дом высечен из черного мрамора, а не сложен из бревен, а уж внутри... кто угадает, сколько там комнат и залов, коридоров, чердаков? Чердаки высокие и пониже, на разных уровнях, и с разными потолками — в некоторых накопилось больше пыли, паутины и иссохшей листвы — а может, и золота, насыпанного в тайник, так высоко взмоштившийся в небо, что в целом городе не найдешь приставной лестницы, чтобы дотуда достала.

Дом манил своими башенками, приглашал плотно закрытыми дверьми. Конечно, пиратские корабли — это здорово. Старинные крепости — просто блаженство. Но дом — Дом с привидениями, да еще в Канун всех святых! Восемь мальчишеских сердец колотились от восторга и восхищения.

— Пошли!

Но они уже бросились наперегонки по тропке. Вот они уже стоят перед полуразвалившейся стеной, глядя вверх — выше — еще выше, — где старый высокий дом венчает крыша, похожая на кладбище. Ни дать ни взять — кладбище. Острый гребень крыши, как хребет горы, топорщился какими-то черными костями или же-

лезными прутьями, а трубы, как надгробия, громоздились рядами — трубы, готовые дохнуть дымом из трех дюжин каминов, одетых сажей и таящихся далеко внизу, в загадочном чреве этого драконского дома. Утыканная множеством труб, крыша походила на обширный погост, и каждая труба отмечала место погребения какого-нибудь древнего божества огня или заклинательницы танцующего дыма и пара, властительницы огненных светлячков-искр. Да вот, прямо у них на глазах из четырех дюжин дымоходов вылетело по облачку сажи, и от этого вздоха небо стало еще чернее, а некоторые звезды исчезли из виду.

— Здорово! — сказал Том Скелтон. — Пифкин знал, о чем говорил!

— Здорово! — согласились все.

Они подкрадывались все ближе по дорожке, заросшей бурьяном, к покосившемуся крыльцу.

Том Скелтон, опередив всех, тихонько нащупал толщей скелетной ногой первую ступеньку. У всех прямо дух захватило от такой смелости. Но вот уже плотная кучка ребят, словно одно разгоряченное существо, вскарабкалась на крыльцо, и под ногами скрипуче застонали доски, и всех пробрала дрожь. Каждый в отдельности готов был повернуться и дать стрекача, но повсюду наткнулся на другого — и сзади, и спереди, и по бокам. В потной тесноте эта многоножка двигалась, выпуская, как амеба, то одну, то другую ложноножку наугад, качаясь, пускаясь бегом, пока не остановилась прямо перед входной дверью, высокой, как гроб, только в два раза тоньше.

Они простояли там нескончаемое мгновение; время от времени из общей массы, похожей на громадного паука, высывалась рука, как лапка, пытаясь дотянуться до дверного молотка на этой двери. А тем временем доски деревянного крыльца уходили из-под ног, колыхались под их общей тяжестью, грозя при малейшем нарушении равновесия ухнуть вниз, унося их в бездну, кишашую тараканами. Доски, каждая на своей ноте — до! — ми! —

соль! — тянули свою жуткую песенку под грубыми ботинками, стоило только двинуть ногой. Хватило бы времени и будь это среди дня, уж мальчишки отчебучили бы похоронный марш или скелетную чечетку — кто в силах устоять перед разваленным крыльцом, которое только и ждет, как великанский ксилофон, чтобы по нему хорошенько попрыгали?

Но это им и в голову не пришло.

Генри Хэнк Смит (это был он), кутаясь в черные одеяния Ведьмы, закричал:

— Глядите!

И все воззрились на дверной молоток. Том протянул дрожашую руку, не решаясь притронуться к нему.

— Молоток-Марлей!

— Что-что?

— Да помните, Скрудж и Марлей в «Рождественских повестях»<sup>1</sup>, — прошептал Том.

И вправду: голова на дверном молотке оказалась лицом человека, у которого жутко болят зубы, с подвязанной челюстью, встрепанной шевелюрой, оскаленными зубами и одичалым от боли взглядом. Да, это был Марлей, мертвый, как дверной гвоздь, приятель Скруджа, жилец загробных пределов, осужденный вечно скитаться по земле до тех пор, пока...

— Стучи, — сказал Генри Хэнк.

Том Скелтон взялся за холодную ужасную челюсть старины Марлея, поднял, отпустил. Все вздрогнули от удара!

Весь дом заходил ходуном. Его кости затрещали, застучали друг о друга. Портьеры разверзли зловещие зеницы, так что подслеповатые окна широко раскрыли свои злые глаза.

Том Скелтон, как кошка, перепрыгнул через перила крыльца и посмотрел вверх. На гребне крыши завер-

<sup>1</sup> Произведение Чарлза Диккенса.

телись диковинные флюгера. Двуглавые петухи поворачивались под каждым чихом ветерка. Из двойного водостока, пасти горгульи на западном углу крыши, вылетели одно за другим облака пыли. И долго после того, как чиханье и кряхтенье затихло, а петухи перестали вертеться, по змеящимся водосточным трубам вдоль всего дома шуршали остатки осенних листьев и пыль с паутиной, пока не высыпались на темную траву.

Том быстро повернулся, посмотрел на дрожащие мелкой дрожью оконные стекла. Лунные блики трепетали в стеклах, как стайки напуганных серебристых мальков. Входная дверь дрогнула, ручка сама собой повернулась. Марлей-молоток скорчил рожу, и дверь распалась.

Оттуда дунул такой ветер, что чуть не снес мальчишек с крыльца. Они заорали, вцепились друг в друга.

А потом тьма, затаившаяся в доме, втянула воздух одним вдохом. Ветер понесся вспять в зияющую пасть дверного проема. Он стал засасывать мальчишек, втягивать их, волоча по крыльцу. Им пришлось откинуться назад, чтобы черное, бездонное чрево не заглохло их. Они барахтались, кричали, цеплялись за перила. Но вдруг ветер стих.

В глубине тьмы двигалось что-то темное.

В самом нутре дома, далеко-далеко, кто-то двинулся к двери. Кто бы он ни был, одет он был во все черное — виднелось только расплывчатое бледное лицо, словно плывущее по воздуху.

Недобрая улыбка приблизилась и повисла в воздухе перед ними.

Позади улыбки едва виднелся силуэт высокого человека. Теперь они видели его глаза — зеленые огоньки, как точки в узких обугленных ямках глазниц, глядящие на них в упор.

— Это... — сказал Том. — Э-э... Сласти или страсти?

— Страсти? — ответила из темноты улыбка. — Сласти?



— Да, сэр.

Ветер сыграл где-то в трубе музыкальную фразу, словно на флейте, старую песню о времени, о темноте, о далеких даях. Высокий человек зашелкнул свою улыбку, как перочинный ножик, блеснувший лезвием.

— Никаких сладостей, — сказал он. — Только страсти-мордасти!

И дверь ка-ак хлопнет!

По всему дому прокатился гром, обрушивая лавины пыли.

И снова прах и пыль вырвались из водосточных труб, как спугнутые пушистые кошки.

Открытые окна дохнули пылью. Пыль пыхнула из-под ног у ребят сквозь щели в досках.

Мальчишки смотрели на запертую, крепко захлопнутую входную дверь. Марлей-молоток уже не кривился от боли, а злорадно ухмылялся.

— То есть как это? — спросил Том. — Не сладости, а только страсти-мордасти?

Они отступали за угол дома, с удивлением прислушиваясь к звукам, которые издавал этот дом. Он наполнился несвязным шепотом, писком, скрипом, стонами и ропотом, а ночной ветер старательно доносил до уха мальчишек каждый шорох. Стоило им ступить шаг, как древний дом клонился над ними, еле слышно постанывая.

Они обогнули дальний угол дома и остановились.

Потому что увидели Дерево.

Ничего подобного они не видывали за всю свою жизнь.

Оно выросло посередине широкого двора перед страшным и чудесным домом. Это Дерево достигало в высоту футов сто, не меньше, оно раскинуло выше гребня крыши свою круглую, широкую, многоветвистую крону, сплошь одетую в богатейший наряд из багряных, бурых, желтых осенних листьев.

— Ой, — еле слышно сказал Том. — Смотрите! Там, наверху!..

Потому что Дерево было увешано множеством тыкв, любого размера и формы, всех цветов и оттенков, от тускло-золотистого до ярко-оранжевого.

— Тыквенное дерево, — сказал кто-то.

— Да нет, — сказал Том.

Ветер пролетел среди высоких ветвей и легонько качнул яркие украшения.

— Праздничное дерево, — сказал Том. — Дерево всех святых.

Он нашел верное слово.

## 5

Тыквы на Дереве были не простые. На каждой было вырезано лицо. И ни одно лицо не было похоже на другое. Один глаз был диковиннее другого. Один нос — странноватее другого. И каждый рот кривился собственной, особенной жутковатой улыбкой.

Пожалуй, на этом Дереве было развешано тысяча тыкв, на самой высоте, на каждой веточке. Тысяча улыбок. Тысяча гримас. И дважды по тысяче свежесрезанных глаз глазели, моргали, косились оттуда.

Мальчишки глазели тоже, и у них на глазах произошло чудо.

Тыквенные рожицы стали оживать.

Начиная с нижних ветвей Древа и самых близко висящих тыкв в их сырой коже стали одна за другой вспыхивать свечки. Вон там — и там — и тут — и еще — все дальше, все выше, обегая всю крону: три тыквы тут — семь тыкв повыше — дюжина, кучкой — на той стороне, сотня — пять сотен — тысяча тыкв затеплили свои свечки, иными словами — осветили свои рожицы, огонь засверкал в их квадратных, круглых или диковато

раскосых глазах. Огонь заструился из их зубастых ртов. Из вырезанных в спелой мякоти ушей полетели снопы искр.

И откуда-то донеслись два голоса — а может, три или четыре, они шептали, напевали что-то вроде детской песенки или колыбельной, убаюкивая небо, и время, и землю, усыпляя все вокруг. Жерла водосточных труб выдыхали тончайшую паутинную пыль:

Вот такой высоты, вот такой широты...

Голосок вылетал дымом из высокой трубы:

Вот такой широты, вот такой красоты...  
На Канун всех святых...

Откуда-то из открытых окон летели паутинки:

До небес и до звезд поднялось во весь рост...  
Нет, не видывал ты Древоцудищ таких,  
Как в Канун всех святых!

Свечи мерцали, огоньки трепетали и ярко вспыхивали. Ветер тихим дуновением, влетая в тыквенные рты и вылетая обратно, выпевал протяжную песню:

Прошел и умер старый год, но озаряет небосвод  
Костром из листьев золотых  
Оно во славу всех святых!  
Неси осенний урожай, созвездья свечек зажигай!

Том вдруг почувствовал, как губы у него засуветились, словно мышки, нетерпеливо норовя подхватить песенку:

Свечи сверкают, а звезды горят,  
Опавшие листья летят и шуршат,  
Улыбаются тысячи тыкв с высоты,  
На Канун всех святых!

Вот Ведьма смеется,  
Ухмыляется Кот,  
Там оскалился Зверь,

Хохоча во весь рот,  
И с улыбкою Жнец свою плату берет...  
Здравствуй, День всех святых — Новый год,  
Новый год!

Тому казалось, что изо рта у него змеится дымок:

— День всех святых...

И все мальчишки шепотом вторили:

— Всех святых...

Потом наступила тишина.

И в этой тишине засветились последние свечи на Праздничном дереве — по три, по четыре за раз, образуя гигантское звездное скопление, вплетенное в космы черных веток и сучьев, проглядывающее украдкой сквозь ветви и чеканные сухие листья.

Теперь все Дерево стало единой необъятной многомерной Улыбкой.

Горели все тыквы, все до одной. Вокруг Дерева распространилось теплое дыхание позднего лета. Ребят обволакивал дымок с привкусом копти и свежий запах тыквенной плоти.

— Ух ты, — сказал Том Скелтон.

— Видали местечко, а? — спросил Генри Хэнк, Вельма. — Мало этого дома и типа с разговорами про «страсти-мордасти», тут еще и... Я такого дерева в жизни не видел. Вроде новогодней елки, только куда больше, а тыкв и свечек — видимо-невидимо! Что бы это значило? Что за празднество?

«Празднество!» — донесся откуда-то мощный шепот — то ли из луженных сажей глоток дымовых труб, то ли все окна в доме разом разинулись у них за спиной — вверх-вниз, вверх-вниз, выдыхая вместе с темнотой слово «Празднество!».

— Да-сс... — прошелестел великанский шепот, от которого заметались огоньки в тыквах, — празднество...

Мальчишки так и взвились в воздух, оборачиваясь лицом к дому.

Но дом хранил безмолвие. Окна были закрыты наглухо и до краев налиты лунным светом.

— Кто отстанет — теткой станет! — вдруг завопил Том. Их ждали золотые копны осенней листвы, как тлеющие уголья, как странный клад, несметные богатства.

И мальчишки бросились со всех ног к этой громадной, чудесной куче листвы — сокровищнице осени.

Но в тот момент, когда они уже готовы были нырнуть с головой в шуршащие, роящиеся листья, толкаясь, вопя, крича, сбивая друг друга с ног, вдруг прозвучал какой-то исполинский вдох, словно кто-то огромный заглотнул массу воздуха. Мальчишки взвизгнули, рванулись назад, как будто под ударом невидимого бича.

Потому что над кучей листвы поднималась белая костяная рука, сама по себе.

А за ней, улыбаясь во все зубы, вынырнул до того невидимый белый череп.

И эта манящая, волшебная перина из листьев дуба, тополя и вяза, в которой они так мечтали повозиться, покататься, утонуть с головой, теперь стала для мальчишек страшнее всего на свете. Белая костяная рука парила в воздухе. А белый череп все поднимался и поднимался, качаясь перед ними.

И ребята отшатнулись, налетая друг на друга, забывая дышать, всхлипывая от ужаса, пока не свалились в барахтающуюся кучу-малу, отчаянно стараясь вырваться, цепляясь за траву, норовя удрать.

— Спасите! — кричали они.

— Как же, спасите, — сказал Череп. Раскаты дикого хохота пригвоздили их к месту, а рука, висящая в воздухе — костлявая рука скелета, — протянулась вверх, сграбастала белый оскал черепа и содрала его, как кожуру с апельсина!

Мальчишки только сморгнули за глазницами своих масок. У них и челюсти отвалились, только этого никто не видел.

Из вороха листвы вздымался, как воздушный шар, высоченный человек в черном плаще, он рос и рос все выше. Он рос как дерево. Он выбросил сучья — руки. Он стоял на огненном фоне самого Праздничного дерева, так что его распростертые руки, длинные белые костяные пальцы были словно увешаны гирляндами оранжевых огненных шаров, гроздьями пламенных улыбок. Глаза он зажмурил, заходясь от громоподобного хохота. Из широко разверстого рта вырывался осенний вихрь.

— Никаких сластей, ребятки, нет, никаких сластей! Страсти, ребятки, страсти! Страсти-мордасти!

Они лежали ни живы ни мертвы, ожидая землетрясения. И оно разразилось. Громовой смех великана расшатал и потряс землю. И эта дрожь, пробрав их до самых костей, словно вышибла из них дух. И вырвалась — взрывами смеха!

Мальчишки сидели среди разворошенной кучи листьев вне себя от удивления. Они даже пощупали руками свои маски, ощутили, как теплый воздух толчками вылетает изо рта — они заразились хохотом!

Они подняли глаза на человека в черном, словно стараясь оправдать свое удивление.

— Ну да, ребятки, вот они, вот они, страсти-то! Вы что, позабыли? Да нет, вы ничего и не знали!

И он прислонился к Дереву, все еще покатываясь со смеху, да так, что весь ствол затрясся, вся тысяча тыкв заплясала, а огоньки внутри них запрыгали, обрамляясь дымом.

Отогревшись собственным смехом, мальчишки стали вставать, ошупывая себя — все ли кости целы. Все были целы. Они сгрудились маленькой стайкой под Праздничным деревом в ожидании — потому что поняли, что это всего лишь начало новых, поразительных и чудесных событий.

— Ну и что? — сказал Том Скелтон.

— Что, Том? — сказал человек.

— Том? — загалдели все. — Так это ты?

Том, одетый Скелетом, окаменел.

— Ну, может, Боб или Фред, — да нет, это, должно быть, Ральф, — поспешно вмешался незнакомец.

— Все вместе! — выдохнул Том с явным облегчением, покрепче прилаживая маску.

— Ага, все вместе! — откликнулись все хором.

Человек кивнул, улыбаясь:

— Ну ладно! Теперь вы узнали про Канун всех святых что-то, чего не знали раньше. А как вам понравились мои страсти-мордасти?

— Страсти, да, страсти!

Мальчишки загорелись восторгом. Он словно высушил в их суставах нежные хрящики добродетели и подсыпал щепотку праха, греха и соблазна в их кровь. Они чувляли, как от этой радости, куролесающей внутри, загорелись их глаза, а губы растянулись в улыбке, как у веселых щенят.

— Ну да, точно!

— А вы всегда это устраивали на Канун всех святых? — спросил мальчишка-Ведьма.

— И это, и еще много чего. Однако не пора ли мне представиться? Мое имя — Смерч. Череп-Да-Кости Смерч. Ну, как звучит, ребятки? Звучное имя, не правда ли?

Еще какое звучное, подумали мальчишки, еще как звучит, ого!

Смерч!

— Благодарное имя, красивое имя, — сказал мистер Смерч, придавая голосу гулкий, загробный тон погребального колокола. — И прекрасная ночь. И вся темная, таинственная, бурная и древняя история Кануна всех святых изготавилась проглотить нас живьем!

— Проглотить?

— Да! — воскликнул Смерч. — Ребята, посмотрите-ка на себя. Вот ты, паренек, почему ты нацепил маску

Череп? А ты, мальчик, тащишь с собой косу, а ты вырядился Ведьмой? А ты, и ты, и ты! — Он тыкал костлявым пальцем в каждого ряженого. — Что, не знаете? Просто напялили эти маски, натянули старые, пропахшие нафталином костюмы и пошли куролесить, но по правде-то вы ничего не знаете, так?

— Ну... — протянул Том, робкий, как мышка, за белой маской черепа. — Вообще-то... не знаем.

— Да-а... — сказал мальчишка-Чертенок. — Если подумаешь — чего это я так вырядился?

И он пощупал свой красный плащик, дотронулся до острых резиновых рожек, провел пальцами по отличным вилам.

— А я — вот так, — сказал Призрак, размахивая своим белым просторным похоронным саваном.

И все мальчишки, пораженные и удивленные, трогали свои костюмы и получше прилаживали маски.

— Вот было бы здорово узнать, что к чему, а? — спросил мистер Смерч. — Я вам расскажу! Нет, лучше покажу! **Хватит** бы времени...

— Да сейчас только полседьмого. Канун всех святых даже и не начинался! — сказал Том-в-своих-продувных-косточках.

— Верно! — сказал мистер Смерч. — Ладно, ребятки, за мной!

Он зашагал прочь. Им пришлось бежать за ним.

На краю глубокого, темного, ночного оврага он показал вдаль, за горизонт, за окоем холмов и земли, куда не достигал свет луны, где царил лишь тусклый свет незнакомых звезд. Ветер раздувал его черный плащ, капюшон, покрывавший голову, отодвинулся, и стало видно белое лицо, почти лишенное плоти.

— Вон там, видите, ребятки?

— Что?

— Неведомая Страна. Там, за горизонтом. Смотрите хорошенько, глядите долго, глядите досыта. Устройте себе



пир. Там Прошлое, мальчики, Прошлое. О да, оно полно страшных тайн и темных ужасов. Все, что породило Канун всех святых, схоронено там. Хотите раскопать старые кости, ребятки? Не сдрейфите?

Он обратился к ним горящий взгляд:

— Что такое — Канун всех святых? С чего все пошло? Где началось? Зачем? Чего ради? Ведьмы, кошки, мумии, прах, привидения. Все это там — в той стране, откуда никто не возвращается. Рискнете нырнуть в этот океан тьмы, ребята? Хотите взлететь в черное небо?

Мальчишки проглотили комок, застрявший в горле.

Кто-то пискнул:

— Мы бы рады, да вот Пифкин... Мы обещали ждать Пифкина.

— Ну да, Пифкин нас сюда послал. Мы без него — никуда.

И словно в ответ на их слова на том берегу пропасти раздался слабый крик.

— Эй! Я здесь! — отозвался тонкий голосок.

Они увидели крохотную фигурку с зажженной тыквой в руке, стоящую на дальнем краю оврага.

— Сюда! — закричали все в один голос. — Пифкин! Давай сюда!

— Бегу-у! — донеслось до них. — Расклеился я что-то. Но — раз обещал, надо идти. Ждите!

## 6

Они видели, как он, маленький, бежит вниз по тропинке на склоне оврага.

— Подождите, пожалуйста, подождите... — Голос срывался, дрожал. — Мне совсем плохо... Бежать не могу... Не могу..

— Пифкин! — кричали все, махая ему сверху, с обрыва.

Его фигурка казалась такой маленькой, крохотной, жалкой. Повсюду клубились тени. Метались летучие мыши. Ухали совы. Вороны, чернее ночи, облепляли деревья, как черная листва.

Маленький мальчишка бежал со всех ног с горячей тыквой и вдруг — упал.

— Ох, —дохнул Смерч.

Свечка, горевшая в тыкве, погасла.

— Ох! — простонали все.

— Зажигай свою тыкву, Пиф, зажигай скорей! — крикнул Том.

Ему казалось, что он видит маленькую фигурку, шарящую в черной граве, в непроглядной тьме, старающуюся чиркнуть спичкой. Но в этот короткий миг тьмы ночь вступила в свои права. Над пропастью простерлось необъятное крыло. Хором заухали, захохотали совы. Сотни мышей забегали, юрко шурша среди теней. Где-то случился миллион лилипутских убийств.

— Зажигай тыкву, Пиф!

— Помогите!.. — простонал жалобный голосок.

Тысяча крыльев рванулись в полет. Где-то в небе громадная тварь била крыльями по воздуху, как гулкой барабан.

Облака, как полупрозрачные задники в театре, раздвинулись, открывая небо. Там висела луна, великанский круглый глаз.

Он уставился вниз, на...

На пустую тропинку.

Пифкина нигде не было.

Далеко-далеко, на горизонте, что-то мелькнуло темным лоскутком, заметалось, унеслось прочь с холодным ветром.

— Помогите! По-мо-ги-те... — Голосок заглох.

И все пропало.

— Ох ты, — загробным голосом сказал Смерч. — Плохо дело. Боюсь, что Нечто унесло его с собой.

— Куда, куда? — бормотали мальчишки, у них от холода зуб на зуб не попадал.

— В Неведомую Страну. В то Царство, которое я хотел вам показать... Да только теперь...

— Вы что, хотите сказать, что Это, Оно — или Он — там, в овраге, что это Нечто было — Смерть? Оно схватило Пифкина — и смылось?

— Скорее похитило, я бы сказал, взяло в заложники, может, чтобы получить выкуп, — ответил Смерч.

— А разве Смерть так... делает?

— Случается и так.

— Вот беда... — Том почувствовал, как на глаза навернулись слезы. — Пиф еле бежал, и весь бледный... Пиф, зачем ты сегодня вышел из дому! — крикнул он прямо в небо, но там ничего не было, кроме ветра, несущего облака, как клочки белого руна, ветра, текущего, как прозрачная река.

Они стояли, дрожа, замерзая. Они глядели вслед тому Черному Нечто, которое умыкнуло их друга.

— Ну вот что, — сказал Смерч. — Тем больше резону поторопиться, ребятки. Если мы полетим побыстрей, может, нагоним Пифкина. Словим его славную, сладкую, леденцовую душу. Принесем домой, уложим в постель, закутаем в одеяло, согреем, сохраним его дух. Что скажете, ребята? Хотите разгадать разом две загадки? Разыскать, выручить Пифкина и заодно узнать тайну Кануна всех святых — убить две темные тайны одним верным ударом? А?

Они подумали про Ночь накануне Дня всех святых, когда мириады призраков шатаются по опустевшим дорожкам в холодных порывах ветра и нездешних странных ключьях дыма.

Они подумали про Пифкина, маленького, как Мальчик с пальчик, про живой комочек восхитительного летнего блаженства — и вот его выдернули, как зуб, и утащили в черном вихре, полном паутины, гари и черной золы.

И они почти в один голос ответили: «Да!»

Смерч подскочил. Он бросился бежать. Он осыпал их толчками, тузил кулаками, неистовствовал.

— А ну скорей, бегом по тропе, вверх по склону, вперед по дороге! К заброшенной ферме! Прыгай через забор! Алле-оп!

Они перемахнули через забор и остановились возле амбара, сплошь заклеенного старыми цирковыми афишами, которые ветер раздирал в клочья и трепал уже тридцать, сорок, пятьдесят лет. Все проезжие бродячие цирки оставляли здесь клочки и обрывки яркой мишуры, наслонившиеся дюймов на десять.

— Нам нужен Змей, ребята! Клейте Воздушного Змея! Живей!

## 7

С этими словами мистер Смерч отодрал громадный лоскут со стенки амбара! И бумага затрепетала у него в руке — тигринный глаз! Еще один рывок, лоскут старинного плаката — львиная пасть!

Мальчишкам послышалось в реве ветра львиное рычание, прямо из Африки.

Они заморгали. Они помчались. Они скребли ногтями. Они цеплялись и рвали горстями. Они сдирали полоски, клочки, длинющие свитки звериной плоти; тут клык, там — свирепый глаз, разодранный бок, окровавленный коготь, хвост трубой, прыжок, бросок, рык! Вся стена амбара была как древний цирковой парад, которому крикнули: «Замри!» Они разнесли ее в клочья.

С каждым клочком отрывался коготь, язык, яростный кошачий глаз. А под ними открывался, слой за слоем, кошмарный мир джунглей, захватывающие дух встречи нос к носу с белыми медведями, скачущими во весь опор зебрами, разъяренными прайдами кровожадных львов, носорогами, несущимися в атаку, цепкими горил-

лами, карабкающимися по откосу ночи и переносящимися на сторону восхода. Тысячи диких зверей клубились в схватке, пытаясь высвободиться. Теперь, освобожденные, в горстях, кулаках, охапках у мальчишек, они шелестели и шуршали на осеннем ветру, когда мальчишки неслись взапуски по траве.

И вот Смерч выломал старые колья из забора и сделал грубую крестовину, хребет Змея, скрутил их проволокой и отступил в ожидании приношений — бумаги для Змея: мальчишки швыряли ее горстями, охапками.

И каждый клочок он бросал прямо на остов и, в снопах искр, приваривал намертво своими кремниевыми пальцами.

— Эгей! — в восторге вопили мальчишки. — Эй, глядите!

Никто из них в жизни не видывал ничего подобного, не приходилось им встречать таких людей, как этот Смерч, — он запросто, одним щипком, толчком, шлепком сплавлял зрачок и клык, зуб и оскал, разверстную пасть — с торчащим рысым хвостом! И вся эта масса обрывков сливалась в чудесную единую картину, диковинную загадку-головоломку, изловившую и запечатлевшую звериный мир джунглей, — налетев лавиной, все дикие звери застыли, увязли в клее, запутались в тенетах, но картина все нарастала, наливалась ярким цветом, звуком, узором в свете восходящей луны.

Вот еще один яростный глаз. Еще один хищный коготь. Еще один голодный, алчный оскал. Спятивший шимпанзе. Безумный павиан. Визгливо кричащий стервятник! Мальчишки подбегали, поднося последние осколки кошмара, и вот змей закончен, его древнее тулово лежит готовое, после таинственной сварки, от которой еще дымятся синим дымком кремниевые пальцы. Мистер Смерч прикурил сигару от последней вспышки, вырвавшейся из его большого пальца, и ухмыльнулся. И его ухмылка представила Змея в настоящем свете: это был

Змей-истребитель, свора зверей, таких свирепых и ужасных, что их рев заглушал вой ветра и леденил сердца.

Смерч был доволен, и мальчишки тоже были довольны.

Дело в том, что Змей очень смахивал на...

— Ух ты! — сказал Том, потрясенный. — Птеродактиль!

— Что-что?

— Птеродактили — это такие древние летающие пресмыкающиеся, вымерли миллиард лет назад, и с тех пор их никто не видал, — пояснил мистер Смерч. — Хорошо сказано, малыш. Раз он похож на птеродактиля — значит, это и есть птеродактиль, и он понесет нас по ветру к Пропасту, Погибели, на Край Света или в какое-нибудь другое приятное местечко. А ну-ка, тащите канаты, веревки, бечевки, живей! Дергайте, тащите, несите!

Они сдернули старую бельевую веревку, болтавшуюся между амбаром и заброшенным домом. Добрых девяносто футов отличной веревки притащили они Смерчу, а тот всю ее пропустил через свой кулак, пока она не закурилась жутко зловонным дымом. Он привязал конец к середине громадного Змея, который лежал шевелил плавниками, как заплутавший, вытащенный из воды скат-манта на незнакомом высоком берегу. Он боролся с ветром за свою жизнь. Он трепетал и рвался ввысь, опираясь на восходящие потоки воздуха, но все еще лежал на траве.

Смерч отступил назад, рванул веревку — и вот Змей взлетел!

Он парил над самой землей на конце бельевой веревки, в волнах бьющегося, как немая тварь, ветра, ныряя в одну сторону, бросаясь в другую, внезапно становясь на дыбы, как стена, полная очей, панцирь из зубов, девятый вал рыка и воя.

— Не может подняться, не летит по прямой! Хвост, нам нужен хвост!

Том, будто его кто толкнул, не раздумывая пригнулся и вцепился в пузо Змею. И повис. Змей уравнился. Он начал подниматься.

— Ну да! — крикнул черный человек. — Ну, малый, ты молодец. Ума палата! Будешь хвостом! Все за ним!

И по мере того как Змей величаво всплывал по холодной бурной воздушной стремнине, все мальчишки, один за другим охваченные внезапной прихотью, подхлестнутые причудой, наращивали собой этот хвост. Иными словами, Генри Хэнк, ряженный Ведьмой, ухватился за щиколотки Тома, и теперь у Змея был роскошный хвост из двух мальчишек.

Потом Ральф Бенгстрем, запеленутый в одеяния Мумии, путаясь и спотыкаясь о развевающиеся погребальные пелены, закутанный в свой слоистый гробовой кокон, подковылял поближе, прыгнул и вцепился в щиколотки Генри Хэнка.

Теперь в хвосте было уже трое мальчишек!

— Пойдите! А вот и я! — крикнул Нищий. (На самом-то деле под лохмотьями и грязью скрывался Фред Фрайер.)

Он подпрыгнул, ухватился.

Змей рванулся вверх. И четверо ребят, составлявшие хвост, кричали во весь голос, требуя еще, еще!

И хвост стал еще длинней, когда мальчишка, одетый Обезьяночеловеком, в свою очередь уцепился за щиколотки, а за ним последовал мальчишка, одетый Смертью, прямо с косой — а это было очень опасно!

— Эй, поосторожней там с косой!

Коса упала вниз и улеглась в траве, как оброненная улыбка.

Зато еще двое мальчишек висели, уцепившись за не больно-то чистые щиколотки, и Змей поднимался все выше и выше, унося мальчишку за мальчишкой, пока, вопя и крича, все восемь мальчишек не повисли в воздухе

чудесным извивающимся хвостом, последние были Призрак (на самом деле Джордж Смит) и Уолли Бэбб, выдумщик, вырядившийся Горгульей, как будто только что свалился с крыши собора.

Мальчишки восторженно орали. Змей нырнул и полетел.

— Эге-гей!

У-ух! Змей урчал, как тысячи разных зверьков.

Банниг! Натянутая Змеем веревка гудела на ветру, как струна.

— Тш-ш-ш! — шептали все вместе.

И ветер возносил их все выше, к звездам.

Смерч остался внизу, благоговейно созерцая свое творение, своего Змея, своих мальчишек.

— Подождите! — громко крикнул он.

— Нечего ждать, пора догонять! — заорали мальчишки.

Смерч понесся по траве, подхватил косу. Плащ его забился на ветру, распростерся, как крылья, и он просто-напросто взвился в воздух и — полетел.

## 8

Змей летел.

Мальчишки свисали вниз тонким ящеричьим хвостом: извиваясь, крутясь, скользя, шелкая, как бич.

Они едва не охрипли от восторженного крика. Они вопили от ужаса, и на вдохе, и на выдохе. Они казались на фоне лунного диска летучим восклицательным знаком. Они парили над холмами, долинами, фермами. Они видели свое бегучее отражение в подернутых туманом, налитых лунным светом озерцах, ручейках, речках. Они проносились над кронами старых-престарых деревьев. Рожденный их полетом ветер стряхнул на землю несметные богатства монетного двора целой страны: золотые листья, как новенькие блестящие монетки, сыпа-



лись на черную траву. Мальчишки пролетали над городом и думали: да поглядите же вверх! Вот они мы! Ваши сыновья!

И еще думали: «Вниз, глядите вниз, где-то там наши мамы и папы, братья, сестры, учительницы! Эй, вот мы где! Ну кто-нибудь, гляньте же на нас! А то вы нипочем не поверите!»

Змей в последний раз спикировал, свистя, гудя, громяхая вместе с ветром, проплыл над старым домом и Праздничным деревом, где им повстречался мистер Смерч!

Вверх-вниз, нырок, кувырок, бросок, шепоток!

Взмах состоящего из их тел хвоста заставил тысячу свечей заморгать, затрепетать, язычки пламени зашипели, зашептались, словно заикаясь, стараясь не погаснуть совсем, так что все болтающиеся на ветках тыквы едва не растеряли свои гримасы, улыбки, косые взгляды, полузадутые, полузадушенные коварными тенями. На один удар сердца все Дерево погасло. Но тут же, как только Змей взмыл вверх, Дерево занялось огнем, засветилось тысячей свежевырезанных тыквенных гневных очей, грозных оскалов, гримас и усмешек!

Дом следил всеми своими окнами, черными зеркалами, как Змей улетал все дальше и дальше, пока и мальчишки, и Змей, и сам мистер Смерч не стали маленькими точками на горизонте.

И тогда они поплыли вниз, в глубину Неведомой Страны, в Царство Древней Смерти и Темных Веков и Ужасного Прошлого...

— Куда это мы? — крикнул Том, держась за хвост Змея.

— Да, куда, куда? — крикнули все мальчишки, один за другим, один ниже другого.

— Не куда, а когда! — сказал Смерч, обгоняя их, и его распростертый плащ с капюшоном наполнился лунным ветром и временем. — За две тысячи — считайте! — лет до

Рождества Христова! Пифкин там, он нас ждет! Я его чую! Летим!

И тут луна принялась моргать. Она закрывала глаз, и наставала тьма. Она подмигивала все быстрее, прибывала, убывала, прибывала, опять убывала. Она мелькнула и пропала больше тысячи раз, и в этом мигающем свете земля внизу менялась, потом еще пятьдесят тысяч раз промелькнули так быстро, что глазом не уследишь, даже не видно, когда луна светит, когда гаснет.

И вот луна перестала мигать и застыла в полном покое.

И земля внизу была совсем иная.

— Смотрите, — сказал Смерч, вися над ними в пустом пространстве.

И весь миллион тигровых-львиных-пантерных-леопардовых глаз осеннего Змея глядел вниз, и глаза мальчишек тоже.

И взошло солнце, и осветило...

Египет. Многоводный Нил. Сфинкс. Пирамиды.

— А ну-ка, — сказал Смерч. — Замечаете разницу?

— Уй-ююй! — ахнул Том. — Оно же все новенькое. Только что построено. Значит, мы и вправду улетели во Времени на четыре тысячи лет назад!

И точно, в Египте, раскинувшемся внизу, песок был взаправдашний, древний, а вот камни — только что отесанные. Сфинкс, простерший лапы на золотых песках пустыни, был новехонький, только что высеченный, новорожденное дитя древних гор. Он лежал как колоссальный котенок в спящем, слепом сверкании полуденного солнца. И если бы солнце упало с неба прямо ему в лапы, он стал бы играть им, как огненным клубком.

А пирамиды? Они лежали внизу, как странные детские кубики, новые головоломки, игрушки женщины-львицы по имени Сфинкс.

Змей с гудением понесся вниз, промчался на брею-

шем полете над песчаными барханами, перевалил пирамиду и поплыл, словно его всасывала разинутая пасть гробницы, высеченной в невысокой отвесной скале.

— Эгей, быстрее! — загудел Смерч.

Он размахнулся да как наподдаст Змею! Мальчишек встряхнуло, как гроздь звонких бубенцов.

— Ой, не надо! — завопили они.

Змей покачнулся, стал падать, задержался футах в десяти над барханами и встряхнулся, как бродячий пес, которого донимают блохи.

Мальчишки благополучно приземлились в золотой песок.

Змей рассыпался на тысячи кусочков — глаза, клыки, визг и рычание, рев, слоновый трубный вопль... Гробовая пасть египетской гробницы все вдохнула в себя, и Смерч, хохоча, ворвался следом.

— Мистер Смерч, погодите!

Мальчишки вскочили, побежали, чтобы крикнуть погромче в черный зев гробницы. Потом подняли глаза и увидели, куда их занесло.

Это была Долина Царей, и колоссальные статуи богов громоздились над их головами. Прах струился из их глазниц, как диковинные слезы; слезы из камня и сыпучего песка.

Мальчишки заглянули в темное чрево горы. Как русла пересохших рек, коридоры впадали в глубокие склепы, где лежали спеленутые полотняными пеленами мертвецы. Фонтаны из пыли шуршали и плескались в неведомых глубинах. Мальчишки прислушивались, горя нетерпением. Гробница дышала тошнотворной смесью острого перца, корицы и сотлевшего в пыль верблюжьего навоза. Где-то там спала мумия, покашливала во сне, поправляла бинт, облизывала губы сухим языком и переворачивалась на другой бок, чтобы соснуть еще тысячу-другую лет.

— Мистер Смерч! — позвал Том Скелтон.

Из глубины иссохшей земли донесся бесплотный голос:

— Сссме-е-ерччч...

Что-то выкатилось, вылетело, выпорхнуло из темноты.

Длиннющая полоска полотна, в какое заворачивают мумии, выбилась на солнечный свет.

Словно сама могила высунула древний сухой язык, который лег к ногам мальчишек.

Они усталились на эту полоску полотна. Она была длиной в сотни футов, и если бы они захотели, то смогли бы пойти прямо по ней вниз, все вниз, в таинственные глубины египетской земли.

Том Скелтон, дрожа, осторожно коснулся пальцами ноги пожелтевшей полотняной полоски.

Ветер прилетел из гробницы, шепча:

— Ссскореййй...

— Ну, я пошел, — сказал Том.

И, балансируя на полотне, как на канате, он побрел вниз и скрылся в темноте погребальных покоев.

— Ссспешите-е! — нашептывал ветер, вылетающий из бездны. — Все, все-е. Спускайтесь... Следующий. И следующий. И еще, и еще... Быстро!

Мальчишки сбегали вниз по полотняной тропке, в полном мраке.

— Полюбуйтесь: убийство, мальчики! Убийство!

Колонны, между которыми пробегали мальчишки, вдруг озарились. Роспись дрогнула, ожила.

На каждой колонне пылало золотое солнце.

Только это было солнце с ручками и ножками, туго запеленутое в погребальные свивальники.

— Убийство!

Исчадие тьмы нанесло солнцу сокрушительный удар.

Солнце было убито наповал. Оно погасло.

Мальчишки бежали вслепую, в крошечной тьме.

«Конечно, — подумал Том на бегу, — ясно, что солнце умирает каждый вечер. Засыпая, я думаю — возвратится ли оно? Завтра, наутро, неужели оно таки не взойдет?»

Мальчишки бежали. На колоннах, прямо перед ними, солнце снова возгорелось, как после затмения.

«Вот здорово, — подумал Том. — Так и знал! Оно вошло!»

Но в тот же миг солнце вновь было убито. На каждой колонне, мимо которой они пробегали, солнце гибло осенью и погребалось в ледяной зиме.

«В середине декабря, — думал Том, — мне часто кажется, что солнце никогда, никогда не вернется! Зима воцарится на веки вечные? На этот раз солнце умерло за правду!»

Но когда мальчишки к концу коридора замедлили бег, солнце уже снова возродилось. В пении золотых труб пришла весна. Весь коридор залил свет — чистый, яркий огонь.

Неведомый бог, сверкая, стоял, изображенный на каждой стене, его лицо пылало огнем торжества, золотые лучи струились вокруг.

— Эй, а я знаю, кто он! — задыхаясь, крикнул Генри Хэнк. — Видел в кино, где страшные египетские мумии!

— Озирис! — сказал Том.

— Озирисsss, — донеслось шипение Смерча из глубины гробниц. — Урок Номер Один из исстории Кануна всех святых. Озирис, Сын Неба и Земли, каждую ночь погибает от руки своего брата, Мрака. Озириса убивает осень, его кровная родня — Ночь. Так бывает в разных странах, мальчишки: В каждой стране есть свой праздник смерти, связанный с временами года. Черепа и кости, ребятки, скелеты и призраки. Здесь, в Египте, созерцайте смерть Озириса, царя мертвых. Глядите во все глаза.

И они глядели во все глаза.

Потому что перед ними открылась широкая дыра в стене подземелья, и через это отверстие им была видна деревушка в Древнем Египте, где люди, суетясь в сумерках, выносили еду на глиняных и медных блюдах и ставили на пороги и подоконники.

— Для душишшш, спешашшших домой, — прошептал Смерч из глубины тьмы.

На всех домах теплились гирлянды масляных светильников, и полупрозрачный дымок кружился над ними, как заблудшие души.

Так и казалось, что видишь привидения, пробирающиеся вдоль мощенных камнем улочек.

От солнца, канувшего в бездну на западе, тянулись длинные тени, норовившие ошупью пробраться в дома.

Но парок над горячими блюдами, выставленными на крыльцо, заставлял тени кружиться, трепетать.

Легкий аромат курений и древнего праха долетал до мальчишек, глазающих на этот старинный праздник мертвых, где «сласти» были выставлены не для толпы ряженых, а для бесприютных душ.

— Ух ты, — шептали мальчишки.

О любимые, милье тени родных,  
 Навешайте живых, навешайте живых.  
 Не сбивайтесь с пути, ослепленные тьмой.  
 Возвращайтесь домой, возвращайтесь домой!

Над неяркими светильниками курился дымок.

И тени вступали на крыльцо и, едва касаясь, принимали пищу, дар живых.

Мальчишки увидели, как в одном доме древнюю мумию какого-то прадедушки вынесли из чулана, и посадили на самое почетное место во главе стола, и поставили перед ним угощение. И вся семья, собравшаяся к ужину, поднимала бокалы и пила за мертвого, сидящего с ними, давным-давно превратившегося в горстку праха, в безгласную пыль...



Бинт завертелся, разматываясь, освобождая нос, похожий на клюв древнего ящера, чешуйчатый подбородок и высохший, застывший в улыбке рот, полный сухого праха. Скрещенные руки Смерча упали, освободившись.

— Спасибо, малыш! Свободен! Мало радости — быть спеленутым в сверток, как погребальное подношение Стране Мертвых. Но — тш-ш-ш! Быстро, ребятки, прыгайте в ниши, стойте! Сюда идут! Замрите, умрите!

Мальчишки попрыгали в ниши и застыли, скрестив руки, зажмурился глаза, не дыша, — словно череда маленьких мумий, высеченных из первозданной скалы.

— Тишшше, — шептал Смерч. — Слышу.. Все ближе...

Погребальная процессия.

Толпа плакальщиц, в шелках и золоте, несущих игрушечные парусные кораблики и медные сосуды с едой.

А в середине — гроб с мумией, невесомый, как солнечный зайчик, на плечах шестерых мужчин. А следом — свежезапеленутая мумия, с едва высохшей росписью и в золотой маске, скрывающей лицо.

— Замечайте, ребятки, — еда и игрушки, — прошелестел Смерч. — Они клали в могилу игрушки, ребятки. Чтобы боги собрались поиграть, повозиться, поводить хороводы — и увлечь ребенка в разгаре игр и веселья — в Страну Мертвых. Видите — лодочки, воздушные змеи, скакалки, игрушечные сабли...

— Смотрите-ка, а мумия маленькая! — сказал Ральф, закутанный в свои душные марлевые бинты. — Там мальчишка лет двенадцати! Как я! А золотая маска на этой мальчишковой мумии — на кого она похожа?

— Пифкин! — крикнули все осипшими голосами.

— Тш-ш-ш-ш! — зашипел Смерч.

Процессия остановилась, и великие жрецы озирались вокруг, озаренные скачущими огнями факелов, окруженные мечущимися тенями.



Мальчишки, примостившиеся в высоких нишах, зажмурили глаза, задержали дыхание.

— Ни звука, — комариным писком донесся до ушей Тома голос Смерча. — Ни вздоха...

Снова слышалось треньканье арф.

Процессия поползла дальше.

И среди всего этого золота, игрушек, воздушных змеев для покойников плыла мумия, маленькая, двенадцатилетняя, новехонькая, в золотой маске, как две капли воды похожей на...

...Пифкина!

«Нет, нет, нет, нет, нет!» — взмолился про себя Том.

— Да! — крикнул мышиный голосок, тоненький, отчаянный, полузадушенный, пленный, одичалый. — Это я! Я тут. Под маской. Запеленутый намертво. Не могу шевельнуться. Не могу крикнуть. Не могу выпутаться!

«Пифкин! — подумал Том. — погоди!»

— Не могу! Попался я! — кричал еле слышный голосок из-под расписных свивальников. — Не бросайте меня! Ищите! Встретимся в...

Голос заглох — погребальная процессия завернула за угол и сгнула в черном лабиринте.

— Где тебя искать, Пифкин? — крикнул во тьму Том Скелтон, выскочив из своей ниши. — Где мы встретимся?

Но в этот самый момент Смерч, как подрубленное дерево, рухнул из своей ниши. Бух! — он грянулся об пол.

— Не спеши! — остановил он Тома, глядя на него единственным глазом, похожим на паука, запутавшегося в собственных сетях. — Мы еще успеем спасти старину Пифкина. Тише, как мыши... Скользите, ползайте, ребятки. Тсссс...

Они помогли ему встать на ноги, разматывали несколько бинтов, прокрались на цыпочках по длинному коридору и завернули за угол.

— Божьи коровки! — прошептал Том. — Смотрите! Они кладут мумию Пифкина в гроб, а гроб в этот... как его...

— Саркофаг, — вставил Смерч, знавший это мудреное слово. — Гроб — и еще гроб — и еще один гроб, малыш. Один больше другого, и каждый разрисован иероглифами, рассказами о жизни покойного...

— О жизни Пифкина?

— Ну, того, кем был Пифкин в той жизни, в тот год, четыре тысячи лет тому назад.

— Ага, — прошептал Ральф. — Смотрите — картинки на стенках гроба. Пифкину год от роду. Пифкину пять. Пифкин в десять лет — бежит со всех ног. Пифкин влез на яблоню. Пифкин понарошку тонет в озере. Пифкин забрался в сад с персиками и закатил себе пир. Стойте, а это что такое?

Смерч наблюдал за похоронными хлопотами.

— Они вносят в погребальную камеру разную мебель, чтобы ему было уютно в Стране Мертвых. Лодочки. Змеи. Кубарь с хлыстиком, чтобы вертелся. Свежие фрукты — на случай, если Пифкин проснется сотни лет спустя и захочет перекусить.

— Как не проголодаться! Эй, да что же это? Они уходят! Они закрывают гробницу!

Смерч обхватил Тома и крепко держал, а Том отчаянно рвался у него из рук.

— Они оставили Пифкина там, похоронили? Когда же мы его спасем?

— Успеется. Долгая Ночь вся впереди. Мы увидим Пифкина вновь, не сомневайся. И тогда...

Дверь гробницы со стуком захлопнулась.

Мальчишки подняли крик и вой. В темноте они слышали, как шлепается известковый раствор и шуршит мастеров, замуровывая последние щелочки между камнями, последние зазоры.

Плакальщицы удалились, унося онемевшие арфы.

Ральф стоял в своем костюме Мумии, как оглушенный, глядя вслед уходящим теням.

— Значит, вот почему я вырядился Мумией? — Он

дотронулся до бинтов. Он потрогал свое изборожденное морщинами из папье-маше, древнее лицо. — Значит, вот какую роль я должен играть в Канун всех святых?

— Верно, малыш, верно, — пробормотал Смерч. — Египтяне умели строить на века. Они рассчитывали на десять тысяч лет. Гробницы, ребятки, гробницы. Моги-лы. Мумии. Кости. Смерть, смерть. Смерть была серд-цевинной, зеницей ока, светом, душой и телом их жизни! Гробницы, все новые и новые гробницы с потайными хо-дами, так что никто не мог туда пробраться, чтобы во-ры не подкопались и не унесли души, игрушки, золото. Ты одет Мумией, малыш, потому что так египтяне наря-жались для Вечности. Закутавшись в полотняный кокон, они надеялись выйти на свет прекрасными бабочками, в какой-нибудь дальней, чудесной, полной любви стра-не. Ощупай свой кокон, дружок. Прикоснись к чуду.

— Ух ты, — сказал Ральф-Мумия и заморгал, разгля-дывая подернутые дымкой стены и древние иероглифы. — Выходит, у них каждый день был Канун всех святых!

— Каждый день! — восхищенно ахнули все.

— Каждый день был Кануном всех святых и для этих! — Смерч указывал куда-то пальцем.

Мальчишки обернулись.

В могильном склепе затрепетала как бы зеленая мол-ния. Земля затряслась, полнясь отголоском доисториче-ского землетрясения. Где-то вулкан заворочался во сне, и на стены упал багровый отблеск раскаленного склона.

На стенах вокруг проступили рисунки первобытных людей, живших задолго до древних египтян.

— Ну! — сказал Смерч.

Молния ударила.

Саблезубые тигры пожирали пещерных людей, вопя-щих от ужаса. Их кости тонули в ямах с природным ас-фальтом. Они утопали, завывая.

Смерч сморгнул. Молния разила с небес, поджигая леса. Один обезьяночеловек, удирая, схватил плакающий

сук и ткнул его в пасть саблезубому тигру. Тигр взревел и отскочил. Обезьяночеловек, победно хохоча, швырнул горящий сук в кучу осенней листвы у себя в пещере. Сбежались другие люди, протягивая руки к огню, грелись, насмехаясь над перепуганной желтой тварью, чьи глаза светились в ночи.

— Видали, ребятки? — Отблески пламени плясали на лице Смерча. — Дни Вечного Холода миновали. А все потому, что один из этих смельчаков, изобретатель, запалил листья в пещере зимой.

— А при чем тут Канун всех святых? — спросил Том.

— При чем? Да разрази меня молнией — при всем! Когда ты сам и твои друзья гибнут каждый божий день, как-то недосуг задуматься о смерти, а? Все время в бегах, некогда оглянуться. Но когда наконец ты остановился...

Он коснулся стен. Пещерные люди замерли на бегу.

— Тогда у тебя есть время подумать, откуда ты взялся, куда идешь. Огонь озаряет путь, ребятки. Костры и молнии. Можно созерцать утренние звезды. Костер в родной пещере — твоя защита. Только сидя у ночного костра, пещерный житель, человек-зверь, наконец-то мог спокойно покрутить свои мысли на вертеле, поливая жирком любознательности. Солнце умирало в небе. Зима наступала, как громадный белый медведь, стряхивая с себя лавины снега. Похороненный в снегах, он думал, вернется ли весна в этот мир. Воскреснет ли солнце на будущий год или оно убито навеки? Об этом размышляли египтяне. Пещерный человек задавал этот вопрос за миллионы лет до них. Взойдет ли солнце завтра утром?

— Значит, с этого и начинался Канун всех святых?

— С таких вот долгих размышлений по ночам, ребятки. И всегда все мысли кружились вокруг одного центра — огня. Солнце. Солнце, навеки угасшее в ледяном небе. Представляете, как это ужасало пещерного человека, а? Это же была Великая Смерть. Если солнце погаснет навеки, что с нами будет? Вот почему на исходе осе-

ни, когда все кругом увядало, умирало, обезьяночеловек ворочался во сне и вспоминал своих родичей, погибших в этом году. Духи звали его, голоса звучали у него в голове. Духи и голоса — это просто воспоминания, но пещерные люди об этом не знали. Закрыв глаза, они видели поздней ночью привидения, видения памяти, — духи манили, танцевали, и пещерные люди просыпались, подбрасывали сучья в огонь, тряслись, рыдали. Стаю волков было легче отогнать, чем воспоминания, чем бесплотные души. И они обхватывали грудь руками, молились, чтобы весна поскорее пришла, и, уставясь в огонь, благодарили богов за богатый урожай плодов и орехов. Вот уж это был Канун так Канун! Миллион лет назад, поздней осенью, в пещерах, с роем привидений в голове, навеки распрощавшись с солнцем...

Голос Смерча звучал все глуше.

Он размотал еще метр или два своих погребальных пелен, перекинул их через руку, как рыцарский плащ, и сказал:

— То ли еще увидите. Пошли, мальчики.

И они вышли из катакомб в сумерки древнеегипетского дня.

Великая пирамида стояла перед ними, поджидая.

— Последний на вышке — дядька мартышки! — бросил Смерч.

Дядькой мартышки остался Том.

## 11

Пыхтя и отдуваясь, они добрались до верхушки пирамиды, на которой оказалось, будто поджидая их, громадное увеличительное стекло из хрусталя — подзорная труба, лениво поворачивающаяся от ветра на золотом треножнике, великанский глаз, который умел приближать далекое.

На западе солнце, задушенное облаками, испускавшее дух, закатилось. Смерч подвывал от радости:

— Кануло в бездну, ребятки. Сердце, дух и плоть Кануна всех святых. Само Солнце! Вот Озириса убили сызнова. Там закатился Митра, персидский огненный бог. Упал с небес Аполлон, воплощение света у древних греков. Солнце и пламя, ребятки. Смотрите, моргайте. Загляните в хрустальную подзорную трубу. Поверните ее на Средиземноморское побережье, миль на тысячу ниже. Видите Греческие острова?

— А как же, — откликнулся невзрачный Джордж Смит, одетый в бледные одеяния Призрака. — Города и городишки, улицы, домики. Люди выскакивают на крыльцо, тащат еду!

— Да, — просиял Смерч. — Это их Празднество мертвых: Праздник Горячей пищи. Сласти или страсти по старинке. Не покормишь покойников, они тебе и подстроят какую-нибудь гадость! Вот и выносят им сладости, вкусности — прямо на порог!

В дальней дали, в ласковых сумерках, горячие кушанья исходили ароматным парком, блюда были выставлены для душ, которые неслись легкими клубочками дыма над страной живых. Женщины и ребятишки сновали туда-сюда возле греческих домов, вынося блюда для изобильного пира — сдобренные пряностями, просто слюнки текут!

Потом на всех Греческих островах разом хлопнули двери. Громоподобный стук разнесся на крыльях ночного ветра.

— Храмы запирают, — пояснил Смерч. — В эту ночь все святилища в Греции будут заперты на двойной запор.

— Ой, смотрите! — Ральф — бывшая Мумия — крутанул хрустальную линзу. Яркий зайчик ослепительно сверкнул в глаза сквозь прорези всех масок. — Вон там зачем это люди мажут притолоки дверей черной патокой?

— Смолой, — поправил Смерч. — Черная смола, чтобы духи в нее вляпались, прилипли и не смогли пробраться в дом.

— Да, — сказал Том, — а мы-то с вами об этом не думали?

Тьма кралась вдоль берегов Средиземного моря. Из могил вставали духи, похожие на туман. Души мертвых брели вдоль улиц в саже и черных плюмажах и тут же прилипали к черной смоле, которой были вымазаны все пороги и притолоки. Ветер жаловался и выл, словно оплакивая мучения мертвых, угодивших в ловушку.

— А вон Италия. Рим.

Смерч повернул линзу — стали видны римские кладбища. Люди клали еду на могилы и поспешно уходили.

Ветер хлопал полами плаща, раздувал капюшон Смерча.

Загудел в глотке, в широко разинутом зеве:

Осенний ветер, закружись!  
Рваниць, вернись в ночную высь!  
И унеси меня с собой,  
Как мертвых листьев легкий рой!

Смерч сделал прыжок, антраша в воздухе. Мальчишки завопили от восторга, когда его плащ, платье, волосы, кожа, плоть, кости, сухие, как кукурузные кочерыжки, — все рассыпалось у них на глазах.

Ветер... кружись!  
Рваниць... изменись...

Ветер растрепал его, рассыпал, как конфетти; миллион осенних листьев, золотых, бурых, красных, как кровь, ржаво-рыжих — вскипая, убегая через край, — охапка дубовых и кленовых листьев, лавина листы орешника, листопад, россыпь, шорох, шепот — прямо в темные заводи

небесной реки. Не один воздушный змей — нет, десять тысяч раз по тысяче мельчайших, как хлопья истлевшего праха, его подобий — вот все, что осталось от взорвавшегося, как хлопущка, Смерча.

Мир — крутись! Лист — кружись!  
Трава — под лед! Деревя... в полет!

И с мириад других деревьев в царстве осени летели листья, чтобы схлестнуться в вихре, вздымающем несметные полчища сухих хлопьев, на которые распался Смерч, как на тысячи смерчков и сквознячков, гудящих, как ураган, его голосом: — Ребята, видите костры по всему Средиземноморью? Костры, загорающиеся все дальше на север, по всей Европе? Это костры страха. Факелы праздников. Не прочь поглядеть? Придется взлететь! А ну, разом!

И листья посыпались лавиной на каждого мальчишку, как жуткие порхающие бабочки, вцепились и унесли их с собой. Они пронеслись над египетской пустыней, крича песни и хохоча. Проплыли, заходясь от восторга и страха, над неведомым морем.

— Счастливого Нового года! — крикнул кто-то далеко внизу.

— Счастливого — чего? — переспросил Том.

— Счастливого Нового года! — прошепестел Смерч из вихря сухой листвы. — В стародавние времена Новый год наступал первого ноября. Это и вправду конец лета, начало зимнего ненастья. Не такой уж счастливый, но все же — Счастливый Новый год!

Они промчались над всей Европой и снова увидели внизу воду.

Смерч зашептал:

— Британские острова. Хотите взглянуть на чисто английского, друидского бога мертвых?

— Хотим!



— Тихо, как пушинки одуванчика, мягко, как снежинки, падайте, слетайте вниз, все как один.

Мальчишки слетели.

Их ноги пробили по земле мягкую дробь, как будто кто высыпал большой мешок каштанов.

## 12

Так вот мальчишки, посыпавшиеся на землю градом яркой осенней мишуры, приземлились в таком порядке:

Том Скелтон, облаченный в свои аппетитные косточки.

Генри Хэнк, более или менее сходявший за Ведьму.

Ральф Бенгстрем, распеленутая Мумия; с каждой минутой с него сматывался еще один виток бинта.

Призрак по имени Джордж Смит.

Джи-Джи (другого имени не требовалось) — весьма представительный Обезьяночеловек.

Уолли Бэбб, который уверял, что оделся Горгульей, но все решили, что он больше похож на Квазимодо.

Фред Фрайер ни дать ни взять — Нищий, вывалявшийся в придорожной канаве.

Последний, но вовсе не из последних, Растрепан Ниббли — костюм он соорудил в последнюю минуту, напялив страшную белую маску, а косу стянул у дедушки в сарае.

Когда все мальчишки благополучно опустились на английскую землю, миллиарды осенних листьев осыпались с них и унеслись с ветром.

Они стояли среди необозримого поля пшеницы.

— Держи, мастер Ниббли, я прихватил твою косу. Бери! Хватай!.. Ложись! — вдруг крикнул Смерч. — Друидский бог смерти. Самайн! Ложись ничком!

Они повалились ничком.

И вовремя — гигантская коса широким взмахом неслась к ним с неба. Она рассекала ветер своим острым как бритва лезвием. Со свистом она вспарывала облака. Сносила головы деревьям. Начисто сбрасывала растительность со щеки холма. Подкашивала пшеницу под корень. В воздухе носились и падали колосья — взвихрилась пшеничная пурга.

И с каждым взмахом — косящим, разящим, бредущим — к небесам рвались крики боли, вопли ужаса, предсмертные стоны.

Коса взлетела со свистом.

Мальчишки припали к земле.

— Уух-х! — гикнул великанский голос.

— Мистер Смерч, неужели это вы? — крикнул Том.

Возвышаясь над ними на сорок футов, громоздясь в небе, с великанской косой в руках, стояла колоссальная фигура в плаще с капюшоном, скрывавшим лицо, как полночный туман.

Коса пошла вниз — шшшшссс!

— Мистер Смерч, пощадите нас!

— Молчи. — Кто-то толкнул Тома под локоть. Мистер Смерч лежал на земле рядом с ним. — Это не я. Это...

— Самайн! — прогремел голос из тумана. — Бог мертвых! Я собираю свою жатву, вот так и вот так.

*Сссвись!*

— Здесь все, кто умер в этом году! И все они, за свои грехи, этой ночью превращены в разных тварей!

Шшшшсссухххх!

— Не надо! — захныкал Ральф-Мумия.

Разззззз! Коса со свистом вспорола на спине костюм Растрепы Нибли, оставив длинющую прореху, вышибла у него из рук его жалкую маленькую косу.

— Твари!

Пшеница, подкошенная косой, под ударами ветра, кружась, отвеивала крики потерянных душ, всех тех, кто умер за последние двенадцать месяцев, и они дождем сы-

пались на землю. И стоило им упасть, коснуться земли, как зерна превращались в ослов, кур, змей — они метались, кудахтали, орали. И все они были уменьшены. Все были крохотные, малюсенькие, не больше червяков, не больше мизинцев на ногах, не больше кончика носа, если его срезать. Колосья пшеницы сотнями и тысячами реяли в воздухе и падали вниз пауками, лишенными голоса — они не могли ни плакать, ни кричать, ни просить пощады, — в полном безмолвии они разбегались в траве, лавиной захлестывая мальчишек. Сотня сороконожек на пуантах протанцевала по спине Ральфа. Две сотни пиявок присосались к косе Растрепы Нибли, пока он, страшнув с себя кошмар, не сшиб их одним яростным ударом. Повсюду сыпались ядовитые пауки и мельчайшие удавы.

— Вот вам за грехи! За грехи! Получайте! Вот вам! — гулко грохотал голос в небе, заглушая свист ветра.

Коса блистала. Рассеченный ею ветер рассыпался звонким громом. Пшеница ходила волнами, вместо колосьев вырастали миллионы голов. Головы, отсеченные, падали вниз. Грешники стучали по земле, как камнепад. И, коснувшись земли, превращались в лягушек, в жаб, в несметное множество бородавчатых и чешуйчатых тварей, в медуз, выброшенных на сушу, разящих зловонием.

— Я больше не буду! — взмолился Том Скелтон.

— Не убивай меня! — подхватил Генри Хэнк.

Пришлось крикнуть погромче, потому что коса разила ужасным ревом. Казалось, что девятый вал, поднявшись до неба, обрушился вниз, снес все с берега и откатился назад, чтобы подсесть гряде облаков. Слышалось, как даже облака истово и горячо молятся шепотом, прося пощады. Только не я! Только не меня!

— Это вам за все зло, что вы совершили! — сказал Самайн: И коса взлетала раз за разом, собирая жатву душ, которые падали и обращались в слепых головастика, отвратительных клопов и мерзопакостных тараканов — они

расползались, разбегались, сучили ножками, ползли, корчились, ковыляли.

— Ну и ну! Да он — клопный царь!

— Повелитель блох!

— Прядильщик змей!

— Мушинный заводчик!

— Нет! Самайн! Бог октября. Бог мертвых!

Самайн топнул своей ножищей, придавив тысячу клопов, прятавшихся в траве, растоптал десять тысяч крохотных тварей-душ, барахтавшихся в пыли.

— Сдается мне... — сказал Том, — не пора ли нам...

— Смываться? — перебил Ральф — как видно, это слово давно вертелось у него на языке.

— Проголосуем?

Коса взвизгнула. Самайн неистовствовал.

— Не хватало еще! — сказал Смерч.

Все разом вскочили.

— Эй, вы! — громыхнул над их головами голос Самайна. — Назад!

— Нет, сэр, спасибо, — сказал кто-то и еще кто-то. И — правой-левой! — бросились прочь.

— Сдается мне, — сказал Ральф, задыхаясь, прыгая, удирая, утирая слезы, — что я почти всю жизнь вел себя хорошо. Я не заслужил смерти.

— Аза-xxx! — ухнул Самайн.

Коса упала, как нож гильотины, снесла крону дубу, срубила клен. Целый урожай спелых яблок посыпался где-то в мраморную чашу. Словно полный дом мальчишек разом свалился с лестницы, считая ступеньки.

— По-моему, он не расслышал, Ральф, — сказал Том.

Они нырнули, залегли среди скал, поросших кустарником.

Коса высекала искры из валунов.

Самайн испустил такой вопль, что лавина камней обрушилась с ближайшего холма.

— Уй-ю-юй! — сказал Ральф, скорчившись, согнув-

шись в три погибели, свернувшись в клубок — колени к груди, глаза крепко зажмурены. — Если вздумаешь грешить — только не в Англии!

И как последний заряд дождя — ливень, лавина бьющихся в истерике душ, превращенных в мокриц, обращенных в клопов, в пауков-сенокосцев, в блох, в жуков-могильщиков, расплзлась по телу, затопила мальчишек.

— Эй! Гляди! Вон пес!

Одичалый пес, обезумев от страха, опрометью мчался вверх по скале.

Но его мордочка, его глаза — что-то такое у него в глазах...

— Неужели это?..

— Пифкин? — подхватили все.

— Пиф! — закричал Том. — Ты здесь назначил встречу? Ты...

Но — уух! — свистнула коса.

Визжа от ужаса, песик перекувырнулся через голову и кубарем скатился в траву.

— Держись, Пифкин! Мы тебя узнали, мы видим тебя! Да не бойся ты!.. Не убегай... — Том свистнул.

Но песик, скуля и жалуясь испуганным, родным, знакомым голосом славного Пифкина, умчался и пропал.

Но что это? Эхо его жалобного твяканья донеслось с далеких холмов:

— Спаси-и-ите! Ищи-и-и-ите... Ищите. Ищите! Ищи-и-и-те...

«Где? — подумал Том. — Негодники божи, где?»

### 13

Самаин поднял косу, играя своей силой. Он рассмеялся, довольный собой, плюнул огненной слюной на свои загрубелые ладони, крепче ухватился за рукоятку косы, широко размахнулся и — замер...

Где-то вдали послышалось пение.

Ближе к вершине холма, в небольшой рошице, мерцал слабый огонек костра.

Там собрались люди, как тени; поднимая руки, они пели песню. Самайн прислушался; коса, как застывшая улыбка великана, неподвижно висела в воздухе.

О Самайн, бог мертвых!  
Выслушай нас!  
Мы, великие жрецы друидов, здесь;  
В этой роше деревьев, великанов Дубов,  
Молим тебя за души умерших!

Там, вдалеке, эти неведомые люди у горящего костра размахивали блестящими ножами, поднимали кверху кошек, коз, распевая:

Мы молим тебя за души тех,  
Кто превращен в бессловесных тварей.  
О бог мертвецов, мы приносим тебе  
В жертву вот этих животных,  
Чтобы ты освободил  
Души наших родных и друзей,  
Умерших в этом году!

Ножи сверкали.

Самайн улыбнулся во весь рот. Жертвенные животные закричали.

Повсюду: под ногами у мальчишек, в траве, среди камней — везде плененные души, сгинувшие в пауках, заточенные в тараканах, брошенные в блохах, мокрицах и сороконожках, разевали немые рты и беззвучно зывали, корчась и извиваясь.

— Освободи! Не погуби! — молились друиды на склоне холма.

Костер жарко разгорелся.

Ветер с моря завыл над долинами, пронесся среди скал, коснулся пауков, покатил свернувшихся мокриц, опрокинул тараканов. Крохотные пауки, насекомые,

мелкие-премелкие собачки и коровки пухом понеслись прочь, как хлопья снега. Маленькие души, узницы, заключенные в тельца насекомых, рассеялись.

Освобожденные, они с шепотом и щебетом полетели ввысь, словно к куполу, рождающему гулкое эхо.

— В небеса! — воскликнули друидские жрецы. — Вы свободны! Летите!

И они улетели. Они скрылись в воздухе, слитно вздохнув, с невыразимой благодарностью и облегчением.

Самайн, бог мертвых, пожал плечами и отпустил их с миром.

Но вот — так же внезапно — он весь застыл в напряжении.

Точно так же замерли мальчишки и мистер Смерч, притаившиеся в скалах.

По долине, по склону холма беглым шагом наступала армия римских солдат. Предводитель бежал впереди всех, крича:

— Солдаты Рима! Истребляйте дикарей! Низвергайте нечистых богов! Так приказал Светоний!

— За Светония!

Самайн, в небесах, замахнулся своей косой, но поздно!

Солдаты вонзили мечи и топоры в стволы священных дубов друидов.

Самайн взревел от боли, как будто топоры подрубили ему колени. Священные деревья стонали, их ветви со свистом рассекали воздух, стволы с предсмертным стоном и грохотом валялись наземь.

Самайна там, наверху, била дрожь.

Жрецы-друиды, спасавшиеся бегством, остановились, объятые дрожью.

Деревья валялись.

Жрецы с подрубленными сухожилиями, коленями, ступнями падали. Их перекатывало ветром, как стволы ураганом.

— Нет! — загрохотал Самайн высоко в воздухе.

— Да! — загремели римляне. — А ну!

Солдаты нанесли последний страшный удар.

И Самайн, бог мертвых, с подрубленными корнями, с подсеченными голеньями, стал падать на землю.

Ребята, задрвав головы, успели отскочить. Им казалось, что целый лес, разом подрубленный, обрушился гигантской грудой. Они утонули в тени его полуночного падения. Громоподобный голос его смерти опережал его падение. Он был самым гигантским деревом на свете, выше самого высокого дуба, который когда-либо валился замертво и расставался с жизнью. Он падал с душераздирающим скрипом, бил сучьями дико воющий воздух, стараясь удержаться.

Самайн грянулся оземь.

Он свалился с ревом, который потряс до глубины окрестные холмы и задул, как свечки, священные костры.

Когда Самайн, срубленный, простерся на земле, все оставшиеся в живых друидские дубы повалились вслед за ним, словно подкошенные последним взмахом косы. Его собственная громадная коса, как великанская улыбка, затерянная в полях, расплылась серебряной лужицей и канула в траву.

Молчание. Тлеющие уголья. Шорох ветра в листве.

Солнце вдруг скатилось вниз.

Мальчишки смотрели, как жрецы-друиды истекают кровью в траве, а римский центурион толчет угасшие костры, разбрасывая священный пепел.

— Здесь мы воздвигнем храм нашим богам!

Солдаты снова разожгли костры и воскурили благовоения перед золотыми идолами, которых принесли с собой.

Но не успели они развести огонь, как на востоке загорелась звезда. В далекой пустыне, под звон верблюжьих бубенцов, тронулись в путь Волхвы.

Римские солдаты подняли свои бронзовые щиты, заслоняясь от горящей в небе Звезды. Но щиты расплавились. Римские кумиры сплавившись, превратились в ста-



тую Девы Марии с Младенцем. Оружие римлян плавилось, растекалось, преображалось. И вот они уже одеты в облачения священников, поющих псалмы на латыни перед новыми и новейшими алтарями, а тем временем Смерч, припав к земле, искоса наблюдал за этой сценой и шептал своим маленьким ряженым спутникам:

— Вот-вот, ребятки, видали? Боги сменяют богов. Римляне срубили друидов, их дубы, их бога мертвых под корень, да? И поставили на их место своих богов, так? А вот и христиане налетели и свергли римлян! Новые алтари, мальчики, новые курения, новые имена...

Порыв ветра задул все свечи в алтаре.

В полной тьме Том закричал от страха. Земля дрогнула и закрутилась волчком. Ливень мигом вымочил их до костей.

— Что творится, мистер Смерч? Где мы?

Смерч высек огонь своим кремниевым пальцем и поднял его высоко вверх.

— Да это же, разрази меня... это же темное Средневековье. Самая долгая, самая темная ночь. Много веков минуло с тех пор, как Христос пришел и покинул мир, и...

— Где Пифкин?

— Я здесь! — донесся голос с непроглядно-черного неба. — Похоже, я лечу на метле! Она меня уносит!

— Эй, и меня тоже, — сказал Ральф, а за ним Джи-Джи, потом Растрепя Нибли, и Уолли Бэбб, и все остальные.

Раздался шепот по всей земле, словно гигантский кот умывался, расправляя усищи в полной тьме.

— Метлы, — бормотал Смерч. — Шабаш Метел. Октябрьский праздник Метлы и Помела. Ежегодный перелет.

— Перелет — куда? — спросил Том, крича во весь голос, потому что в воздухе проносились со свистом и гиканьем невидимые полчища.

— Ясно — Туда, Где Делают Метлы!

— Спасите! Лечу-у! — завопил Генри Хэнк.

Шшш-ух! Метла одним взмахом унесла его прочь.

Гигантская лохматая кошка шмыгнула мимо Тома, оцарапав ему щеку. Он вдруг почувствовал, что деревянная лошадка выкидывает под ним кренделя.

— Держись! — сказал Смерч. — Когда под тобой норовистая метла, остается только одно: держись крепче!

— Держусь! — крикнул Том, улетаая.

## 14

Метлы дочиста вымели все небо.

Мальчишки, оседлавшие восемь метел, своими воплями дочиста разогнали остатки облаков.

Поглощенные, они не заметили, как их испуганные вопли перешли в крики восторга, и почти позабыли про Пифкина, который мчался рядом с ними среди облаков-островков.

— Правьте сюда! — приказал Пифкин.

— Сию минуту! — откликнулся Том Скелтон. — Слушай, Пиф, оказывается, удержаться на метле ужасно трудно!

— Ты будешь смеяться, — сказал Генри Хэнк, — но мне тоже.

Все поддержали его: то и дело приходилось цепляться, карабкаться, чтобы не расстаться со скакуном.

Метлы в небе летели так густо, что на небе не осталось ни облачка, не было места даже клочку тумана, не говоря о мальчишках. Образовалась невиданная дорожная пробка из метелочного транспорта; можно было подумать, что все леса на земле с гулом встряхнулись, сбросили ветки и, шаря по осенним полям, срезали под корень и обматывали удавками все колосья, из которых могли получиться хорошие веники, метлы, выбивалки, пучки розог, — и взлетали прямо в небо.

Со всего света слетелись и все шесты, на которых натягивали веревки, чтобы вешать белье на задних дворах. А с ними прилетели и пучки травы, охапки сена, колючие ветки — разогнать стада облачных овец, начистить до блеска звезды, напасть на мальчишек.

Эти самые мальчишки, каждый на своем тощем скакуне, оказались под градом бесчисленных ударов, затрешин, оплеух, их хлестали наотмашь прутья, палки, плети. Так им влетело за то, что взлетели в небо. На каждого пришлось по сотне синяков, по дюжине царапин и точно по сорок девять шишек на каждый беззащитный череп.

— Эй, мне расквасили нос! В кровь! — радостно ахнул Том, разглядывая свои красные пальцы.

— Плюнь! — крикнул Пифкин; он влетел в облако сухим, вылетел мокрым-мокрехонек. — Чепуха! Мне подбили глаз, дали в ухо и выбили зуб!

— Пифкин! — воззвал к нему Том. — Ты все твердил, чтобы мы тебя искали, а мы понятия не имеем... Где?

— В воздухе! Везде! — сказал Пифкин.

— Во дает! — пробормотал Генри Хэнк. — Да ведь вокруг земли накручено два триллиона сто миллиардов девяносто девять миллионов акров воздуха! На каждом из них искать Пифкина?

— Я хотел сказать... — Пифкин залохнулся.

Прямо перед ним целая толпа метел пустилась в пляс, руки в боки, встала стеной, как кукуруза в поле или как деревенский плетень, внезапно спятивший или сбесившийся.

Облако — раздутая бесовская харя — разинуло пасть. Оно заглохило Пифкина вместе с метлой, потом захлопнуло рот, и в глубине его туманного чрева послышалось урчание — видно, от Пифкина у него начались колики.

— Пробивайся наружу, Пифкин! Лягни его в пузо! — крикнул кто-то.

Но никто не лягался в брюхе у облака, и оно, сытое и довольное, проплыло, смакуя свой вкусный и питатель-

ный обед из мальчишки, по Заливу Безвременья к Рассвету Вечности.

— «Ищите меня в воздухе»? — фыркнул Том. — Елки-молотки, да это как в страшной сказке: «Пойди туда, не знаю куда!» Жуть!

— Я вам покажу еще не такую жуть! — сказал Смерч, проплывая мимо на помеле, похожем на мокрую разъяренную кошку на палке. — Хотите поглядеть на ведьм? На колдуний, ведуний, ворожей, колдунов, ведунов, черных магов, демонов, дьяволов? Вы их увидите — во множестве, целыми толпами. Разуьте-ка глаза!

И вправду — внизу, по всей Европе, по всей Франции, по Германии и Испании, ночные дороги так и кишели толпами, шайками, процессиями невиданных грешников, спешащих на север, впопыхах бегущих с юга, от теплого моря.

— Так, так! Скачите, бегите! В сторону ночи — это сюда. В царство мрака — по этой дороге! — Смерч спикировал вниз, пошел на бреющем полете, громко крича над скопищами и толпами, как генерал, ведущий в бой опытных, беспощадных солдат. — Быстрее! В укрытие! Затаись! Переждите век-другой!

— От чего им прятаться? — удивился Том.

— Христиане! Христиане идут! — громко закричали голоса внизу, на дорогах.

Это и был ответ.

Том моргнул и стал всматриваться, паря в воздухе. Все толпы со всех дорог бежали, собирались на уединенных фермах или на перекрестках трех дорог, на сжатых полях, в городах. Старики. Старухи. Беззубые, они в дикой ярости вопили, грозя небу, пока метлы снижались к земле.

— Да-а, — сказал Генри Хэнк, — вот это ведьмы!

— Отдай мою душу в химчистку и повесь сушиться на забор, если ты не прав, мальчуган, — согласился с ним Смерч.

— Вон ведьмы сигают через костры, — сказал Жи-Жи.

— А там — мешают варево в котлах! — сказал Том.

— А те — чертят знаки в пыли, на дворе фермы! — добавил Ральф. — Они что, взавправдашние? То есть я всегда думал...

— Взавправдашние? — Смерч так разобиделся, что чуть не свалился со своей метлы, похожей на взъерошенную кошку. — О вы, святые негодники, великопутаники, будьте мне свидетелями! Да в каждом городишке есть своя ведьма. В каждом юроте прячется какой-нибудь древнегреческий жрец-язычник, какой-нибудь римский поклонник карманных божков, и все они удирают по дорогам, залегают в канавах, затаиваются в пещерах от христиан! Да в каждой деревушке из трех домов, на каждой убогой ферме затаились последыши древних религий. Видели, как друидов порубили в щелки? Они прятались от римлян. А теперь римляне, которые бросали христиан голодным львам, сами бегут куда глаза глядят и прячутся подальше. Так все мелкие, идолопоклоннические культы, какие только есть, отчаянно борются за существование. Смотрите, как они удирают, ребятки!

И он был прав.

Костры горели по всей Европе. На всех перекрестках и у каждого стога сена черные силуэты прыгали в облике кошек над языками огня. Котлы кипели. Старые ведьмы изрыгали проклятия. Псы играли раскаленными угольями.

— Ведьмы! Да их видимо-невидимо! — сказал потрясенный Том. — Я и не знал, что их такое множество!

— Толпы, легионы, Том. Европа кишела ведьмами. Ведьмы под ногами, под кроватями, и в погребках, и на чердаках.

— Ну и ну! — сказал Генри Хэнк, гордясь своим костюмом Ведьмы. — Настоящие ведьмы! А они умели разговаривать с покойниками?

- Нет, — сказал Смерч.
- А вызывать дьявола?
- Нет.
- Держать бесов в дверных петлях и выпускать в полночь, с визгом жалобным и воем?
- Нет.
- Лететь на помеле?
- Отнюдь.
- Напускать на людей чих и чох?
- Увы — нет.
- Изводить людей, втыкая булавки в куколок?
- Нет.
- Эгей, да что же они, в конце концов, умели?
- Ничего.
- Ничего! — закричали все мальчишки в страшной обиде.

— Зато они думали, что умеют, ребятки!

Смерч повел свою летучую бригаду на метлах на бреющем полете над фермами, где ведьмы кидали лягушек в кипящие котлы, толкли в ступках сушеных жаб, брали понюшку пыльцы из мумий, кривлялись, корчились от смеха.

— Ну-ка, призадумайтесь. Что значит слово «ведьма»?

— Это... — начал Том, но ничего не успел сказать.

— Ведение, — продолжал Смерч. — Ум. Вот что это значит на самом деле. Знание. Так что каждый мужчина, каждая женщина — у кого хватало мозгов что-то проведать, разведать, сведать, кто хотел знаний — поняли?... — каждый, у кого ума было не занимать и кто позабыл об осторожности, назывался...

— Ведьма! Ведун! Ведьмак! — закричали ребята.

— И кое-кто из этих знатоков, ведающих и знающих, притворялся ведьмой или знахарем или внушал себе, что видит привидения, бродячих мертвецов или ковыляющих мумий. А если кто-нибудь ненароком умирал в одноча-

сье, они приписывали себе всю честь. Им нравилось верить, что они владеют силой, а на деле они ничего не могли, ребятки, увы и ах, но это чистая правда. Послушайте-ка! Там, за холмом. Все метлы родом оттуда. И туда они все слетаются.

Вяжем метлу мы,  
Метла непростая;  
В небе угрюмом  
Птицей летает!

Ведьме раздолье,  
Как ветру в поле,—  
Знай погоняет!  
С визгом и воем  
Волны прибоя  
С облачной пеной  
В море-Вселенной  
Одолевает!

Внизу полным ходом работала фабрика ведьминых метел, все суетились, вырезали палки, вязали метлы, а те, как только их насаживали на палки, в снопах искр вылетали из дымовых труб. А ведьмы прыгали на них с коньков крыш и мчались по звездному небу.

По крайней мере, так казалось мальчишкам, и до них доносилась песня, где-то пел хор:

Вставали ль ведьмы в час ночной,  
В полночный час,  
И с нежитью и чертовней  
Пускались в пляс?  
Нет!

Все это — самооговор,  
Все — болтовня!  
Ну станет ли хвалиться вор,  
Что свел коня?

Расхвастались себе во вред  
Да на беду!  
За этот безобидный бред — предать суду!

Материками овладел  
Безумный страх:  
Младенцев, бабок, юных дев  
Жгли на кострах!

Толпы свирепствовали, метались по деревьям и фермам, с факелами, с проклятиями. Костры пылали от Ламанша до берегов Средиземного моря.

Когда в десятке европейских стран  
Десятки тысяч «колдунов» и «ведьм»  
Плясали в воздухе чудовишный канкан —

Повешены, другие сожжены, —  
Народ честил друг друга: ах, под свином сатаны,  
Ух, чертова свинья! Взбесившийся кабан!

Дикие кабаны, на которых ведьмы сидели как влитые, трусили по черепичным крышам, высекая искры, храпя клубами дыма:

Европу затянул дым ведьминых костров.  
Их судей жгли другие в свой черед.  
За что? За пару слов!

Додумались: «Невиноватых — нет!  
Все — ложь, все — грех!»  
Так что ж нам делать?  
— Истребляйте всех!

Дым клубился в небе. На каждом перекрестке болтались на виселицах ведьмы, вороны слетались, черные, как оперение мрака.

Мальчишки висели в небе, цепляясь за свои метлы, выкатив глаза, разинув рты.

— Может, кто-нибудь хочет стать ведуном? — помолчав, спросил Смерч.

— О-ой, — сказал Генри Хэнк, дрожа в своих ведьминых лохмотьях. — Только не я!

— Не позавидуешь, а, мальчуган?



— Не позавидуешь!

Метлы понесли их дальше сквозь дым и копоть.

Они приземлились на безлюдной улице, на открытом месте, и это был Париж.

Метлы выпали у них из рук — свалились замертво.

## 15

— А ну-ка скажите, ребятки, что нам нужно, чтобы напугать пугальщиков, нагнать страху на страховальщиков, напустить ужас на ужасальщиков?

— Самые главные боги?

— Самые главные колдуны?

— Самые большие соборы? — сказал Том Скелтон.

— Молодчина, Том, правильно! Всякая мысль растет, так? Религия разрастается. И как еще! Воздвигают храмы, которые так велики, что могут бросить тень на весь континент. Строят башни, которые видны за сто миль. Строят такой высочайший и величайший храм, что там живет горбун, звонит во все колокола. Так вот, ребята, помогите-ка мне воздвигнуть храм кирпичик за кирпичиком, контрфорс за контрфорсом. Давайте построим...

— Нотр-Дам! — закричали восемь мальчишек.

— И у нас есть очень веские причины, чтобы построить Нотр-Дам, потому что... — сказал Смерч. — Прислушайтесь...

Бом!

В небе ударил колокол.

Бом!

— ...На помощь... — прошелестело над ними, когда звон затих.

Бом!

Мальчишки взглянули вверх и увидели, что на недостроенной колокольне, на луне, громоздятся какие-то ле-

са. И на самой верхушке был подвешен бронзовый колокол, звонивший во всю мочь.

А изнутри колокола после каждого удара, рывка, толчка слабый голосок молил:

— На помощь!

Ребята посмотрели на Смерча.

У них в глазах горел один вопрос: Пифкин?

— Встретимся в воздухе! — вспомнил Том. — Так и есть!

Так оно и было: там, в колоколе, болтался вниз головой бедняга Пифкин, вместо языка отбивая удары своей головой. Ну если не сам Пифкин, то его тень, дух, заблудшая душа.

То есть поймите: когда колокол отбивал часы, вместо языка в нем качался живой, из плоти и крови, Пифкин. И его голова ударяла в колокол. Бом! И снова: бом!

— Да ему мозги вышибет! — ахнул Генри Хэнк.

— На помощь! — звал Пифкин, тень, мотавшаяся в пасти колокола, призрак, подвешенный на цепи вверх ногами, чтобы отзванивать четверти часа и полные часы.

— Летите! — крикнули мальчишки своим метлам, но те лежали замертво на парижской мостовой.

— Испустили дух, — мрачно пробормотал Смерч. — Ничего не осталось — ни духу, ни огня, ни задора. Ну что ж... — Он потер пальцами подбородок, так что искры брызнули во все стороны. — Как нам забраться в такую высь выручить Пифкина?

— Может, вы слетаете, мистер Смерч?

— Э нет, не пойдет. Вы сами должны его спасать, ныне и вечно, снова и снова, до последнего, главного спасения. Погодите-ка. Ага! Блестящая идея! Мы собрались построить Нотр-Дам, точно? Так давайте его строить, мы его непременно построим — и взберемся туда, на самый верх, где висит наш твердолобый, колокольно-звонкий, отбивающий часы Пифкин! Вперед и выше! Бегите вверх по ступенькам!

— По каким ступенькам?

— Да вот они! Вот! Вот! И вот!

Кирпичи слетались, складывались. Мальчишки прыгнули. И стоило им выбросить ногу вперед, вверх, опустить — как под ногой оказывалась ступенька, единственная. До следующего прыжка.

Бом! — загудел колокол.

— На помощь! — простонал Пифкин.

Ноги мальчишек, бегущих в воздухе, опускались с топотом каблучков, шарканьем, стуком на ступеньку. На следующую.

Ступеньки одна за другой возникали в пустоте.

— Помогите! — сказал Пифкин.

Бом! — гулко откликнулся колокол.

Так они и взбегали по пустоте в пустоту, а Смерч попукал их, даже подпихивал сзади. Они бежали под бликами света, по чистому ветру, но кирпичи, каменные плиты и известковый раствор, тасуясь, как колода карт, метали себя им под ноги, застывая на лету, затвердевая под каблучками.

Им казалось, что они взбегают на слоеный торт, который наслаивается сам собой, слой за каменным слоем, под заполошный звон колокола и жалобный голос Пифкина, умолявший о помощи.

— Вон там — наша тень! — сказал Том.

И вправду — тень от собора, от грандиозного собора Парижской Богоматери, тянулась в лунном свете по всей Франции и наполовину захватывала Европу.

— Выше, ребята, выше! Не ждите, бегите!

Бим-бом!

На помощь!

Они бежали со всех ног. Они стали спотыкаться на каждой ступеньке, но новые ступеньки оказывались на месте и не давали им упасть, а вели их все выше и выше, и тень спицей тянулась все дальше и дальше, через реки и поля, гасила последние костры ведьм на перекрестках.

Ведьмы, бесовки, колдуны, знахари, дьявольские прислужники за тысячу миль отсюда гасли как свечи, курясь дымком, с воем разбегались, прятались куда попало, а собор рос в самое небо, все выше, выше.

— Как римляне срубили друидские роши и подрубили под корень их бога мертвых, так мы, ребята, этим храмом отбрасываем такую тень, в которой ни одной ведьме не выжить, а жалкие колдунишки и потрепанные волшебники пикнуть не смеют. Конеч мелким колдовским кострам. Одна лишь великолепная пламенеющая свеча — Нотр-Дам. Вперед!

Мальчишки залились счастливым смехом.

Потому что последняя ступенька утвердилась у них под ногами.

Они добежали до верха, запыхавшись.

Собор Парижской Богоматери был построен, завершен.

Бом! — негромко пробило очередной час.

Громадный бронзовый колокол содрогнулся.

И опустел.

Мальчишки наклонились, заглядывая в его разверстый зев.

Внутри не было никакого языка, похожего на Пифкина.

— Пифкин! — окликнули они.

— ...кин, — прошелестело эхо, как из пещеры.

— Он где-то здесь. Он же обещал встретиться с вами в воздухе. А Пифкин всегда держит слово, — сказал Смерч. — Посмотрите вокруг, ребятки. Отличная работа, а? Вместо того чтобы трудиться не покладая рук несколько веков — пробежались, отдышались, и все? Ах ты, да ведь тут не хватает не только Пифкина. А чего? Смотрите! Ищите! Ну?

Мальчишки озирались в полном недоумении.

— Э-э-э-э...

— Вам не кажется, что постройка ужасно скучная, а? Унылая, ничем не украшенная...

— Горгульи!

Все обернулись, уставились на... Уолли Бэбба, который вырядился Горгульей на Канун всех святых. Он просиял от гордости.

— Горгульи! Здесь нет ни одной горгульи, ни одной химеры.

— Горгульи. — Смерч произнес диковинное слово раздельно, тягуче, смакуя, ощупывая его своим языком ящерицы. — Горгульи. А не рассадить ли нам их по местам, а, ребятки?

— Как?

— Пожалуй, можно просто свистнуть им — и они тут как тут! А ну свистите, зовите сюда бесов, свистите чертям, зовите залиvistым свистом адских чудовищ и клыкастых ночных тварей!

Уолли Бэбб набрал полную грудь воздуха.

— Я готов!

Да как свистнет!

Все засвистели.

А чудища?

Они примчались со всех ног.

## 16

Находившиеся не у дел, неприкаянные существа по всей полуночной Европе встряхнулись разом и воспрянули от каменного своего сна.

А это значит, что все средневековые гербовые звери, все стародавние сказки, древние кошмары, все ветхие заштатные демоны, все погибавшие в небытии ведьмы, все вздрогнули, заслышав зов, и понеслись, поднимая пыльные смерчи, по всем дорогам, бесшумно полетели по воздуху, прорвались, как заряды дроби, сквозь кроны

потрясенных деревьев, перебрали ручьи, переплыли реки, пронеслись выше леса стоячего и ниже облака ходячего — и прибывали, валили валом.

Более того, это значит, что все поверженные статуи, все идолы, полубоги и полубожки со всей Европы, которые усыпали землю, как жуткий нетающий снег, заброшенные в развалинах, вдруг встрепенулись, открыли глаза и выползли — саламандрами на дороги, летучими мышами в небеса, дикими собаками динго в чащи. Они летели, скакали галопом, ползли, извиваясь.

Все это сопровождалось восторгом и удивлением, а также нестройными криками мальчишек, облепивших парапет, и сам Смерч глядел, наклонившись, вниз, как с севера, юга, востока и запада прибывают полчища диковинных чудищ, в панике и неразберихе толкуются у ворот и ждут, когда им свистнут.

— Может, польем их расплавленным свинцом?

Мальчишки увидели, что Смерч улыбается.

— Да бросьте вы! — сказал Том. — Горбун уже пробовал это давным-давно.

— Ладно, значит, никаких котлов со свинцом. А не свистнуть ли нам, чтобы летели сюда?

И все разом засвистели.

Повинуясь призыву, все полчища, стада, прайды, лавины, сборища, бешеные стремнины чудищ, страшилищ, вздыбленных воплощений зла, подпорченных добродетелей, совратившихся святых, заблудших гордецов, самолюбий, лопнувших, как проколотые пузыри, подтягивались, вползали, сыпались дождем, взбегали по отвесным стенам Нотр-Дама. Словно бурный прибор кошмарных видений, валом, с воем и топотом, они захлестнули собор, примостились на каждом зубце, застыли на каждом торчащем камне.

Вот тут скакали свиньи, а там — черти в козлином облике, а на дальней стене явились отродья сатаны, которые на ходу меняли свой облик — сбрасывали рога, отращи-

вали новые, теряли бороды, а вместо них прытко росли извивающиеся как черви усы.

Кое-где на штурм стен, шурша, ползли скопища масок и личин, взбирались на высокие контрфорсы с помощью армии лангетов и ковыляющих омаров. Вон там лезут гориллы головы, зубастые и страшные, как смертный грех. А вон человечьи головы с зажатými в зубах колбасами. А за ними поспешает маска Шута, которую поддерживает паук, обученный балету.

Творилось такое, что Том сказал:

— Боже ты мой, что творится!

— То ли еще будет, смотрите! — сказал Смерч.

Мало того что Нотр-Дам взяли приступом разные чудища и жуткие рожи на паучьих ножках, хари и личины — теперь явились еще драконы, норовившие проглотить улепетывающих детишек, и киты, заглатывающие пророка Иону, и колесницы, битком набитые черепами и скелетами. Акробаты и воздушные гимнасты, изуродованные до неузнаваемости бесенятами, ковыляли, падали и застывали в причудливых позах на крыше.

Всему этому аккомпанировали свиньи на арфах, поросята на флейтах-пикколо, собаки наяривали на волынках, так что сама музыка помогала колдовству, заманивая новые толпы уродцев на стены собора, где они навеки прилипали, приставали к крыше, обращаясь в камень.

Вот обезьянка пошипывает струны лиры, а там — трепыхается дева с рыбьим хвостом. Откуда ни возьмись, прилетел сфинкс, сбросил крылья, стал наполовину женщиной, наполовину львом и улегся подремать на долгие века под высокими и гулкими колоколами.

— Ой, а это кто? — крикнул Том.

Смерч наклонился вниз и фыркнул:

— Это... да это же Грехи, ребятки! И разные неопи-сваемые существа. Вон там, например, ползет Угрызение Совести.

Они посмотрели, как оно ползет. Оно ползло бойким червячком, очень ловко.

— Ну, — громко прошептал Смерч. — Пора. Рассаживайтесь. Дремлите. Засыпайте.

Стаи диковинных существ повернулись раза по три на месте, как злые собаки, и улеглись. Все чудовища утвердились как влитые. Все гримасы застыли в камне. Все вопли утихли.

Луна заливала светом, пятнала вырезными тенями хи-мер и чудовищ Нотр-Дама.

— Ты понимаешь, что к чему, Том?

— А как же. Все древние боги, сны незапамятных времен, все кошмары темных веков, все старые позабытые выдумки подыхали от безработицы, а мы им дали работу. Мы их сюда вызвали! Мы их вызволили!

— И здесь они останутся на долгие века, верно?

— Верно!

Они переглянулись и посмотрели за парапет.

Толпы зверей расселись на восточной зубчатой стене.

Стаи грехов — на западной стене.

Полчища кошмаров — на южной.

И мелкая россыпь несказанных пороков и падших добродетелей — на северной.

— Знаете, — заявил Том, гордясь плодом ночного строительства, — пожалуй, я бы не отказался пожить здесь.

Ветер негромко запел, вылетая из губ зверей, свистя в зубах, шурша в оскаленных кляках:

— Благодарссссствуй...

## 17

— Иосафат, — сказал Том Скелтон, стоя на парапете. — Да мы вызвали сюда всех каменных грифонов и чертей. А вот Пифкин опять потерялся. Я подумал: а что, если свистнуть и ему?



Смерч расхохотался так, что из-под его капюшона словно раскаты грома загремели в ночи, а сухие кости застучали одна о другую.

— Ребятки! Оглянитесь вокруг! Он где-то здесь!

— Где?

— Ту-ут, — уныло откликнулся далекий голосок.

Мальчишки едва не сломали себе спины, перевешиваясь через парапет, едва не свернули шеи, глядя вверх.

— Смотрите, ищите, ребята, играйте в прятки!

Они искали и поневоле вновь восхитились причудливо вздыбленными черепицами собора, украшенными кошмарами, обрамленными неотразимо уродливыми, плененными камнем тварями.

Как разыскать Пифкина среди всех этих чудищ морских бездонных глубин, разинувших немые челюсти как бы для вечного вздоха, вечной жалобы? Где он затерялся среди этих чудесно выточенных бредовых видений, рожденных во чреве ночных кошмаров, чудовищ, высеченных древними землетрясениями, извергнутых из пасти взбесившихся и остывающих, застывающих каменными страшилищами и химерами вулканов?

— Я тут! — простонал далекий, еле слышный, знакомый голос.

Там, внизу, на карнизе, на половине высоты собора, мальчишки, щуря глаза, разглядели, кажется, единственное маленькое круглое лицо ангела-бесенка, узнали знакомые глаза, нос, лукавый и нежный рот.

— Пифкин!

С криком они сорвались и помчались вниз по лестницам и темным коридорам, пока не спустились к карнизу. Там, далеко в воздухе, на ветру, над узкой перекладной, перекинутой через бездну, виднелось лицо, маленькое и такое прелестное на этом пиршестве уродств.

Том пошел первый, не глядя вниз, раскинув руки.

Ральф двинулся за ним. Остальные неуверенно пробирались следом.

— Осторожней, Том, не свались!

— Не свалюсь! Вот он, Пиф!

Это и вправду был он.

Стоя цепочкой прямо под каменной маской на вытянутой шее, под высунувшейся по пояс из камня горгульей, они не могли наглядеться на его благородный профиль, на неотразимый курносый нос, гладкие щеки, пышную шапку курчавившихся мрамором волос.

Пифкин.

— Пиф, чтоб ты лопнул, зачем ты туда забрался? — окликнул Том.

Пиф не отвечал.

Губы у него были высечены из камня.

— Да ну, это просто кусок камня, — сказал Ральф. — Просто горгуля торчит здесь с незапамятных времен, смахивает на Пифкина, и все.

— Нет, я слышал его голос.

— Как это ты мог..

И тут ветер ответил на вопрос.

Он закружился вокруг высоких башен Нотр-Дама. Он засвистел флейтой в ушах горгулий, загудел волынкой в их разинутых ртах.

— Ахххх... — зашелестел голос Пифкина.

У мальчишек зашевелились волосы на затылке.

— О-о-о-о-о, — простонал каменный рот.

— Слушайте! Слышите? — завопил Ральф.

— Да тише ты! — оборвал его Том. — Пиф, а Пиф? В следующий раз, как задует ветер, скажи, как тебе помочь. Как тебя туда занесло? Как нам тебя оттуда снять?

Налетел новый порыв ветра, мешая им дышать, и засвистел в зубах мальчишки, высеченных из камня.

— Один... — сказал голос Пифкина, — вопрос, — выдохнул он, помолчав.

Безмолвие. Новый порыв ветра.

— ...за...

Мальчишки ждали.

— ...раз...

— Один вопрос за раз! — перевел Том.

Мальчишки покатались со смеху. Да, это точно Пиф, а кто же еще!

— Ладно. — Том сглотнул слюну. — Что тебя туда занесло?

Унылый ветер дул, теряя силу, и голос донесся как из глубины заброшенного колодца:

— Носило... Повсюду... сотни мест... считанные часы...

Мальчишки ждали, сжав зубы.

— Говори же, Пифкин!

Ветер вернулся, жалобно застонал в открытых каменных губах.

Нет — ветер замер.

Хлынул дождь.

Но это было то, что надо!

Капли дождя, прохладные и проницательные, юркнули в каменные уши Пифкина, полились по носу, фонтаном забили из мраморного рта, так что слог за слогом потекли у него с языка, сливаясь в прозрачные струйки дождя, слитную речь:

— Эй-й! Вот это славно!

С губ у него слетали облачка тумана, брызги дождя:

— Побывали бы вы там, где я был! Ух ты! Меня схоронили вместо мумии! Меня загнали в собаку!

— Мы узнали тебя, Пифкин!

— И вот я здесь, — говорил дождь, стекая в уши, струясь с кончика носа, вытекая хрустальной струйкой из мраморных губ. — Здорово, смешно, чудно — сижу в камне, а рядом, для компании, куча страшилищ и нечисти! И кто знает, куда меня занесет через десять минут, где я окажусь — еще выше? или в глубоченной могиле?

— Где же, Пифкин?

Мальчишки сгрудились кучкой. Дождь налетал порывами, лил как из ведра, едва не смывая их с узкого карниза.

— Ты умер, Пифкин?..

— Пока нет... не весь... — выговорил ледяной дождь в его губах. — Часть меня далеко-далеко, дома, в больнице, а часть — в той египетской гробнице. Часть меня бродит в траве, в Англии. Часть — здесь. А часть — в таком жутком месте...

— Где?

— Не знаю, не знаю я, ах, ребята, не знаю — то на меня нападает смех, до колик, а через минуту я себя не помню от страха. Вот сейчас, сию минуту, я понял, я знаю — мне страшно. Помогите, друзья. Помогите, пожалуйста, умоляю!

Струйки дождя хлынули у него из глаз, как слезы.

Мальчишки протянули вверх руки — коснуться подбородка Пифкина, утешить его... Но не успели они дотянуться...

С неба ударила молния.

Ослепительная, голубая, белая.

Весь собор содрогнулся. Мальчишкам пришлось уцепиться за рога чертей и за крылья ангелов, чтобы не свалиться вниз.

Гром, дым. Грохот обвала, удары камней.

Лицо Пифкина исчезло. Сбитое ударом молнии, оно пронеслось по воздуху и грянулось оземь, разбилось вдребезги.

— Пифкин!

Но там, внизу, у подножия собора, только искры взлетели и унеслись, как пушок, вместе с пушистой невесомой пылью. Нос, подбородок, тугая щека, ясный глаз, тонко вырезанное ушко — все, все унеслось с ветром, как мякина и мелкий, легкий мусор. Только и было видно, что дымок или душок, как клубочек порохового дыма, улетающий к югу и западу.

— Мексика. — Смерч, умевший чеканить слова, как мало кто на земле, отдельно произнес это слово.

— Мексика? — переспросил Том.

— Последнее дальнее путешествие в эту ночь, — пропел Смерч, по-прежнему растягивая, смакуя слова. — Свистите, ребятки, рычите как тигры, ревите как пантеры, завывайте как кровожадные звери!

— Выть, рычать, реветь?

— Восстановите Змея, мальчики. Воздушного Змея Осени. Прилепите на прежнее место клыки, свирепые глаза, окровавленные когти. Орите громче, чтобы поднялся ветер, скрепил всех вместе и унес нас высоко, все дальше, все дальше. Кричите, ребята, визжите, трубите, вопите!

Мальчишки мялись в нерешительности. Тогда Смерч промчался по карнизу, как будто сбивая на бегу частокол. Он пошибал с карниза всех мальчишек — кого локтем, кого коленом. Мальчишки посыпались вниз, крича и вопля кто во что горазд.

Камнем летя к земле, в ледяной пустоте, они вдруг почувяли, как под ними распустился хвост павлина-убийцы, как громадный, налитой кровью глаз. На нем загорелись десять тысяч огненных очей.

А это, неожиданно вывернувшись из-за угла, из-за горгулий, прилетел Осенний Змей, новехонький, с иглопочки, и подхватил их на лету.

Они уцепились за что попало — за раму, за углы, за крестовину, за гудящую как барабан бумагу, за клочки, обрывки, ошметки дышащей зловонием лавиной пасти, окровавленного тигрового зева.

Смерч взвился в воздух и зацепился последним. На этот раз ему пришлось быть хвостом.

Осенний Змей парил, поджидая, неся восьмерых мальчишек на клубящейся волне зубов и злобных глаз.

Смерч наострил уши.

Далеко, за сотни миль, по дорогам Ирландии тащились нищие, умирающие с голоду, вымаливая еду у каждого порога. Их крики возносились к ночному небу.

Фред Фрайер, одетый Нищим, встрепенулся.

— Туда! Давайте слетаем туда!

— Нет. Мало времени. Прислушайтесь!

Еще дальше, за тысячи миль, что-то тикало в ночной тишине, как еле слышное постукивание жуков-могильщиков.

— Гробовщики в Мексике. — Смерч улыбнулся. — Прямо на улицах, со своими длинными ящиками, гвоздями и молоточками, тук-тук-тук, заколачивают.

— Пифкина? — прошептали мальчишки.

— Мы слышим, — сказал Смерч. — И летим туда, в Мексику.

И Осенний Змей, гудя, понес их вдаль на прибойной волне ветра в тысячу футов высотой.

Горгульи, трубя в каменные свои ноздри, гудя сквозь мраморные губы, воспользовались тем же ветром, чтобы провить им прощальный привет.

## 18

Они парили над Мексикой.

Они зависли над островом, над одним из озер в Мексике.

Они слышали, как далеко внизу в ночи лают собаки. Они видели немногочисленные лодки на озаренном луной озере, скользящие, как водомерки. До них доносились аккорды гитары и высокий, печальный мужской голос.

Далеко-далеко, за утонувшими во тьме границами страны, в Соединенных Штатах, носились стайки ребят, стаи собак, хохоча, твякая, стуча в двери — во все двери

подряд, — прижимая к себе драгоценные мешки со сладостями, вне себя от радости — в Канун всех святых.

— А здесь-то... — шепнул Том.

— Что здесь? — спросил Смерч, паря бок о бок с ним.

— Пляньте, здесь...

— И дальше, по всей Южной Америке...

«Да, к югу. Здесь и на юге. Все кладбища до одного. Все погосты — все усеяны огоньками свечей, — подумал Том. — Тысяча свечек на том кладбище, сто — на другом, еще десять тысяч крохотных мерцающих огоньков дальше — на сотню миль, на пятьсот миль, до самого южного хвостика Аргентины».

— Это у них так празднуют...

— El Día Los Muertos. У тебя какая отметка по испанскому, Том?

— День мертвых?

— Carumba, sí! Змей, рассыпся!

Нырнув вниз, Змей распался на кусочки в последний раз.

Мальчишки посыпались горохом на каменистый берег тихого озера.

Над гладью вод стелился туман.

На дальнем берегу озера они увидели темное кладбище. Там пока еще не зажгли ни одной свечи.

Из тумана выплыла долбленая лодка, бесшумно, без весел, словно ее принесло волной прилива.

Высокая фигура, закутанная в серый саван, неподвижно стояла на корме лодки.

Лодка легонько ткнулась носом в травянистый берег.

Мальчишки затаили дыхание. Насколько им было видно, капюшон этой одетой в саван фигуры полнился только мраком, там ничего больше не было.

— Мистер... мистер Смерч?

Они были уверены, что это он, и никто другой.

Но он безмолвствовал. Только еле видная улыбка мелькнула светлячком в глубине капюшона. Костлявая рука сделала пригласительный жест.

Мальчишки, толкаясь, влезли в лодку.

— Ш-ш-ш-ш! — раздался шепот из пустого капюшона.

Фигура повторила свой жест, и они поплыли, от легкого толчка ветра, по черному зеркалу вод, под ночным небом, где горели мириады никогда не виданных звезд.

Далеко, на том темном острове, тренькнула гитара.

Одинокий огонек свечи загорелся на кладбище.

Кто-то где-то дунул в горлышко флейты, и она издала певучий звук.

Вторая свечка замерцала среди надгробий.

Кто-то пропел одно слово из песни.

Третья свечка затеплилась, зажженная вспыхнувшей спичкой.

И чем быстрее плыла лодка, тем больше гитарных аккордов звучало в ночи, тем больше свечей загоралось среди памятников на каменистых склонах. Засветились дюжина, сотня, тысяча огоньков, пока не стало казаться, что это — звездное скопление, громадная туманность Андромеды упала с небес и легла россыпью огней в самой середине Мексики незадолго до полуночи.

Лодка толкнулась в берег. Ребята от неожиданности попадали с ног. Они вскочили как встрепанные, но Смерч уже исчез. Только сброшенный саван лежал, пустой, на дне лодки.

Гитара звала их. Голос пел для них.

Дорога, похожая на реку — белые камни, белая галька, — вела через город, похожий на кладбище, к кладбищу, похожему на город!

Потому что город обезлюдел.

Мальчишки подошли к невысокой ограде кладбища, к литым чугунным воротам, похожим на кружево. Они ухватились за чугунные завитки и заглянули внутрь.



— Ух ты! — Том был поражен. — В жизни такого не видывал!

Теперь они поняли, почему город обезлюдел.

Потому что на кладбище былолюдно.

Перед каждой могилой склонила колени женщина с букетом азалий, гардений или бархатцев, ставя цветы в каменную нишу.

У каждой могилы стояла на коленях дочь, зажигающая новую свечку или свечку, только что задутую ветром.

У каждой могилы стоял спокойный мальчик с блестящими карими глазами, и в одной руке у него была крохотная похоронная процессия из папье-маше, приклеенная к плоскому камешку, а в другой — череп из папье-маше, в котором, как в погремушке, перекатывались рис или орехи.

— Смотрите! — шепнул Том.

Там были сотни могил. Сотни женщин. Сотни дочерей. Сотни сыновей. И сотни сотен, тысячи тысяч свечей. Все кладбище заполнили рои огоньков, как будто все светлячки на свете прослышали про Великое Собрание и слетелись, расселись, сверкая, на каменных надгробиях, освещая смуглые лица, темные глаза, черные, как вороново крыло, волосы.

— Ну и ну, — сказал Том себе под нос. — Дома мы никогда не ходим на кладбище — разве только в День поминовения, раз в году, да и то средь бела дня, при солнце, разве это удовольствие? А здесь — вот оно — красота!

— Красота! — шепотом прокричали все.

— В Мексике Канун всех святых получше, чем у нас!

И правда: на каждой могилке стояли блюда с пряниками, выпеченными в виде священников, скелетов или призраков, а кто должен лакомиться ими? живые? или души, которые возвратятся перед рассветом, голодные, неприкаянные? Никто не мог сказать.

И каждый мальчик там, в ограде кладбища, рядом с сестрой и матерью, положил на могилу миниатюрную

похоронную процессию. И было видно, что внутри крохотного деревянного гробика лежит маленький леденцовый человечек и все это стоит перед крохотным алтарем с крохотными свечечками. А вокруг гробика стоят мальчишки-служки с головками из орехов, и на скорлупке нарисованы глазки. А перед алтарем стоит священник, голова у него из кукурузы, а туловище из каштана. А на алтаре — фотография покойного, когда-то живого, а ныне — поминаемого.

— Куда лучше! Нет сравнения! — прошептал Ральф.

— Cuevos! — пропел голос вдалеке, на склоне холма.

На кладбище песню подхватили другие голоса.

Мужчины, жители этой деревни, стояли, прислонясь к стенам, у некоторых в руках были гитары, у других — бутылки.

— Cuevos de los Muertos... — пел далекий голос.

— Cuevos de los Muertos... — пели мужчины внутри ограды, в тени кладбищенских стен.

— Черепа, — перевел Том. — Черепа мертвых.

— Черепа, сладкие сахарные черепа, сладкие, леденцовые черепа, черепа умерших, — пел голос, все ближе и ближе.

И вниз с холма, бесшумно ступая в темноте, спустился Торговец Черепами с горбом на спине.

— Нет, это не горб, — сказал Том вполголоса.

— У него там полный мешок черепов! — вскрикнул Ральф.

— Сладкие черепа, сладкие, белые, хрустящие сахарные черепа, — пел Торговец, и лицо его скрывалось под широченным сомбреро. Но голос, сладко-переливчатый голос был голосом Смерча.

И на длинной бамбуковой жерди, которую он нес на плече, болтались на черных нитках дюжины, десятки сахарных черепов, больших, как их собственные головы. И на каждом была надпись.

— Имена! Имена! — пел старик Торговец. — Скажи мне свое имя — получишь свой череп!

И старик выдернул из связки один череп. На нем громадными буквами было написано:

ТОМ.

Том взял в руки череп со своим именем, свой собственный сладкий, съедобный череп, и обхватил его пальцами.

— Ральф!

И череп с надписью РАЛЬФ взлетел в воздух. Ральф, заливаясь смехом, поймал его.

Словно быстрота — главное условие игры, старик хватал костлявой рукой и метал, череп за черепом, летучие сладости в прохладном воздухе.

ГЕНРИ ХЭНК! ФРЕД! ДЖОРДЖ! РАСТРЕПА! ДЖИ-ДЖИ! УОЛЛИ!

Мальчишки под этим беглым огнем плясали и визжали, обстреливаемые собственными черепами с их собственными великолепными именами, выложенными сахаром на белом лбу у каждого черепа. Они ловили, едва не роняя, восхитительные ядра, которыми их обстреливали.

Они стояли, разинув рты, уставясь на сахарные сувениры смерти, зажатые в липких пальцах.

А из-за кладбищенской ограды рвалась ввысь песня — ее пели высокие, как сопрано, мужские голоса:

Роберта... Мария... Кончита... Томас.  
Salavega, Salavega, сладкий череп — вот это еда!  
Ищи свое имя на белом сахарном лбу!  
Скорее сюда, скорее сюда!  
Здесь целые груды сахарных белых костей.  
Хрустящих сладостей! Денег нет — не беда!  
Грызи свое имя! Вот это сласти, вот это да!

Мальчишки подняли сладостные черепа, зажатые в пальцах.

Откуси «Т» и «О» и «М». Том!  
Жуй «Г», глотай «Е», грызи «Н», соси «Р», кусай «И».  
Генри!

У них потекли слюнки. А что, если у них в руках — яд?

Что за блаженство — счастливый час!  
Каждый из вас  
Насыщается тьмой, питается тьмою ночной!  
Попробуй на вкус! Побольше кус!  
Полетай! Сладкие косточки, славные кости — хватай!

Мальчишки поднесли к губам сладкие, сахарные имена и уже готовы были запустить в них зубы...

— Оле!

Толпа мальчишек-мексиканцев налетела на них, крича их имена, выхватывая черепа.

— Томас!

И Том смотрит вслед Томасу, удирающему с его потным подписанным черепом.

— Эй, — сказал Том. — Он здорово похож на меня!

— Неужели? — сказал Торговец Черепами.

— Энрико! — завопил маленький индеец, ухватив череп Генри Хэнка.

Энрико умчался вниз по склону холма.

— Он был похож на меня! — сказал Генри Хэнк.

— Верно, — сказал Смерч. — Быстро, ребята, видите, что они задумали! Держитесь за свои сладкие черепушки и прыгайте!

Мальчишки прыгнули.

Потому что как раз в эту минуту внизу раздался взрыв. На улицах города загремели взрывы. Начался фейерверк.

Мальчишки окинули прощальным взглядом букеты, могилы, пряники, лакомства, черепа на надгробиях, миниатюрные похороны с крохотными покойниками в гробиках, свечи, коленопреклоненных женщин, одиноких мальчишек, девочек, мужчин и пустились опретью вниз по холму — к ракетам, к шутихам!

Том, Ральф и остальные ряженые мальчишки влетели на площадь, пыхтя и отдуваясь. Они резко тормознули, а потом пустились плясать — под ногами у них рвались тысячи маленьких шутих. Горели все фонари. Вдруг открылись все лавки.

И Томас, и Жозе Жуан, и Энрико знай поджигали шутихи и с воплями бросали их.

— Эй, Том, это тебе от меня, Томаса!

Том увидел, как его собственные глаза сверкают на рожице беснующегося мальчишки.

— Эй, Генри! Вот тебе от Энрико! Бах!

— Джи-Джи, вот — Бах! От Жозе Жуана!

— Ух ты, да это самый распрекрасный Канун из всех! — сказал Том.

Это была чистая правда.

Ведь еще никогда во время их необычайных путешествий не попадалось им такое множество диковинок, которые можно посмотреть, понюхать, потрогать.

На каждой дороге, у каждой двери, на каждом окошке громоздились кучи сахарных черепов с прекрасными именами.

С каждой улочки доносился перестук жуков-могильщиков, гробовщиков — тук-тук-тук, заколачивай, забивай, стучи молотком по крышкам гробов, как по деревянным барабанам, под покровом ночи.

На каждом углу были газетные развалы, и там лежали газеты с портретами мэра, разрисованного как скелет, или президента в виде скелета, или самой красивой девушки, одетой ксилофоном, а Смерть наигрывала мелодии на ее музыкальных ребрышках.

— Calavera, Calavera, Calavera, — текла с холма песня. — Смотрите, политиканы погребены в последних новостях. И рядом с их именами — «покойтесь в мире». Такова земная слава!

Смотрите-ка — скелетики кувыркаются,  
Друг дружке на плечи взбираются!

Проповедуют с кафедр, дерутся, играют в футбол!  
 Малыши-прыгуны, малыши-бегуны,  
 Крошки-скелетики играют в чехарду, падают на ходу!  
 Где это видано, где это слыхано —  
 Смерть превратили в сущую мелочь, так, в ерунду!

И в песне была правда истинная. И куда бы мальчишки ни бросили взгляд — везде крохотные акробаты, воздушные гимнасты, баскетболисты, священники, жонглеры, эквилибристы, только все они — хоровод скелетиков, рука в руке, косточка в косточке, и все такие маленькие, что можно зажать в кулаке.

А вон там, в окошке, целый микроскопический джаз-банд: скелетик-трубач, и скелетик-ударник, и скелетик, дующий в бас-трубу, не больше столовой ложки, и дирижер — тоже скелетик, в ярком колпачке и с дирижерской палочкой, и микроскопические нотки вылетают из горла крохотных валторн.

Мальчишки в жизни не видели сразу такого множества костей!

— Кости! — смеялись все. — О, чудные косточки!

Песня стала удаляться:

Покрепче в руке темный Праздник держи,  
 Грызи и глотай, не думай о смерти!  
 Выбегай из длинного темного туннеля  
 El Dia de Muerte.  
 Счастливый, счастливее всех — ты живой, ты жив!  
 Calavera, Calavera...

Траурные, обрамленные черным газеты улетали белыми птицами в похоронной процессии ветра.

Мексиканские мальчишки убежали вверх по склону холма, догонять свою родню.

— Да, чудно, странно, чудно, — шептал себе под нос Том.

— Что? — спросил Ральф, стоявший рядом.

— Да то, что там, у себя в Иллинойсе, мы начисто позабыли, что к чему. Понимаешь, ну... все, кто умер там,

в нашем городе, — про них же позабыли! Все их разлюбили. Все их забросили. Никто не приходит посидеть на могилках, поболтать с ними. Представляешь, как им одиноко? Прямо тоска берет.

А вот здесь — ты погляди, а? Горе и счастье, счастье и горе — все вместе. Сплошной фейерверк, игрушечные скелетики здесь, на площади, а там, наверху, на кладбище, у всех мексиканских покойников гости — семья их навещает, полно цветов, свечек, сладостей, все поют. Кажется, что День благодарения, верно? И все садятся обедать вместе, хотя только половина из них может есть, но разве в этом дело, если все вместе? Похоже на спиритический сеанс, когда держишься за руки с друзьями, только некоторых уже нету в живых. Да, Ральф, чудно...

— Да, — сказал Ральф, кивая головой в маске. — Чудно.

— Смотрите, скорее смотрите вон туда! — сказал Джи-Джи.

Мальчишки посмотрели.

На самой верхушке, на горке из белых сахарных черепов лежал череп с именем ПИФКИН.

Сладкий череп Пифкина, да, но нигде, в кутерьме шутих и ведьминых колес, среди танцующих скелетов и летающих туда-сюда черепов, не было ни пылинки, ни следа, ни звука самого Пифа.

Ребята уже так привыкли к фантастическим выходкам Пифа — ведь он уже и на стенах Нотр-Дама сидел, и в золотом саркофаге ехал, — и сейчас им казалось, что он вот-вот выскочит, как чертик на пружинке, из кучи сахарных черепов, закутанный в белую развевающуюся простыню, и, чтобы напугать их, затынет загробным голосом что-нибудь похоронное.

Нет. Вдруг оказалось, что Пифа нет. Нет его.

И может, никогда больше не будет.

Мальчишек затрясло. Холодный ветер нагнал туману с озера.

Вдоль по пустынной ночной улице, выйдя из-за угла, шла женщина. На плече у нее было коромысло с двумя одинаковыми чашами, полными раскаленных углей. Розовые груды жарких углей выпускали рои огненных светляков-искр, ветер подхватывал их и уносил вдаль. Там, где ступала она босой ногой, оставалась дорожка мелких, быстро гаснущих искр. В полном безмолвии — слышался только шорох скользящих шагов — она свернула в переулок и скрылась из виду.

Следом за ней шел мужчина, неся на голове — без усилий — маленький, легкий, почти невесомый гробик.

Это был просто ящик, сколоченный из белых, некрашенных досок, забитый наглухо. На боках и крышке ящика были прибиты дешевые розетки из фольги и сделанные из лоскутков шелка и бумаги искусственные цветы.

А в этом ящике лежал...

Мальчишки провожали глазами похоронную процессию, или, скорее, пару. Да, пару — человек и ящик, и еще то, что лежало там, внутри.

Человек, сохраняя торжественное спокойствие, держа гробик на голове в равновесии, вошел, не преклоняя головы, в церковь, стоявшую неподалеку.

— Н-н-н-неужели... — заикаясь, пробормотал Том. — Неужели там — Пиф, в этом ящике?

— А ты как думаешь, сынок? — спросил Смерч.

— Не знаю я! — закричал Том. — Одно знаю: с меня хватит! Ночь слишком долгая. Я столько всего навиделся. Да я теперь все знаю, все досконально.

— И мы, — загудели остальные, сбиваясь в кучу, дрожа дрожмя.

— И нам пора домой! Куда девался Пифкин, где он? Живой он или нет? Мы можем его спасти? Куда он пропал? Или мы опоздали? Что нам делать?



— Что делать? — закричали они все вместе, и тот же вопрос горел в их глазах. Все мальчишки вцепились в Смерча, словно хотели вытянуть из него ответ, вытрясти, дергая его за локти.

— Что нам делать?

— Чтобы спасти Пифкина? Последнее дело осталось. Ну-ка, смотрите вверх, на это дерево!

На дереве висело с дюжину горшков-пиньят: черти, призраки, черепа, ведьмы — болтались, качаясь на ветру.

— Разбейте свои пиньяты, ребятки!

Откуда ни возьмись у них в руках оказались палки.

— Бейте!

С воплями они принялись бить наотмашь. Пиньяты словно взорвались.

Из пиньяты в виде скелета посыпался дождь крохотных листьев-скелетиков. Они роем налетели на Тома. Ветер подхватил и унес скелетики-листья, а с ними и Тома.

Из пиньяты-мумии высыпались сотни хрупких египетских мумий, они вихрем унеслись в небо, унося Ральфа.

Так каждый мальчишка разбивал пиньяту, она лопалась и выпускала мелкие, как мошки, толкущиеся в воздухе копии его самого: черти, ведьмы, призраки с пронзительным писком облепляли мальчишку, и все листики, все мальчишки неслись, кувыркаясь, в небе, а Смерч закатывался хохотом им вслед.

Они пролетели рикошетом последние окраинные улочки города. Они плюхались и скользили, как плоские камни по глади озера, делая «блинчики»... и наконец приземлились — кувырком, в путанице локтей и своих и чужих коленок — на далеком склоне холма. Они сели на землю.

Они очутились посреди заброшенного кладбища, где не было ни души, ни огонька. Только надгробия, похожие на великанские свадебные торты, покрытые, как глазурью, лунным светом.

Пока они приходили в себя, Смерч плавно и легко приземлился и сразу стремительно, гибко склонился к земле. Он ухватился за железное кольцо, торчавшее из земли. Потянул. Взвизгнули петли, откинулась крышка люка, разевая черную пасть.

Мальчишки сгрудились на краю глубокой ямы.

— К-ка-катакомбы? — еле выговорил Том. — Катакомбы?

— Катакомбы. — И Смерч указал пальцем вниз.

В пыльную глубину сухой земли вели ступеньки.

Мальчишки проглотили слюну — в горле пересохло.

— А что, Пиф там, внизу?

— Ступайте, выведите его наверх, ребята.

— Он там совсем один, внизу?

— Не совсем. С ним кое-кто есть... Или Кое-Что.

— Кто пойдет первым?

— Чур, не я!

Молчание.

— Я, — сказал Том.

Он поставил ногу на первую ступеньку. Начал уходить в землю. Сделал второй шаг. И вдруг пропал.

Остальные бросились за ним.

Они спускались по ступенькам гуськом, и с каждым шагом вниз темнота становилась все непрогляднее, а безмолвие все безмолвнее, и с каждым шагом вниз ночь становилась глубокой, как колодец, налитый тьмой крошечной, и с каждым шагом вниз казалось, что тени, затаившиеся в стенах, вот-вот выпрыгнут из них, и с каждым шагом вниз казалось, что какие-то странные обличья ухмыляются им навстречу из глубокой пещеры, ждущей в глубине. Казалось, что летучие мыши гроздьями повисли над самой головой, издавая такой тонкий писк, что его и не услышишь. Этот звук могут слышать собаки — и тогда они, взбесившись со страху, опрометью бросаются удирать, не разбирая дороги. С каждым шагом вниз город оставался все дальше, дальше уходила земля и все добрые

люди на земле. Даже кладбище осталось где-то далеко-далеко наверху. Мальчишкам стало страшно. Они почувствовали себя такими позабытыми, позаброшенными, что едва не разревелись.

Потому что с каждым шагом они уходили еще на миллиард миль от жизни, от теплых постелей и ласковых огоньков свечей, от голоса матери, от дымка из отцовской трубки, от его покашливания по вечерам, когда ты лежишь и радуешься, что он здесь, рядом, хотя и в темноте, он живой, он ворочается во сне и может запросто отколошматить всякого, кто к тебе полезет.

Так, шаг за шагом, они спустились к подножию лестницы, заглянули в глубокую пещеру, похожую на длинный зал.

И там было много народу, и все вели себя на диво спокойно.

Они покоились там долгие годы.

Некоторые покоились тридцать лет.

Некоторые молчали сорок лет.

Некоторые не проронили ни слова за семьдесят лет.

— Вот они, — сказал Том.

— Мумии? — спросил кто-то дрожащим шепотом.

— Мумии.

Они вытянулись в длинный ряд, прислоненные к стенке. Пятьдесят мумий стояли вдоль правой стены. Пятьдесят мумий стояли вдоль левой стены. А четыре мумии стояли в дальнем конце, в темноте. Сто четыре сухие, как гробовой прах, мумии — куда более заброшенные, чем мальчишки, куда более одинокие, чем могут быть живые, покинутые здесь, заточенные в глубине, так далеко от собачьего лая, от светлячков, от чудесных мелодий, которыми полнили ночь голоса мужчин и струны гитар.

— Ой, ой-ей-ей! — сказал Том. — Сколько их тут, бедолаг! Я про них слышал.

— Что?

— Это бедняки, их родные не смогли платить налог за могилы, и вот могильщики выкопали бедняг и снесли их сюда. А земля здесь такая сухая, что они все превратились в мумии. Вы только поглядите, во что они одеты.

Мальчишки пригляделись — кое-кто из этих стародавних людей был одет в крестьянское платье, а женщины — в деревенские юбки, на некоторых были ветхие черные костюмы, городские, а один — видно, тореадор — был наряжен в потускневший от пыли костюм, шитый золотом и мишурой. Но каков бы ни был костюм, внутри были только сухие косточки да кожа, паутина и пыль, которая сыпалась с их ребер, стоило рядом чихнуть, нарушив их покой.

— А это что?

— Что «что»?

— Тш-ш-ш-ш!

Все наострили уши.

Они вглядывались в глубину длинного склепа.

Мумии глядели на них пустыми глазницами. Ждали — с пустыми руками.

А на самом дальнем конце глубокого темного подземелья кто-то плакал.

— А-а-а-ах... — доносилось до них. — О-о, — рыдал кто-то. — И-и-и-и, — и тихие, горестные всхлипывания.

— Да это, ребята, это же Пиф! Я только раз слышал, как он плачет, — но это он, точно, Пифкин. Он заточен здесь, в подземелье.

Мальчишки всматривались, широко раскрыв глаза.

И они увидели — в сотне футов, вдалеке, съезжившись в углу, загнанный в самый дальний угол подземелья, кто-то маленький — шевелится! Плечи вздрагивают. Голова прижата к груди, прикрыта дрожащими руками. Скрытый руками рот жаловался, кривился от страха.

— Пифкин?..

Плач замолк.

— Это ты? — прошептал Том.

Долгое молчание, всхлипывающий вздох — голос:

— Я...

— Пиф, ради всего святого, что ты тут делаешь?

— Не знаю!

— Выходи, а?

— Нет, не могу. Боюсь!

— Слушай, Пиф, если ты останешься здесь...

Том замолчал.

«Пиф, — думал он, — если ты останешься здесь — то навсегда, пойми. Ты останешься здесь, в тишине и заброшенности. Ты так и будешь стоять в этой длинной очереди, и туристы будут приходить поглазеть на тебя и становиться в очередь за билетами, поглазеть еще разок. Ты...»

— Пиф! — сказал Ральф из-под маски. — Ты должен отсюда выйти.

— Не могу, — зарыдал Пиф. — Они не пустят.

— Они?

Но все догадались, что он говорит о длинной череде мумий. Чтобы выбраться, ему надо было пробежать, как сквозь строй, между двумя рядами кошмаров, таинственных ужасов, напастей, наваждений, нежити.

— Они ничего тебе не сделают, Пиф.

Пиф сказал:

— Нет, они все могут.

— ...могут... — подтвердило эхо из глубины подземелья.

— Я боюсь выходить.

— А мы... — начал Ральф.

«...Боимся входить», — подумали все.

— Надо бы выбрать того, кто похрабрее... — начал Том и осекся.

Потому что Пифкин снова заплакал, и мумии стерегли и ждали, а ночь в длинном склепе была так беспросветна, что стоило сделать шаг — и пол расступится, про-

глотит тебя, и тебе уж нипочем не выбраться, не выкарабкаться. Пол скует твои щиколотки костлявым мрамором и будет держать мертвой хваткой, пока подземный холод не заморозит тебя на веки веков, не превратит в сухую, иссохшую статую.

— А может, двинуть всем сразу, кучей, а? — сказал Ральф.

И все попытались двинуться вперед.

Как громадный паук на многих ножках, они попробовали проползти сквозь дверь. Два шага вперед, один — назад. Один шаг вперед, два шага — назад.

— А-ах! — зарыдал Пифкин.

От этого звука они шарахнулись друг на друга, что-то бормоча в диком ужасе, подвывая, они откатились обратно к двери. Они слышали, как колотятся сумасшедшие сердца — и свое, и чужие.

— Ох, да что же это такое, что нам делать — он боится выйти, мы боимся войти, да что же нам делать, как быть? — причитал Том.

А у них за спиной, прислонившись к стене, стоял Смерч. Про него все забыли. В его оскаленных зубах язычком пламени мелькнула и погасла улыбка.

— Держите, ребята. Это его спасет.

Смерч достал из-под своего черного плаща знакомый белосахарный череп, на лбу которого было написано: ПИФКИН!

— Спасайте Пифкина, ребята. Заключайте сделку.

— С кем?

— Со мной и другими, которых я не назову. Здесь. Разломите этот череп на восемь вкуснящих кусочков и раздайте всем. «П» тебе, Том, «И» — тебе, Ральф, половина от «Ф» — тебе, Хэнк, вторая половинка — тебе, Джи-Джи, кусочек «К» — тебе, мальчуган, а кусочек — тебе, вот еще «И» и последняя — «Н». Берите сладкие кусочки, ребята. Вот наша темная сделка. Хотите, чтобы Пифкин был жив?

На него обрушился такой шквал возмущения, что Смерч едва не отступил. Мальчишки налетели на него, как стая собачонок, вопя во все горло, — как он посмел усомниться, что они хотят видеть Пифкина живым!

— Ну ладно, ладно, — успокоил он их. — Вижу, что вы хотите, и без дураков. Хорошо. Готов ли каждый из вас отдать ему один год в конце своей жизни, а?

— Что? — сказал Том.

— Я говорю серьезно, мальчики: один-единственный год, один драгоценный год жизни, когда от нее останется лишь маленький огарок. Если вы скинетесь по годику, то сможете выкупить Пифкина из мертвых.

— По годику!

Шепот, ропот, неслышанная сумма подсчета — недоумение. Трудно было сразу понять. Один год, да еще так не скоро, — его и не заметишь. Мальчишке одиннадцати-двенадцати лет не понять семидесятилетнего старика.

Год? Годик? Ясно, конечно, в чем вопрос? Само собой...

— Думайте, ребята, думайте! Это не шуточка — сделка с тем, у кого нет имени. Я не шучу. Это все взаправду, на самом деле. Вы принимаете суровые условия, и это серьезная сделка. Каждый из вас обещает отдать один год. Сейчас-то вы этот годик и не заметите, вы слишком юны, и я читаю в ваших мыслях, что вы не способны даже вообразить себе, как это будет. Только много лет спустя — лет через пятьдесят, с этой ночи, или лет через шестьдесят, с этого рассвета, когда время для вас потечет быстрее, иссякнет, вы будете от всей души желать прожить еще денек-другой, посидеть на солнышке, порадоваться на мир, и вот тогда-то придет некий мистер Р (то есть — Рок) или миссис К (то есть Костлявая) и предъявит вам счет к оплате. А может, и сам я приду, мистер Смерч собственной персоной, старый друг вашей юности, и скажу: «Платите». Так что обещанный год придется отдать.

Я скажу: «Отдавайте», и вам придется отдать. Что это будет значить для каждого из вас? А вот что. Тот, кто мог бы прожить семьдесят один год, должен умереть в семьдесят. А кому довелось бы дожить до восьмидесяти шести, придется расставаться с жизнью в восемьдесят пять. Возраст преклонный. Кажется, годом больше, годом меньше — невелика разница. Но когда пробьет час, ребятки, вы можете об этом пожалеть. Правда, зато вы сможете сказать: этот год я потратил не зря, я отдал его за Пифа, я жизнью выкупил славного Пифкина, самого дорогого друга, какой только жил на земле. Спас самое лучшее яблоко, готовое упасть с осенней яблони. Кое-кому из вас придется вместо сорока девяти лет подвести черту в сорок восемь. А кое-кто должен уснуть вечным сном не в пятьдесят пять, а в пятьдесят четыре. Ну, теперь вы понимаете все как есть? Можете сложить и вычесть? Арифметика вам ясна? Кто прозакладывает триста шестьдесят пять дней своей собственной, личной жизни, чтобы вернуть Пифкина? Думайте, ребята. Помолчите. Потом говорите.

Наступила напряженная тишина — как в классе, когда все ученики впопыхах складывают и вычитают в уме.

И они на диво быстро справились с подсчетами. Вопрос был решен сразу, хотя они и понимали, что через многие годы могут пожалеть о поспешном решении, о роковой опрометчивости. Но что же им оставалось? Только плыть саженками от берега, спасать утопающего мальчишку, пока он в последний раз не ушел, как под воду, в жуткую могильную пыль.

— Я... — сказал Том. — Я даю год.

— И я, — сказал Ральф.

— Пишите меня, — сказал Генри Хэнк.

— Я! Я! Я! — наперебой кричали все остальные.

— Вы поняли, что даете в залог, мальчишки? Значит, вы и вправду любите Пифкина?

— Да, да!



— Быть посему, ребятки. Грызите, глотайте, сосите, хрустите.

И они сунули сладкие осколки сахарного черепа себе в рот. Они грызли. Они глотали.

— Глотайте тьму, ребята, расставайтесь с годом жизни.

Они глотали торопясь, и от этого, видно, глаза у них разгорелись, в ушах стучало, а сердца громко бились.

Им показалось, будто птицы стайкой выпорхнули у каждого из грудной клетки, вылетели из тела и унеслись прочь невидимками. Они видели, но не могли разглядеть, как подаренные ими годы пролетели над миром и где-то сели, опустились — честная расплата по невиданным долговым обязательствам.

До них донесся отчаянный крик:

— Я здесь!

И еще:

— Я!..

И еще:

— Бегу-у-у!

Топ, топ, топ — три слова, три раза стукнули по каменному полу каблучки ботинок.

И вдоль подземелья, меж двух рядов мумий, наклонившихся, чтобы перехватить его, но бессильных, среди неслышимых криков и улюлюканья, обезумевший, сломя голову, опрометью, со всех ног, вскидывая колени, работая локтями, раздувая щеки, сопя носом, с зажмуренными глазами, топая, топ-топтолая по полу, изо всех сил бежал — Пифкин.

Ну и мчался же он!

— Смотрите, вон он! Давай, Пиф!

— Пиф, ты уже на полдороге!

— Надо же так нестись! — наперебой говорили мальчишки, рты у них еще были набиты сладкими обломками черепа с драгоценным именем Пифкина, которое навязло у них в зубах, сахарным именем, стекающим в гор-

ло, славным именем Пифкина на языках! Пиф, Пиф, Пифкин!

- Жми, Пифкин! Не оглядывайся!
- Не споткнись!
- Вот он, уже три четверти пробежал!

Пиф мчался сквозь строй. Он был отличный бегун, смелый, быстрый, как молния. Он миновал сотню коварных мумий, не задев ни одной, ни разу не оглянулся — и вышел победителем.

- Ты выиграл, Пиф!
- Пиф, ты в порядке!

Но Пиф не остановился. Он промчался не только сквозь строй мертвецов, но и сквозь кучку теплых, живых, вспотевших, орущих мальчишек.

Он распахнул их, взбежал вверх по лестнице, скрылся.

— Пиф, все в порядке, ты куда?

Они побежали по лестнице — догонять.

— Куда это он, мистер Смерч?

— Насколько я могу судить, — сказал Смерч, — он с перепугу убежал прямо домой.

— А Пифкин спасен?

— Надо убедиться, посмотреть. Вверх!

Смерч закрутился на месте со страшной скоростью. Его раскинутые руки рассекали воздух. Он вращался так быстро, что образовался вакуум, возник маленький одиноличный циклон. И этот смерч всасывающей воронкой захватил мальчишек — кого за ухо, кого за нос, за локоть, за палец на ноге.

Как сорванные с дерева листья, все восемь мальчишек с реактивным воем вознеслись в небеса. Смерч, в бешеной круговерти, камнем падал ввысь. Мальчишки тоже — насколько это возможно — канули вверх, низверглись следом за ним. Они ударили по облакам, как заряд шрапнели. Они летели за вожаком, как стая птиц, спешащих на север, опережая весну.

Земля словно бы поворачивалась с севера на юг. Тися-

чи деревушек и городов проплывали вниз, в созвездиях огней на кладбищах, по всей Мексике, в гирляндах тыкв с мерцающими внутри свечками, к северу от границы, по всему Техасу, по Оклахоме, Айове, и наконец-то — Иллинойс!

— Мы дома! — закричал Том. — Вон ратуша, а вон мой дом, а там Праздничное дерево! Дерево всех святых!

Они сделали круг над ратушей, два круга над горящим тысячами огненных тыкв Деревом и, наконец, последний круг — над высоким домом Смерча, со множеством башенок, множеством комнат, множеством зияющих окон, высоко торчащих громоотводов, балюстрад, чердаков, завитков, и дом со скрежетом закачался от ветра, который они подняли. Пыльный салют из окон приветствовал их. На других окнах ставни широко разевались, как будто торопясь высунуть свои древние языки и «показать горлышко» маленьким докторам нездешних наук, прилетевшим на крыльях ветра. Привидения осыпались, как лепестки белых цветов, увядавших на глазах в тот миг, когда они проносились мимо.

Кружа над домом, они увидели, что он подобен вечному, всеобщему Кануну всех святых. И Смерч крикнул им то же самое, размахивая старческими руками в древних шелках и паутине: он встал ногами на крышу и звал ребят к себе, указывая в глубь дома через громадное застекленное окно в крыше: через него можно было заглянуть на все этажи, до самого дна.

Мальчишки столпились вокруг застекленного люка и заглянули в пролет лестницы, проходившей на каждой площадке через разные времена, разные сцены — там люди или скелеты извлекали ужасные звуки из флейт-позвоночников.

— Вот оно, перед вами. Хотите заглянуть? Видите? Там все наше тысячелетнее путешествие, весь наш полет — в одном месте: от пещерных людей через Египет, через Римскую империю — к пшеничному полю перед

жатвой, к урожаю, собранному на кладбищах в Мексике смертью.

Смерч поднял широкую застекленную раму.

— Вниз по перилам, ребята! Катитесь вниз! Каждый — в свое время, в свой век, на свой этаж. Спрыгивайте там, где ваш костюм не в диковинку, соскакивайте там, где, по-вашему, ваш наряд и ваша маска — на своем месте! Пошел!

Мальчишки прыгнули. Они спрыгнули вниз, на верхнюю площадку лестницы. А потом один за другим вскочили боком на перила и понеслись, вопя во все горло, вниз, вниз, сквозь все этажи, все площадки, все века, заключенные в диковинном тереме Смерча.

По спирали и вниз, по спирали вниз, они летели, скользили, клонясь на виражах, балансируя на вошених перилах.

Тррах-бух! Джи-Джи в своем обезьяночеловечьем костюме приземлился в подвале. Озираясь, увидел рисунки на стенах пещеры, густой дым над кострами, тени неуклюжих людей-горилл. Из темноты сверкали, как уголья, глаза саблезубых тигров.

По спирали, словно в воронку, провалился Ральф, Мумия египетского мальчика, запеленутая на долгие века, и оказался на первом этаже, где по стенам стройными рядами вышагивали иероглифы, армия символов, летели эскадрильи древних птиц и шли стаи богов-зверей, а золотые скарабеи деловито катили свои навозные шары в глубь истории.

Плюх! Растрепанная Нибли, у которого в руках все еще чудом оставалась сверкающая коса, едва не расшибся в лепешку на втором этаже, где тень Самайна, друидского бога мертвых, размахнулась косой на дальней стене зала!

У-ух! Джордж Смит — то ли греческий призрак, то ли римское привидение — спрыгнул на третьем этаже, прямо перед обмазанными смолой дверными проемами,

которые были облеплены старыми бродячими душами, влипшими в смолу, как мухи!

Шлеп! Генри Хэнк, Вельма, шлепнулся прямо в кучу ведьм на четвертом этаже — они скакали через костры в деревьях по всей Англии, Франции, Германии!

Уолли Бэбб, заправская Горгулья, с лёта грохнулся на шестом этаже, где прямо из стен росли локти, ноги и горбы, улыбались во весь рот настоящие, веселые и лукавые горгульи.

А Скелет, Том, последним соскользнул с перил на самой верхней площадке, не удержался на ногах и полетел, сбивая белые сахарные черепа, как кегли в мрачной игре, в окружении теней коленапреклоненных женщин возле могил, а джаз-оркестры из крохотных скелетиков вовсю наяривали комариные мелодии, не заглушая голос Смерча, который с высоты крыши прогремыхал:

— Ну что, ребятки, поняли наконец? Все это одно и то же, дошло?

— Да... — послышался чей-то голос.

— Всегда одно и то же, только по-разному, да? В свой век, в свой час. Но всегда день уходил. Ночь всегда наступала. И вы всегда боялись — верно, Обезьяночеловек, верно, эй, Мумия, — что солнце больше никогда не взойдет?

— Да-а... — ответили несколько голосов.

И они взглянули наверх, сквозь этажи и лестничные площадки высокого дома, и увидели каждый век, каждую историю отдельно, и как люди всегда, с незапамятных времен, провожали глазами солнце, поворачивая головы следом, следя, как оно восходит и заходит. Пещерные люди дрожали. Египтяне стенали и плакали. Греки и римляне торжественно проносили своих усопших. Лето падало замертво. Зима хоронила его в могиле. Мириады голосов рыдали. Ветер времени сотрясал громадный дом. Окна дребезжали и, точь-в-точь как человеческие глаза, наливались слезами. Но вдруг — крики восторга! — это

десять тысяч раз по миллиону человек приветствовали яркие горячие летние солнца, которые вставали и пламенили огнем в каждом окне!

— Понимаете, ребятаки? Призадумайтесь! Люди исчезали навсегда. Они умирали. О боже, умирали! Но возвращались в сновидениях. Эти сновидения называли привидениями, духами, и их боялись люди во все времена...

— А-хх! — крикнул миллионоголосый хор в подвалах, на башенках.

Тени всползали по стенам, похожие на старые фильмы, мелькающие на ветхом экране. Клубочки дыма маялись у дверей, глаза у них были грустные, печальные, а губы дрожали.

— Ночь и день. Лето и зима, ребятаки. Время сева и время жатвы. Жизнь и смерть. Вот что такое Канун всех святых, все вместе. Все едино. Полдень и полночь. Рождаетесь на свет, ребяташки. Потом падаете кверху лапками, как собака, которой сказали: «Умри!» Потом вскакиваете, заливааетесь лаем, бежите сквозь тысячи лет, и каждый день — смерть, и каждый вечер — Канун всех святых, мальчишки, каждый вечер, каждый божий вечер — грозный и ужасный, пока наконец вы не сумели попрятаться в городах и поселках, немного передохнуть, перевести дух. Потом каждый начинает жить дольше, времени становится побольше, умирают реже, страх можно собрать и отложить, и в конце концов отвести ему один-единственный день в году, когда вы можете призадуматься о ночи и утренней заре, о весне, об осени, о том, что значит родиться и что значит умереть. И все это накапливается, складывается. Четыре тысячи лет назад, одна тысяча или в нынешний год — там или тут, — но празднества все одинаковые...

- Праздник Самайна...
- Время мертвых...
- Всех душ... Всех святых.
- День мертвых.

- El Dia de Muerte.
- Канун Дня всех святых.
- Канун всех святых.

Неуверенные голоса мальчишек, посланные вверх, сквозь слои времени, из всех стран, из всех веков, перечисляли праздники, по сути дела одинаковые.

- Отлично, мальчики, отлично.

Где-то вдали городские башенные часы пробили три четверти двенадцатого.

— Полночь близится, мальчики. Канун всех святых почти прошел.

— Нет, послушайте! — крикнул Том. — А как же Пифкин? Мы гонялись за ним по всем векам, хоронили его, выкапывали обратно, шли за его гробом, оплакивали на поминках. Так жив он или нет?

- Ага! — подхватили все. — Спасли мы его или нет?
- И правда — спасли или нет?..

Смерч вглядывался в даль. Мальчишки стали смотреть туда же, а там, за оврагом, стоял дом, в котором один за другим гасли огни.

— Это больница, где он лежит. Но вы сбегайте к нему домой. Постучите в последнюю дверь, крикните в последний раз: «Сласти или страсти-мордасти?» Это будет главный, последний вопрос. Ступайте, добейтесь ответа. Мистер Марлей, а ну-ка, проводите их — чество!

Входная дверь распахнулась — р-р-раз!

Марлей-молоток скривил свою перевязанную физиономию и засвистел им вслед на прощанье — а мальчишки съехали по перилам и наперегонки побежали к двери.

Но их остановил последний вопрос Смерча:

— Ребятки! Скажите, что это было? Нынешний вечер, со мной — сласти или страсти-мордасти?

Мальчишки набрали полную грудь воздуха, задержали, а потом выпалили единым духом:

- Ух ты, мистер Смерч, и то и другое!

Грюк! — стукнул Марлей-молоток.

Бряк! — хлопнула дверь.

И мальчишки припустились бегом, бегом, во всю прыть, вниз, через овраг, вверх по улицам, жарко дыша, роняя маски и наступая на них ногами, пока не добежали наконец до крыльца пифкинского дома, и остановились, глядя то на больницу вдаль, то на входную дверь дома Пифкина.

— Ты, давай ты, Том, — сказал Ральф.

И Том потихоньку стал подходить к дому, поставил ногу на первую ступеньку крыльца, потом на вторую, дошел до двери — и никак не мог собраться с духом постучать, боялся услышать последние новости о добром старом Пифкине. Пифкин — умер? Пифкина будут хоронить насовсем? Пифкин — сам Пифкин умер навсегда? Нет!

Он постучал в дверь.

Мальчишки стояли и ждали на дорожке.

Дверь отворилась. Том вошел в дом. Минута тянулась долго-долго, стайка мальчишек стояла на улице, не мешая холодному ветру пробираться до костей, замораживать самые ужасающие мысли.

— Ну что там? — беззвучно кричали они перед закрытым домом, запертой дверью, перед темными окнами. — Ну что?

И вот дверь открылась, наконец-то Том вышел и остановился на крыльце, плохо соображая, где он и что с ним.

Потом поднял глаза и увидел друзей, которые ждали его — за миллион миль отсюда.

Том спрыгнул с крыльца, крича во все горло:

— Ура! Ура! Ура-а-а!

Он бежал по дорожке, крича:

— Все в порядке, он в порядке, он жив! Пифкин в больнице! Аппендикс себе вырезал. Сегодня, в девять вечера! Успел вовремя! Доктор говорит, что он молодчина!

— Пифкин?..



— В больнице?..

— Молодчина?..

Все охнули, будто кто дал им под ложечку. Потом задышали часто, шумно, это был дикий крик, нестройный вопль торжества.

— Пифкин, о Пифкин, Пиф!

Ребята стояли на пифкинском газоне, на дорожке перед пифкинским крыльцом, перед его домом и в немом изумлении переглядывались, улыбаясь все шире, а слезы набегали на глаза, и все вдруг заорали, а слезы, счастливые слезы заструились по щекам.

— Вот здорово, здорово, красота, ох как здорово! — приговаривал Том, еле живой, плача от радости.

— Можешь повторить, — сказал кто-то, и он повторил. И они все сгрудились в кучку и досыта наревелись на радостях.

Похоже, что ночь здорово отсырела от слез, и Том решил всех взбодрить.

— Вы взгляните на пифкинский дом! Стыд и позор? Слушайте, что надо делать!..

Они разбежались во все стороны, и каждый вернулся, прихватив с собой горящую тыкву, и все тыквы поставили рядком на перилах дома Пифкина, и тыквы улыбались до ушей самым беззастенчивым образом, поджидая возвращения Пифкина домой.

Мальчишки, стоя на газоне, любовались этими сияющими улыбками; костюмы на плечах, локтях и коленках у них были порваны в клочья, грим стекал со щек каплями и струйками, и громадная, чудесная, счастливая усталость наваливалась на них, тяжелила веки, наливалась тяжестью руки и ноги, но уходить им не хотелось.

И башенные часы пробили полночь — буммм!

И снова, и снова — буммм? Буммм! — целых двенадцать раз.

И Канун всех святых кончился.

И по всему городу захлопали двери, стали гаснуть огни.

Мальчишки начали разбредаться, прощаясь: «Пока!», и «Привет!», и «Будь здоров!», и просто «Будь!», и доброй ночи, да, ночи. Газон опустел, но на крыльце Пифкина вовсю полыхали огоньки свечей, теплые огоньки, теплый дух печеной тыквы.

И Призрак, и Мумия, и Скелет, и Ведьма, и все остальные пришли домой, на свое крыльцо, и, стоя на пороге родного дома, каждый обернулся, и посмотрел на город, и вспомнил эту сказочную ночь — ночь, которую никто из них не забудет никогда в жизни, — каждый посмотрел на дома других через городские улицы, но все они особенно долго смотрели на высоченный дом за оврагом, где мистер Смерч все еще стоял на самом верху крыши, окруженной балюстрадой из острых прутьев.

Мальчишки помахали руками, каждый со своего крыльца.

Дым, тянувшийся вверх из высокой готической трубы дома Смерча, помахал им в ответ.

Все новые и новые двери захлопывались во всем городе, запирались на ночь.

И с каждым звуком хлопнутой двери гасла тыква на громадном Дереве всех святых — одна, другая, и еще, и еще одна... Дюжинами, сотнями, тысячами закрывались двери, гасли глаза тыкв, словно слепли, а над задутыми свечками курился ароматный дымок.

Ведьма постояла, вошла в дом, закрыла дверь.

Тыква с ведьминым лицом на Дереве погасла.

Мумия шагнула через порог и хлопнула дверью.

В тыкве с лицом мумии погас огонек.

Оставался только один, последний мальчишка во всем городе, один на своей веранде. — Том Скелтон в своих костяных доспехах, ему смерть как не хотелось уходить в дом, а хотелось выжать последнюю, самую сладкую ка-

плю радости из самого любимого праздника в году, и он отправил мысленное послание с ночным ветром к волшебному дому за оврагом:

— Мистер Смерч, а вы кто такой?

И мистер Смерч, стоя высоко на крыше дома, послал обратно мысленный ответ:

— Я думаю, ты знаешь, мальчуган, я думаю, ты знаешь.

— Мы еще встретимся, мистер Смерч?

— Через много-много лет — да, я приду за тобой.

И вот последняя мысль Тома:

— О, мистер Смерч, неужели мы никогда не перестанем бояться ночи, бояться смерти?

И мысленный ответ полетел к нему:

— Когда ты достигнешь звезд, мальчуган, да, и станешь жить там вечно, все страхи отпустят тебя и сама Смерть истребится.

Том прислушался, услышал и спокойно помахал на прощанье.

Мистер Смерч там, вдали, поднял руку.

Щелк. Дверь дома захлопнулась за Томом.

Его тыква-череп на великанском дереве чихнула дымком и погасла.

Ветер играл ветвями исполинского Дерева всех святых, на котором не осталось ни единого огонька, кроме одинокой тыквы на самой макушке.

Тыквы с глазами и лицом мистера Смерча.

На гребне крыши мистер Смерч наклонился, набрал полную грудь воздуха и — дунул.

Его свечка в его тыквенной голове затрепетала, утасла.

Но — чудо! — дым закрутился из его собственного рта, из ноздрей, из ушей, из глазниц, как будто его собственную душу задули, погасили в груди в тот самый миг, как душистая тыква испустила свой сладкий, теплый тыквенный дух.

Он провалился сквозь крышу своего дома. Крышка стеклянного люка закрылась за ним.

Откуда-то налетел ветер. Он раскачал все темные, курящиеся дымком тыквы на раскидистом, прекрасном Праздничном дереве. Ветер подхватил тысячи потемневших листьев и взметнул их в небо, погнал по земле навстречу солнцу, которое непременно взойдет.

Как и весь город, Дерево погасило последние тлеющие угольки улыбок и погрузилось в сон.

А в два часа, перед рассветом, ветер вернулся за оставшимися листьями.



**ОКтябрьская  
Страна**



**ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ УМЕРЕТЬ  
ПРЕЖДЕ МОИХ ГОЛОСОВ**

---

Вы спросите: ну и как следует понимать этот дурацкий заголовок?

А вот как. С тех пор как мне исполнилось то ли двадцать два, то ли двадцать три, каждое утро, спозаранку, в моей голове раздаются голоса. Я так и зову их: «Театр утренних голосов». Оставаясь в постели, я лежу и слушаю, как они переговариваются в эхо-камере между моих ушей. Рано или поздно они становятся очень громкими — спорят, или страстно декламируют, или состязаются в остроте с кончиком рапиры. Тогда я вскакиваю (тихонько) и сажусь за пишущую машинку, пока в моей голове еще звучит эхо. И к полудню у меня уже бывает готов рассказ, или стихотворение, или акт пьесы, или глава романа.

Но так было не всегда.

Я начал писать в двенадцать лет. В то время я обожал такие книги, как «Тарзан» Эдгара Райса Берроуза, «Волшебник» Фрэнка Баума, «Капитан Немо» Жюль Верна, и всячески старался создать нечто подобное. Если утренние голоса и пытались тогда до меня докричаться, я их не слышал.

Таким образом, первые десять лет своего писательства я производил на свет совершеннейшую белиберду, которая если и заслуживает упоминания, то только как свидетельство моих безнадежных попыток стать тем, кем мне

быть не дано. Подражательство занимало все мои мысли, и подлинная муза творца, живущего во мне, не имела шансов поднять свою прелестную головку.

Иначе говоря, за моим продолговатым мозгом находились неведомые земли, куда я ни разу не забредал в своих странствиях. Неведомой землей Шекспира была Смерть собственной персоной. Моя же неоткрытая страна (как выяснилось позже, когда я все-таки набросал ее карту по подсказкам голосов) скрывала в себе идеи, представления, понятия и причудливые образы, причем свои, оригинальные, каких не найдешь у Берроуза, Баума или Верна. И мне пришлось отучить себя делать из кумиров образцы для подражания и, продолжая любить их, перестать строить из себя Джона Картера, Тик-Тока или безумного капитана «Наутилуса».

Первый прорыв я совершил, еще когда учился в средней школе. Мне вспомнилось одно мрачное место в моем родном городке, и я написал рассказ под названием «Овраг», наполненный ощущением ужаса и затаившейся поблизости смерти. По молодости лет я не понял, что впервые создал собственное полноценное произведение, что мои нервные окончания и ганглии породили нечто свежее. Я спрятал рассказ в стол и вернулся на дорогу, ведущую в страну Оз и Барсум. Чем и отдалил лет на пять-шесть тот день, когда мне предстояло стать самим собой.

Талант начал просыпаться во мне благодаря одной из нелепейших случайностей в мире. Когда мне было двадцать два, я стал составлять списки существительных — так я пытался расшевелить свое подсознание и что-нибудь из него выудить. Ничего не получалось, пока однажды, сидя в жаркий полдень на солнцепеке с портативной пишушей машинкой, я не напечатал одно слово: «Озеро». Мне сразу вспомнилось лето, когда мне было семь лет. Белокурая девчушка, с которой мы строили замок из песка, забежала в озеро и не вернулась. Смерть и вода, вода и смерть... Как загадочно, как интригующе!



И, не теряя времени, я принялся вспоминать этот день, стуча по клавишам машинки. К вечеру рассказ «Озеро» был готов, а мои щеки — мокры от слез. С тех пор, после многих лет бездарных блужданий в потемках, я обращаю взор внутрь себя, ловлю все оригинальное, что обнаружится в моей голове, и прищипливаю к бумаге. «Озеро» вышло несколько месяцев спустя в «Страшных историях» («Weird tales») и позже десятки раз переиздавалось в различных сборниках.

С того дня я начал интересоваться, что творится в моем мозгу — в его левом, правом, а то и вовсе каком-нибудь потустороннем полушарии. Я обнаружил, что для этого полезно перечитывать списки моих излюбленных имен существительных — хотя я не могу объяснить, чем эти слова так мне понравились. Стоит мне заглянуть в такой список, как на ум начинают приходиться воспоминания или необычные метафоры. Один из моих ранних перечней выглядел примерно так.

Ночь  
Чердак  
Овраг  
Одуванчики  
Свистки ночного поезда  
Теннисные туфли  
Веранды  
Карусели  
Приезд цирка на рассвете

Потом, спустя много месяцев и лет, я брал эти слова, вертел их так и этак, шлифовал в мастерской позади глаз и ждал, когда предрассветные голоса облекут их в форму, возвысят их и отведут меня к моему «ундервуду».

Вскоре я понял, что, хотя в двенадцать, шестнадцать, восемнадцать и даже двадцать лет моей мечтой было писать научную фантастику, я, к счастью это или нет, являюсь внебрачным сыном Призрака Оперы, Дракулы и летучей мыши. Я вышел из дома Эшеро, мои тетушки

и дядюшки ведут свой род от По. В течение следующих нескольких лет я написал большинство рассказов «Октябрьской страны» и продал их в «Страшные истории» по полцента или пенни за слово. При этом я решительно пропускал мимо ушей все предостережения редакторов, что мои рассказы не очень-то соответствуют представлению о страшных историях или историях о привидениях. Не мог бы я писать что-нибудь более, э-э, традиционное?

Я не мог и отправил им «Скелет» и «Толпу».

На «Скелет» я наткнулся благодаря своему семейному врачу. Я пожаловался ему на странные боли в горле, а он сказал: «Это совершенно нормально. Просто вы прежде никогда не обращали внимания на то, что происходит с тканями, мышцами и сухожилиями вашей шеи, да если уж на то пошло, то и всего тела. Взять хотя бы *medulla oblongata*, продолговатый мозг...»

*Medulla oblongata!* Язык сломаешь! Я отправился домой, ощущая каждую свою кость: коленные чашечки, ребра, которые поднимались и опускались при дыхании, локти, все эти тайные готические символы тьмы, — и написал «Скелет». С тех пор он не теряет популярности.

Примерно в то же самое время предрассветные голоса обернулись ночными кошмарами: мне вспомнилась автокатастрофа, которая произошла у меня на глазах, когда мне было пятнадцать лет. Пять человек тогда разорвало на куски. За несколько мгновений на месте катастрофы собралась толпа, люди словно из-под земли выросли. Несчастье произошло у ворот местного кладбища. Я подумал: «А что, если...» — и написал «Толпу».

Несколько лет подряд мои рассказы, рожденные благодаря чистым озарениям, появлялись почти в каждом номере «Страшных историй». Работая над ними, я подходил к пониманию того, как буду писать научную фантастику, если осмелюсь посягнуть на этот жанр. В результате появились, разумеется, «Марсианские хроники», в которых

лишь пять процентов научной фантастики, а остальные девяносто пять — фэнтези. Борцы за чистоту жанра до сих пор попрекают меня — как я посмел придать безвоздушному Марсу атмосферу только ради того, чтобы мои чудаковатые герои могли спокойно разгуливать и дышать без всяких чертовых скафандров.

Появлением «Дня возвращения» я обязан дому, который стоял по соседству с домом моих бабушки и дедушки. Когда я был маленьким, мы с тетей Невой накануне Хеллоуина ездили за город за охапками кукурузы и тыквами, чтобы украсить дом. Потом я забивался на чердак, преображался там в ведьму с восковым носом и бородавчатым подбородком и отправлялся пугать родственников и соседей. Члены семьи из «Дня возвращения» носят имена моих дядьев и теток. Дядю Эйнара я назвал в честь любимого дядюшки, шведа по происхождению, который обожал громко петь. Я так любил его, что дал ему крылья и научил парить в небесах.

Наконец, «Следующий» был написан после того, как меня по глупости занесло в могильные катакомбы в мексиканском городке Гуанахуато. Я бродил между бесконечных штабелей, высохших, как мумии, трупов мужчин, женщин и детей. Детские останки были примотаны проволокой к запястьям женщин. Всех этих мертвцов выселили из могил на кладбищах за неуплату аренды. Побывав однажды в катакомбах, я обнаружил, что сбежать из этого адского места практически невозможно. Мумии преследовали меня, пока я не захоронил их в «Следующем».

Так я и писал рассказ за рассказом, пока однажды не высунулся из раковины и не изобразил в своем лице то, о чем однажды сказал Джерард Мэнли Хопкинс: «Теперь я понял: то, что я делаю, и есть я». С той поры я только и делаю, что пытаюсь оставаться собой.

Первый раз «Октябрьская страна» увидела свет под названием «Темный карнавал». Рассказ, который дал

сборнику это название, я не успел закончить вовремя, и в книгу он не вошел. Он ждал своего часа, обрстая полночными часами и похоронными процессиями, и в конце концов превратился в роман «Надвигается беда», опубликованный в 1962 году.

А это после долгих странствий возвращает нас к заглавию данного предисловия: «Позвольте мне умереть прежде моих голосов». Голоса звучат по сей день, и я все так же прислушиваюсь к ним и следую их безумным советам. Если когда-нибудь, проснувшись на рассвете, я не услышу их, то пойму, что моя жизнь подошла к концу. Но если повезет, голоса будут раздаваться в моей голове до самого последнего дня, и в свой последний день я буду по-прежнему счастлив.

---

### КАРЛИК

Эйми отрешенно смотрела на небо.

Тихая ночь была такой же жаркой, как и все это лето. Бетонный пирс опустел; гирлянды красных, белых и желтых лампочек светились над деревянным настилом сотней сказочных насекомых. Владельцы карнавальных аттракционов стояли у своих шатров и, словно оплавленные восковые фигуры, безмолвно и слепо разглядывали темноту.

Час назад на пирс пришли два посетителя. Эта единственная пара развлекалась теперь на «американских» горках и с воплями скатывалась в сиявшую огнями ночь, перелетая из одной бездны в другую.

Эйми медленно зашагала к берегу, перебирая пальцами несколько потертых деревянных колец, болтавшихся на ее руке. Она остановилась у билетной будки, за которой начинался «Зеркальный лабиринт». В трех зеркалах, стоявших у входа, мелькнуло ее печальное лицо. Тысячи усталых отражений зашевелились в глубине коридора, за-

полняя чистый и прохладный полумрак горячими конвульсиями жизни.

Она вошла внутрь и остановилась, задумчиво рассматривая тощую шею Ральфа Бэнгарта. Тот раскладывал пачку сигар, покусывая желтыми зубами незажженную сигару. Веселая пара на «американских» горках вновь завопила, скатываясь вниз в очередную пропасть, и Эйми вспомнила, о чем хотела спросить.

— Интересно, что привлекает людей в этих взлетах и падениях?

Помолчав с полминуты, Ральф Бэнгарт вытащил сигару изо рта и с усмешкой ответил:

— Многим хочется умереть. «Американские» горки дают им почувствовать смерть.

Он прислушался к слабым винтовочным выстрелам, которые доносились из тира.

— Наш бизнес создан для идиотов и сумасшедших. Взять хотя бы моего карлика. Да ты его видела сотню раз. Он приходит сюда каждую ночь, платит десять центов, а потом тащится через весь лабиринт в комнату Чокнутого Луи. Если бы ты только знала, что он там вытворяет. О боже! На это действительно стоит посмотреть!

— Он такой несчастный, — ответила Эйми. — Наверное, тяжело быть маленьким и некрасивым. Мне его так жалко, Ральф.

— Я мог бы играть на нем, как на аккордеоне.

— Перестань. Над этим не шутят.

— Ладно, не дуйся. — Он игриво шлепнул ее ладонью по бедру. — Ты готова тревожиться даже о тех парнях, которых не знаешь. — Ральф покачал головой и тихо засмеялся. — Кстати, о его секрете. Он еще не в курсе, что я знаю о нем, понимаешь? Поэтому лучше не болтай, иначе парень может обидеться.

— Какая жаркая ночь.

Она нервно провела пальцами по деревянным кольцам на своей руке.

— Не меняй темы, Эйми. Он скоро придет. Ему даже дождь не помеха.

Она отступила на шаг, но Ральф ухватил ее за локоть.

— Чего ты боишься, глупенькая? Неужели тебе не интересно посмотреть на причуды карлика? Тихо, девочка! Кажется, это он.

Ральф повернулся к окну. Тонкая и маленькая волосатая рука положила на билетную полку монету в десять центов. Высокий детский голос попросил один билет, и Эйми, сама того не желая, пригнулась, чтобы посмотреть на странного посетителя.

Карлик бросил на нее испуганный взгляд. Этот черноглазый, темноволосый уродец напоминал человека, которого сунули в давящий пресс, отжали до блеклой кожурой, а потом набили ватой — складку за складкой, страдание за страданием, пока поруганная плоть не превратилась в бесформенную массу с распухшим лицом и широко раскрытыми глазами. И эти глаза, должно быть, не закрывались и в два, и в три, и в четыре часа ночи, несмотря на теплую постель и усталость тела.

Ральф надорвал желтый билет и лениво кивнул:

— Проходите.

Будто испугавшись приближавшейся бури, карлик торпливо поднял воротник черной куртки и вперевалку зашагал по коридору. Десять тысяч смущенных уродцев замелькали в зеркалах, как черные суетливые жуки.

— Быстрее!

Ральф потащил Эйми в темный проход за зеркалами. Она почувствовала его руки на своей талии, а потом перед ней возникла тонкая перегородка с маленьким отверстием для подглядывания.

— Смотри, смотри, — хихикал он. — Только не смейся громко.

Она нерешительно взглянула на него и прижала лицо к стене.

— Ты видишь его? — прошептал Ральф.

Эйми кивнула, стараясь унять гулкие удары сердца. Карлик стоял посреди небольшой голубой комнаты — стоял с закрытыми глазами, предвкушая особый для него момент. Он медленно приоткрыл веки и посмотрел на большое зеркало, ради которого приходил сюда каждую ночь. Отражение заставило его улыбнуться. Он подмигнул ему и сделал несколько пируэтов, величаво поворачиваясь, пригибаясь и медленно пританцовывая.

Зеркало повторяло его движения, удлиняя тонкие руки и делая тело высоким, красивым и стройным. Оно повторяло счастливую улыбку и неуклюжий танец, который позже закончился низким поклоном.

— Каждую ночь одно и то же! — прошептал Ральф. — Забавно, правда?

Она обернулась и молча посмотрела на его тонкий, искривленный в усмешке рот. Не в силах противиться любопытству, Эйми тихо покачала головой и вновь прижалась лицом к перегородке. Она затаила дыхание, взглянула в отверстие, и на ее глазах появились слезы.

А Ральф толкал ее в бок и шептал:

— Что он там делает, этот маленький урод?

Через полчаса они сидели в билетной будке и пили кофе. Перед уходом карлик снял шляпу и направился было к окошку, но, увидев Эйми, смутился и зашагал прочь.

— Он что-то хотел сказать.

— Да. И я даже знаю, что именно, — лениво ответил Ральф, затушив сигару. — Парнишка застенчив, как ребенок. Однажды ночью он подошел ко мне и пропищал своим тонким голоском: «Могу поспорить, что эти зеркала очень дорогие». Я сразу смекнул, к чему он ведет, и ответил, что зеркала безумно дорогие. Коротышка думал, что у нас завяжется разговор. Но я больше ничего не сказал, и он отправился домой. А на следующую ночь этот придурок заявил: «Могу поспорить, что такие зеркала стоят по пятьдесят или даже по сто баксов». Представ-

ляешь? Я ответил, что так оно и есть, и продолжал раскладывать пасьянс...

— Ральф... — тихо сказала Эйми.

Он взглянул на нее и с удивлением спросил:

— Почему ты так на меня смотришь?

— Ральф, продай ему одно из своих запасных зеркал.

— Слушай, девочка, я же не учу тебя, как вести дела в твоём аттракционе с кольцами.

— А сколько стоят такие зеркала?

— Я достаю их через посредника за тридцать пять баксов.

— Почему же ты не скажешь этому парню, куда он может обратиться за покупкой?

— Эйми, тебе просто не хватает хитрости.

Ральф положил руку на ее колено, но она сердито отодвинулась.

— Даже если я назову ему адрес поставщика, он не станет покупать это зеркало. Ни за что на свете! Пойми, он застенчив, как дитя. Если парень узнает, что я видел его кривляние в комнате Чокнутого Луи, он больше сюда не придет. Ему кажется, что он, как и все другие, бродит по лабиринту и что зеркало не имеет для него никакого значения. Но это обычный самообман! Карлик появляется здесь только по ночам, когда поток посетителей убывает и он остается в комнате один. Бог его знает, чем он тешит себя в праздничные дни, когда у нас полным-полно народа. А ты подумай, как сложно ему купить такое зеркало. У него нет друзей, и даже если бы они были, он не осмелился бы просить их о подобной покупке. Чем меньше рост, тем больше гордость. Он ведь и со мной заговорил только потому, что я единственный, кто смыслит в кривых зеркалах. И потом, ты же видела его — он слишком беден, чтобы тратить на такие вещи. В нашем чертовом мире работу найти нелегко, особенно карлику. Наверное, живет на какое-то нищенское пособие, которого едва хватает на еду и парк аттракционов.



— Какая ужасная участь! Мне так его жаль. — Эйми опустила голову, скрывая набежавшие слезы. — Где он живет?

— На Ганджес-Армс, в портовом районе. Там комнаты метр на метр — как раз для него. А почему ты спрашиваешь?

— Влюбилась. Мог бы и сам догадаться.

Он усмехнулся, прикусив желтыми зубами незажженную сигару.

— Эйми, Эйми! Вечно ты со своими шуточками...

Теплая ночь переросла в горячее утро, а затем в пылающий полдень. Море казалось голубым покрывалом, усыпанным блестками и крошевом битого стекла. Эйми шла по многолюдной набережной, прижимая к груди пачку выгоревших на солнце журналов. Свернув на пирс, она подбежала к павильону Бэнгарта и, открыв дверь, закричала в жаркую темноту:

— Ральф? Ты здесь? — Ее каблучки застучали по деревянному полу за зеркалами. — Ральф? Это я!

Кто-то вяло зашевелился на раскладушке.

— Эйми?

Ральф сел и включил тусклую лампу на туалетном столике. Протерев полусонные глаза, он покосился на нее и сказал:

— Ты выглядишь как кошка, слопавшая канарейку.

— Я кое-что узнала об этом маленьком человечке.

— О карлике, милая Эйми, об уродливом карлике. Маленькие человечки появляются из наших яичек, а карлики рождаются из gland...

— Ральф! Я только что узнала о нем потрясающую вещь!

— О боже, — пожаловался он своим рукам, словно призывал их в свидетели. — Что за женщина! Я бы и двух центов не дал за какого-то мелкого гаденыша...

— Ральф! — Она раскрыла журнал, и ее глаза засияли. — Он писатель! Подумай только! Писатель!

— Слишком жаркий денек, чтобы думать.

Он снова лег на раскладушку и с игривой улыбкой осмотрел ее фигуру.

— Я прошлась сегодня утром по Ганджес-Армс и встретила мистера Грили — знакомого продавца. Он сказал, что мистер Биг<sup>1</sup> печатает на машинке и днем и ночью.

— У этого карлика такая фамилия?

Ральф начал давиться смехом.

— Рассказы писателей часто связаны с их реальной жизнью, — продолжала Эйми. — Я нашла одну из его историй в прошлогоднем журнале, и знаешь, Ральф, какая мысль пришла мне в голову?

— Отстань. Я хочу спать.

— У этого парня душа огромная, как мир; в его воображении есть то, что нам даже и не снилось!

— Почему же он тогда не пишет для больших журналов?

— Наверное, боится или еще не понимает, что это ему по силам. Так всегда бывает — люди не верят в самих себя. Но если он когда-нибудь наберется храбрости, уверяю тебя, его рассказы примут где угодно.

— Так ты думаешь, он богат?

— Вряд ли. Известность приходит медленно, и он сейчас, скорее всего, довольствуется жалкими грошами. Но кто из нас не сидел на мели? Хотя бы немного? А как, должно быть, трудно пробиться в люди, если ты такой маленький и живешь в дешевой однокомнатной конуре...

— Черт! — прорычал Ральф. — Ты говоришь как бабушка Флоренс Найтингейл.

Она полистала журнал и нашла нужную страницу.

<sup>1</sup> Большой (англ.).

— Я прочитаю тебе отрывок из его детективной истории. В ней говорится об оружии и крутых парнях, но рассказ идет от лица карлика. Наверное, издатели даже не знали, что автор писал о себе. Ах, Ральф, прошу тебя, не закрывай глаза. Послушай! Это действительно интересно.

И она начала читать вслух:

— «Я карлик. Карлик-убийца. Теперь эти два понятия уже неразделимы. Одно стало причиной другого.

Я убил человека, когда мне исполнился двадцать один год. Он издевался надо мной: останавливал на улице, поднимал на руки, чмокал в лоб и баюкал, напевая «баюшки-баю». Он тащил меня на рынок, бросал на весы и кричал: «Эй, мясник! Взвесь мне этот жирный кусочек!»

Теперь вы понимаете, почему я погубил свою жизнь и пошел на убийство? И все из-за этого ублюдка, терзавшего мою душу и плоть!

Мои родители были маленькими людьми, но не карликами — вернее, не совсем карликами. Доходы отца позволяли нам жить в собственном доме, похожем на белое свадебное пирожное безе: крохотные комнаты, миниатюрные картины и мебель, камней и янтарь с комарами и мухами — все маленькое, малюсенькое, микроскопическое! Мир гигантов оставался вдаль, как шум машин за высокой садовой стеной. Мои несчастные мама и папа! Они делали все, что могли, и берегли меня, словно фарфоровую вазу — единственную драгоценность в их муравьином мире, с домиком-ульем, дверцами для жуков и окнами для бабочек. Лишь теперь я понимаю гигантские размеры их психоза. Им казалось, что они будут жить вечно, оберегая меня, как мотылька, под стеклянным колпаком. Но сначала умер отец, а потом сгорел наш дом — это маленькое гнездышко с зеркалами, похожими на почтовые штампы, и шкафами, которые напоминали своими размерами солонку. Мама не успела убежать при пожаре, и я остался один на пепелище родного крова, брошенный в мир чудовищ неудержимым оползнем

реальности. Жизнь подхватила меня и закрутила в водовороте событий, унося на самое дно общества, в эту мрачную зияющую пропасть.

Мне потребовался год, чтобы привыкнуть к миру людей: на работу меня не принимали, и казалось, что на всем свете не было места для такого, как я. А потом появился Мучитель... Он нацепил мне на голову детский чепчик и закричал своим пьяным друзьям: «Я хочу познакомиться вас со своей малышкой!»

Эйми замолчала и смахнула слезу, бежавшую по щеке. Ее рука дрожала, когда она передавала Ральфу журнал.

— Почитай! Это его жизнь! Это история убийства! Теперь ты понимаешь, что он человек? Маленький и сильный человек!

Ральф отбросил журнал в сторону и лениво прикурил сигару.

— Мне нравятся только вестерны.

— Но ты должен это прочитать. Ему нужен человек, который мог бы поддержать его в такое трудное время. Он настоящий писатель, однако парня надо в этом убедить.

Ральф с усмешкой склонил голову набок:

— И кто же это сделает? Ты и я? Небесные посланники Спасителя?

— Не говори со мной таким тоном!

— А ты тогда пошевели мозгами, черт возьми! Тебе захотелось понянчить его на своей груди, но он уже сыт по горло этой дешевой жалостью. Как только ты появишься у него со слезами и слюнями, он выставит тебя за дверь, и правильно сделает.

Она задумалась над его словами, стараясь рассмотреть вопрос со всех сторон.

— Не знаю, Ральф. Возможно, ты прав. Но это не только жалость. Хотя он действительно может понять меня как-то неверно, и я должна быть предельно осторожна.

Он встряхнул ее и по-дружески ущипнул за щеку.

— Отстань от него, Эйми, я тебя прошу. Ты ничего не получишь, кроме проблем и неприятностей. Я еще никогда не видел, чтобы ты так заводилась. Давай лучше сделаем себе хороший день: пообедаем, поболтаем немного, прокатимся по побережью до какого-нибудь маленького городка и поужинаем в ресторане с первоклассным шоу. Черт с ним, с этим карнавалом, а? Один хороший день и никаких забот! Я тут припас на такой случай небольшую сумму.

— Понимаешь, он другой, — ответила Эйми, всматриваясь в темноту. — Он такой, какими мы уже никогда не будем — ни ты, ни я, ни остальные на этом пирсе. Как странно, правда? Судьба дала ему тело, которое годится только для карнавальных забав, но он сумел пробиться в люди. А мы получили все, чтобы не торчать в балаганах, и тем не менее оказались здесь, на этом проклятом пирсе. Иногда мне кажется, что от нас до берега миллионы миль. Мы смеемся над его телом, но у него есть мозги, и он может создавать в своих книгах чудесные миры, которые нам даже не снились.

— Черт, ты даже меня не слушала, — возмутился Ральф, вскакивая с раскладушки.

Она сидела, опустив голову, и ее руки, сложенные на коленях, сотрясала мелкая дрожь. Голос Ральфа казался далеким, как морской прибор.

— Мне не нравится этот взгляд на твоём лице, — произнес он с тяжелым вздохом.

Эйми медленно открыла кошелек и, вытащив оттуда несколько смятых банкнот, начала их пересчитывать.

— Тридцать пять. Сорок долларов. Наверное, хватит. Я собираюсь позвонить Билли Файну и попросить его отправить одно из кривых зеркал на Ганджес-Армс для мистера Бига.

— Что?

— Ты только подумай, Ральф, как он обрадуется, когда получит это зеркало. Он поставит его в своей комнате и будет пользоваться им когда захочет. Я могу позвонить по твоему телефону?

— Делай что хочешь. Черт возьми, ты просто рехнулась!

Он повернулся и зашагал по коридору. Чуть позже хлопнула дверь.

Эйми подождала еще несколько секунд, потом подняла трубку и с болезненной медлительностью начала накручивать телефонный диск. Перед последней цифрой она затаила дыхание и, закрыв глаза, представила, как тяжело и грустно живется в этом мире маленьким людям. А как, наверное, приятно получить в подарок большое зеркало — зеркало для твоей комнаты, где ты можешь любоваться своим большим отражением, писать рассказы и не покидать уютных стен до тех пор, пока тебе этого не захочется. Но возможна ли такая чудесная иллюзия на нескольких квадратных метрах жилья? Что она принесет ему: радость или печаль, страдание или помощь? Она смотрела на телефон и мечтательно кивала. По крайней мере, за ним перестанут подсматривать. Ночь за ночью, поднимаясь в три или четыре часа, он будет танцевать и улыбаться, кланяться и махать себе руками — высокий-высокий, красивый и мужественный в этом сияющем зеркале.

Голос в трубке ответил:

— Билли Файн слушает.

— О, Билли! — воскликнула она.

И снова ночь опустилась на пирс. Темный океан вздыхал и ворочался, осыпая брызгами деревянный настил. Ральф застыл в своей будке, как восковая фигура. Он навис над картами с приоткрытым ртом, и пирамида окурков у его локтя становилась все больше и больше. Пройдя под паутиной голубых и красных ламп, Эй-

ми улыбнулась и помахала ему рукой. Но он, казалось, не замечал ее приближения. Его холодный взгляд застыл на разложенных картах.

— Привет, Ральф, — сказала она.

— Что нового в делах Амура? — спросил он, поднося ко рту грязный бокал с холодной водой. — Как поживают Чарли Бойер и Кэри Грант?

— Посмотри, я купила себе новую шляпку, — улыбаясь, ответила она. — У меня сегодня прекрасное настроение! И знаешь почему? Завтра утром Билли Файн отправит писателю зеркало! Ты только представь лицо этого парня!

— Я не так силен в воображении.

— Ты дуешься на меня, словно я собираюсь выйти за него замуж.

— А почему бы и нет? Будешь носить его с собой в чемодане. Тебя спросят: «Где твой муж?» — а ты откроешь крышку и скажешь: «Вот он, голубчик!» Это как серебряный кларнет. В час раздумий ты будешь вытаскивать его из футляра и, немного поиграв, укладывать назад. Только не забудь поставить туда маленькую коробочку с песком.

— И все равно я чувствую себя прекрасно, — ответила Эйми.

— Твоя благотворительность похожа на пощечину. — Поджав губы, Ральф мрачно посмотрел на карты. — Я знаю, с чего все началось. Ты решила наказать меня за то, что я подсматривал за этим карликом. Теперь он получит свое зеркало, а я — пинок под зад. Такие, как ты, всегда перебежали мне дорогу, отнимая маленькие радости и лишая жизнь удовольствий.

— Тогда больше не зови меня к себе на выпивку. Терпеть не могу жалобы слабаков!

Ральф тяжело вздохнул и тихо прошептал:

— Ах, Эйми, Эйми. Неужели ты думаешь, что чем-то сможешь этому парню? Он проклят своей судьбой, и ты напрасно убеждаешь себя в обратном. Я знаю, что у тебя

на уме. «Пусть меня считают душой, но мой подарок сделает его счастливым». Верно?

— Я готова на все, если моя глупость принесет кому-то искреннюю радость, — ответила она.

— О боже, избавь меня от таких благодетелей...

— Замолчи! — закричала Эйми и закрыла лицо руками. — Замолчи! Замолчи!

После нескольких минут напряженного безмолвия Ральф отодвинул в сторону запятнанный стакан и поднялся.

— Ты посидишь за меня в будке? Мне надо отлучиться по делам.

— Ладно, иди. Я посижу.

Она увидела, как тысячи холодных отражений замелькали среди зеркал по стеклянным коридорам — тысячи поджатых губ и скрюченных в гневе пальцев. Эйми сидела, вслушиваясь в тиканье старых настенных часов. Внезапно по ее телу пробежала дрожь. Она попыталась успокоиться, раскладывая пасьянс. Но озноб усиливался с каждой минутой. В глубине лабиринта застучал молоток, потом раздалось странные протяжные звуки. Она ждала, задыхаясь от страха и наступившей тишины. В освещенном проходе зашевелились ряды отражений. Они возникали и исчезали, подпрыгивали и сгибались, пока Ральф шел среди зеркал, разглядывая ее напуганную фигуру. Когда он подошел к двери, Эйми услышала его тихий смех.

— Что тебя так развеселило? — осторожно спросила она.

— Слушай, милочка, — ответил Ральф, — мы же не хотим поссориться, правда? Значит, завтра мистер Биг получит от Билли большое зеркало?

— Ты решил устроить какую-то пакость?

— О нет! Зачем мне это?

Забрав у нее карты, он вышел из будки. Его лицо сияло от удовольствия; проворные руки быстро тасовали ко-



лоду. Остановившись у двери, Эйми смущенно смотрела на отрешенную ухмылку Ральфа. Ее правый глаз начал подергиваться, и она прижала пальцем нижнее веко. Старые часы отмеряли минуты. У стен пирса шумели волны, и воздух казался густым от влажной духоты и низких облаков. Далеко над морем змеились вспышки молний.

— Ральф, — прошептала она.

— Успокойся, Эйми, — ответил он.

— Я о той поездке по побережью, которую ты мне предлагал...

— Можем поехать хоть завтра... или через месяц, — произнес он. — Или через год. Старина Ральф Бэнгарт терпеливый парень. Я ни о чем не тревожусь. Вот, смотри. — Он протянул руку к ее лицу. — Я абсолютно спокоен.

Она подождала, пока над морем не утих раскат грома.

— Прости, если я тебя расстроила. Только не надо делать ничего плохого. Обещай мне это, Ральф.

В лицо пахнуло запахом дождя. Порыв прохладного ветра закружил обрывки карнавальных лент. В будке тикали часы, и Эйми кусала губы, наблюдая за картами, которые мелькали в руках Ральфа. Из тира доносились выстрелы и звон падавших мишеней.

А потом появился он.

Каряк шел по безлюдной набережной, и его маленькое тело раскачивалось из стороны в сторону. В свете уличных фонарей смуглое лицо Бига казалось маской боли, как будто каждое движение требовало от него невероятных усилий. Когда он свернул на пирс, у Эйми забилося сердце. Ей хотелось подбежать к нему и закричать: «Это твоя последняя ночь, и больше никто не будет подсматривать за тобой!» Ей хотелось плакать и смеяться; ей хотелось сказать это Ральфу в лицо. Но она промолчала.

— О, кого мы видим! — воскликнул Ральф. — Сегодня вход бесплатный! Специально для старых клиентов!

Карлик взглянул на него снизу вверх, испуганно отступил на шаг, и в его маленьких черных глазах отразилось замешательство. Зашептав слова благодарности, он поднял руку и начал натягивать горлышко свитера на дрожащий подбородок. Другая рука сжимала серебряную монетку. Осмотревшись по сторонам, он быстро кивнул и вошел в зеркальный коридор. Тысячи перекошенных мукой лиц замелькали на стеклянных стенах лабиринта.

— Ральф, — прошептала Эйми, вцепившись в его локоть. — Что ты задумал?

— Решил поиграть в благотворительность, — с усмешкой ответил он.

— Ральф!

— Тихо! Слушай!

Они замерли в теплой тишине билетной будки, и через пару минут в глубине лабиринта послышался крик.

— Ральф!

— Ты думаешь, это все? — ответил он. — Послушай, что будет дальше!

Раздался еще один крик, за которым последовали горькие рыдания и стремительный топот. Судя по звукам, карлик налетал на зеркала, отскакивал от них и, истерично завывая, метался в тупиках лабиринта. Когда он выскочил в коридор, Эйми отшатнулась, увидев его широко открытый рот и дрожащие щеки, по которым стекали слезы. Мистер Биг пронесся мимо нее в пылавшую молниями ночь и, затравленно осмотревшись, побежал по пирсу.

— Что ты сделал, ублюдок?

Ральф корчился от хохота и хлопал себя ладонями по ляжкам. Она ударила его по щеке.

— Что ты сделал?

Он не мог перестать смеяться.

— Идем. Я все тебе покажу.

Они шли по лабиринту раскаленных добела зеркал, и тысячи пятен ее губной помады казались красными огоньками, сиявшими в серебряной пещере. С обеих сторон мелькали сотни истеричных женщин, за которыми крались хищные фигуры мужчин с искривленными ртами.

— Идем, идем, — шептал он за ее спиной.

Они вошли в небольшую комнату, заполненную запахом пыли.

— О боже! Ральф, что ты наделал?

Это была заветная комната, которую карлик посещал каждую ночь в течение целого года. Он входил сюда, как в святилище, с закрытыми глазами, предвкушая чудесный миг, когда его уродливое тело станет большим и красивым.

Прижимая руки к груди, Эйми медленно подошла к зеркалу.

Оно было другим. Оно превращало людей в крохотных и скорченных чудовищ — даже самых высоких, самых прекрасных людей. И если новое зеркало придавало Эйми такой жалкий и отвратительный облик, что же оно сделало с карликом — этим напуганным маленьким существом?

Она повернулась к Ральфу и с упреком взглянула ему в глаза:

— Зачем? Зачем ты так?

— Эйми! Вернись!

Но она уже бежала мимо зеркал. Из-за жгучих слез ей было трудно найти дорогу, и она почти не помнила, как оказалась на ночном пирсе. Не зная, в какую сторону идти, Эйми остановилась. Ральф схватил ее за плечи и развернул к себе. Он что-то говорил, но его слова походили на бормотание за стеной гостиничного номера. Голос казался далеким и незнакомым.

— Замолчи, — прошептала она. — Я не хочу тебя слушать.

Из тира выбежал мистер Келли.

— Эй, вы не видели тут маленького паренька? Подлец стащил у меня заряженный пистолет. Вырвался прямо из рук! Я вас прошу, помогите мне его найти!

Он побежал дальше, выискивая воришку между брезентовых шатров под гирляндами синих, красных и желтых ламп. Эйми медленно пошла за ним следом.

— Куда ты направилась?

Она посмотрела на Ральфа как на незнакомца, с которым случайно столкнулась в дверях магазина:

— Надо помочь Келли найти этого парня.

— Ты сейчас ни на что не способна.

— И все же я попытаюсь... О господи! Это моя вина! Зачем я звонила Билли Файну? Если бы не зеркало, ты бы так не злился, Ральф! Зачем я покупала это проклятое стекло! Мне надо найти мистера Бига! Найти во что бы то ни стало! Даже если это будет последним делом в моей жалкой и никому не нужной жизни!

Утирая ладонями мокрые щеки, Эйми повернулась к зеркалам, которые стояли у входа в «лабиринт». В одном из них она увидела отражение Ральфа. Из ее груди вырвался крик. Но она продолжала смотреть на зеркало, очарованная тем, что предстало ее глазам.

— Эйми, что с тобой? Куда ты...

Он понял, куда она смотрит, и тоже повернулся к зеркалу. Его глаза испуганно расширились. Ральф нахмурился и сделал шаг вперед.

Из зеркала на него шурился гадкий и противный маленький человечек, не больше двух футов ростом, с бледным и вдавленным внутрь лицом. Безвольно опустив руки, Ральф с ужасом смотрел на самого себя.

Эйми начала медленно отступать назад. Повернувшись на каблуках, она зашагала к набережной, потом не выдержала и перешла на бег. И казалось, что теплый ветер нес ее на своих крыльях по пустому пирсу — навстречу свободе и крупным каплям дождя, которые благословляли это бегство.

## СЛЕДУЮЩИЙ

Окна выходили на некое подобие городского сквера — надо сказать, довольно жалкое подобие. Впрочем, некоторые его составные части освежали зрелище: эстрада, чем-то напоминающая коробку из-под конфет (по четвергам и воскресеньям какие-то люди раздражались здесь громкой музыкой), ряды бронзовых скамеек, богато украшенных всякими позеленевшими излишествами и завитками, а также прелестные дорожки, выложенные голубой и розовой плиткой: голубой, как только что подведенные женские глазки, и розовой, как тайные женские же мечты. Дополняли очарование остриженные на французский манер деревья с кронами в виде огромных шляпных коробок. В целом же, глядя из окна гостиницы, человек, не лишенный воображения, мог бы принять это место за какую-нибудь французскую виллу конца девятых годов. И конечно, ошибся бы. Все это находится в Мексике. Обычная plaza — площадь в маленьком колониальном городке, где в государственном оперном театре всего за два песо вам покажут замечательные фильмы: «Распутин и императрица», «Большой дом», «Мадам Кюри», «Любовное приключение» или «Мама любит папу».

Было раннее утро. Джозеф вышел на разогретый солнцем балкон и присел на колени перед решеткой. В руках он держал небольшой фотоаппарат «Брауни». Позади, в ванной, журчала вода, и голос Мари произнес:

— Что ты там делаешь?

— Снимаю, — пробормотал он себе под нос.

Она повторила вопрос. Щелкнув затвором, Джозеф поднялся на ноги, перевел кадр и, повернувшись к двери, сказал погромче:

— Снимаю! Городской сквер!.. Не пойму, зачем им понадобилось всю ночь шуметь? До полтретьего глаз не

сомкнул... Угроздило же приехать как раз в тот день, когда в местном «Ротари»<sup>1</sup> попойка...

— Какие у нас на сегодня планы? — спросила она.

— Пойдем посмотреть мумии, — ответил он.

— О господи... — вздохнула Мари, после чего в комнате повисла долгая пауза.

Он вошел, положил фотоаппарат и прикурил сигарету.

— Ну, если ты не хочешь, я сам поднимусь на гору и осмотрю их один.

— Да нет, — замялась она. — Лучше уж я пойду с тобой. Только я все думаю — на что они нам? Такой чудный городок...

— Смотри-ка! — вдруг воскликнул Джозеф, видимо заметив что-то краем глаза. В несколько шагов он оказался на балконе и замер там. В руке его дымилась забытая сигарета. — Иди же сюда, Мари!

— Я вытираюсь, — ответила она.

— Ну давай, побыстрее, — не унимался Джозеф, а сам как зачарованный смотрел куда-то вниз, на улицу.

За его спиной послышался шорох, который принес с собой аромат мыла, только что вымытого тела, мокрого полотенца и одеколona. Рядом с ним стояла Мари.

— Не двигайся, — сказала она. — Я спрячусь за тебя и буду выглядывать. Просто я голая... Ну, что у тебя там такое?

— Смотри, смотри!

По улице внизу двигалась какая-то процессия. Возглавлял ее человек, несущий поклажу на голове. За ним шли женщины в черных гебозо<sup>2</sup>; прямо на ходу они зубами срывали шкурки с апельсинов и плевали их на мостовую. Далее следовали мужчины, а за ними — стайка детей. Некоторые ели сахарный тростник, вгрызаясь в ко-

<sup>1</sup> Сеть клубов по всему миру для бизнесменов и представителей свободных профессий.

<sup>2</sup> Длинный мексиканский шарф.

ру, пока та не начинала трескаться, и тогда они кусками отламывали ее, чтобы добраться до вожделенной мякоти, а напоследок высосать сок из всех сухожилий. Всего в толпе было человек пятьдесят.

— Джо... — проговорила Мари за спиной у Джозефа и взяла его за руку.

Человек, возглавлявший процессию, нес на голове не простую поклажу. Накрытая сверху серебристым шелком с бахромой, она была еще украшена серебряными розочками. Мужчина бережно придерживал ее одной смуглой рукой, а другой размахивал при ходьбе.

Вне всякого сомнения, перед Мари и Джозефом были похороны, а поклажа являлась не чем иным, как маленьким гробиком.

Джозеф взглянул на жену.

Когда Мари только-только вышла из ванной, кожа ее была нежно-розовой, а теперь стала белой, как парное молоко. Сердце словно скатилось в какую-то пустоту внутри ее самой. Она совершенно забыла, что голая, и вышла на балкон, не отрывая взгляда от этой толпы жующих и что-то бормочущих людей. Некоторые из них даже сдавленно смеялись.

— Наверное, какая-то девчушка отправилась в мир иной — или мальчонка, — сказал Джозеф.

— А куда они тащат... ее?

Ее! Разумеется, Мари представилось, что это девочка, а не мальчик. И не просто девочка, а она сама, запечатанная в посылочный ящик, как недозрелые фрукты. И вот ее несут, зажатую в крошечной темноте, как персиковую косточку, руки отца касаются ее гроба, но изнутри это не видно и не слышно. Там, внутри, — только ужас и тишина...

— На кладбище — куда же еще? — ответил Джозеф, глядя на Мари сквозь облачко сигаретного дыма.

— Ты так уверенно говоришь, будто знаешь, на какое именно.

— А в таких городках всегда только одно кладбище. Здесь обычно не тянут с похоронами. Думаю, девчушка умерла всего несколько часов назад.

— Несколько часов... — Мари отвернулась — голая, жалкая, с мокрым полотенцем в поникших руках. И медленно двинулась к своей кровати. — Неужели... Всего несколько часов назад она была еще жива, и вот теперь...

Джозеф продолжил:

— Теперь ее скорее несут на гору. Неподходящий здесь климат для покойников. Жара, бальзамировать нечем. Вот и приходится им спешить.

— Но представь себе, какой ужас — то кладбище... — произнесла Мари совершенно замогильным голосом.

— Ах, ты о мумиях, — сказал он. — Да будет тебе страиваться.

Сидя на кровати, Мари машинально разглаживала полотенце у себя на коленях. Глаза ее казались не более зрячими, чем круглые коричневые соски груди. Она смотрела на Джозефа и не видела его. Щелкни он сейчас пальцами, кашляни — она даже не вздрогнула бы.

— Они едят фрукты прямо на ее похоронах. И смеются!

— Путь до кладбища неблизкий, да еще все время в гору.

Мари вдруг дернулась, словно рыба, которая заглотила крючок и пытается освободиться. Затем бессильно откинулась на подушку.

Джозеф посмотрел на нее долгим взглядом. Это был особый взгляд — так обычно разглядывают плохую скульптуру. Холодный, придирчивый и в то же время равнодушный... Ну да, конечно, его рукам знакомы все изгибы ее полнеющего и дряблого тела. Это уже далеко не то тело, которое он обнимал на заре их супружества, — оно изменилось, и изменилось непоправимо. Словно скульптор случайно пролил на упругую глину воды, превратив ее в бесформенную массу. Теперь сколько ни отогревай



ее в руках, сколько ни пытайся выпарить влагу, прежней ей уже никогда не стать. Да и откуда взяться теплу? Ведь лето — их лето — давно прошло. Теперь безжалостная вода вьелась в каждую клеточку ее тела, отяжелив груди, заставив обвиснуть кожу.

— Что-то я неважно себя чувствую, — сказала Мари и задумалась, словно пыталась понять, действительно ли это так. — Совсем неважно, — повторила она, но Джозеф ничего не ответил. Полежав еще пару минут, она приподнялась: — Давай не будем оставаться здесь еще на одну ночь, Джо.

— Городок такой живописный...

— Да, но ведь мы уже все осмотрели. — Мари встала. Она знала наперед, что он скажет. Что-нибудь веселое, бодрое и жизнерадостное — разумеется, фальшивое. — Можно поехать в Патцкуэро. Это рукой подать. Тебе даже вещи паковать не придется, милый, я все беру на себя! Остановимся в отеле «Дон-Посада». Говорят, там красивейшие места...

— Здесь, — перебил ее Джозеф, — здесь красивейшие места.

— ...и все дома увиты бугенвиллеей, — закончила Мари.

— Вон, — он показал на цветы на окне, — вон твоя бугенвиллея.

— А еще там можно порыбачить — ты же обожаешь рыбачить, — поспешно добавила Мари. — И я тоже буду рыбачить с тобой. Я научусь — правда научусь. Я так давно мечтала научиться рыбачить! Знаешь, у тарасканских индейцев раскосые глаза, и они почти не говорят по-испански... А оттуда мы можем отправиться в Паракутин — это недалеко от Урвапана, там делают замечательные лаковые шкатулки. О, это будет здорово, Джо!.. Все. Я начинаю собирать вещи. Постарайся понять меня и...

— Послушай, Мари...

Джозеф окликнул ее, и она остановилась, не добежав до двери ванной комнаты.

— А? — повернулась она.

— Разве не ты говорила, что неважно себя чувствуешь?

— Ну да, я. Я и правда чувствовала... чувствую себя неважно. Но стоит только подумать об этих замечательных местах...

— Да пойми же: мы не осмотрели и десятой части этого города, — с самым резонным видом начал он. — Там, на горе, есть статуя Морелоса — я собирался ее сфотографировать. Кроме того, дома французской постройки... Ну подумай: преодолеть столько миль, ехать сюда, добираться — а потом побыть всего один день и уехать! И потом, я уже заплатил за следующую ночь...

— Мы можем сделать возврат, — поспешно заверила его Мари.

— Ну почему ты так хочешь уехать отсюда? — с приторным простодушием, словно он говорил с ребенком, спросил Джозеф. — Тебе что, не нравится этот город?

— Да нет же, городок прелестный, — ответила Мари, изобразив улыбку на совершенно бледном лице. — Такой чистенький... гмм... зеленый.

— Ну вот и ладно, — порешил Джозеф. — Тогда остаемся еще на день. Обещаю: ты обязательно полюбишь эти места.

Мари начала что-то говорить, но замолкла.

— Что-что? — переспросил он.

— Да нет, ничего.

Она закрыла за собой дверь ванной. Было слышно, как Мари роется там в аптечке. Затем зашумела вода. Очевидно, она принимала какое-то желудочное средство.

Джозеф встал под дверью.

— Скажи... ты ведь не боишься мумий? — спросил он.

— Н-не, — промычала она.

— Значит, все из-за похорон?

— Угу.

— Имей в виду: если бы ты действительно боялась, я бы без всяких промедлений собрал чемодан — да-да, до-рогая.

Он дал ей время обдумать ответ.

— Да нет, я не боюсь, — сказала Мари.

— Вот и умница, — похвалил он.

Кладбище было обнесено толстой кирпичной стеной. В каждом из четырех углов ограды застыли в порыве на своих каменных крыльях грязноватого вида купидоны. Головы их были украшены шапочками из птичьего помета, которые на лбу плавно переходили в веснушки. На руках пестрели амулеты того же происхождения. Джозеф и Мари наконец поднялись на гору, увязая в горячих солнечных лучах, словно в тягучей жиже. За их спинами по земле стелились голубые тени. Впереди маячила железная решетка кладбищенских ворот. Чтобы открыть ее, им пришлось немало потрудиться.

Прошло всего несколько дней после празднования так называемого *Eli Dia de Muerte*, то есть Дня мертвых, и повсюду, словно безумные волосы, развевались ленточки, обрывки ткани и блестки — на торчащих тут и там могильных плитах, на резных, отполированных поцелуями распятиях и на гробницах, издали похожих на нарядные шкатулки для драгоценностей. Невысокие холмики все как один были посыпаны гравием. На некоторых застыли в ангельских позах статуи, на других возвышались огромные — в человеческий рост — каменные надгробия, щедро увешанные все теми же ангелочками. Отдельные плиты были такими непомерно широкими, что напоминали кровати, выставленные на просушку после ночной неожиданности. Во всех четырех стенах кладбища имелись встроенные ниши с гробами, обшитыми со всех сторон мрамором. Имена умерших либо вырезались прямо на камне, либо обозначались на жестяных табличках.

Кое-где сведения были снабжены дешевым портретиком, рядом с которым на гвоздике висела какая-нибудь безделушка — видимо, та самая, которую усопший больше всего любил при жизни. Здесь были серебряные брелоки, серебряные ручки и ножки (а также фигурки людей целиком), серебряные чашки, серебряные собачки, серебряные церковные медальоны, просто — обрывки красных и голубых лент... Встречались и целые картинки, написанные маслом по жести: покойник при помощи ангелов возносится на небо.

Приглядевшись к могилам, Джозеф и Мари заметили на них остатки недавней фиесты Смерти. Застывшие капли воска на камнях — видимо, от праздничных свечей. Вялые орхидеи, прилипшие к молочно-белым камням, как раздавленные красные пауки, — в некоторых из них, несмотря на убогость, было что-то ужасающе сексуальное. Повсюду валялись скрученные листья кактусов, прутики бамбука и тростника, мертвые плети дикого вьюна, засохшие венки из гардений и бугенвиллей... Так выглядит бальный зал после буйного веселья, когда все танцоры уже разъехались, оставив за собой покосившиеся столы, брызги конфетти, оплывшие свечи, ленты и пустые мечты...

Здесь, среди могильных плит и склепов, было тепло и тихо. В дальнем углу кладбища Джозеф и Мари увидели какого-то человека. Он был на редкость маленького роста — прямо коротышка, — довольно белокож для испанца, имел высокие скулы и носил очки с толстыми стеклами. Облик довершали черный пиджак, серые брюки без стрелок, серая шляпа и аккуратно зашнурованные ботинки. Коротышка с деловым видом расхаживал среди могил — словно что-то проверял, а может быть, следил за работой другого человека, который совсем неподалеку орудовал лопатой. При этом руки у него были засунуты в карманы, а под мышкой зажата сложенная вчетверо газета.

— Buenos días, señora y señor!<sup>1</sup> — сказал он, наконец обратив внимание на Джозефа и Мари.

— Это у вас тут las mommias<sup>2</sup>? — спросил Джозеф. — Скажите, они действительно существуют или это только легенда?

— Sí, существуют, — ответил мужчина. — И именно у нас. В катакомбах.

— Por favor, — сказал Джозеф. — Yo quiero veo las mommias, si?<sup>4</sup>

— Sí, señor.

— Me Español es mucho estúpido, es muy malo<sup>5</sup>, — извинился Джозеф.

— Да нет, что вы, señor. Вы прекрасно говорите! Сюда, пожалуйста.

Он провел их между двух увешанных цветами плит к большому надгробию, спрятанному в тени ограды. Широкое и плоское, оно, как и все остальные, было посыпано гравием, а в середине его имелась узкая деревянная дверь с висячим замком. Подалась дверь со скрипом, обнаружив под собой круглый люк с винтовой лестницей, уходящей под землю.

Джозеф не успел сделать и шага, как его жена поставила ногу на ступеньку.

— Подожди, — сказал он. — Давай я вперед.

— Да нет. Все в порядке, — одними губами проговорила Мари и тут же начала спускаться вниз по спирали, пока земля и темнота не поглотили ее. Двигалась она осторожно — ступеньки здесь были такие узенькие, что не сгодились бы даже ребенку. Стало совсем темно, и некоторое время она только по звукам шагов догадывалась, что смотритель идет за ней. Потом снова забрезжил свет,

<sup>1</sup> Добрый день, сеньора и сеньор! (исп.)

<sup>2</sup> Мумии (исп.)

<sup>3</sup> Да (исп.)

<sup>4</sup> Будьте любезны, я хотеть видеть мумии (исп.)

<sup>5</sup> Я говорить испанский очень плохо (исп.)

и наконец лестница вывела к длинному широкому коридору, стены которого были выкрашены белой краской.

Как оказалось, свет проникал сюда через небольшие готические окна, сделанные в сводчатом потолке. Высота стен говорила о том, что они углубились под землю футов на двадцать. Налево коридор тянулся пятьдесят футов, после чего упирался в стеклянную двустворчатую дверь, на которой было написано, что посторонним вход воспрещен. В правом же конце коридора возвышалась груда каких-то белых палочек и таких же белых гладких валунов.

— Это солдаты, которые сражались за отца Морелоса, — пояснил смотритель.

Они подошли к этому гигантскому складу поближе. Кости были уложены очень аккуратно — как дрова в поленище, а поверх них такими же ровными рядами лежали черепа.

— Лично я ничего не имею против черепов и костей, — сказала Мари. — По-моему, в них нет совершенно ничего человеческого. Честное слово, я совсем не боюсь черепов и костей. Они все какие-то... насекомоподобные. К примеру, ребенок растет и даже не знает, что у него внутри скелет; для него в костях нет ничего плохого и страшного. Так же и я. Я не вижу на них никаких следов человека. Никаких остатков, которые могли бы вызвать ужас. Они... они слишком гладкие, чтобы их бояться. Настоящий ужас — это когда видишь что-то знакомое, но настолько измененное, что едва его узнаешь. А этих я совсем не узнаю. Они для меня как были скелеты, так и остаются скелетами. То, что я знала в них, изменилось настолько, что совсем исчезло, — а значит, не на что смотреть и нечего бояться. Правда же, забавно?

Джозеф кивнул.

Мари совсем расхрабрилась:

— Ну ладно, теперь давайте посмотрим мумии.

— Сюда, сеньора, — вежливо направил ее смотритель.

Они отошли от груды костей и зашагали к запрещенной стеклянной двери. Получив от Джозефа свой песо, смотритель торжественно распахнул дверь, и взору их открылся еще один коридор — узкий и длинный, — по стенам которого стояли люди.

— Боже правый! — воскликнул Джозеф.

Они были похожи на первоначальные заготовки скульптора — каркасы, на которые нанесен лишь первый слой глины, слегка обозначивший мускулы. Сто пятнадцать незаконченных статуй.

Пергаментная кожа была натянута между костей, как белье для просушки. Разложение не тронуло их — просто внутри высохли все соки.

— Все дело в сухом климате, — пояснил смотритель. — Поэтому они так хорошо сохраняются.

— И сколько же они здесь простояли? — спросил Джозеф.

— Некоторые один год, некоторые — пять, некоторые — десять, а некоторые и все семьдесят — да-да, сеньор.

Одна только мысль об этом вызывала ужас. Достаточно было посмотреть направо — и взгляд упирался в первого, как и все остальные, прикрепленного к стене с помощью крюка и проволоки. Его отвратительный вид казался просто насмешкой по сравнению со следующим телом, которое определенно принадлежало женщине — хотя верилось в это с трудом. При взгляде на третьего стыла в жилах кровь, а у четвертой — тоже женщины — было такое лицо, словно она извинялась за то, что умерла и находится в таком странном месте.

— Но почему они здесь? — спросил Джозеф.

— Их родственники не заплатили ренту за могилы.

— А что, существует какая-то рента?

— Si, сеньор. Двадцать песо в год. Или, если вам угодно, вы можете занять постоянное место — но тогда извольте выложить сто семьдесят песо. Сами знаете, на-

родец тут у нас бедный — чтобы получить сто семьдесят песо, им приходится работать года два. Вот они и оставляют своих покойничков здесь. Ну конечно, первый год все платят двадцать песо и хоронят их в земле. Они-то надеются, что будут платить и на следующий год, и на последующий... Однако на следующий год вдруг оказывается, что совершенно необходимо купить нового осл. Или в семье появляется еще один лишний рот — а то и не один. А покойничек что — он ведь есть-то не просит. С другой стороны, и за плугом не ходит. А если, скажем, кто-то взял себе другую жену? Или у кого-то прохудилась крыша? В постель ведь мертвого не потянешь, и крышу он тоже не починит. Так на что люди скорее потратят свои денежки? А? То-то и оно...

— Ну и что дальше? — спросил Джозеф. — Ты слушаешь, Мари? — добавил он.

Мари считала тела. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь...

— Что-что? — еле слышно переспросила она.

— Ты слушаешь?

— Думаю, да... Э-э... Что ты сказал? Ах да, слушаю, конечно слушаю.

Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать...

— А дальше... дальше в конце первого года я вызываю *trabajando*<sup>1</sup>, он берет свою лопатку — и вперед. Откапывать. Знаете, на какую глубину мы их опускаем?

— Шесть футов? Насколько мне известно, это обычная глубина.

— А вот и не угадали, сеньор, а вот и не угадали. Поскольку мы почти что уверены, что ренту не заплатят, мы углубляемся всего на два фута. Так меньше возни, понимаете? Конечно, родственники умерших могут нас осуждать. Но мы делаем глубину и на три, и на четыре, и на

<sup>1</sup> Здесь: рабочий (исп.).



пять, и на шесть футов — в зависимости от достатка семьи и от вероятности, что нам придется вскрывать эту могилу и доставать из нее тело. Следовательно, на шесть футов мы копаем, только если совершенно уверены, что нам больше не придется выкапывать. И знаете — мы еще ни разу не ошибались, просчитывая денежные возможности людей. Ни одной вскрытой шестифутовой могилы!

Двадцать один, двадцать два, двадцать три... Губы Мари двигались почти беззвучно.

— Ну вот. А тела, которые выкопаны, размещают там, у стены — рядом с остальными *сопрайегос*<sup>1</sup>.

— И их родственники знают, что они там?

— *Si*. — Коротышка вытянул указательный палец. — Вот этот, *yo veo*?<sup>2</sup> Он из новеньких. Его *madre* у *padre*<sup>3</sup> знают, что он здесь. Да только есть ли у них деньги? То-то и оно, что нет.

— Какое ужасное горе для родителей!

— Ну что вы, им на это совершенно наплевать, — с подкупающей честностью ответил коротышка.

— Нет, ты только послушай, Мари!

— Что? — Тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре... — Ну да, совершенно наплевать.

— А если ренту все же заплатят — ну потом? — поинтересовался Джозеф.

— Тогда, — охотно ответил смотритель, — тела снова захоронят — на столько лет, за сколько будет заплачено.

— Прямо вымогательство какое-то... — пробормотал Джозеф.

Не вынимая рук из карманов, коротышка пожал плечами:

— Жить-то как-то надо.

<sup>1</sup> *Прятели (исп.)*.

<sup>2</sup> *Видите? (исп.)*

<sup>3</sup> *Мать и отец (исп.)*.

— Но вы же понимаете, никому не под силу выложить сразу такую сумму — сто семьдесят песо, — сказал Джозеф. — Значит, так вы и держите их на двадцати песо год за годом — хоть десять лет, хоть тридцать. А тем, кто не платит, грозите, что упечете их любезную мамасита<sup>1</sup> или піño<sup>2</sup> в катакомбы...

— Ну, жить-то как-то надо, — повторил коротышка. Пятьдесят один, пятьдесят два...

Мари шла по длинному коридору, вдоль стен которого рядами стояли мертвецы. И считала.

Они орали!

Казалось, они пытались вырваться из своих могил: их ссохшиеся руки были неистово сцеплены на груди, рты разинуты в крике, языки вывалены, ноздри напряжены...

Они словно застыли в этом крике.

Надо же, у всех до одного открытые рты. Какой-то нескончаемый вопль. Как будто они знают, что они мертвецы. Чувствуют каждой порой, каждым органом, каждым волоском.

Мари остановилась, чтобы услышать этот крик.

Говорят, собаки слышат звуки, недоступные человеческому уху. Людям кажется, что никаких звуков нет — а они на самом деле есть.

Коридор просто тонул, задыхался в крике. Вопили что есть сил вывернутые в ужасе губы, страшные ссохшиеся языки... Пусть и недоступно для человеческих ушей — но вопили!

Джозеф подошел к одному из тел поближе.

— Ну и ну.. — протянул он.

«Шестьдесят пять, шестьдесят шесть, шестьдесят семь», — считала Мари, окруженная немymi воплями.

— Вот интересный экземпляр, — заметил смотритель.

<sup>1</sup> Мамочка (исп.).

<sup>2</sup> Ребенок (исп.).

Перед ними была женщина — руки вскинуты к лицу, рот широко раскрыт (так что видны совершенно целые зубы), длинные волосы спутаны, а глаза похожи на голубоватые птичьи яйца.

— Да, такое иногда случается. Эта женщина страдала каталепсией. Однажды она упала замертво, но на самом деле не умерла — у них сердце продолжает биться, но так скрытно, что не разобрать. Ну вот, значит, ее и похоронили в недорогом, но очень добротном гробу...

— А вы что — не знали, что она страдает каталепсией?

— Ее сестры знали. Но на этот раз они подумали, что она действительно умерла. А хоронят у нас быстро — климат жаркий...

— Ее похоронили через несколько часов после смерти?

— Si, разумеется. И никто бы даже не узнал о том, что с ней произошло, если бы год спустя ее сестры — которым пришлось побережь деньги на другие покупки — не отказались платить ренту. Ну вот, мы и выкопали ящик, достали его, сняли крышку и заглянули внутрь...

Мари смотрела во все глаза.

Эта несчастная проснулась под землей. Она истошно визжала, билась в своем гробу, царапала крышку, пока не умерла от удушья — прямо в этой вот позе, с руками, вскинутыми к лицу, с разинутым ртом, с выпученными от ужаса глазами...

— Обратите внимание на ее руки, сейог, и сравните их с руками других, — продолжал смотритель. — У тех пальчики гладкие, все равно как розанчики. А у этой... скрюченные, растопыренные — сразу видно, что она пыталась выбить руками крышку!

— А может, тут виновато трупное окоченение?

— Уж поверьте мне, сейог, в трупном окоченении люди не колотят по крышкам гробов. И не кричат, и не выворачивают себе ногтей, и не вышибают локтями боко-

вых досок, в надежде получить хоть глоток воздуха. Не спорю, у других тоже разинуты рты — словно все они кричат, *si*. Но это лишь потому, что им не ввели бальзамирующее вещество. Их «крик» всего лишь результат сокращения мускулов. Тогда как вот эта *señorita* действительно кричала — ей досталась поистине *muerte horrible*<sup>1</sup>.

Шаркая туфлями, Мари подходила то к правой стороне, то к левой. Тела были голые — одежда уже давно сшелушилась с них, как сухие листья. Полные груди женщин походили на куски подошедшего теста. Толстые же бедра мужчин напоминали об узловатых изгибах увядших орхидей.

— Мистер Гримасоу и мистер Разиньрот, — сказал Джозеф и наставил объектив фотоаппарата на двух мужчин, которые словно бы мирно беседовали — рты их были приоткрыты, а руки застыли в выразительных жестах.

Щелкнул затвор. Джозеф перевел кадр и наставил объектив на другое тело. Снова щелкнул затвором, перевел кадр и перешел к следующему.

Восемьдесят один, восемьдесят два, восемьдесят три...

Отвалившиеся челюсти, высунутые, как у дразнящихся детей, языки, в круглых глазницах — воздетые к небу карие глаза с бледными белками... Острые, вспыхивающие искрами волоски на коже — они усеивают щеки, губы, веки, лоб. На подбородке, на груди и бедрах — густеют. Сухая пергаментная кожа, натянутая, как на барабане... Плоть, похожая на опару.. Необъятные женщины — смерть расплющила их, превратив в жирную, бесформенную массу. Безумные волосы торчат во все стороны, наподобие разоренного гнезда. Виден каждый зубик — у них прекрасные зубы.

Восемьдесят шесть, восемьдесят семь, восемьдесят восемь... Глаза Мари убегают вперед по коридору. Быстрее! Не останавливаться! Девяносто один, девяносто два, де-

<sup>1</sup> Ужасная смерть (*исп.*).

вяносто три! Вот мужчина со вспоротым животом — дыра такая огромная, что похожа на древесное дупло, в которое Мари бросала любовные письма, когда ей было лет одиннадцать. Заглянув в него, она увидела ребра, позвоночник и тазовые пластины. И снова — сухожилия, пергаментная кожа, кости, глаза, обросшие подбородки, застывшие, словно в изумлении, ноздри... Вот у этого разорван пупок — будто его пытались кормить пудингом прямо через чрево. Девяносто семь, девяносто восемь! Фамилии, названия городов, числа, месяцы, безделушки...

— Эта женщина умерла при родах!

К руке несчастной, словно куклу, подвесили на проволоке ее мертворожденное дитя.

— А это солдат — на нем еще сохранились остатки формы...

Глаза Мари металась от одной стены к другой... Вправо — влево, вправо — влево. От одного ужаса — к другому. От одного черепа — к новому. Словно зачарованная, смотрела она на мертвые, бесплотные, навсегда забывшие о любви чресла... Здесь были мужчины, странным образом превратившиеся в женщин. И женщины, превратившиеся в грязных свиней. Взгляд отскакивает от одного — и рикошетом перелетает к другому... От вздувшейся груди — к иступленному рту... От стены — к стене, от стены — к стене... Вот мяч в зубах у одного — он неистовым плевком перебрасывает его в когти к следующему — тот кидает его дальше — и мяч застревает меж темных набухших сосков... Публика неистовствует, кричит и свистит, глядя на этот страшный пинг-понг, где мячик-взгляд в ужасе отпшатывается от стен и все-таки, преодолевая отвращение, катится дальше сквозь строй подвешенных на крюки солдат смерти...

Вот и последний — теперь за спиной все сто пятнадцать, голоса их слились в единый вопль...

Мари рывком оглянулась и посмотрела назад, туда, где начиналась винтовая лестница, ведущая наружу. До

чего же изобретательна смерть! Сколько всевозможных выражений, поворотов, изгибов рук — и ни одно не повторяется... Они выстроились здесь, словно трубки гигантской каллиопы, вместо клапанов — разверстые рты. И эта каллиопа кричит, надрывается во все сто глоток разом — будто огромная сумасшедшая рука надавила сразу на все клавиши...

То и дело щелкал затвор фотоаппарата, и Джозеф переводил кадр. Щелк — перевел. Щелк — перевел...

Морено, Морелос, Сантина, Гоме, Гутиерре, Вилланусул, Урета, Ликон, Наварро, Итурби... Хорхе, Филомена, Нена, Мануэль, Хосе, Томас, Рамона... Этот — путешествовал, эта — пела, у того было три жены. Один умер от одной болезни, другой — от другой, третий — от третьей. Четвертого застрелили, пятого — пырнули ножом. Шестая просто упала за смертью. Седьмой умер от пьянства, восьмой — от любви. Девятый свалился с лошади, десятый кашлял кровью, у одиннадцатой остановилось сердце... Двенадцатый — тот любил посмеяться. Тринадцатый слыл прекрасным танцором. Четырнадцатая была первой красавицей. У пятнадцатой было десять детей. Шестнадцатый — один из этих детей, так же как и семнадцатая. Восемнадцатого звали Томас — он чудесно играл на гитаре. Следующие три выращивали маис. У каждого было по три любовницы! А двадцать второй никогда не знал любви. Двадцать третья продавала на площади перед оперным театром маисовые лепешки — прямо там же и выпекала их на маленькой угольной жаровне. А двадцать четвертый бил свою жену — теперь она, гордая и счастливая, разгуливает по городу с другим, а он стоит здесь, навсегда возмущенный такой несправедливостью... А двадцать пятый захлебнул в легкие несколько кварт воды из реки — его выуживали сетью... А двадцать шестой был великим мудрецом — только теперь его мозги сморщились, как сушеная слива...

— Хочу сделать цветные фотографии каждого из них. А также записать имена и кто от чего умер, — сказал Джозеф. — Из этого может получиться забавная книжонка. Только представьте себе: сначала краткая история чьей-то жизни — а потом фотография, как он уже стоит здесь.

Джозеф тихонько похлопывал тела по груди. Звук получался глухой, словно он стучался в двери.

Мари с трудом продиралась сквозь опутавшую коридор вязкую паутину воплей. Стараясь держаться ровно посерединке, она размеренно, не глядя по сторонам, шагала к винтовой лестнице. За спиной ее то и дело шелкал затвор фотоаппарата.

— И для новеньких место осталось, — сказал Джозеф.

— Sí, señor. Места здесь еще много.

— Да уж, не хотелось бы быть следующим... в вашем списке кандидатов.

— Эх, señor, кому ж этого хочется.

— А как насчет того, чтобы купить у вас одного... из этих?

— Что вы, что вы, señor! Нет, señor!

— Ну, я заплачу вам пятьдесят песо.

— Да нет же, нет, señor! Нет!

На рынке с шатких лотков продавали оставшиеся после фиесты Смерти леденцовые черепа. Женщины-продавицы, замотанные в черные rebozo, почти не разговаривали друг с другом, лишь изредка перекидывались словечками. Перед ними был разложен товар: сладкие скелетики, сахарные трупики и белые леденцовые черепушки. На каждом из черепов причудливыми буквами было выдавлено какое-нибудь имя: Кармен, или Рамон, или Тена, или Гуермо, или Роза. Стоило все дешево — праздник закончился. Джозеф заплатил песо и купил парочку черепов.

Мари стояла рядом с ним на узкой улочке и смотрела, как смуглолицая продавщица складывает в пакет леденцовые черепа.

— Только не это, — проговорила она.

— А почему бы и нет? — возразил Джозеф.

— После всего, что было там...

— В катакомбах?

Она кивнула.

— Но они же вкусные, — прищурился он.

— Не знаю... Вид у них довольно ядовитый.

— Только из-за того, что они сделаны в форме черепушек?

— Да нет. Просто они плохо проварены... К тому же ты не знаешь, кто их делал, — может, у этих людей вообще дизентерия.

— О господи, Мари. Да у всех мексиканцев дизентерия.

— Ну и ешь их сам! — огрызнулась она.

— Увы, бедный Йорик... — продекламировал Джозеф, заглядывая в пакет.

Они двинулись по узенькой улочке, зажатой между высокими домами, где рамы на окнах были выкрашены желтым. Из-за их розовых решеток пахло острым *tamale*<sup>1</sup> и слышался плеск воды по кафельному полу. Чирикала домашняя птичка в клетке из бамбука, кто-то исполнял на пианино Шопена.

— Надо же, здесь — и вдруг Шопен, — сказал Джозеф. — Потрясающе!.. Кстати, довольно интересный мост. Подержи-ка. — Он отдал жене пакет с леденцами и принялся фотографировать красный мост, соединяющий два белых здания, по которому шагала женщина в *сегаре* — ярко-красной мексиканской шали. — Прекрасно!

<sup>1</sup> Мексиканское блюдо: толченая кукуруза с мясом и красным перцем.



Мари шла и смотрела на Джозефа, потом отворачивалась от него — и снова смотрела. При этом губы ее беззвучно шевелились, шея была неестественно напряжена, а правая бровь слегка подергивалась. Мари то и дело перекладывала пакет с леденцами из одной руки в другую — точно несла ежа. Вдруг она споткнулась о бордюр, неловко взмахнула руками, вскрикнула и... уронила пакет.

— О господи! — Джозеф поспешно подхватил пакет с земли. — Посмотри, что ты наделала! Нескладеха!

— Нет, наверное, мне лучше было сломать лодыжку.. — пробормотала Мари.

— Это же были самые лучшие черепа — и ты их испортила. А я так хотел привезти их домой и показать друзьям...

— Прости меня, — еле слышно сказала она.

— Прости, прости!.. — с досадой выкрикнул Джозеф, мрачно заглядывая в пакет. — Черт-те что! Где я теперь найду такие? Нет, это просто невыносимо!

Поднялся ветер. На узенькой улочке не было ни души — только Мари и Джозеф, почти зарывшийся лицом в свой пакет. Никого. Только они вдвоем, вдалеке от всего мира, за тысячи миль отовсюду — откуда ни возьми... А вокруг — пустой, ничего не значащий для них город. И голая пустыня, над которой кружат ястребы.

Чуть впереди, на крыше оперного театра, сверкали фальшивым золотом греческие статуи. В какой-то пивнушке надрывался граммофон, чужие слова уносил ветер.

Джозеф закрутил верх пакета, чтобы тот не раскрылся, и с досадой сунул в карман.

Они как раз успели на гостиничный ланч к половине третьего.

Сидя за столиком напротив Мари, Джозеф молча зачерпывал ложкой альбондигасский суп. Пару раз Мари весело заговаривала с ним, указывая на настенные фрески, но он только хмуро смотрел на нее и молчал. Пакет с разбитыми черепами лежал рядом на столе...

— Señora...

Коричневая рука убрала со стола суповые тарелки. Вместо этого появилась большая тарелка с энчиладами<sup>1</sup>.

Мари подняла взгляд.

На тарелке лежало шестнадцать энчилад.

Она взяла в руки вилку и уже потянулась, чтобы взять себе одну штуку, но вдруг что-то ее остановило. Она положила вилку и нож по обеим сторонам тарелки. Оглянулась, посмотрела на расписные стены, затем на мужа... Взгляд ее снова вернулся к энчиладам.

Шестнадцать. Одна к одной — вплотную друг к другу. Длинный ряд...

Мари принялась считать их.

Один, два, три, четыре, пять, шесть.

Джозеф выложил одну на тарелку и съел.

Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать.

Она спрятала руки на коленях.

Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать.

Мари закончила считать.

— Я не хочу есть, — сказала она.

Джозеф положил перед собой еще одну энчиладу. Начинка, запеленутая в тонкую, как папирус, кукурузную лепешку. Вот он отрезает кусочек и кладет в рот... Мари мысленно представила себе, как этот кусочек пережевывается у него во рту, смачивается слюной, хрустит, — и зажурилась.

— Ты чего? — спросил он.

— Ничего, — сказала она.

Осталось еще тринадцать энчилад — они были похожи на маленькие посылки или конвертики с младенцами...

Джозеф съел еще пять.

— Что-то мне нехорошо, — сказала она.

<sup>1</sup> Блинчики с острой мясной начинкой.

— Ела бы нормально — и все.

— Не хочу.

Он покончил с энчиладами и, открыв пакет, достал оттуда один из полураздавленных черепов.

— Может быть, не надо здесь?

— Почему это еще? — Джозеф смачно откусил одну из глазниц и принялся жевать. — А они ничего, — сказал он, перекатывая леденец на языке. После этого отхватил еще один кусок. — Очень даже ничего.

Она вдруг заметила выдавленное на черепе имя.

Там было написано «Мари».

Это надо было видеть, как она собирала чемоданы — свой и его. Бывает, в спортивных репортажах кадры прокручивают наоборот: например, только что спортсмен прыгнул с трамплина в воду — и вот он уже запрыгивает задом наперед обратно, на спасительный трамплин. Так и сейчас на глазах у Джозефа вещи словно сами собой залетали обратно в чемоданы: пиджаки — в один, платья — в другой... Перед тем как юркнуть в коробки, в воздухе птицами парили шляпы... Туфли, словно мыши, разбежались по полу и исчезали в норках. Наконец чемоданы закрыли свои пасти, клацнули замки и повернулись ключи. Все.

— Ну вот! — воскликнула Мари. — Все запаковано! Боже мой, Джо, как я счастлива, что мне удалось тебя уговорить.

Подхватив чемоданы, она засеменила к двери.

— Подожди, дай я помогу, — сказал он.

— Да нет, мне не тяжело, — покачала головой она.

— Но ты же никогда не носила чемоданы. И не надо.

Я позову посыльного.

— Ерунда, — проговорила Мари, задыхаясь от тяжести.

Уже на выходе из номера мальчишка-посыльный все же выхватил у нее чемоданы с криком:

— Señora, por favor!<sup>1</sup>

— Мы ничего не забыли? — Джозеф заглянул под обе кровати, после чего вышел на балкон и внимательно оглядел сквер. Зашел обратно, осмотрел ванную, секретер и даже умывальник. — Ну вот, — сказал он и с торжествующим видом вынес что-то в руке. — Ты забыла свои часы.

— Неужели? — Мари торопливо надела их и вышла за дверь.

— Не понимаю... — проворчал Джозеф. — Какого черта мы выезжаем в такую позднотищу?

— Но еще ведь только полчетвертого, — сказала она. — Всего лишь полчетвертого...

— Все равно не понимаю, — повторил он.

Оглядев в последний раз комнату, Джозеф вышел, прикрыл дверь, запер ее и, поигрывая ключами, стал спускаться вниз.

Мари уже ждала его в машине. Она прекрасно устроилась на переднем сиденье — и даже успела расправить на коленях плащ. Джозеф проследил, чтобы в багажник загрузили остатки багажа, а затем подошел к передней двери и постучал. Мари открыла и впустила его.

— Ну вот, сейчас-то мы и поедem! — воскликнула она со смехом, и глаза ее озорно блеснули на раскрасневшемся лице. Она даже вся подалась вперед — будто от этого движения машина могла тронуться сама собой. — Спасибо тебе, дорогой, что разрешил сделать возврат денег за сегодняшнюю ночь. Думаю, они нам еще пригодятся в Гвадалахаре. Спасибо!

— Угу, — пробурчал он в ответ.

Затем вставил ключ зажигания и надавил на стартер. Машина не завелась.

Тогда Джозеф снова нажал на стартер. Рот Мари болезненно дернулся.

<sup>1</sup> Сеньора, будьте любезны! (исп.)

— Наверное, надо прогреть, — сказала она. — Ночью было холодно...

Он попробовал снова. Никакого результата.

Мари вцепилась в свои колени.

Джозеф попытался завестись еще не менее шести раз, после чего бессильно откинулся назад.

— Гмм...

— Попробуй еще разок. Должно заработать, — попросила она.

— Без толку, — сказал он. — Какая-то поломка.

— И все-таки попробуй еще раз.

Джозеф попробовал еще раз.

— Она обязательно заведется, вот увидишь, — проговорила Мари. — Ты включил зажигание?

— Включил — не включил... Включил! — огрызнулся Джозеф.

— Что-то непохоже, чтобы ты его включил, — сказала она.

— Ну вот, смотри! — Он на ее глазах повернул ключ.

— Теперь давай, пробуй.

— Видела? — спросил Джозеф, после того как вновь ничего не получилось. — Я ведь тебе говорил.

— Ты, наверное, что-то неправильно делаешь. Сейчас мы почти завелись! — воскликнула она.

— Так можно посадить аккумулятор — потом черта с два его здесь купишь!

— Ну и ладно — сажай. Я уверена, вот сейчас мы заведемся.

— Знаешь что, если ты такая умная, попробуй сама! — Джозеф вылез из машины и уступил ей место за рулем. — Ну давай, вперед!

Мари закусила губу и уселась за руль. Ее руки двигались медленно и торжественно, словно она совершала некий мистический обряд. Всем своим телом она будто пыталась поправить земное притяжение и прочие физические законы. Туфля с тупым носком изо всех

сил топтала стартер — однако машина не издавала ни звука.

У Мари вырвался жалобный писк. Она отпустила стартер и дернула дроссель. После этого в воздухе появился вполне недвусмысленный запах.

— Ну вот, ты залила свечи! — воскликнул Джозеф. — Прекрасно! Изволь теперь пересесть на свое место.

Затем он раздобыл где-то троих молодых, которые покатали автомобиль под гору. Сам вспрыгнул за руль, чтобы управлять. Машина быстро разогналась и стала бодро подпрыгивать на ухабах. Глаза Мари вспыхнули надеждой.

— Сейчас она заведется! — сказала она.

Но машина и не думала заводиться. Вместо этого они спокойно докатились до заправочной станции и затормозили возле баков с бензином.

Мари сидела молча, поджав губы, и, когда служитель станции подошел к машине, не открыла ни дверцу, ни окно — ему пришлось обходить машину и обращаться к ее мужу.

Некоторое время механик стоял, склонившись над мотором, потом выпрямился и хмуро посмотрел на Джозефа. Затем они вполголоса обменялись несколькими фразами по-испански.

Мари опустила окно и прислушалась к разговору.

— Ну, что он говорит?

Мужчины продолжали что-то обсуждать.

— Что он говорит? — еще раз, более настойчиво, спросила Мари.

Смуглый механик делал жесты в сторону мотора. Джозеф понимающе кивал. Беседа все продолжалась.

— Что там? — не унималась Мари.

Джозеф строго посмотрел на нее и свел брови к переносице.

— Подожди минуту. Не могу же я слушать двоих сразу!

Механик взял Джозефа под локоть. Казалось, они никогда не закончат обсуждение.

— Что он тебе говорит? — снова встряла Мари.

— Он говорит... — начал Джозеф, но не закончил, потому что мексиканец снова увлек его к мотору. Вид у механика был такой серьезный, будто на него наконец снизошло прозрение.

— Во сколько нам это обойдется? — выкрикнула Мари, выглядывая из окна машины и обращаясь к их склоненным спинам.

Механик что-то сказал Джозефу.

— Пятьдесят песо, — перевел Джозеф.

— А сколько времени займет починка? — прокричала его жена.

Джозеф снова обратился к механику. Тот пожал плечами, и некоторое время они спорили.

— Ну так сколько? — нетерпеливо спросила Мари.

Но обсуждение продолжалось.

Солнце уже клонилось к закату. Теперь оно висело над верхушками кладбищенских деревьев на горе, а на долину быстро наползала тень. И только небо оставалось чистым, голубым и нетронутым.

— Два дня. А может, и все три, — сказал Джозеф, повернувшись к Мари.

— Два дня!.. А не мог бы он починить как-нибудь временно — чтобы мы могли перебраться в другой город и встать на ремонт там?

Джозеф задал механику вопрос. Тот ответил:

— Нет, так нельзя. Надо делать полный ремонт.

— Ну почему, почему — что за глупость? Зачем он будет делать полный ремонт — ведь он прекрасно знает, что без него можно обойтись? Скажи ему, Джо, скажи... Пусть он поторопится и закончит...

Но мужчины уже не слушали ее. У них снова пошел серьезный разговор.

На этот раз вещи уже не были такими приткими. Джозефу пришлось самому распаковывать свой чемодан. А чемодан Мари так и остался стоять у двери.

— Мне ничего не понадобится, — сказала она.

— Даже ночная рубашка? .

— Ничего, посплю нагишом, — ответила Мари.

— Ну ладно тебе, я же не нарочно, — сказал Джозеф. — Это все дурацкая машина.

— Надо будет обязательно сходить и проконтролировать, как они там все делают, — пробормотала Мари, которая сидела на краешке кровати.

Они сняли другой номер. Мари отказалась от старой комнаты, сказав, что этого она просто не вынесет. Здесь, в новом номере, она могла представить, что они в другой гостинице, в другом городе. Отсюда открывался вид на аллею и на трубы канализации — а не на сквер с шляпными коробками деревьев.

— Слышишь, Джо, обязательно спустись к станции и проверь, как у них движется работа. Если не проверять, они могут протянуть с починкой и месяц, и два! — Она подняла на него взгляд. — А лучше вот что: пойди и займись этим прямо сейчас — вместо того чтобы слоняться без дела.

— Что ж, можно и сходить, — сказал он.

— Я пойду с тобой. Хочу купить журналов.

— Думаю, в таком городе ты вряд ли отыщешь американские журналы.

— Что, мне уже и посмотреть нельзя?

— И вообще... У нас мало денег, — сказал Джозеф. — Мне бы не хотелось связываться с банком и телеграфом. Только лишняя возня и трата времени.

— Но на журналы-то, я надеюсь, денег хватит? — спросила Мари.

— Ну, на парочку хватит.

— На столько, сколько я захочу! — отрезала Мари, сидя на кровати, вся красная от возмущения.



— Господи, у тебя же в машине чертова уйма этих журналов: «Пост», «Колльер», «Меркьюри», «Атлантик», «Барнаби», «Супермен»! Ты же не прочитала в них и половины статей!

— Они старые, — покачала головой Мари. — Я их уже все просмотрела и хочу новые... Когда сразу просмотришь, становится совсем...

— А ты не только просматривай, но и пробуй читать их, — язвительно сказал Джозеф. — Ты же умеешь читать, не так ли?

Когда они спустились на площадь, уже совсем стемнело.

— Дай мне несколько песо, — попросила Мари, и Джозеф протянул ей деньги. — И научи, как спрашивать по-испански про журналы.

— *Quiero una publicacion Americano*, — произнес он, не останавливаясь.

Мари, запинаясь на каждом слове, повторила за ним фразу и прохихикала:

— Спасибо.

Джозеф зашагал по направлению к технической станции, а Мари вернулась и подошла к ближайшей лавке с надписью *Farmacia Botanica*<sup>1</sup>. Разложенные на витрине журналы были все на одно лицо. Быстро пробежав глазами похожие, как члены одной семьи, названия, Мари пытливым взглядом взглянула на старичка, сидящего за прилавком.

— У вас есть американские журналы? — начала она, не решившись заговорить по-испански.

Старик уставился на нее.

— *Habla Ingles?*<sup>2</sup> — спросила она.

— Нет, *señorita*.

Тогда Мари попыталась вспомнить испанскую фразу.

<sup>1</sup> Аптека (исп.).

<sup>2</sup> Вы говорите по-английски? (исп.)

— Quiero... погодите... — Она запнулась и начала снова: — Quiero... Americano... э-э... жюр-на-ло?

— О нет, señorita!

Мари всплеснула руками — как будто клацнули челюсти большого рта. Рот ее открылся и снова закрылся. У Мари было ощущение, что перед ней какая-то завеса. Она словно бы находилась здесь, в этом маленьком магазинчике, — и одновременно нет. Все эти смуглые, пропеченные солнцем люди, которые населяли город, были для нее чужими. Они не знали слов, которые знала она, — так же как она не понимала их слов. А если слова и произносились, то с великим смущением и стыдом. И вокруг города — одно только бесконечное пространство и время. А дом, ее дом, — где-то далеко, в другой жизни...

Мари резко повернулась и вышла.

Одну за другой обходила она лавки и везде видела одни и те же обложки с окровавленными быками, жертвами насилия или слащаво-конфетными лицами священников. Наконец в каком-то магазинчике ей попалось три номера «Пост», и она так обрадовалась, что даже засмеялась от восторга и оставила хозяину лавки приличные чаевые.

Прижимая заветные журналы к груди, Мари побежала по узкому тротуару — перепрыгнула канаву, стремительно перелетела через улицу, что-то напевая себе под нос на «ля-ля»... Затем вскочила на другой тротуар, пробежалась по нему и, улыбнувшись самой себе, перешла на быстрый шаг. Журналы она крепко прижимала к груди, глаза ее были полузакрыты, ноздри вдыхали пропахший углем воздух, уши щекотал теплый ветерок...

В вышине звезды играли лучами на позолоте греческих статуй оперного театра. Мимо Мари проковылял какой-то мужчина, на голове он нес большую корзину, полную буханок хлеба.

Мари посмотрела на мужчину, на корзину у него на голове и внезапно застыла. Улыбка разом сошла с ее губ,

руки, державшие журналы, разжались... Мужчина шел и бережно придерживал корзину рукой, а другой размахивал при ходьбе. Журналы выскользнули у Мари из пальцев и рассыпались на тротуар.

Она скорее бросилась подбирать их. Затем в одну секунду домчалась до отеля и буквально взлетела по лестнице.

Мари сидела в номере. По обеим сторонам и впереди от нее стопками лежали журналы. Она окружила себя ими, как крепостной стеной с опускными решетками из слов. Это были старые журналы — те, что валялись в машине. Их она уже смотрела раньше, и они годились теперь лишь для постройки крепости. А вот три только что купленных (хотя и потрепанных) номера «Пост» она взяла к себе и заботливо уложила на колени. Мари даже не решалась открывать их, предвкушая, как будет с упоением читать, читать, жадно перелистывать страницы и опять читать...

Наконец она решила перевернуть первую страницу. Она будет читать их внимательно — строку за строкой, страницу за страницей. Все до запятой, до малейшего оттенка цвета в картинках. А еще осталось несколько лакомых кусочков в старых номерах из «крепостной стены» — рекламы, мультяшки, которые она пропускала, оставляя на потом.

Первый номер — вот этот — она будет читать сегодня вечером. Она растянет это удовольствие надолго, а завтра вечером примется за второй. Завтра вечером — если, конечно, она будет здесь завтра вечером. А может, и не будет — вдруг машина заведется, и тогда... Мари словно наяву ощутила запах выхлопных газов, услышала шорох шин по дороге и завывание ветра, раздувающего ей волосы. И все-таки, возможно, она будет здесь завтра вечером — здесь, в этой комнате. На этот случай у нее останется второй номер, и еще третий — на послезавтра. Она

аккуратно разложила все по полочкам у себя в голове. И так, первая страница перевернута.

Затем вторая. Глаза пробежали по строчкам, потом еще раз, а пальцы уже сами собой нащупывали третью. И так дальше — часы тихонько тикали у Мари на запястье, время бежало, а она все переворачивала и переворачивала страницы — одну за другой, жадно разглядывая людей на фотографиях. Людей из другой страны, из другого мира — мира разноцветных неоновых вывесок, ночных баров и таких знакомых, родных запахов... Мира, где люди говорят друг другу хорошие слова... А она сидит здесь и тупо переворачивает страницы, и строчки прыгают у нее перед глазами, а руки так быстро листают страницы, что они обдувают ей лицо, как опахалом. Мари отбросила в сторону первый «Пост», лихорадочно ухватилась за второй и в полчаса покончила с ним. Руки ее потянулись к третьему, и через пятнадцать минут он также был отброшен в сторону. Мари почувствовала, что ей трудно дышать, — она хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Она подняла руки к затылку.

Откуда-то подул легкий ветерок.

Мари почувствовала, как сзади на шее зябко съежились корни волос.

Бледной рукой она осторожно дотронулась до головы, будто это был хрупкий шар одуванчика.

На улице, в сквере, целыми стаями летали бумажки, раскачивались на ветру уличные фонари. Тени то появлялись, то исчезали под их круглыми шляпами — при этом ржавые железные соединения на высоких столбах жалобно скрипели.

У Мари начали дрожать руки — она видела, как они дрожат. Затем у нее задрожало все тело. Под ярчайшей из ярчайших юбок, которую она специально надела сегодня вечером, в которой она прыгала и крутилась перед высоким, похожим на крышку гроба зеркалом, — под этой рядной юбкой из искусственного шелка трепетало ее те-

ло, натянутое точно струна. Стучали даже зубы. Мари пыталась сжать их, но они все равно стучали. Она изо всех сил закусила губу — так, что размазалась помада...

И тут раздался стук в дверь — вернулся Джозеф.

Они готовились ко сну. Джозеф сообщил, что все в порядке и машину уже начали чинить. Завтра он пойдет туда опять и проследит.

— Только не стучи больше в дверь, — сказала Мари, раздеваясь перед зеркалом.

— Тогда оставляй ее открытой, — пожал плечами Джозеф.

— Нет уж, я лучше ее запру. Но ты не долби так. Просто скажи, что это ты.

— А что тут такого — ну, постучал?

— Как-то странно... — ответила Мари.

— Не понимаю, что ты имеешь в виду?

Она бы и не смогла объяснить. Свесив руки вдоль тела, она стояла, обнаженная, перед зеркалом и смотрела на свое отражение. Она видела свои груди, бедра — все свое тело. Она была живая — двигалась, ощущала под ногами прохладный пол, чувствовала кожей воздух вокруг себя... Если бы она дотронулась пальцами до кончиков грудей, груди бы узнали эти прикосновения.

— Ради всего святого, — поморщился Джозеф, — хватит тебе любоваться собой. — Он уже лежал в постели. — Ну что ты делаешь, скажи на милость? Что за поза? Зачем тебе поналобилось закрывать лицо?

Джозеф погасил свет.

Она не могла говорить с ним, потому что не знала слов, которые знал он, а он не понимал слов, которые говорила она. Поэтому Мари пошла к себе в кровать и легла. А Джозеф остался лежать на своей, повернувшись к жене спиной. Он был совсем как те чужие коричневые люди в городе. Мари казалось, что этот город находится где-то далеко, на самой Луне, и, чтобы попасть на Землю,

нужно совершить космический перелет. Ах, если бы он поговорил с ней сегодня, она бы спокойно уснула! И дыхание бы улеглось, и кровь не билась бы так яростно в запястьях и подмышечных впадинах... Но он не говорил. Только тикали в тишине часы, отмеряя тысячи долгих секунд, и тысячи раз Мари поворачивалась с боку на бок, накручивая на себя одеяло, и подушка жгла ей щеку, как раскаленная плита...

Темнота опутывала комнату черной москитной сеткой — Мари барахталась в ней, с каждым поворотом застревая все больше. Если бы он сказал ей хоть слово — одно только слово... Но он не говорил. И вены продолжали ныть в запястьях. Сердце ухало, как мехи, раздуваемые страхом, и раскалялось докрасна, освещая ее изнутри воспаленным огнем. Легкие так надрывались, будто она была утопленницей и сама делала себе искусственное дыхание. В довершение всего тело обливалось потом — вскоре Мари прилипла к простыням, как растение, зажатое между страницами толстой книги.

Так она лежала долгие часы, пока ей не начало казаться, что она вновь стала ребенком. Когда ненадолго стихали глухие удары сердца, похожие на бубен безумного шамана, тогда к Мари приходили эти неторопливые печальные образы. Теплое, золотистое, как бронза, детство — солнце играет на зеленой листве деревьев, на гладкой воде, вспыхивает на пушистой и светлой детской головке... Карусель памяти кружила перед ней лица — вот чье-то лицо приближается, проносится мимо и улетает... Вот еще одно появляется слева — его губы что-то говорят, — и вот оно уже метнулось вправо и исчезло. Снова и снова...

О, до чего же нескончаемая ночь! Мари пыталась успокоить себя, представляя, как они поедут завтра домой (если, конечно, машина заведется), как мирно будет гудеть мотор, шуршать под колесами дорога... Она даже улыбнулась своим мыслям в темноте.

А если не заведется? Мари сразу съежилась, будто съеденная огнем бумажка. Внутри у нее все сжалось, и осталось только тиканье часов на руке — тик, тик, тик...

Наконец пришло утро. Мари посмотрела на мужа, который, непринужденно раскинувшись, спал на своей кровати. Ее рука свисала в прохладный проем между кроватями. Она держала ее там всю ночь. Один раз попыталась дотянуться рукой до Джозефа, но не смогла — кровать отстояла слишком далеко. Ей пришлось тихонько притянуть руку обратно, надеясь, что он ничего не услышал и не почувствовал.

Вот он лежит перед ней. Веки сомкнуты в сладкой дреме, ресницы спутаны, словно длинные сплетенные пальцы. Ребра почти не двигаются — будто он не дышит. Конечно же, за ночь он успел наполовину выпростаться из пижамы. Впрочем, виден только его торс, а остальное скрыто под одеялом. Профиль на фоне подушки кажется таким задумчивым...

На подбородке у него она вдруг заметила щетину.

В скудном утреннем свете белели ее глаза. В сущности, во всей комнате двигались только они — вверх, вниз, направо, налево, — изучая анатомию лежащего напротив мужчины.

Мари видела каждый волосок на его подбородке и на щеках — и каждый был само совершенство. В шелку между шторами пробивался маленький сноп солнечного света и падал как раз на подбородок Джозефа, зажигая на нем искры.

Черные волоски вились и на его запястьях — такие же совершенные, гладкие и блестящие.

На голове волосы тоже были хороши — прядка к прядке, ни одного изъяна. Красиво вырезанные уши. И зубы — у него были прекрасные зубы...

— Джозеф! — вдруг закричала Мари. — Джозеф! — еще раз выкрикнула она и в ужасе вскочила.

«Бом! Бом! Бом!» — загремел колокол на башне огромного собора, что стоял через дорогу.

За окном шумно вспорхнула стайка белых голубей — словно махнувшие страницами журналы. Сделав круг над площадью, птицы поднялись вверх. «Бом! Бом!» — продолжал звенеть колокол. Где-то вдалеке музыкальная шкатулка выводила мелодию «Cielito Lindo»<sup>1</sup>.

Потом все стихло, и стало отчетливо слышно, как в ванной капает из крана вода.

Джозеф открыл глаза. Жена сидела на своей кровати и не спускала с него глаз.

— А я уж подумал... — сказал он и зажмурился. — Да нет... — Закрыв глаза и потряс головой. — Прррсто колокола звонят... — Он вздохнул. — А сколько сейчас времени?

— Не знаю. Ах да — восемь. Восемь часов.

— О господи, — проворчал Джозеф и повернулся на другой бок. — Можем спать еще целых три часа.

— Нет уж, ты встанешь! — вскричала Мари.

— Совершенно ни к чему, слышишь? Все равно в гараже никто раньше десяти не появится, а торопить их бесполезно. Так что можешь успокоиться.

— И все-таки ты встанешь, — сказала Мари.

Джозеф наполовину обернулся к ней — при этом над губой у него блеснули на солнце медные волоски.

— Но с какой стати? Ради бога, скажи, с какой стати я должен вставать?

— Потому что... потому что тебе нужно побриться! — Голос Мари сорвался в крик.

Джозеф застонал от досады.

— Значит, только из-за того, что мне нужно побриться, я должен вставать ни свет ни заря и бежать намыливаться — так, что ли?

— Но ты небритый!

<sup>1</sup> Мексиканская народная песня.



— И не собираюсь бриться — до тех пор, пока мы не приедем в Техас.

— Не будешь же ты ходить как последний забулдыга!

— Хочу — и буду! Хватит и того, что каждое утро в течение тридцати дней я брился, повязывал галстук и отутюживал складку на брюках! Отныне — никаких брюк, никаких галстуков, никакого бритья и... и вообще.

Он так резко натянул на уши одеяло, что оно сползло наверх и обнажило его голую ногу.

Нога была согнута в колене и почти свисала с кровати. Падавшие солнечные лучи зажигали на ней искорки черных волос — они были совершенны.

Чем дальше Мари смотрела на эту ногу, тем больше округлялись ее глаза.

Она в ужасе прижала ко рту дрожащие пальцы...

Целый день Джозеф то уходил, то приходил. Он так и не побрился. Слонялся внизу по скверу. Так медленно вышагивал — Мари готова была убить его. Она была бы рада, если бы его поразило прямо на месте молнией. Вот он остановился возле одной из «шляпных коробок» и разговаривает с управляющим отеля, шаркая ботинком по бледно-голубой плитке тротуара. Вот любуется птичками и сверкающими на утреннем солнце греческими статуями. Вот дошел до угла и наблюдает за движением на дороге. Да нет там никакого движения! Просто он тянет время, чтобы подольше не возвращаться к ней. Нет бы ему пойти — побежать! — в гараж, накричать на этих ленивых механиков и ткнуть их носом в мотор, чтобы быстрее делали! Так нет же, он стоит здесь и смотрит за так называемым движением. А движения-то всего — «Форд» 1927 года выпуска, велосипедист, полураздетые детишки да хромая свинья!

«Господи, ну давай же, шевелись, иди!» — кричало все внутри у Мари. Ей хотелось разбить вдребезги окно.

Плетушейся походкой Джозеф перешел через улицу и скрылся за углом. Всю дорогу до гаража он останавливался у витрин, читал вывески, глазел на картинки, трогал керамические безделушки на лотках гончаров. Эх, надо попить где-нибудь пивка. Да-да, пивка — самое то.

Мари тоже вышла в сквер — прогулялась по солнышку, еще немного походила по магазинам в поисках журналов. Затем снова поднялась в номер — почистила ногти, покрыла их лаком и снова спустилась в сквер. Слегка перекусила — и вернулась в отель. В качестве второго блюда были все те же журналы.

Мари боялась ложиться в постель. Стоило ей задремать, как перед глазами вновь всплывали печальные картины детства. А еще — старые друзья, дети, которых она никогда не видела, но о которых всегда думала, долгие двадцать лет... И все дела, которые она хотела сделать, но не сделала... Сколько она собиралась позвонить Лайле Холдридж — восемь лет прошло, с тех пор как они окончили колледж, — так и не позвонила. А какими они с ней были подругами! Милая, милая Лайла!.. И еще, лежа в постели, Мари думала о книгах, которые давно собиралась купить и прочитать, но так и не купила. Прекрасные книги — а как они пахнут! Как же все это грустно! Всю жизнь она мечтала иметь в своей библиотеке книги о стране Оз... До сих пор не купила! Но почему? И почему бы ей не сделать это сейчас? Жизнь ведь еще не окончена? Вот она приедет в Нью-Йорк — и сразу побежит покупать! А потом позвонит Лайле! И встретится с Бертом, Джимми, Хелен и Луизой! И обязательно съездит в Иллинойс, чтобы пройтись по родным местам, где прошло ее детство. Если только она вернется в Штаты. Если только... Каждый удар сердца болью отдавался в груди — тук, тук, тук — остановка — и снова тук, тук, тук... Если только она вернется.

Мари лежала и прислушивалась к биению.

Тук. Тук. Тук... Тишина... Тук. Тук. Тук... Тишина... Тук.  
Тук. Тук...

А вдруг оно прямо сейчас остановится совсем?

Ну вот!

Снова тишина!

— Джозеф!

Мари вскочила. Прижав обе руки к груди, она с силой надавила на нее, словно хотела вручную раскатать неисправный насос.

Сердце вздрогнуло, встрепенулось — и вдруг забилось часто-часто, сотрясая ударами всю грудь.

Мари снова откинулась на кровать. А вдруг оно остановится снова — и больше уже не забьется? Что же тогда делать? Она ведь просто умрет от страха... Умрет от страха! Ну не смешно ли? Значит, она услышит, что сердце у нее не бьется, — и сразу умрет. От страха! И все равно она будет лежать и слушать. Все равно она вернется домой и позвонит Лайле, и купит книги, и будет танцевать, и будет гулять в Центральном парке, и... Слушать...

Тук. Тук. Тук... Тишина...

Джозеф постучал в дверь. Джозеф постучал в дверь — машина до сих пор не готова — значит, предстоит пережить еще одну ночь. Он так и не побрился, и черные волосы у него на подбородке один совершеннее другого, а все газетные киоски уже закрыты, и ей больше негде купить журналов, и они поужинали (впрочем, она могла бы и не ужинать), и Джозеф пошел прогуляться по вечернему городу.

Снова Мари сидела на стуле и чувствовала кожей, как сзади на шее щекотно поднимаются волоски. Она так ослабела, что не было сил даже встать со стула. Она была совсем одна — один на один с гулким биением собственного сердца, которое, казалось, сотрясало болью всю комнату. Глаза ее налились жаром, словно у испуганного ребенка, веки набрякли.

Нутром Мари почувствовала первый сбой. Еще одна ночь... Еще одна ночь... Еще одна ночь... Она будет даже дольше, чем предыдущая. Вот он, первый сбой, — маятник пропустил один удар. А вот и второй, и третий — как по цепочке. Они цепляются один за другой. Первый — совсем крохотный, второй — побольше, третий — еще побольше, четвертый — совсем большой, а пятый — просто громадный...

Ганглий — какой-то красненький жалкий узелок, похожий на обыкновенную штопальную нить, которая оборвалась в ней и трепещет. Как будто в механизме сломалась маленькая деталь — и теперь вся машина разладилась и дрожит как в лихорадке.

Мари не сопротивлялась. Она отдалась во власть этой дрожи, этого ужаса, этих взрывов внутри, обдающих ее липким потом, этого гадкого кислого вина, заполнившего рот. Сердце ее, словно сломанный волчок, отклонялось то в одну сторону, то в другую, спотыкалось, вздрагивало, ныло... Краска схлынула с лица — как будто выключили лампочку, и теперь стало видно все, что у нее внутри: серые, бесцветные нити, переплетения и жилки...

Джозеф был здесь же, в комнате, — он уже пришел, но Мари даже не услышала, как он пришел. Впрочем, от его прихода ничего не изменилось. Молча, не произнося ни единого слова, он готовился ко сну: ходил по комнате, брал какие-то вещи, курил. Мари тоже ничего ему не сказала, только молча легла в кровать. Она не услышала, как он обратился к ней.

Она засекала время. Каждые пять минут смотрела на часы — и часы вздрагивали, и время вздрагивало вместе с ними. И эта дрожь, казалось, никогда не прекратится. Мари попросила воды. Перевернулась с боку на бок. Еще раз. И еще раз. За окном гудел ветер, сбивая набекрень шляпы фонарей, — и в окна врвался свет, будто кто-то открывал глаза, а потом закрывал их. Снизу, из холла, не

доносилось ни звука — гостиница словно вымерла после ужина.

Он подал ей стакан воды.

— Я замерзла, Джозеф, — проговорила Мари, поглубже зарываясь в одеяло.

— Ничего страшного, — сказал Джозеф.

— Правда замерзла! И плохо себя чувствую, и вообще — я боюсь...

— Господи, ну чего ты боишься?

— Я хочу сесть в поезд и поскорее уехать в Штаты...

— Поезда ходят только из Леона — здесь не проходит железная дорога, — вздохнул Джозеф и прикурил очередную сигарету.

— Ну так давай доедем до Леона.

— Как? На такси? А свою машину бросим здесь?

И потом — здесь такие шоферы...

— Все равно. Я хочу уехать.

— Утром тебе станет лучше.

— Нет, не станет. Я знаю, не станет! Мне плохо!

— Но это влетит нам в кругленькую сумму, дорогая, — брать машину до самого дома. Думаю, здесь пахнет сотнями долларов.

— Неважно. У меня на личном счету есть двести долларов. Я заплачу. Только, ради всего святого, поехали домой!

— Ну что ты — завтра утречком выглянет солнце, и ты сразу почувствуешь себя лучше... Это все потому, что нет солнца.

— Солнца нет, и ветер поднялся... — прошептала Мари, закрыв глаза и прислушиваясь. — Завывает, как в пустыне. Непонятная страна эта Мексика. Или джунгли тебе — или пустыня. И кругом разбросаны крохотные городки вроде этого, где фонарей раз-два и обчелся...

— Между прочим, довольно большая страна.

— Неужели местные жители никогда не ощущают себя одинокими в этой пустыне?

— Думаю, они привыкли.

— И не боятся?

— Чего им бояться — у них есть вера, религия.

— Мне бы такую веру.

— Знаешь, если бы у тебя появилась вера, ты бы очень быстро научилась думать, — сказал Джозеф. — Если отдаться целиком какой-то одной идее, то в голове просто не останется места для чего-то другого.

— Вчера, — тихо произнесла Мари, — мне только того и хотелось. Я рада была бы ни о чем не думать и целиком отдаться какой-нибудь идее, которая спасла бы меня от страха.

— Господи, какого еще страха? О каком страхе ты говоришь? — пожал плечами Джозеф.

— Если бы у меня была вера, — проговорила Мари, не обращая внимания на его слова, — то я бы знала, как себя приободрить. Я просто не умею выводить себя из этого дурацкого состояния...

— Боже... — пробормотал себе под нос Джозеф и рывком сел.

— Я всегда была верующей, — сказала Мари.

— Баптисткой.

— Нет. Тогда мне было лет двенадцать. Я перестала верить — потом.

— Ты никогда мне не рассказывала.

— Да нет же — ты знаешь...

— Какая еще вера? Гипсовые святые в ризнице? Или нет — какой-то специальный, собственный святой, к которому ты обращала свои молитвы, да?

— Да.

— И что же — он отвечал на них?

— Ну, немного. Один раз. А потом — нет. Ни разу больше. За долгие годы — ни разу. Но я все равно продолжаю молиться.

— Что же это за святой?

— Святой Иосиф.

— Значит, святой Иосиф. — Он встал и с оглушительным бульканьем налил себе воды из стеклянного графина. — Проще говоря, Джозеф, да?

— Это совпадение, — сказала Мари.

Некоторое время они в упор смотрели друг на друга. Затем Джозеф отвернулся.

— Надо же — гипсовые святые... — проговорил он, отхлебывая воду.

— Джозеф! — прозвучал голос Мари в повисшей тишине.

— Что?

— Возьми меня за руку, пожалуйста.

— Ох уж эти женщины... — вздохнул Джозеф, после чего подошел и взял жену за руку.

Через минуту она вдруг выдернула у него руку и спрятала ее под одеяло. Рука Джозефа так и осталась в воздухе, пустая. Мари закрыла глаза и сказала дрожащим голосом:

— Надо же... Это вовсе не так здорово, как я себе представляла. На самом деле, когда я проделывала это в уме, было даже гораздо приятнее.

— Господи... — только и сказал Джозеф. Затем встал и направился в ванную.

Мари выключила свет. Теперь лишь тоненькая желтая полоска светилась под дверью ванной. Мари вновь прислушалась к своему сердцу. Оно стучало ужасно быстро — не меньше ста пятидесяти ударов в минуту. И вновь изнутри ее тела исходил какой-то отвратительный дребезжащий гул, как будто во всех костях завелись трупные мухи — и теперь жужжат, жужжат, жужжат... Она пыталась смотреть перед собой, но глаза ее будто перевернулись внутрь и видели только сердце. Сердце, которое разрывалось на части в грудной клетке.

В ванной шумела вода. Мари слышала, как муж чистит зубы.

— Джозеф!

— Да, — отозвался он из-за закрытой двери.

— Пойди сюда.

— Что тебе нужно?

— Я хочу, чтобы ты обещал мне кое-что. Пожалуйста, прошу тебя...

— Но что?

— Сначала открой.

— Я спрашиваю — что? Что именно? — раздался голос из-за закрытой двери.

— Обещай мне... — начала Мари и запнулась.

— Ну что, что тебе обещать? — спросил Джозеф, прервав затянувшуюся паузу.

— Обещай мне... — снова начала Мари и снова замолчала.

На этот раз муж ничего не сказал. Мари обнаружила, что ее сердце стучит в унисон с часами. Где-то за окном скрипнул фонарь.

— Обещай мне, если что-нибудь... случится... — услышала она свой голос — такой глухой и далекий, будто она стояла в миле отсюда, — если что-нибудь случится со мной, то ты не дашь похоронить меня на этом кладбище, рядом с этими мерзкими катакомбами!

— Ну, не глупи, — отозвался Джозеф из-за двери.

— Ты обещаешь? — переспросила Мари, глядя расширенными глазами в темноту.

— Зачем ты заставляешь меня обещать всякие глупости!

— Обещай, пожалуйста, обещай... Ты обещаешь?

— Утром ты поправишься, дорогая, — продолжал твердить он.

— Все равно обещай — иначе я не усну. Я смогу заснуть, только если ты скажешь, что никогда не оставишь меня там. Я не хочу, не хочу стоять там...

— Ну честное слово! — воскликнул Джозеф, теряя терпение.

— Пожалуйста... — умоляла Мари.



— Ну почему я должен обещать тебе такие вещи, почему? — всплеснул он руками. — Завтра тебе будет лучше. И вообще... Лучше представь, как бы ты замечательно смотрелась в этих катакомбах — где-нибудь между мистером Гримасоу и мистером Разиньротом, а? — Джозеф заразительно рассмеялся. — Вставили бы тебе в волосы бугенвиллею...

Мари молча лежала в темноте.

— Ну разве не здорово? — спросил он сквозь смех из-за двери.

Она ничего не ответила.

— Как ты думаешь? — переспросил он.

Внизу на площади послышались чьи-то тихие шаги — и удалились.

— Эй! — позвал он, продолжая чистить зубы.

Мари лежала, вперив глаза в потолок, и грудь ее часто-часто вздымалась — и все чаще и чаще воздух вырывался из ее ноздрей, а в уголке рта показалась тоненькая струйка крови. Глаза ее были широко распахнуты, руки неистово терзали края простыни.

— Эй! — снова окликнул он из-за двери.

Мари не ответила.

— Господи... — бормотал себе под нос Джозеф. — Да точно тебе говорю. — Он влез головой под струю и начал полоскать рот. — Уже завтра утром...

Со стороны ее кровати не доносилось ни звука.

— Странные все-таки существа эти женщины, — сказал Джозеф, обращаясь к своему отражению в зеркале.

Мари все лежала на кровати.

— Точно тебе говорю, — продолжал бубнить он, с бульканьем полоща горло антисептиком, затем громко сплюнул в раковину. — Завтра утром ты встанешь и побежишь...

Ни слова в ответ.

— Скоро они закончат чинить автомобиль.

Ни слова.

— Ты погоди, утро вечера мудренее. — Джозеф открыл крышечку и стал протирать лицо освежителем. — Душаю, закончат чинить уже завтра. Ну в крайнем случае — послезавтра. Ты ведь не против провести здесь еще одну ночь?

Мари ничего не отвечала.

— Не против? — переспросил он.

Никакого ответа.

Полоска света под дверью расширилась.

— Мари!

Он открыл дверь.

— Спишь?

Она лежала, глядя перед собой расширенными глазами, грудь ее тяжело вздымалась.

— Ну, значит, спишь, — заключил он. — Спокойной ночи, дорогая.

Джозеф лег в кровать.

— Устала, наверное.

Она не ответила.

— Устала... — повторил он.

За окном ветер качал фонари. Комната была темной и длинной, как туннель. Через минуту Джозеф уже дремал.

А Мари все так же лежала с открытыми глазами, и грудь ее то поднималась, то опускалась, и на руке тикали часы...

В такую погоду было здорово ехать через тропик Рака. Сверкающий автомобиль мягко подпрыгивал на ухабах, петлял между сопками, с ревом вписывался в крутые повороты, оставляя за собой легкое облачко дыма и все больше приближаясь к Соединенным Штатам. В машине сидел Джозеф — как всегда свежий, румяный и в панаме. На коленях у него уютно свернулся неизменный фотоаппарат — он не расставался с ним даже за рулем. К лацкану желтого пиджака была пришпилена черная шелковая ленточка.

Оглядывая проносящийся пейзаж, Джозеф рассеянно взмахнул рукой, словно обращался к попутчику.. но осекся. Тут же его губы тронула глуповатая улыбка — он снова отвернулся к окну и принялся мычать себе под нос какой-то мотив. В то время правая его рука тихонько подкрадывалась к соседнему сиденью...

Оно было пусто.

### **ПРИСТАЛЬНАЯ ПОКЕРНАЯ ФИШКА РАБОТЫ А. МАТИССА**

---

Сейчас, в момент нашего с ним знакомства, Джордж Гарви — ничто, нуль без палочки. Позднее он будет шеголять моноклем работы самого Матисса — белой покерной фишкой с изображением голубого глаза. Вполне возможно, что еще позднее из золоченой клетки, вделанной в искусственную ногу Джорджа Гарви, польются трели и рулады, а левая его рука обретет новую — красная медь с нефритом! — кисть.

Но сперва взгляните на ужасающе заурядного человека.

— Финансовую секцию, дорогая? Его квартира, вечер, шорох газет.

— Метеорологи пишут: «Ожидается дождь».

Дыхание, черные волосы в ноздрях колышутся: внутрь — наружу, внутрь — наружу, тихо, спокойно, размеренно, час, другой...

— Пора и ложиться.

По внешности — прямой потомок восковых витринных манекенов образца 1907 года. Умеет, на зависть всем магазинам и фокусникам, сесть в зеленое велюровое кресло и — исчезнуть. Отвернитесь — и вы уже забыли его лицо. Тарелка манной каши.

И вот, случайнейшая из случайностей сделала его ядром, средоточием авангардного литературного течения, дичайшего на памяти человечества.

Уже двадцать лет супруги Гарви жили в гулкой пустоте одиночества. Прелестная женщина, однако опасность неизбежной встречи с ним вчистую отпугивала всех возможных посетителей.

Гарви обладал способностью мгновенно мумифицировать людей — о чем не догадывались ни его жена, ни он сам. Супруги утверждали, что после суматошного рабочего дня им очень приятно провести вечер спокойно, в обществе друг друга. Оба выполняли тусклую, бесцветную работу. Случалось, что даже они сами не могли припомнить название тусклой, бесцветной фирмы, поручавшей им эту работу, — белая краска на белом.

Записывайтесь в авангард! Записывайтесь в «Странный септет»!

Великолепная семерка расцвела махровым цветом в парижских полуподвалах, под звуки довольно вялой разновидности джаза; шесть с лишним месяцев она чудом сохраняла свои в высшей степени неустойчивые взаимоотношения, вернулась в Соединенные Штаты и тут, ежесекундно готовая с треском развалиться, наткнулась на мистера Джорджа Гарви.

— Мой бог! — воскликнул Александр Пейп, экс-самодержец шайки. — Я познакомился с потрясающим занудой. Вы просто обязаны на него посмотреть! Прошлым вечером Билл Тимминс оставил на двери записку, что, мол, вернусь через час. Я слоняюсь по холлу, и тут этот самый Гарви предлагает мне подождать в его квартире. Вот там мы и сидели — Гарви, его жена и я. Невероятно! Он — сама чудовищная Тоска, порожденная нашим материалистическим обществом. У него в арсенале миллионы способов парализовать человека! Великолепный антикварный экземпляр с непревзойденным талантом доводить до ступора, до глубокого сонного оцепенения, до полной остановки сердца. Клинический, лабораторный случай. Пошли к нему, нагрянем на него все вместе!

Они слетелись, как стервятники! Жизнь текла к дверям Гарви, жизнь сидела в его гостиной. «Странный септет» разместился на засаленном диванчике, «Странный септет» пожирал добычу глазами.

Гарви нервничал, не находил себе места.

— Если кто-нибудь хочет закурить... — Бледнейшая, почти что и незаметная улыбка. — Так вы не стесняйтесь, курите.

Тишина.

Инструкция гласила: «Молчать, чтобы никто ни полслова. Пусть подергается. Это — лучший способ выявить его сокрушительную заурядность. Американская культура — абсолютный ноль».

Три минуты полной тишины и неподвижности. Мистер Гарви чуть подался вперед.

— Э-э... — произнес он, — каким бизнесом занимаетесь вы, мистер?..

— Крэбтри. Поэт.

Гарви обдумал услышанное.

— Ну и как, — сказал он, — ваш бизнес?

Ни звука.

Пред нами фирменное молчание Гарви. Пред нами крупнейший в мире производитель и поставщик молчаний, назовите любое, и он вручит вам заказ, упакованный в благопристойное откашливание, завязанный еле слышными перешептываниями. Смущенное и оскорбленное, невозмутимое и торжественное, равнодушное и беспокойное, и даже то молчание, которое золото, — все, что угодно, только обратитесь к Гарви.

Но вернемся к конкретному молчанию данного, конкретного вечера — «Странный септет» буквально им упивался. Позднее, в своей квартире, за бутылкой «незамысловатого, но вполне приличного» красного вина (очередная фаза развития привела их в соприкосновение с реальной реальностью) эта тишина была разорвана в ключья, изгрызена и разжевана.

— Ты обратил внимание, как он мял уголок воротника? Да-а!

— И все-таки, что ни говорите, мужик он почти крутой. Я упомянул Магси Спэннера и Бикса Байдербека — видели его в тот момент? Хоть бы глазом моргнул. А вот я... я только мечтать могу о таком выражении лица, чтобы полное безразличие и ноль эмоций.

Готовясь ко сну, Джордж Гарви перебирал в уме события необыкновенного вечера. Приходилось признать, что в тот момент, когда ситуация стала совсем неуправляемой — когда началось обсуждение загадочных книг, незнакомой музыки, — он запаниковал, похолодел от ужаса.

Но это, похоже, не слишком озаботило необычных гостей. Более того, при прощании все они энергично трясли ему руку, рассыпались в благодарностях за великолепно проведенный вечер.

— Вот это я понимаю — прирожденный, профессиональный, высшего разряда зануда! — воскликнул в противоположном конце города Александр Пейп.

— Как знать, возможно, он потихоньку хихикает над нами, — возразил Смит, малый американский поэт двадцатого века.

Находясь в бодрствующем состоянии, Смит оспаривал все без исключения утверждения Пейпа.

— Надо сводить туда Минни и Тома, они влюбятся в нашего Гарви. Да-а, вечерок был — просто восторг, воспоминаний на месяц хватит.

— А вы заметили, — блаженно зажмурился Смит, малый поэт. — Краны в их ванной. — Он сделал драматическую паузу. — Горячая вода.

Все раздраженно вскинули на Смита глаза.

Им и в голову не пришло попробовать.

Шайка разрасталась; опара на невероятных дрожжах, она выламывала двери, выпирала через окна.

— Ты не видел еще Гарви? Господи! Возвращайся

в свой гроб! Вот точно говорю — Гарви репетирует. Ну разве можно быть настолько серым без системы Станиславского?

Александр Пейп неизменно ввергал всю компанию в уныние безукоризненными речевыми имитациями; теперь он заговорил точь-в-точь как Гарви — медленно, неуверенно и смущенно.

— «Улисс»? А это не та книга, где про грека, про корабль и про одноглазого людоеда? Простите? — Пауза. — О-о! — Еще одна пауза. — Понятно. — Полное изумление. — «Улисса» написал Джеймс Джойс? Странно. Я готов был поклясться, что точно помню, как много лет назад, в школе...

Они ненавидели Александра Пейпа за эти блестящие имитации — и все же покатались от хохота. Продолжение не замедлило последовать.

— Теннесси Уильямс? Это что, тот самый, который написал слащавую деревенскую песенку «Вальс»<sup>1</sup>?

— Быстро! — хором закричал народ. — Какой там у Гарви адрес?

— Да-а, — сказал мистер Гарви своей жене, — последнее время жизнь бьет ключом.

— А ведь это все ты, — ответила его жена. — Ты заметил, как они боятся пропустить хоть одно твое слово?

— Напряженность их внимания, — сказал мистер Гарви, — граничит с истерией. Они буквально взрываются от самых невинных моих замечаний. Странно. Ведь в конторе любая моя шутка словно натывается на каменную стену. Вот сегодня, скажем, я и вообще не пытался шутить. Очевидно, во все, что я делаю или говорю, незаметно вплетается струйка подсознательного юмора. Очень приятно, что во мне это есть, раньше я даже не подозревал... Ага, вот и звонок. Начинается.

<sup>1</sup> Песня в стиле кантри «Теннесси-вальс» не имеет, естественно, никакого отношения к Теннесси Уильямсу.

— Нужно извлечь Гарви из постели в четыре утра, — сообщил Александр Пейп. — Вот тогда он — действительно пальчики оближешь. Полное изнеможение плюс мораль fin de siècle<sup>1</sup> составляют изысканнейший салат.

Все дружно обиделись на Пейпа — ну почему именно он придумал наблюдать Гарви на рассвете? И все же конец октября был отмечен повышенным интересом к полуполночному времени.

Собственное подсознание нашептывало мистеру Гарви, что он — премьера, открывающая театральный сезон, что дальнейший успех полностью зависит от устойчивости скуки, навешиваемой им на зрителей. Купаясь во внимании гостей, он, однако, догадывался, с какой именно стати стекаются эти лемминги к его личному океану. По сути своей, в глубине, Гарви был на редкость блестящей личностью, однако вчистую лишённые какого-либо воображения родители втиснули его в прокрустово ложе привычного своего окружения. Далее он попал в еще худшую соковыжималку — Контора, плюс Фирма, плюс Жена. Конечный результат: человек, чьи потенциальные возможности превратились в бомбу замедленного действия, двадцать лет мирно тикавшую в мирной гостиной. Подавленное подсознание Гарви наполовину осознавало, что авангардисты в жизни не встречали никого, ему подобного, — или, вернее, встречали миллионы таких, но никогда прежде не удосуживались подвергнуть одного из них исследованию.

Итог исследования: он стал первой знаменитостью сезона. Через месяц в этой роли может оказаться какой-нибудь абстракционист из Аллентауна, сменивший кисти на садовый распылитель ядохимикатов и кондитерские шприцы, разбрызгивающий с двенадцатифутовой стремянки малярную краску исключительно двух — синего

<sup>1</sup> «Конец века» (фр.) — литература и искусство 1890-х; декадентство.



и светло-серого — оттенков на холст, загрунтованный неровными слоями клея и кофейной гуши, чей творческий рост зависит от признания общественности. Или — чикагский жестянщик, творец мобилей, пятнадцати лет от роду, но уже умудренный всей мудростью веков.

Ушлое подсознание мистера Гарви прониклось еще большими подозрениями, когда он допустил колоссальную оплошность — прочитал номер излюбленного авангардистами журнала «Ньюклиэс».

— Вот, скажем, этот материал о Данте, — сказал Гарви. — Очень, очень любопытно. Особенно анализ пространственных метаморфоз, происходящих у подножия Antipurgatorio, и обсуждение Paradiso Terreste<sup>1</sup>. А пассаж, где обсуждаются песни XV—XVIII веков, так называемые «доктринальные кантос», просто великолепен.

Ну и как же реагировал на это «Странный септет»?

Они были ошеломлены — все до единого.

В воздухе повис зябкий холодок.

Дальше — хуже. Выйдя из роли восхитительно заурядного недотепы, не имеющего за душой ни единой собственной мысли, жалкого раба машинной цивилизации, чья единственная мечта — чтобы все не хуже, чем у соседей, Гарви доводил их до бешенства своими соображениями по статье «Все ли еще экзистенциален экзистенциализм, или Крафт-Эббинг»<sup>2</sup>. И они ушли.

Им не нужны умственные рассуждения об алхимии и символике, преподносимые твоим писклявым голоском, увещевало Гарви его подсознание. Им нужен исключительно простой, старомодный белый хлеб с де-

<sup>1</sup> Речь, вероятно, идет о второй и третьей частях «Божественной комедии» Данте.

<sup>2</sup> Непереводимая игра слов. Искажена (что не отражается на произношении) фамилия немецкого психиатра Краффт-Эбинга, чем подчеркивается ее созвучие с английскими словами. В результате название статьи можно понять как «Все ли еще экзистенциален экзистенциализм, или это ремесло приходит в упадок?».

ревенским, домашнего приготовления, маслом, чтобы пережевывать затем в каком-нибудь полутемном баре, восклицая «как восхитительно!»:

Гарви отступил на прежние позиции.

На следующий вечер он снова был таким же, как раньше, милейшим, драгоценнейшим, чистейшей воды — хоть на зуб пробуй — Гарви. Дейл Карнеги? Великий религиозный вождь! Харт Шаффнер и Маркс? Лучше любой Бонд-стрит. Новейшая Книга Месяца? Вот она, на столе. Вы читали когда-нибудь Элинор Глин?

«Странный септет» впал в почти истерический экстаз. Они согласились — не очень даже упираясь — посмотреть Мильтона Берля. Каждая шутка, каждое слово Берля вызывало у Гарви приступы неудержимого хохота. Соседи Гарви согласились записывать на видеоманитофон дневные мыльные оперы, Гарви их ежевечерне смотрел, смотрел, не отрываясь от экрана, с чистым, религиозным благоговением. «Странный септет» с таким же благоговением смотрел на Гарви, они изучали его лицо, анализировали его абсолютную преданность «Матушке Перкинс» и «Второй жене Джона».

Гарви хитрел прямо на глазах. Ты на вершине успеха, говорило ему внутреннее «я». Оставайся на вершине! Радуй свою аудиторию! Завтра... завтра поставь им пластинки «Двух Черных Ворон»! И осторожнее, осторожнее! Вот, скажем, Бонни Бейкер... да, вот именно! Они вздрогнут, не в силах поверить, что тебе и вправду нравится, как она поет. Ну а Гай Ломбардо? Верно, самое то!

Ты символизируешь серую, безликую толпу, не отставало Джорджево подсознание. Они приходят сюда, чтобы изучить ужасающую пошлость воображаемого Человека Толпы — которого они якобы ненавидят. Однако колодец со змеями их завораживает.

— Они тебя любят, — сказала Джорджу Гарви жена, угадавшая ход его мыслей.

— Несколько утрашающей любовью, — печально улыбнулся Гарви. — Я ночами не сплю — все пытаюсь понять, зачем они сюда приходят. Сам у себя я не вызываю ничего, кроме тоски и неприязни. Глупый, уныло-болтливый человек. Ни одной свежей мысли в голове. И теперь выяснилось: мне нравится быть в обществе. Собственно говоря, мне всегда хотелось быть компанейским, только вот возможности не представлялось. Последние месяцы стали для меня сплошным праздником. Их интерес угасает. А я хочу сохранить его навсегда. Что же мне делать?

Услужливое подсознание снабдило его списком необходимых приобретений.

Пиво. Тупо до крайности, свидетельствует об отсутствии воображения.

Претцели<sup>1</sup>. Восхитительная старомодность.

Навестить маму. Прихватить картину Максфилда Парриша<sup>2</sup> — ту, выцветшую, засиженную мухами. Произнести о ней речь.

К декабрю мистера Гарви объял полный, безысходный ужас.

Члены «Странного септета» уже свыклись с Милтоном Берлем и Гаем Ломбардо. Мало-помалу они сами убедили себя, что в действительности Берль слишком тонок для американской публики, а Ломбардо опередил свое время на добрых двадцать лет — просто так уж выходит, что пошлые люди любят его совсем не за то, по своим пошлым причинам.

Империя Гарви сотрясалась, готовая рухнуть.

Неожиданно оказалось, что он — вполне заурядный человек, не отклоняющийся от принятых в обществе вку-

<sup>1</sup> Сухое солоноватое печенье.

<sup>2</sup> Максфилд Парриш (1870—1966) — американский художник и иллюстратор.

сов, а едва за ними поспевающий, — авангардисты с восторгом вцепились в Нору Баэз, в Никербокер-квартет урожая семнадцатого года, в Эла Джонсона, исполняющего «Куда пошли Робинзон Крузо с Пятницей субботним вечером», и Шепу Филдза с его «зыбким ритмом». Максфилд Парриш был воспринят как нечто само собой разумеющееся. Уже на второй вечер все пришли к единодушному мнению: «Пиво — напиток интеллектуалов. Очень жаль, что идиоты тоже его употребляют».

Короче говоря, друзья испарились. До Гарви доходили слухи, что Александр Пейп даже играл одно время с мыслью провести — сугубо для прикола — в свою квартиру горячую воду. Этот чахлый сорняк был безжалостно вырван с грядки, но не прежде, чем Пейп сильно упал в глазах *cognoscenti*<sup>1</sup>.

Гарви из кожи вон лез, пытаясь прозреть прихотливые сдвиги вкусов и моды. Он увеличил количество бесплатно выставляемой пищи, раньше всех предугадал возвращение к «ревушим двадцатым» — не только сам сменил брюки на грубошерстяные колючие бриджи, но даже уговорил жену вырядиться в ровный, как мешок, балахон и сделать короткую стрижку «под мальчика».

Но стервятники прилетали, быстренько сметали все со стола и убирались восвояси. Теперь, когда по миру устрашающим гигантом шагало телевидение, они торопливо влюбились в радио. Интеллектуалы слушали пиратские перезаписи радиопьес тридцатых годов — таких, как «Вик и Сэди» и «Семья Пеппера Янга», — а затем до хрипоты обсуждали их на своих сборищах.

Джорджа Гарви спасла серия решительных, с чудом граничащих действий, задуманных и осуществленных его запаниковавшим подсознанием.

Первым из этой серии был эпизод с неловко захлопнутой дверцей машины.

<sup>1</sup>Ценители искусства (*ит.*).

Мистер Гарви лишился кончика мизинца.

В последовавшей суматохе он нечаянно наступил на крошечный кусочек своей плоти, а затем, столь же нечаянно, отфутболил его далеко в сторону. К тому времени как утрата была выужена из уличной канавы, ни один хирург не взялся бы уже пришивать ее на место.

Счастливым несчастный случай! На следующий же день перебинтованный страдалец заметил в окне восточной лавки очаровательнейший *objet d'art*<sup>1</sup>. Быстренько припомнив, что рейтинг Гарви в среде авангарда неуклонно падает, зрителей на спектаклях становится все меньше и меньше, многоопытное подсознание затолкнуло его в лавку и заставило вытащить бумажник.

— Ты давно не встречал Гарви? — кричал Александр Пейп в телефонную трубку. — Мой бог, ты должен это увидеть!

— Что это такое?

Все глаза устремились в одну точку.

— Наперсток китайского мандарина. — Гарви небрежно взмахнул рукой. — Восточная древность. Мандарины носили такие наперстки, чтобы защитить свои пятидюймовые ногти.

Он поднял стакан с пивом. Золотой, чуть отставленный в сторону мизинец завораживающе сверкал.

— Никто не любит калек, их недостатки вызывают невольное раздражение. Утрата мизинца очень меня огорчила. Но теперь, с этой золотой фитиюлиной я чувствую себя лучше прежнего.

— Такого красивого пальца ни у кого из нас нет и никогда не будет, — сказала жена Гарви, раскладывая по тарелкам зеленый салат. — И Джордж имеет на него полное право.

Гарви был потрясен, с какой легкостью расцвела заново его совсем было увядшая популярность. О искусство!

<sup>1</sup> Произведение искусства (*фр.*).

О жизнь! Маятник, качающийся налево, направо, снова налево, от сложного к простому, снова к сложному. От романтики к реализму, чтобы неизбежно вернуться к романтике. Проницательный человек способен ощущать интеллектуальные перигелии, заранее готовится к новым головокругительным орбитам. Полуобморочная, загнанная в подсознание гениальность Джорджа Гарви села в постели, начала принимать пищу, даже рискнула встать и прогуляться, с некоторым удивлением пробуя свои не находившие прежде никакого применения руки-ноги. А затем разгулялась.

— У людей нет ни крупицы воображения, — говорила эта тайная, столь долго пребывавшая в небрежении сущность Гарви — его собственным языком. — Если несчастный случай лишит меня ноги, я не стану пристегивать на ее место деревяшку. Нет, я закажу себе золотую, усыпанную драгоценными камнями ногу, и чтобы в ней была устроена золотая клетка с дроздом, чьи трели будут улаживать мой слух на прогулках и во время дружеских бесед. Лишившись руки, я закажу себе новую, из красной меди с нефритом, полуую, и в ней будет отделение для сухого льда и еще пять отделений — по одному на каждый палец. «Кто-нибудь хочет выпить? — воскликну я. — Херес? Бренди? Дюбонне?» Затем невозмутимо поверну над бокалами золотые кончики моих пальцев. Пять холодных струй из пяти пальцев, пять напитков. Я закрою золотые краны и воскликну: «Пьем до дна!»

А самое главное, почти начинаешь хотеть, чтобы собственный глаз тебя оскорбил. Выковырай его, говорит Библия, я не ошибаюсь? Это действительно из Библии? Если бы такое случилось со мной — помилуй бог, я бы и не подумал об этих кошмарных стеклянных глазах, не говоря уж о всяких там черных пиратских повязках. Знаете, что бы сделал я? Я бы взял покерную фишку и послал ее этому вашему французскому знакомому, как там его фамилия? Да, Матисс! Я бы написал: «К этому пись-

му приложены покерная фишка и чек на ваше имя. Нарисуйте, пожалуйста, на фишке голубой, прекрасный, человеческий глаз. Ваш покорный слуга Дж. Гарви».

Гарви всегда презирал свое тело, в частности — считал свои глаза слабыми, тусклыми и невыразительными. Соответственно, он не очень удивился, когда через месяц — одновременно с очередным падением гэллаповского индекса — его правый глаз заслезился, загноился, а затем и вовсе ослеп.

Гарви был убит.

И — в равной степени — тайно ликовал.

Авиаписьмо с покерной фишкой и чеком на пятьдесят долларов улетело во Францию. «Странный септет» наблюдал за всеми действиями Гарви, злорадно ухмыляясь.

Неделю спустя из Франции вернулся непогашенный чек.

Следующей почтой прибыла покерная фишка.

А. Матисс нарисовал на фишке прекраснейший, изысканнейший голубой глаз, с бровью и нежными пушистыми ресницами. А. Матисс уложил глаз на зеленый бархат, в маленькую коробочку, какими пользуются для своих изделий ювелиры. Не было никаких сомнений, что все это действие доставляло ему такое же удовольствие, как и Джорджу Гарви.

«Харперс Базар» опубликовал фотографию Гарви с матиссовским глазом и фотографию самого Матисса, разрисовывающего монокль после длительных экспериментов с тремя дюжинами фишек.

А. Матисс проявил на редкость здравый смысл, попросив фотографа запечатлеть сие событие для потомков. Журнал цитировал его слова: «Выбросив двадцать семь глаз, я изготовил в конечном итоге такой, как мне хотелось. Он летит уже к мсье Гарви».

И еще один снимок — глаз, воспроизведенный в шести цветах, угрожающе тарашится с зеленого бархата

своей коробочки. Музей современного искусства начал торговать копиями. Друзья и сподвижники «Странного септета» играли в покер на красные фишки с голубыми глазами, белые фишки с красными глазами и синие фишки с белыми глазами.

Но лишь один во всем Нью-Йорке человек носил оригинальный матиссовский монокль — мистер Гарви.

— Я — все тот же убийственный зануда, — сказал он как-то жене, — но кто же сможет рассмотреть глупость мою и неотесанность за этим моноклем и мандаринским пальцем? А если их интерес снова начнет иссякать — нет ничего проще, чем утратить в результате несчастного случая руку или ногу. Ты уж не сомневайся. За выстроенным мной фасадом никто и никогда не сумеет найти того, прежнего недотепу.

Не далее как вчера нам удалось поговорить с его женой.

— Я почти не воспринимаю Джорджа как того, полузабытого Джорджа Гарви. Он сменил имя, хочет, чтобы все называли его «Джулио». Иногда ночью я посмотрю на него и окликну: «Джордж», но он не отвечает. Так вот и лежит с китайским наперстком на мизинце и голубым матиссовским моноклем в глазнице. Я часто просыпаюсь по ночам, часто смотрю на Джорджа. И знаете что? Иногда эта невероятная матиссовская покерная фишка словно бы заговорщицки мне подмигивает.

---

### СКЕЛЕТ

Сколько ни откладывай, а сходить к врачу придется. Мистер Харрис уныло свернул в подъезд и поплелся на второй этаж. «Доктор Берли», — блеснула золотом указывающая вверх стрелка. Увидев знакомого пациента, доктор Берли непременно вздохнет — ну как же, десятый ви-



зит на протяжении одного года. И чего он, спрашивается, так страдает, ведь за все обследования заплачено.

Сестричка вскинула глаза, весело улыбнулась, подошла на цыпочках к стеклянной двери, чуть ее приоткрыла, сунула голову в кабинет.

— Угадайте, доктор, кто к нам пришел, — прошелестело в ушах Харриса, а затем — ответ, совсем уже еле слышный:

— Господи боже ты мой, неужели опять?

Харрис нервно сглотнул.

При виде Харриса доктор Берли недовольно фыркнул.

— И у вас, конечно же, снова боль в костях! — Он нахмурился, чуть поправил очки. — Мой дорогой Харрис, вас прочесали самыми частыми гребешками, какие только известны науке, и не выловили ни одной подозрительной бактерии. Все это — просто нервы. Вот, посмотрим на ваши пальцы. Слишком много сигарет. Дыхните на меня. Слишком много белковой пищи. Посмотрим глаза. Недостаток сна. Мои рекомендации? Бросьте курить, откажитесь от мяса, побольше спите. С вас десять долларов.

Харрис угрюмо молчал.

— Вы еще здесь? — снова взглянул на него врач. — Вы — ипохондрик. Теперь с вас одиннадцать долларов.

— А почему же у меня все кости ноют? — спросил Харрис.

— Знаете, как это бывает, если растянешь мышцу? — Доктор Берли говорил спокойно, вразумительно, словно обращаясь к ребенку. — Так и хочется сделать с ней что-нибудь — растереть, размять. И чем больше суетишься, тем хуже. А оставишь ее в покое — и боль быстро исчезнет. Выясняется, что все твои старания не приносили никакой пользы, а, наоборот, шли во вред. То же самое сейчас с вами. Оставьте себя в покое. Примите слабительное, поставьте клизму. Отдохните от этого города, прогулай-

тесь в Финикс — вы же полгода туда собираетесь, и все кончается пустыми разговорами. Смена обстановки будет вам очень кстати.

Пятью минутами позднее мы находим Харриса в ближайшем магазинчике, перелистывающим телефонную книгу. От этих, вроде Берли, зашоренных идиотов — разве дождешься от них элементарного сочувствия, не говоря уж о помощи? Палец, скользивший по списку «ОСТЕОПАТЫ (СПЕЦИАЛИСТЫ по КОСТЯМ)», остановился на М. Мьюнигане. За фамилией этого Мьюнигана не следовало ни обычного «доктор медицины», ни прочих академических аббревиатур, зато его приемная располагалась очень близко: три квартала вперед, потом один направо...

М. Мьюниган был похож на свой кабинет — такой же темный и маленький, такой же пропахший йодом, йодоформом и прочей непонятной медициной. Зато он слушал Харриса с напряженным вниманием, с живым, заинтересованным блеском в глазах. Сам Мьюниган говорил со странным акцентом — словно и не говорил, а высвистывал каждое слово — наверное, плохие зубные протезы.

Харрис рассказал ему все.

М. Мьюниган понимающе кивнул. Да, он встречался с подобными случаями. Кости человеческого тела. Человек забывает, что у него есть кости. Да, да — кости. Скелет. Трудный случай, очень трудный. Дело тут в утрате равновесия, в разладе между душой, плотью и скелетом.

— Очень, очень сложно, — негромко присвистывал М. Мьюниган.

«Неужели и вправду нашелся врач, понимающий мою болезнь?» Харрис слушал как замороженный.

— Психология, — сказал М. Мьюниган, — корнями своими все это уходит в психологию.

Он подлетел к унылой грязноватой стене и включил подсветку полудюжины рентгеновских снимков; в воздухе повисли призрачные силуэты бледных тварей, вы-

ловленных в пене доисторического прибой. Вот, вот! Скелет, пойманный врасплох! Вот световые портреты костей, длинных и коротких, толстых и тонких. Мистер Харрис должен хорошо осознать стоящие перед ним проблемы, сложность своего положения.

Рука М. Мьюнигана указывала, постукивала, шелестела, поскребывала по бледным туманностям плоти, обволакивающим призраки черепа, позвоночного столба, тазовых костей — известковые образования, кальций, костный мозг, здесь, и здесь тоже, это, то, эти, и те, и еще другие! Смотрите!

Харрис зябко поежился. Сквозь рентгеновские снимки в кабинет ворвался зеленый, фосфоресцирующий ветер страны, населенной монстрами Дали и Фузели<sup>1</sup>.

И снова тихое присвистывание М. Мьюнигана. Не желает ли мистер Харрис, чтобы его кости были... подвергнуты обработке?

— Смотря какой, — сказал Харрис.

Мистер Харрис должен понимать, что М. Мьюниган не сможет ему ничем помочь, если Харрис не будет нужным образом настроен. Психологически пациент должен ощущать необходимость помощи, иначе все усилия врача пойдут впустую. Однако (М. Мьюниган коротко пожал плечами) М. Мьюниган попробует.

Харрис лежал на столе с открытым ртом. Освещение в кабинете потухло, все шторы были плотно задернуты. М. Мьюниган приблизился к пациенту.

Легкое прикосновение к языку.

Харрис почувствовал, что из него вырывают челюстные кости. Кости скрипели и негромко потрескивали. Один из скелетов, тускло светившихся на стене, задрожал и подпрыгнул. По Харрису пробежала судорога, он произвольно захлопнул рот.

---

<sup>1</sup> Джон Генрих Фузели (1742—1825) — английский художник, иллюстратор и эссеист.

М. Мьюниган громко вскрикнул. Харрис чуть не откусил ему нос! Бесплезно, все бесплезно! Сейчас не тот момент! Легкий шорох, шторы поднялись, М. Мьюниган обернулся, прежний энтузиазм сменился на его лице полным разочарованием. Когда мистер Харрис почувствует психологическую готовность к сотрудничеству, когда мистер Харрис почувствует, что действительно нуждается в помощи и готов полностью довериться М. Мьюнигану, тогда появятся какие-то шансы на успех. А пока что гонорар составляет всего два доллара; М. Мьюниган протянул маленькую ладошку. Мистер Харрис должен задуматься. Здесь вот схема, пусть мистер Харрис возьмет ее домой и изучит. Схема познакомит мистера Харриса с его телом. Он должен ощущать свое тело, насквозь, до мельчайшей косточки. Он должен хранить бдительность. Скелет — структура очень странная, громоздкая и капризная. Глаза М. Мьюнигана лихорадочно поблескивали.

— И — всего хорошего, мистер Харрис. Да, кстати, не хотите ли хлебную палочку?

М. Мьюниган пододвинул к Харрису банку с длинными, твердыми, круто посоленными хлебными палочками, взял одну из них сам и начал с хрустом грызть. Хорошая вещь — хлебные палочки, очень помогают сохранять... ну... форму. Всего хорошего, мистер Харрис, всего хорошего!

Мистер Харрис пошел домой.

На следующий день, в воскресенье, мистер Харрис обнаружил в своем теле бесчисленную тьму новых болей и недомоганий. Он провел все утро за изучением миниатюрной, однако абсолютно четкой и анатомически точной схемы скелета, полученной от М. Мьюнигана.

За обедом Кларисса, супруга мистера Харриса, чуть не довела его до нервного припадка — шелкала суставами своих тонких, удивительно изяшных пальчиков, пока мистер Харрис не заткнул уши и не закричал: «Прекрати!»

После обеда он засел у себя в комнате, ни с кем не общаясь. Кларисса и три ее подружки сидели в гостиной, играли в бридж, смеялись и непрерывно тараторили; Харрис тем временем со все возрастающим интересом ошупывал и изучал каждую часть своего тела. Через час он встал и громко крикнул:

— Кларисса!

Кларисса умела не войти, а впорхнуть в комнату; плавные, пританцовывающие движения тела неизменно позволяли ей хоть немножко, хоть на малую долю миллиметра, но все же не касаться ворсинок ковра. Вот и теперь она извинилась перед гостями и весело влетела в комнату мужа.

Харрис сидел в дальнем углу, пристально изучая анатомическую схему.

— Все грустишь, милый, и хмуришься? — Кларисса села ему на колени. — Не надо, пожалуйста, а то мне тоже грустно.

Даже ее красота не смогла вывести мистера Харриса из раздумий. Он покачал на ноге невесомость Клариссы, затем осторожно потрогал ее коленную чашечку. Округлая косточка, укрытая светлой, своим светом светящейся кожей, чуть пошевелилась.

— Это что, — судорожно вздохнул Харрис, — так, что ли, и полагается?

— Что полагается? — звонко расхохоталась Кларисса. — Ты это про мою коленную чашечку?

— Ей что, так и полагается двигаться?

Кларисса удивленно потрогала свое колено.

— Ой, а ведь и правда!

— Хорошо, что твоя тоже ползает, — облегченно сказал Харрис. — А то я уже начинал беспокоиться.

— О чем?

— Да вот и колено, и ребро. — Он похлопал себя по грудной клетке. — Ребра у меня не до самого низа, вот тут

они кончаются. А есть и совсем уж странные — не доходят до середины, а так и болтаются в воздухе, ни на чем!

Кларисса ощупала свое тело, чуть пониже грудей.

— Ну конечно же, глупенький, здесь они у всех кончаются. А эти коротенькие, смешные — это называется «ложные ребра».

— Вот видишь — ложные. Остается только надеяться, что они не позволят себе никаких фокусов, будут вести себя как самые настоящие.

Шутка получилась предельно неуклюжей. Теперь Харрису страстно хотелось снова остаться в одиночестве. Ведь здесь вот, совсем рядом, только нащупай дрожашими, боязливymi пальцами, лежали дальнейшие открытия, новые, еще более странные археологические находки — и он не хотел, чтобы над ним кто-то смеялся.

— Спасибо, милая, что пришла, — сказал Харрис.

— Кушайте на здоровье.

Маленький носик Клариссы шаловливо потерся о нос Харриса.

— Подожди! А вот здесь, здесь... — Харрис ощупал сперва свой нос, затем — нос жены. — Ты понимаешь, что тут происходит? Носовая кость доходит только досюда. А все остальное заполнено хрящевой тканью!

— Ну конечно же, милый!

Кларисса смешно сморщила хрящевой носик и выпорхнула из комнаты.

Харрис остался один. Пот быстро переполнял углубления и впадины его лица, неудержимым половодьем заливал щеки.

Он облизнул губы и закрыл глаза. Теперь... теперь... следующим пунктом повестки дня... что? Да, позвончик.

Харрис прошелся рукой по длинному ряду позвонков, примерно так же, как у себя в кабинете — по многочисленным кнопкам, вызывающим операторов и курьеров. Только сейчас в ответ на осторожные нажимы из скрытых

в мозгу дверей вырывались бессчетные страхи и кошмары. Позвоночник казался до ужаса незнакомым, единственная ассоциация — хрупкие останки только что съеденной рыбы, разбросанные по холодной фарфоровой тарелке. Харрис отчаянно перебирал маленькие, круглые буторки.

— Господи! Господи!

Зубы Харриса начали выбивать дробь. «Боже милостивый, — думал он, — как же мог я этого не понимать? Все эти годы я существую, имея внутри себя — скелет! Почему все мы считаем себя чем-то само собой разумеющимся? Почему мы не задумываемся о своих телах и своем бытии?»

Скелет. Жесткий, белесый, суставчатый остов. Нелепый подергунчик, связанный из сухих ломких палочек; пародия на человека — отвратительная, с длинными, вечно трясушимися пальцами, с черепом вместо лица, с черными, пустыми, плящимися в никуда глазами. Одна из этих омерзительных штук, которые качаются на цепях в заброшенных, затянутых паутиной чуланах либо отдельными, добела выгоревшими на солнце частями лежат в пустынях вдоль караванных троп.

Зная все это — разве можно спокойно сидеть? Харрис вскочил на ноги. «Вот сейчас внутри меня, — он схватился за живот, затем за голову, — внутри моей головы находится череп. Гнутая костяная коробка, дающая приют электрической медузе моего мозга, надтреснутая скорлупа с дырами, словно пробитыми выстрелом из двустволки! С костяными гротами и пещерами, куда вмещаются и мое осязание, и мой слух, и мое зрение, и все мои мысли. Череп, надежная темница, через крохотные, хрупкие оконца которой мой мозг смотрит на окружающий мир».

Разве можно так жить? Хотелось хищным хорьком метнуться в этот курятник, в гостиную, чтобы мирное квохтанье сменилось истерическим кудахтаньем, чтобы облаком выдранных перьев заплясали в воздухе карты...

Харрис не двинулся с места, но для этого потребовалось отчаянное, почти непосильное усилие. «Спокойно, спокойно, нужно же держать себя в руках. Да, это — откровение, ты должен смело взглянуть ему в лицо, осознать его и прочувствовать». «Так ведь скелет же! — вопило его подсознание. — Я не могу этого принять, да я просто не могу поверить! Это вульгарно, гротескно, ужасно! Все скелеты — кошмар, они трещат, стучат и дребезжат в древних замках, длинными, лениво раскачивающимися маятниками свисают с почерневших дубовых балок...»

— Милый, иди сюда, я познакомлю тебя с дамами! — Чистый, ясный голос жены доносился не из-за стенки, а с непостижимо огромного расстояния.

Мистер Харрис встал. Скелет удержал его в вертикальном положении! Эта мерзость внутри, этот наглый захватчик, этот несказанный ужас — он поддерживал руки Харриса, его ноги и голову! Ощущение, словно сзади, за спиной, стоит некто, кому там не место. С каждым новым шагом Харрис все четче осознавал безвыходность своего положения, полную свою зависимость от чужеродного Нечто.

— Секунду, милая, я сейчас, — бессильно откликнулся Харрис.

«Брось, возьми себя в руки! — сказал он себе. — Завтра на работу. В пятницу ты должен съездить наконец в Финикс. До Финикса далеко, несколько сотен миль. Ты должен быть в форме, иначе поездка снова отложится, а кто же, кроме тебя, уломает мистера Креддона инвестировать в твой керамический бизнес? Так что — выше нос!»

Через секунду он находился уже в обществе дам, знакомился с миссис Ундерз, миссис Эбблмэйт и мисс Кеди; все они содержали внутри себя скелеты, но относились к этому на удивление спокойно, ибо милосердная природа придела неприглядную наготу ключиц, бедренных и берцовых костей грудями, икрами и пушистыми бро-



виями, красными, капризно надутыми губками и... «Господи! — беззвучно вскрикнул мистер Харрис. — Всякий раз, когда они смеются, разговаривают или едят, проглядывает часть скелета — зубы! Господи, я никогда об этом не думал!»

— Извините, ради бога, — судорожно выдохнул он и выбежал из гостиной, выбежал как раз вовремя, чтобы донести свой ланч до клумбы с петуниями.

Перед сном, пока Кларисса раздевалась, Харрис сидел на кровати и аккуратно подстригал ногти. Вот еще одно место, где скелет выпирает наружу — не только выпирает, но и яростно, агрессивно растет.

Видимо, он пробормотал нечто подобное вслух — одетая в пеньюар жена села рядом, обняла его за шею, сладко зевнула и сообщила:

— Милый, так ведь ногти — совсем никакие не кости, это просто ороговевшая эпидерма.

Харрис отбросил ножницы.

— А ты точно знаешь? Будем надеяться, что да — так будет уютнее, и будем надеяться... — он обвел взглядом плавные изгибы ее тела, — что все люди устроены одинаково.

— В жизни не видела такого закоренелого ипохондрика. — Кларисса вытянула руку, не подпуская мужа к себе. — Давай, в чем там у тебя дело? Расскажи мамочке все по порядку.

— Внутри, — сказал он, — что-то у меня внутри не так. Съел, наверное, что-нибудь.

Весь следующий рабочий день мистер Харрис изучал со все нарастающим раздражением размеры, формы и устройство различных костей своего тела. В десять утра он захотел пощупать локоть мистера Смита и попросил о том разрешения. Мистер Смит недоверчиво нахмурился, однако возражать не стал. После ланча мистер Харрис захотел потрогать лопатку мисс Лорел. Мисс Лорел мгно-

венно прижалась к нему спиной, мурлыча, как котенок, и зажмурилась глазки.

— А ну-ка прекратите! — резко скомандовал мистер Харрис. — Что это с вами, мисс Лорел?

Оставшись в одиночестве, он начал думать о своем неврозе. Война уже кончилась, так что все эти психические сдвиги связаны, скорее всего, с чрезмерной нагрузкой на работе и неопределенностью будущего. Харрис был очень приличным, даже талантливым керамистом и скульптором. Как только представится такая возможность, он съездит в Аризону, возьмет у мистера Крелдона в долг, построит печь для обжига и организует собственную мастерскую. Вот о чем ему нужно беспокоиться, а не о всякой ерунде. Надо же так свихнуться!.. К счастью, он успел познакомиться с М. Мьюниганом — человеком, готовым понять и оказать возможную помощь. Только лучше уж он будет бороться сам, не прибегая, без крайней к тому необходимости, к услугам доктора Берли или там Мьюнигана. Чужеродное, непонятное ощущение должно пройти.

Харрис сидел и смотрел в пустоту.

Чужеродное ощущение и не думало проходить, оно усиливалось.

Весь вторник и среду Харриса страшно беспокоило, что его эпидерма, волосы и прочие внешние пристройки являют собой весьма жалкую картину, в то время как обволакиваемый ими скелет представляет собой чистую, точную структуру, организованную с предельной эффективностью. Харрис изучал свое угрюмое, со скорбно поджатыми губами лицо в зеркале; иногда, благодаря некоему фокусу освещения, он почти видел череп, ухмыляющийся из-за завесы плоти.

— Отпусти! — кричал он. — Отпусти меня! Мои легкие! Прекрати!

Харрис судорожно хватал воздух ртом, ребра давили его, не давали дышать.

— Мой мозг! Прекрати сжимать мой мозг!

Ужасающая, невероятная головная боль выжигала из мозга все, подчистую, мысли, как степной пожар — траву.

— Мои внутренние органы — оставь их, ради бога, в покое! Не трогай мое сердце!

Под угрожающими взмахами ребер — бледных паучьих лап, играющих со своей жертвой, — сердце Харриса в ужасе сжималось.

Кларисса ушла на собрание Красного Креста, Харрис лежал на кровати один, насквозь мокрый от пота. Он пытался хоть как-то себя вразумить — но только острее ощущал дисгармонию между грязной, неряшливой внешней оболочкой и невообразимо прекрасной, чистой и холодной вещью, замурованной внутри.

Кожа лица: жирная, с явно уже проступающими морщинами.

А теперь взгляни на белоснежную безупречность черепа.

Нос: великоват, тут уж не поспоришь.

А теперь взгляни на крошечные косточки носа, какой он у черепа, вверху, до того места, где отвратительный носовой хрящ начинает формировать этот идиотский, кособокий хобот.

Тело: толстовато, не правда ли?

И сравни с ним скелет — стройный, худощавый, с экономными, законченными очертаниями, тонкий и безупречный, как белый богомол. Резная слоновая кость, шедевр какого-нибудь великого восточного мастера.

Глаза: заурядные, невыразительные, по-идиотски выдуленные.

А теперь, будь добр, взгляни на глазницы черепа, такие круглые и глубокие, озера тьмы и спокойствия, всеведущие и вечные. Сколько в них ни вглядывайся, взор никогда не отыщет дна их черного понимания. Здесь, в ча-

шах тьмы, кроется вся ирония, и вся жизнь, и все вообще, что есть.

Сравнивай. Сравнивай. Сравнивай.

Этот ужас продолжался часами, скелет же, худощавый, занятый какими-то своими проблемами философ, тихо лежал, как изящное насекомое в грубой куколке, лежал, не говорил ни слова и только ждал, ждал...

Харрис медленно сел.

— Ну-ка, ну-ка, — воскликнул он, — подожди-ка минутку! Так ты же тоже беспомощный. Я тебя тоже припер. Я могу заставить тебя делать все, абсолютно все, чего только душа пожелает. А ты бессилен сопротивляться! Я скажу: ну-ка двинь своим запястьем, своими фалангами, и — алле-гоп! — они поднимаются, двигаются, и вот я махнул кому-нибудь там рукой! — Харрис расхохотался. — Я прикажу берцовым костям и бедрам начать периодическое движение, и — правой-левой-три-четыре, правой-левой-три-четыре — мы гуляем вокруг квартала. Вот так вот!

Он помолчал, торжествуя ухмыляясь.

— Так что тут у нас с тобой пятьдесят на пятьдесят. Игра с равными шансами. Только не игра, а борьба, и мы еще поборемся. В конце концов, из нас двоих только я думаю! Да, да, и это — самое главное! Даже будь ты сильнее, все равно думаю я!

Безжалостные челюсти сомкнулись, перекусывая мозг Харриса пополам. Харрис закричал. Кости черепа вонзились поглубже и наполнили мозг бесчисленными кошмарами. Затем, пока Харрис хрипел и стонал, они не спеша обнюхали и сожрали эти кошмары один за другим, вплоть до самого последнего, и тогда все померкло...

В конце недели он снова отложил поездку в Финикс — по состоянию здоровья. Опустив монетку в уличные весы, он увидел, как медлительная красная стрелка остановилась на цифрах 165.

Харрис чуть не взвыл. «Сколько уже лет я вешу сто семьдесят пять фунтов. Ну не мог же я так вот, за здорово живешь, взять и потерять сразу десять фунтов!» Он всмотрелся в нечистое, засиженное мухами зеркало — и почувствовал дрожь холодного, нерассуждающего ужаса. «Ты, все это — ты! Думаешь, я не понимаю, что ты там задумал, сучий ты кот!»

Он тряс кулаком перед своим сухим, костлявым лицом, обращаясь — в первую очередь — к своим верхним челюстным костям, к своей нижней челюсти, к черепу и шейным позвонкам.

— Это все ты, чертова хреновина, все ты! Решил, значит, заморить меня голодом, чтобы я терял вес, так? Отскоблить жир и мясо, чтобы не осталось ничего, только кожа да кости, да? Хочешь отделаться от меня, чтобы ты был самый главный, да? А вот нет и нет!

Харрис влетел в кафе.

Фаршированная индейка, картошка со сливками, четыре разновидности овощей, три десерта — ничего этого он не хотел. Он не мог есть, его тошнило. Харрис пересилил себя — но тогда заболели зубы. «Больные зубы, так, что ли? — зло ощерился Харрис. — А я вот буду есть, хоть бы даже каждый мой зуб шатался и клацал, пусть они хоть все повываливаются на тарелку!»

Голова Харриса пылала, грудную клетку свело, дыхание вырывалось из легких неровными, судорожными толчками, дико ныли зубы — и все же он одержал победу. Пусть и маленькую — но победу! Харрис собирался было выпить молоко, но вдруг передумал и вылил содержимое стакана в вазу с настурциями. «Нет уж, драгоценный ты мой, никакого кальция тебе не будет, ни сегодня, ни потом. Никогда, слышишь, никогда не буду я употреблять пищу, богатую кальцием и прочими веществами, укрепляющими кости. Я, милейший, буду есть для одного из нас, для себя — и никак уж не для тебя».

— Сто пятьдесят фунтов, — сообщил он жене через неделю. — А вот ты, ты замечаешь, как я изменился?

— К лучшему, — улыбнулась Кларисса. — Ты, милый, всегда был чуть толстоват для своего роста. А теперь, — она потрепала мужа по подбородку, — у тебя такое сильное, мужественное лицо, все линии четкие, определенные.

— Да не мои это линии, а этой погани! Значит, он нравится тебе больше меня, так, что ли?

— Он? Кто такой «он»?

За спиной Клариссы, в зеркале, сквозь плотскую гримасу ненависти и отчаяния проглядывала спокойная, торжествующая улыбка черепа.

Продолжая негодовать, Харрис закинул себе в рот несколько таблеток пивных дрожжей. Единственный способ прибавить в весе, когда организм почти не принимает пищу. Кларисса посмотрела на бутылочку с таблетками.

— Милый, — удивилась она, — если ты набираешь вес ради меня, так не надо. Правда не надо.

«Ну неужели ты не можешь заткнуться!» — хотелось крикнуть Харрису.

Кларисса заставила мужа лечь, положить голову ей на колени.

— Милый, — сказала она, — последнее время я за тобой наблюдаю. Тебе... тебе очень плохо. Ты ничего не говоришь, но вид у тебя просто страшный, какой-то затравленный. Ночью ты ни минуты не лежишь спокойно, все время дрожишь, мечешься. Возможно, стоит обратиться к психиатру, однако я заранее знаю, что он тебе скажет. Я сложила вместе все твои намеки и нечаянные оговорки. Так вот, ты и твой скелет — одно неделимое целое, одна неделимая страна, где свобода и справедливость в равной степени принадлежат каждому. Соединенные, вы выстояте, разъединенные — падете. Вы должны ладить, как немолодая уже, притершаяся семейная пара, а если ничего не получается — сходи к доктору Берли. Только спер-

ва расслабься. Это же типичнейший порочный круг: чем больше ты суетишься и тревожишься, тем сильнее выпирают твои кости, давая тебе новый повод для тревог. Да и кто, в конце концов, зачинщик всей склоки — ты или эта безымянная сущность, которая, если тебе верить, прячется позади твоего пищеварительного тракта?

Харрис закрыл глаза.

— Я. Пожалуй, что и я. А ты продолжай, говори мне, говори.

— Поспи, — сказала Кларисса. — Поспи и забудь.

Первую половину дня Харрис летал как на крыльях, но к вечеру заметно поуявлял. Хорошо, конечно, так вот валить все на неумеренное воображение, но ведь этот конкретный скелет действительно огрызается, да еще как!

После работы Харрис решительно направился к М. Мьюнигану. Через полчаса он свернул за нужный угол, увидел фамилию М. Мьюниган, написанную на стеклянной табличке золотыми, почти облупившимися буквами, — и в тот же самый момент все его кости словно сорвались с привязи, выплеснули в тело жгучую, ни с чем не сравнимую боль. Слепленный и оглушенный, Харрис зажмурился и побрел, пьяно раскачиваясь, прочь. Глаза он открыл только за углом, на главной улице; вывеска М. Мьюнигана исчезла из виду.

Боль отпустила.

Значит, М. Мьюниган способен помочь. Если одна его фамилия вызывает такую яростную реакцию, нет никаких сомнений, что он действительно способен помочь.

Но не сегодня. Каждая попытка Харриса вернуться к дому с облупленной вывеской неизменно кончалась новым взрывом боли. Мокрый от пота, он бросил бесполезное занятие и направился в ближайший бар.

Пересекая полутемный зал, он ненадолго задумался; а не лежит ли значительная часть вины на плечах того са-

мого М. Мьюнигана? В конце концов, кто как не Мьюниган привлек внимание Харриса к скелету?..

Мысль плотно засела в голове, затем потянулось все дальнейшее. Не может ли быть, что М. Мьюниган пытается использовать его в каких-то своих гнусных целях?.. В каких целях? С какой стати? Да нет, глупости, его и подозревать-то не в чем. Просто такой себе плюгавенький докторишка. Пытается помочь. Мьюниган и его банка хлебных палочек. Смешно. М. Мьюниган — нормальный парень...

В баре Харрис увидел здоровую, ободряющую, пробуждающую надежды картину. У стойки стоял высокий, толстый, да какой там «толстый» — круглый, как шар, мужчина. Он пил пиво, кружку за кружкой. Вот кто добился настоящего успеха. Харрис с трудом подавил желание подойти, хлопнуть толстяка по плечу и поинтересоваться, как это ему удалось настолько хорошо упрятать свои кости. И вправду, скелет любителя пива был упакован надежно, даже роскошно. Мягкие подушки жира здесь, упругие наслоения того же жира там, несколько круглых, как люстры, горбов жира под подбородком. Бедный скелет пропал, погиб — из этой китовой туши ему не вырваться. Если он и делал когда-нибудь такие попытки, то был быстро сломлен и прекратил сопротивление — в настоящий момент на поверхности толстяка нельзя было заметить ни малейших следов его костлявого партнера.

Ну что тут скажешь? Остается только завидовать. Утлой лодочкой Харрис приблизился к океанскому лайнеру, заказал себе рюмку, выпил и решился заговорить.

— Эндокринная система?

— Ты меня, что ли, спрашиваешь? — удивленно повернул голову толстяк.

— Или диета такая специальная? — продолжил Харрис. — Вы уж меня простите, ради бога, только я, как вы сами видите, совсем дохожу. Никак не могу набрать вес — все вниз и вниз. Мне бы вот такой, как у вас, желудок!



А как вышло, что вы его натренировали, — боялись чего-нибудь или что?

— Ты, — громко объявил толстяк, — совсем назюзюкался. Но это ничего, я люблю пьяниц. — Он заказал выпивку себе и Харрису. — Слушай внимательно, я расскажу все как есть. Слои за слоем, двадцать лет, не переставая, сопливым юнцом и зрелым мужчиной я строил это.

Он подхватил снизу свое огромное, словно глобус, брюхо и начал лекцию по гастрономической географии.

— Это же тебе не тяп-ляп, бродячий цирк какой-нибудь — разбили ночью, перед рассветом шатер, расставили-разложили там всякие чудеса — и готово. Нет, я выращивал свои внутренние органы, словно все они — породистые собаки, кошки и прочие животные. Мой желудок — розовый персидский кот, толстый и сонный. Время от времени он просыпается, чтобы помурлыкать, помяукать, поворчать, порычать и требовать с хозяина горсть шоколадных конфеток. Если я хорошо кормлю свой желудок, он готов ходить передо мной на задних лапах. Кишки же мои, дорогой друг, это редчайшие бразильские анаконды, толстые, гладкие, скрученные в тугие кольца и пышные безупречным здоровьем. Я забочусь о них, обо всем этом своем зверье, слежу, чтобы они были в форме. Из страха перед чем-нибудь? Возможно.

По этому поводу следовало выпить — что и было сделано.

— Набрать вес? — Толстяк перекатил слова во рту, как нечто вкусное. — Вот, послушай, что для этого нужно. Заведи себе склочную, болтливую жену, а заодно — чертову дюжину родственничков, способных из-за любого, самого невинного бугорка вспугнуть целый выводок кошмарных неприятностей. Добавь сюда шепотку деловых партнеров, чья первая, чуть ли не единственная цель в жизни — вытащить из твоего кармана последний, случайно завалившийся там доллар, — и ты на верном пути. Почему? Ты и сам не заметишь, как начнешь — абсолютно

бессознательно! — отгораживаться от них жиром. Создавать эпидермиальные буферные государства, строить органическую китайскую стену. Вскоре ты поймешь, что еда — единственное в мире удовольствие. Но все эти беды и беспокойства должны происходить от внешних источников. К сожалению, многим людям просто не о чем особенно тревожиться, в результате они начинают грызть сами себя и теряют вес. Окружи себя максимальным количеством мерзких, отвратительных людишек, и в самое кратчайшее время у тебя нарастет хорошая, — толстяк хлопал себя по шарообразному брюху, — трудовая мозоль.

С этими словами он направился, сильно покачиваясь, к двери и окунулся в темные волны ночи.

— А ведь именно это доктор Берли мне и втолковывал, — сказал себе Харрис. — Ну разве что чуть другими словами. Если я все-таки сумею съездить в Финикс...

Дневное время, когда в добеда выгоревшем небе висит желтое, безжалостное солнце, не очень подходит для пересечения Мохавской пустыни; вскоре по выезде из Лос-Анджелеса Харрис оказался в раскаленном пекле. Движение на шоссе почти замерло — зачастую ни спереди ни сзади не было видно ни одной машины. Харрис постукивал пальцами по баранке. Одолжит там Креддон эти деньги, необходимые для организации самостоятельного дела, или нет — все равно хорошо, что поездка в Финикс состоялась. Смена обстановки — великая вещь.

Машина рассекала обжигающий кипяток пустынного воздуха. Один мистер Х. сидел внутри другого мистера Х. Один из них взмок от пота, второй — возможно — тоже. Один из них чувствовал себя довольно погано, второй — возможно — тоже.

На очередном повороте внутренний мистер Х. неожиданно сдвинул плоть внешнего, заставив его резко дернуть раскаленную баранку.

Машина слетела с дороги, в бурлящую лаву песка, и развернулась боком.

Пришла ночь, поднялся ветер, металлический горбик, выпирающий из песка, так и оставался немым. Водители немногих пролетавших мимо машин ничего не замечали — машина Харриса закончила свой путь так неудачно, что с шоссе ее почти не было видно. Мистер Харрис лежал без сознания, но затем услышал завывания ветра, почувствовал на щеках уколы песчинок и открыл глаза.

В горячечном, полубезумном своем состоянии он потерял шоссе. Все утро Харрис описывал по пустыне круг за бесчисленным кругом; его воспаленные, забитые песком глаза почти ничего не видели. В полдень он прилег в жалкой тени чахлого колючего кустика. Солнце рубило Харриса бритвенно-острым мечом, рассекало его — до костей. В небе кружили стервятники.

Харрис с трудом разлепил спекшиеся, утратившие чувствительность губы.

— Вот так, значит? — хрипло прошептал он. — Не мытьем, так катаньем? Ты загоняешь меня по этому аду, заморишь голодом и жаждой, убьешь. — Он сглотнул набившийся в рот песок. — Солнце прожарит мою плоть, и ты сможешь выглянуть наружу. Стервятники мной пообедают, и вот уже ты будешь лежать один, лежать и торжествующе ухмыляться. Куски добела выгоревшего ксилофона, разбросанные стервятниками — известными любителями бредовой музыки. Да, ты будешь в полном восторге. Свобода.

Харрис шел по пустыне, дрожавшей и пузырившейся под безжалостным потоком солнечного света, затем споткнулся, упал ничком и стал проталкивать в свои легкие маленькие глотки огня. Воздух превратился в голубое, как у спиртовки, пламя, в этом пламени жарились и никак не могли прожариться кружившие над головой стервятники. Финикс. Шоссе. Машина. Вода. Жизнь.

— Эй!

Оклик донесся откуда-то издалека, из голубого спиртовочного пламени.

Мистер Харрис попытался сесть.

— Эй!

Снова тот же голос. И снова. И хруст торопливых шагов.

Харрис издал вопль неизмеримого облегчения, встал и тут же рухнул на руки человека в форме и со значком.

Вытаскивание и починка машины оказались делом долгим и скучным; Харрис добрался до Финикса в таком состоянии ума и настроении, что деловая операция превратилась для него в тупую, бессмысленную пантомиму. Он договорился с мистером Крелдоном, получил заем, но и деньги не значили ровно ничего. Эта штука, засевшая внутри его, как белый ломкий меч — в ножнах, портила ему работу, мешала есть, придавала какой-то жутковатый оттенок его любви к Клариссе, не позволяла даже доверять автомобилю. Случай в пустыне преисполнил Харриса паническим ужасом. Преисполнил до мозга костей — если, конечно, здесь уместна ирония.

Смутно, словно издалека, до Харриса донесся собственный его голос, благодаривший мистера Крелдона за деньги. Затем Харрис включил зажигание, и снова под колесами машины полетели долгие мили. На этот раз он выбрал путь через Сан-Диего, чтобы избежать пустынного участка шоссе между Эль-Сентро и Бомонтом. Лучше уж ехать вдоль побережья, нету больше доверия к этой пустыне. Но... осторожнее, осторожнее! Соленые волны грохотали о берег, со змеиным шипением набегали на пляжи лагуны. Песок, рыбы и рачки очистят кости от плоти ничуть не хуже стервятников. Так что помедленнее, помедленнее, особенно на тех поворотах, откуда можно слететь в воду.

«Да у меня что, совсем крыша съехала?»

И к кому же прикажете обратиться? К Клариссе? К Берли? К Мьюнигану? К костоправу. К Мьюнигану. На том и порешим.

— Здравствуй, милый!

Жесткость зубов и челюстных костей, ощущавшаяся через страстный поцелуй Клариссы, заставила Харриса страдальчески поморщиться.

— Здравствуй, — откликнулся он, вытирая губы запястьем и пытаясь унять дрожь.

— Ты похудел; да, милый, а это твое дело?..

— Кажется, все в порядке. Да, все в порядке.

Кларисса снова бросилась к нему на шею.

За обедом они изо всех сил старались изобразить приподнятое настроение; старалась, собственно говоря, одна Кларисса, Харрис только слушал ее смех и трескотню. Затем Харрис начал ходить кругами вокруг телефона; несколько раз он брался за трубку, но тут же отдергивал руку.

На пороге гостиной появилась Кларисса, в пальто и в шляпке.

— Прости, милый, но я ухожу. И не нужно, не нужно так кукситься! — Она ущипнула мужа за щеку. — Я вернусь из Красного Креста часа через два, ну через три, а ты ложись пока и дрыхни. Мне просто необходимо идти.

Как только хлопнула наружная дверь, Харрис бросился к телефону.

— М. Мьюниган?

Едва успел Харрис положить трубку, как мир взорвался оглушительной болью. Каждая его кость раздражала тело невероятными, в самом страшном кошмаре невообразимыми муками. Пытаясь хоть немного сдержать эту атаку, Харрис проглотил весь в доме аспирин, и все равно через час, когда у дверей позвонили, он лежал уже пластом, обливаясь потом и слезами, судорожно хватая воздух. Он не мог не то что встать, но даже пошевелиться.

— Входите! Входите, ради всего святого!

В гостиную вошел М. Мьюниган; слава богу, Кларисса не заперла дверь.

Мистер Харрис выглядит ужасно, совершенно ужасно!.. Маленький и темный, М. Мьюниган стоял в самой середине гостиной. Харрис бессильно кивнул. Боль крушила его тело тяжелыми кувалдами, рвала острыми железными крюками. При виде выпирающих костей Харриса глаза М. Мьюнигана заблестели. Да, я вижу, что сегодня мистер Харрис психологически готов принять помощь. Или я ошибаюсь? Харрис снова кивнул и всхлипнул. Как и в прошлый раз, М. Мьюниган говорил, присвистывая. Этот свист как-то там связан с его языком. Да какая, собственно, разница? Полуослепшим от слез глазам Харриса показалось, что маленький М. Мьюниган становится еще меньше, вроде как съезживается. Ерунда, конечно. Воображение. Всклипывая и задыхаясь, Харрис поведал историю своей поездки в Финикс.

М. Мьюниган пылал сочувствием. Этот скелет — да он же предатель, диверсант! Ничего, мы с ним разберемся, разберемся раз и навсегда!

— Мистер Мьюниган, — бессильно выдохнул Харрис, — я... раньше я этого не замечал. Ваш язык. Круглый и вроде трубочкой. Он что, пустой внутри? Глаза, глаза ничего не видят. Бред у меня. Что мне делать?

М. Мьюниган негромко высвистывал какие-то сочувственные слова, подходил все ближе. Не может ли мистер Харрис расслабиться в своем кресле и открыть рот? Свет в гостиной был уже потушен, М. Мьюниган заглянул в широко распахнутый рот Харриса. А нельзя ли еще чуть-чуть пошире? В тот, первый раз помочь Харрису было трудно, даже невозможно, ведь этому противились и плоть, и кости. Ну а теперь сотрудничество плоти обеспечено, и пусть себе скелет протестует, сколько хочет.

Голос М. Мьюнигана, доносившийся из темноты, казался каким-то маленьким-маленьким, совсем крошечным, присвистывание стало высоким и пронзительным. Ну вот, сейчас. Расслабьтесь, мистер Харрис. Начинаем!

Что-то начало выламывать нижнюю челюсть Харриса, словно во все стороны одновременно, что-то придавило ему язык, что-то забило гортань. Харрис отчаянно попытался вздохнуть. Пронзительный свист. Он не мог, совсем не мог дышать! Что-то заползло ему в рот, мячиком вздуло щеки, взорвало челюсти. Что-то похожее на струю кипятка протиснулось в носоглотку, колоколом загремело в ушах.

— А-а-а-а! — завопил задыхающийся Харрис. Его голова — голова со взломанным, вдребезги разбитым черепом — безвольно повисла; в легких полыхнул адский, мучительный огонь.

Через мгновение Харрис снова обрел способность дышать. Наполненные слезами глаза широко раскрылись. Харрис закричал. Кто-то раскачивал его ребра, выламывал их, собирал в охапку, как хворост. Боль, страшная боль! Харрис осел на пол, из его рта с хрипом вырывался горячий воздух.

В глазах Харриса фейерверком вспыхивали искры, пылали яркие пятна; он чувствовал, как расшатываются, а затем и вовсе исчезают кости рук, ног.. Прошло еще какое-то время, и он сумел разглядеть гостиную, полуоткрытую пеленой слез.

В гостиной никого не было.

— М. Мьюниган? Бога ради, мистер Мьюниган, где вы? Помогите мне!

М. Мьюниган исчез.

— Помогите!

А потом Харрис услышал.

Из глубочайших подземелий его тела доносились крошечные, невероятные звуки — негромкое потрескивание и поскрипывание, похрупывание и почмокивание и быстрый сухой хруст, словно там, в кроваво-красной мгле, крошечная изголодавшаяся мышь умело и прилежно обгладывала... что?!

Кларисса шла по тротуару, высоко подняв голову, и вспоминала собрание Красного Креста. Сворачивая на улицу Сент-Джеймс, она чуть не столкнулась с маленьким темным человечком, от которого густо несло йодом.

Кларисса тут же забыла бы про случайного встречного, не извлеки он в этот самый момент из-под пальто нечто длинное, белесое и до странности знакомое. Вытащив непонятный предмет, он начал его грызть, как леденцовую палочку. Когда с утолщением на конце было покончено, человек сунул внутрь своей белой конфеты узкий, ни на что не похожий язык и начал с очевидным удовольствием высасывать начинку. Пока он грыз это необыкновенное лакомство, Кларисса дошла до своего дома, повернула ручку и исчезла за дверью.

— Милый? — окликнула она с порога и улыбнулась. — Где ты, милый?

Кларисса закрыла входную дверь, миновала прихожую, вошла в гостиную.

— Милый...

Она двадцать секунд смотрела на пол и пыталась что-нибудь понять.

И закричала.

Снаружи, в густой тени платанов, маленький человечек проделал в длинной белой палке ряд дырочек, затем слегка оттопырил губы и негромко сыграл на этом импровизированном инструменте короткий, печальный мотивчик, аккомпанируя кошмарному, пронзительному завыванию Клариссы, стоявшей посреди гостиной.

Если вспомнить детство, сколько раз случалось Клариссе, бегая по пляжу, раздавить медузу и взвизгнуть. А обнаружить целенькую, с желатиновой кожицей медузу у себя в гостиной — в этом и совсем нет ничего страшного. Ну, отступишь на шаг, чтобы не раздавить.

Но когда медуза обращается к тебе по имени...



## БАНКА

Самая обычная банка с маловразумительной диковинкой, какие сплошь и рядом встречаются в балаганчиках бродячего цирка, установленных на окраине маленького сонного городка. Белесое нечто, парящее в густой спиртовой атмосфере, вечно погруженное то ли в сон, то ли в какие-то свои мысли, вечно описывающее медленные круги. Безжизненные, широко раскрытые глаза, вечно глядящие на тебя, никогда тебя не замечающие... И аккомпанемент: вечерняя тишина, нарушаемая только стрекотанием сверчков да вздохами лягушек, доносящимися с заболоченного луга. Самая обычная банка, а в ней то, что заставляет желудок подпрыгнуть к самому горлу, почище чем вид человеческой руки, покачивающейся в бледно-желтом формалине лабораторной кюветы.

Оно глядело на Чарли. Чарли глядел на него. Долго.

Очень долго. Его большие, мозолистые, волосатые на запястьях руки намертво вцепились в веревку, отделяющую экспонат от ротозеев. Он честно заплатил монетку в десять центов и теперь смотрел.

Приближалась ночь. Карусель засыпала на ходу, быстрый, веселый перестук сменился вымученным, словно из-под палки, позвякиванием. Временные рабочие, пришедшие уже снимать балаганчик, играли в покер, курили и негромко чертыхались. Мигнули и погасли наружные лампы, цирк погрузился в полутьму позднего летнего вечера; зрители потянулись домой. Громко заорало и тут же стихло радио; теперь ничто не нарушало безмолвия необъятного, в мириадах звезд луизианского неба.

Для Чарли мир сузился до размеров банки, где покачивалось белесое нечто. Челюсть Чарли отвисла, бесхитростно выставив напоказ влажную розовую полоску языка и зубы; в широко раскрытых глазах светились удивление и восторг.

В темноте обозначилась смутная фигура, совсем маленькая рядом с мосластой долговязостью Чарли.

— О, — сказал человек, выходя на свет голой, одинокой лампы, освещавшей балаган. — Ты что, друг, так все тут и стоишь?

— Ага, — откликнулся Чарли, словно с трудом выплывая из пучины сна.

Такой страстный интерес не мог не произвести впечатления.

— Эта штука, — хозяин цирка кивнул на банку, — она всем нравится... в общем, в каком-то смысле.

Чарли неуверенно потрогал свой длинный костлявый подбородок.

— А вы... ну, значит... вы никогда не думали насчет ее продать?

Глаза циркача широко распахнулись, снова сощурились.

— Ни в жизнь, — фыркнул он. — Приманка для посетителей. Они любят посмотреть на что-нибудь этакое. Точно любят.

— А-а... — разочарованно протянул Чарли.

— С другой стороны, если подумать, — продолжил хозяин цирка, — если у человека есть деньги, то, вообще говоря...

— Сколько денег?

— Ну, если у человека найдется... — Хозяин цирка начал разгибать пальцы, зорко поглядывая на Чарли. — Если у человека найдется три, четыре... ну, скажем, семь или восемь...

Видя, что Чарли встречает каждую новую цифру кивком, хозяин цирка решил поднять цену.

— Ну, может, десять долларов или там пятнадцать...

Чарли нахмурился.

— А в общем-то, если у человека найдется двенадцать долларов... — пошел на попятную хозяин цирка.

Чарли радостно ухмыльнулся.

— ...тогда, пожалуй, он мог бы и купить эту штуку в банке.

— Надо же, — удивился Чарли, — у меня тут в кармане как раз двенадцать зеленых. И я вот думал, как заважают меня в Уайльдеровской Лошине, если я возьму и привезу домой вот такую штуку вроде этой и поставлю на полку над столом. Ребята меня вообще заважают, вот на что хошь можно спорить.

— Ну так, значит... — прервал его мечты хозяин цирка.

По завершении сделки банка была водружена на заднее сиденье фургона. При виде покупки, сделанной хозяином, конь жалобно заржал и нервно затанцевал на месте.

На лице хозяина цирка читалось почти нескрываемое облегчение.

— Знаешь, — сказал он, глядя на Чарли снизу вверх, — а ведь хорошо, что я загнал тебе эту хреновину. Так что ты и не благодари, не надо. Я вот на нее все смотрел, а последнее время какие-то у меня про нее мысли появились, странные мысли... Да ладно, и что у меня за привычка такая дурацкая трепать языком больше, чем надо! Пока, фермер.

Чарли тронул поводья. Голые синеватые лампочки померкли и исчезли, как умирающие звезды; на фургон, и на коня, и на дорогу навалилась темная луизианская ночь. В мире не было ничего, кроме Чарли, коня, глухо и размеренно постукивающего копытами, и сверчков.

И банки, стоящей позади высокого переднего сиденья.

Банка качалась вперед-назад, вперед-назад и негромко говорила: плех-плех, плех-плех... И холодное серое нечто сонно билось о стекло и выглядывало наружу, выглядывало наружу и ничего не видело, ничего не видело.

Чарли повернулся назад, с гордостью, почти нежно похлопал по крышке банки. Его рука вернулась холодная

и преобразенная, полная возбужденной дрожи и странного, незнакомого запаха. «Да-а, ребята! — думал он. — Да-а, ребята».

Плех, плех, плех...

В Лошине, перед единственным ее магазином, мужчины сидели и стояли, негромко переговаривались и сплевывали в пыльном свете зеленых и кроваво-красных фонарей.

Знакомое поскрипывание сказало им, что едет Чарли; ни одна тяжелая, угловатая, с волосами, как пакля, голова не повернулась на остановившийся фургон. Красными светлячками тлели сигары, лягушачьим бормотанием звучали голоса.

— Привет, Клем! Привет, Милт! — наклонился с высокого сиденья Чарли.

— Привет, Чарли. Привет, Чарли.

Тусклое, невнятное бормотание. Политический конфликт продолжается.

Чарли разрубил его по шву:

— У меня тут есть одна вещь. Такая вещь, что вы, может, захотите посмотреть.

На крыльце магазина зеленою поблескивали глаза Тома Кармоди. Сколько помнил Чарли, Том Кармоди вечно устраивался либо под каким-нибудь навесом, в тени, либо в тени деревьев, а если в комнате — то в самом дальнем углу, и всегда из темноты на тебя поблескивали его глаза. Ты никогда не знаешь, какое выражение у него на лице, а глаза его всегда вроде как над тобой смеются. И сколько раз ни посмотрят на тебя глаза Тома Кармоди, каждый раз они смеются над тобой каким-то новым способом.

— У тебя, красавчик, нет ничего такого, на что нам захотелось бы посмотреть.

Чарли сжал кулак, осмотрел его со всех сторон и только затем продолжил:

— Такая штука в банке. Выглядит вроде как похоже на мозг, и вроде как похоже на маринованную медузу, и вроде как похоже... Да вы сами посмотрите!

Вспыхнул водопад розовых искр — один из фермеров притушил сигару и лениво направился к фургону. Чарли великодушно снял с банки крышку; лицо фермера, освещенное неверным светом фонаря, изменилось.

— Слышь, а правда, что за хрень такая?..

Это было начало оттепели. За первым фермером последовали и остальные; они неохотно поднимались и шли, повинувшись непреодолимому тяготению. Ни один из них не делал никаких усилий — разве что выставлял вперед то одну, то другую ногу, чтобы не шлепнуться удивленным лицом о землю. Вокруг банки собралось плотное кольцо людей, после чего Чарли — впервые в своей жизни — прибежал к чему-то вроде стратегии и вернул стеклянную крышку на место.

— Хотите посмотреть еще — заходите ко мне домой, — щедро предложил он. — Там она и будет.

— Ха! — презрительно сплюнул с крыльца Том Кармоди.

— Слышь, — забеспокоился Дед Медноув, — дай я еще взгляну! Так это что, восьминог?

Чарли тряхнул поводьями, конь нехотя ожил.

— Заходите, милости просим!

— А что скажет твоя жена?

— А она нас метлой не погонит?

Но фургон уже исчез за холмом. Фермеры стояли, всматривались в темную ночную дорогу и говорили, говорили... Том Кармоди, так и не покидавший крыльца, негромко выругался.

Чарли поднялся по ступенькам своей халупы, прошел в гостиную и водрузил банку на предназначенный ей трон. Теперь эта унылая комнатуха станет дворцом, в ней будет император — да, лучшего слова и не придум-

маешь! — император, белый и холодный, бесстрастно покачивающийся в своем личном бассейне, император, возведенный на полку, приколоченную над кособоком дощатым столом.

И прямо сейчас, прямо на глазах у Чарли, банка выжгла холодный туман, набежавший с недалекого болота.

— Что это ты там притащил?

Высокий голос жены вывел Чарли из благоговейного экстаза. Теди стояла в дверях спальни: узкое тело обтянуто вылинявшим голубым ситцем, волосы стянуты на затылке в бесформенный узел, красные уши чуть оттопырены. Ее глаза напоминали вылинявший ситец.

— Ну так что? — повторила она. — Что это такое?

— А вот ты сама, Теди, как ты думаешь, на что это похоже?

Теди шагнула вперед, не отрывая взгляда от банки; бесстыжим маятником качнулись ее бедра, чуть оскалились белые кошачьи зубы.

Мертвое белое нечто, парящее в жидкости.

Теди бросила тускло-голубой взгляд на Чарли, снова на банку, еще раз на Чарли, еще раз на банку — и резко повернулась.

— Оно... оно похоже... оно очень похоже на тебя, Чарли!

Хлопнула дверь спальни.

Содержимое банки не шелохнулось, только у Чарли, соскучившегося по жене, лихорадочно заколотилось сердце. Потом, позднее, когда сердце уже успокоилось, Чарли заговорил, обращаясь к висящему в банке предмету:

— Я пашу эту болотину, каждый год ноги до жопы снашиваю, а потом она хватает деньги и бежит из дома — навешает, видите ли, своих родственничков по девять недель кряду. Я не в силах ее удержать. Она и эти мужики, собирающиеся у магазина... они надо мной смеются. И я

не могу ничего с этим сделать — ведь я не знаю, как ее удержать! Кой хрен, теперь я хотя бы попробую!

Философическое нечто, обитавшее в банке, воздержалось от советов и рекомендаций.

— Чарли?

Кто-то у входной двери.

Чарли удивленно повернулся — и тут же расплылся довольной ухмылкой.

Они, мужики от магазина.

— Вот, значит... мы... мы, Чарли, мы тут подумали... ну, значит... мы пришли посмотреть на эту... эту штуку... которая у тебя в этой самой банке...

Вслед за жарким июлем пришел август.

Впервые за многие годы Чарли узнал, что такое счастье, он ликовал, как кукуруза, пошедшая в рост с первыми после засухи дождями. Каким блаженством были привычные вечерние звуки: приближающийся шорох сапог в высокой траве, затем небольшая заминка — гости вежливо отплевывались в канаву, затем скрип крыльца под тяжелыми ногами, жалобный стон косяка, на который навалилось очередное плечо, и наконец очередной голос:

— Можно мне зайти?

(Но сперва волосатое запястье аккуратно вытрет губы.)

— Заходите все, сколько вас там, — с деланным безразличием приглашает Чарли.

Стульев, ящиков из-под мыла, в конце концов половиков, чтобы сидеть на корточках, хватит на всех. К тому времени, когда сверчки ногами выскребут из своих надкрылий ровное летнее гудение, а лягушки раздуют шею и, как зобатые бабы, воплями огласят великую ночь, комната под завязку заполнится людьми со всех низинных земель.

Говорить они начнут не скоро. Первые полчаса такого вечера, пока народ собирался и рассаживался, проходи-

ли за тщательным изготовлением самокруток. Аккуратно раскладывая табак по полоске бумаги, заклеивая сигарету языком, осторожно перекатывая ее в ладонях, они раскладывали и перекатывали мысли свои, и страхи, и удивление, готовясь к вечеру. Самокрутки дарили им время подумать. Руки фермеров работали, придавая форму бумажным трубочкам с табаком, но еще больше работали их мозги, придававшие форму мыслям.

Это было нечто вроде примитивной церковной службы. Люди сидели на стульях, и сидели на корточках, и стояли, прислонившись к оштукатуренным стенам, и мало-помалу все они начинали благоговейно взирать на полку с банкой.

Нет, они не выпяливались на банку сразу, как какие-нибудь там зеваки, все происходило неспешно, словно бы само собой, словно они так, от нечего делать осматривали комнату, отпускали свои глаза в свободное плавание, позволяли им беспечно перебирать все находящиеся здесь предметы.

А потом — по чистой, конечно же, случайности — в фокусе их рассеянного внимания неизбежно оказывались одно и то же место, один и тот же предмет. Через некоторое время здесь сойдутся взгляды всех в комнате глаз, как иголки, воткнутые в невероятную игольницу. И не останется никаких звуков, только разве что попыхивание чьей-то из кукурузного початка вырезанной трубки. Или шлепанье босых детских ног по дощатому крыльцу. А тогда, возможно, вмешается голос какой-нибудь из женщин: «Вы бы, ребята, бежали отсюда! Ну-ка!» И смех, похожий на негромкий звон ручья, и вот уже босые ноги мчатся распугивать лягушек.

Чарли — само собой! — будет на самом виду. В кресле-качалке, подложив под тощий свой зад ковровую подушечку, медленно покачиваясь, блаженно купаясь во всеобщем почтении, пришедшем вместе с банкой.



Ну а Теди — Теди мы найдем в дальнем конце комнаты, вместе с тесной кучкой женщин, серых и тихих, как мышки, терпеливо выносящих мужские причуды.

Теди словно готова в любую секунду взорваться, но она ничего не говорит, молчит и только смотрит, как мужчины стадом на водопой тянутся в ее гостиную, и садятся у ног Чарли, и глазеют на эту штуку, вроде как на Святой Грааль, смотрит, и лицо у нее ледяное, и губы сжаты в ниточку, и она никому не говорит даже самого простого вежливого слова.

После подобающего периода молчания кто-нибудь — ну скажем, Дед Медноув или Крик-Роуд — откашляет из глубинных своих глубин мокроту, подастся вперед, возможно, смочит кончиком языка губы, и в мозолистых пальцах будет необычная для таких пальцев дрожь.

Словно пение камертона, настроит эта дрожь всех присутствующих к разговору. Уши настрожены. Люди расположились уютно и непринужденно, как свиньи в теплой июльской луже.

Дед смотрел на банку, смотрел долго, затем снова обжегал свои губы быстрым, ящерковым языком, откинулся назад и сказал — как всегда — писклявым стариковским тенором:

— И вот что же все-таки это такое? Вот, скажем, он это? Или она? Или вообще просто оно? Я вот, бывает, просыпаюсь ночью, ворочаюсь-ворочаюсь на матрасе из кукурузных кочерыжек и все думаю, как эта вот банка стоит тут, в ночной темноте. Думаю об этой штуке, как висит она в своем рассоле, бледная и спокойная, ну прямо твоя устрица. Иногда я разбужу мать, и тогда мы вместе о ней думаем...

Руки Деда плясали в зыбкой пантомиме, все молча смотрели, как свивают невидимую нить толстые, с толстыми, грубо обкромсанными ногтями большие пальцы, как мерно колышутся остальные восемь, похожие на черные, скрюченные обрубки.

— ...Лежим с ней и думаем. И дрожим. И пусть душная ночь, и деревья потеют, и от жары даже москиты не летают, а мы все равно дрожим и ворочаемся с боку на бок, пытаюсь уснуть...

Дед опять погрузился в молчание, словно говоря: я сказал вполне достаточно, и пусть теперь кто-нибудь другой выразит свое удивление, и свое благоговение, и свой страх.

Джук Мармер из Ивовой Трясины отер пот с ладоней о колени и тихо начал:

— Я вот помню, как был сопливым мальчишкой и у нас была эта кошка, всю дорогу рожавшая котят. Господи Иисусе, да ей хватало раз смыться за ограду, и вот тебе, пожалуйста — подарочек... — Джук говорил вроде как благостно, мягко и доброжелательно. — Ну и мы что, мы раздавали котят, только к тому времени, как она в тот раз окотилась, у каждого из соседей, которые поближе, до которых можно дойти пешком, был уже наш котенок, а у кого и два. Тогда мама вынесла на заднее крыльцо большую двухгаллонную стеклянную банку, до краев наполненную водой. «Джук, — сказала мама, — утопи котят!» Вот как сейчас помню, стою я там, а котята пищат и бегают, тычутся во все стороны, маленькие, слепые, беспомощные, и хуже всего, не совсем даже слепые, а чуть-чуть начинают открывать глаза. Посмотрел я на маму и сказал: «Нет, мама, только не я! Ты лучше сама!» А мама вся побледнела и говорит, что это нужно сделать, а никого другого не попросишь, только меня. И она ушла на кухню, делать соус и жарить курицу. Ну, я... я взял одного... одного котенка. Подержал его в ладони. Он был теплый. А потом он пискнул, и мне захотелось убежать куда угодно, чтобы только никогда не возвращаться.

Джук размеренно кивал головой; вспыхнувшими, помолодевшими глазами он смотрел в прошлое, воссоздавал прошлое в словах, языком придавал ему форму.

— Я уронил котенка в воду. Котенок закрыл глаза и открыл рот, пытаюсь вздохнуть. Вот как сейчас помню:

показались маленькие белые зубы, высунулся розовый язык, а вместе с ним выскочили пузырьки воздуха, такая ниточка до самой поверхности воды! До сегодня помню и никогда не забуду, как этот котенок плавал в воде потом, когда все было кончено, медленно покачивался, и ни о чем больше не тревожился, и смотрел на меня, и не осуждал меня за то, что я сделал. Но он и не любил меня, нет, совсем не любил. А-а-а, да что там!..

Сердца бешено колотились. Глаза испуганно перебежали с Джука вверх, на полку с банкой, снова на Джука, снова вверх...

И долгое молчание.

Джаду, черный человек с Цаплиной Топи, закатил глаза — сумеречный жонглер, вскинувший слоновой кости шары. Темные пальцы сгибались и перекрещивались, как ножки огромных кузнечиков.

— Вы знаете, что это такое? Вы знаете, знаете? А я вам скажу. Это — центр жизни, и ничто другое! Точно, тут и сомневаться не в чем. Господь мне свидетель!

С болота прилетевший ветер раскачивал его, как тростинку, — ветер, ни для кого, кроме самого Джаду, не видимый и не слышимый, не осязаемый. Его глаза описали полный круг, словно получив свободу двигаться по собственному желанию. Его голос, как сверкающая иголка с черной ниткой, подхватывал слушателей за мочки ушей, сшивал в единый, затаивший дыхание орнамент.

— Из нее, лежавшей в Срединной Хляби, выползли когда-то все твари. Они делали себе руки и ноги, делали себе рога и языки, и они росли. Сперва, может, совсем крохотульная амеба. Потом — лягушка с надутой, словно сейчас лопнет, шеей. Да, да! — Джаду хрустнул суставами пальцев. — А потом она поднялась на задние лапы и стала... стала человеком! Это — центр творения! Срединная Мама, из которой все мы вышли десять тысяч лет назад! Верьте мне, верьте!

— Десять тысяч лет! — прошептала Бабушка Гвоздика.

— Она очень старая! Вы только на нее гляньте! Она ни о чем больше не тревожится. Зачем ей? Она все знает. Она плавает, как свиная отбивная — в жиру. У нее есть глаза, чтобы видеть, но она не моргает глазами, ее глаза не бегают, не дергаются. А зачем ей? Она все знает. Она знает, что все мы вышли из нее, что все мы в нее вернемся.

— Какие у нее глаза?

— Серые.

— Нет, зеленые!

— А волосы? Черные?

— Коричневатые!

— Рыжие!

— Нет, седые!

Затем неспешное свое мнение изложит Чарли. Иногда он скажет то же самое, что и всегда, иногда — что-нибудь другое. Не важно. Вечер за летним вечером рассказывай одну и ту же историю, и каждый раз она будет другой. Ее изменят сверчки. Ее изменят лягушки. Ее изменит нечто, глядящее из банки.

— А что, — сказал Чарли, — если какой старик ушел в болота, а может, и не старик совсем, а мальчишка, и он заблудился там, и шли годы, и он все не мог выбраться, и плутал ночами по всем этим тропинкам и канавам, топям и кочкам, и кожа его все бледнела, а сам он холодел и съеживался. В сырости и без солнца он так съеживался и съеживался, и стал совсем маленький, и упал потом в трясину, и так и остался лежать в болотной жиже, ну вроде как червяки или еще кто. И ведь как знать, может, это кто-нибудь всем нам знакомый, а если не всем, то хоть кому-нибудь из нас. Кто-нибудь, с кем мы перебрашивались словом. Как знать...

В дальнем конце комнаты — громкий судорожный вздох. Одна из стоящих в тени женщин мучительно подыскивает слова.

— Каждый год в это болото убегает уйма маленьких голеньких детишек. — Глаза миссис Тридден сверкают

черным, антрацитовым блеском. — Они бегают там и бегают и не возвращаются. Я и сама там раз чуть не заблудилась. Вот так я и лишилась своего сына, своего маленького Фоли.

Волна сдавленных вздохов, уголки плотно стиснутых ртов напряженно опустились. Головы, шляпки подсолнухов, повернулись на толстых стеблях шей, все глаза глядят в ее ужас и в ее надежду. Миссис Тридден, натянутая как струна, цепляется за стену скрюченными, судорогой сведенными пальцами.

— Мой маленький, — хрипло выдохнула она. — Мой маленький. Мой Фоли. Фоли! Фоли, это ты? Фоли! Фоли, маленький, скажи мне, это ты?

Все повернулись к банке и затаили дыхание.

Вещь, смутно белевшая в банке, хранила молчание и только слепо взирала на людей, одна на многих. И где-то в глубине крепких, ширококостных тел пробилась тайная струйка страха, первый ручеек весенней оттепели, и вскоре их непоколебимое спокойствие, и вера, и покорное смирение были подточены и изъедены этой стружкой, и растаяли, и унеслись бурлящим потоком. Кто-то закричал:

— Оно пошевелилось!

— Да нет, ничего оно не шевелилось. Тебе просто мерещится.

— Да вот же, ей-бо! — воскликнул Джук. — Я видел, как оно повернулось, медленно так, совсем как мертвый котенок!

— Да тише ты, тише! Мертвая эта штука, давным-давно мертвая. Может, еще с того времени, когда тебя и на свете не было.

— Он подал мне знак? — взвизгнула миссис Тридден. — Это мой Фоли! Там, у тебя в банке, мой мальчик! Ему было три годика! Мой мальчик, пропавший в болоте?

Она затряслась от рыданий.

— Успокойтесь, миссис Тридден. Ну успокойтесь, успокойтесь. Садитесь, возьмите себя в руки. Это та-

кой же ваш ребенок, как, скажем, мой. Ну не надо, не надо.

Одна из женщин обняла миссис Тридден за плечи, вскоре дрожь и всхлипы перешли в неровное, толчками дыхание и быстрый, как крылья бабочки, трепет испуганных губ.

Когда все совсем стихло, Бабушка Гвоздика тронула увядший розовый цветок, воткнутый в седые, длинной по плечи волосы и начала говорить, не вынимая изо рта трубки, покачивая головой, так что волосы ее плясали в свете лампы.

— Все это болтовня, все это пустые слова. Скорее всего, мы так и не узнаем никогда, что там такое в этой банке. Скорее всего, если бы мы даже и узнали, то не хотели бы знать. Ну, вроде волшебства цирковых фокусников. Если узнаешь, в чем там жульничество, смотреть потом совсем не интересно, все равно как на кишки дохлой крысы. Мы тут все собираемся сюда раз в десять дней или что-то вроде, и мы разговариваем, вроде как светскую беседу ведем, и у нас всегда, всегда есть о чем поговорить. Узнай мы вдруг, что же это там за хреновина такая, очень может быть, нам и поговорить-то стало бы не о чем, так что вот так.

— Что она такое, эта хреновина? — пророкотал могучий голос. — Да она вообще ничто, вот же зуб даю, ничто! Том Кармоди.

Как всегда, Том Кармоди стоял в тени — снаружи, на крыльце, и только глаза его смотрели в комнату, а губы, почти неразличимые в темноте, издевательски посмеивались, и неслышный этот смех пронзил Чарли, как жало осы. Теди, это Теди его настропала. Теди пытается убить новую жизнь мужа, только о том и мечтает.

— Ничего, — повторил Кармоди, — в этой посудине нету, кроме слипшихся медуз, гнилых и вонючих.

— Послушай, братец Кармоди, — неспешно процедил Чарли, — а ты, часом, не завидуешь?

— Еще чего! — презрительно фыркнул Кармоди. — Я просто хотел посмотреть, как вы, болваны пустоголовые, по сотому разу пережевываете пустое место. Можешь заметить, что я в вашей болтовне не принимал никакого участия и даже ноги внутрь дома не поставил. А теперь я ухожу. Ну как, никто не составит мне компанию?

Желающих не нашлось. Кармоди расхохотался — ну как тут не расхохочешься, если столько людей посходило с ума; а Теди стояла в дальнем углу и сжимала кулачки — так что ногти впивались в ладони. Чарли увидел, как подергиваются ее губы, и весь похолодел, и не мог ничего сказать.

Смеясь во все горло, Кармоди простучал по крыльцу высокими каблуками сапог, и стрекот сверчков унес его прочь.

Беззубые десны Бабушки Гвоздики крепко сжали трубку.

— Как я уже говорила, в тот раз, перед грозой: эта самая, на полке, штука — почему она не может быть ну вроде как всем сразу? Уймой самых разных вещей. Всеми видами жизни — и смерти — и еще чего угодно. Смешайте дождь, и солнце, и грязь, и все вместе: траву, и змей, и детей, и туман, и долгие дни и ночи дохлой гадюки. Ну почему это должна быть одна вещь? Может, это — уйма?

Тихая беседа текла еще целый час, и тогда Теди ускользнула в ночь, по следам Тома Кармоди, и Чарли покрылся потом. Что-то они задумали, эти двое. Что-то нехорошее. Горячий пот лился с Чарли не переставая.

Гости разошлись поздно, Чарли лег в постель с противоречивыми чувствами. Вечер прошел отлично, только как вот насчет Теди и Тома?

Время шло и шло. Судя по рисунку небосвода, по звездам, спрятавшимся за край земли, было уже за полночь, и только тогда Чарли услышал шорох высокой травы, раз-

двигаемой небрежным маятником бедер. Негромко простучали каблук — по крыльцу, в гостиную, в спальню.

Теди бесшумно легла в постель. Чарли ощущал на себе пристальный, как прикосновение, взгляд ее кошачьих глаз.

— Чарли?

Чарли помедлил.

А потом сказал:

— Я не сплю.

Теперь помедлила Теди.

— Чарли?

— Что?

— Вот спорим, ты не знаешь, где я была, спорим, ты не знаешь, где я была! — Негромкий насмешливый напев в ночи.

Чарли молчал.

Молчала и Теди, но не долго, слова рвались у нее с языка.

— Я была в Кейп-Сити, в цирке. Меня отвез Том Кармоди. Мы... мы говорили с хозяином, мы говорили, Чарли, мы правда говорили.

Теди едва слышно хихикнула.

Чарли похолодел. И приподнялся, опираясь на локоть.

— И мы узнали, что в той банке, мы узнали, что в той банке... — детской дразнилкой пропела Теди.

Чарли резко отвернулся, зажал уши руками.

— Я не хочу ничего слышать!

— Не хочешь, Чарли, а придется. — Злое змеиное шипение. — Это ж чистый анекдот. История, Чарли, просто прелесть.

— Уходи, — сказал Чарли.

— Не-а! Нет, Чарли, нетушки. Не уйду я, драгоценный ты мой, — не уйду, пока не расскажу.

— Вали отсюда!

— Подожди, дай я расскажу тебе все по порядку. Мы поговорили с этим самым хозяином цирка, и он... он



чуть не лопнул от хохота. Говорит, что продал эту банку со всем ее содержимым одному... одному сельскому лоху за двенадцать зеленых. А она вся вместе и двух не стоит.

В темноте изо рта Теди расцвел черный цветок жуткого смеха.

Торопливо, захлебываясь, она закончила свой рассказ:

— Ведь все это, Чарли, самый обычный хлам. Резина, папье-маше, шелк, хлопок, борная кислота! И все, и больше ничего! А внутри — проволочный каркас. Вот и все, что там есть, Чарли! — Резкий, уши царапающий визг. — Вот и все!

— Нет, нет!

Чарли сел как подброшенный, с треском разорвал простыню пополам.

— Я не хочу слушать! — ревел он. — Я не хочу слушать!

— То ли будет, когда все ребята узнают, какая грошовая подделка мокнет в твоей знаменитой банке! Вот уж они посмеются, прямо кататься со смеху будут!

— Ты... — Чарли схватил ее за запястья, — ты хочешь им рассказать?

— Боишься, Чарли, что мне не поверят? Что посчитают меня за врушу?

— Ну почему ты не можешь оставить меня в покое? — Он яростно отшвырнул Теди. — Мелкая пакостница! Тебе ничто никогда не нравится, ты завидуешь всему, что бы я ни сделал. Этой банкой я немного поприжал тебе хвост, так ты и спать не могла, все придумывала, как бы мне нагадить!

— Ладно, — рассмеялась Теди, — никому я ничего не скажу.

— Не скажу! — с ненавистью повторил Чарли. — Главное ты уже сделала: испоганила все для меня. Теперь не так-то уж и важно, расскажешь ты кому еще или не расскажешь. Мне ты уже рассказала, и вся моя радость на этом кончилась. А все ты и Том Кармоди. Мне так хоте-

лось стереть с его лица эту проклятую ухмылочку. Он ведь сколько уже лет надо мной смеется! Ну иди, рассказывай, что хочешь и кому хочешь, — мне все равно, а так хоть ты удовольствие получишь!..

Чарли яростно шагнул, сорвал с полки банку, размахнулся, чтобы швырнуть ее об пол, но тут же замер и осторожно, дрожащими руками поставил свою драгоценность на длинный стол. И начал всхлипывать. С утратой банки он утратит весь мир. И Теди — Теди он тоже терял. С каждой неделей, с каждым месяцем она ускользала все дальше, она издевалась над ним, поднимала его на смех. Сколько уже лет Чарли сверял время своей жизни по маятнику ее бедер. Но ведь и другие мужчины — Том, к примеру, Кармоди — сверяли свое время по тому же эталону.

Теди стояла в ожидании, когда же Чарли расшибет банку, однако тот только ласково гладил холодное прозрачное стекло и мало-помалу успокаивался. Банка заслуживала благодарности — ну, хотя бы за долгие вечера, щедрые вечера, полные друзей, и тепла, и разговоров, свободно гулявших из конца в конец гостиной...

Чарли медленно повернулся. Да, Теди потеряна, потеряна безвозвратно.

— Теди, ты же не ходила в цирк.

— Именно что ходила.

— Ты врешь, — покачал головой Чарли.

— Именно что не вру.

— В этой... в этой банке должно быть что-нибудь. Что-нибудь кроме хлама, о котором ты говорила. Слишком уж многие люди верят, что в ней что-то есть. Теди. Ты не можешь этого изменить. Хозяин цирка, если ты и вправду с ним говорила... он соврал. — Чарли глубоко вздохнул и добавил: — Или сюда, Теди.

— Что ты там еще придумал? — подозрительно сощурилась Теди.

— Подойди ко мне. — Чарли шагнул вперед. — Иди сюда.

— Не трогай меня, Чарли.

— Теди, я же просто хочу показать тебе одну вещь. — Голос Чарли звучал тихо, спокойно и настойчиво. — Ну, кисонька. Ну, кисонька, кисонька, котенок ты мой маленький... котенок!

Прошла неделя. Снова наступил вечер. Первыми пришли Дед Медноув и Бабушка Гвоздика, за ними — Джук, миссис Тридден и Джаду, цветной человек. Дальше потянулись и все остальные — молодые и старые, благодушные и озлобленные, и все они рассаживались по стульям и ящикам, и у каждого были свои мысли, и надежды, и страхи, и вопросы. И все они негромко здоровались с Чарли, и никто не смотрел на святилище.

Они ждали, пока придут и другие, пока соберутся все. По блеску их глаз можно было понять, что каждый видит в банке что-то свое, не такое, как остальные, — что-то касающееся жизни, и бледной жизни после жизни, и жизни в смерти, и смерти в жизни, и у каждого была своя история, свой мотив, свои реплики — старые, хорошо знакомые, но все равно новые.

Чарли сидел отдельно ото всех.

— Привет, Чарли. — Кто-то заглянул в раскрытую дверь спальни. — Твоя жена, она что, снова гостит у родителей?

— Ага, смылась в Теннесси. Вернется через пару недель. Только и знает, что бегать из дому.. Да будто вы ее не знаете!

— Да уж, непоседливая тебе жена досталась, это точно.

Негромкие разговоры, скрип поудобнее устанавливаемых стульев, а затем, совсем неожиданно, стук каблучков и глаза, сверкающие из полутьмы крыльца, — Том Кармоди.

Том Кармоди стоял, не переступая порога, его ноги подламывались и дрожали, руки висели плетьюми и то-

же дрожали, и он заглядывал в гостиную. Том Кармоди боялся войти. Том Кармоди не улыбался. На влажных, безвольно обвисших губах приоткрытого рта — ни тени улыбки. Ни тени улыбки на белом как мел лице, лице человека, давно и опасно больного.

Дед взглянул на банку, прокашлялся и сказал:

— Странно, я как-то не замечал этого раньше. У него голубые глаза.

— Оно всегда имело голубые глаза, — пожала плечами Бабушка Гвоздика.

— Нет, — проскрипел Дед, — ничего подобного. Последний раз они были карие. И еще... — Он снова взглянул на банку и моргнул. — У него же коричневые волосы. Раньше у него не было коричневых волос.

— Были, — вздохнула миссис Тридлен. — Были.

— И ничего подобного!

— Были, были!

Том Кармоди, дрожащий во влажной духоте летнего вечера, Том Кармоди, заглядывающий в комнату, не отрывающий глаз от банки. Чарли, небрежно на нее поглядывающий, небрежно перекатывающий в ладонях самокрутку, переполненный мира и спокойствия, уверенный в своей жизни и в своих мыслях. Том Кармоди, один в полутьме крыльца, видящий в банке то, чего никогда не видел прежде. И все — видящие то, что они хотят видеть, мысли их — частый перестук дождя по крыше.

«Мой мальчик. Мой маленький мальчик», — думает миссис Тридлен.

«Мозг!» — думает Дед.

Пальцы цветного человека, мелькающие, как ножки кузнечика.

«Срединная Мама!»

«Амеба!» — поджал губы рыбак.

«Котенок! Котенок! Ну кисонька, кисонька, кисонька! — Мысли захлестывают Джука, выпарапывают ему глаза. — Кисонька!»

«Все и вся! — скрипят усохшие и поблекшие мысли Бабушки. — Ночь, трясина, смерть, белесая нежить, влажные морские твари!»

Тишина. А затем Дед шепчет:

— И вот что же все-таки это такое? Вот, скажем, он это? Или она? Или вообще просто оно?

Чарли удовлетворенно взглянул вверх, размял самокрутку, чтобы была чуть плоская и хорошо лежала во рту. И перевел глаза на дверь, на Тома Кармоди, который никогда уже больше не улыбнется.

— Сдается мне, никогда мы этого не узнаем. Да, сдается, что не узнаем.

Он медленно покачал головой и повернулся к гостям, которые смотрели, и смотрели, и смотрели...

Самая обычная банка с маловразумительной диковинкой, какие сплошь и рядом встречаются в балаганчиках бродячего цирка, установленных на окраине маленького сонного городка. Белесое нечто, парящее в сгущенной спиртовой атмосфере, вечно погруженное то ли в сон, то ли в какие-то свои мысли, вечно описывающее медленные круги. Безжизненные, широко раскрытые глаза, вечно глядящие на тебя, никогда тебя не замечающие...

---

## ОЗЕРО

Волна спрятала меня от мира, птиц в небе, детей на песке, мамы на берегу. Миг зеленой тишины. Затем волна вернула меня обратно небу, песку, детям. Я шел из воды, а меня ждал мир, он ничуть не изменился с тех пор, как я исчез под водой.

Я выбежал на берег.

Мама шлепнула меня мохнатым полотенцем.

— Стой и сохни, — сказала она.

Я стоял и смотрел, как солнце собирает капельки воды с моих рук. На месте капелек появились пупырышки.

— Гляди-ка, ветер, — сказала мама. — Надень свитер.

— Подожди, я хочу поглядеть на пупырышки.

— Гарольд, — сказала мама.

Я надел свитер и стал смотреть, как набегают и падают волны на берег. Не тяжело. Напротив, с зеленой изысканностью. Даже пьяный не смог бы так плавно опускаться, как эти волны.

Был сентябрь. Те последние дни, когда неизвестно почему становится грустно. Берег вытянулся и опустел, всего лишь шесть человек сидели на песке. Дети перестали играть в мяч, ветер и на них нагонял тоску своим особым свистом, и они сидели, чувствуя, как вдоль бесконечного берега бредет осень.

Все сосисочные были забиты полосами золотистых досок. За ними прятались горчица, лук, мясо — все запахи долгого радостного лета. Будто лето заколотили в гроб. Друг за дружкой опускали они крышки, запирали двери. Прилетал ветер и касался песка, сдувая миллионы примет июля и августа. И так случилось, что теперь, в сентябре, не осталось ничего, лишь следы моих теннисных туфель и ног Дональда и Дилауса Арнольдов близ воды.

Песок слетал с навесов на тротуар, карусель спряталась под брезентом, в воздухе, оскалив зубы, застыли в галопе лошади на медных шестах. Лишь музыка ветра на скользком брезенте.

Я постоял здесь. Все были в школе. А я нет. Завтра я буду сидеть в поезде и ехать на запад через Соединенные Штаты. Мама и я в последний раз пришли на берег попрощаться.

Вокруг было так пустынно, что и мне захотелось побыть одному.

— Мам, я побегаю по берегу? — сказал я.

— Хорошо. Только недолго и не подходи близко к воде.

Я побежал. Песок подо мной летел в разные стороны, а ветер нес меня. Знаете, как это бывает, бежишь, вытя-

нув руки, растопырив пальцы, и ощущаешь, какой ветер упругий. Словно крылья.

Сидящая мама исчезла вдали. Вскоре она превратилась в коричневое пятнышко, и я остался совсем один.

Одиночество — не новость для двенадцатилетнего мальчика. Он так привык, что рядом всегда люди. И по-настоящему остаться один он может только внутри. Вокруг столько правильных людей, объясняющих детям, что и как надо делать, что мальчишке приходится убежать далеко на берег, пусть даже мысленно, для того чтобы побыть в своем собственном мире.

Теперь же я и впрямь был один.

Я вошел в воду и дал ей остудить свой живот. Раньше, когда вокруг была толпа, я не смел подойти сюда, взглянуть на это место, войти в воду и назвать это имя. Но теперь...

Вода словно фокусник делит тебя пополам. Такое чувство, будто тебя разрезали надвое; нижняя часть тает, словно сахар, и растворяется. Вода холодит, и изящно колыхающаяся волна время от времени опадает цветком кружев.

Я звал ее, десятки раз я звал ее:

— Толли! Толли! Толли!

Всегда ждешь ответа на свой зов, когда юн. Веришь, что все, о чем мечтаешь, сбывается. И порою так оно и случается.

Я вспомнил, как в мае Толли плавала в воде и как болтались ее светлые косички. Она смеялась, и на ее двенадцатилетних плечиках блестело солнце. Я вспоминал о том, как успокоилась вода, о том, как туда прыгнул служащий спасательной станции, и о том, как Толли больше не вышла наружу.

Спасатель пытался уговорить ее вернуться, но она не вернулась. Он вылез из воды, лишь водоросли свисали с его пальцев, а Толли ушла. Она больше не будет сидеть впереди меня в классе, она не будет гонять со мной мяч

летними вечерами по мощенным кирпичом улицам. Она ушла слишком далеко, и озеро не отпустит ее назад.

И теперь, пустынной осенью, когда небо такое огромное, вода огромная и берег такой длинный, я в последний раз пришел сюда, один.

Я звал и звал ее. Толли! О Толли!

Ветер мягко дул мне в уши — так он шепчется в раковинах. Вода поднялась, обняла мою грудь, потом колени, вверх-вниз, так и вот так, впитываясь в песок под моими ногами.

Толли! Вернись, Толли!

Мне было всего двенадцать лет. Но я знал, как я люблю ее. Это была любовь, которая приходит до понятий тела и морали. Это была такая любовь, что не хуже ветра, воды и песка, вечно лежащих рядом. Она была соткана из теплых длинных дней на берегу и из коротких спокойных, монотонных дней в школе. Вот и кончились длинные осенние дни прошлых лет, когда я носил ее портфель из школы.

Толли!

Я в последний раз позвал ее. Я вздрогнул. Я чувствовал воду на лице и не понимал, как она попала туда. Вода не поднималась так высоко.

Повернувшись, я вышел на берег и постоял полчаса, надеясь увидеть хоть намек, хоть знак, хоть что-нибудь, что напомнило бы мне Толли. Потом я опустился на колени и построил замок из песка, красиво заострив его сверху так, как Толли и я часто строили их. Но на этот раз я построил его лишь наполовину. Затем я поднялся.

— Толли, если ты слышишь меня, выйди и доделай его.

Я двинулся по направлению к далекому пятну, маме. Набегали волны, смывая замок круг за кругом, делая его все меньше и меньше, превращая в ровное место.

Молча я шел по берегу.



Вдали скрипела карусель, но катался на ней только ветер.

На следующий день я уехал на поезде.

У поезда короткая память; он все оставляет позади. Он забывает и поля Иллинойса, и реки детства, мосты и озера, долины и коттеджи, обиды и радости. Он всех покидает, и они исчезают за горизонтом.

Я вытянулся вверх, раздался вширь, сменил мой детский ум на взрослый, выбросил старую одежду — она мне стала мала, — перешел из средней школы в высшую, затем в колледж. А потом была девушка в Сакраменто. Некоторое время мы встречались с ней, затем поженились. К двадцати двум годам я почти забыл, как выглядит Восток.

Маргарет предложила провести наш вечно откладывающийся медовый месяц в этом месте.

Поезд как память. Он может вернуть все то, что вы оставили так много лет назад.

Лейк-Блафф, с населением 1000 человек, всплыл на горизонте. Маргарет была такой красивой в своем новом платье. Она смотрела, как прежний мир возвращал меня обратно к себе. Она держала меня за руку, когда поезд подошел к станции Блафф и наши вещи вынесли на перрон.

Прошло столько лет — что же они делают с лицами и телами людей! Когда мы шли по городу, я никого не узнавал. Были лица словно эхо. Эхо походов по тропинкам в оврагах. Легкая радость на лицах, ведь школы на лето закрыты и можно качаться на металлических канатах, взлетать вверх и вниз на качелях. Но я молчал. Я шел и смотрел, полон воспоминаний, слетевшихся в кучу подобно осенним листьям.

Две недели мы жили здесь, вместе осматривали все заново. То были счастливые дни. Я думал, что люблю Маргарет. Во всяком случае, мне так казалось.

Это произошло в один из последних дней, которые мы провели на берегу. Сентябрь еще не наступил, как тог-

да, много лет назад, но уже появились на пляже первые признаки опустелости. Народу становилось меньше, некоторые сосисочные были уже закрыты и заколочены, и, как всегда, тут нас ждал ветер, чтобы спеть свою песню.

Мне даже померещилась мама, сидящая на песке там, где она всегда сидела. И снова мне захотелось побыть одному. Но я не мог заставить себя сказать об этом Маргарет. Я лишь шел рядом с ней и ждал.

Становилось поздно. Почти все дети ушли домой, и только несколько женщин и мужчин грелись на ветреном солнце.

К берегу подошла спасательная лодка. Из нее медленно вылез спасатель, держа что-то в руке.

Я застыл на месте. Я затаил дыхание и почувствовал себя маленьким, всего двенадцатилетним, очень маленьким, крошечным и испуганным. Ветер стонал. Я не видел Маргарет. Я видел лишь берег и спасателя, медленно вылезавшего из лодки с серым мешком в руках, и его лицо — такое же серое и заостренное.

— Постой здесь, Маргарет, — сказал я. Зачем я сказал это?

— Но почему?

— Просто постой, вот и все...

Я медленно пошел по песку туда, где стоял спасатель. Он взглянул на меня.

— Что это? — спросил я.

Спасатель долго не мог выговорить ни слова, он глядел на меня. Он положил серый мешок на песок, волна, что-то шепча, обняла мешок и отступила.

— Что это? — настаивал я.

— Странно, — тихо сказал спасатель.

Я ждал.

— Странно, — тихо повторил он. — Самое странное, что мне довелось видеть. Она умерла очень давно.

Я повторил его слова.

Он кивнул:

— По-моему, десять лет назад. В этом году здесь не утонул ни один ребенок. С тысяча девятьсот тридцать третьего здесь утонуло двенадцать детей, но все они были найдены спустя несколько часов. Все, кроме одной, насколько я помню. Это тело, должно быть, десять лет пролежало в воде. Это не очень-то приятно.

Я смотрел на серый мешок в его руках.

— Откройте его, — попросил я.

Зачем я сказал это? Еще громче застонал ветер.

Он стал возиться с мешком.

— Скорей откройте его! — закричал я.

— Может, лучше не делать этого, — сказал он. Тут он, по-видимому, увидел мое лицо. — Она была такой маленькой...

Он чуть-чуть приоткрыл мешок. Этого было достаточно.

На берегу было пусто. Лишь небо, и ветер, и вода, и одинокая осень направлялись сюда. Я глядел вниз, на нее.

Снова и снова я что-то произносил. Имя. Спасатель смотрел на меня.

— Где вы нашли ее? — спросил я.

— Ниже по берегу, там, на мели. Долго же она лежала, правда?

Я кивнул:

— Да. Боже мой, да.

Я думал: люди растут. Я вырос. А она совсем не изменилась. Она все еще маленькая. Она все еще юная. Смерть не позволила ей вырасти или измениться. Все те же рыжие волосы. Она всегда будет молодой, и я всегда буду любить ее, о господи, я всегда буду любить ее.

Спасатель снова завязал мешок.

Несколькими минутами позже я шел вниз по берегу. Я остановился, что-то увидев. «Тут он ее нашел», — отметил я про себя.

Здесь около самой воды стоял песочный замок, построенный лишь наполовину. Словно строили Толли и я. Она половину и я половину.

Я глядел на него. Потом встал перед замком на колени и заметил маленькие следы, шедшие из воды и снова тянувшиеся в озеро, обратно они не возвращались.

И тогда... я понял.

— Я помогу тебе, — сказал я.

Так я и сделал. Очень медленно я достроил замок, затем поднялся, повернулся к нему спиной и пошел прочь. Только бы не видеть, как он исчезает в волнах, как и все на свете исчезает.

Я шел по берегу обратно, где незнакомая женщина по имени Маргарет ждала меня и улыбалась...

---

### ГОНЕЦ

Мартин узнал, что снова пришла осень, когда Пес принес в дом ветер, изморозь, аромат переспелых забродивших яблок. В черных пружинках шерсти он принес пыльцу золотарника, прощальной летней травы, скорлупку желудя, волосок белки, перышко перелетной малиновки, опилки поленьев и сухие багряные листья кленов. Пес запрыгнул на кровать, осыпая одеяло пузырьником, ежевикой, мульчей. Мартин радостно приветствовал питомца, звать которого, вне всякого сомнения, теперь надо было «Октябрем».

— Умница, хороший мальчик!

Пес улегся подле Мартина, согревая мальчика отголосками костров и осенних пожаров, распространяя по комнате мягкие и тяжелые, сырые и сухие ароматы дальних странствий. По весне он приносил запахи лилий, ирисов, свежескошенной травы; летом от него горько пахло петардами, римскими свечами, вертушками и солнцем, а морда была измазана мороженым... И теперь — осень! Осень!

— Как там на воле, Песик?

И Пес, как обычно, начал свой рассказ, а Мартин лежа слушал. Осень была такой же, как и раньше, до того, как болезнь выбелила его и приковала к постели. Теперь единственным способом общения с внешним миром, его

глазами и ногами была собака. Мартин приказывал ей отправляться на волку, кружить и принохиваться, собирать и приносить домой времена года и образы мира — от города до деревни, от ручьев до рек и озер, от глубоких подвалов до высоких чердаков, от шкафов до полениц. И по сотне раз на дню гонец одаривал его семенами подсолнечника, угольками, ваточником, конским каштаном и ароматом спелой тыквы. Пес челноком сновал по вышивке вселенной, приносил ее узор в своей шкуре. Достаточно запустить руку, и...

— И где ты уже успел побывать?

Впрочем, Мартин и так знал, что Пес скакал по холмам, где осень лежала среди спелых злаков, где дети валялись в кучах шуршащих листьев, похожих на погребальные костры, закапывались в них и наблюдали за миром живых, который вместе с Псом пронесился мимо. Мартин дрожащими пальцами копался в жесткой шерсти, повторяя дальний путь Пса: по убраным полям, журчащим ручейкам в оврагах, по пестрому покрывалу кладбища и дальше — в лес. Он вкушал ароматы душистых специй и редких благовоний, а затем гонец принес его обратно домой.

Дверь спальни открылась.

— Твоя собака опять безобразничает.

Вошла мама и принесла поднос с фруктовым салатом, какао и тостом. Голубые глаза ее смотрели строго.

— Ну мама...

— Постоянно везде роется. Сегодня утром выкопал яму в саду у мисс Таркин — уже четвертый раз на неделе. Она вне себя от злости.

— Может, он что-то ищет?

— Глупости, ему просто нравится. Ужасно любопытный пес. Если будет и дальше себя так вести, я его запру.

Вместо мамы перед Мартином будто стояла чужая женщина.

— Нет, не делай так! Как еще мне узнать, что происходит снаружи? Как, если Пес мне не расскажет?

— То есть он, — мама понизила голос, — тебе все рассказывает?

— Все-все, куда бегал и что видел. Я все лишь от него и узнаю!

Они оба смотрели на Пса, а тот лежал на одеяле среди сухих семян и комков земли.

— Ладно, пускай себе бегает. Только скажи ему, чтобы перестал копать, где нельзя, — уступила мама.

— Песик, иди сюда! Иди!

Мартин прицепил собаке на ошейник бирку с надписью:

**«МОЙ ХОЗЯИН — МАРТИН СМИТ, 10 ЛЕТ. НЕ МОЖЕТ ВСТАТЬ. ЗАХОДИТЕ В ГОСТИ».**

Пес гавкнул. Мама открыла дверь на улицу и выпустила его.

Мартин сидел в постели и прислушивался.

Где-то далеко-далеко Пес бегал под мелким осенним дождиком. Был слышен его звонкий лай, то тише, то громче, то опять тише — это он нырнул в переулок, пересек лужайку, чтобы привести мистера Холлоуэя с его запахом масла, металлических пружинок и крошечных, как снежинки, шестеренок от часов, которые он чинил на дому. А может, он вел мистера Джейкобса, зеленщика, чья одежда пропахла салатом, сельдереем, помидорами и загадочным, трудноуловимым ароматом, который наверняка издают демонята с банок ветчинного паштета. Мистер Джейкобс с этими невидимыми демонятами часто проходил у Мартина под окнами и махал ему. А может, придет мистер Джексон, или миссис Гиллеспи, или мистер Смит, или миссис Холмс, а то и какой-нибудь еще друг или приятель, которого Пес встретил на улице, прижал к стенке, напугал и в конце концов упросил зайти к ним на обед или чай с печеньем.

Мартин снова прислушался и сквозь шепот дождя услышал, как Пес подбежал к двери, а за ним ступал кто-то

еще. Зазвонил колокольчик. Мама открыла, о чем-то побеседовала с гостем. Мартин поправил подушки, сел ровнее; лицо его сияло. Заскрипели ступеньки. Послышался тихий женский смех. Это мисс Хайт, его учительница, ну конечно же!

Дверь спальни распахнулась.

К Мартину пришли.

Утро, день, вечер, рассветы и закаты, солнце и луна сменялись вместе с появлениями Пса. Он послушно сообщал хозяину про температуру земли и воздуха, про цвета полей и лесов, про туманы и осадки, но самое главное — раз за разом, раз за разом приводил к нему мисс Хайт.

В субботу, воскресенье и понедельник она испекла Мартину кексы в апельсиновой глазури и принесла из библиотеки книги про динозавров и троглодитов. Во вторник, среду и четверг он вдруг обыграл ее в домино, она вдруг проиграла в шашки и смеясь пообещала, что скоро он будет уверенно побеждать в шахматах. В пятницу, субботу и воскресенье они болтали не переставая. Мисс Хайт была молодой, веселой и милой; ее волосы — мягкие, блестящие и бурые, как и осень за окном; ходила она легко, бесшумно и быстро; биение ее сердца согревало Мартина промозглыми вечерами. Еще она умела читать и толковать знаки, которые приносил на себе Пес. Своими волшебными пальцами она копалась в шерстяной шубе, извлекала очередную диковинку, раскладывала на манер пасьянса и, прикрыв глаза, как цыганка, рассказывала, что было, что будет, и чем мир успокоится.

А в понедельник вечером мисс Хайт умерла.

Мартин ошеломленно поднялся.

— Как умерла? — прошептал он.

— Да, умерла, — сказала мама. — Погибла. Ее сбила машина в миле от города.

«Умерла, погибла» для Мартина означало холод, означало тишину и белизну зимы, пришедшей раньше срока.

Смерть, тишина, холод и белизна, — кружили, оседали и таяли мысли у него в голове.

Мальчик задумчиво прижал к себе Пса и отвернулся к стене. Женщина с волосами цвета осени. Женщина со смехом тихим и добрым, с глазами, которые всегда смотрели на тебя, ловили каждое слово. Женщина — недостающая часть осени, которая рассказывала про мир все то, что не мог поведать Пес. Теплое сердце, бьющееся посреди серых сумерек. Все тише, тише...

— Мама, а что там, на кладбище? Ну, после того, как их положат в землю?

— Положат, — поправила мама. — Ничего, просто лежат.

— Просто лежат? И все?! Ужасно скучно им там, наверное...

— Господи, Мартин, а им веселиться надо?

— А если надоело лежать? Почему бы не встать, не попрыгать, не поплясать? Хотя бы разок? Глупость какую-то придумал этот Бог.

— Мартин!

— А что? Додумался говорить людям: ляг тут и лежи, смотри у меня! Так ведь нельзя. Никто так не сможет. Я пробовал как-то с Псом. Говорю ему: «Песик, умри!» Он падает, притворяется мертвым, а потом ему надоедает, он бьет хвостом, открывает глаз и смотрит на меня. Вот и люди на кладбище наверняка так же делают. Да, Песик?

Пес гавкнул.

— Не смей больше такого говорить! — сказала мама. Мартин насупился и отвернулся.

— Еще как делают, — буркнул он.

Осень сожгла деревья дотла и все гнала Пса вброд через ручей, на кладбище, где он частенько бывал, а к сумеркам возвращала обратно. Он бежал домой, оглашая округу громовым лаем, от которого дрожали стекла.

Ближе к концу октября Пес начал вести себя так, будто ветер переменился и задул откуда-то с чужбины. Под-



рагивая, он выл на крыльце, уставившись куда-то в сторону городской окраины. Он перестал водить к Мартину гостей. Он часами стоял как вкопанный, а потом вдруг срывался с места, словно кто-то его позвал. Каждый вечер он возвращался домой все позднее. Каждую ночь Мартин все глубже утыкался в свою подушку.

— Наверное, все заняты, — успокаивала его мама. — Наверное, не замечают бирку на ошейнике у Пса. А может, обещают зайти и забывают.

Но это еще не все. В глазах у Пса поселился лихорадочный блеск, а во сне он жалобно поскуливал. Заползал под кровать, сжимался в комок и дрожал. А порой по полночи стоял и глядел на Мартина, как будто хотел сообщить ему некую важную и жуткую тайну, но мог только бешено махать хвостом и волчком кружиться вокруг себя.

Тридцатого октября Пес убежал и не вернулся. После ужина родители ходили по улице и звали его. Тщетно. Темнело, улицы и переулки пустели, холодный ветер носился вокруг дома.

Перевалило далеко за полночь, а Мартин все смотрел в холодное и прозрачное стеклянное окно. Не было ничего, даже осени, потому что, кроме Пса, некому было о ней рассказать. И зимы не будет. Кто принесет ему снег, который потом растает в руках, кто? Мама? Папа? Они не знают этой игры, ее правил, секретных звуков и жестов. Время замерло, остановилось. Гонец сгинул в человеческой круговерти, его отравили, украли, сбили и бросили умирать в канаве...

Мартин, всхлипывая, уткнулся лицом в подушку. Мир превратился в фотографию под стеклом, больше его не потрегаешь. Мир умер.

Мартин ворочался в постели. Прошло еще три дня. Последние хэллоуинские тыквы сгнили в мусорных баках, декоративные черепа и чучела ведьм сожгли на кострах, а призраков убрали на полку вместе с другими простынями до следующего года.

Хэллоуин для Мартина отличался от других вечеров только тем, что холодное осеннее небо тревожили дудки, ряженные дети стайками бегали по дорожкам, бросали под двери искусственные головы или капусту и рисовали мылом имена или другие таинственные письмена на покрытых изморозью окнах. Все это казалось далеким, чужим и пугающим, как кукольный спектакль, который разглядываешь в подзорную трубу, — ни звука, ни смысла.

Начался ноябрь. Три дня Мартин смотрел, как потолок то светлеет, то темнеет. Пожар отгорел и погас, от осени осталась лишь остывшая зола. Мартин не шевелился, все глубже и глубже проваливаясь в мертвенно белые перины. Он слушал, внимательно слушал...

В пятницу вечером родители поцеловали его на прощание и пошли в кино. На улице стояла гулкая тишина, как в церкви. Соседка, мисс Таркин, осталась у них в гостинной. Наконец, Мартин крикнул ей, что ложится спать; она собрала вязание и ушла домой.

В тишине мальчик смотрел, как по ясному небу свершают свой ход звезды, и вспоминал, как в такие же ночи бегал по городу, а впереди, слева, справа — Пес. Они перебирались через заросший зеленью овраг, шлепали по сонным речкам, совсем молочным в лунном свете, перепрыгивали через надгробья и шептали высеченные на них имена. Вперед, только вперед, через скошенные луга, где все застыло, и только звезды мерцают, и вновь на улицы, где тени не расступаются перед тобой, а сгущаются и заполняют все вокруг. Бежим, бежим, догоняем! Спасаемся от едкого дыма, тумана, призраков разума и пугающих воспоминаний! И вот мы дома, в целостности и сохранности, в теплой постели, спим...

Девять часов.

«Бом, — сонно вздохнули часы под лестницей. — Бом».

Вернись, Пес, и верни обратно мир. Принеси репейник, покрытый инеем, или ничего не приноси, только ветер. Где же ты, Пес? Я зову тебя, слышишь?

Мартин затаил дыхание.

Где-то вдалеке — звук.

Мартин задрожал и поднялся.

И вот, снова — звук.

Такой далекий и тихий, словно кто-то высоко-высоко в небе скребет иголочкой.

Мимолетное, как сон, эхо — лай.

Топот собачьих лап — по лугам и полям, по дорогам и кроличьим тропкам, быстрее, быстрее; шумный лай, с паром и громом. Собака бегала кругами: то ближе, то дальше, то вырывалась вперед, то уносилась назад, как будто кто-то вел ее на удивительно длинном поводке, как будто она бежала не одна, а кто-то подзывал ее, скрываясь в тени каштанов, грибов, смолы, луны. Он шел, а собака скакала вокруг. Ей не терпелось вернуться домой.

«Пес! — подумал Мартин. — Мой Песик, ну же, иди домой! Где же ты, где? Иди домой, мальчик, тебя ждут!»

Пять минут, десять, пятнадцать. И вот, совсем близко — лай, настоящий! Мартин вскрикнул, слез с кровати и прильнул к окну.

— Пес! Мой Песик! Песик! — повторял он снова и снова. — Песик! Песик! Плохой Пес, где ты столько времени пропадал? Плохой, хороший Песик, умничка, ну иди, иди домой, неси с собой все!

Снова лай — уже ближе; на улице; громовой лай, от которого хлопают ставни, крутятся блестящие под луной флюгера. Пес! Вот он, у двери...

По спине Мартина побежали мурашки.

Спуститься, открыть? Или подождать, пока придут мама с папой? Подождать? Подождать?! А если Пес опять сбежит? Нет, надо спуститься, распахнуть дверь, закричать, втащить Пса в дом, взбежать по лестнице, плакать, смеяться, обниматься...

Пес прекратил лаять.

Эй! Мартин дернул окно, и его снова заело.

Тишина. Как будто кто-то сказал Псу: «Тш-ш, тихо, тихо».

Прошла целая минута. Мартин сжал кулаки.

На улице тихо заскулили.

Вдруг входная дверь медленно отворилась. Кто-то пожалел Пса и открыл ему дверь. Ну конечно, он привел мистера Джейкобса, или мистера Гиллеспы, или мисс Таркин, или...

Входная дверь захлопнулась.

Пес, скуля, взлетел по ступенькам и запрыгнул на кровать.

— Песик, Песик, куда же ты пропал? Что ты делал? Песик, мой Песик!

Весь в слезах, мальчик что было сил прижал собаку к себе. Песик, мой Песик! Он смеялся сквозь слезы.

И вдруг он прекратил смеяться. И плакать.

Мартин отнял лицо от шерсти и недоумевающими глазами уставился на питомца.

От Пса очень странно пахло.

Пахло землей, но как-то неправильно. Пахло темной, беспросветной ночью, какими-то мрачными глубинами, чем-то давно погребенным и разложившимся. Комья резко пахнувшей, гнилой земли налипли Псу на лапы и на пасть. Он снова что-то копал, причем очень глубоко. Ведь так, да? Да? Да?!

Что же ты принес, гонец? Как разгадать твою весть? Запах... Так может пахнуть только земля с кладбища.

Плохой Пес, плохой, копается там, где нельзя. Хороший Пес, хороший, всегда заводит новых друзей. Пес любит людей. И приводит их к хозяину.

В темноте снаружи заскрипели ступени — одна, другая. Кто-то поднимался — медленно, натужно, с трудом переставляя ноги.

Пес отряхнулся, усыпая постель комьями жуткой черной земли.

Оглянулся.

Дверь спальни тихонько отворилась.

К Мартину пришли.

## ПРИКОСНОВЕНИЕ ПЛАМЕНИ

Они долго стояли под палящим солнцем, поглядывая на горящие циферблаты своих старомодных часов, а тем временем их колеблющиеся тени удлинялись, из-под сетчатых летних шляп струился пот. Когда они обнажили головы, чтобы вытереть морщинистые лбы, оказалось, что их вымокшие насквозь шевелюры такие белые, словно годами не видели света. Один из них пробурчал, что ступни его стали похожи на хлебные лепешки, и добавил, вдохнув горячего воздуха:

— Ты уверен, что это тот самый дом?

Второй старик, по имени Фокс, кивнул в ответ так, будто опасался вспыхнуть от любого резкого движения и возникающего при этом трения.

— Я видел ее три дня кряду. Она появится. Если еще жива, конечно. Погоди, Шоу, ты сам ее увидишь. Боже, какой случай!

— Ну и дела, — сказал Шоу, — если б только люди могли заподозрить в подглядывании нас, двух старых дураков! Ей-богу, мне делается не по себе.

Фокс оперся на свою трость.

— Все разговоры я беру на себя... постой-ка! Вот она! — Он перешел на шепот. — Смотри, выходит из дому.

Страшно гроыхнула входная дверь. На верхней, тринадцатой ступеньке крыльца появилась полная женщина и осмотрелась, бросая по сторонам резкие, колкие взгляды. Сунув пухлую руку в сумочку, вытащила несколько скомканных долларовых бумажек, тяжело топая, спустилась по лестнице и решительно двинулась вниз по улице. Сверху из окон смотрели ей вслед жильцы дома, привлеченные обвальным грохотом двери.

— Давай, — шепнул Фокс, — идем к мяснику.

Женщина распахнула дверь и ввалилась в лавку. Старики успели заметить, как мелькнули ее жирно намазанные губы. Брови смахивали на усы, искоса поглядывали

вечно подозрительные глаза. Поравнявшись с дверью, они слышали ее визгливый голос:

— Мне нужен кусок мяса попримечнее, ну-ка, посмотрим, что вы там припрятали для себя?

Мясник не проронил ни слова. На нем был захватанный, испачканный кровью фартук. В руках — ничего. Старики вошли вслед за женщиной, делая вид, что любуются нежно-розовым филеом.

— От этой баранины меня тошнит! — кричала она. — Почему эти мозги?

Мясник сухо ответил.

— Ладно, взвесьте мне фунт печени! — велела женщина. — И пальцы свои держите от нее подальше.

Мясник, не спеша, принялся взвешивать.

— Пошевеливайтесь! — набросилась она.

Теперь рук мясника не было видно из-за прилавка.

— Смотри, — прошептал Фокс.

Шоу слегка запрокинул голову, чтобы увидеть, что делается под прилавком.

Окровавленная рука мясника крепко держала блестящий топор. Его пальцы то сжимались на рукоятке, то снова разжимались. Мясник возвышался над белым мраморным прилавком; женщина выкрикивала ему что-то в побагровевшее лицо, тот смотрел на нее голубыми, угрожающе-спокойными глазами.

— Теперь убедился? — шепнул Фокс. — Она и в самом деле нуждается в нашей помощи.

Они посмотрели на красные ломтики мяса, на борозды и вмятины, выбитые десятками ударов стального топора на поверхности разделочного стола.

Скандал разразился и у бакалейщика, и в мелочной лавке. Старики двигались за женщиной на почтительном расстоянии.

— Миссис Убей Меня, — пробормотал мистер Фокс. — Это то же самое, что смотреть на двухлетнего ребенка, который выбегает на поле боя. В такую погоду она может,

так сказать, налететь на мину. Бабах! И жара подходящая, и влажность хуже некуда, все чешутся, потеют, раздражаются. И тут — на тебе, заявляется эта дамочка и начинает вопить. И — привет. Ну как, Шоу, беремся за это дело?

— Ты что же, хочешь вот так просто взять и подойти к ней? — Шоу и сам опешил от собственного предложения. — Я надеюсь, мы не собираемся этого делать? Я ведь думал, мы идем просто из любопытства. Ну там, люди, их повадки, привычки и прочее. Это все очень занятно, конечно, но лезть в такое дело... У нас, слава богу, есть чем заняться.

— Есть? — Фокс кивнул на дорогу, женщина переходила улицу, едва уворачиваясь от проезжавших машин, надсадно скрежетали тормоза, отчаянно гудели клаксоны и ругались шоферы. — Мы же христиане. Неужели мы позволим ей подсознательно отдать себя на съедение львам? Или же мы вернем ее обратно?

— Вернем ее?

— Ну да, вернем ее к любви, спокойствию, к долгой жизни. Ты только посмотри на нее. Ей не хочется больше жить. Она же нарочно выводит людей из себя. И уже недалек тот день, когда кто-нибудь угостит ее молотком или стрихнином. Когда люди идут ко дну, они становятся невыносимыми — орут, кричат, хватаются за что попало. Давай пообедаем и протянем ей руку помощи. Хорошо? А не то она будет продолжать в том же духе, пока не напорется на своего убийцу.

Лучи солнца вдавливали Шоу в кипящий белесый асфальт тротуара, и ему на мгновение померещилось, будто улица качнулась у него под ногами, опрокинулась и превратилась в отвесную стену, с которой навстречу огненному небу летела женщина.

— Ты прав, — сказал он. — Не хотелось бы мне брать на душу такой грех.

Под солнцем выгорала и осыпалась с фасадов краска, жара выпарила влагу из воздуха и сточные воды из канав.

Изнуренные старики стояли в подъезде дома, по которому носились иссушающие потоки воздуха, как в пекарне. Когда они разговаривали, до них из душевных комнат доносились приглушенные голоса жильцов, до одури измотанных жарой.

Открылась входная дверь. Вошел мальчик с буханкой хорошо выпеченного хлеба. Фокс остановил его:

— Сынок, мы тут разыскиваем одну женщину, ту, что страшно грохочет дверью, когда выходит из дому.

— А-а, эту! — обернулся мальчик, взбега по лестнице. — Миссис Крик!

Фокс сжал руку Шоу:

— Боже праведный! Вот так совпадение!

— Мне что-то домой захотелось, — сказал Шоу.

— Да, действительно! — воскликнул Фокс, не веря своим глазам и постукивая тростью по списку жильцов в холле. — Мистер и миссис Альберт Крик, квартира 331, наверху. Муженек у нее грузчик, этакий верзила, с работы приходит весь грязный, замызганный. Видел я их однажды в воскресенье. Она — тараторит без умолку, а он даже ухом не ведет. Даже не взглянет на нее. Идем, Шоу.

— Бессмысленно, — сказал Шоу. — Таким, как она, можно помочь только тогда, когда они сами этого хотят. Ты это знаешь, и я знаю. Она тебя просто растопчет, если ты окажешься у нее на дороге. Не делай глупостей.

— Но кто же тогда поговорит с ней? С такими, как она? Муж? Друзья? Бакалейщик, мясник? Они споют ей заупокойную! Разве они ей подскажут дорогу к психиатру? А сама она знает? Нет. А кто знает? Мы. И ты станешь скрывать от жертвы такую жизненно важную информацию?

Шоу снял свою намокшую шляпу и хмуро посмотрел внутрь.

— Как-то раз, давным-давно, на уроке биологии учитель спросил нас, могли ли бы мы скальпелем удалить нервную систему у лягушки, да так, чтобы не повредить.



Вырезать всю эту тончайшую, подобную паутине систему со всеми ее мелкими узелками и узелочками, которых и не разглядеть толком. Это, конечно, невозможно. Нервная система вросла в плоть лягушки настолько, что ее не вытянуть. От лягушки ничего не останется. То же и с миссис Крик. Большой нервный узел не прооперируешь. В ее безумных слоновьих глазках одна желчь. С таким же успехом ты бы мог попытаться навсегда удалить у нее изо рта слюну. Как это ни прискорбно, но я думаю, мы зашли уже слишком далеко.

— Ты прав, — сказал Фокс серьезно. — Но моя цель всего лишь поставить предупредительный знак — «опасность». Заронить в ее подсознании зерно сомнения. Я хочу сказать ей: «Ты — жертва убийства. Ты ищешь место, где тебя прикончат». Я хочу посеять семя в надежде, что оно взойдет и расцветет. Есть еще слабая, хилая надежда на то, что она соберется с духом и пойдет-таки к психиатру!

— Слишком жарко сегодня для разговоров.

— Тем больше оснований действовать! При температуре девяносто два градуса по Фаренгейту совершается больше убийств, чем при какой-либо другой. Когда выше ста, жара мешает убийце двигаться. Ниже девяноста — достаточно прохладно, и у жертвы больше шансов уцелеть. Но на девяносто два градуса приходится самый пик раздражительности, человек выходит из себя буквально из-за любой мелочи. Мозг превращается в крысу, бегущую по раскаленному докрасна лабиринту. Достаточно самого малого — взгляда, звука, прикосновения волоска, и — зверское убийство! Зверское. Какие страшные слова. Взгляни-ка на термометр. Восемьдесят девять градусов. Подползает к девяноста. Свербит и чешется — девяносто один. Пот градом — девяносто два. И это через каких-то один-два часа. Вот первый лестничный пролет. Будем переводить дух на каждой площадке. Итак, вперед!

Старики двигались в сумраке третьего этажа.

— Не нужно сверяться с номерами квартир, — сказал Фокс. — Давай угадаем, какая квартира ее.

За последней дверью тишину разорвало радио. От стены отрывались кусочки старой краски и бесшумно сыпались на потертый коврик, дверь сотрясалась вместе с косяком.

Прятели переглянулись и мрачно кивнули друг другу.

И тут словно кто-то долбанул топором в стену — пронзительный женский голос кричал что-то в телефонную трубку кому-то на другом конце города.

— Зачем ей телефон, пусть откроет окно и орет себе.

Фокс постучал.

Радио доорало наконец свою песню, но крик женщины не умолкал. Фокс постучал снова, подергал дверную ручку. К его ужасу, она подалась под его пальцами, медленно поплыла внутрь, и они оказались в положении застигнутых врасплох актеров, когда занавес поднимается раньше времени.

— О боже! — вскричал Шоу.

На них обрушилась лавина звуков. Было такое ощущение, словно стоишь у плотины и открываешь шлюз. Старики машинально закрыли глаза руками, словно это был не шум, а ослепительный, режущий свет.

Женщина (это и в самом деле оказалась миссис Крик) стояла у настенного телефона и с невероятной скоростью разбрызгивала во все стороны слюну. Крупные белые зубы ее сияли. Монолог грохотал, раздувались ноздри, набухала, билась жилка на взмокшем лбу, свободная рука то сгибалась, то разгибалась. Плотнo зажмурив глаза, женщина вопила:

— Передайте моему зятю, чтоб не показывался мне больше на глаза, лентяй чертов!

И вдруг, по подсказке какого-то животного инстинкта, миссис Крик широко открыла глаза. Она продолжала вопить в трубку и одновременно буравила их ледяным взглядом. Поорала еще с минуту, бросила трубку и, не переводя дыхания, процедила:

— Н-ну?

Старички сблизили плечи, словно ища защиты друг у друга. Их губы зашевелились.

— Громче! — гаркнула женщина.

— Не могли бы вы, — попросил Фокс, — сделать потише радио?

По движению его губ она уловила слово «радио». С обожженного солнцем лица на них все так же злобно смотрели ее глаза. Женщина хлопнула по приемнику. Так, не глядя, шлепают ребенка, орущего целыми днями напролет. Радио умолкло.

— Покупать я ничего не собираюсь!

Она разодрала пачку дешевеньких сигарет, как раздирают мясо, когда едят его с кости, достала сигарету, зажала ее напомаженными губами, прикурила и жадно затянулась. Выпустила дым из тонких ноздрей, и вот уже перед ними огнедышащий дракон в наполненной клубами дыма комнате.

— У меня дел по горло. Выкладывайте, что у вас там!

Они огляделись: журналы разбросаны по линолеуму, словно крупные пестрые рыбины, поломанное кресло-качалка, рядом немытая кофейная чашка, покосившиеся, захватанные абажуры, окна замызганы, стопка тарелок в раковине, в них капает вода из крана, в углах под потолком колышется, словно мертвая кожица, паутина. А надо всем этим висит густой запах слишком долгой, слишком длинной, проведенной взаперти жизни.

Они посмотрели на стенной термометр: температура — девяносто градусов по Фаренгейту. Старички обменялись встревоженными взглядами.

— Меня зовут Фокс, а это мистер Шоу. Мы — оставные страховые агенты. Мы и теперь занимаемся еще страхованием для пополнения нашего пенсионного фонда. Но большую часть времени мы особенно ничем...

— Вы хотите мне страховой полис всучить! — Из сигаретного дыма высунулась голова миссис Крик.

— Нет, деньги тут ни при чем.

— Ну, дальше, — сказала она.

— Я даже не знаю, как начать. Можно присесть? — Фокс посмотрел по сторонам и пришел к выводу, что в комнате нет ничего, на что можно было бы сесть без опаски. — Ладно. — Он увидел, что она собирается снова наброситься на него с криком, и торопливо заговорил: — Мы вышли на пенсию после сорока лет работы: мы сопровождали человека от колыбели до кладбищенских ворот, если можно так выразиться. За это время мы сделали некоторые обобщения. В прошлом году мы сидели как-то в парке, разговаривали и, сопоставив факты, пришли к такому выводу: многие из тех, кому на роду написано умереть молодыми, могли бы уцелеть. Если как следует изучить вопрос, страховые компании могли бы в виде дополнительных услуг предложить клиентам новую разновидность...

— Я ничем не болею, — перебила Фокса миссис Крик.

— В том-то и дело, что болеете! — воскликнул мистер Фокс и тут же с перепугу зажал себе рот рукой.

— И вы смеете говорить мне, больна я или нет!

Фокс ринулся вперед:

— Позвольте, я разъясню. Люди умирают каждый день. С точки зрения психологии, где-то в человеке скапливается усталость. И вот она-то пытается погубить его. Взять, к примеру.. — Он посмотрел по сторонам и заговорил о первом, что попало ему на глаза. — Ну, хотя бы эта лампочка. Она висит на перетертом шнуре, прямо над ванной. Однажды вы поскользнетесь, схватитесь за нее... И конец!

Миссис Альберт Джей Крик покосилась на лампочку в ванной.

— Ну и что с того?

— Люди, — продолжал мистер Фокс, увлеченный своей темой, в то время как мистер Шоу, не зная, куда ему деться, краснел, бледнел и бочком пробирался к двери, — они как автомобили, им нужно проверять тормоза,

эмоциональные тормоза, понимаете? Фары, аккумуляторы, свои взгляды на жизнь, свои ответные реакции...

— Вы потратили две минуты, а толком еще ни черта не сказали, — фыркнула миссис Крик.

Мистер Фокс взглянул сначала на нее, потом на безжалостно палящее солнце за пыльными окнами. По его лицу струился пот. Он улучил момент, чтобы посмотреть на стенной термометр.

— Девяносто один, — проговорил он.

— Что у вас на уме? — поинтересовалась миссис Крик.

— Прошу прощения. — Он как замороженный смотрел на раскаленный ртутный столбик, который полз вверх по тоненькой трубочке термометра на противоположной стене. — Порой... порой мы все сбиваемся с пути. Взять хотя бы выбор партнера по браку. Плохая работа. Денег в обрез. Болезни. Мигрени. Желёзки пошаливают. Уйма всяких мелких неприятностей. Но пока мы об этом не догадаемся, мы обрушиваем все это на головы окружающих.

Она следила за его губами, словно он говорил на каком-нибудь иностранном языке; смотрела на него недобро, искоса, набычившись, склонив голову вперед, в ее пухлой руке тлела сигарета.

— Мы носимся взад-вперед, наживаем себе врагов. — Фокс сглотнул слюну и посмотрел мимо женщины. — Мы доводим людей до того, что им уже хочется, чтобы мы убрались куда-нибудь с глаз долой... заболели... умерли даже. Людям хочется ударить нас, врезать как следует, пристрелить. Вы понимаете?

«Боже, до чего же тут жарко, — думал он. — Хоть бы одно окно было открыто. Хоть бы одно. Одно».

Глаза у миссис Крик раскрывались все шире и шире, словно для того, чтобы собрать в себя все сказанное.

— Есть люди, подверженные несчастным случаям, — это те, кто хочет наказать себя физически за какое-нибудь преступление, как правило, мелкий, безнравственный по-

ступок, о котором, как им казалось, они давным-давно позабыли, выбросили из головы. Но подсознание толкает их в опасные переделки, заставляет быть беспечными, когда они переходят улицу, заставляет... — Он запнулся, и капля пота скатилась с его подбородка. — Заставляет их не обращать внимания на потертые шнуры лампочек над ваннами... Эти люди — потенциальные жертвы. Они носят эту отметину на своих лицах, она как татуировка, только скорее с обратной стороны, чем снаружи. Убийца, встретив на улице человека, который навлекает на себя беду, заметит эти скрытые отметины, повернется и пойдет вслед за ним, сам не отдавая себе отчета, до ближайшей аллеи. Если повезет, пути потенциальной жертвы и потенциального убийцы не пересекутся и за пятьдесят лет. Но... однажды... роковое стечение обстоятельств! Эти несчастные, задевая самые неподходящие струнки душ и нервы прохожих, так и напрашиваются на убийство.

Миссис Крик медленно раздавила окурочек в грязном блюде.

Фокс переложил трость из одной дрожащей руки в другую.

— И вот год назад мы решили поискать таких людей, нуждающихся в помощи. Ведь они даже не догадываются, что им нужна помощь. Им и во сне не придет в голову обратиться к врачу-психиатру. Сначала мы решили проверить свою догадку. Шоу был всегда против этого, только разве что ради времяпрепровождения, этаким разговор по душам. Вы, наверное, думаете, я спятил. Ну так вот, проверки продолжались целый год. Мы наблюдали за двумя мужчинами, изучали их окружение, их работу, семейные дела, все — на почтительном расстоянии. Вы скажете, какое наше дело? Но оба они плохо кончили. Одного убили в баре. Другого выбросили из окна. А женщину, за которой мы наблюдали, переехал трамвай. Совпадение? А старик, который случайно отравился? Как-то ночью не включил свет в ванной. О чем он думал, что

ему помешало включить свет? Что заставило его войти и выпить лекарство в темноте? А на следующий день он умер в больнице и, умирая, все твердил, что хочет жить и только жить. У нас достаточно доказательств, вполне достаточно. Целых два десятка. За короткий промежуток времени добрую половину из них унесла могила. Довольно проверять. Пора пустить в ход наши знания, чтобы не случилось беды. Настало время работать с людьми, пока с черного хода к ним не юркнул гробовщик.

Миссис Крик стояла так, словно он ударил ее чем-то тяжелым по голове.

Потом, едва шевеля своими расплывшимися губами, произнесла:

— И тогда вы пришли сюда?

— Ну..

— Вы за мной наблюдали?

— Мы только...

— Вы за мной следили?

— Чтобы...

— Вон отсюда! — крикнула женщина.

— Мы можем...

— Вон отсюда! — повторила она.

— Если вы только нас выслушаете...

— О-о, я так и знал, — прошептал Шоу, закрывая глаза.

— Вон отсюда, грязные старикашки! — орала миссис Крик.

— Деньги здесь ни при чем...

— Я вас вышвырну, вышвырну! — визжала она, сжимая кулаки и скрежеща зубами. Ее лицо окрасилось в непостижимый цвет. — Вы кто такие? Вы старые, дряхлые бабки, шпики, недоумки! — вопила она, срывая шляпу с мистера Фокса и выдирая из нее подкладку. — Убирайтесь, убирайтесь, убирайтесь! — Бросила шляпу на пол, раздавила каблуком, пнула ногой. — Вон! Вон!

— О, но ведь мы вам нужны!

Фокс в отчаянии смотрел на свою шляпу, а тем временем женщина осыпала его самой отборной бранью. Не было таких слов, которые она постеснялась бы употребить. Она изрыгала громы, молнии, дым и винные пары.

— Вы кем себя возомнили? Вы что, Бог? Бог и Святой Дух, снисходящие до людей, вынюхивающие да высматривающие; ах вы, старые калоши, перечницы, хрычовки! Вы, вы...

Она сыпала и сыпала им на голову такие ругательства, что они, ошеломленные, попятились к двери. Она обзывала их самыми что ни на есть распоследними словами, затем умолкла, набрала полные легкие воздуха и обрушила на стариков новый поток помоев, еще более грязных и гнусных, чем предыдущие.

— Послушайте! — сказал Фокс с металлом в голосе.

Шоу стоял за дверью и умолял своего друга выйти, все кончено, они это так себе и представляли, они оказались в дураках, они заслужили все эти ругательства. Боже, боже, какой позор!

— Старая дева! — орала миссис Крик.

— Я бы попросил вас выбирать выражения!

— Старая дева, старая дева!

Это почему-то оказалось страшнее всех действительно страшных ругательств.

Фокс пошатнулся, у него отвисла челюсть. Потом захлопнулась. Потом снова отвисла.

— Старуха! — вопила миссис Крик, не унимаясь. — Старуха, старуха, старуха!

Он стоял посреди выжженных желтых джунглей. Комната потонула в огне, сдавила его, мебель сдвинулась с места и пустилась в пляс, солнце било сквозь задранные окна, обжигающая пыль взлетала с ковра колючими искрами, стоило только прожужжать какой-нибудь мухе и описать в воздухе спираль. Рот миссис Крик, ее злое-ще-красные губы наполняли воздух непристойностями,



копившимися всю долгую жизнь, а термометр на стене показывал девяносто два градуса. Фокс еще раз взглянул на термометр — девяносто два. А женщина визжала, как колеса поезда, снимающие с рельс стружку на повороте. Ее визг напоминал скрежет ногтей по классной доске, скрип железа по мрамору.

— Старая дева! Старая дева! Старая дева!

Фокс отвел руку с зажатой в ней тростью за спину и ударил.

— Не-ет! — закричал откуда-то сзади Шоу.

Женщина поскользнулась и упала на бок, пытаясь упереться руками в пол, издавая нечленораздельные звуки. Над ней стоял Фокс с явным недоумением на лице. Он смотрел на свое плечо, запястье, руку и пальцы, сквозь окутавшую его раскаленную завесу из дымчатого хрусталя. Он смотрел на трость, словно это был какой-то невероятный восклицательный знак, который появился неизвестно откуда зримо и явственно, прямо посреди комнаты. Его рот так и остался открытым, тлеющими искорками оседала и гасла пыль. Он почувствовал, как от его лица отхлынула кровь, словно у него в желудке распахнулась настезь маленькая дверца.

— Я...

На губах миссис Крик выступила пена.

Она ползала на четвереньках, а члены ее тела, казалось, оторвались от туловища и превратились в независимых существ. Ее ноги, руки, голова вели себя как отрубленные части какого-то животного, жаждущего вновь стать самим собой, но тщетно ищущего пути к желанному восстановлению. Грязные слова все еще извергались из ее рта, хотя теперь они и на слова-то не были похожи. Фокс смотрел на женщину и никак не мог прийти в себя. До сегодняшнего дня она разбрызгивала свой яд налево и направо. Теперь же он вызвал на себя поток, который скапливался годами и должен был утопить его. Фокс почувствовал, что кто-то тащит его за воротник. Вот про-

плывает мимо дверной проем. Он услышал, как трость выпала у него из рук, загремела по полу, и отчего-то ему вдруг почудилось, что его ужалила страшная оса-невидимка. Но вот он выбрался из комнаты, шагая как автомат, начал спускаться по лестничным маршам разогретого дома, мимо опаленных стен. Сверху на него гильотиной обрушилось:

— Вон! Вон! Вон!

Звуки затихли, словно вопль человека, сброшенного в черноту колодца.

На нижней ступеньке последнего лестничного пролета, уже у выхода из подъезда, Фокс высвободился из-под опеки своего друга и надолго привалился к стене, его глаза увлажнились, единственным, на что он еще был способен, оказался стон. В это время его пальцы шарили в пустоте в поисках оброненной трости. Не найдя ее, он провел ладонью по голове, коснулся мокрых век и с удивлением опустил трясущиеся руки. Старики уселись на нижнюю ступеньку и просидели минут десять в молчании, приходя в себя с каждым вдохом, который давался не так-то легко. Мистер Фокс наконец поднял глаза на мистера Шоу, который уставился на него в испуге и изумлении.

— Ты видел, что я наделал? Да-а, еще бы чуть-чуть, и... — Фокс покачал головой. — Какой же я дурак. Бедная, бедная женщина. Она была права.

— Ничего не поделаешь.

— Теперь я убедился в этом. Надо ж было такому случиться.

— Ну-ка, дай я тебе вытру лицо. Так-то лучше.

— Ты думаешь, она пожалуется на нас мистеру Крику?

— Нет, нет.

— А не попробовать ли нам...

— Поговорить с ним?

Поразмыслив над этим, они лишь покачали головами. Распахнулась входная дверь, с улицы пахнуло жаром,

как из печки. И тут их чуть не сбил с ног какой-то здоровенный детина.

— Смотреть надо, куда прете! — рявкнул он.

Они обернулись и поглядели ему вслед. Он шагал тяжелой поступью в раскаленной тьме, поднимаясь через одну ступеньку. Это было чудовище с ребрами мастодонта, буйной львиной гривой, огромными мясистыми ручищами; до тошноты волосатый, до боли обожженный солнцем. Они увидели его лицо лишь на мгновение, когда он расталкивал их своими плечами; то было лоснящееся от пота, облупившееся под солнцем свиное рыло, пот капельками выступил под красными глазами, капал с подбородка, покрывая разводами майку от подмышек до пояса.

Они осторожно прикрыли входную дверь.

— Это он, — сказал мистер Фокс, — ее муж.

Они стояли в маленьком магазинчике напротив дома, где жила миссис Крик. Было половина шестого, солнце закатывалось, тени под редкими деревьями на аллеях окрасились в цвет спелых гроздьев винограда.

— Что это висело у него из заднего кармана?

— Крюк. Грузчики такими пользуются. Стальной. Острый, тяжелый. Вроде тех, что когда-то носили однорукие инвалиды вместо протеза.

— Сколько градусов? — спросил мистер Фокс спустя минуту.

— Здесь, в магазине, термометр все еще показывает девяносто два. Тютелька в тютельку.

Фокс сидел на ящике, едва удерживая в руках бутылку апельсинового сока.

— Надо открыть, — проговорил он. — Да. Никогда в жизни мне так не хотелось апельсинового сока, как сейчас.

Они продолжали сидеть в этой топке и, глядя вверх на одно из окон противоположного дома, терпеливо ждали, ждали...

## КРОШКА-УБИЙЦА

Трудно сказать, когда она поняла, что ее убивают. В последний месяц внутри ее, подобно приливу, накатывало нечто неуловимое, чуть заметное: будто смотришь на абсолютно спокойную гладь тропических вод, хочешь искупаться и, наконец окунувшись, обнаруживаешь, что как раз под тобой обитают чудовища: невидимые твари, жирные, многолапые, с острыми плавниками, злобные и неотвратимые.

В комнате вокруг нее была ключом истерия. Парили острые инструменты, звучали голоса, мелькали люди в белых халатах.

«Как меня зовут?» — подумала она.

Алиса Лейбер. Она вспомнила. Жена Дэвида Лейбера. Но спокойнее от этого не стало. Она была наедине с этими тихими, шепчущимися белыми людьми, а ее переполняли нестерпимая боль, тошнота и страх смерти.

«Меня убивают у них на глазах. Эти врачи, эти медсестры не представляют, что таится внутри меня. Дэвид не знает. Никто не знает, кроме меня и... убийцы, маленького душегуба, крохотного палача.

Я умираю, а сказать им сейчас об этом не могу. Они засмеются и назовут меня сумасшедшей. Они увидят убийцу, возьмут его на руки, им и в голову не придет, что он повинен в моей смерти. Вот она я, умираю перед лицом Господа и человека, и нет никого, кто поверил бы мне, все будут смотреть на меня с недоверием, утешать ложью, похоронят, ни о чем не подозревая, оплачут и спасут моего губителя».

«Где Дэвид? — задумалась она. — В комнате ожидания, курит одну сигарету за другой, прислушиваясь к долговому тиканью столь медленных часов?»

Из всех ее пор извергся пот, и тут же раздался агонирующий крик. «Ну! Ну! Попробуй убей меня! — кричала она. — Старайся, старайся, а я не умру! Не умру!»

Пустота. Вакуум. Внезапно боль отпустила. Нахлынули усталость и сумрак. Все кончилось. О господи! Она стала погружаться в черное небытие, которое уступило место небытию и небытию, а за ними следующему и следующему...

Шаги. Легкие приближающиеся шаги.

Голос вдали произнес:

— Она спит. Не тревожь ее.

Запах твида, трубки, неизменного лосьона после бритья. Дэвид стоял рядом. И чуть поодаль безукоризненный запах доктора Джефферса.

Она не стала открывать глаза.

— Я не сплю, — тихо сказала она.

Какой сюрприз, облегчение, что можешь говорить, жить.

— Алиса, — сказал кто-то, взяв ее усталые руки. То был Дэвид.

«Хочешь познакомиться с убийцей, Дэвид? — подумала она. — Я слышу, как твой голос просит разрешения посмотреть на него, значит, мне ничего не остается, как показать тебе его».

Дэвид стоял над ней. Она открыла глаза. Комната стала в фокусе. Шевельнув ослабевшей рукой, она откинула одеяло.

Убийца взглянул на Дэвида с крошечным, краснолицым, голубоглазым спокойствием. Его глубокие глаза сверкали.

— Ах! — воскликнул Дэвид Лейбер. — Какой красивый ребенок!

Когда Дэвид Лейбер приехал забирать домой жену и новорожденного, его ждал доктор Джефферс. Он жестом предложил Лейберу сесть, угостил сигарой, сам закурил, присел на край стола, долго серьезно попыхивал. Потом откашлялся, взглянул Дэвиду прямо в глаза и сказал:

— Твоя жена не любит своего ребенка, Дейв.

— Что?!

— Ей пришлось нелегко. Твоя любовь ей очень понадобится в ближайшее время. Я тогда не все тебе сказал, в операционной у нее была истерика. То, что она говорила, — невероятно. Не стану повторять. Скажу главное: она чувствует себя чужой ребенку. Так вот, может, все очень просто, и один-два вопроса все разъяснят. — Он пососал сигару, потом сказал: — Этот ребенок — желанный ребенок, Дейв?

— Почему ты спрашиваешь?

— Это важно.

— Да. Да, это желанный ребенок. Мы оба хотели его. Алиса была так счастлива год назад, когда...

— Гм... Тогда сложнее. Потому что если ребенок незапланированный, то подобные вещи объясняются тем, что женщине вообще ненавистна мысль о материнстве. К Алисе же это не подходит. — Доктор Джефферс вынул сигару изо рта, поскреб подбородок. — Тогда что-нибудь еще. Возможно, что-то случилось в детстве, а проявляется теперь. А может, это временно! Сомнение и страх бывают у всякой матери, испытывавшей сильные муки и близость смерти, подобно Алисе. Если это так, то время залечит. Все-таки я считал, что должен рассказать тебе об этом, Дейв. Тебе это поможет быть мягким и терпеливым с ней, если она скажет что-нибудь о... ну... о том, что лучше бы ребенок не родился. И если дела будут идти не очень гладко, заходите ко мне, втроем. Я всегда рад встретиться со старыми друзьями, ладно? Слушай, выкури еще сигару за... э... за ребенка.

Был яркий весенний день. Автомобиль жужжал по широким, окаймленным деревьями бульварам. Синее небо, цветы, теплый ветер. Дейв говорил, закурил сигару, опять говорил. Алиса отвечала сразу, спокойно, все более расслабляясь. Но она держала ребенка не настолько креп-

ко, не настолько тепло и не настолько по-матерински, чтобы рассеять подозрение, засевавшее у Дейва в мозгах. Казалось, она держит фарфоровую куколку.

— Ну, — сказал он наконец, улыбаясь. — Как мы его назовем?

Алиса Лейбер провожала взглядом зеленые деревья, пронесившиеся мимо.

— Давай не будем сейчас это решать. Лучше подождем, пока не придумаем какое-нибудь необычное имя. Не дыми ему в лицо.

Она произносила фразу за фразой, не меняя тона. Последнее замечание не содержало в себе ни материнского укора, ни интереса, ни раздражения. Она лишь проговорила его, и оно было сказано.

Муж, смутившись, выбросил сигару из окна.

— Прости, — сказал он.

Ребенок покоился в объятиях материнских рук, тени от солнца и деревьев бежали по его лицу. Он раскрыл голубые глаза, подобные свежим голубым весенним цветам. Из его крошечного, розового, упругого ротика исторглись влажные звуки.

Алиса мельком взглянула на ребенка. Ее муж почувствовал, как она вздрогнула у него за спиной.

— Холодно? — спросил он.

— Знобит. Лучше закрой окно, Дэвид.

Непохоже на озноб. Он медленно поднял стекло.

Ужин.

Дейв принес малыша из детской, устроил его на новом высоком стульчике, беспорядочно и уютно обложив подушками.

Алиса следила, как двигаются ее нож и вилка.

— Он еще не дорос до высокого стула, — сказала она.

— Как-то смешно, что он есть, — сказал Дейв. Ему было хорошо. — Все смешно. И на работе. Заказов по горло. Если не буду осторожничать, заработаю еще пят-

надцать тысяч в этом году. Эй, посмотри-ка на отпрыска! Обслюнявил себе весь подбородок! — Он потянулся, чтобы вытереть салфеткой рот ребенку. Краем глаза он заметил, что Алиса даже не взглянула. — Понятно, что это не очень-то интересно, — сказал он, принявшись снова за еду. — Но вообще-то можно предположить, что мать проявит хоть какой-то интерес к собственному ребенку!

Алиса резко подняла голову:

— Не разговаривай таким тоном! Не при нем! Потом, если тебе это необходимо.

— Потом? — закричал он. — При нем, не при нем — какая разница? — Тут он сдержался, почувствовав себя виноватым. — Ну ладно. Не буду. Я понимаю, каково тебе.

После ужина она позволила ему отнести ребенка наверх. Она не попросила его это сделать; она просто *позволила*.

Спустившись вниз, он увидел, что она стоит у радио и слушает музыку, не слыша ее. Закрыв глаза, она, казалось, о чем-то спрашивала себя, чему-то удивлялась. Когда он вошел, она вздрогнула.

Неожиданно она оказалась рядом, быстро обняла его, нежно, как прежде. Ее губы нашли губы Дейва, не отпускали. Он был ошеломлен. Теперь, когда ребенок исчез из комнаты и был наверху, она снова стала дышать, снова жить. Она чувствовала себя свободной. Стала шептать торопливо, бесконечно.

— Спасибо, спасибо, дорогой. За то, что ты всегда такой, какой есть. Надежный, такой надежный!

Он принужденно засмеялся:

— Мой отец говорил мне: «Сын, обеспечь свою семью!»

Она устало опустила голову, темными блестящими волосами касаясь его груди.

— Ты совершил гораздо больше. Порой мне хочется жить так, как когда мы только поженились. Никакой от-



ветственности. Никого, кроме нас. Никаких... никаких детей.

Она сжала его руки, лицо ее было сверхъестественно бледным.

— Ах, Дейв, когда-то были только ты и я. Мы охраняли друг друга, теперь мы охраняем ребенка, но мы ничем от него не защищены. Ты понимаешь? В больнице у меня хватило времени, чтобы поразмыслить. Мир жестокий...

— Разве?

— Да. Жестокий. Но от него нас охраняют законы. А когда нет законов, хранит любовь. Моя любовь хранит тебя от моих же оскорблений. Для меня ты более уязвим, чем для других, но любовь — твоя защита. Я не боюсь тебя, потому что любовь смягчает твой гнев, неестественные инстинкты, ненависть и незрелость. Ну.. а ребенок? Он слишком мал, чтобы понимать, что такое любовь, или ее законы, или что-либо иное, пока мы не научим его. И в свой черед не станем уязвимыми для него.

— Уязвимыми для ребенка? — Он отодвинул ее и тихо засмеялся.

— Знает ли ребенок, что хорошо, а что плохо? — спросила она.

— Нет. Но он узнает.

— Но ребенок так мал, так аморален, так бессознателен. — Она замолчала. Высвободив руки, она резко повернулась: — Какой-то звук? Что это?

Лейбер оглядел комнату:

— Я не слышал...

Она пристально глядела на дверь библиотеки.

— Вон там, — медленно сказала она.

Лейбер подошел к двери, открыл ее и включил в библиотеке свет.

— Ничего. — Он вернулся к ней. — Ты устала. Пошли спать... прямо сейчас.

Погасив свет, молча, они медленно поднялись по бесшумной лестнице холла. Наверху Алиса извинилась:

— Я столько ерунды наговорила, дорогой. Прости меня. Я очень устала.

Он понял и так и сказал.

У двери детской она нерешительно остановилась. Резко повернула медную ручку и вошла внутрь. Он наблюдал, как она очень осторожно подошла к колыбели, заглянула туда и застыла, будто получила удар в лицо.

— Дэвид!

Лейбер шагнул вперед и пошел к колыбели.

У ребенка было ярко-красное и очень мокрое лицо; его крошечный розовый ротик открывался и закрывался, открывался и закрывался; глаза пламенели синевой. Руками он хватал воздух.

— Ой! — сказал Дейв. — Он только что плакал.

— Разве? — Алиса Лейбер вцепилась в перила кровати, стараясь удержаться. — Я не слышала.

— Дверь была закрыта.

— И поэтому он так тяжело дышит, поэтому у него такое красное лицо?

— Ну да. Бедный малыш. Плакал в темноте совсем один. Пусть сегодня он поспит в нашей комнате — вдруг заплачет.

— Ты его избалуешь, — сказала жена.

Лейбер чувствовал на себе ее взгляд, когда катил кроватку в спальню. Он молча разделся, сел на край кровати. Вдруг поднял голову, тихо выругался и шелкнул пальцами.

— Проклятие! Совсем забыл тебе сказать. В пятницу мне необходимо лететь в Чикаго.

— Ах, Дэвид. — Ее голос затерялся в комнате.

— Я отложил эту поездку на два месяца, и теперь настал критический момент. Я просто обязан ехать.

— Я боюсь оставаться одна.

— В пятницу к нам приедет новая кухарка. Она все время будет здесь. Через несколько дней я вернусь.

— Я боюсь. Не знаю чего. Ты мне не поверишь, если скажу. Я, кажется, схожу с ума.

Он уже лежал в кровати. Она выключила свет; было слышно, как она обошла кровать, откинула одеяло, скользнула внутрь. Он ощутил вблизи теплый женский запах. Он сказал:

— Если хочешь, может, мне удастся задержаться на несколько дней...

— Нет, — неуверенно ответила она. — Поезжай. Я знаю, это важно. Просто я все время думаю о том, что я тебе говорила. Законы, любовь и защита. Любовь защищает тебя от меня. Но ребенок... — Она вздохнула. — Чем ты защищен от ребенка, Дэвид?

Прежде чем он успел ей ответить, объяснить, что глупо так рассуждать о младенцах, она неожиданно зажгла лампу около кровати.

— Смотри, — указала она.

Ребенок в кроватке не спал, а глубоким, пронзительным синим взглядом смотрел прямо на него.

Снова погас свет. Она дрожала рядом с ним.

— Нехорошо страшиться того, что породил. — Ее шепот понизился, стал резким, полным ненависти, быстрым. — Он хотел меня убить! Лежит здесь, подслушивает, ждет, когда ты уедешь, чтобы опять попытаться уничтожить меня! Я в этом уверена!

Она стала всхлипывать.

Долго она плакала в темноте. Успокоилась очень поздно. Дыхание ее стало тихим, теплым, размеренным, тело вздрогнуло от усталости, и она заснула.

Он задремал.

И прежде чем веки его тяжело сомкнулись, погружая его во все более и более глубокий сон, он услышал в комнате странный негромкий звук сознания и бодрствования.

Звук крошечных, влажных, упругих губ.

Малютка.

А потом... сон.

Утром сияло солнце. Алиса улыбалась.

Дэвид Лейбер размахивал часами над кроватью. «Смотри, малыш! Как блестит. Как красиво. Гляди. Гляди. Как блестит. Как красиво».

Алиса улыбалась. Она сказала, чтобы он уезжал, летел в Чикаго, она будет очень смелой, беспокоиться нечего. Она присмотрит за ребенком. Она станет заботиться о нем, все в порядке.

Самолет летел на восток. Небо, солнце, облака и Чикаго на горизонте. Дейва затащило гонкой заказов, планов, банкетов, телефонных переговоров, споров на заседаниях. Но каждый день он писал письма и слал телеграммы Алисе и малышу.

Вечером, на шестой день вдали от дома, раздался междугородный звонок. Лос-Анджелес.

— Алиса?

— Нет, Дейв. Это Джефферс.

— Доктор!

— Держи себя в руках, сынок. Алиса заболела. Будет лучше, если ближайшим рейсом ты возвратишься домой. Воспаление легких. Я сделаю все возможное, старина. Если бы не сразу после родов. Ей нужны силы.

Лейбер положил трубку. Он встал, не чувствуя ни ног под собой, ни рук, ни тела. Гостиничный номер поплыл и стал распадаться на куски.

— Алиса, — сказал он и слепо ткнулся в дверь.

Пропеллеры вращались, вертелись, кружились, встали; время и пространство остались позади. Дверная ручка сама повернулась в его руке, пол под ногами обрел реальность, вокруг струились стены спальни, освещенный закатным солнцем, стоял спиной к окну доктор Джефферс. Алиса лежала в постели, словно вылепленная из густого снега, и ждала. Джефферс все говорил и говорил, спокойно, не умолкая, при свете лампы мягко тек и бесцветно журчал голос, то понижаясь, то повышаясь.

— Твоя жена чересчур прекрасная мать, Дейв. Ее больше тревожил ребенок, чем она сама...

Внезапно бледное лицо Алисы исказила гримаса, которая тут же исчезла, не успев закрепиться. Потом медленно, чуть улыбаясь, она начала говорить, и говорила то, что обычно говорят матери: о том о сем, о каждой детали — поминутный отчет матери, сосредоточенной на миниатюрной жизни в кукольном домике. Но она не останавливалась — пружина была туго заведена, — и к ее тону прибавились гнев, страх и легкое отвращение, что не изменило выражения лица доктора Джефферса, но заставило сердце Дейва обратить внимание на ритм этого монолога, который все учащался и конца ему не было.

— Ребенок не спал. Я думала, что он заболел. Он просто лежал в кроватке и смотрел, а по ночам плакал. Он плакал и плакал, очень громко, все ночи подряд. Я не могла успокоить его и не спала.

Доктор Джефферс медленно-медленно покачал головой:

— От переутомления подхватила воспаление легких. Но теперь она напичкана лекарствами и уже выкарабкивается из этой паршивой болезни.

Дэвид почувствовал себя больным.

— Малыш, как малыш?

— В добром здравии. Важная персона!

— Спасибо, доктор.

Доктор вышел, спустился вниз по лестнице, открыл тихонько входную дверь и удалился.

— Дэвид!

Он повернулся на ее перепуганный шепот.

— Снова этот ребенок. — Она стиснула ему руку. — Я лежала и внушала себе, что я дура, но ребенок знал, что я ослабла после болезни, и кричал без конца каждую ночь, а когда не плакал, то наступала такая тишина, что мне становилось страшно. Я знала, что, как только включу свет, он будет сверлить меня взглядом!

Дэвид почувствовал, что его тело сжалось, словно кулак. Он вспомнил, как он видел, чувствовал, что ребенок не спит в темноте, не спит поздно ночью, когда детишки должны спать. Не спал, а лежал молча, как будто думал, и не плакал, а наблюдал из своей кровати. Он отбросил эту мысль. Безумие.

Алиса продолжала:

— Я хотела убить ребенка. Да, хотела. Через день после твоего отъезда я пришла к нему в комнату и взяла его за горло и долго так стояла, размышляя, боясь. Потом я натянула ему на голову простынку, перевернула его лицом вниз и прижала, потом выбежала из комнаты, оставив его в таком положении.

Он попытался остановить ее.

— Нет, дай я доскажу до конца, — хрипло сказала она, уставившись в стену. — Когда я вышла из комнаты, я подумала: «Как просто. Дети задыхаются каждый день. Никто и не узнает». Но когда я вернулась взглянуть на него мертвого, Дэвид, он был жив! Да, жив, перевернулся на спину, живой, смеющийся и дышащий. После этого я не могла к нему прикоснуться. Я бросила его там и не возвращалась ни покормить, ни взглянуть, ни зачем-либо еще. Может быть, за ним смотрела кухарка. Не знаю. Одно я знаю: от его плача я не спала, и все ночи думала и ходила по комнатам, и вот заболела. — Она была уже на пределе. — Ребенок лежит там и придумывает, каким способом меня убить. Простейшим способом. Потому что ему известно, что я слишком много знаю о нем. Я не люблю его, мы не защищены друг от друга и никогда не будем.

Она замолчала. Выговорившись, она наконец уснула. Дэвид Лейбер долго стоял над ней, не в состоянии пошевелиться. Кровь застыла в его жилах, ни одна клеточка не шевельнулась в нем, нигде, нигде.

Наутро ему оставалось лишь одно. Что он и сделал. Он пошел к доктору Джефферсу и, рассказав ему все, выслушал терпеливые советы Джефферса.

— Давай во всем разберемся не спеша, сынок. Бывает, что матери ненавидят своих детей. У нас существует для этого специальный термин — амбивалентность. Способность любить и ненавидеть одновременно. Любовники часто ненавидят друг друга. Дети чувствуют отвращение к своим матерям...

Лейбер перебил:

— Я никогда не ненавидел свою мать.

— Естественно, ты никогда в этом сам себе не признаешься. Людей не радует осознание того, что они ненавидят своих близких.

— Значит, Алиса ненавидит ребенка.

— Скажем так: у нее навязчивая идея. Это больше чем обычная амбивалентность. Кесарево сечение вызвало дитя на свет и чуть не лишило Алису жизни. Она винит ребенка в том, что чуть не умерла и заболела воспалением легких. Она проецирует свои несчастья, обвиняя находящийся под рукой объект и выдавая его за источник бед. Мы все так поступаем. Мы натываемся на стул и проклинаям мебель, а не собственную неуклюжесть. Мы промахиваемся, играя в гольф, и ругаем траву, либо битую, либо мяч. Если наше дело кончается крахом, то виноваты боги, погода, фортуна. Я могу лишь повторить то, что уже говорил. Люби ее. Лучшее лекарство на свете. Найди способ, как показать ей свою привязанность, защити ее. Придумай, как показать ей, что ребенок безопасен и невинен. Сделай так, чтобы она почувствовала, что он стоил того риска. Немного погодя она успокоится, перестанет думать о смерти и полюбит ребенка. Если примерно через месяц она не придет в себя, обратись ко мне. Теперь ступай и не смотри такими глазами.

Наступило лето, стало легче, казалось, что все пришло в норму. Дейв работал, целиком погрузившись в дела конторы, но при этом уделял много времени и жене. Она, в свою очередь, подолгу гуляла, набиралась сил, иногда

играла в бадминтон. Она больше не срывалась. Казалось, она избавилась от своих страхов.

Лишь однажды в полночь, когда летний ветер внезапно пролетел вокруг дома, теплый и мягкий, встряхнув деревья, словно множество блестящих тамбуринов, Алиса проснулась, дрожа, и скользнула в объятия мужа, чтобы он успокоил ее и спросил, что случилось.

Она ответила:

— Здесь кто-то есть, следит за нами.

Он зажег свет.

— Опять эти сны, — сказал он. — Правда, тебе уже лучше. Ты давно не тревожилась.

Она вздохнула, когда он щелкнул выключателем, и вдруг заснула. Обнимая ее, он около получаса размышлял о том, какая она милая и непредсказуемая.

Вдруг он услышал, как дверь спальни приоткрылась на несколько дюймов.

За дверью никого не было. И она не могла открыться сама. Ветер стих.

Он ждал. Прошел час, как ему показалось, а он все тихо лежал в темноте.

Затем далеко, завывая подобно крошечному метеориту, затухающему в безбрежной чернильной бездне космоса, заплакал ребенок в детской.

Маленький одинокий звук среди мириад звезд, и тьма, и дыхание женщины в его руках, и ветер, снова зашелевший среди деревьев.

Лейбер медленно сосчитал до ста. Плач продолжался.

Осторожно высвободившись из рук Алисы, он соскользнул с кровати, надел тапочки, халат и тихо двинулся по комнате.

Надо спуститься вниз, согреть молока, подумал он, подняться наверх и...

Тьма полетела из-под него. Его нога подвернулась и провалилась. Подвернулась на чем-то мягком. Провадилась в ничто.



Он выбросил руки и судорожно вцепился в перила. Тело прекратило полет. Он удержался. Он выругался.

«Что-то мягкое», обо что он споткнулся, прощуршало и шлепнулось несколькими ступеньками ниже. Голова гудела. Сердце, разбухая и сжимаясь от боли, молотком стучало в груди.

Почему неаккуратные люди разбрасывают все по дому? Он осторожно нащупал пальцами предмет, из-за которого он чуть не нырнул с лестницы вниз головой.

Рука его застыла в изумлении. Дыхание замерло. Сердце пропустило один-два толчка.

Вещь, которую он держал в руке, была игрушкой. Большая, неуклюжая тряпичная кукла, которую он купил для смеха...

Малышу.

На следующий день Алиса повезла его на работу.

На полпути к центру она замедлила ход и остановилась у обочины. Потом повернулась к мужу:

— Я хочу уехать на время, отдохнуть. Если ты не можешь отправиться со мной, то можно я поеду одна, дорогой? Мы наверняка найдем кого-нибудь присмотреть за ребенком. Мне необходимо уехать. Я думала, что больше не испытываю это... это чувство. Но оказалось, что это не так. Я не в состоянии находиться с ним вместе. Он так глядит на меня, будто тоже ненавидит меня. Мне трудно это объяснить; одно лишь знаю — я хочу уехать, пока что-нибудь не произошло.

Он вылез из машины, подошел к дверце с ее стороны и, сделав ей знак подвинуться, сам сел за руль.

— Все, что ты сделаешь, — это обратишься к психиатру. И если он предложит тебе отдохнуть, ну что ж, пожалуйста. Только дальше так продолжаться не может, мое терпение лопнуло. — Он включил зажигание. — Теперь я поведу.

Она опустила голову, стараясь сдержать слезы. Когда они подъехали к зданию его конторы, она подняла голову:

— Хорошо. Запиши меня на прием. Я проконсультируюсь, с кем ты захочешь, Дэвид.

Он поцеловал ее.

— Вот теперь вы рассуждаете разумно, леди. Сможешь доехать до дома сама?

— Конечно, глупыш.

— Тогда до ужина. Веди осторожно.

— А разве я так и не делаю? Пока.

Он стоял у обочины, глядя, как она отъезжает, ветер трепал ее длинные, темные, блестящие волосы. Минуту спустя, поднявшись наверх, он позвонил Джефферсу и договорился о приеме у надежного невропатолога.

Весь день его не покидало чувство тревоги. Перед глазами возникала пелена, в которой потерявшаяся Алиса все звала его по имени. Настолько ее страх передался ему. Он почти поверил, что в чем-то ребенок не такой, как все.

Он продиктовал несколько длинных скучных писем. Проверил несколько деловых бумаг. Надо было задавать сотрудникам вопросы, следить за тем, чтобы они работали. К концу дня он был измочален, в голове стучало, и он был рад, что можно ехать домой.

Спускаясь на лифте вниз, он размышлял: «А может, рассказать Алисе об игрушке... тряпичной кукле... о которой я споткнулся ночью на лестнице? Господи, а вдруг от этого ей станет хуже? Нет, никогда не расскажу. В конце концов, случайность есть случайность».

Было еще светло, когда он возвращался домой на такси. Подъехав к дому, он расплатился с шофером и медленно пошел по зацементированной дорожке, наслаждаясь светом, все еще озарявшим небо и деревья. Белый фасад дома выглядел неестественно тихим и необитаемым, и тут, отрешенно, он вспомнил, что сегодня четверг и что прислуга, которую они позволяли себе нанимать время от времени, сегодня отсутствовала.

Он глубоко вдохнул воздух. Птица пела за домом. На бульваре шумели машины. Он повернул ключ в две-

ри. Смазанная ручка тихо повернулась под его пальцами.

Дверь открылась. Он вошел, положил на стул шляпу и портфель, стал стягивать пальто и взглянул вверх. Сквозь окошко в холле у потолка струился по лестнице луч заходящего солнца. Он освещал яркое пятно — тряпичную куклу, валявшуюся около нижней ступеньки.

Но он не обратил внимания на игрушку.

Он лишь стоял и смотрел, не двигаясь, и все смотрел и смотрел на Алису.

Нелепо согнувшись, мертвенно-бледная, Алиса лежала внизу, у лестницы, подобно измятой кукле, которая больше никогда не захочет играть.

Алиса была мертва.

В доме стояла тишина, слышен был лишь стук его сердца.

Она была мертва.

Он приподнял ее голову, коснулся пальцев. Обнял ее. Но жить она больше не будет. Даже не попытается. Он позвал ее по имени, громко, несколько раз; прижимая ее к себе, он старался вновь и вновь одарить ее теплом, которого она лишилась, но это не помогало.

Он встал. Кажется, позвонил по телефону. Внезапно он оказался наверху. Открыл дверь в детскую, вошел и тупо посмотрел на колыбельку. Болел живот. Плохо было видно.

Ребенок лежал, закрыв глаза, с красным, мокрым от пота лицом, словно он долго и громко кричал.

— Она умерла, — сказал Лейбер ребенку. — Она умерла.

И он стал смеяться тихо, медленно, бесконечно, до тех пор, пока из ночи не вышел доктор Джефферс и не стал бить его по щекам.

— Прекрати! Возьми себя в руки!

— Она упала с лестницы, доктор. Она поскользнулась о тряпичную куклу и упала. Я сам чуть не упал из-за нее ночью. А теперь...

Доктор встряхнул его.

— Док, док, док, — бормотал Дейв. — Вот смешно. Смешно-то. Я... Я наконец придумал имя ребенку.

Доктор ничего не ответил.

Лейбер опустил голову на дрожащие руки и произнес:

— В воскресенье я окрещу его. Знаешь, как я его назову? Я назову его Люцифер.

Одиннадцать вечера. Явились незнакомые люди, прошли по дому и забрали его неотъемлемое тепло — Алису.

Дэвид Лейбер с доктором сидели в библиотеке.

— Алиса была не сумасшедшая, — медленно сказал Дэвид. — У нее хватало причин бояться ребенка.

Джефферс вздохнул:

— Не иди по ее стопам! Она винила ребенка в своей болезни, теперь ты обвиняешь его в том, что она умерла. Не забывай, что она споткнулась об игрушку. Ребенок не виноват.

— Ты говоришь о Люцифере?

— Прекрати его так называть!

Лейбер покачал головой:

— Алиса слышала по ночам какой-то шум в коридоре. Хочешь знать, кто это шумел, доктор? Ребенок. Четырех месяцев от роду, ползал в темноте и подслушивал. Слышал каждое наше слово! — Он вцепился в подлокотники кресла. — А когда я включал свет — он ведь такой маленький. Он мог спрятаться за мебелью, за дверью, прижаться к стене... так что его не было видно.

— Перестань! — сказал Джефферс.

— Дай мне высказаться, а то я сойду с ума. Когда я был в Чикаго, кто не давал Алисе спать и измучил ее до того, что она заболела воспалением легких? Ребенок! Но Алиса не умерла, и он попытался убить меня. Это же так просто: ночью бросить на лестнице игрушку, а потом долго кричать, пока твой папа не пойдет вниз согреть молока

и не поскользнется. Жестокий прием, но эффективный. Со мной не вышло. Алиса погибла.

Дэвид Лейбер замолчал, чтобы закурить сигарету.

— Я должен был понять. Сколько раз я включал свет среди ночи, а ребенок лежал, широко раскрыв глаза. Почти все дети спят по ночам. Но не этот. Он бодрствовал и думал.

— Маленькие дети не думают.

— Ну хорошо, он бодрствовал и вытворял своими мозгами, что *мог*. Что мы знаем об уме ребенка? У него было полно причин ненавидеть Алису: она подозревала его в том, что он есть на самом деле — ребенок, явно не похожий на других. Какой-то не такой. Что тебе известно о детях, доктор? Какие-то общие черты, да. Конечно, тебе известно, как во время родов дети убивают своих матерей. Почему? Может, таким образом они выражают свое возмущение тем, что их насильно выталкивают в этот отвратительный мир?

Лейбер наклонился к доктору, он был измучен.

— Все взаимосвязано. Предположим, что несколько детей из миллиона, появляющихся на свет, сразу же умеют передвигаться, видеть, слышать, думать, как могут большинство животных и насекомых. Насекомые рождаются уже вполне самостоятельными. Большинство млекопитающих и птиц приспособляются через несколько недель. А детям нужны годы, чтобы научиться говорить и ковылять на слабых ногах. Но представь, что один ребенок из миллиарда необыкновенный. Родается совершенно сознательный, инстинктивно способный мыслить. Не отличное ли положение, не отличное ли прикрытие всему, что захочет совершить такой ребенок? Он может притвориться обыкновенным, слабым, плачущим, невиновным. Лишь *малая* трата энергии понадобится ему, чтобы ползать по темному дому, подслушивая. А как легко положить какую-нибудь штуку на верхней ступеньке! Как легко кричать всю ночь напролет и тем самым довести мать

до воспаления легких! Как легко прямо во время родов, находясь внутри матери, *несколькими ловкими движениями вызвать перитонит!*

— Ради бога! — Джефферс встал. — Омерзительно, что ты так говоришь!

— Омерзительно то, о чем я говорю. Сколько матерей погибло во время родов? Сколько происходит необъяснимых, невероятных случайностей, которые могут так или иначе вызвать смерть во время родов? Непознанные красные маленькие существа, с мозгами, которые работают в проклятой темноте, когда никто даже не догадывается об этом: Маленькие примитивные мозги, начиненные расовой памятью, ненавистью и природной жестокостью, с единственной мыслью о самосохранении. А самосохранение в данном случае заключается в том, чтобы уничтожить мать, осознавшую, что за кошмар породила она. Я спрашиваю тебя, доктор, существует ли на свете нечто более эгоистичное, чем ребенок? Нет.

Джефферс нахмурился и беспомощно покачал головой.

Лейбер положил сигарету.

— Я не утверждаю, что ребенок должен обладать большой силой. Достаточно научиться немного ползать несколькими месяцами раньше графика. Достаточно, чтобы все время слушать. Достаточно, чтобы плакать всю ночь напролет. Этого достаточно, более чем достаточно.

Джефферс попытался засмеяться:

— Тогда называй это убийством. Но убийство должно быть мотивировано. Какие мотивы у ребенка?

У Лейбера был готов ответ:

— Кто на свете больше всех довольствуется сном, свободой, отдыхом, сытостью, удобством, спокойствием, как не ребенок в утробе матери? Никто. Он плавает в магии сна, безвременья, пищи и тишины. Потом внезапно его просят покинуть помещение, силой заставляют убраться, вылететь в шумный, недобрый, эгоистичный мир, где его

заставят самого передвигаться, охотиться, добывать пищу, гоняться за ускользающей любовью, которая когда-то была его неотъемлемым правом, сталкиваться с беспорядком взамен утробной тишины и постоянного сна. И ребенок *возмущается!* Возмущается холодным воздухом, огромным пространством, внезапным отторжением от привычных вещей. И в крохотной клеточке мозга ребенка остаются лишь эгоизм и ненависть, потому что чары были грубо разбиты. Кого же следует винить в том, что чары были так грубо нарушены и что волшебству наступил конец? Мать. Вот и получается, что ребенку есть кого ненавидеть всем своим неразумным умишком. И отец не лучше, и его убить. Он по-своему виноват!

Джефферс прервал его:

— Если то, что ты сказал, верно, то каждая женщина на свете должна опасаться своего ребенка, удивляться ему.

— А почему бы и нет? Разве у ребенка не отличное алиби? Его защищает тысячелетиями принятое медицинское убеждение. По природным причинам он беспомощен и не может отвечать за свои действия. Ребенок рождается с ненавистью. А жизнь все хуже, а не лучше. Поначалу ребенку достаточно внимания и материнской заботы. Но время течет, и все меняется. Новорожденный ребенок в силах своим чихом или плачем заставить родителей совершать глупые поступки и подпрыгивать от его малейшего писка. Годы идут, и ребенок чувствует, что даже эта крошечная власть быстро ускользает навсегда, без возврата. Почему бы ему не ухватиться за ту власть, которую он имеет? Почему бы ему не добиваться выгодного положения всеми способами, пока у него есть преимущества? Потом будет слишком поздно выразить свою ненависть. *Теперь* есть время для борьбы.

Голос Лейбера звучал тихо, спокойно.

— Мой маленький мальчик лежит по ночам в колыбельке с мокрым красным лицом и задыхается. Потому

что плакал? Нет. Потому что медленно вылез из кровати, долго полз по темным коридорам. Мой маленький мальчик. Я хочу убить его.

Доктор протянул ему стакан воды и таблетки.

— Никого ты не убьешь. Будешь спать двадцать четыре часа. Выспишься и придешь в себя. Возьми-ка.

Лейбер принял таблетки и дал отвести себя наверх в спальню, плача, он чувствовал, что его укладывают в постель. Доктор подождал, пока он глубоко не заснул, и ушел.

Лейбер в одиночестве плыл и плыл по течению.

Он услышал шорох.

— Что... что *это*? — слабо спросил он.

Что-то шевелилось в коридоре.

Дэвид Лейбер спал.

Следующим утром, очень рано, доктор Джефферс подъехал к дому. Утро было чудесное, и он собирался прокатить Лейбера за город на прогулку. Лейбер, должно быть, все еще спит наверху. Джефферс дал ему достаточно снотворного, чтобы отключить его по крайней мере на пятнадцать часов.

Он позвонил в дверь. Молчание. Прислуга, наверное, еще не встала. Джефферс толкнул входную дверь, она оказалась незапертой, он вошел внутрь. Положил врачебный чемоданчик на ближайший стул.

Что-то белое мелькнуло наверху лестницы. Неуловимое движение. Джефферс едва обратил внимание.

Во всем доме стоял запах газа.

Джефферс побежал наверх, вломился в спальню Лейбера.

Лейбер без сознания лежал на кровати, а комнату застилал газ, который с шипением струился из открытой форсунки внизу в стене около двери. Джефферс закрыл кран, распахнул все окна и подбежал к телу Лейбера.



Тело было холодным. Он был мертв уже несколько часов.

Сильно кашляя, доктор выскочил из комнаты, глаза слезились. Лейбер не включал газ сам. Он был *не в состоянии* это сделать. Снотворное отключило его, он не мог проснуться раньше полудня. Это не самоубийство. Или все-таки мог?

Джефферс минут пять постоял в коридоре. Потом подошел к двери детской. Она была закрыта. Он открыл ее. Вошел внутрь и подошел к кровати.

Кровать была пуста.

Покачиваясь, он постоял полминуты у колыбели, потом сказал, ни к кому конкретно не обращаясь:

— Дверь детской захлопнулась. В кровать, где так безопасно, вернуться ты не смог. В твои планы не входило, что дверь захлопнется. Столь ничтожная деталь, как захлопнувшаяся дверь, может разрушить наилучший план. Я найду тебя, спрятавшегося где-то в доме и притворившегося тем, чем ты на самом деле не являешься. — Доктор был потрясен. Он приложил руку ко лбу и слабо улыбнулся: — Ну вот, теперь я говорю то же, что говорили Алиса и Дэвид. Но я не могу рисковать. Я ни в чем не уверен, но рисковать я не могу.

Он спустился вниз, открыл чемоданчик, лежащий на стуле, вытащил оттуда какой-то предмет и взял его обеими руками.

Что-то прошуршало в коридоре. Что-то крошечное и такое бесшумное. Джефферс быстро обернулся.

«Мне пришлось сделать операцию, чтобы ввести тебя в этот мир, — подумал он. — Теперь, как я понимаю, я должен сделать операцию, чтобы вывести тебя из него...»

Он сделал несколько медленных, уверенных шагов в коридор. Поднял руки к солнечному свету.

— Смотри, малыш! Как блестит... как красиво!

Скальпель.

## ТОЛПА

Сполнер закрыл лицо руками.

Он чувствовал, что куда-то движется, слышал пронзительный визг, затем удар в стену. Машина перевернулась, проехала вперед, подскакивая, как игрушечная, и его выкинуло. Дальше — тишина.

Сбегалась толпа. Лежа на земле, Сполнер, как сквозь вату, слышал топот людей. По звуку он мог угадать их возраст и рост. Многочисленные подошвы шуршали в зеленой траве, стучали по тротуару и проезжей части, перебирались через груды кирпичей, из которой торчала, брюхом в ночное небо, машина; колеса по-прежнему бессмысленно крутились.

Откуда взялись люди — непонятно. Над почти теряющим сознание Сполнером струдились, нависли лица зевак, словно широкие листья на ветвях склонившихся деревьев. Они образовали плотное кольцо движущихся, сменяющихся физиономий, которые давили и смотрели, смотрели, пытаясь считать по его лицу, сколько ему осталось жить, или когда он умер. Лицо служило им гномоном, где нос отбрасывает тень, по которой можно определить время, когда он перестанет дышать.

«Как, однако, быстро собирается толпа, — подумал Сполнер. — Будто бы радужка глаза, которая вдруг ни с того ни с сего окружает зрачок».

Сирена. Окрик полицейского. Суета. Из разбитых губ течет кровь; его переносят в «Скорую».

— Умер? — спросил кто-то.

— Нет, не умер, — ответил кто-то другой.

— Он выживет. Выживет, — добавил третий.

Сполнер видел эти лица в ночи и по их выражению понял, что не умрет. Странное ощущение. Он видел лицо тощего бледного мужчины — тот сглотнул и как-то болезненно прикусил губу. Еще была невысокая женщина, рыжеволосая и ярко накрашенная. И веснушчатый маль-

чишка. Были и другие. Старик с заячьей губой, старуха с бородавкой на подбородке. Они все сбежались к нему... Откуда? Из домов, автомобилей, переулков неподалеку от происшествия, которое потрясло округу. Из подворотен и из гостиниц, из трамваев и будто бы из ниоткуда.

Толпа разглядывала Сполнера, а он смотрел на них в ответ, и они ему совсем не нравились. В этих зеваках чувствовалось что-то отталкивающее, но он не мог сказать, что именно. Отчего-то их присутствие было даже хуже аварии, которая с ним приключилась.

Хлопнула дверь кареты «Скорой помощи». Снаружи толпа обступила машину, пытаясь заглянуть внутрь. Толпа всегда собирается удивительно быстро, становится вокруг и смотрит, тыкает, пялится, спрашивает, отвечает, мешает, нарушая своим беззастенчивым участием уединение умирающего.

«Скорая» тронулась. Сполнер откинулся на кушетку и закрыл глаза, но даже сквозь опущенные веки видел эти любопытствующие лица.

Еще долгие дни ему мерещились крутящиеся колеса: все четыре и каждое в отдельности. Они крутились и крутились, вертелись и вертелись, оборот за оборотом.

Что-то не давало ему покоя: то ли колеса, то ли сама авария, то ли топот и толпа любопытных. Лица зевак слились в карусель и вращались вместе с колесами.

Сполнер проснулся.

Солнечный свет, больничная палата, чья-то рука на пульсе.

— Как самочувствие? — спросил врач.

Колеса пропали. Сполнер огляделся.

— Нормально... Вроде бы.

Он пытался подобрать слова, чтобы описать аварию.

— Доктор?

— Да?

— Те люди... вчера вечером...

— Не вчера, а два дня назад. Вы поступили сюда в четверг. Но уже идете на поправку. Хотя пока рекомендую вам не вставать.

— Те люди. И еще колеса... Доктор, бывает так, что после аварии человек, как бы... немного того?

— Да, бывает, но это проходит.

Сполнер посмотрел врачу в лицо.

— И восприятие времени тоже может пострадать?

— От паники такое иногда случается.

— Минута как будто кажется часом и наоборот, да?

— Именно.

— Тогда позвольте рассказать. — Он лежал на койке, в лицо светило теплое солнце. — Вы, наверное, подумаете, что я спятил. Да, я слишком гнал, так делать нельзя, знаю. Я наскочил на бордюр и врезался в стену. Да, я отупел от боли, однако память у меня ясная. Я все помню и прежде всего — толпу. — Сполнер помолчал немного, ожидая реакции, затем продолжил; вдруг стало понятно, в чем все-таки загвоздка. — Толпа собралась чересчур быстро. Прошло всего тридцать секунд с момента аварии, а они уже сгрудились надо мной и пялились... Они не успели бы прибежать, да еще в такой поздний час. Откуда они взялись?..

— Вам только кажется, что прошло тридцать секунд. Скорее всего, три, а то и четыре минуты. Ваши ощущения...

— Да, авария, ощущения... понятно. Но я был в сознании!.. Есть одна деталь, которая связывает все воедино, и до чего же странно, господи, до чего странно выходит. Колеса — колеса у моей перевернутой машины. Когда толпа собралась, они еще крутились!

Врач улыбнулся.

— Правду вам говорю! — не унимался пациент. — Колеса крутились — и быстро, очень быстро! Они ведь не могут долго крутиться; от трения они останавливаются. А они крутились, правда крутились!

— Вам показалось.

— Ничего не показалось. На улице не было ни души. Вдруг авария, колеса крутятся, а вокруг меня уже люди — очень быстро, почти мгновенно собрались. И по их лицам я прочитал, что выживу...

— Обычный шок, — констатировал врач и ушел навстречу солнцу.

Сполнера выписали из больницы через две недели. Он вызвал такси и поехал домой. В палате его навешали, и всем он повторял свой рассказ: авария, крутящиеся колеса, толпа. Все смеялись и тут же забывали.

Он наклонился и постучал по стеклянной перегородке.

— Что-то случилось?

Таксист оглянулся.

— Простите, сэр. Тут у нас жуть что на дорогах творится. Там, впереди, авария. Хотите, объедем?

— Да. Хотя нет. Нет, погодите! Поехали туда. Поглядим... поглядим, что там такое.

Они поехали дальше, сигналив перегородившим дорогу водителям.

— Вот ведь надо же... Эй ты, там! Убери свою колымагу! — прокричал таксист, затем тише: — Ничего себе, сколько народу. И чего им там, медом намазано?

Сполнер опустил взгляд. Рука, лежавшая на колене, подрагивала.

— Вы тоже заметили?

— А то! Всякий раз так. Чуть что — сразу толпа. Как будто мать родную хоронят.

— Да, быстро сбежались, — заметил пассажир.

— Ага, и ведь что ни возьми: хоть взрыв, хоть пожар. Только что никого — ба-бах! — и толпа народу. Как так?

— А если авария ночью — видели такое?

— Еще бы, — кивнул таксист. — Без разницы. Та же толпа.

Показалось место аварии. На асфальте лежало тело. Пускай из-за толпы его не видно, но оно там. Сполнер сидел на заднем сиденье, зеваки стояли к нему спиной. Спиной. Он опустил стекло и чуть не крикнул им. Не хватило смелости. Вдруг обернуться?

А видеть их лица было невыносимо страшно.

Сполнер вернулся в офис.

— Я, похоже, теперь притягиваю аварии, — сказал он.

Рабочий день уже закончился. Коллега сидел напротив и слушал.

— Только сегодня утром меня выписали, и первым делом, по дороге домой, я наткнулся на аварию.

— Всегда где-то аварии, — пожал плечами Морган.

— Хочешь, расскажу, что со мной было?

— Слышал уже, и не раз.

— Довольно странное происшествие, правда?

— Да, странное. Давай выпьем?

Они поговорили еще с полчаса, может, больше. В течение всего разговора в голове у Сполнера, не нуждаясь в подзаводке, тикал крошечный часовой механизм, снова всплыли в памяти те самые подробности: колеса и лица.

Где-то в половине шестого вечера с улицы донесся грохот металла. Морган выглянул из окна и кивнул.

— О чем я и говорю: всегда где-то аварии. Погляди: грузовик въехал в кремовый «кадиллак».

Сполнер подошел к окну. Его била дрожь, и он все смотрел на часы, на крошечную стрелку. Одна секунда, две, три, четыре, пять — начали сбегаться люди; восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать — вот они бегут со всех сторон; пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать — еще люди, еще машины, еще гудки. Забавно, Сполнеру почему-то представился взрыв наоборот: осколки вместо того, чтобы разлетаться, притягиваются обратно к эпицентру. Девятнадцать, двад-

цать, двадцать одна... Двадцать одна секунда — и толпа в сборе.

Чересчур быстро.

Прежде чем кольцо зевак сомкнулось, Сполнер успел заметить на асфальте тело женщины.

— Паршиво выглядишь, — сказал Морган. — Вот, допей.

— Я в порядке, в порядке. Отстань, я в порядке. Видишь тех людей? Можешь разглядеть кого-нибудь? Надо подобраться поближе.

— Куда ты? — крикнул ему Морган.

Сполнер уже был за дверью и сбегал по лестнице. Морган едва поспевал за ним.

— Давай, догоняй.

— Эй, не лети так, ты еще не поправился!

Они вышли на улицу. Сполнеру почудилась ярко накрашенная рыжеволосая женщина, и он стал протискиваться сквозь толпу.

— Вот! — очумело обратился он к Моргану. — Видел ее?

— Кого?

— Черт, уже пропала. Там, в толпе!

Зеваки обступили их, дышали, смотрели, теснились, двигались, бормотали и мешали пройти. Рыжеволосая, очевидно, тоже заметила Сполнера и поспешила скрыться.

Но он узнал еще одно лицо: веснушчатый мальчишка! Конечно, сколько их, таких веснушчатых, на свете. Впрочем, неважно: и к нему Сполнер пробраться не успел; мальчишка растворился среди людей.

— Она умерла? — спросил кто-то. — Умерла?

— Умирает, — ответил кто-то еще. — До приезда «Скорой» не доживет. Не надо было ее двигать. Не надо было...

Зеваки — чужие, но при этом как будто знакомые — склонились над жертвой.

— Мистер, будьте добры не толкаться.

— Эй, куда прешь?

Сполнер вывалился из толпы, Морган едва поймал его.

— Совсем спятил? Ты еще не выздоровел. Что тебя туда понесло?

— Честно говоря, сам не знаю. Ее передвинули, Морган. Кто-то ее передвинул. Нельзя трогать жертву аварии, так ее можно убить. Можно убить...

— Да что с них взять, с этих зевак? Ни черта не смыслят.

Сполнер аккуратно разложил газетные вырезки и показал их Моргану.

— И для чего все это? После той аварии ты словно помешался на дорожно-транспортных происшествиях. Что это такое?

— Статьи об автомобильных авариях с фотографиями. Посмотри внимательнее. Не на машины, а на толпу зевак вокруг. — Сполнер ткнул в один из снимков. — Вот. Фото аварии в округе Уилшир и авария в Вествуде. Сравни. Никакого сходства? А теперь возьми этот вествудский снимок и сопоставь с похожим снимком десятилетней давности. Вот, эта женщина есть на обеих фотографиях.

— Один раз в тридцать шестом и один раз в сорок шестом — совпадение. Бывает.

— Один раз — может, и совпадение. Но двенадцать раз за десять лет — не поверю. Причем все аварии происходили в одном районе, в пределах трех миль. Пожалуйста. — И Сполнер выложил на стол еще дюжину снимков. — Она есть на всех!

— Может, сумасшедшая?

— Было бы слишком просто. Как ей удается так быстро появляться на месте происшествия? И почему на всех фотографиях за десять лет она одета одинаково?



— Слушай, а ведь и правда!

— И главный вопрос: почему я видел ее две недели назад, когда сам попал в аварию?

Они выпили. Морган перелистал подшивки.

— Ты что, заказал эту подборку, пока лежал в больнице?

Сполнер кивнул. Морган задумчиво вертел стакан в руке. Вечерело. За окнами офиса зажглись фонари.

— Ну, и какой вывод из всего этого?

— Понятия не имею, — сказал Сполнер. — Разве что есть универсальное правило относительно аварий: всегда собирается толпа. Всегда. И из года в год люди вроде нас с тобой ломают голову, как она умудряется появиться так быстро и что ей надо? Теперь я знаю ответ.

— А все эти люди... Может быть, они обыкновенные охотники до острых ощущений, с болезненным интересом к крови и смерти?

Сполнер пожал плечами.

— Как тогда объяснить, что они появляются на всех без исключения авариях? Заметь, у каждого свой определенный участок. На аварию в Brentwude сбегается одна группа, в Хантингтон-парке — другая. И среди них есть несколько лиц, которые мелькают всегда.

— Но ведь это не сплошь одни и те же лица, так? — спросил Морган.

— Нет, конечно. К месту происшествия постепенно подтягиваются и обычные люди. Но эти, как я заметил, всегда оказываются на месте раньше всех.

— Кто они такие? Что им нужно? Кончай говорить полунамекками. Наверняка ты о чем-то догадываешься. Мало того, что сам напугался, так и мне теперь не по себе.

— Я пытался подобраться к кому-нибудь, но кто-то постоянно встает у меня на пути, и они успевают затеряться среди людей. Такое ощущение, что толпа их охраняет и предупреждает о моем приближении.

— Прямо шайка какая-то...

— У них есть одна общая черта: они все время появляются вместе, будь то пожар, взрыв или война — в общем, любое публичное проявление смерти. Кто они такие — не знаю. Падальщики, гиены? А может, ангелы? Неважно, сегодня же вечером я иду в полицию. Пора с этим кончать. Кто-то из них передвинул ту женщину. Ее нельзя было трогать. Это все равно что убийство.

Он сложил вырезки в дипломат. Морган поднялся и накинул плащ. Сполнер защелкнул замки.

— Я тут подумал, а что если...

— Если — что?

— Если они и добивались ее смерти?

— Для чего?

— А кто их разберет? Поехали со мной.

— Прости, уже поздно. Завтра увидимся. Удачи.

Морган проводил Сполнера до выхода.

— Передавай привет копам. Думаешь, поверят?

— Конечно, поверят. Спокойной ночи.

По дороге в центр Сполнер решил не гнать.

— Я должен добраться туда живым, — напомнил он себе.

Грузовик, выехавший из переулка, застал его врасплох, хотя не сказать чтобы удивил. Он как раз хвалил себя за наблюдательность и мысленно репетировал, что будет говорить в полиции. Грузовик влетел в его машину. Точнее, не совсем его — и это, пожалуй, самое обидное. Сполнеру было почти все равно, когда его сначала бросило в одну, потом в другую сторону; беспокоило только, что Морган по дружбе одолжил свою запасную машину на пару дней, пока сполнеровскую чинят, а он тут же угодил в аварию. Ветровое стекло обрушилось на лицо. Сполнера несколько раз швырнуло туда-сюда. Затем все вокруг замерло и затихло, осталась только боль.

Слышался топот множества ног, которые спешили, сбегались, приближались к нему. Сполнер кое-как нащупал ручку двери. Дернул. Вывалился на дорогу, будто пьяный, ухом сквозь асфальт слушая сбегаящуюся толпу — как будто мощный ливень из крупных, мелких и средних капель разбивался о землю. Он подождал несколько секунд. Затем вяло, осторожно, повернул голову и посмотрел наверх.

Толпа была в сборе.

Сполнер чувал их дыхание, запах множества людей. Они давили, наступали и шумно отнимали у него воздух, в котором он так отчаянно нуждался. Сполнер попытался сказать им: «Отойдите! Я задыхаюсь!» Разбитая голова обильно кровоточила. Он попробовал пошевелиться, но понял, что повредил позвоночник. Удара он не почувствовал, однако что-то там сломалось. Подвинуться он не решился.

Говорить Сполнер тоже не мог. Рот открывался, но выходил только славленный крип.

— Эй, кто-нибудь, — раздался голос, — давайте поднимем его и усадим поудобнее.

Внутри все вспыхнуло.

Нет! Нельзя! Не троньте меня!

— Мы поможем, — отозвался кто-то еще

Ни в коем случае, идиоты! Вы же меня убьете!

Это были его мысли; вслух он ничего сказать не мог.

Чьи-то руки подхватили Сполнера. Начали поднимать. Из груди вырвался истошный вопль, но его заглушил подступивший к горлу ком. Сполнера выпрямили и уложили, тело будто пронзило раскаленными прутьями. Над ним стояли двое. Один — тощий, светловолосый, бледный, настороженный и молодой. Другой — глубокий старик с заячьей губой.

Сполнер их уже видел.

— Он... он умер? — поинтересовался знакомый голос.

— Нет, еще нет, — отозвался другой голос, тоже знакомый. — Но до приезда «Скорой» не доживет.

Все это — заговор, примитивный и глупый, как и всякий несчастный случай. Сполнер испуганно взвыл, обращаясь к непроницаемой стене лиц. Они окружили его, будто присяжные и судьи. Каждого из них он уже видел.

Веснушчатый мальчишка.

Старик с заячьей губой.

Рыжеволосая, ярко покрашенная женщина.

Старуха с бородавкой на подбородке.

«Я знаю, зачем вы тут собрались, — подумал он. — У вас всегда одна-единственная цель — проследить, кто выживет, а кто погибнет. Вот почему вы меня усадили. Знаете ведь, что так можно убить. Знаете: если бы не это, я бы выжил».

И так было испокон веку. Убийство в толпе — чрезвычайно удобно! Не нужно никакого алиби: вы ведь только хотели помочь раненому.

Сполнер смотрел на склонившихся над ним зевак тем же испытующим взором, с каким тонуший смотрит на тех, кто стоит на мосту. Кто вы такие? Откуда вы беретесь и как вам удастся так быстро сюда попасть? Вы — та толпа, что всегда путается под ногами, отбирает воздух и крадет пространство, в котором нуждается умирающий. Вы затапываете людей, чтобы они уж наверняка погибли. Я вас раскусил!

Они как будто с вежливым любопытством выслушали этот немой монолог, но сами в ответ ничего не сказали. Те же лица. Старик. Рыжеволосая женщина.

Кто-то подобрал дипломат.

— Это чей?

Мой, мой! В нем улики против вас!

Глаза, обращенные на него, сверкающие из-под спутанных волос и низко надвинутых шляп.

Лица.

Где-то вдалеке — сирена. Едет «Скорая».

Однако глядя на толпу, на лица, на взгляды, Сполнер понял, что не дождется.

С трудом он выдавил из себя несколько слов:

— К-кажется, мы... в одной... лодке. П-похоже, я... т-теперь... один из из вас...

Потом он закрыл глаза и приготовился ждать патологоанатома.

---

### ПОПРЫГУНЧИК

---

За окном маячило холодное серое утро.

Стоя у подоконника, он так и сяк вертел Попрыгунчика в руках, пытаясь открыть заржавевшую крышку, — та все не поддавалась. Где же этот чертик, почему не выскакивает с криком из своего убежища, не хлопает бархатными ладошками и не раскачивается из стороны в сторону с глупой намалеванной улыбкой? Сидит, затаился, весь расплющенный, под крышкой — и не шевелится. Если прижать коробку прямо к уху, слышно, как сильно сжата его пружина — до ужаса, до боли. Словно в руке бьется чье-то испуганное сердечко. А может, это у самого Эдвина пульсирует в руке кровь?

Он отложил коробку и посмотрел в окно. Деревья окружали дом — а дом окружал Эдвина. Эдвин был внутри, в самой серединке. А что же дальше, там, за деревьями?

Чем дальше он вглядывался, тем сильнее верхушки деревьев качались от ветра — словно намеренно скрывая от него правду.

— Эдвин! — За его спиной мама нетерпеливо отхлебывала утренний кофе. — Хватит глазеть в окно. Иди есть.

— Не пойду..

— Что? — Послышался шорох накрахмаленной ткани — наверное, мать повернулась. — Ты хочешь сказать, окно для тебя важнее, чем завтрак?

— Да... — прошептал Эдвин, и взгляд его снова пробежал по тропинкам и закоулкам, исхоженным за тринадцать лет.

Неужели этот лес простирается на тысячи миль и за ним ничего нет? Ничего!..

Взор, так ни за что и не зацепившись, вернулся к дому — к лужайке, к крыльцу..

Эдвин сел за стол и принялся жевать безвкусные абрикосы. Тысячи точно таких же утренних часов провели они с матерью в огромной, гулкой столовой — за этим же столом, у этого окна, за которым недвижной стеной стояли деревья.

Некоторое время ели молча.

Щеки матери были, как всегда, бледны. Обычно никто, кроме птиц, не видел ее, когда она мелькала в полукруглых окнах пятого этажа старинного особняка — сначала в шесть утра, потом — в четыре дня, потом — в девять вечера, и наконец — в полночь, когда она удалялась в свою башню и сидела там — белая, молчаливая и величественная, будто одинокий цветок, чудом уцелевший в давно заброшенной оранжерее.

Эдвин же, ее сын, казался хрупким одуванчиком, готовым облететь от любого порыва ветра. У него были шелковистые волосы, синие глаза и вечно повышенная температура. Изможденный взгляд наводил на мысль о том, что он плохо спит ночами. Про таких говорят: плюнешь — пополам переломится.

Мать снова завела разговор — сначала вкрадчиво и медленно, потом быстрее, а потом и вовсе перешла на крик:

— Ну скажи, почему каждое утро повторяется одно и то же? Мне вовсе не по душе, что ты все время таращишься в окно, понятно? Чего ты добиваешься? Ты что, хочешь увидеть их? — Пальцы ее дрожали, как белые лепестки цветка, — даже в гневе она была умопомрачительно хороша. — Этих Тварей, которые бегают по дорогам и давят людей, точно тараканов?

Да, он с удовольствием посмотрел бы на монстров во всей их красе.

— Может, хочешь пойти туда? — Голос ее снова сорвался в крик. — Как твой отец, когда тебя еще не было, да? Пойти — и чтобы одна из Тварей тебя угробила, этого ты хочешь?

— Нет...

— Неужели тебе мало того, что они убили твоего отца? Да как ты вообще можешь вспоминать об этих чудовищах! — Мать кивнула в сторону леса. — Впрочем, если так уж не терпится умереть — давай иди!

Она замолкла, и только ее пальцы, словно сами по себе, продолжали теревить скатерть.

— Ах, Эдвин, Эдвин... твой отец выстроил по кирпичику весь этот Мир, такой прекрасный... Неужели тебе этого мало? Поверь мне: ничего, ничего нет за этими деревьями — одна только погибель. И не смей к ним приближаться! Заруби себе на носу: для тебя есть только один Мир. Никакой другой тебе не нужен.

Он понуро кивнул.

— А теперь улыбнись и доедай, — сказала мать.

Эдвин продолжал медленно жевать, но даже в серебряной ложке отражались окно и стена деревьев за ним.

— Ма... — Вопрос застрял на языке и никак не хотел срываться. — А что... а как это — умереть? Вот ты говоришь — погибель. Что это, какое-то чувство?

— Да. Для тех, кто остается жить, — да. И весьма неприятное. — Мать вдруг резко поднялась из-за стола. — Ты опоздаешь в школу. Давай-ка, бегом!

Эдвин поцеловал ее на прощание и сгреб под мышку книги.

— Пока!

— Привет учительнице!

Он пулей вылетел из комнаты и помчался вверх по бесконечным лестницам, коридорам, залам, по затемненной галерее, в которую через высокие окна низвергались водопады света... Все выше и выше — сквозь тол-

щу слоеного торта из миров, густо устеленного глазурью персидских ковров и увенчанного праздничными свечами.

С верхней ступеньки он окинул взглядом все четыре уровня их домашней вселенной.

В Долине — кухня, столовая, гостиная. Два слоя в серединке — империи музыки, игр, картин и запретных комнат. И на самой верхотуре, на Холмах — Эдвин огляделся вокруг, — мир, мир приключений, пикников и учебы.

Вот такая у них была вселенная. Отец (или Бог, как часто называла его мама) возвел эту громадину давным-давно, покрыв ее изнутри слоем штукатурки и обклеив обоями. Это было неподражаемое творение Бога-отца, где звезды послушно зажигались, стоило только щелкнуть выключателем. А солнце здесь было мамой. Точнее, мама была солнцем, вокруг которого все вращалось. И сам Эдвин был лишь крохотным метеором, который плутал в пространстве ковров и гобеленов, путался в лестницах — закрученных, как хвосты комет.

Иногда они с матерью устраивали пикники на Холмах. Застилали прохладным и белоснежным (почти что снежным) бельем туфовые и ковровые лужайки. Поднимались на багряные высокогорные плато на самой вершине, где за их пирушками понуро наблюдали желтолицые незнакомцы с осыпающихся портретов. Откручивали серебряные краны в потайных кафельных нишах и набирали воду. Задорно разбивали бокалы прямо о каминную плиту. Играли в прятки в таинственных и незнакомых пределах, где можно было завернуться, как мумия, в бархатную штору или забраться под чехол какого-нибудь дивана.

Вековая пыль и эхо царили в этом царстве, полном темных чуланов. Однажды Эдвин даже потерялся там, но мама нашла его и привела, плачущего, обратно вниз, в гостиную, где так знакомо серебрились в воздухе подсвеченные солнцем пылинки...



Он миновал еще один этаж.

Здесь ему приходилось стучаться в тысячи и тысячи дверей — запертых и запретных. Здесь он часто бродил среди полотен, с которых молча взывали к нему златоглазые персонажи Пикассо и Дали.

— Вот такие существа живут там, — говорила ему мама, представляя Пикассо и Дали едва не как членов одной семьи.

Пробегая мимо картин, Эдвин показал им язык.

И вдруг он невольно остановил бег.

Одна из запретных дверей оказалась приоткрытой.

Оттуда заманчиво пробивались теплые косые лучи. Заглянув в щель, Эдвин увидел залитую солнцем винтовую лестницу.

Кругом стояла такая тишина, что можно было слышать собственное прерывистое дыхание. Все эти годы он дергал запретные двери за ручки — вдруг какая-нибудь поддастся, — но они всегда были заперты. А что, если сейчас открыть эту дверь и подняться по лестнице? А вдруг наверху прячется какое-нибудь чудище?

— Эй!

Голос его кругами поднялся вверх.

«Эй...» — лениво отозвалось эхо где-то в самой солнечной вышине и замерло.

Эдвин вошел.

— Пожалуйста, не бейте меня, — прошептал он, задрал голову кверху.

Шаг за шагом, ступенька за ступенькой он стал подниматься, то и дело останавливаясь и ожидая возмездия, зажмурив глаза, словно кающийся грешник. Затем побежал быстрее — вверх и вверх по спирали — и все бежал и бежал, хотя уже болели колени, срывалось дыхание, а голова гудела, как колокол. И вот он приблизился к зловещей вершине своего пути, вот он стоит на верхней площадке какой-то башни и купается в солнечных лучах...

Солнце нещадно слепило глаза. Никогда еще ему не приходилось видеть так много солнца. Эдвин оперся о железную ограду.

— Вот оно! — Он задохнулся от восторга и глянул по сторонам. — Вот оно! — Он обежал по кругу всю площадку. — Оно там есть!

Так вот что пряталось за сумрачной стеной деревьев! Вот что скрывали всклокоченные ветром кроны каштанов и вязов!

Он увидел целые просторы, поросшие зеленой травой и деревьями. И еще какие-то белые ленты, по которым ползут черные жуки... Другой мир — такой бесконечный, такой непостижимо голубой, что Эдвину хотелось кричать.

Вцепившись изо всех сил в перила, он смотрел и смотрел на деревья и за деревья, на белые ленты, по которым ползли жуки, а там, дальше, возвышались какие-то штуки, похожие на гигантские пальцы... На высоких белых шестах развевались по ветру красно-бело-синие носовые платки. Все было совсем не такое, как на картинах Пикассо и Дали. Ничего уродливого и ужасного...

Эдвин вдруг ощутил приступ дурноты. Потом еще один.

Тогда он что есть силы бросился обратно и почти что кубарем скатился по ступенькам. Захлопнув за собой запертую дверь, навалился на нее всем телом.

«Теперь я ослепну! — Он прижал ладони к глазам. — Не надо было на это смотреть! Не надо!»

Эдвин опустил на колени, затем лег прямо на пол и сжался в комочек, прикрыв голову руками. Ждать осталось совсем немного — сейчас он должен ослепнуть.

Через пять минут он уже стоял у обычного окна на Холмах и в который раз разглядывал знакомый мир — сад.

Вот вязы и кусты орешника, вот каменная стена, а за ней другая — нескончаемая стена из леса, за которой та-

ится загадочное и ужасное Нечто. Нечто, навсегда погруженное в туман, дождь и темноту.. Теперь он знает, что оно не такое. Вселенная не кончается сразу за этим лесом. Есть и другие миры — кроме тех, что находятся на Холмах и в Долине.

Эдвин снова подергал запретную дверь. Заперто.

— Может, ему все померещилось? Видел ли он на самом деле голубую с зеленым комнату? И заметил ли его Бог?

От этой мысли Эдвина бросило в дрожь. Бог.. Тот самый Бог, что курил загадочную черную трубку и ходил, опираясь на волшебную палочку. Этот Бог, может быть, и сейчас вовсю за ним наблюдает!

Эдвин дотронулся похолодевшими пальцами до лица.

— Я вижу. Я до сих пор вижу! Спасибо, спасибо! — горячо прошептал он.

В полдесятого, с опозданием ровно на час, он постучал в дверь школы.

— Доброе утро, учительница!

Дверь распахнулась. За ней стояла учительница, одетая в серую монашескую мантию; лицо ее было наполовину скрыто капюшоном. На носу, как всегда, поблескивали очки в серебряной оправе. Рукой в серой перчатке она поманила Эдвина внутрь.

— Ты опоздал.

За ней, освещенная ярким пламенем, лежала страна книг. Стены здесь, вместо кирпичей, были сложены из энциклопедий, а камин был такой огромный, что Эдвин смог бы спокойно выпрямиться в нем во весь рост. Сейчас там жарко горело большое полено.

Дверь закрылась, замыкая этот мир уюта и тепла. Здесь стоял письменный стол, за которым когда-то сидел Бог. На полу лежал ковер, по которому Бог так часто ходил, набивая трубку. Хмуро выглядывал вот в это окно из цветного стекла. Все, даже запах — смесь аро-

мата полированного дерева, табака, кожи и серебряных монет, — напоминало здесь о Боге. Арфовые переливы учительского голоса воспевали его и прошлые времена, когда по велению Бога мир пошатнулся, вздрогнул до самого основания, а затем Божьей рукой, по блестящему Божьему замыслу был выстроен заново. Драгоценные отпечатки Божьих перстов все еще лежали нарастаящим снегом на отточенных им когда-то карандашах — теперь они были выставлены в стеклянной витрине. Трогать их запрещалось строго-настрога, как будто от этого отпечатки могли растаять.

Здесь, на Холмах, вкрадчивый голос учительницы рассказывал Эдвину, к чему надлежит готовить свою душу и тело. Ему предстояло вырасти и стать достойным славы и призывного гласа Божьего. И когда это случится, то он — большой и величественный — сам встанет у этого окна. Он будет Богом! И тогда уж по-хозяйски сдует пыль со всех своих миров.

Да, он будет Богом. Ничто не в силах этому помешать. Ни небо, ни лес, ни то, что за лесом.

Учительница сделала несколько бесшумных шагов по комнате — так тихо, словно была бестелесной.

— Почему ты опоздал, Эдвин? — спросила она.

— Не знаю...

— Еще раз тебя спрашиваю — почему ты опоздал, Эдвин?

— Там... Там была открыта одна из запретных дверей...

До него доносился легкий посвист ее дыхания. Медленно повернувшись, учительница опустилась в глубокое кресло. Стекла очков блеснули последний раз — затем ее поглотил сумрак. Но Эдвин все равно чувствовал, как она пристально смотрит на него из полутьмы. Голос ее показался ему каким-то чужим — такое бывает, когда криком пытаешься стряхнуть с себя страшный сон.

— Какая из дверей? Где? Они ведь должны быть закрыты — все до одной!

— Там, где висят картины Дали и Пикассо, — ответил Эдвин, весь холодея внутри. Они всегда были друзьями с учительницей. Неужели теперь их дружбе конец? Неужели он все испортил? — Я поднялся по лестнице. Я не мог удержаться, не мог! Простите меня. Не говорите маме, прошу вас!

Учительница затаенно смотрела на него из недр своего кресла, из недр своего капюшона. На очках ее изредка проблескивали желтые огоньки.

— И что же ты там увидел? — шепотом спросила она.

— Огромную голубую комнату!

— Неужели?

— Голубую и зеленую, и еще белые ленты, а по ним ползают какие-то жучки... Но я почти сразу пошел обратно, правда, правда! Я вам клянусь!

— Зеленую комнату, значит. И ленты, и по ним бегают жучки. Так... — сказала она голосом, навевающим грусть.

Эдвин потянулся, чтобы взять учительницу за руку, но рука, точно змея, скользнула сначала к ней на колени, а потом — куда-то в темноту, к груди.

— Честно, я сразу же побежал вниз, закрыл за собой дверь... Я больше никогда, никогда... — захлебываясь, закричал Эдвин.

Учительница говорила теперь так тихо, что он едва разобрал слова.

— Ну вот, теперь, когда ты все увидел, ты захочешь видеть еще больше и будешь совать во все свой нос. — Капюшон мерно заколыхался вперед-назад. Затем из глубины его прозвучал новый вопрос: — А тебе... тебе понравилось то, что ты увидел?

— Я испугался. Слишком уж она большая.

— Да-да, большая. Слишком большая. Просто огромная, Эдвин. Не то что в нашем мире. Большая, зловещая, бескрайняя... И зачем ты только туда пошел! Ты же знал, знал, что нельзя!

Пламя успело ярко полыхнуть и погаснуть, пока он собирался с ответом, и наконец учительница поняла, что он просто растерян.

— А может, это все она? Мама? — тихо, одними губами прошептала она.

— Не знаю!

— Она что — нервная, злобная, невыдержанная? Может быть, она слишком строга с тобой? Может, тебе нужно время, чтобы побыть одному? А? Скажи, нужно?

— Да!.. — вырвалось у Эдвина прямо из груди, и его вдруг задушили рыдания.

— Скажи, поэтому ты сбежал — потому что она хочет отнять все твоё время, все твои мысли, да? — Голос учительницы звучал растерянно и как-то печально. — Скажи мне...

Ладони его стали липкими от слез.

— Да, да! — Эдвин в отчаянии кусал костяшки пальцев. — Да!

Наверное, нельзя было в этом признаваться, но ведь не он произносил слова — учительница сказала их за него сама, а ему ничего не оставалось делать, как глупо кивать и соглашаться и грызть костяшки пальцев, пытаясь сдержать вырывающийся плач.

Ей ведь миллион лет.

— Мы учимся... — устало промолвила она. Потом поднялась с кресла и, покачивая серым колоколом платья, подошла к письменному столу и принялась шарить по нему затянутой в перчатку рукой в поисках бумаги и ручки. — Боже, до чего же медленно мы учимся, какими муками нам это дается! Мы думаем, что поступки наши праведны, а ведь все время, все время мы уничтожаем Замысел... — Она со свистом вздохнула и вдруг вскинула голову. Эдвину показалось, что серый капюшон пуст изнутри — что там вовсе нет ее лица.

Учительница написала что-то на листке бумаги.

— Передай это матери. Здесь написано, что каждый день ты должен иметь свое личное время — не меньше двух часов, — которое ты можешь проводить где и как тебе вздумается. Где угодно. Но только не там. Ты понял?

— Да, — Эдвин вытер лицо. — Но...

— Продолжай, продолжай.

— Скажите, мама меня обманывает, когда говорит, что там полно Тварей?

— Посмотри мне в глаза, Эдвин! Я всегда была твоим другом. Я никогда не била тебя — в отличие от матери, которой, наверное, приходилось изредка это делать. Но так или иначе, и я, и она хотим помочь тебе вырасти. Вырасти и не погибнуть — как в свое время погиб наш Бог.

Учительница поднялась, и капюшон слегка сдвинулся с ее лица, так что при свете пламени стали отчетливо видны его черты. Коварный огонь тут же впился в каждую из множества глубоких и мелких морщинок.

У Эдвина перехватило дыхание. Сердце бешено застучало.

— Огонь!

Учительница замерла.

— Огонь! — Он бросил взгляд на огонь, а затем перевел его на лицо учительницы. Капюшон дернулся под этим взглядом, и лицо снова потонуло в темноте. — Ваше лицо... — цепenea, проговорил Эдвин. — Вы похожи на маму!

Проворно подбежав к полкам, учительница выхватила книгу и, обращаясь к корешкам книг, пропела высоким будничным голосом:

— Женщины часто похожи между собой! Забудем об этом! Вот, вот! — Она протянула ему книгу. — Читай первую главу! Читай дневник!

Он взял книгу, но не почувствовал в руках ее веса. Яркий огонь с гудением полыхал в камине, уносясь в дымоход.

Когда Эдвин начал читать, учительница снова устроилась в кресле и притихла. Постепенно она совсем успокоилась, и только серый капюшон медленно кивал в такт чтению.

На золотых тисненых переплетах играли отблески пламени. Читая, Эдвин на самом деле думал о них — об этих книгах, из которых местами были вырезаны бритвой страницы, выцарапаны строчки или вырваны рисунки. Кожаные пасти некоторых книг были заклеены, как будто им не давали говорить. На другие были надеты бронзовые застёжки — словно намордники на бешеных псов. Вот о чем он думал, пока его губы сами собой произносили слова.

— Вначале был Бог, который создал вселенную и миры внутри вселенной, континенты внутри миров и страны внутри континентов... Разумом и руками сотворил он себе возлюбленную жену и дитя... Дитя, которое потом тоже станет Богом...

Учительница медленно кивала головой. Огонь в камине сначала горел, а потом превратился в тлеющие угли. Эдвин все читал и читал...

Съехав по перилам, Эдвин ворвался в гостиную.

— Ма! Ма!

Тяжело дыша (словно после быстрой ходьбы), мать лежала в пухлом бордовом кресле.

— Ма, ты же вся мокрая!

— Неужели? — спросила она таким тоном, будто это из-за него ей пришлось сносить лишения. — Ну да, да. — Она глубоко и шумно вздохнула. Затем взяла его руки в свои и по очереди их поцеловала. — А теперь вот что: у меня для тебя есть сюрприз! — сказала она, заговорщицки вытаращив на него глаза. — Знаешь, что будет завтра? Ни за что не догадаешься! Твой день рождения!

— Но прошло же только десять месяцев!



— И все равно — завтра! Помнишь, я тебе говорила, что на свете случаются чудеса? А если я что-нибудь говорю, то это так и есть, мой мальчик.

Она засмеялась.

— И мы откроем еще одну секретную комнату? — изумился он.

— Ну да, четырнадцатую! А в следующем году — пятнадцатую, а потом — шестнадцатую, и так до тех пор, пока тебе не исполнится двадцать один. Да-да, Эдвин! И тогда мы откроем тебе тройную дверь в самую важную комнату и ты станешь Хозяином, Отцом, Богом, Правителем всей вселенной!

— Ура! — воскликнул Эдвин. И еще раз: — Ура!

После этого он подбросил в воздух свои книжки, и те разлетелись, хлопая страницами, как стайка испуганных голубей. Эдвин захохотал. Мама засмеялась тоже... Но книги быстро упали и будто придавили смех. Тогда Эдвин снова бросился вниз по перилам, оглашая лестницу воплями.

Мать стояла внизу, у подножия, и ждала его с широко распростертыми объятиями.

Эдвин лежал на освещенной лунным светом кровати и задумчиво вертел в руках Попрыгунчика. Он даже не видел его — пальцы двигались на ощупь. Крышка все не открывалась.

Надо же, завтра у него день рождения. Но почему? Что, он так уж хорошо себя вел? Да нет. Почему же тогда день рождения будет раньше?

Потому что все... как бы это сказать... всполошилось? Ничего не понять, не разобрать — словно все время темнота и этот мерцающий лунный свет. И у матери такой странный вид — будто невидимая снежная вуаль на лице. Наверное, для нее этот праздник тоже вроде спасения.

— Теперь, — сказал Эдвин, обращаясь к потолку, — все мои дни рождения пойдут быстрее. Это уж наверня-

ка. Мама так смеялась вместе со мной, и глаза у нее так блестели...

Интересно, а пригласят ли на праздник учительницу? Скорее всего, нет. Ведь мама и учительница даже не знакомы. «Но почему?» — спрашивал Эдвин. «А вот потому», — отвечала мама. «А вы разве не хотите познакомиться с моей мамой, учительница?» — «Как-нибудь потом... — почти шепотом отвечала та — словно сдувала с губ невидимую паутину. — Как-нибудь... потом...»

А куда же учительница уходит на ночь? Может, она проходит сквозь все тайные горные пределы и поднимается наверх, к самой луне, где только пыльные, никому не нужные канделябры? А может, она идет ночью за деревья, которые растут за другими деревьями — теми, которые растут еще за другими деревьями? Ну нет, это уж вряд ли!

Вспотевшие пальцы продолжали вертеть игрушку.

А в прошлом году, когда начались всякие непонятности... Тогда ведь мама тоже передвинула день рождения на несколько месяцев назад. Да-да-да, так оно и было.

Лучше подумать о чем-нибудь другом. Например, о Боге. О Боге, который выстроил погруженный в вечную ночь подвал и залитую солнцем мансарду — и все остальное, что лежит между ними. О Боге, который погиб, раздавленный страшным жуком, — там, за стеной. Наверное, все миры тогда содрогнулись!

Эдвин поднес Попрыгунчика к самому носу и зашептал под крышку:

— Эй! Привет! Привет, привет...

Никакого ответа — только напряженное молчание сдавленной пружины.

Нет уж, хватит! Все равно я тебя вытащу. Погоди только, немножко погоди. Может, это и больно — но по-другому никак не получается. Сейчас...

Эдвин вылез из кровати и подошел к окну. Высунувшись чуть ли не по пояс, он посмотрел вниз, на мерца-

ющую в лунном свете мраморную дорожку. Затем поднял коробку высоко над головой... Он сжимал ее так крепко, что занемели пальцы, а по ребрам, щекоча, сбежала струйка пота. Наконец, с криком разжав руку, Эдвин выбросил шкатулку из окна. Было видно, как она, кувыркаясь, полетела вниз — и летела долго-долго, пока наконец не ударилась о мраморный тротуар.

Эдвин высунулся из окна еще больше, тяжело дыша и изо всех сил вглядываясь в кружевную тень деревьев на земле.

— Ну, где ты? — выкрикнул он. — Где? Эй, ты!

Эхо его голоса растаяло вдаль. Коробка с Попрыгунчиком лежала внизу. Эдвин так и не смог разглядеть — раскрылась она от удара или нет, вырвался ли наружу улыбающийся чертик? Если ему удалось выбраться из своего заточения, то, наверное, сейчас он раскачивается туда-сюда, туда-сюда, и должны звенеть его серебряные колокольчики...

Эдвин прислушался. Ничего. Целый час он вглядывался и вслушивался в темноту, пока вконец не устал и не лег снова.

Утро. Повсюду, а особенно в кухонном мире, слышны радостные голоса. Эдвин открыл глаза. Чьи же это голоса — чьи они могут быть? Каких-нибудь работников Бога? Или персонажей Дали? Но ведь мама не любит их... Голоса слились в общий гул и растаяли. Наступила тишина. А потом откуда-то издалека стали приближаться — все ближе, все громче и еще громче, — и наконец распахнулась дверь.

— С днем рождения!

Они танцевали, хрустели белоснежными пирожными, жмурясь, откусывали лимонное мороженое и запивали его розовым вином. На праздничном, усыпанном белой пудрой торте красовалось имя Эдвина. Мать садилась за пианино и, извлекая из него целую лавину зву-

ков, пела веселые песни. Потом хватала Эдвина и тащила его куда-то еще, чтобы есть там клубнику, и опять пить вино, и смеяться — так громко, что дрожали канделябры. Наконец дело дошло до серебряного ключика, которым им предстояло отпереть четырнадцатую запретную дверь.

— Приготовились! Давай!

Дверь с шипением уехала прямо в стену.

— Ой! — невольно вырвалось у Эдвина.

Слишком уж трудно ему было скрыть разочарование: четырнадцатая комната оказалась обыкновенным пыльным чуланом. Разве такие комнаты открывались перед ним на прошлых годовщинах!..

На шестой день рождения ему подарили учебную комнату на Холмах. На седьмой — игровую комнату в Долине. На восьмой — музыкальный класс. На девятый — чудо-кухню с адским синим огнем. В десятой комнате шипели патефоны и фонографы, изредка завывая какую-нибудь мелодию — словно сонм призраков на прогулке. Одиннадцатая была алмазной комнатой — садом, где на полу лежал зеленый ковер, который не подметали, а подстригали.

— Не спеши огорчаться, лучше пошли! — Мать со смехом подтолкнула его в комнату-чулан. — Сейчас увидишь, что будет! Закрывай дверь!

Она нажала какую-то кнопку в стене — и кнопка сразу зажглась.

Эдвин пронзительно закричал:

— Не-е-т!

Комната закачалась, загудела и клацнула дверьми, словно железными челюстями, проглотив Эдвина с мамой в свое чрево. Затем стена поехала вниз, а сама комната — вверх.

— Тише, моя радость, не бойся, — сказала мама.

Дверь уже скрылась внизу, и теперь мимо проплывала голая стена — словно длиннющая шипящая змея

с темными пятнами дверей. Одни двери... другие двери... третьи...

Комната все двигалась, а Эдвин все кричал и изо всех сил сжимал руку матери. Наконец чулан остановился и задрожал, словно прочищая горло перед тем, как их выплюнуть. Эдвин замолчал и тупо уставился на очередную дверь, а между тем мать сказала, что пора выходить. Дверь открылась.

Что же за тайна хранится за ней? Эдвин зажмурился.

— О-о-о! Холмы! Это же Холмы! Как мы тут оказались? Где же гостиная, а, мам? Где теперь гостиная?

Она вывела его из чулана.

— Мы просто подпрыгнули высоко вверх, прилетели. Теперь один раз в неделю ты будешь летать в школу, а не бегать, как всегда, по лестницам!

Эдвин был не в силах даже пошевелиться, замороженный этим новым чудом: страны сменяют одна другую, только что была нижняя, теперь — верхняя...

— Мамочка, мама! — только и смог воскликнуть он.

Потом они вышли в сад и долго валялись в густой траве, с наслаждением потягивая из чашек яблочный сидр. Под локти они подложили красные шелковые подушки, а босые ноги вытянули прямо в гущу клевера и одуванчиков. Временами мать вздрагивала, слышав доносящееся из-за леса рычание Тварей. Тогда Эдвин наклонялся и ласково целовал ее в щеку:

— Не бойся, я тебя защищу.

— Конечно, защитишь, — отвечала она, но сама с подозрением косилась на деревья — как будто лес мог в любую секунду исчезнуть, снесенный неведомой титанической силой.

День уже клонился к вечеру, когда высоко в голубом небе, в просвете между деревьями они увидели странную блестящую птицу, которая летела с оглушительным ре-

вом. Тогда, пригнув головы, словно во время грозы, они стремглав побежали в гостиную.

Ну вот. Хрум-хрум — и от дня рождения осталась лишь пустая целлофановая обертка. Солнце зашло, в гостиную прокрался сумрак. Мама теперь пила шампанское, вдыхая его тонкими ноздрями, а потом припадая к бокалу бледным, как роза, ртом. Еще немного — и она погонит Эдвина спать. Так и случилось. Вялая и сонная, она проводила его до спальни и закрыла дверь.

Эдвин медленно раздевался — словно разыгрывал какую-то мимическую пьесу — и при этом непрерывно думал. Что будет в следующем году? А через два года, а через три? И что же это за чудища — Твари? Он знает: Бог был убит, раздавлен. Но что, что было убито? Что такое смерть — некое чувство? Значит, Богу оно понравилось, раз он не вернулся... А может, смерть — это какое-то путешествие?

Спускаясь по лестнице в холл, мама разбила бутылку шампанского. От этого звука Эдвина бросило в жар — почему-то он представил, что упала сама мать. Упала и разбилась на тысячи и миллионы осколков. Утром он найдет лишь прозрачные стекляшки да разбрызганное по паркету вино...

Утро пахло виноградными лозами и мхом. В занавешенной комнате царила приятная прохлада. Наверное, внизу уже готов завтрак. Стоит только шелкнуть пальцами — и он тут же появится на белоснежной скатерти.

Эдвин встал, умылся и оделся. Ожидание нового дня было приятным. Теперь по крайней мере месяц он будет чувствовать эту новизну и свежесть. Сегодня, как обычно, он позавтракает, потом пойдет в школу, потом пообедает, потом будет петь в музыкальном классе, потом два часа играть в электронные игры. Затем его ждет чай на природе, на сверкающей траве, после чего он снова вер-

нется в школу. Вместе с учительницей они станут рыскать по истерзанной цензурой библиотеке, и Эдвин будет, как всегда, ломать голову над всякими подозрительными словечками, случайно уцелевшими после цензоров. Ведь думать и размышлять о том, что же такое там, за лесом, уже вошло у него в привычку..

Ах да, он забыл передать маме записку от учительницы...

Эдвин выглянул в холл. Там никого не было. Везде — в нижних мирах и в верхних — стояла такая тишина, что казалось: в воздухе звенят пылинки. Ни случайного звука шагов, ни переливов воды в фонтане. Даже перила в утренней дымке представляли в виде какого-то доисторического чудовища. Решив на всякий случай с ним не связываться, Эдвин на всех парусах полетел разыскивать маму.

Надо же — ее здесь нет...

С криками бежал он по безмолвным мирам:

— Мама! Мама!

Он обнаружил ее в гостиной — мать лежала, свернувшись, на полу в своем золотисто-зеленом праздничном платье. В руке она сжимала бокал для шампанского, рядом на ковре валялись бутылочные осколки.

Похоже, она спала. Эдвин сел за волшебный обеденный стол. На белой скатерти сверкала пустая посуда. Ничего съестного. Странно: сколько он себя помнил, за этим столом его всегда ждала чудесная еда. А сегодня...

— Мама, проснись! — Он подбежал к ней. — Мне нужно идти в школу? Где еда? Ну проснись же!

Он бросился вверх по ступенькам.

На Холмах царил холод и полумрак — почему-то в этот пасмурный день с потолков не светили белые стеклянные солнца. Эдвин что есть сил бежал по коридорам, миновал континенты и страны, пока не уткнулся в дверь

школы. Сколько он ни стучал, никто и не думал ему открывать. Наконец дверь распахнулась сама.

В школе было пусто и темно. Не гудел огонь в камине, отбрасывая яркие блики на сводчатый потолок. Не было слышно ни шороха. Ни звука.

— Учительница! — позвал Эдвин, и голос его гулко отозвался в пустой и холодной комнате.

— Учительница! — еще раз громко крикнул он.

Он рывком раздвинул шторы — сквозь витражи на окнах едва пробивался солнечный свет.

Эдвин взмахнул рукой. Он надеялся, что по его команде огонь разом вспыхнет в камине, лопнув, как зернышко попкорна. А ну, гори!.. Эдвин зажмурился, думая, что вот сейчас должна появиться учительница. Открыв глаза, он никакой учительницы не увидел, зато заметил нечто странное, лежащее на ее письменном столе.

Эдвин стоял и ошарашенно разглядывал аккуратно сложенный серый балахон, поверх которого поблескивали стеклами очки и змеилась одна серая перчатка. Там же лежал жирный косметический карандаш. Эдвин потрогал его — и на пальцах остались темные следы.

Не сводя глаз с кучки пустой одежды на столе, Эдвин стал пятиться к стене — к двери, которая раньше всегда была заперта. Когда он нажал на кнопку, дверь лениво отъехала в стену. Заглянув в знакомый чулан, Эдвин на всякий случай крикнул:

— Учительница!

Затем он ворвался туда, дверь с грохотом захлопнулась, и Эдвин нажал на красную кнопку. Комната начала опускаться — и вместе с ней опускался могильный холод этого странного утра. Холод и тишина. Тишина и холод. Учительница — ушла. Мама — уснула.

Комната все ехала и ехала вниз, зажав его своими железными челюстями.

Затем что-то шелкнуло. Дверь отъехала в сторону. Эдвин выбежал наружу.



Гостиная!

Дверь закрылась за ним и сразу слилась с деревянной панелью стены.

Мать все так же лежала на полу и спала.

Вдруг Эдвин заметил под ее свернувшимся телом смятую учительскую перчатку. Взяв ее в руки, он долго стоял и не верил своим глазам, а потом тихонько заплакал.

Но делать было нечего, и Эдвин снова взлетел в чулане наверх, в школу, и застал там прежнюю картину: холодный камин, пустоту и тишину. Он еще немного подождал. Учительница все не появлялась. Тогда он снова помчался вниз, в Долину, и велел столу заполниться вкусным горячим завтраком. Это тоже не помогло.

Что бы он ни делал, ничего у него не получалось. Сколько он ни сидел рядом с матерью, ни просил, ни уговаривал ее проснуться, она не отзывалась, и руки ее были холодны как лед.

Тикали часы, за окном двигалось по небу солнце, а мать все лежала и не двигалась. Эдвину страшно хотелось есть, но в пустынном доме шевелились лишь серебристые пылинки, парящие сверху вниз сквозь толщу миров.

Где же все-таки учительница? Если ее нет ни в одном из Холмов наверху, значит, она может быть только в одном месте... Наверное, она случайно забрела на природу и заблудилась. Надо помочь ей. Эдвин пойдет, покричит, найдет ее — и она придет и разбудит маму. Иначе мама так и будет лежать здесь в пыли целую вечность.

Эдвин вышел через кухню наружу. Солнце было уже довольно низко. Где-то за пределами мира, вдалеке, слышалось тихое жужжание Тварей. Эдвин подошел вплотную к садовой ограде, но заходить за нее не решился.

Вдруг на земле, в тени деревьев он заметил коробку с Попрыгунчиком, которую выбросил прошлой ночью из окна. На разбитой крышке плясали солнечные блики, а из середины торчал сам Попрыгунчик, который наконец-то вырвался из своей тюрьмы. Его тоненькие ручки подня-

лись и застыли в вечном радостном жесте: «Да здравствует свобода!» Солнце играло на кукольном личике, и от этого Эдвину казалось, что красный рот кривит то улыбка, то гримаса печали.

Как загипнотизированный, стоял Эдвин над разбитой игрушкой и смотрел, смотрел... Коробка лежала на боку. Бархатные ладошки чертика тянулись вверх и показывали прямо на запретную дорогу, ведущую между деревьями в загадочное туда. Там, в лесу, царил едва уловимый запах машинного масла, которое — он знал — капает из Тварей. Но сейчас, кажется, на дороге было все тихо. Ласково пригревало солнце, ветерок шевелил листву деревьев. И Эдвин решился пойти вдоль каменной ограды.

— Учительница-а... — тихонько позвал он.

Никто не отозвался. Тогда он сделал несколько шагов по дороге.

— Учительница!

Он поскользнулся на кучке, оставленной каким-то животным, и остановился, мучительно вглядываясь в лежащий перед ним коридор из деревьев.

— Учительница!

Эдвин снова двинулся вперед — медленно, неуклонно. Пройдя еще несколько шагов, обернулся. Позади лежал его мир — такой непривычно затихший... И маленький! Оказывается, он был такой маленький! Мирок, а не мир.

От нахлынувших чувств у Эдвина едва не остановилось сердце. Он невольно шагнул обратно, но потом спохватился, вспомнив о странной, пугающей тишине сегодняшнего утра, — и снова зашагал через лес.

Все вокруг было таким новым, таким незнакомым. Запахи, которые так и лезли в ноздри, цвета и очертания предметов, их ошеломляющие размеры...

«Если я найду за эти деревья, я умру, — думал Эдвин, — ведь так говорила мама». «Ты умрешь! Ты умрешь!» — кричала она.

Но что это значит — умру? Все равно что открыть еще одну запретную комнату? Голубую с зеленым комнату — самую большую из тех, что ему приходилось видеть! Только вот где же ключ?

Впереди он увидел огромную железную дверь — сделанную в виде витой решетки. И она была приоткрыта! Ах, мама! Ах, учительница! Если бы они только видели, какая там пряталась комната — огромная, как само небо! Вся из зеленой травы и деревьев!

Эдвин стремительно побежал вперед. Споткнулся, упал и снова побежал — и бежал, пока не покатился с какой-то горы — вниз, вниз... Дорога сначала виляла, потом вдруг стала ровнее и прямее — и Эдвин услышал новые, незнакомые звуки. Вот он уже возле ржавой витой решетки. Вот она скрипнула, выпуская его наружу. Вселенная, которую он покинул, осталась далеко позади — да он уже и не оглядывался на те, прежние свои миры, как будто они растаяли и исчезли. Теперь он только бежал и бежал...

Полицейский, стоя на обочине, оглядывал улицу.

— Ей-богу, не поймешь этих детей, — непонятно к кому обращаясь, сказал он и покачал головой.

— А что такое? — заинтересовался прохожий.

Полицейский нахмурился, обдумывая ответ.

— Да вот, только что пробежал какой-то пацан. Так представляете — бежит, а сам хохочет и вперемешку еще орет. Видели бы вы, как он подпрыгивал, — ровно ненормальный какой. И еще хватал все руками — фонарные столбы, телефонные будки, пожарные краны, стекла в витринах, машины, ворота, заборы — словом, все подряд. Собак трогал, прохожих... даже меня схватил за рукав. Схватил — и стоит: то на меня посмотрит, то на небо. А у самого — верите ли — слезы в глазах. И все повторяет и повторяет какую-то чушь. Громко так, аж визжит.

— И что же это была за чушь? — спросил прохожий.

— «Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Я умер! Как здорово, что я умер!» — вот так прямо и кричал. — Полицейский задумчиво поскреб подбородок. — Видать, какая-то у них новая игра...

---

### КОСА

Совершенно неожиданно дорога оборвалась. Вначале она была как все прочие: шла вдоль долины, между голыми каменистыми откосами, рядами виргинских дубов, потом мимо большого пшеничного поля, расположенного на отшибе. У белого домика при поле следовал подъем, а дальше дорога просто сходила на нет, словно в ней больше не было нужды.

Но это было не важно, потому что как раз тут в машине кончился бензин. Дрю Эриксон притормозил старый драндулет и молча уставился на свои большие, грубые, как у фермера, руки.

Молли, лежавшая сзади, в углу, сказала:

— Должно быть, мы не там свернули.

Дрю кивнул.

Губы у нее были почти такие же бледные, как лицо. Только они были сухие, а по лицу струился пот. Голос звучал вяло и невыразительно.

— Дрю, — сказала она. — Дрю, и что нам теперь делать?

Дрю разглядывал свои руки. Руки фермера, но ферму выдул из-под них голодный суховей, ненасытный до хорошей почвы.

На заднем сиденье проснулись дети и выбрались из пыльной кучи тюков и постельных принадлежностей. Высунув головы из-за спинки сиденья, они стали спрашивать:

— Зачем мы остановились, па? Нам что, пора перекусить? Па, мы голодные. Можно, мы сейчас поедим, а, папа?

Дрю закрыл глаза. Ему был ненавистен вид собственных рук.

Его запястья коснулись пальцы Молли. Коснулись легко и очень осторожно.

— Дрю... не зайти ли в тот дом? Может, нам дадут какой-нибудь еды.

Кожа у него вокруг рта побелела.

— Побираться, — грубо сказал он. — Мы в жизни не побирались, проживем без этого и дальше.

Пальцы Молли крепче обхватили его запястье. Он обернулся и увидел ее глаза. А также глаза Сьюзи и маленького Дрю, устремленные на него.

Постепенно его затылок и спина обмякли. Лицо обвисло и сделалось невыразительным, словно его уже долго дубасили почем зря. Дрю вышел из машины и двинулся по дорожке к дому. Шаги его были неуверенными, как у больного или подслеповатого.

Дверь дома стояла открытой. Дрю трижды постучал. Внутри было тихо, только шевелилась под жарким ленивым ветром белая оконная занавеска.

Дрю понял это прежде, чем вошел. Дом посетила смерть. Он понял это по особой тишине.

Дрю прошел через маленькую опрятную гостиную, короткий коридор. Мыслей в голове не было. Мысли его покинули. Он шел в кухню как животное, не рассуждая.

Потом он бросил взгляд через открытую дверь и увидел мертвеца.

Это был старик, лежавший в чистой белой постели. Умер он недавно: с лица не сошло умиротворенное выражение. Должно быть, он знал, что умирает, потому что на нем была одежда, в какой кладут в гроб: аккуратно вы-

чищенный старый черный костюм, свежая белая рубашка, черный галстук.

Рядом с кроватью стояла прислоненная к стене коса. В руке у старика был зажат стебель пшеницы, который не успел еще увянуть. Стебель зрелый, золотистый, с тяжелым колосом.

Неслышными шагами Дрю вступил в спальню. Стащил с головы мятую пыльную шляпу и остановился у постели, опустив взгляд.

На подушке, рядом с головой старика, лежал развернутый лист бумаги. Он был явно оставлен для того, чтобы кто-нибудь прочитал. Распоряжения относительно похорон или просьба известить родных. Дрю, хмурясь и шевеля сухими бледными губами, стал читать.

*«Тому, кто стоит у моего смертного одра. Будучи в здравом уме и волею судеб оставшись одиноким, я, Джон Бер, дарую и завещаю эту ферму и все принадлежащее к ней имущество тому человеку, который первый сюда явится. Каково его имя и происхождение — не важно. Отныне ему принадлежит ферма и пшеница; коса и предначертание, с нею связанное. Пусть примет их по свободной воле и без вопросов, и пусть помнит, что от меня, Джона Бера, он получает только дар, но не предначертание. Крепляю сие своей подписью и печатью апреля третьего дня 1938 года. (Подписано) Джон Бер. Kyrie eleison!»<sup>1</sup>*

Дрю вернулся к входной двери.

— Молли, — сказал он, — войди. А вы, ребята, оставайтесь в машине.

Молли вошла. Дрю отвел ее в спальню. Она осмотрела завещание, косу, пшеничное поле за окном, колебле-

<sup>1</sup> Господи помилуй (гр.).

мое жарким ветром. Бледное лицо ее вытянулось, и она, закусив губу, прижалась к мужу.

— Это слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Тут какая-то хитрость.

— Просто нам наконец улыбнулась удача, — отозвался Дрю. — У нас будет работа, еда и крыша над головой.

Дрю тронул косу. Она блеснула, как серп луны. На лезвии была выцарапана надпись. «Кто владеет мною — владеет миром». Тогда эти слова ничего ему не сказали.

— Дрю. — Молли разглядывала стиснутые пальцы старика. — Почему он так крепко ухватил этот стебелек?

Напряженную тишину нарушил топот: на переднюю веранду взобрались дети. Молли вздохнула.

Они остались жить в доме. Похоронили старика на холме, произнесли надгробное слово, вернулись, подмели в доме, разгрузили автомобиль и поели, потому что в кухне нашлась провизия, масса провизии, и они три дня ничем не занимались, только наводили порядок в комнатах, осматривали землю, нежились в удобных постелях и, встречаясь взглядом, удивленно поднимали брови: как необычно все сложилось, и еды вдоволь, и нашлись даже сигары для Дрю — затянуться вечером.

За домом имелся небольшой коровник с быком и тремя коровами, под раскидистыми деревьями, в тени, располагались колодезный домик и родник. В колодезном домике хранились говяжьих бока, бекон, свинина, баранина — запасы, которых хватило бы на два, а то и три года пяти таким семьям, как их. Там же нашлись маслобойка, коробки с сырами, большие металлические бидоны для молока.

На четвертое утро Дрю Эриксон, лежа в кровати и рассматривая косу, понял, что пришло время браться за работу: зерно в поле созрело — это ясно, хватит уже ло-

дыря гонять. Три дня просидел сложа руки, ну и будет. Он поднялся, едва в окна пахнуло свежестью рассвета, взял косу и вышел в поле. Перехватил косу поудобней и начал косить.

Поле было большое. Одному такое не обработать, и, однако, его предшественник справлялся в одиночку.

Закончив работу, Дрю вернулся в дом с косой, мирно покоившейся у него на плече. В глазах его, однако, стоял недоуменный вопрос. Такое странное пшеничное поле попало ему впервые в жизни. Оно созревало отдельными, расположенными то там, то сям участками. Пшеница так себя не ведет. Но Молли он об этом не сказал. Как не сказал и другого. К примеру, того, что скосишь пшеницу, пройдет час-другой, и она начинает гнить. И так тоже пшеница себя не ведет. Впрочем, тревожиться было не о чем. В конце концов, без еды они в любом случае не останутся.

На следующее утро оказалось, что подгнившее зерно возродилось к жизни, выпустив новые зеленые всходы с крохотными корешками.

Дрю Эриксон, потирая себе подбородок, задумался о том, в чем тут дело, и почему, и как оно так получается, и что в том хорошего, но ни до чего не додумался. Раза два за день он отправлялся на дальние холмы, к могиле старика: просто убедиться, что тот остался на месте, а также, вероятно, не без надежды получить хоть какую-нибудь подсказку относительно поля. С холма была видна вся унаследованная им земля.

Пшеничное поле, шириной в два акра, простиралось на три мили в направлении гор и состояло сплошь из заплата: где проростки, где золото, где зелень, а где недавние его покосы. Старик, однако, ничего не поведал: его лицо было придавлено толщей земли и камней. Могила была отдана солнцу, ветру и тишине. Дрю Эриксон поворачивал назад и снова брался за косу, сам себе удивля-



ясь и радуясь работе, потому что она казалась ему важной. Почему — он сам не знал, важной, и все тут. Важнее не бывает.

Он просто не мог оставить пшеницу на корню. Пшеница созревала то на одном, то на другом участке, и Дрю замечал в пустоту: «Если косить здесь еще десять лет только то, что поспеет, второй раз на то же место вернуться не успеешь. Такое уж поле — конца-краю нет. — Он тряс головой. — Уж так она поспевает, эта пшеница. За день ровно столько, чтобы я успел убрать. Остается одна зелень. А на следующее утро, глядь, пора браться за новый участок...»

Дурацкое это было занятие: жать зерно, которое сей же миг сгнивает. К концу недели Дрю решил, что в ближайшие дни в поле не выйдет.

Залежавшись в постели, он прислушивался к тишине в доме. Тишина говорила не о смерти, а о жизни и благополучии.

Дрю встал, оделся и не спеша позавтракал. Работать он не думал. Выйдя подоить корову, он выкурил на веранде самокрутку, послонялся немного по заднему двору, вернулся в дом и спросил Молли, куда и зачем собирался.

— Подоить коров, — отвечала жена.

— А, ну да.

Дрю снова вышел. Коровы ждали с полным выменем, он надоил молока и отнес бидоны в колодезный домик, но мысли его были не об этом. Мысли были о пшенице. И косе.

Весь остаток утра он сидел на задней веранде и крутил самокрутки. Смастерил для младшего Дрю игрушечную лодочку и еще одну для Сьюзи, сбил немного масла, сцедил пахту, но все время его не отпускала головная боль. Солнечный жар жег голову изнутри. Приближался ланч, но есть не хотелось. Дрю следил за пшеницей, как она ходила волнами под ветром. Руки, сложенные на коленях,

непроизвольно сгибались, в пальцах свербило, и они хватили воздух. Ладони горели. Дрю встал, отер руки о штаны, снова сел, начал сворачивать самокрутку, но, озлившись, с ругательством отшвырнул ее прочь. Чувство было такое, словно у него отрезали руку — не одну из двух, а третью — или он потерял часть себя. Что-то было неладное с ладонями, руками.

Он услышал шепот ветра в поле.

До часу дня он мотался по дому и около, мешал домашним, раздумывал, не прорыть ли оросительную канаву, но на самом деле у него из головы не шла пшеница, такая красивая и спелая, ждущая косы.

— К черту!

Он шагнул в спальню и сорвал со стены косу, висевшую на крючке. Постоял на месте. Ему полегчало. Руки еще больше зачесались. Голова не болела. Третья рука вернулась на место. Он полностью обрел себя.

Это был инстинкт. Нелепый, как молния, что бьет, но не обжигает. Пшеницу нужно жать каждый день. Жатва необходима. Почему? Да просто необходима, и все тут. Глядя на косу в своих крупных руках, он рассмеялся. Вышел, насвистывая, в зрелое, полное ожидания поле и принялся за работу. Чуток тронулся, думал он. Черт, ведь поле как поле, ничего в нем особенного? Почти ничего.

Дни бежали резво, как бойкие лошадки.

Свою тягу к работе Дрю Эриксон начал сравнивать с болезненной жадой или голодом. С самыми привычными жизненными потребностями.

Однажды в полдень дети принялись играть с косой. Отец, за ланчем в кухне, услышал их хихиканье и вышел забрать косу. Он не кричал на них, но выглядел очень встревоженным. С тех пор он каждый раз после работы убирал косу под замок.

Не было дня, чтобы он не выходил в поле.

И вверх, и вниз. И вверх, и вниз, и наискось. И вверх, и вниз, и наискось. Вжик-вжик. И вверх, и вниз.

И вверх.

Подумай о старике, как он умер со стеблем пшеницы в руках.

И вниз.

Подумай об этой мертвой земле, земле, населенной пшеницей.

И вверх.

Подумай о том, как чудно, заплатами, она растет.

И вниз.

Подумай...

Желтая волна пшеницы захлестнула его лодыжки. Небо потемнело. Дрю Эриксон согнулся, схватившись за живот и бессмысленно вращая глазами. Мир заколебался.

— Я убил человека! — задыхаясь, прохрипел Дрю, схватился за грудь и упал на колени рядом со скошенным стеблем. — Я убил незнамо сколько...

Небо пошло кругом, как голубая карусель на деревенской ярмарке в Канзасе. Только музыки не было. Один лишь звон в ушах.

Когда Дрю, волоча за собой косу, ввалился в кухню, Молли сидела за голубым кухонным столом и чистила картошку.

— Молли!

В глазах у него стояли слезы, и он едва видел жену.

Она сидела, уронив руки, и ждала, что он скажет.

— Собирай-ка вещи. — Дрю глядел в пол.

— Почему?

— Мы уезжаем, — глухо проговорил он.

— Уезжаем?

— Этот старик. Знаешь, чем он здесь занимался?

Я говорю о пшенице, Молли, и о косе. Стоит взмахнуть

косой на пшеничном поле, и умирает множество народу. Ты их подкашиваешь, и...

Молли поднялась на ноги, положила нож, сгребла в сторону картошку и мягко, сочувственно проговорила:

— Ты вымотался. Здесь мы живем месяц, а прежде проделали большой путь, недоедали. А ты еще работаешь как проклятый, не пропуская ни дня, вот и вымотался...

— Я слышу в поле голоса, печальные голоса. Просят меня остановиться. Просят не убивать их!

— Дрю!

Он ее не слышал.

— Пшеница растет не так, как надо, не по-людски. Я тебе не говорил. Она какая-то ненормальная.

Жена глядела на Дрю бессмысленными, похожими на голубые стекляшки глазами.

— Думаешь, я спятил? Но погоди, это еще не все. О боже, помоги мне, Молли, я ведь только что убил свою мать!

— Прекрати! — возмутилась Молли.

— Я срезал стебель и убил ее, я почувствовал, что она умирает, потому-то я и понял...

— Дрю! — Ее злой, испуганный голос прозвучал хлестко, как пощечина. — Заткнись!

— Ох... Молли... — бормотал он.

Коса выпала из его рук и грохнулась на пол. Молли раздраженно ее схватила и поставила в угол.

— Десять лет мы прожили вместе, — сказала она. — Порой во рту маковой росинки не бывало — одна только пыль да молитвы. А теперь, когда нам вдруг посчастливилось, ты взял и не выдержал!

Она принесла из гостиной Библию.

Зашуршала страницами. Так же шуршала пшеница при слабом ветерке.

— Сядь и слушай, — распорядилась Молли.

С улицы донеслись голоса. Это дети смеялись рядом с домом в тени большого виргинского дуба.

Молли стала читать из Библии, то и дело поднимая глаза, чтобы проследить за выражением лица Дрю.

Она стала читать ему из Библии каждый день. На следующей неделе в среду Дрю отправился пешком на почту в соседний город, и там его ждало письмо.

Когда он вернулся домой, его было не узнать.

Он протянул письмо Молли и слабым дрожащим голосом пересказал его содержание.

— Мать умерла... во вторник в час дня... сердце...

К этому Дрю Эриксон добавил одно:

— Посади детей в машину, погрузи продукты. Мы едем в Калифорнию.

— Дрю. — Жена не выпускала из рук письмо.

— Ты знаешь сама, на здешних землях плохо рождаются зерновые. А теперь посмотри, как у нас вызревает пшеница. Я тебе еще не все рассказал. Она вызревает участками, каждый день понемногу. А сжатая сразу гниет. А на следующее утро сама по себе прорастает и растет дальше. Во вторник на той неделе, когда я срезал этот колос, мне показалось, что коса вонзилась в меня. Я слышал чей-то крик. Голос был точь-в-точь... голос моей матери. И вот это письмо.

— Мы остаемся, — сказала Молли.

— Молли.

— Мы остаемся здесь, где нам обеспечены еда, постели, безбедная и долгая жизнь. Я не хочу, чтобы от моих детей опять остались кожа да кости.

За окнами виднелось голубое небо. На спокойное лицо Молли падал с одной стороны косой луч, зажигая в глазу голубые искры. Под кухонным краном одна за другой медленно набухали сверкающие капли. Их упало четыре или пять, и только тут Дрю хрипло вздохнул.

В этом вздохе слышались усталость и отчаяние. Он кивнул, глядя в сторону.

— Ладно. Мы остаемся.

Слабой рукой он поднял косу. Ярко сверкнули процарапанные на металле слова:

**КТО ВЛАДЕЕТ МНОЙ — ВЛАДЕЕТ МИРОМ!**

— Мы остаемся...

На следующее утро он отправился к могиле старика. В самом ее центре показался из земли молодой побег пшеницы. Это возродился тот колос, прежний стебель, бывший у старика в руке, но только возродившийся.

Дрю заговорил, не получая ответа.

— Ты всю жизнь проработал на этом поле, потому что не мог иначе, и вот пришел день, когда тебе попаласть среди стеблей твоя собственная жизнь. Ты знал, что она твоя. Ты ее срезал. Пошел домой, надел костюм, сердце остановилось, и ты умер. Так оно было, правда? Ты передал землю мне, а когда я умру, она должна будет перейти к кому-нибудь другому.

Голос Дрю дрожал от благоговейного страха.

— Сколько же времени длится эта история? И никто не знает, что такое поле существует, кроме человека с косой?..

Вдруг он ощутил себя глубоким старцем. От долины, как от сухой скрюченной мумии, повеяло древностью, тайной, мощью. Когда по прерии сновали пляшущими шагами индейцы, это поле уже здесь было. То же небо, тот же ветер, та же пшеница. А до индейцев? Тогда, небось, сквозь стену живой пшеницы пробирался с примитивной деревянной косой какой-нибудь кроманьонец, грубый и лохматый...

Дрю вернулся к работе. И вверх, и вниз. Его зачаровывала мысль, что он владеет не какой-нибудь, а этой

косой. Он, он сам! Безумный, неистовый прилив силы и ужаса захлестнул Дрю.

И вверх! КТО ВЛАДЕЕТ МНОЙ! И вниз! ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ!

Чтобы смириться с этой работой, требовалась определенная философия. Просто таким образом он обеспечивает своей семье еду и кров. После стольких лет мытарств они заслужили приличный дом и кормежку, рассуждал он.

И вверх, и вниз. Каждое зернышко — это жизнь, и ее он аккуратно разрезал пополам. Если подойти с умом (Дрю окинул пшеницу пытливым взглядом) — они с Молли и ребята смогут жить вечно!

Найду участок с колосьями Молли, Сьюзи и маленького Дрю и не буду их трогать. Они станут бессмертными!

И тут, словно по сигналу, он понял.

Молли, и маленький Дрю, и Сьюзи.

Здесь, перед ним. Колосья пшеницы.

Еще один взмах косы, и он бы их срезал.

Молли, Дрю, Сьюзи. Он знал это точно. Задрожав, он опустился на колени и стал рассматривать колоски. Они запыхали жаром под его пальцами.

Дрю застонал от облегчения. Что, если бы он, ни о чем не подозревая, их скосил? Он выдохнул, поднялся на ноги, взял косу и отошел от трех тоненьких колосков.

Молли очень удивилась, когда он ни с того ни с сего вернулся домой раньше обычного и поцеловал ее в щеку.

За обедом Молли сказала:

— Ты сегодня ушел пораньше? А... как пшеница: все так же гниет, едва ее скосишь?

Дрю кивнул и взял еще мяса.

— Тебе бы написать в министерство земледелия, пусть приедут посмотрят.

— Нет.

— Я предложила, только и всего.

Дрю широко раскрыл глаза.

— Я должен оставаться здесь до конца жизни. Нельзя допускать к этой пшенице посторонних, они не знают, где жать, а где нет. Могут скосить не в том месте.

— В каком это — не в том?

— Не важно. — Он медленно жевал. — Ерунда. — Он со стуком опустил на стол вилку. — Кто знает, что им взбредет в голову. Этим, из правительства! Может, даже... может, даже перепахать целиком все поле!

Молли кивнула.

— Это было бы самое правильное, — сказала она. — И засеять снова, новыми семенами.

Дрю встал, не закончив обед.

— Не собираюсь я писать в министерство и отдавать поле чужакам, чтобы они его выкосили, тоже не собираюсь, так и знай!

За ним захлопнулась входная дверь.

Дрю обошел участок, где зрели под солнцем колосья его детей и жены, и занялся косьбой на дальнем участке, где уж точно не погубишь по ошибке свое семейство.

Но работа больше его не радовала. К концу часа он отправил на тот свет троих своих давних и любимых друзей, живших в Миссури. Джо Спанглер, Билл Марч, Оле Джонсон — их имена он прочел на срезанных колосьях и не смог работать дальше.

Дрю запер косу в подвале и выбросил ключ. Все, поработал Смертью с косой, и будет. Зарекся навеки!

В тот же вечер он курил трубку на передней веранде и рассказывал детям смешные истории. Но они не особенно веселились. Они выглядели усталыми, отсутствующими и вообще непохожими на его детей.



Молли жаловалась на головную боль, послонялась, волоча ноги, вокруг дома, рано отправилась в постель и заснула. Это тоже было непривычно. Молли всегда ложилась поздно и не знала устали.

При лунном свете по пшеничному полю пробегала рябь, похожая на морские волны.

Оно жаждало жатвы. Не терпело, чтобы его запускали. Иные колосья просто необходимо было срезать сейчас. Дрю Эриксон сидел, стараясь на него не глядеть, и спокойно курил.

Что станет с миром, если Дрю никогда больше не выйдет в поле? Что случится с людьми, которые созрели для смерти, которые ждут прихода косы?

Поживем — увидим.

Задув масляную лампу, Дрю забрался в постель. Молли тихонько посапывала. Дрю не спалось. В поле шумел ветер, руки ныли от желания взяться за работу.

Среди ночи он очнулся: держа в руках косу, он шагал в поле. Шагал как ненормальный, шагал и боялся, шагал наполовину во сне. Дрю не помнил, как открыл дверь подвала и достал косу, но вот он здесь, шагает при луне к пшеничному полю.

Среди колосьев много старых, усталых, им так хочется заснуть. Заснуть долгим, спокойным, безлунным сном.

Коса держала его, вращала в его ладони, заставляла идти.

Напрягая силы, он как-то сумел освободиться. Отшвырнул косу, забежал в пшеницу, остановился и рухнул на колени.

— Не хочу больше убивать, — сказал он. — Если я буду и дальше махать косой, мне придется убить Молли и ребят. Не требуйте от меня этого!

Звезды не двигались и только сияли.

Сзади послышался глухой стук.

Поверх холма в небо метнулось зарево. Оно было похоже на живое существо с красными руками, тянущееся языком к звездам. В лицо Дрю полетели искры. В ноздри хлынул густой горячий дух огня.

Дом!

Взвыв, Дрю медленно, без надежды, поднялся с колен и уставился на пожар.

Неистовое пламя с гулом поглощало маленький белый домик и виргинские дубы. Волна жара, накатившись на холм, достигла Дрю, и тот, спотыкаясь, двинулся вниз, чтобы погрузиться в нее с головой.

К тому времени, как он добрался до подножия холма, пылало уже все: гонт на крыше, замок в двери, порог. Огонь гудел, трещал и фыркал.

Внутри не слышалось голосов. Никто не бежал вокруг и не вопил.

Во дворе Дрю крикнул:

— Молли! Сьюзи! Дрю!

Ответа не было. Он подбежал так близко, что опалило брови; еще немного — и раскаленная кожа свернулась бы, как горящая бумага, в тугие чешуйки, колечки, завитки.

— Молли! Сьюзи!

Крыша рухнула. Дом оделся облаком блестящих искр.

Огонь удовлетворенно осел вниз, чтобы продолжить пиршество. Дрю раз десять обежал дом кругом, надеясь найти путь внутрь. Потом сел у самого пекла и дождался, пока не осыпались, задрожав, стены, пока не выгнулись остатки перекрытий, завалив пол штукатуркой и горелой дранкой. Пока не затихло пламя, не пыхнул последний дымок, не приблизился неспешно новый день, а на пожарище не остались одни лишь тлеющие угли да зола.

От споревшего остова веяло жаром, но Дрю вошел внутрь. Еще не совсем рассвело и видно было плохо. В ка-

плях пота на шее Дрю играли красные огоньки. Он стоял, как чужак, прибывший в незнакомую землю. Вот — кухня. Обутленные столы, стулья, железная плита, буфет, шкафы. Вот — прихожая. Вот общая комната, а вот спальня, где...

Где оставалась все еще живая Молли.

Она спала среди обвалившихся балок, почерневшего металла, пружин.

Спала как ни в чем не бывало. На изяшных белых ручках, вытянутых по бокам, тлели искорки. Лицо было спокойно, веки сомкнуты, а на щеке лежала горящая деревяшка.

Дрю замер, не веря собственным глазам. Вокруг — дымящиеся руины спальни, постель полна искр, а кожа жены нетронута, грудь вздымается и опадает.

— Молли!

Жива и спит себе — а ведь недавно вокруг бушевал пожар, рушились с грохотом стены, обвалился потолок, все пылало адским пламенем.

Когда Дрю ступил на кучу тлеющих обломков, его подошвы задымились. Но он этого не замечал, не заметил бы даже, если бы ноги обожгло до самых лодыжек.

— Молли!

Он склонился над женой. Она не двигалась, не слышала, не говорила. Она не была мертва. Она не была жива. Просто лежала среди огня, который ее не касался, не причинял ей никакого вреда. Хлопчатобумажная ночная рубашка была запачкана золой, но не сгорела. Темноволосую голову подпирала грудка раскаленных углей.

Дрю коснулся щеки Молли. Она была холодная. Среди пекла — и холодная. Чуть улыбающиеся губы едва заметно трепетали в такт дыханию.

— Молли, что с тобой? Как ты?..

Сьюзи с братом тоже были тут. Сквозь завесу дыма Дрю различил две фигуры — они спали на обломках штукатурки.

Он вынес всех троих на край пшеничного поля и попытался оживить. Не получилось.

— Молли! Молли, проснись! Ребята! Ребята, проснитесь!

Они дышали, не двигались и спали дальше.

— Ребята, проснитесь! Ваша мама...

Умерла? Нет, не умерла. Но...

Он стал тормошить детей, словно они были виноваты. Они, не обращая внимания, смотрели свои сны. Дрю опустил их на землю и выпрямился. Его лицо прорезала сеть морщин. Он понял.

Он понял, почему они проспали пожар и почему не просыпались теперь. Понял, почему Молли лежала пластом и не собиралась улыбаться.

Власть пшеницы и косы.

Их жизням было назначено окончиться вчера, 30 мая 1938 года, но они не умерли, потому что он отказался сжать колосья. Они должны были погибнуть в огне. Именно так было определено. Но он не сжал колоски, и вот они целы. Дом сгорел и обрушился, а они по-прежнему живы. Но им здесь больше нечего делать. Они застряли на полпути, не мертвые и не живые. Просто — в ожидании. И по всему миру таких тысячи; жертвы несчастных случаев, пожаров, болезней, самоубийцы ждут и спят, как Молли с ее детьми. Неспособные умереть и неспособные жить. И все потому, что кто-то побоялся сжать созревшую пшеницу. Все потому, что кто-то решил забросить косу и никогда больше не брать ее в руки.

Дрю перевел взгляд на детей. Работу нужно делать каждый день, каждый день, без остановки, работать и работать, не останавливаться, косить, косить и косить.

Ладно, подумал он. Ей-богу, я им покажу. Скошу к чертовой матери все треклятые колосья!

Дрю не простился со своей семьей. Все больше злясь, он отвернулся, нашел косу, припустил быстрым шагом,

перешел на рысь, понесся вприпрыжку в поле; в голове крутились безумные мысли, руки жаждали работы, и он со всем неистовством стремился дать им волю! Пшеница хлестала его по ногам. Он шел напролом и кричал. Остановился.

— Молли! — крикнул он и махнул косой.

— Съюзи! — крикнул он снова. — Дрю! — И снова махнул косой.

Кто-то вскрикнул. Вроде бы трое. Дрю не обернулся, чтобы посмотреть на сгоревший дом.

Истерически всхлипывая, каждым мускулом ощущая безумное, яростное желание поквитаться с судьбой, он вновь подступился к пшенице. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда — ходила коса. Вжик-вжик, вжик-вжик, вжик-вжик! Под рутань, божбу и смех гигантские шрамы множились без разбору на спелых и зеленых участках, на фоне встающего солнца сверкало со свистом лезвие! И вниз!

И Гитлер вторгся в Австрию.

Неистовый взмах.

И Гитлер вторгся в Чехословакию.

Лезвие пело, влажно алая.

Пала Польша.

Зерна так и летели, зеленые, направо и налево.

Бомбы рушили Лондон, рушили Москву, рушили Токио.

А лезвие все вздымалось, резало, крушило с яростью человека, кто имел и потерял близких и кому все равно, как поступить с этим миром.

В каких-то нескольких милях от магистрали, по ухабистой проселочной дороге, ведущей в никуда; в каких-нибудь нескольких милях от забитого транспортом калифорнийского шоссе.

Раз в кои-то веки с автомагистрали съезжает ветхий драндулет и тормозит в конце грунтовой дороги у обгорелых руин белого домика, чтобы спросить дорогу у ферме-

ра, который день и ночь, безумно, неистово, нескончаемо трудится на пшеничном поле.

Ни помощи, ни ответа они не получают. Прошли годы, но фермер все еще по горло занят; он все еще режет и крошит пшеницу, зеленую вместо спелой.

И Дрю Эриксон идет с косою все дальше, и в глазах его горит безумный огонек. Все дальше, дальше и дальше.

---

### ДЯДЮШКА ЭЙНАР

---

— Да у тебя на это всего одна минута уйдет, — настаивала миловидная супруга дядюшки Эйнара.

— Я отказываюсь, — ответил он. — На отказ секунды достаточно.

— Я все утро трудилась, — сказала она, потирая свою стройную спину, — а ты даже помочь не хочешь. Вон какая гроза собирается.

— И пусть собирается! — сердито воскликнул он. — Хочешь, чтобы меня из-за твоих простыней молния стукнула!

— Да ты успеешь, тебе ничего не стоит.

— Сказал — не буду, и все. — Огромные непромокаемые крылья дядюшки Эйнара нервно жужжали за его негодующей спиной.

Она подала ему тонкую веревку, на которой было подвешено четыре дюжины мокрых простыней. Он с отвращением покрутил веревку кончиками пальцев.

— До чего я дошел, — буркнул он с горечью. — До чего дошел, до чего...

Он едва не плакал злыми, едкими слезами.

— Не плачь, только хуже их намочишь, — сказала она. — Ну, скорей, покружись с ними.

— Покружись, покружись... — Голос у него был глухой и очень обиженный. — Тебе все равно, хоть бы ливень, хоть бы гром.

— Посуди сам: зачем мне просить тебя, если бы день был погожий, солнечный, — рассудительно возразила она. — А если ты откажешься, вся моя стирка насмарку. Разве что в комнатах развесить...

Эти слова решили дело. Больше всего на свете он ненавидел, когда поперек комнат, будто гирлянды, будто флаги, болтались-развевались простыни, заставляя человека ползать на карачках. Он подпрыгнул. Огромные зеленые крылья гулко хлопнули.

— Только до выгона и обратно!

Сильный взмах, прыжок, и он взлетел, взлетел, рубя крыльями прохладный воздух, глядя его. Быстрее, чем вы бы произнесли: «У дядюшки Эйнара зеленые крылья», он скользнул над своим огородом, и длинная трепещущая петля простыней забила в гуле, в воздушной струе от его крыльев.

— Держи!

Круг закончен, и простыни, сухие, как воздушная кукуруза, плавно опустились на чистые одеяла, которые она заранее расстелила в ряд.

— Спасибо! — крикнула она.

Он буркнул в ответ что-то неразборчивое и улетел под яблоню думать свою думу.

Чудесные шелковистые крылья дядюшки Эйнара были словно паруса цвета морской волны, они громко шуршали и шелестели за его спиной, если он чихал или быстро оборачивался. Мало того что он происходил из совершенно особой Семьи, его талант было видно простым глазом. Все его нечистое племя — братья, племянники и прочая родня, — укрывшись в глухих селениях за тридевять земель, творило там чары невидимые, всякую ворожбу, они порхали в небе блуждающими огоньками, рыскали по лесу лунно-белыми волками. Им, в общем-то, нечего было опасаться обычных людей. Не то что человеку, у которого большие зеленые крылья...

Но ненависти он к своим крыльям не испытывал. Напротив! В молодости дядюшка Эйнар по ночам всегда летал, ночь для крылатого самое дорогое время! День придет, опасность приведет, так уж заведено. Зато ночью! Ночью он парил над островами облаков и морями летнего воздуха!.. В полной безопасности. Возвышенный, гордый полет, наслаждение, праздник души.

Теперь он больше не мог летать по ночам.

Несколько лет назад, возвращаясь с пирушки (были только свои) в Меллинтауне, штат Иллинойс, к себе домой, на перевал где-то в горах Европы, дядюшка Эйнар почувствовал, что, кажется, перепил этого густого красного вина... «А, ничего, все будет в порядке», — произнес он заплетающимся языком, летя в начале своего долгого пути под утренними звездами, над убаюканными луной холмами за Меллинтауном. Вдруг как гром среди ясного неба...

Высоковольтная передача.

Точно утка в силках! И скворчит огромная жаровня! И в зловещем сиянии голубой дуги — почерневшее лицо! Невероятный, оглушительный взмах крыльев, он метнулся назад, вырвался из проволочной хватки электричества и упал.

На лунную лужайку под опорой он упал с таким шумом, словно с неба обронили большую телефонную книгу.

Рано утром следующего дня дядюшка Эйнар поднялся на ноги, тяжелые от росы крылья лихорадочно дрожали. Было еще темно. Тонкий бинт рассвета опоясал восток. Скоро сквозь марлю проступит кровь, и уж тогда не полетишь.

Оставалось только укрыться в лесу и там, в чаще, переждать день, пока новая ночь не окрылит его для незримого полета в небесах.

Вот каким образом он встретил свою жену.



В тот день, необычно теплый для начала ноября в Иллинойсе, хорошенькая юная Брунилла Вексли, судя по всему, отправилась доить затерявшуюся корову. Во всяком случае, она держала в одной руке серебряный подойник и, пробираясь сквозь чащу, остроумно убеждала невидимую беглянку идти домой, пока вымя не лопнуло от молока. Тот факт, что корова, скорее всего, сама придет, как только ее соски соскучатся по пальцам доярки, Брунилле Вексли несколько не занимал. Ей, Брунилле, лишь бы по лесу бродить, пух с цветочков сдувать да травинки жевать; этим она и была занята, когда набрела на дядюшку Эйнара. Он крепко спал возле куста и походил на самого обыкновенного человека под зеленым пологом.

— О! — взволнованно воскликнула Брунилла. — Мужчина. В плащ-палатке.

Дядюшка Эйнар проснулся. Палатка раскрылась за его спиной, точно большой зеленый веер.

— О! — воскликнула Брунилла, коровий следопыт. — Мужчина с крыльями!

Вот как она реагировала. Разумеется, она оторопела, но Брунилла еще ни от кого в жизни не видела обиды, а потому никого не боялась, и ведь так интересно было встретить крылатого мужчину, ей это даже польстило. Она заговорила. Через час они уже были старыми друзьями, через два часа она совершенно забыла про его крылья. И он незаметно для себя все выложил, как очутился в этом лесу.

— Я уж и то заметила, что у вас вид какой-то пришибленный, — сказала она. — Правое крыло совсем скверно выглядит. Давайте-ка лучше я вас отведу к себе домой и подлечу его. Все равно с таким крылом вам до Европы не долететь. Да и кому охота в такое время жить в Европе?

Он поблагодарил, но сказал, что нельзя... неудобно как-то.

— Ничего, я живу одна, — настаивала Брунилла. — Сами видите, какая я дурнушка.

Он пылко возразил.

— Вы добрый, — сказала она. — Но я дурнушка, зачем обманывать себя. Родные померли, оставили мне ферму, ферма большая, а я одна, и до Меллинтауна далеко, не с кем даже словечком перемолвиться.

Он спросил, неужели она его не боится.

— Скажите лучше: радуюсь, восхищаюсь... — ответила Брунилла. — Можно?

И она с легкой завистью погладила широкие зеленые перепонки, прикрывшие его плечи. Он вздрогнул от прикосновения и прикусил язык.

Словом, что тут говорить: пойдете на ферму, там есть лекарства и притирания, и... «Ой! какой ожог через все лицо, ниже глаз!»

— Счастье, что вы не ослепли, — сказала она. — Как же это случилось?

— Понимаете... — начал он, и они очутились на ферме, не заметив даже, что целую милю прошли, не сводя глаз друг с друга.

Прошел день, за ним другой, и он простился с ней у порога, пора и честь знать, от души поблагодарил за примочки, заботу, кров. Смеркалось — шесть часов вечера, — а ему до пяти утра надо успеть пересечь целый океан и материк.

— Спасибо, всего хорошего, — сказал он, взмахнул крыльями в сумеречном воздухе и врезался в клен.

— О! — вскричала она и бросилась к бесчувственному телу.

Придя в себя час спустя, дядюшка Эйнар уже знал, что ему больше никогда не летать в темноте. Его тончайшая ночная восприимчивость исчезла: крылатая телепатия, которая предупреждала, когда на пути вырастала башня, гора, дерево, дом, безошибочное ясновидение

и чувствительность, которые вели его сквозь лабиринт лесов, скал, облаков, — все бесповоротно выжиг этот удар по лицу, голубое жгучее электрическое шипение...

— Как?.. — тихо простонал он. — Как я вернусь в Европу? Если полечу днем, меня заметят и — жалкий анекдот! — могут сбить! А то еще в зоопарк поместят, страшно подумать! Брунилла, скажи, как мне быть?

— О, — прошептала она, глядя на свои руки, — что-нибудь придумаем...

Они поженились.

На свадьбу явилось все его племя. Они летели с могучей, шуршащей и шелестящей осенней лавиной кленовых, дубовых, вязовых и платановых листьев, сыпались вниз с ливнем каштанов, словно зимние яблоки, глухо гудели оземь, мчались с ветром, с проникающим всюду дыханием уходящего лета. Обряд? Он был краток, как жизнь черной свечи, что зажгли и задули, и только вьется в воздухе тонкий дымок. Но ни краткость обряда, ни странная его необычность, ни загадочный смысл не были замечены Бруниллой, она всем существом слушала тихий рокот крыльев дядюшки Эйнара, далекий прибой, который подвел итог таинству. Что же до дядюшки Эйнара, то рана, перечеркнувшая его лицо, почти зажила, и, стоя под руку с Бруниллой, он чувствовал, как Европа тает, исчезает и теряется вдали.

Ему не требовалось особенно хорошего зрения, чтобы взлететь прямо вверх и так же прямо опуститься. И не было ничего удивительного в том, что в свадебную ночь он поднял Бруниллу на руки и взлетел с ней в небеса.

Фермер, живущий от них в пяти милях, глянул в полночь на низко плывущую тучу и приметил слабые вспышки, треск.

— Зарница, — решил он и пошел спать.

Они спустились только утром, вместе с росой. Брак был удачный. Стоило ей взглянуть на него, и мысль о том,

что она единственная в мире женщина, которая замужем за крылатым человеком, переполняла ее гордостью.

— Кто еще может сказать о себе так? — спрашивала Брунилла свое зеркало. И ответ гласил: — Никто!

А ему за ее внешностью открылась замечательная красота, великая доброта и понимание. Приноравливаясь к ее образу мыслей, он кое в чем изменил свой стол, в комнатах старался не очень размахивать крыльями; битая посуда да разбитые лампы были ему что нож острый, он держался от стекла подальше. И часы сна переменились, ведь он теперь все равно не летал по ночам. В свою очередь, она приспособила стулья так, чтобы его крыльям было удобно, тут прибавила набивки, там убавила, а слова, которые она ему говорила, были теми словами, за которые он ее любил.

— Все мы в коконах скрыты, каждый в своем, — сказала она однажды. — Видишь, какая я дурнушка? Но настанет день, я выйду из кокона и расправлю крылья, такие же чудные и красивые, как твои.

— Ты уже давно вышла, — ответил он.

Она подумала над его словами и согласилась:

— Да... И я точно знаю, в какой день это было. В лесу, когда я искала корову, а нашла палатку!

Они рассмеялись, и в его объятиях она чувствовала себя такой прекрасной, что не сомневалась: замужество исторгло ее из некрасивой оболочки, точно сверкающий меч из ножен.

У них появились дети. Сперва возникло опасение (лишь у него), что они будут крылатые.

— Вздор, я только рада буду! — сказала она. — Не будут под ногами болтаться.

— Зато в твоих волосах запутаются! — воскликнул он.

— О! — ужаснулась она.

Родилось четверо, три мальчика и девочка, да такие непоседы, словно у них и впрямь были крылья. Рос-

ли они как грибы; не прошло и нескольких лет, как дети в жаркие летние дни упрашивали папу посидеть с ними под яблоней, сделать крыльями холодок и рассказать захватывающую дух сияющую сказку про острова облаков в океане небес, про химеры, которые лепит из тумана ветер, какой вкус у звездочки, тающей у тебя во рту, или у студеного горного воздуха, каково быть камнем, падающим с Эвереста, и в последний миг, расправив крылья-лепестки, у самой земли расцвести зеленым цветком.

Вот так сложился его брак.

И вот сегодня, шесть лет спустя, сидит дядюшка Эйнар под яблоней, сидит, тоскует, раздражительный, злой. Не потому, что ему так хочется, а потому, что и столько времени спустя он не может летать в вольном ночном небе: его чудесное свойство так и не вернулось к нему. Сидит уныло, пригорюнившись, — зеленый летний зонт, покинутый и забытый легкомысленными отпускниками, которые некогда искали убежища в его прозрачной тени. Неужто так и придется всегда сидеть, не смея днем расправить крылья в поднебесье — как бы кто не увидел? Неужто единственное, на что он способен, — быть бельесушкой для жены, веером для ребятишек в жаркий августовский полдень? Да, он и прежде всегда выполнял поручения Семьи, летая быстрее ветра! Бумерангом проносился над горами и долами и пушинкой спускался на землю. У него всегда водились деньги: крылатому человеку бездельничать не дадут! А теперь? Горечь и боль! Его крылья забились, встряхнули воздух, получился какой-то скованный гром.

— Пап! — позвала маленькая Мег.

Дети стояли перед ним, глядя на его хмурое лицо.

— Пап, — сказал Рональд, — сделай еще гром!

— Сейчас еще холодно, март, а вот скоро будут и дожди, и вдоволь грома, — ответил дядюшка Эйнар.

— Пойдем с нами, посмотришь! — предложил Майкл.

— Да ну, побежали скорей! Пусть его сидит и мечтает!

Ему сейчас было не до любви, не до детей любви, не до любви детей. Он весь отдался мечте о небесах, поднебесной высоте, горизонтах, воздушных даях; будь то днем или ночью, при звездах, луне или солнце, облачно или ясно, — когда ни воспаришь, впереди — не догнать! — летят небеса, горизонты, дали. А он... А он кружит над выгоном, у самой земли: не дай бог, увидят...

Прозябание в темной дыре!

— Март! Март! — пела Мег. — Мы на горку идем, пап, пошли с нами! Там даже из городка дети будут!

— На какую еще горку? — буркнул дядюшка Эйнар.

— На Змееву, какую же еще! — дружно откликнулись дети.

Он наконец посмотрел на них.

У каждого был в руках большой бумажный змей, и горящие нетерпением детские лица предвкушали шальную радость. Коротенькие пальцы сжимали мотки белой бечевки. Снизу у красно-сине-желто-зеленых змеев висели хвосты из тряпичных и шелковых лоскутков.

— Мы будем запускать наших змеев! — сказал Рональд. — Пойдешь с нами?

— Нет, — печально ответил он. — Нельзя, чтобы меня кто-нибудь увидел, могут быть неприятности.

— А ты спрячься в лесу за деревьями и смотри оттуда, — предложила Мег. — Мы сами сделали змеев, сами! Знаем, как делать!

— Откуда же вы знаете?

— Ты наш отец! — дружно крикнули дети. — Вот откуда!

Он долго глядел на них. Он вздохнул:

— Сегодня Праздник змеев?

— Да, папа.

— Я выиграю, — сказала Мег.

— Нет, я! — заспорил Майкл.

— Я, я! — запищал Стивен.

— Силы небесные! — воскликнул дядюшка Эйнар, подпрыгнув высоко в воздух, и крылья его загремели, будто громогласные литавры. — Дети! Мои дорогие, славные, обожаемые дети!

— Папа, что случилось? — Майкл даже попятился.

— Ничего, ничего, ничего! — распевал Эйнар. Он расправил крылья, напряг их до предела, все силы собрал... Бамм! Точно исполинские медные тарелки! Дети даже упали от сильного вихря!

— Нашел, *нашел!* Я снова вольная птица! Как искра в трубе! Как перышко на ветру! Брунилла! — Он повернулся к дому. — Брунилла!

Она вышла на его зов.

— Я свободен! — воскликнул он, приподнявшись на цыпочках, раздумявшийся, высокий. — Слышишь, Брунилла, зачем мне ночь? Я могу летать днем! И ночь ни при чем! Теперь *каждый* день летать буду, круглый год! Господи, да что я время теряю. Смотри!

И на глазах у встревоженных домочадцев он оторвал у одного из змеев лоскутный хвост, привязал его себе к ремню сзади, схватил моток бечевки, один конец зажал в зубах, другой отдал детям — и полетел, полетел в небеса, подхваченный буйным мартовским ветром!

Через фермы, через луга, отпуская бечеву в светлое дневное небо, ликуя, спотыкаясь, бежали-торопились его дети, а Брунилла стояла на дворе, провожая их взглядом, и смеялась, и махала рукой, и видела, как ее дети прибежали на Змееву горку, как встали там, все четверо, держа бечевку нетерпеливыми, гордыми пальцами, и каждый дергал, подтягивал, направлял... И все дети Меллинтауна прибежали со своими бумажными змеями, чтобы запустить их с ветром, и они увидели огромного зеле-

ного змея, как он взмывал и парил в небесах, и закричали:

— О, о, какой змей! Какой змей! О, как мне хочется такого змея! Где, где вы его взяли?!

— Это наш папа сделал! — воскликнули Мег, и Майкл, и Стивен, и Рональд и лихо дернули бечевку, так что змей, жужжащий, рокочущий змей в небесах нырнул, и снова взмыл, и прямо на облаке начертил большой волшебный восклицательный знак!

---

### ВЕТЕР

В тот вечер телефон зазвонил в половине шестого. Стоял декабрь, и уже стемнело, когда Томпсон взял трубку:

— Слушаю.

— Алло, Герб?

— А, это ты, Аллин.

— Твоя жена дома, Герб?

— Конечно. А что?

— Ничего, так просто.

Герб Томпсон спокойно держал трубку.

— В чем дело? У тебя какой-то странный голос.

— Я хотел, чтобы ты приехал ко мне сегодня вечером.

— Мы ждем гостей.

— Хотел, чтобы ты остался ночевать у меня. Когда уезжает твоя жена?

— На следующей неделе, — ответил Томпсон. — Дней девять пробудет в Огайо. Ее мать заболела. Тогда я приеду к тебе.

— Лучше бы сегодня.

— Если бы я мог... Гости и все такое прочее. Жена убьет меня.

— Очень тебя прошу.



— А в чем дело? Опять ветер?

— Нет... Нет, нет.

— Говори: ветер? — повторил Томпсон.

Голос в трубке замялся.

— Да. Да, ветер.

— Но ведь небо совсем ясное, ветра почти нет!

— Того, что есть, вполне достаточно. Вот он, дохнул в окно, чуть колышет занавеску... Достаточно, чтобы я понял.

— Слушай, а почему бы тебе не приехать к нам, не переночевать здесь? — сказал Герб Томпсон, обводя взглядом залитый светом холл.

— Что ты. Поздно. Он может перехватить меня в пути. Очень уж далеко. Не хочу рисковать, а вообще спасибо за приглашение. Тридцать миль как-никак. Спасибо...

— Прими снотворное.

— Я целый час в дверях простоял, Герб. На западе на горизонте такое собирается... Такие тучи, и одна из них на глазах у меня будто разорвалась на части. Будет буря, уж это точно.

— Ладно, ты только не забудь про снотворное. И звони мне в любое время. Хотя бы сегодня еще, если надумаешь.

— В любое время? — переспросил голос в трубке.

— Конечно.

— Ладно, позвоню, но лучше бы ты приехал. Нет, я не желаю тебе беды. Ты мой лучший друг, зачем рисковать. Пожалуй, мне и впрямь лучше одному встретить испытание. Извини, что я тебя побеспокоил.

— На то мы и друзья! Расскажи-ка, чем ты сегодня занят?.. Почему бы тебе не пописать немного? — говорил Герб Томпсон, переминаясь с ноги на ногу в холле. — Отвлечешься, забудешь свои Гималаи и эту долину Ветров, все эти твои штормы и ураганы. Как раз закончил бы еще одну главу своих путевых очерков.

— Попробую. Может быть, получится, не знаю. Может быть... Большое спасибо, что ты разрешаешь мне беспокоить тебя.

— Брось, не за что. Ну, кончай, а то жена зовет меня обедать.

Герб Томпсон повесил трубку. Он прошел к столу, сел, жена сидела напротив.

— Это Аллин звонил? — спросила она.

Он кивнул.

— Не надоел он тебе своими ветрами, которые то подуют, то стихнут, то жаром его обдадут, то холодом? — продолжала она, передавая ему полную тарелку.

— Ему там, в Гималаях, во время войны тугο пришлось, — ответил Герб Томпсон.

— Неужели ты веришь его рассказам про эту долину?

— Очень уж убедительно он рассказывает.

— Лазить куда-то, карабкаться... И зачем это мужчины лазят по горам, сами на себя страх нагоняют?

— Шел снег, — сказал Герб Томпсон.

— В самом деле?

— И дождь хлестал... И град, и ветер, все сразу. В той самой долине. Аллин мне много раз рассказывал. Здорово рассказывает... Забрался на большую высоту, крутом облака и все такое... И вся долина гудела.

— Как же, как же, — сказала она.

— Такой звук был, точно дул не один ветер, а множество. Ветры со всех концов света. — Он поднес вилку ко рту. — Так Аллин говорит.

— Незачем было туда лезть, только и всего, — сказала она. — Ходит-бродит, всюду свой нос сует, потом начинает сочинять. Мол, ветры разгневались на него, стали преследовать...

— Не смейся, он мой лучший друг, — рассердился Герб Томпсон.

— Ведь это все чистейший вздор!

— Вздор или нет, а сколько раз он потом попадал в переделки! Шторм в Бомбее, через два месяца тайфун у берегов Новой Гвинеи. А случай в Корнуолле?..

— Не могу сочувствовать мужчине, который без конца то в шторм, то в ураган попадает, и у него от этого развивается мания преследования.

В этот самый миг зазвонил телефон.

— Не бери трубку, — сказала она.

— Вдруг что-нибудь важное!

— Это опять твой Аллин.

Девять раз прозвенел телефон, они не поднялись с места. Наконец звонок замолчал. Они доели обед. На кухне под легким ветерком из приоткрытого окна чуть колыхались занавески.

Опять телефонный звонок.

— Я не могу так, — сказал он и взял трубку. — Я слушаю, Аллин!

— Герб! Он здесь! Добрался сюда!

— Ты говоришь в самый микрофон, отодвинься немного.

— Я стоял в дверях, ждал его. Увидел, как он мчится по шоссе, гнет деревья одно за другим, потом зашелестели кроны деревьев возле дома, потом он сверху метнулся вниз, к двери, я захлопнул ее прямо перед носом у него!

Томпсон молчал. Он не знал, что сказать, и жена стояла в дверях холла, не сводя с него глаз.

— Очень интересно, — произнес он наконец.

— Он весь дом обложил, Герб. Я не могу выйти, ничего не могу предпринять. Но я его облапошил: сделал вид, будто зазевался, и только он ринулся вниз, за мной, как я захлопнул дверь и запер! Не дал застигнуть себя врасплох, недаром уже которую неделю начеку!

— Ну вот и хорошо, старина, а теперь расскажи мне все, как было, — ласково произнес в телефон Герб Томпсон.

От пристального взгляда жены у него вспотела шея.

— Началось это шесть недель назад...

— Правда? Ну, давай дальше.

— Я уж думал, что провел его. Думал, он отказался от попыток расправиться со мной. А он, оказывается, просто-напросто выжидал. Шесть недель назад я услышал его смех и шепот возле дома. Всего около часа это продолжалось, недолго, словом, и совсем негромко. Потом он улетел.

Томпсон кивнул трубке:

— Вот и хорошо, хорошо.

Жена продолжала смотреть на него.

— А на следующий вечер он вернулся... Захлопал ставнями, выдул искры из дымохода. Пять вечеров подряд прилетал, с каждым разом чуточку сильнее. Стоило мне открыть наружную дверь, как он врвался в дом и пытался вытащить меня. Да только слишком слаб был. Зато теперь набрался сил...

— Я очень рад, что тебе лучше, — сказал Томпсон.

— Мне ничуть не лучше, ты что? Опять жена слушает?

— Да.

— Понятно. Я знаю, все это звучит глупо.

— Ничего подобного. Продолжай.

Жена Томпсона ушла на кухню. Он облегченно вздохнул. Сел на маленький стул возле телефона.

— Давай, Аллин, выговорись, скорее уснешь.

— Он весь дом обложил, гудит в застрехах, точно огромный пылесос. Деревья гнет.

— Странно, Аллин, здесь совершенно нет ветра.

— Разумеется, зачем вы ему, он до меня добирается.

— Конечно, такое объяснение тоже возможно...

— Этот ветер — убийца, Герб, величайший и самый безжалостный древний убийца, какой только когда-либо выходил на поиски жертвы. Исполинский охотничий пес

бежит по следу, нюхает, фыркает, меня ищет. Подносит холодный носище к моему дому, втягивает воздух... Учужал меня в гостиной, пробует туда ворваться. Я на кухню, ветер за мной. Хочет сквозь окно проникнуть, но я навесил прочные ставни, даже сменил петли и засовы на дверях. Дом крепкий, прежде строили прочно. Я нарочно всюду свет зажег, во всем доме. Ветер следил за мной, когда я переходил из комнаты в комнату, он заглядывал в окна, видел, как я включаю электричество. Ого!

— Что случилось?

— Он только что сорвал проволочную дверь снаружи!

— Ехал бы ты к нам ночевать, Аллин.

— Не могу из дому выйти! Ничего не могу сделать. Я этот ветер знаю. Сильный и хитрый. Только что я хотел закурить — он загасил спичку. Ветер такой: любит поиграть, подразнить. Не спешит, у него вся ночь впереди. Вот опять! Книга лежит в библиотеке на столе... Если бы ты видел: он отыскал в стене крохотную щелочку и дует, перелистывает книгу, страницу за страницей! Жаль, ты не можешь видеть. Сейчас введение листает. Ты помнишь, Герб, введение к моей книге о Тибете?

— Помню.

— «Эта книга посвящается тем, кто был побежден в поединке со стихиями, ее написал человек, который столкнулся со стихиями лицом к лицу, но сумел спастись».

— Помню, помню.

— Свет погас!

Что-то затрещало в телефоне.

— А сейчас сорвало провода. Герб, ты слышишь?

— Да, да, я слышу тебя.

— Ветру не по душе, что в доме столько света, и он оборвал провода. Наверное, на очереди телефон. Это прямое воздушный бой какой-то! Погоди...

— Аллин!

Молчание. Герб прижал трубку плотнее к уху. Из кухни выглянула жена. Герб Томпсон ждал.

— Аллин!

— Я здесь, — ответил голос в телефоне. — Сквозняк начался, пришлось законопатить щель под дверь, а то прямо в ноги дуло. Знаешь, Герб, это даже лучше, что ты не поехал ко мне, не хватало еще тебе в такой переплет попасть. Ого! Он только что высадил окно в одной из комнат, теперь в доме настоящая буря, картины так и сыплются со стен на пол! Слышишь?

Герб Томпсон прислушался. В телефоне что-то выло, свистело, стучало. Аллин повысил голос, сию секунду переключить шум:

— Слышишь?

Герб Томпсон проглотил ком.

— Да, слышу.

— Я ему нужен живьем, Герб. Он осторожен, не хочет одним ударом с маху дом развалить. Тогда меня убьет. А я ему живьем нужен, чтобы можно было разобрать меня по частям: палец за пальцем. Ему нужно то, что внутри меня, моя душа, мозг. Нужна моя жизненная, психическая сила, мое «я», мой разум.

— Жена зовет меня, Аллин. Просит помочь с посудой.

— Над домом огромное туманное облако, ветры со всего мира! Та самая буря, что год назад опустошила Целебес, тот самый памперо, что убил столько людей в Аргентине, тайфун, который потряс Гавайские острова, ураган, который в начале этого года обрушился на побережье Африки. Частица всех тех штормов, от которых мне удалось уйти. Он выследил меня, выследил из своего убежища в Гималаях, ему не дает покоя, что я знаю о долине Ветров, где он укрывается, вынашивая свои разрушительные замыслы. Давным-давно что-то породило его на свет... Я знаю, где он набирается сил, где рождается,

где испускает дух. Вот почему он меня ненавидит — меня и мои книги, которые учат, как с ним бороться. Хочет зажать мне рот. Хочет вобрать меня в свое могучее тело, выпитать мое знание. Ему нужно заполучить меня на свою сторону!

— Аллин, я вешаю трубку. Жена...

— Что? (Пауза, далекий вой ветра в телефонной трубке.) — Что ты говоришь?

— Позвони мне еще через часок, Аллин.

Он повесил трубку.

Он пошел вытирать тарелки, и жена глядела на него, а он глядел на тарелки, досуха вытирая их полотенцем.

— Как там на улице? — спросил он.

— Чудесно. Тепло. Звезды, — ответила она. — А что?

— Так, ничего.

На протяжении следующего часа телефон звонил трижды. В восемь часов явились гости, Стоддарт с женой. До половины девятого посидели, поболтали, потом раздвинули карточный столик и стали играть в «ловушку».

Герб Томпсон долго, тщательно тасовал колоду — казалось, шуршат открываемые жалюзи — и стал сдавать. Карты одна за другой, шелестя, ложились на стол перед каждым из игроков. Беседа шла своим чередом. Он закурил сигару, увенчал ее кончик конусом легкого серого пепла, взял свои карты, разобрал их по мастям. Вдруг поднял голову и прислушался. Снаружи не доносилось ни звука. Жена заметила его движение, он тотчас вернулся к игре и пошел с валета треф.

Герб не спеша попыхивал сигарой, все негромко переговаривались, иногда извергая маленькие порции смеха. Наконец часы в холле нежно пробили девять.

— Вот сидим мы здесь, — заговорил Герб Томпсон, вынув изо рта сигару и задумчиво разглядывая ее, — а жизнь... Да, странная штука жизнь.

— Что? — сказал мистер Стоддарт.

— Нет, ничего, просто сидим мы тут, и наша жизнь идет, а где-то еще на земле живут своей жизнью миллиарды других людей.

— Не очень свежая мысль.

— Живем... — Он опять стиснул сигару в зубах. — Одиноко живем. Даже в собственной семье. Бывает так: тебя обнимают, а ты словно за миллион миль отсюда.

— Интересное наблюдение, — заметила его жена.

— Ты меня не так поняла, — объяснил он спокойно. Он не горячился, так как не чувствовал за собой никакой вины. — Я хотел сказать: у каждого из нас свои убеждения, своя маленькая жизнь. Другие люди живут совершенно иначе. Я хотел сказать: сидим мы тут в комнате, а тысячи людей сейчас умирают. Кто от рака, кто от воспаления легких, кто от туберкулеза. Уверен, где-нибудь в США в этот миг кто-то умирает в разбитой автомашине.

— Не слишком веселый разговор, — сказала его жена.

— Я хочу сказать: живем и не задумываемся над тем, как другие люди мыслят, как свою жизнь живут, как умирают. Ждем, когда к нам смерть придет. Хочу сказать: сидим здесь, присосли к креслам, а в тридцати милях от нас, в большом старом доме — со всех сторон ночь и всякая чертовщина — один из лучших людей, какие когда-либо жили на свете...

— Герб!

Он пыхнул сигарой, пожевал ее, уставился невидящими глазами в карты.

— Извините. — Он моргнул, откусил кончик сигары. — Что, мой ход?

— Да, твой ход.

Игра возобновилась: шорох карт, шепот, тихая речь... Герб Томпсон поник в кресле с совершенно больным видом.



Зазвонил телефон. Томпсон подскочил, метнулся к аппарату, сорвал с вилки трубку.

— Герб! Я уже который раз звоню. Как там у вас, Герб?

— Ты о чем?

— Гости ушли?

— Черта с два, тут...

— Болтаете, смеетесь, играете в карты?

— Да-да, но при чем...

— И ты куришь свою десятицентовую сигару?

— Да, черт возьми, но...

— Здорово, — сказал голос в телефоне. — Ей-богу, здорово. Хотел бы я быть с вами. Эх, лучше бы мне не знать того, что я знаю. Хотел бы я... да-а, еще много чего хочется...

— У тебя все в порядке?

— Пока что держусь. Сажу на кухне. Ветер снес часть передней стены. Но я заранее подготовил отступление. Когда сдаст кухонная дверь, спущусь в подвал. Посчастливится, отсижусь там до утра. Чтобы добраться до меня, ему надо весь этот чертов дом разнести, а над подвалом прочное перекрытие. И у меня лопата есть, могу еще глубже зарыться...

Казалось, в телефоне звучит целый хор других голосов.

— Что это? — спросил Герб Томпсон, ощутив холодную дрожь.

— Это? — повторил голос в телефоне. — Это голоса двенадцати тысяч убитых тайфуном, семи тысяч уничтоженных ураганом, трех тысяч истребленных бурей. Тебе не скучно меня слушать? Понимаешь, в этом вся суть ветра, его плоть, он — полчища погибших. Ветер их убил, взял себе их разум. Взял все голоса и слил в один. Голоса миллионов, убитых за последние десять тысяч лет, истязаемых, гонимых с материка на материк, поглощенных

муссонами и смерчами. Боже мой, какую поэму можно написать!

В телефоне звучали, отдавались голоса, крики, вой.

— Герб, где ты там? — позвала жена от карточного стола.

— И ветер, что ни год, становится умнее, он все присваивает себе — тело за телом, жизнь за жизнью, смерть за смертью.

— Герб, мы ждем тебя! — крикнула жена.

— К черту! — чуть не рывкнул он, обернувшись. — Минуты подождать не можете! — И снова в телефон: — Аллин, если хочешь, чтобы я к тебе сейчас приехал, я готов! Я должен был раньше...

— Ни в коем случае. Борьба непримиримая, еще и тебя в нее ввязывать! Лучше я повешу трубку. Кухонная дверь поддается, пора в подвал уходить.

— Ты еще позвонишь?

— Возможно, если мне повезет. Да только вряд ли. Сколько раз удавалось спастись, ускользнуть, но теперь, похоже, он припер меня к стенке. Надеюсь, я тебе не очень помешал, Герб.

— Ты никому не помешал, ясно? Звони еще.

— Попытаюсь...

Герб Томпсон вернулся к картам. Жена пристально поглядела на него.

— Как твой приятель, этот Аллин? — спросила она. — Трезвый еще?

— Он в жизни капли спиртного не проглотил, — угрюмо произнес Томпсон, садясь. — Я должен был давно поехать к нему.

— Но ведь он вот уже шесть недель каждый вечер звонит тебе. Ты десять раз, не меньше, ночевал у него, и ничего не случилось.

— Ему нужно помочь. Он способен навредить себе.

— Ты только недавно был у него, два дня назад, что же — так и ходить за ним все время?

— Завтра же, не откладывая, отвезу его в лечебницу. А жаль человека, он вполне рассудительный...

В половине одиннадцатого был подан кофе. Герб Томпсон медленно пил, поглядывая на телефон, и думал: «Хотелось бы знать — перебрался он в подвал?»

Герб Томпсон прошел к телефону, вызвал междугородную, заказал номер.

— К сожалению, — ответили ему со станции, — связь с этим районом прервана. Как только починят линию, мы вас соединим.

— Значит, связь прервана! — воскликнул Томпсон. Он повесил трубку, повернулся, распахнул дверцы стенового шкафа, схватил пальто.

— Герб! — крикнула жена.

— Я должен ехать туда! — ответил он, надевая пальто.

Что-то бережно, мягко коснулось двери снаружи.

Все вздрогнули, выпрямились.

— Кто это? — спросила жена Герба.

Снова что-то тихо коснулось двери снаружи. Томпсон поспешно пересек холл, вдруг остановился.

Снаружи донесся чуть слышный смех.

— Чтоб мне провалиться, — сказал Герб.

С внезапным чувством приятного облегчения он взялся за дверную ручку.

— Этот смех я везде узнаю. Это же Аллин. Приехал все-таки, сам приехал. Не мог дожидаться утра, не терпит-ся рассказать мне свои басни. — Томпсон чуть улыбнулся. — Наверное, друзей привез. Похоже, их там много...

Он отворил наружную дверь. На крыльце не было ни души.

Но Томпсон не опешил. На его лице появилось озорное, лукавое выражение, он рассмеялся:

— Аллин? Брось свои шуточки! Где ты? — Он включил наружное освещение, посмотрел налево, направо. — Аллин! Выходи!

Прямо в лицо ему подул ветер.

Томпсон минуту постоял, вдруг ему стало очень холодно. Он вышел на крыльцо. Тревожно и испытующе поглядел вокруг.

Порыв ветра подхватил, дернул полы его пальто, растрепал волосы. И ему почудилось, что он опять слышит смех. Ветер обогнул дом, внезапно давление воздуха стало невыносимым, но шквал длился всего мгновение, ветер тут же умчался дальше.

Он улетел, прошелестев в высоких кронах, понесся прочь, возвращаясь к морю, к Целебесу, к Берегу Слоновой Кости, Суматре, мысу Горн, к Корнуоллу и Филиппинам. Все тише, тише, тише...

Томпсон стоял на месте, оцепенев. Потом вошел в дом, затворил дверь и прислонился к ней — неподвижный, глаза закрыты.

— В чем дело? — спросила жена.

---

### ПОСТОЯЛЕЦ СО ВТОРОГО ЭТАЖА

---

Он помнил, как заботливо и со знанием дела бабушка поглаживала холодное разрезанное брюхо цыпленка и вынимала оттуда диковины: влажные блестящие петли кишок, пахнувшие мясом, мускулистый комок сердца, желудок с зернышками внутри. Как аккуратно и нежно бабушка вспарывала цыпленка и засовывала внутрь пухлую маленькую ручку, чтобы лишить цыпленка его регалий. Потом все это разделялось, одно попадало в кастрюлю с водой, другое в бумагу — то, что пойдет на корм собакам. А затем ритуальная таксидермия, набивка птицы пропитанным водой и приправами хлебом, и хирургическая операция, производимая быстрой сверкающей иглой, стежок за стежком.

За одиннадцать лет жизни Дугласа это зрелище было одним из самых захватывающих.

Всего он насчитал двенадцать ножей в скрипучих ящиках магического кухонного стола, откуда бабушка, седовласая старая колдунья с добрым, мягким лицом, вынимала атрибуты для совершения таинства.

Дугласу разрешалось стоять, уткнув веснушчатый нос в край стола, и смотреть, но он обязан был молчать — пустая мальчишеская болтовня могла нарушить чары. Сверхшлось чудо, когда бабушка размахивала над птицей баночками для приправ, обильно посыпая ее, как подозревал Дуглас, прахом мумий и порошком из костей индейцев, при этом бормоча беззубым ртом таинственные вирши.

— Бабушка, — сказал наконец Дуглас, нарушив тишину, — я такой же внутри? — Он показал на цыпленка.

— Да, — сказала бабушка. — Чутьочку аккуратнее и презентабельнее, но такой же...

— И гораздо больше, — добавил Дуглас, гордясь своими кишками.

— Да, — сказала бабушка. — Гораздо больше.

— А у дедушки их даже больше, чем у меня. Вон у него какой живот — он может класть туда свои локти!

Бабушка засмеялась и покачала головой.

Дуглас сказал:

— И Люси Уильямс, которая живет в конце улицы, она...

— Помолчи, детка! — закричала бабушка.

— Но у нее...

— Тебя не касается, что у нее! Это совсем другое дело.

— А почему у нее по-другому?

— Вот прилетит игла-стрекоза и прострочит тебе рот, — строго сказала бабушка.

Дуглас помолчал, потом спросил:

— Откуда ты знаешь, что я внутри такой же, бабушка?

— Ступай отсюда!

Зазвенел дверной колокольчик.

Выбежав в холл, Дуглас через стекло входной двери увидел соломенную шляпу. Колокольчик все бренчал. Дуглас открыл дверь.

— Доброе утро, деточка. Хозяйка дома?

Холодные серые глаза на длинном, гладком, цвета ореховой скорлупы лице смотрели на Дугласа. Человек был высоким, худым, в руках у него были чемодан и портфель, а под мышкой зонтик, на тонких пальцах дорогие толстые серые перчатки и на голове совершенно новая соломенная шляпа.

Дуглас отступил.

— Она занята.

— Я хотел бы снять комнату наверху, по объявлению.

— У нас десять постояльцев, и все занято, уходите!

— Дуглас! — неожиданно возникла сзади бабушка. — Здравствуйте, — сказала она незнакомцу. — Не обращайтесь внимания на ребенка.

Не улыбаясь, человек чопорно ступил внутрь. Дуглас следил, как они поднялись вверх по лестнице, услышал, как бабушка перечисляла удобства верхней комнаты. Вскоре она поспешила вниз, чтобы нагрузить Дугласа постельным бельем из комода и послать его бегом наверх.

Дуглас остановился у порога. Комната странно изменилась, и только потому, что в ней находился незнакомец. Соломенная шляпа, хрупкая и кошмарная, лежала на кровати, вдоль стены вытянулся застывший зонтик, похожий на дохлую летучую мышь со сложенными темными мокрыми крыльями.

Дуглас моргнул при виде зонтика.

Незнакомец стоял посредине комнаты, высокий-высокий.

— Вот. — Дуглас швырнул на кровать белье. — Мы обедаем ровно в полдень, и, если вы опоздаете, суп остынет. Бабушка так постановила, и так будет каждый раз!

Высокий странный человек отсчитал десять новых оловянных пенсов, и они зазвенели в кармане рубашки Дугласа.

— Мы станем друзьями, — сказал он мрачно.

Смешно, но у этого человека были лишь пенсовики. Много. Ни серебра, ни десятицентовиков, ни двадцатипятипенсовиков. Лишь новые оловянные пенни.

Дуглас утрюмо поблагодарил его.

— Я брошу их в копилку, когда поменяю на десятицентовики. У меня шесть долларов пятьдесят центов в десятицентовиках, которые я коплю для августовского путешествия.

— Теперь я должен умыться, — сказал высокий странный человек.

Как-то в полночь Дуглас проснулся от грохота грозы — холодный сильный ветер сотрясал дом, дождь бежал по окну. А потом за окном с глухим ужасающим треском приземлилась молния. Он вспомнил, как жутко было тогда смотреть на комнату, такую необычную и страшную при мгновенной вспышке.

Так было и теперь, в этой комнате. Он стоял, глядя на незнакомца. А комната была уже не та, она изменилась, потому что этот человек мгновенно, подобно молнии, преобразил ее своим отсветом.

Дуглас медленно отступил, когда незнакомец шагнул вперед.

Дверь захлопнулась перед носом Дугласа.

Деревянная вилка с картофельным пюре поднялась вверх и вернулась обратно пустой. Мистер Коберман — так его звали — принес с собой деревянную вилку и деревянный нож, когда бабушка позвала его обедать.

— Миссис Сполдинг, — тихо сказал он, — это мой собственный столовый прибор, пожалуйста, подавайте его. Сегодня я пообедаю, но с завтрашнего дня я буду только завтракать и ужинать.

Бабушка сновала то туда, то сюда, внося то супницу с дымящимся супом, то бобы, то картофельное пюре, дабы поразить нового постояльца, а Дуглас сидел и постукивал серебряной вилкой по тарелке, так как заметил, что это раздражает мистера Кобермана.

— А я фокус знаю, — сказал Дуглас. — Смотрите.

Он нащупал ногтем зубец вилки. Он тыкал пальцем в различные места на столе, словно волшебник. В том месте, на которое он указывал, раздавался, словно металлический волшебный голос, звук дрожащего зубца вилки. Делалось это, конечно, просто. Он тайком прижимал ручку вилки к столу. Дерево вибрировало, казалось, будто звучит доска. Словно совершалось колдовство.

— Там, там и там! — воскликнул счастливо Дуглас, вновь дергая вилку.

Он указал на суп мистера Кобермана, и звук раздался оттуда.

Орехового цвета лицо мистера Кобермана стало твердым, решительным и ужасным. Он в ярости отодвинул чашку с супом, губы у него дрожали. Он откинулся на стуле.

Появилась бабушка:

— Что случилось, мистер Коберман?

— Я не могу есть этот суп.

— Почему?

— Потому что я сыт и не в состоянии больше есть. Благодарю.

Мистер Коберман покинул комнату, сверкая глазами.

— Что ты тут устроил? — резко спросила бабушка Дугласа.

— Ничего. Бабушка, почему он ест деревянными приборами?

— Не твое дело! Кстати, когда тебе в школу?



— Через семь недель.

— О господи, — сказала бабушка.

Мистер Коберман работал по ночам. Каждое утро в восемь часов он таинственно возвращался домой, проглатывал крошечный завтрак, а затем беззвучно спал в своей комнате весь сонный жаркий день до вечера, потом плотно ужинал в компании остальных жильцов.

Из-за ритуала сна мистера Кобермана Дуглас обязан был вести себя тихо. Это было невыносимо. Поэтому, когда бабушка уходила в магазин, Дуглас громко топал на лестнице, стуча в барабан, колотя об пол мячиком, или просто орал минуты три перед дверью мистера Кобермана, или же семь раз подряд сливал воду в туалете.

Мистер Коберман не реагировал. В его комнате было тихо и темно. Он не жаловался. Ни звука не раздавалось оттуда. Он спал и спал. Это было непонятно.

Дуглас чувствовал, как где-то внутри его разгорается чистое белое пламя ненависти. Теперь эта комната превратилась в Страну Кобермана. Некогда она ярко сияла, когда там жила мисс Садлоу. Теперь она стала застывшей, обнаженной, холодной, чистой, все на своих местах, чужое и хрупкое.

На четвертое утро Дуглас поднялся наверх.

На полпути ко второму этажу находилось большое, полное солнца окно, состоящее из шестидюймовых кусков оранжевого, пурпурного, синего, красного и цвета бургундского вина стекла. Чарующими ранними утрами, когда солнечный луч падал сквозь него на лестничную площадку и скользил по перилам, Дуглас стоял у этого окна замороженный, разглядывая мир сквозь разноцветные стекла.

Вот синий мир, синее небо, синие люди, синие автомобили и синие семенящие собаки.

Он передвинулся к другому стеклу. Вот янтарный мир! Две лимонного цвета женщины вышагивали рядом, словно дочери Фу Манджу! Дуглас хихикнул. Сквозь это стекло даже солнце становилось более золотистым.

Было восемь часов. Внизу по тротуару брел мистер Коberman, возвращаясь с ночной работы; трость торчала из-под локтя, к голове приклеилась запатентованным маслом соломенная шляпа.

Дуглас приник к другому стеклу. Мистер Коberman — красный человек, в красном мире с красными деревьями и красными цветами и... чем-то еще.

Что-то с мистером Коbermanом.

Дуглас скосил глаза.

Красное стекло что-то выделявало с мистером Коbermanом. С его лицом, одеждой, руками. Одежда, казалось, тает. В одно ужасное мгновение Дуглас почти поверил, что он может смотреть *внутри* мистера Коbermanа. И то, что он увидел, заставило его сильнее прильнуть к крошечному красному стеклышку, моргая от удивления.

Мистер Коberman взглянул вверх, увидел Дугласа и замахнулся своей тростью-зонтиком словно для удара. Он быстро побежал по красной лужайке к входной двери.

— Молодой человек! — закричал он, взбежав вверх по лестнице. — Чем вы занимаетесь?

— Просто смотрю, — ошеломленно сказал Дуглас.

— И все? — крикнул мистер Коberman.

— Да, сэр. Я наблюдаю сквозь стекла. Всевозможные миры. Синие, красные, желтые. Все разные.

— Всевозможные миры, вот что! — Мистер Коberman взглянул на стекла, лицо его было бледным. Он взял себя в руки. Вытер лицо носовым платком, сился улыбнуться. — Да. Всевозможные миры. Разные. — Он подошел к двери комнаты. — Иди играй, — сказал он.

Дверь закрылась. В коридоре стало пусто. Мистер Коберман удалился.

Дуглас пожал плечами и приник к новому стеклу.

— Ах, все фиолетовое!

Где-то через полчаса, играя в песочнице за домом, Дуглас услышал грохот и оглушительный звон. Он подскочил.

Минуту спустя на заднем крыльце появилась бабушка. В ее руках дрожал старый ремень для правки бритв.

— Дуглас! Сколько раз я тебе говорила: не играй в мяч возле дома!

— А я здесь сидел! — запротестовал он.

— Иди посмотри, что ты наделал, противный мальчишка!

Большие куски оконного стекла, разбитые, радужным хаосом покрывали верхнюю площадку. Его мяч валялся среди осколков.

Прежде чем Дуглас успел сообщить о своей невинности, на его спину обрушилась дюжина жгучих ударов. Как он ни пытался увернуться, ремень снова находил его.

Позже, спрятавшись в песок, словно устрица, Дуглас делеял свою ужасную боль. Он знал, кто кинул этот мяч. Человек с соломенной шляпой и застывшим зонтиком и холодной, серой комнатой. Да, да, да. У него текли слезы. Ну погоди! Ну погоди!

Он слышал, как бабушка вымела разбитое стекло. Она вынесла его на улицу и выбросила в мусорный ящик. Синие, розовые, желтые метеориты стекла сыпались, сверкая, вниз.

Когда она ушла, Дуглас, скуля, потащился спасать три куска необычного стекла. Мистеру Коберману не нравятся цветные стекла. Значит — он позвенел ими в руках, — стоит их сохранить.

Каждый вечер дедушка возвращался из своей редакции газеты в пять часов, чуть раньше остальных жильцов. Когда в коридоре звучала медленная, тяжелая поступь и громко стучала толстая, красного дерева трость, Дуглас бежал, чтобы прижаться к большому животу и посидеть на дедушкином колене, пока тот читал вечернюю газету.

— Привет, дед!

— Привет, там внизу!

— Бабушка сегодня опять потрошила цыплят. Так интересно смотреть! — сказал Дуглас.

Дедушка ответил, не отрываясь от газеты:

— Цыплята уже во второй раз на этой неделе. Она цыплячья женщина. Тебе нравится смотреть, как она их потрошит, а? Хладнокровие с чужочкой перца! Ха!

— Просто я любопытный.

— Ты-то! — прогремыхал хмуро дедушка. — Помнишь тот день, когда погибла девушка на вокзале? Ты просто подошел и смотрел на кровь и все остальное. — Он засмеялся. — Чудак. Оставайся таким же. И не бойся ничего, никогда ничего не бойся. Я думаю, ты унаследовал это от своего отца, ведь он военный, а ты был очень близок ему, пока не переехал сюда в прошлом году. — Дед вернулся к своей газете.

Долгая пауза.

— Дед?

— Да?

— Вот если есть человек без сердца, легких или желудка, а он все равно ходит, живой?

— Это, — прогремыхал дед, — было бы чудом.

— Я не имею в виду... чудо. Я имею в виду, что если он совсем другой *внутри*. Не как я.

— Тогда бы он был не совсем человек, ведь так, мальчик?

— Наверное, дед. Дедушка, а у тебя есть сердце и легкие?

Дед фыркнул:

— По правде говоря, я не знаю. Никогда их не видел. Никогда не делал рентген, никогда не ходил к врачу. Может быть, там сплошная картошка, а что там еще — я не знаю.

— А у меня есть желудок?

— Конечно есть! — закричала бабушка, появляясь в дверях комнаты. — Я же кормлю его! И легкие у тебя есть, ты так громко орешь, что мертвых разбудишь. У тебя грязные руки, иди и вымой их! Ужин готов. Дед, пошли. Дуглас, шагай!

Если дед и намеревался продолжить с Дугласом таинственный разговор, то поток жильцов, спешащих вниз, лишил его этой возможности. Если ужин задержится еще, бабушка и картофель разгневаются одновременно.

Постояльцы смеялись и болтали за столом, мистер Коберман сидел с мрачным видом. Все затихли, когда дедушка прочистил горло. Несколько минут он рассуждал о политике, а потом перешел к интригующей теме о недавних загадочных смертях в городе.

— Этого достаточно, чтобы старый газетчик навострил уши, — сказал он, разглядывая их. — На этот раз юная мисс Ларссон, которая жила за оврагом. Найдена мертвой три дня назад, без видимых причин, вся покрытая необычной татуировкой и с таким странным выражением лица, что и Данте бы содрогнулся. И другая девушка, как ее звали? Уайтли? Она ушла и больше не вернулась.

— Ага, так оно всегда и бывает, — сказал, жуя, мистер Бритц, механик гаража. — Видели когда-нибудь списки в Агентстве по поиску пропавших? Такие длинные, — пояснил он. — И неизвестно, что случилось с большинством из них.

— Кому еще гарнир?

Бабушка раскладывала на равные части цыплячье ну-тро. Дуглас наблюдал, размышляя о том, что у цыпленка два вида внутренностей: созданные Богом и созданные человеком.

А как насчет *трех* видов внутренностей?

А?

Почему бы и нет?

Разговор продолжался о таинственных смертях тех-то и тех-то, и, ах да, помните, неделю назад Марион Варсумиан умерла от сердечного приступа, а может, это не связано? Или связано? Вы с ума сошли! Прекратите, почему нужно говорить об этом за ужином? Так.

— Никогда не узнаешь, — сказал мистер Бритц. — Может, у нас в городе вампир?

Мистер Коberman перестал есть.

— В тысяча девятьсот двадцать седьмом году? — сказала бабушка. — Вампир? Продолжайте.

— Ну да, — сказал мистер Бритц. — Их убивают серебряными пулями. Или еще чем-нибудь серебряным. Вампиры ненавидят серебро. Я когда-то где-то читал. Точно.

Дуглас взглянул на мистера Коbermana, который ел деревянными ножом и вилкой и носил в кармане только новые оловянные пенни.

— Глупо рассуждать о том, чего не понимаешь, — сказал дедушка. — Мы не знаем, что собой представляют хобгоблин, вампир или тролль. Это может быть все, что угодно. Нельзя распределить их по категориям, и увешать ярлыками, и говорить, что они ведут себя так или эдак. Это глупо. Они люди. Люди, которые совершают поступки. Да, именно так: люди, которые совершают поступки.

— Простите, — сказал мистер Коberman, встав из-за стола и отправившись на свою ночную работу.

Звезды, луна, ветер, тиканье часов, звон будильника на рассвете, восход солнца, и снова утро, и снова день, и мистер Коберман шагает по тротуару со своей ночной работы. Подобно крошечному заведенному механизму с внимательными глазами-микроскопами, Дуглас следил.

В полдень бабушка ушла в бакалейную лавку.

Дуглас, как всегда, начал орать перед дверью мистера Кобермана. Как обычно, ответа не последовало. Тишина была ужасающей.

Он сбегал вниз, взял ключ, серебряную вилку и три куска цветного стекла, которые он спас. Он вставил ключ в скважину и медленно отворил дверь.

В комнате стоял полумрак, занавески опущены. Мистер Коберман в пижаме лежал поверх постельного белья, грудь его вздымалась. Он не шевелился. Лицо было неподвижно.

— Привет, мистер Коберман!

Бесцветные стены отражали равномерное дыхание человека.

— Мистер Коберман, привет!

Дуглас пошел в атаку, начав стучать в мяч. Он завопил. Нет ответа.

— Мистер Коберман! — Дуглас ткнул серебряной вилкой в лицо человека.

Мистер Коберман вздрогнул. Он скорчился. Он громко простонал.

Реакция. Хорошо. Блестяще.

Дуглас вынул из кармана кусок синего стекла. Глядя сквозь синее стекло, он очутился в синей комнате, в синем мире, не похожем на мир, который он знал. Такой же непохожий, как и красный мир. Синяя мебель, синяя кровать, синие потолок и стены, синяя деревянная посуда на синем бюро, и синее мрачное лицо мистера Кобермана, и руки, и синяя вздымающаяся, опадающая грудь. Еще...

Широко раскрытые глаза мистера Кобермана буравили его голодным, темным взглядом.

Дуглас отпрянул и отвел от глаз синее стекло.

Глаза мистера Кобермана были закрыты.

Снова синее стекло — открыты. Синее стекло прочь — закрыты. Снова синее — открыты. Прочь — закрыты. Странно. Дрожа от возбуждения, Дуглас ставил опыт. Синее стекло — глаза, казалось, пялились голодным, алчным взглядом сквозь сомкнутые веки. Без синего стекла казалось, что они крепко сжаты.

Но тело мистера Кобермана...

Пижама на мистере Кобермане растаяла. Так на нее подействовало синее стекло. А может, она растаяла потому, что была *на* мистере Кобермане. Дуглас вскрикнул.

Он глядел сквозь живот мистера Кобермана прямо *внутри*.

Мистер Коберман был геометричен.

Или что-то вроде этого.

Внутри его виднелись необычные фигуры странных очертаний.

Минут пять пораженный Дуглас размышлял о синих мирах, красных мирах, желтых мирах, сосуществующих подобно кускам стекла большого окна на лестнице. Одно за другим, цветные стекла, всевозможные миры; мистер Коберман сам так сказал.

Так вот почему разноцветное окно было разбито.

— Мистер Коберман, проснитесь!

Нет ответа.

— Мистер Коберман, где вы работаете по ночам? Мистер Коберман, где вы работаете?

Легкий ветерок шевельнул синюю оконную занавеску.

— В красном мире или зеленом, а может, в желтом, мистер Коберман?

Над всем царила синяя стеклянная тишина.

— Подождите-ка, — сказал Дуглас.



Он спустился вниз на кухню, раскрыл большой скрипучий ящик и вынул самый острый, самый длинный нож.

Тихонечко он вышел в коридор, снова взобрался по лестнице вверх, открыл дверь в комнату мистера Кобермана, вошел и закрыл ее, держа в руке острый нож.

Бабушка была занята проверкой корочки пирога в печке, когда Дуглас вошел в кухню и положил что-то на стол.

— Бабушка, это что?

Она мельком взглянула поверх очков:

— Не знаю.

Это что-то было квадратным, как коробка, и эластичным. Это было ярко-оранжевым. К нему были присоединены четыре квадратные трубки синего цвета. Оно странно пахло.

— Ты когда-нибудь видела такое, бабушка?

— Нет.

— Так я и думал.

Дуглас оставил это на столе и вышел из кухни. Через пять минут он вернулся с чем-то еще.

— А это?

Он положил ярко-розовую цепочку с пурпурным треугольником на конце.

— Не мешай мне, — сказала бабушка. — Это цепочка.

В следующий раз у него были заняты обе руки. Кольцо, квадрат, треугольник, пирамида, прямоугольник и... другие фигуры. Все они были эластичные, упругие и, казалось, сделаны из желатина.

— Это не все, — сказал Дуглас, кладя их на стол. — Там их еще много.

Бабушка сказала:

— Да-да, — далеким, очень занятым голосом.

— Ты ошибаешься, бабушка.

— В чем?

— В том, что люди одинаковые внутри.

- Не болтай ерунды.
- Где моя свинья-копилка?
- На камине, где ты ее бросил.
- Спасибо.

Он протопал в общую комнату за свиньей-копилкой. В пять часов из конторы пришел дедушка.

- Дед, пошли наверх.
- Ага. Зачем?

— Я хочу тебе кое-что показать. Оно некрасивое, но интересное.

Дедушка с крихтением последовал за внуком наверх в комнату мистера Кобермана.

— Бабушке не стоит говорить: ей не понравится, — сказал Дуглас. Он широко распахнул дверь. — Вот.

Дедушка замер.

Последние несколько часов Дуглас запомнил на всю жизнь. Следователь со своими помощниками стоял у обнаженного тела мистера Кобермана. Бабушка внизу около лестницы спрашивала кого-то:

— Что там происходит?

И дедушка дрожащим голосом говорил:

— Я увезу Дугласа надолго, чтобы он позабыл этот кошмар. Кошмар, кошмар!

Дуглас сказал:

— Что тут плохого? Ничего плохого я не видел. Мне не плохо.

Следователь вздрогнул и сказал:

— Коберман мертв.

Его помощник вытер пот.

— Видел эти штуки в банках и в бумаге?

— Боже мой, Боже мой, да, видел.

— Господи Иисусе Христе.

Следователь снова склонился над телом мистера Кобермана.

— Лучше держать все в секрете, ребята. Это не убий-

ство. То, что совершил мальчик, — это милосердие. Бог знает что бы произошло, если бы он этого не сделал.

— Так кто же Коберман? Вампир? Чудовище?

— Вероятно. Не знаю. Что-то... не человек. — Следователь ловко провел руками вдоль шва.

Дуглас гордился своей работой. Ему пришлось повозиться. Он внимательно следил за бабушкой и все запомнил. Иголку, нитку и все остальное. В целом мистер Коберман был аккуратно зашит, как любой цыпленок, когда-либо засунутый бабушкой в пекло.

— Я слышал, как мальчик говорил, будто Коберман жил даже после того, как эти штуки были вынуты из него. — Следователь смотрел на треугольники, цепи, пирамиды, плавающие в банке с водой. — Продолжал жить, Господи.

— Мальчик это сказал?

— Сказал.

— Так что же тогда убило Кобермана?

Следователь вытянул несколько ниток из шва.

— Это... — сказал он.

Солнце холодно блеснуло на наполовину приоткрытом кладе: шесть долларов и семьдесят центов серебром в животе у мистера Кобермана.

— Я думаю, что Дуглас сделал мудрое помещение капитала, — сказал следователь, быстро сшивая плоть над «сокровищем».

---

### **ЖИЛА-БЫЛА СТАРУШКА**

---

— Нет-нет, и слушать не хочу. Я уже все решила. Забери свою плетенку — и скатертью дорога. И что это тебе взбрело в голову? Иди, иди отсюда, не мешай: мне еще надо вязать и кружева плести, какое мне дело до всяких черных людей и их дурацких затей!

Темноволосый молодой человек, весь в черном, стоял не двигаясь и слушал тетушку Тилди. А она не давала ему и рта раскрыть.

— Слыхал, что я сказала? Уж если тебе невтерпеж со мной потолковать, что ж, изволь, только не обессудь, я покуда налью себе кофе. Вот так-то. Был бы ты повежливей, я бы и тебя угостила, а то ворвался с таким важным видом, даже и постучать-то не подумал. Будто это он тут хозяин.

Тетушка Тилди пошарила у себя на коленях.

— Ну вот, теперь со счета сбилась — которая же это была петля? А все из-за тебя. Я вяжу себе щаль. Зимы нынче пошли страх какие холодные, в доме сквозняки так и гуляют, а я старая стала, и кости все высохли, надо одеваться потеплее.

Черный человек сел.

— Этот стул старинный, ты с ним поосторожней, — предупредила тетушка Тилди. — Ну давай, что ты там хотел мне сказать, я слушаю со вниманием. Только не ори во всю глотку и не смей таращить на меня глаза, какие-то в них огоньки чудные горят. Господи помилуй, у меня от них прямо мурашки бегают.

Фарфоровые, расписанные цветами часы на камине пробили три. В прихожей ждали какие-то люди. Неподвижно, точно истуканы, стояли они вокруг плетеной корзины.

— Так вот, насчет этой плетенки, — сказала тетушка Тилди. — В ней добрых шесть футов, и, видать, корзина эта не бельевая. И нести ее вчетвером просто смешно, она же легкая как пушинка.

Черный человек наклонился к тетушке Тилди. Он словно хотел сказать, что скоро корзина уже не будет такой легкой.

— Погоди, погоди, — задумчиво сказала тетушка Тилди. — Где ж это я видала такую корзину? И вро-

де бы не так уж давно, года два назад. Сдается мне... А, вспомнила. Да это же когда померла моя соседка миссис Дуайр.

Тетушка Тилди в сердцах поставила чашку на стол.

— Так вот ты с чем пожаловал? А я-то думала, ты хочешь мне что-нибудь продать. Ну погоди, к вечеру приедет из колледжа моя Эмили, она тебе покажет, где раки зимуют! На прошлой неделе я послала ей письмо. Понятно, я не написала, что здоровье у меня уж не то и бойкости прежней тоже нет, только намекнула, что хочу ее повидать — соскучилась, мол. Нью-Йорк-то откуда за тридевять земель. А ведь Эмили мне все равно как дочка. Вот погоди, она тебе покажет, любезный мой. Она тебя как шуганет из этой гостиной, и ахнуть не успеешь...

Черный человек посмотрел на тетушку Тилди с жалостью — мол, устала, бедняжка.

— А вот и нет! — огрызнулась она.

Полузакрыв глаза, расслабив все тело, гость покачивался на стуле взад-вперед, взад-вперед. Он отдыхал. «Неужто и ей не хочется отдохнуть?» — казалось, бормотал он. Отдохнуть, отдохнуть, славно отдохнуть...

— Ах, чтоб тебе пусто было. Смотри, что выдумал! Этими самыми руками — не гляди, что они такие костлявые, — я связала сто шалей, двести свитеров и шестьсот грелок на чайники! Уходи-ка ты подобру-поздорову, а когда я сдамся, тогда вернешься, может, я с тобой и потолкую, — перевела разговор тетушка Тилди. — Давай-ка я лучше расскажу тебе про Эмили, про мое милое, дорогое дитя.

Она задумалась, покивала головой. Эмили... у нее волосы, точно золотой колос, и такие же шелковистые.

— Не забыть мне день, когда умерла ее мать; двадцать лет назад это было, и Эмили осталась со мной. Оттого-то я и злюсь на вас да на ваши плетенки. Где это слыхано,

чтоб за доброе дело человека в гроб уложили? Нет, любезный, не на такую напал. Помню я...

Тетушка Тилди умолкла; воспоминание кольнуло ей сердце. Много-много лет назад, под вечер, она услышала слабый, прерывающийся голос отца.

— Тилди, — шепнул он, — как ты будешь жить? Ты такая неугомонная, вот никто рядом с тобой и не остается. Поцелуешь да и бежишь прочь. Пора бы утомониться. Вышла бы замуж, растила бы детей.

— Я люблю смеяться, дурачиться и петь, папа! — крикнула в ответ Тилди. — Я не из тех, кто хочет замуж. Мне не найти жениха по себе, у меня ведь своя философия.

— Какая такая у тебя философия?

— А вот такая: у смерти ума ни на грош! Надо же — утащить у нас маму, когда мама была нам нужней всего! По-твоему, это разумно?

Глаза отца повлажнели, стали грустные, пасмурные.

— Ты права, Тилди, права, как всегда. Но что же делать? Смерти никому не миновать.

— Драться надо! — воскликнула Тилди. — Бить ее ниже пояса! Не верить в нее!

— Это невозможно, — печально возразил отец. — Каждый из нас встречается со смертью один на один.

— Когда-нибудь все переменится, папа. Отныне я кладу начало новой философии! Да ведь это просто дурасть какая-то: живешь совсем недолго, а потом, оглянуться не успеешь, тебя заруют в землю, будто ты зерно; только ничего из тебя не вырастет. Что ж тут хорошего? Люди лежат в земле миллион лет, а толку никакого. И люди-то какие — милые, славные, порядочные или уж, во всяком случае, старались быть получше.

Но отец не слушал. Он вдруг побелел и как-то выцвел, точно забытая на солнце фотография. Тилди пыталась удержать его, отговорить, но он все равно умер.

Она повернулась и убежала. Не могла она оставаться: ведь он сделался холодный и самим этим холодом отрицал ее философию. Она и на похороны не пошла. Ничего она не стала делать, только открыла тут, в старом доме, лавку древностей и жила одна-одинешенька, пока не появилась Эмили. Тилди не хотела брать девочку. Вы спросите почему? Да потому, что Эмили верила в смерть. Но мать Эмили была старинной подругой Тилди, и Тилди обещала ей не оставить сироту.

— За все эти годы никто, кроме Эмили, не жил со мной под одной крышей, — рассказывала тетушка Тилди черному человеку. — Замуж я так и не вышла. Страшно подумать: проживешь с мужем двадцать, тридцать лет, а потом он возьмет да и умрет прямо у тебя на глазах. Тогда все мои убеждения развалились бы, точно картонный домик. Вот я и пряталась от людей. При мне о смерти никто и заикнуться не смел.

Черный человек слушал ее терпеливо, вежливо. Но вот он поднял руку. Она еще и рта не раскрыла, а по его темным, с холодным блеском глазам видно было: он знает наперед все, что она скажет. Он знал, как она вела себя во время Второй мировой войны, знал, что она навсегда выключила у себя в доме радио, и отказалась от газет, и выгнала из своей лавки и стукнула зонтиком по голове человека, который непременно хотел рассказать ей о вторжении, о том, как длинные волны неторопливо накатывались на берег и, отступая, оставляли на песке цепи мертвецов, а луна молча освещала этот небывалый прилив.

Черный человек сидел в старинном кресле-качалке и улыбался: да, он знал, как тетушка Тилди пристрастилась к старым задушевым пластинкам. К песенке Гарри Лодера «Скитаясь в сумерках...», и к мадам Шуман-Хинк, и к колыбельным. В мире этих песенок все шло гладко, не было ни заморских бедствий, ни смертей, ни отравле-

ний, ни автомобильных катастроф, ни самоубийств. Музыка не менялась, изо дня в день она оставалась все той же. Шли годы, тетушка Тилди пыталась обратить Эмили в свою веру. Но Эмили не могла отказаться от мысли, что люди смертны. Однако, уважая тетушкин образ мыслей, она никогда не заговаривала о... о вечности.

Черному человеку все это было известно.

— И откуда ты все знаешь? — презрительно фыркнула тетушка Тилди. — Короче говоря, если ты еще не совсем спятил, так и не надейся — не уговоришь меня лечь в эту дурацкую плетенку. Только попробуй тронь, и я плюну тебе в лицо!

Черный человек улыбнулся. Тетушка Тилди снова презрительно фыркнула.

— Нечего скалиться. Стара я, чтоб меня обхаживать. У меня душа будто старый тюбик с краской, в ней давным-давно все пересохло.

Послышался шум. Часы на каминной полке пробили три. Тетушка Тилди метнула на них сердитый взгляд. Это еще что такое? Они ведь, кажется, уже только что били три? Тилди любила свои белые часы с золотыми голенькими ангелочками, которые заглядывали на циферблат, любила их бой, точно у соборных колоколов, — мягкий и словно бы доносящийся издалека.

— Долго ты намерен тут сидеть, милейший?

— Да, долго.

— Тогда уж не обессудь, я подремлю. Только смотри, не вставай с кресла. И не смей ко мне подкрадываться. Я закрываю глаза просто потому, что хочу соснуть. Вот так. Вот так...

Славное, покойное, отдохновенное время. Тихо. Только часы тикают, хлопотливые, словно муравьи. В старом доме пахнет полированным красным деревом, истертыми кожаными подушками дедовского кресла, книгами, теснящимися на полках. Славно. Так славно...



— Ты не встаешь, сударь, нет? Смотри не вставай. Я слежу за тобой одним глазом. Да-да, слежу. Право слово. Ох-хо-хо-хо-хо.

Как невесомо. Как сонно. Как глубоко. Прямо как под водой. Ах, как славно.

Кто там бродит в темноте?.. Но ведь глаза у меня закрыты?

Кто там целует меня в щеку? Это ты, Эмили? Нет, не ты. А, я знаю, это мои думы. Только... только все это во сне. Господи, так оно и есть. Меня куда-то уносит, уносит, уносит...

А? Что? Ох!

— Погодите-ка, только очки надену. Ну вот!

Часы снова пробили три. Стыдно, мои дорогие, просто стыдно. Придется отдать вас в починку.

Черный человек стоял у дверей. Тетушка Тилди удовлетворенно кивнула.

— Все-таки уходишь, милейший? Пришлось тебе сдаться, а? Меня не уговоришь, где там, я упрямая. Из этого дома меня не выманить, так что и не трудись, не приходи понапрасну!

Черный человек неторопливо, с достоинством поклонился.

Нет, у него и в мыслях не было приходить сюда еще раз.

— То-то, я всегда говорила папе, что будет по моему! — провозгласила тетушка Тилди. — Я еще тысячу лет просижу с вязаньем у этого окна. Если хочешь меня отсюда вытащить, придется тебе разобрать весь дом по досточке.

Черный человек сверкнул на нее глазами.

— Что глядишь на меня, будто кот, который слопал канарейку! — воскликнула тетушка Тилди. — Забирай отсюда свою дурацкую плетенку!

Четверо тяжелой поступью пошли вон из дома. Тилди внимательно смотрела, как они управляют с пустой корзиной, — они пошатывались под ее тяжестью.

— Эй, вы! — Она встала, дрожа от гнева. — Вы что, утащили мои древности? Или, может, книги? Или часы? Что вы напихали в свою плетенку?

Черный человек, самодовольно посвистывая, повернулся к ней спиной и поспешил за носильщиками к выходу. В дверях он кивнул на плетенку и показал тетушке Тилди на крышку. Знаками он приглашал ее приоткрыть крышку и заглянуть внутрь.

— Ты это мне? Чего я там не видала? Больно надо. Убирайся вон! — крикнула тетушка Тилди.

Черный человек нахлобучил шляпу, небрежно, безо всякого почтения поклонился.

— Прощай! — Тетушка Тилди захлопнула дверь.

Вот так-то. Так-то оно лучше. Ушли. Будь они неладны, олухи, эка что выдумали. Пропали она пропадом, их плетенка. Если и утащили что, шут с ними, лишь бы ее самое оставили в покое.

«Смотри-ка! — Тетушка Тилди заулыбалась. — Вон идет Эмили, приехала из колледжа. Самое время. А хороша! Одна походка чего стоит. Но что это она какая бледная, совсем на себя не похожа, и идет еле-еле. С чего бы это? И невеселая какая-то. Вот бедняжка. Принесу-ка поскорей кофе и печенье».

Вот Эмили уже поднимается по ступенькам. Торопливо собирая на стол, тетушка Тилди слышит ее медленные шаги — девочка явно не спешит. Что это с ней приключилось? Она прямо как осенняя муха.

Дверь распаивается. Держась за медную ручку, Эмили останавливается на пороге.

— Эмили? — окликает тетушка Тилди.

Тяжело волоча ноги, повесив голову, Эмили входит в гостиную.

— Эмили! А я тебя жду, жду! Ко мне тут приходил один дурак с плетенкой. Хотел мне что-то всучить совсем ненужное... Хорошо, что ты уже дома, сразу как-то уютнее...

Но тут тетушка Тилди замечает, что Эмили глядит на нее во все глаза.

— Что случилось, Эмили? Чего ты на меня уставилась? Садись-ка к столу, я принесу тебе чашечку кофе. На, пей!

...Да что ж ты от меня пятишься?

...А кричать-то зачем, детка? Перестань, Эмили, перестань! Успокойся! Разве можно, этак и ум за разум зайдет. Вставай, вставай, нечего валяться на полу и в угол забиваться нечего. Ну что ты вся съезжилась, девочка, я же не кусаюсь!

...Господи, не одно, так другое.

...Да что случилось, Эмили? Девочка...

Закрыв лицо руками, Эмили глухо стонет.

— Ну-ну, детка, — шепчет тетушка Тилди. — Ну успокойся, выпей водички. Выпей водички, Эмили, вот так.

Эмили широко раскрывает глаза, что-то видит, снова жмурится и, вся дрожа, пытается совладать с собой.

— Тетушка Тилди, тетушка Тилди, тетушка...

— Ну, хватит! — Тилди шлепает ее по руке. — Что с тобой такое?

Эмили через силу открывает глаза. Протягивает руку. Рука проходит сквозь тетушку Тилди.

— Что это тебе взбрело в голову! — кричит Тилди. — Сейчас же убери руку! Убери руку, слышишь!

Эмили отпрянула, затрясла головой; золотая солнечная копна вся затрепетала.

— Тебя здесь нет, тетушка Тилди. Ты мне привиделась. Ты умерла!

— Тсс, малышка.

— Тебя просто не может тут быть.

— Бог с тобой, что ты болтаешь?..

Она берет руку Эмили. Рука девушки проходит сквозь ее руку. Тетушка Тилди вдруг вскакивает, топает ногой.

— Вон что, вон что! — сердито кричит она. — Ах ты, враль! Ах ворюга! — Ее худые руки сжимаются в кулаки, да так, что даже суставы белеют. — Ах злодей, черный мерзкий пес! Он украл его! Он его уволок, да, да, это все он, он! Ну я ж тебе!..

Она вся кипит от гнева. Ее выцветшие глаза горят голубым огнем. Она захлебывается, ей не хватает слов. Потом поворачивается к Эмили:

— Вставай, девочка! Ты мне нужна!

Эмили лежит на полу, ее трясет.

— Они не всю меня утащили! — провозглашает тетушка Тилди. — Черт возьми, придется пока обойтись тем, что осталось. Подай мне шляпку!

— Я боюсь, — признается Эмили.

— Кого, меня?!

— Да.

— Но я же не призрак! Ты ведь знаешь меня почти всю свою жизнь. Сейчас не время нюни распускать. Поднимайся, да поживей, не то получишь затрещину!

Всклипывая, Эмили поднимается на ноги; она совсем как загнанный зверек и словно прикидывает, куда бы удрать.

— Где твоя машина, Эмили?

— Там, в гараже...

— Прекрасно! — Тетушка Тилди подталкивает ее к двери. — Ну.. — Ее острые глазки быстро обшаривают улицу. — В какой стороне морг?

Держась за перила, Эмили нетвердыми шагами спускается по лестнице.

— Что ты задумала, тетушка?

— Что задумала? — переспрашивает тетушка Тилди, ковыляя следом; бледные дряблые щеки ее дрожат от ярости. — Как что? Отберу у них свое тело — и вся недолга! Отберу свое тело! Пошли!

Мотор взревел, Эмили вцепилась в руль, напряженно вглядывается в извилистые, мокрые от дождя улицы. Тетушка Тилди потрясает зонтиком.

— Быстрее, девочка, быстрее, не то эти привереды прозекторы впрыснут в мое тело какое-нибудь зелье, и освежат, и разделают на части. Разрежут, а потом так сошьют, что оно уже никуда не будет годиться.

— Ох, тетушка, тетушка, отпусти меня, зря мы туда едем. Все равно толку не будет. Ну никакого толку, — вздыхает девушка.

— Вот мы и приехали.

Эмили затормозила у обочины и без сил привалилась к рулю, а тетушка Тилди выскочила из машины и засеменила по подъездной аллее морга туда, где с блестящих черных дорог сгружали плетеную корзину.

— Эй! — накинулась она на одного из четверых носильщиков. — Поставьте ее наземь!

Все четверо подняли головы.

— Посторонитесь, сударыня, — говорит один из них. — Не мешайте дело делать.

— В эту плетенку запихали мое тело! — Тилди воинственно взмахнула зонтиком.

— Ничего не знаю, — говорит второй носильщик. — Не стойте на дороге, сударыня. У нас тяжелый груз.

— Вот еще! — оскорбленно восклицает она. — Да будет вам известно, что я вешу всего сто десять фунтов.

Носильщик даже не смотрит на нее.

— Ваш вес нам без надобности. А вот мне надо поспеть домой к ужину. Коли опоздаю, жена меня убьет.

И четверо пошли своей дорогой — по коридору, в прозекторскую. Тетушка Тилди припустилась за ними.

Длиннолицый человек в белом халате нетерпеливо поджидал корзину и, завидев ее, удовлетворенно улыбнулся. Но тетушка Тилди на него и не смотрела, жадное

нетерпение, написанное на его лице, ее мало трогало. Поставив корзину, носильщики ушли.

Мельком глянув на тетушку, человек в белом халате сказал:

— Сударыня, даме здесь не место.

— Очень приятно, что вы так думаете, — обрадовалась она. — Именно это я и пыталась втолковать вашему черному человеку.

Прозектор удивился:

— Что еще за черный человек?

— А тот, который околачивался возле моего дома.

— Среди наших служащих такого нет.

— Не важно. Вы сейчас очень разумно заявили, что благородной даме здесь не место. Вот я и не хочу здесь оставаться. Я хочу домой, пора готовить ветчину для гостей, ведь Пасха на носу. И еще надо кормить Эмили, вязать свитеры, завести все часы в доме...

— У вас, я вижу, философский склад ума, сударыня, и приверженность к добрым делам, но мне надо работать. Доставлено тело.

Последние слова он произносит с явным удовольствием и принимается разбирать свои ножи, трубки, склянки и разные прочие инструменты.

Тилди свирепеет:

— Только дотроньтесь до этого тела, я вам...

Он отмахивается от нее, как от мухи.

— Джордж, проводи, пожалуйста, эту даму, — вкрадчиво говорит он.

Тетушка Тилди встречает идущего к ней Джорджа яростным взглядом:

— Пошел вон, дурак!

Джордж берет ее за руки:

— Пройдите, пожалуйста.

Тилди высвобождается. С легкостью. Ее плоть вроде бы... ускользнула. Чудны дела твои, Господи. В таком почтенном возрасте — и вдруг новый дар.

— Видали? — говорит она, гордая этим своим талантом. — Вам со мной не сладить. Отдавайте мое тело!

Прозектор небрежно открывает корзину. Заглядывает внутрь, кидает быстрый взгляд на Тилди, снова — в корзину, вглядывается внимательней... Это тело... кажется... возможно ли?... А все-таки... да... нет... нет... да нет же, не может быть, но... Он переводит дух. Оборачивается. Таращит глаза. Потом испытующе прищуривается.

— Сударыня, — осторожно начинает он. — Эта дама вот здесь... э... ваша... э... родственница?

— Очень близкая родственница. Обращайтесь с ней поосторожнее.

— Сестра, наверно? — хватается он за ускользящую соломинку здравого смысла.

— Да нет же. Вот непонятливый! Это я, слышите? Я! Прозектор обдумывает эту идею.

— Нет, так не бывает, — говорит он. И принимается перебирать инструменты. — Джордж, позови кого-нибудь себе в помощь. Я не могу работать, когда в комнате полоумная.

Возвращаются те четверо. Тетушка Тилди вызывающе скидывает голову.

— Не сладите! — кричит она, но ее, точно пешку на шахматной доске, переставляют из прозекторской в мертвецкую, в приемную, в зал ожидания, в комнату для прощаний и наконец в вестибюль. Тут она опускается на стул, стоящий на самой середине. В сумрачной тишине вестибюля стоят скамьи, пахнет цветами.

— Ну вот, сударыня, — говорит один из четверых. — Здесь тело будет находиться завтра, до начала отпевания.

— Я не сдвинусь с места, пока не получу то, что мне надо.

Плотно сжав губы, она теревит бледными пальцами кружевной воротник и нетерпеливо постукивает по по-

лу ботинком на пуговках. Если кто подходит поближе, она бьет его зонтиком. А стоит кому-либо ее тронуть — и она... ну да, она просто ускользает.

Мистер Кэррингтон, президент похоронного бюро, услышал шум и приковылял в вестибюль разузнать, что случилось.

— Тсс, тсс, — шепчет он направо и налево, прижимая палец к губам. — Имейте уважение, имейте уважение. Что тут у вас? Не могу ли я быть вам полезен, сударыня?

Тетушка Тилди смерила его взглядом:

— Можете.

— Чем могу служить?

— Подите в ту комнату в конце коридора, — распорядилась тетушка Тилди.

— Д-да-а?

— И скажите этому рьяному молодому исследователю, чтоб оставил в покое мое тело. Я — девица. И не желаю никому показывать свои родинки, родимые пятна, шрамы и прочее, и что нога у меня подворачивается — тоже мое дело. Нечего ему во все совать нос, трогать, резать — еще, того гляди, что-нибудь повредит.

Мистер Кэррингтон не понимает, о чем речь, он ведь еще не знает, что за тело находится в прозекторской. И он глядит на тетушку Тилди растерянно и беспомощно.

— Чего он уложил меня на свой стол, я ж не голубь какой-нибудь, меня незачем потрошить и фаршировать! — сказала Тилди.

Мистер Кэррингтон кинулся выяснять, в чем дело. Прошло пятнадцать минут; в вестибюле стояла напряженная тишина, а там, за дверями прозекторской, шел отчаянный спор; наконец, бледный и осунувшийся, мистер Кэррингтон возвратился.

Очки свалились у него с носа, он поднял их и сказал:

— Вы нам очень осложняете дело.



— Я?! — расшарилась тетушка Тилди. — Святые угодники, да что же это такое! Послушайте, мистер Кожа-дакости или как вас там, так, по-вашему, это я осложняю?

— Мы уже выкачиваем кровь из... из этого...

— Что?!

— Да-да, уверяю вас. Так что вам придется уйти. Теперь уже ничего нельзя сделать. — Он нервно засмеялся. — Сейчас наш прозектор произведет частичное вскрытие и определит причину смерти.

Тетушка Тилди вскочила как ошпаренная.

— Да как он смеет! Это позволено только судебным экспертам!

— Ну, нам иногда тоже кое-что позволяется...

— Сейчас же отправляйтесь назад и велите вашему Режь-не-жалей сию минуту перекачать всю отличную благородную кровь обратно в это тело, покрытое прекрасной кожей, и если он уже что-нибудь вытащил из него, пускай тут же приладит на место, да чтоб все работало как следует, и бодрое, здоровое тело пускай вернет мне. Слышали, что я сказала?

— Но я ничего не могу поделать. Ни-че-го.

— Ну вот что. Я не сдвинусь с места хоть двести лет. Ясно? И распугаю всех ваших клиентов, буду пускать им прямо в нос эманацию!

Ошеломленный Кэррингтон кое-как пораскинул мозгами и даже застонал:

— Но вы погубите нашу фирму! Неужели вы решитесь?

— Еще как решусь! — усмехнулась тетушка Тилди.

Кэррингтон кинулся в темный зал ожидания. Даже издали слышно было, как он судорожно крутит телефонный диск. Спустя полчаса к похоронному бюро с ревом подкатили машины. Три вице-президента в сопровождении перепуганного президента прошествовали в зал ожидания.

— Ну, в чем тут дело?

Переменяя свою речь отменными проклятиями, тетушка все им растолковала.

Президенты стали держать совет, а прозектора попросили приостановить свои занятия хотя бы до тех пор, пока не будет достигнуто какое-то соглашение... Прозектор вышел из своей комнаты и стоял тут же, курил большую черную сигару и любезно улыбался.

Тетушка Тилди воззрилась на сигару.

— А пепел вы куда стряхиваете? — в страхе спросила она.

Попыхивая сигарой, прозектор невозмутимо ухмыльнулся.

Наконец совет был окончен.

— Скажите по чести, сударыня, вы ведь не пустите нас по миру, а?

Тетушка оглядела стервятников с головы до пят:

— Ну, это бы я с радостью.

Кэррингтона прошиб пот, он отер лицо платком.

— Можете забрать свое тело.

— Ха! — обрадовалась Тилди. Но тут же опасливо спросила: — В целостности-сохранности?

— В целостности-сохранности.

— Без всякого формальдегида?

— Без всякого формальдегида.

— С кровью?

— Да с кровью же, забирайте его, ради бога, и уходите!

Тетушка Тилди чопорно кивнула.

— Ладно. По рукам. Приведите его в порядок.

Кэррингтон обернулся к прозектору:

— Эй, вы, бестолочь! Нечего стоять столбом. Приведите все в порядок, живо!

— Да смотрите не сыпьте пепел куда не надо! — прикрикнула тетушка Тилди.

— Осторожней, осторожней! — командовала тетушка Тилди. — Поставьте плетенку на пол, а то мне в нее не влезть.

Она не стала особенно разглядывать тело. «Вид самый обыкновенный», — только и заметила она. И опустила в корзину.

И сразу вся словно заledenела; потом ее отчаянно затошнило, закружилась голова. Теперь вся она была точно капля расплавленной материи, точно вода, что пыталась бы просочиться в бетон. Это долгий труд. И тяжкий. Все равно что бабочке, которая уже вышла из куколки, сызнанова втиснуться в старую жесткую оболочку.

Вице-президенты со страхом наблюдали за тетушкой Тилди. Мистер Кэррингтон то ломал руки, то взмахивал ими, то тыкал пальцами в воздух, будто этим мог ей помочь. Прозектор только недоверчиво посматривал, да посмеивался, да пожимал плечами.

«Просачиваюсь в холодный, непроницаемый гранит. Просачиваюсь в замороженную старую-престарую статую. Втискиваюсь, втискиваюсь...»

— Да оживай же, черт возьми! — прикрикнула тетушка Тилди. — Ну-ка, приподнимись!

Тело чуть привстало, зашуршали сухие прутья корзины.

— Не ленись, согни ноги!

Тело слепо, ошупью поднялось.

— Увидь! — скомандовала тетушка Тилди.

В слепые, затянутые пленкой глаза проник свет.

— Чувствуй! — подгоняла тетушка Тилди.

Тело вдруг ощутило теплый воздух, а рядом — жесткий лабораторный стол и, тяжело дыша, оперлось на него.

— Шагни!

Тело ступило вперед — медленно, тяжело.

— Услышь! — приказала она.

В оглохшие уши ворвались звуки: хриплое, нетерпеливое дыхание потрясенного прозектора, хныканье мистера Кэррингтона, ее собственный трескучий голос.

— Иди! — сказала тетушка Тилди.

Тело пошло.

— Думай!

Старый мозг заработал.

— Говори!

— Премного обязано. Благодарствую.

И тело отвесило поклон содержателям похоронного бюро.

— А теперь, — сказала наконец тетушка Тилди, — плачь!

И заплакала блаженно-счастливыми слезами.

И отныне, если вам вздумается навестить тетушку Тилди, вам стоит только в любой день часа в четыре подойти к ее лавке древностей и постучаться. На двери висит большой траурный венок. Не обращайтесь внимания. Тетушка Тилди нарочно его оставила, такой уж у нее нрав! Постучитесь. Дверь заперта на две задвижки и на три замка.

— Кто там? Черный человек? — услышится пронзительный голос.

Вы, смеясь, ответите: нет-нет, тетушка Тилди, это я.

И она, тоже смеясь, скажет: «Входите побыстрей!» — распахнет дверь и мигом захлопнет ее за вами, так что черному человеку нипочем не проскользнуть. Потом она усадит вас, и нальет вам кофе, и покажет последний связанный ею свитер. Уже нет в ней прежней бодрости, и глаза стали сдавать, но держится она молодцом.

— Если будете вести себя примерно, — провозгласит тетушка Тилди, отставив в сторону чашку кофе, — я вас кое-чем попотчую.

— Чем же? — спросит гость.

— А вот, — скажет тетушка, очень довольная, что ей есть чем похвастать, и шуткой своей довольная.

Потом неторопливо отстегнет белое кружево на шее и на груди и чуточку его раздвинет.

И на миг вы увидите длинный синий шов — аккуратно зашитый разрез, что был сделан при вскрытии.

— Недурно сшито, и не подумаешь, что мужская работа, — снисходительно скажет она. — Что? Еще чашечку кофе? Пейте на здоровье!

---

### ВОДОСТОК

---

Весь день лил дождь, и свет уличных фонарей едва пробивался сквозь серую мглу. Сестры уже долго сидели в гостиной. Одна из них, Джулиет, вышивала скатерть; младшая, Анна, пристроилась возле окна и смотрела на темную улицу и темное небо.

Анна прислонилась лбом к оконной раме, однако губы ее шевелились, и наконец, словно после долгого размышления, она сказала:

— Мне это никогда раньше не приходило в голову.

— Ты о чем? — спросила Джулиет.

— Просто я сейчас подумала... Ведь на самом деле здесь, под городом, еще один город. Мертвый город, прямо тут, у нас под ногами.

Джулиет сделала стежок на белом полотне.

— Отойди от окна. Этот дождь как-то странно на тебя влияет.

— Нет, правда! Разве ты никогда раньше не думала о водостоке? Ведь он пронизывает весь город, его туннели — под каждой улицей, и по ним можно ходить, даже не наклоняя головы. Они ветвятся повсюду и в конце концов выводят прямо в море, — говорила Анна, замороженно глядя, как капли дождя за окном разбивают-

ся об асфальт тротуара, как дождь льется с неба и исчезает, стекая вниз сквозь канализационные решетки на углах перекрестка. — А тебе не хотелось бы жить в водостоке?

— Мне бы не хотелось!

— Так здорово — я хочу сказать, если бы об этом больше никто-никто не знал! Жить в водостоке и подглядывать за людьми сквозь прорези решеток, смотреть на них, когда они тебя не видят! Как в детстве, когда мы играли в прятки: бывало, спрячешься, и никто тебя не может найти, а ты все время сидишь совсем рядом с ними в укромном уголке, в безопасности, и тебе тепло и весело. Мне это ужасно нравилось. Должно быть, если живешь в водостоке, чувствуешь себя так же.

Джулиет медленно подняла глаза от вышивки.

— Анна, ты моя сестра, не так ли? Ты ведь когда-то родилась, разве нет? Только вот иногда, когда ты что-нибудь такое говоришь, мне начинает казаться, будто мама в один прекрасный день нашла тебя в капусте, принесла домой, посадила в горшок и вырастила вот до таких размеров. И ты какой была, такой всегда и останешься.

Анна ничего не ответила. Джулиет снова взялась за иголку. Комната была совершенно бесцветной, и ни одна из сестер никак не оживляла ее серости. Минут пять Анна сидела, склонив голову к окну. Наконец она повернулась и, глядя куда-то вдаль, сказала:

— Наверно, ты подумаешь, что мне снился сон. Я имею в виду, пока я тут сидела и думала. Пожалуй, Джулиет, это и впрямь было сном.

На этот раз в ответ промолчала Джулиет.

Анна продолжала шепотом:

— Видно, вся эта вода меня как бы усыпила, и тогда я стала размышлять о дожде, откуда он берется и куда потом девается, исчезая в тех маленьких щелях у тротуаров, а потом подумала о резервуарах, которые глубо-

ко внизу. И вдруг увидела там их: мужчину.. и женщину. Внизу, в водостоке, под улицей.

— И зачем же они там оказались? — с любопытством спросила Джулиет.

— А разве нужна какая-то причина? — отозвалась Анна.

— Нет, разумеется, не нужна, если они ненормальные, — сказала Джулиет. — Тогда никаких причин не требуется. Сидят в своем водостоке, и пусть себе сидят.

— Но ведь они не просто сидят в этом туннеле, — проговорила Анна, склонив голову к плечу. Глаза ее двинулись под прикрытыми веками, как будто она куда-то смотрела. — Нет, эти двое влюблены друг в друга.

— Бог ты мой, — усмехнулась Джулиет, — неужели это любовь загнала их туда?

— Нет, они там уже много-много лет, — ответила Анна.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что они годами живут вместе в этом водостоке? — с недоверием спросила Джулиет.

— Я разве говорила, что они живы? — удивилась Анна. — Нет, конечно. Они мертвые.

Дождь, словно дробь, неистово бил в стекло, капли сливались вместе и струйками стекали вниз.

— Вот как, — обронила Джулиет.

— Да, — с нежностью в голосе произнесла Анна, — мертвые. Он мертвый, и она мертвая. — Казалось, мысль ей понравилась. Слово это было интересное открытие, и она им гордилась. — Он, наверно, очень одинокий человек, который никогда в жизни не путешествовал.

— Откуда ты знаешь?

— Он похож на людей, которые ни разу не путешествовали, но всегда этого хотели. Можно определить по глазам.

— Так ты знаешь, как он выглядит?

— Да. Очень большой и очень красивый. Ну, как это иногда бывает, когда болезнь делает мужчину красивым. От болезни его лицо становится таким худым.

— И он мертвый? — спросила старшая сестра.

— Уже пять лет. — Анна говорила мягко, ее веки то приоткрывались, то опускались, как будто она собиралась поведать длинную историю, которую хорошо знала, и хотела начать ее не спеша, а потом говорить все быстрее и быстрее, покада рассказ полностью не закрутит в своем вихре ее самое — с расширившимися глазами и приоткрывшимся ртом. Но сейчас она говорила медленно, голос ее лишь слегка дрожал. — Пять лет назад этот человек шел вечером по улице. Он знал, что это та самая улица, по которой он уже много раз ходил и по которой еще множество вечеров подряд ему предстоит ходить. Так вот, он подошел к люку — такой большой круглой крышке посередине улицы — и услышал, как у него под ногами бежит река, понял, что под этой железной крышкой мчится поток и впадает прямо в море. — Анна слегка вытянула правую руку. — Он медленно нагнулся и поднял крышку водостока. Заглянув вниз, увидел, как бурлят пена и вода, и подумал о женщине, которую он хотел любить — и не мог. Тогда он по железным скобам спустился в люк и исчез...

— А что случилось с ней? — спросила Джулиет, не отрываясь от своей работы. — Когда умерла она?

— Точно не знаю. Она там совсем недавно. Она умерла только что, как будто прямо сейчас. Но она действительно мертва. И очень красива, очень. — Анна любовалась образом, возникшим у нее в голове. — По-настоящему красивой женщину делает смерть, и прекраснее всего она становится, если утонет. Тогда из нее уходит вся напряженность, волосы ее развеваются в воде, подобно клубам дыма. — Она удовлетворенно кивнула: — Никто и ничто на земле не в состоянии научить женщину двигаться с такой задумчивой легкостью и грацией, сде-



лать ее столь гибкой, струящейся и совершенной. — Анна попробовала передать эту легкость, грацию и зыбкость движением своей большой, неуклюжей и грубой руки.

— Все эти пять лет он ждал ее, но до сего дня она не знала, где он. И вот теперь они там и будут вместе всегда. В дождливое время года они будут оживать. А сухая погода — иногда это тянется по нескольку месяцев — будет для них периодом долгого отдыха: лежат себе в маленьких потайных нишах, как те японские водяные цветы, совершенно высохшие, старые, сморщенные и тихие.

Джулиет встала и зажгла еще одну небольшую лампу в углу гостиной.

— Мне бы не хотелось, чтобы ты продолжала тему.

Анна засмеялась:

— Ну давай я расскажу тебе, как это начинается, как они вновь оживают. У меня все продумано. — Она наклонилась вперед, опершись локтями о колени и пристально глядя на улицу, на дождь, на горловины водостока. — Вот они лежат в глубине, высохшие и тихие, а высоко над ними в небесах скапливаются водяные пары и электричество. — Она откинула рукой назад свои тусклые, седеющие волосы. — Сначала весь верхний мир осыпают мелкие капельки, потом сверкает молния и раздаётся раскат грома. Это закончился сухой сезон: капли становятся больше, они падают и катятся по водосточным трубам, желобам, водоотводам, канавам. Они несут с собой обертки от жевательной резинки, бумажки, автобусные билеты!

— Сейчас же отойди от окна.

Анна вытянула перед собой руки и продолжала:

— Я знаю, что делается там, под тротуаром, в большом квадратном резервуаре. Он огромный и совершенно пустой, потому что уже много недель наверху ничего не было, кроме солнечного света. Если скажешь слово, то в ответ раздаётся эхо. Стоя там, внизу, можно услышать только, как наверху проезжает грузовик — где-то

очень высоко над тобой. Весь водосток пересох, словно полая верблюжья кость в пустыне, и затаился в ожидании.

Анна подняла руки, как будто сама стояла в резервуаре и ждала чего-то.

— И вот появляется крохотный ручеек. Он течет по полу. Словно там, наверху, кого-то ранили, и у него из раны сочится кровь. Вдруг слышится гром. А может, это просто проехал грузовик?

Теперь она говорила немного быстрее, но поза ее была по-прежнему спокойна.

— А сейчас вода уже течет со всех сторон. По всем желобам вливаются все новые струйки — как тонкие шнурки или маленькие змейки табачного цвета. Они движутся, сплетаются друг с другом и наконец образуют как бы один могучий мускул. Вода катится по гладкому замусоренному полу. Отовсюду — с севера и с юга, с других улиц — мчатся потоки воды и сливаются в единый бурлящий водоворот. И вода поднимается, постепенно заливая две небольшие пересохшие ниши, о которых я тебе говорила, постепенно окружает этих двоих, мужчину и женщину, — те лежат там, как японские цветки.

Она медленно соединила ладони и переплела пальцы.

— Влага проникает в них. Сначала вода, приподняв, слегка шевелит кисть женщины. Это пока единственная живая часть ее тела. Затем поднимается вся рука и одна нога. Ее волосы... — Анна тронула свои волосы, лежащие у нее на плечах, — расплетаются и раскрываются, словно цветок в воде. Сомкнутые голубые веки...

В комнате стало темнее, Джулиет продолжала вышивать, а Анна все говорила о своих видениях. Она рассказывала, как вода, поднимаясь, захватила и развернула женщину, как ее тело, напившись влагой, расправились, и она встала в полный рост.

— Вода небезразлична к этой женщине и позволяет делать то, чего ей хочется. Женщина, после того как

столько времени пролежала неподвижно, готова опять жить, и вода хочет, чтобы она ожила. А где-то в другом месте мужчина так же поднялся в воде...

Анна рассказывала об этом и о том, как поток, медленно кружа, нес его и ее, пока они не встретились.

— Вода открывает им глаза. Теперь они могут смотреть, но пока не видят друг друга. Они плывут рядом, еще не соприкасаясь. — Анна, закрыв глаза, слегка повернула голову. — Они смотрят друг на друга. Их тела светятся, как будто фосфоресцируют. Они улыбаются... Вот — их руки коснулись.

Наконец Джулиет отложила свое шитье и пристально посмотрела на сестру.

— Анна!

— Поток соединяет их. Они плывут вместе. Это совершенная любовь, где нет места для собственного «я», где существуют только два тела, подхваченные водой, которая их омывает и очищает. Здесь нет места для порока.

— Анна! Нехорошо говорить такие вещи! — воскликнула ее сестра.

— Нет же, все нормально, — возразила Анна, на мгновение повернувшись к ней. — Они ведь не думают, правда? Просто они так глубоко внизу, такие тихие, и их ничто не заботит...

Она медленно и осторожно, положив правую ладонь на левую, сплетала и расплетала дрожащие пальцы. Через залитое дождем окно пробивался неяркий весенний свет и, проходя сквозь бегущие по стеклу струи, падал на ее руки, отчего они казались призраками, кружащими друг вокруг друга в толще серой воды. Анна дорассказала свой короткий сон:

— Он, высокий и спокойный, с раскинутыми руками, — Анна жестом показала, как он высок и легок в воде, — и она, миниатюрная, тихая и податливая. — Анна поглядела на сестру. — Они мертвы, им некуда деться, никому до них нет дела. И вот они там, их ничто не

тревожит, о них никто ничего не знает. Их тайное убежище — глубоко под землей, в водах резервуара. Они касаются друг друга руками и губами, а когда оказываются у горловины водостока под перекрестком, поток подхватывает их обоих и увлекает своим течением. А потом... — она развела руки в стороны, — может быть, они пускаются в путешествие под всеми улицами и плывут бок о бок, то погружаясь, то всплывая, то кружась в безумном танце, когда попадают в случайные водовороты. — Анна взмахнула руками, дождь окатил водой окно. — И они приближаются к морю, проплывая под городом по туннелям водостока, под одной улицей, под другой... Дженеси-авеню, Креншоу, Эдмонд-плэйс, Вашингтон, Мотор+сити, набережная — и наконец океан. Они плывут туда, куда пожелает вода, та носит их по всей планете, а потом они снова попадают в водосток и, проплыв под десятком табачных и винных лавок, дюжиной бакалейных магазинов, кинотеатров, под вокзалом и шоссе номер 101, опять оказываются в резервуаре под ногами тридцати тысяч человек, которые даже не знают и не задумываются о его существовании.

... Теперь голос Анны снова звучал сонно и тихо:

— А потом... Пролетели дни, и на улицах перестал греметь гром. Прекратился дождь. Кончился дождливый сезон. В туннелях с потолка больше не капает. Вода спадает. — Казалось, она была этим огорчена и расстроена. — Река вытекла в океан. Мужчина и женщина чувствуют, что вода мало-помалу опускает их на пол. И вот они внизу. — Анна плавно положила руки на колени и с грустью посмотрела на них. — Через их ноги уходит жизнь, которую им принесла вода. Сейчас вода, утекая, укладывает их на пол, рядом друг с другом, и туннели высыхают. И они лежат там. Наверху во всем мире уже светит солнце. А они спят в темноте — до следующего раза. До следующего дождя.

Теперь руки ее лежали на коленях ладонями вверх.

— Милый мужчина, прелестная женщина, — пробормотала Анна. Склонила голову к себе на ладони и крепко закрыла глаза.

Потом вдруг выпрямилась в своем кресле и зло посмотрела на сестру.

— А ты знаешь, кто этот мужчина? — с горечью воскликнула она.

Джулиет не ответила. Вот уже минут пять она, пораженная происходящим, затаив дыхание, наблюдала за сестрой. Ее губы побледнели и приоткрылись.

Анна почти закричала:

— Этот мужчина — Фрэнк, вот кто он! А женщина — я!

— Анна!

— Да, это Фрэнк, там, внизу!

— Но Фрэнка нет уже несколько лет, и, конечно, Анна, он не там!

Теперь Анна говорила, не обращаясь ни к кому в отдельности, но как бы сразу ко всем — к Джулиет, к окну, к стене, к улице.

— Бедный Фрэнк. — Она заплакала. — Я знаю, он ушел именно туда. Он не мог больше оставаться нигде в этом мире! Его мать отняла у него весь мир! Он увидел водосток и понял, какое это прекрасное и укромное место. Ах, бедный Фрэнк. И несчастная, бедная я! Никого у меня нет, кроме сестры. Ах, Джулиет, ну почему я не удержала Фрэнка, пока он еще был здесь? Почему я не дралась, чтобы отвоевать его у матери?

— Прекрати сейчас же, ты слышишь, сию же минуту!

Анна, беззвучно всхлипывая, отошла в угол около окна. Через несколько минут она услышала голос Джулиет:

— Ну, ты закончила?

— Что?

— Если ты успокоилась, помоги мне закончить вот это, а то у меня что-то не получается.

Анна подняла голову и подошла к сестре.

— Что нужно сделать? — спросила она.

— Вот здесь и здесь, — показала ей Джулиет.

— Хорошо, — кивнула Анна, взяла скатерть и села у окна.

Ее пальцы проворно управлялись с иглой и ниткой, время от времени она смотрела в окно на непрекращающийся дождь и видела, как темно стало теперь на улице и в комнате, как трудно уже разглядеть круглую чугунную крышку водостока. За окном в черных сумерках различались только редкие вспышки и какие-то отблески. Вот молния прорезала небо, разорвав паутину дождя...

Прошло с полчаса. На другом конце гостиной Джулиет откинулась в кресле, сняла очки, положила их рядом на столик, прикрыла глаза и задремала. Секунд через тридцать она вдруг услышала, что входная дверь громко хлопнула, до нее донеслись шум ветра и стук удаляющихся шагов — сначала по дорожке, а потом вниз по темной улице.

— Что? — спросила Джулиет, привстав в кресле и нащупывая свои очки. — Кто там? Анна, к нам приходил кто-нибудь? — Она поглядела на пустое кресло у окна, где сидела сестра. — Анна! — крикнула Джулиет. Она вскочила и выбежала в прихожую.

Дверь была распахнута, и сквозь ее проем прихожая наполнялась чудесной мглой морозящего дождя.

— Она просто вышла на минутку, — сказала Джулиет, стоя на пороге и вглядываясь в сырую черноту. — Она сейчас вернется. Ведь ты сейчас вернешься, Анна, дорогая моя? Анна, сестренка, отвечай, ты же обязательно вернешься сейчас?

Где-то на улице открылась и с грохотом захлопнулась крышка водостока.

Всю ночь на улице что-то шептал дождь, падая на закрытую чугунную крышку.

ДЕНЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ

---

— Они идут, — с закрытыми глазами произнесла лежащая на кровати Сеси.

— Где они? — воскликнул Тимоти, еще не войдя в комнату.

— Одни над Европой, другие над Азией, некоторые — над Островами, иные — над Южной Америкой, — сказала Сеси, по-прежнему не открывая глаз. Ее длинные ресницы слегка подрагивали.

Тимоти вошел в обитую простыми досками чердачную комнату:

— А кто там?

— Дядя Эйнар, и дядя Фрай, и кузен Вильям, и еще я вижу Фрульду, и Хелгара, и тетю Моргиану, и кузину Вивиану, и еще дядю Йохана! Они очень быстро приближаются к нам!

— Они прямо в небе? — воскликнул Тимоти и заморгал небольшими серыми глазами.

Он стоял возле кровати сестры и выглядел не старше своих четырнадцати лет. На улице бушевал ветер, дом был погружен в темноту и освещался только звездами.

— Они приходят сквозь воздух и путешествуют по земле — кому как удобнее, — произнесла Сеси сквозь сон, не пошевелившись на кровати; она вглядывалась в себя и сообщала то, что видела: — Вот волкоподобное существо, бредет вдоль реки по отмели, над водопадом; свет звезд искрится в его шерсти. Я вижу коричневый дубовый листок, летящий высоко в небе. Я вижу небольшую летучую мышь. Я вижу множество других, пробегающих по макушкам деревьев и проскальзывающих сквозь ветви кроны; и все они идут сюда!

— Они успеют к следующей ночи? — Тимоти вцепился в край простыни. Паук на своей ниточке раскачивался подобно черному маятнику, словно танцует. Он наклонился к сестре. — Ко Дню возвращения?!

— Да-да, Тимоти, — кивнула Сеси и словно бы оцепенела. — Не спрашивай меня больше. Уходи. Дай мне побыть в любимых местах.

— Спасибо, Сеси, — сказал он и поспешил в свою комнату. Быстро застелил кровать — проснулся он недавно, на закате, и, едва на небе высыпали звезды, отправился к Сеси, чтобы поделиться с ней предвкушением праздника. А теперь она спала, и так тихо, что из ее комнаты не доносилось ни звука. Пока Тимоти умывался, паучок оплел его тонкую шею серебряным лассо.

— Паук, ты только представь, завтрашняя ночь — это Канун всех святых!

Тимоти вытер лицо и взглянул в зеркало. Оно было единственным во всем доме, такую уступку его хворям сделала мать. Ох, если бы он не был таким болезненным! Раскрыв рот, он увидел жалкие, несоразмерные зубы, которыми наделила его природа. Покатые, мелкие и тусклые зернышки кукурузы. Настроение сразу ухудшилось.

Было уже совершенно темно, и Тимоти зажег свечу. Чувствовал он себя совершенно вымотанным, под глазами — синяки. Прошедшую неделю вся семья жила на старинный лад. Днем спали, а с закатом поднимались и брались за дела.

— Паук, со мной что-то совсем не так, — тихо сказал он маленькому созданию. — Я даже днем, как остальные, спать не могу.

Он взял подсвечник. Ох, ему бы крепкие челюсти, с режцами, как стальные шины! Или сильные руки. Или острый ум. Или хотя бы умение отправлять на свободу свое сознание, как Сеси. Увы, он был не самым удачливым созданием. Он даже вздрогнул и поднес свечу ближе к себе — боялся темноты. Братья над ним потешаются. Байон, Леонард и Сэм. Смеются, что спит он в постели. С Сеси — по-другому, для нее постель как инструмент, необходимый, чтобы посылать свое сознание на охоту.



А Тимоти, разве он спит, подобно другим, в чудесном полированном ящике? Нет! Мать позволяет ему иметь собственную комнату, кровать, даже зеркало. Ничего удивительного, что вся семья относится к нему как к своему несчастью. Если бы только крылья прорезались сквозь лопатки... Он задрал рубашку, через плечо глянул в зеркало. Нет. Никаких шансов.

Снизу доносились возбуждающие любопытство загадочные звуки; лоснящийся черный креп украсил все помещения, лестницы и двери. Шипение горящих плошек с салом на площадке лестницы. Слышен высокий и жесткий голос матери, ну а голос отца множится эхом в сыром погребе. Байон вошел в старинный сельский дом, волоча громадные двухгаллоновые кувшины.

— Мне пора идти готовиться к празднику, паук, — сказал Тимоти. Паук крутился на конце своей ниточки, и Тимоти почувствовал себя одиноко. Он надраит все ящики, насобирает пауков и поганок, будет развешивать повсюду траурный креп, но едва начнется праздник, как о нем позабудут. Чем сына-недотепу меньше видно и слышно — тем лучше.

Словно сразу сквозь весь дом внизу пробежала Лаура.

— Возвращение домой! — весело кричала она, и шаги ее раздавались сразу всюду.

Тимоти снова прошел мимо комнаты Сеси — та мирно спала. Раз в месяц она спускалась вниз, а обычно так и лежала в постели. Милая Сеси. Он мысленно спросил ее: «Где ты теперь, Сеси? В ком? Что видно? Не за холмами ли ты? Как там живут?» Но зашел не к ней, а в комнату Элен. Та сидела за столом, сортируя пряди волос: светлых, рыжих, темных — и кривые обрезки ногтей. Все это она собрала, работая маникюршей в салоне красоты деревни Меллин, милях в пятнадцати отсюда. В углу комнаты стоял большой ящик из красного дерева, и на нем была табличка с ее именем.

— Уходи, — сказала она, даже не взглянув на брата. — Не могу работать, когда ты, остолоп, рядом.

— Канун Дня всех святых, Элен, подумай только! — сказал он, стараясь быть дружелюбным.

— Фу-у-у. — Она сложила обрезки ногтей в небольшой белый пакетик и надела его. — Тебе-то что? Что ты об этом знаешь? Только перепугаешься до смерти. Шел бы лучше обратно в кровать.

— Мне надо почистить и надраить ящики, и еще кое-что сделать, и прислуживать, — покраснел Тимоти.

— А если не уйдешь, то с утра обнаружишь у себя в кровати дюжину сырых устриц, — бесцветным голосом продолжила Элен. — Гуляй, Тимоти.

Разозлившись, он не глядя побежал по лестнице и налетел на Лауру.

— Смотри, куда прешь, — прошипела она сквозь зубы. И унеслась прочь.

Тимоти поспешил к открытой двери погреба, вдохнул сырой, пахнувший землей воздух.

— Папа?

— Самое время! — крикнул отец снизу. — Быстро сюда, а то не управимся к их прибытию.

Тимоти мгновение помедлил — чтобы расслышать миллион звуков, заполнивших дом. Братья приходили и выходили, как поезда на станции, переговаривались, спорили. Казалось, если постоять тут минуту, то со всевозможными вещами в бледных руках мимо пройдут все домочадцы: Леонард с маленьким черным докторским саквояжем; Сэмюэл с громадной, в переплете из черных дощечек книгой под мышкой несет новые ленты крепа; Байон курсирует между машиной и домом, таская все новые галлоны питья.

Отец прекратил работать и передал тряпку Тимоти. Стукнул по громадному ящику из красного дерева:

— Давай-давай, надрай-ка этот, и примемся за следующий. А то жизнь проспичь.

Навошивая поверхность, Тимоти заглянул внутрь:

- А дядя Эйнар большой, да?
- Угу..
- А какой большой?
- Ну ты ведь сам видишь ящик.
- Я же только спросил. Футов семь?
- Болтаешь ты много.

Около девяти Тимоти вышел в октябрьскую темноту. Ветер был ни теплый, ни холодный, и часа два он ходил по лугам, собирая поганки и пауков. Его сердце вновь забилося в предвкушении праздника. Сколько, мама говорила, родственников будет? Семьдесят? Сто? Он миновал строения фермы. «Вы бы только знали, что происходит у нас в доме», — сказал он, обращаясь к клубящимся облакам. Взойдя на холм, поглядел в сторону расположенного поодаль города, уже погружившегося в сон. Циферблат часов на ратуше издалика казался совершенно белым. Вот и в городе ничего не знают. Домой он принес много банок с поганками и пауками.

Недолгая церемония прошла в небольшой часовенке в нижнем этаже. Она была похожа на обычные, которые проводились годами: отец декламировал темные строки, прекрасные, будто выточенные из слоновой кости; руки матери двигались в ответных благословениях. Тут собрались и все дети, за исключением Сеси, так и оставшейся в кровати наверху. Но Сеси все равно присутствовала. Можно было заметить, как она смотрит то глазами Байона, то Сэмюэла, то матери; движение — и она в тебе, а через мгновение снова исчезла.

Тимоти молился Его Темноте, в животе у него словно комок лежал. «Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне вырасти, помоги мне стать таким, как мои сестры и братья. Не позволяй мне быть другим. Если бы я только умел приделывать волосы к пластмассовым куклам, как Элен, или делать так, чтобы люди в меня влюблялись, как умеет

Лаура, или читать странные книги, как Сэм, или занимал бы хорошую должность, как Леонард и Байон. Или даже завел когда-нибудь семью, как отец и мать...»

В полночь дом сотряс первый шквал урагана. Свет врезался в окна ослепительно-белыми стрелами. Ураган приближался, разведывая окрестности, проникал всюду, рыхлил сырую ночную землю. И вот входная дверь, наполовину сорванная с петель, замерла в оцепенении, и в дом вошли бабушка и дедушка, прямо как в прежние времена!

После этого гости прибывали каждый час. Порхание и мельтешение подле бокового окна, стук в парадные двери, поскребывания с черного хода. Шорохи в подвале, завывания осеннего ветра в печной трубе. Мать наполняла большую пуншевую чашу багровой жидкостью из кувшинов, привезенных Байоном. Отец вносил в комнаты все новые горящие сальные плашки, Лаура и Элен развешивали всюду пучки волчьей ягоды. А Тимоти потерянно стоял среди этого безумного возбуждения; его руки держались во все стороны, взгляд не мог остановиться ни на чем. Хлопанье дверей, смех, звук льющейся жидкости, темнота, завывания ветра, шум перепончатых крыльев, шаги, приветственные восклицания на крыльце, прозрачное дребезжание оконных переплетов, мелькающие, наплывающие, колышущиеся, слоющиеся тени.

— Ладненько, ладненько, а это, должно быть, Тимоти?!

— Что?

Его коснулась чья-то холодная рука. Сверху глядело вытянутое косматое лицо.

— Хороший парень, чудный парень, — произнес незнакомец.

— Тимоти, — сказала мама, — это дядя Джейсон.

— Здравствуйте, дядя Джейсон.

— А вот там... — Мать увлекла дялю Джейсона дальше. Он, уходя, обернулся через плечо и подмигнул Тимоти.

Тот снова остался один.

И, будто с расстояния в тысячу миль, из мерцающей темноты донесся высокий и мелодичный голос Элен:

— А мои братья и в самом деле очень умны. Угадайте, чем они занимаются, тетя Моргана!

— Представления не имею.

— Они заправляют городским похоронным бюро.

— Что? — оторопела тетушка.

— Да! — Пронзительный смех. — Не правда ли, бесценное местечко?

Снова смех. Тимоти замер на месте.

— Они добывают средства к существованию матери, отцу, всем нам. Кроме, конечно, Тимоти...

Повисла тяжелая тишина. Голос дяди Джейсона:

— Ну? Выкладывай, что там с Тимоти?

— Ох, Лаура, твой язычок... — вздыхает мать.

Лаура раскрывает рот, Тимоти зажмуривается.

— Тимоти не любит... ну хорошо, ему не нравится кровь. Он у нас чувствительный.

— Он выучится, — говорит мать. — Он привыкнет, — говорит она жестко. — Он мой сын, и он научится. Ему еще только четырнадцать.

— А я этим вскормлен, — сказал дядя Джейсон, его голос переходил из одной комнаты в другую. Ветер снаружи играл деревьями, как на арфе, в оконное стекло брызнули мелкие капли дождя. — Вскормлен... — И голос пропал в тишине.

Тимоти прикусил губу и открыл глаза.

— Видимо, это моя вина. — Теперь мать показывала гостям кухню. — Я пыталась заставить его. Но детей ведь нельзя заставлять, это только сделает им больно, и они никогда не обретут любви к правильным вещам. Вот Байон, ему было тринадцать, когда...

— Понятно, — пробормотал дядя Джейсон. — Думаю, что Тимоти исправится...

— Уверена в этом, — с вызовом ответила мать.

Огоньки свечей колыхались, как тени, и скрещивались во всей дюжине затхлых комнат. Тимоти озяб. Вдохнув запах горящего сала, он машинально взял свечу и пошел по дому, делая вид, что расправляет ленты крепа.

— Тимоти, — прошептал кто-то возле стены, с придыханием и присвистом. — Тимоти боится темноты!

Голос Леонарда. Ненавистный Леонард!

— Мне нравятся свечи, вот и все, — с упреком прошептал Тимоти.

Вспышка, сильный грохот. Каскады раскатистого смеха. Постукивания и шелчки, восклицания и шелест одежд. Холодный и влажный туман валит сквозь переднюю дверь. А среди тумана приводит в порядок свои крылья высокий и статный мужчина.

— Дядя Эйнар!

Тимоти бросился со всех своих худых ног вперед, прямо сквозь туман, в сторону зеленых колышущихся теней, и с разбегу влетел в распростертые ему навстречу объятия Эйнара. Дядя поднял его.

— У тебя есть крылья, Тимоти. — Он подбросил мальчика легко, как головку чертополоха. — Крылья, Тимоти. Летай!

Лица внизу закружились, темнота пришла в движение. Дом пропал, Тимоти почувствовал себя легким ветерком. Он взмахнул руками; пальцы Эйнара поймали его и снова подкинули к потолку. Потолок надвигался, словно падающая стена.

— Лети, Тимоти! — кричал Эйнар своим глубоким голосом. — Маши крыльями, маши!

Он чувствовал сладостный зуд в лопатках, как будто оттуда росли корни, вырывались наружу, чтобы вернуться новенькими влажными перепонками. Он лепетал какие-то безумные слова. Эйнар еще раз швырнул его кверху.

Осенний ветер приливом вломился в дом, дождь обрушился вниз, раскачивая балки, гася пламя свечей. И вся сотня родственников, всех сортов и размеров, выглядывала из черных зачарованных комнат, втягиваясь, будто в водоворот, туда, где Эйнар удерживал ребенка, словно жезл посреди ревущих пространств.

— Довольно! — крикнул Эйнар.

Тимоти, опущенный на доски пола, в изнеможении рухнул перед ним, счастливо рыдая:

— Дядя, дядя, дядя!

— Неплохая штука — летать, а, Тимоти?! — усмехнулся дядя Эйнар, склоняясь к мальчику и ероша ему волосы. — Хорошая, хорошая...

Дело шло к утру. Большинство гостей прибыло, и все уже собирались отправиться в постели и беззвучно, без движения проспать до следующего заката, когда настанет пора выбираться из роскошных сундуков и начинать кутеж.

Дядя Эйнар двинулся к погребу вместе с остальными. Мать указывала им дорогу к множеству рядов отполированных ящиков. Крылья, словно из парусины цвета морской волны, тянулись за Эйнаром, терлись друг о друга со странным свистом, а когда задевали за что-нибудь, то слышался мягкий звук, будто кто-то постукивал по барабанным перепонкам.

Тимоти лежал наверху, думал свои нелегкие думы и пытался полюбить темноту. В темноте ведь можно делать множество вещей, за которые люди тебя никогда не будут критиковать, потому что никогда этого не увидят. Он в самом деле любил ночь, но любовь эта была неполной: иной раз вокруг было так много ночи, что кричать хотелось.

В подвале бледные руки захлопывали крышки ящиков. Некоторые родственники копошились, устраиваясь в углах, — головы на руки, веки прикрыты. Солнце взшло. Все уснули.

Закат. Пирушка началась, словно в один миг разлетелось гнездовье летучих мышей — с воплями, шелестом, свистом. С громким стуком распахивались дверки ящичков, из подвальной сырости наверх понесся топот ног. Припозднившиеся гости стучались и с парадного, и с черного входа; их впускали.

На улице дождило, промокшие гости скидывали свои плащи, вымокшие шапки, забрызганные накидки и отдавали их Тимоти, который относил добро в чулан. Комнаты были набиты до предела. Смех кузины, раздавшийся в одной из комнат, отражался от стен другой, рикошетил, петлял, закладывал виражи и возвращался в уши Тимоти уже из четвертой комнаты, но в точности такой же циничный и ехидный, каким был сначала.

По полу пробежала мышь.

— Узнаю вас, Niece Leibersrouter! — воскликнул отец.

Мышь прошмыгнула между ног трех женщин и скрылась в углу. Несколькоми мгновениями позже в углу, будто из ниоткуда, возникла прекрасная женщина и так там и стояла, улыбаясь всем собравшимся своей белозубой улыбкой.

Кто-то приткнул к запотевшему оконному стеклу кухни. Он вздыхал, и стонал, и стучал, прижавшись к стеклу, но Тимоти ничего не мог сделать; он ничего не видел. Сейчас он был не здесь. Вокруг шел дождь, дул ветер, и темнота затягивала его в себя. В доме танцевали вальсы; высокие сухопарые фигуры делали пируэты в такт чужеземной музыке. Лучи звезд мерцали в поднимаемых бутылках, а паучок упал и не спеша зашагал по полу.

Тимоти вздрогнул. Он снова был в доме. Мать отправляла его сбегать туда, сбегать сюда, помочь, услужить, сходить на кухню, принести это, забрать тарелки, разнести еду.. и... весь праздник вращался вокруг него, вот только — без него, не для него. Дюжины толпящихся гостей толкались, отпихивали его, не замечали.



Наконец он выбрался из давки и проскользнул наверх.

— Сеси, — сказал он мягко, — ты где теперь, Сеси?

— В Императорской долине, — слабо пробормотала она после недолгого молчания. — Возле Солтон-Си, неподалеку от грязевых гейзеров. Там пар, испарения и очень спокойно. Я вошла в жену фермера и сижу на переднем крыльце. Я могу заставить ее двигаться, если захочу; могу заставить делать что угодно. Солнце клонится к земле.

— И как там все?

— Слышно, как свистят гейзеры, — сказала она медленно, как если бы разговаривала в церкви. — Маленькие серые клубы пара поднимаются в кипящей грязи, как лысый человек в густом сиропе, головой кверху. Серые пузыри поднимаются, будто резиновые, и разрываются с таким звуком, с каким мокрые губы шлепают друг о друга. И пушистые перья пара вырываются из распоровшейся ткани. Тут густой сернистый запах, пахнет древними временами. Будто там до сих пор варится динозавр. Десять миллионов лет.

— И он еще там?

— Да. — Томные слова медленно падали из ее рта. — Из головы этой женщины я гляжу по сторонам, смотрю на озеро; оно не движется и такое спокойное, что даже боязно. Я сижу на крыльце и жду возвращения мужа. Время от времени плещет рыба. Долина, озеро, несколько машин, деревянная веранда, мое кресло-качалка, я сама, тишина.

— Что теперь, Сеси?

— Я встаю с кресла-качалки, — сказала она.

— Да?

— Я схожу с крыльца, глядя в сторону гейзеров. В небе летают самолеты; они словно доисторические птицы. И там спокойно, так спокойно.

— А ты надолго останешься в ней, Сеси?

— Пока достаточно не услышу, и не увижу, и не почувствую; пока я каким-нибудь образом не изменю слегка ее жизнь. Я спускаюсь с крыльца вдоль деревянных перил. Мои ноги медленно, утомленно ступают по дощатым ступеням.

— А что теперь?

— Теперь вокруг меня сернистый пар. Я смотрю, как лопаются и оседают пузыри. Птица проносится над моей макушкой. Внезапно я уже в птице и — лечу прочь! И в полете своими новыми, маленькими, как стеклянные бусинки, глазами вижу, что женщина внизу делает по настилу два-три шага вперед, к гейзеру. Слышу звук, будто в расплавленную глубину нырнул валун. Я лечу, делаю круг. Вижу белую руку, которая извивается, подобно пауку, на поверхности, пропадает в серой лаве. Поверхность затягивается, и я быстро, быстро, быстро лечу домой!

Что-то громко стукнуло в окно, Тимоти вздрогнул.

Сеси широко распахнула глаза — сияющие, большие, счастливые, оживленные: «Вот я и дома!»

Помолчав, Тимоти отважился:

— Сегодня День возвращения. Все собрались.

— Тогда почему ты наверху? — Она дотронулась до его руки. — Ну ладно, спрашивай. — Она мягко улыбнулась. — Попроси меня, о чем хотел.

— Я пришел не просить, — сконфузился он. — Так, почти ничего. Хорошо, Сеси... — Эти слова выплеснулись из него одновременно, словно одним потоком. — Я хочу сделать что-нибудь такое, чтобы все они взглянули на меня, что-нибудь, что сделало бы меня таким же, позволило бы мне быть с ними, принадлежать к нашему роду, но я не могу ничего придумать и чувствую себя странно. Вот я и подумал, что ты бы могла...

Он осекся, будто оцепенел, и не думал ни о чем — или, во всяком случае, думал, что ничего не думает.

Сестра кивнула.

— Давай спустимся, Тимоти, — сказала она и в тот же миг оказалась внутри его, как рука в перчатке.

— Смотрите все! — Тимоти взял стакан теплой красной жидкости и поднял его так, чтобы увидел весь дом. Все — тети, дяди, кузины, братья, сестры!

Выпил его залпом.

Он протянул руку в сторону сестры Лауры и отдал ей стакан, глядя на нее так, что та замерла. Он почувствовал себя ростом с дерево. Вечеринка притихла. Все стояли вокруг него, ждали и наблюдали. Из дверей выглядывали лица. Нет, они не смеялись. Лицо матери застыло в изумлении. Отец выглядел сбитым с толку, но явно был доволен и с каждым мгновением становился все более гордым.

Тимоти аккуратно ущипнул Лауру возле жилки на шее. Огоньки свечей шатались, будто пьяные; по крыше разгуливал ветер. Изю всех дверей на него смотрели родственники. Он запихнул в рот поганку, проглотил, хлопнул ладонями по бокам и обернулся вокруг.

— Сммотри, дядя Эйнар! Теперь я смогу летать!

Его ноги застучали по ступенькам лестницы. Мимо промелькнули лица.

Споткнувшись на самом верху, он расслышал голос матери:

— Тимоти, остановись!

— Хей! — крикнул Тимоти и ринулся в пролет.

На полпути вниз крылья, которые, как ему показалось, он наконец обрел, растворились. Он закричал. Его поймал дядя Эйнар.

Смертельно бледный, Тимоти рухнул в его протянутые руки. И тут его губы заговорили чужим голосом:

— Это Сеси! Это я, Сеси! Приходите повидаться со мной наверх, первая комната налево! — После чего Тимоти расхохотался, и ему захотелось проглотить этот смех вместе с языком.

Смеялись все. Эйнар было усадил его, но он вырвался, вскочил и, расталкивая родственников, торопящих-

ся наверх, чтобы поздравить Сеси, ринулся вперед и был у двери первым.

— Сеси, я ненавижу тебя, ненавижу!

В густой темноте возле платана Тимоти изверг свой ужин, тщательно вытер губы, рухнул на кучу опавших листьев и замолотил кулаками по земле. Затих. Из кармана рубашки, из коробочки, выбрался паучок. Исследовал его шею, взобрался на ухо и начал оплетать его паутиной. Тимоти покачал головой:

— Не надо, паук, не надо. — Прикосновение мохнатой и нежной лапы к уху заставило его вздрогнуть. — Не надо, паук. — Но рыдания приутихли.

Паучок пропутешествовал вниз по его щеке, остановился на переносице, заглянул в ноздри, будто хотел увидеть мозг, потом взобрался на кончик носа и уселся там, глядя на Тимоти зелеными бусинками глаз, пока не захотелось смеяться.

— Уходи, паук.

Шурша листьями, Тимоти сел. Лунный свет заливал окрестности. Из дома доносились приглушенные скабрезности, какие говорят, когда играют в «зеркальце, зеркальце». Гости возбужденно перекрикивали друг друга, пытаясь разглядеть в стекле ту часть своего облика, которая не появлялась и не могла появиться в зеркале.

— Тимоти! — Крылья дяди Эйнара хлопнули, словно литавры. Тимоти ощутил, что воспрянул духом. Легко, словно наперсток, дядя подхватил его и усадил себе на плечи. — Не переживай, племянник Тимоти. Каждому свое, у каждого — свой путь. У тебя впереди множество разного. Интересного. Для нас — мир умер. Мы уже слишком многое повидали, поверь мне. Жить лучше тому, кто живет меньше. Жизнь дороже полушки, запомни это.

Все ночное утро, с полуночи, дядя Эйнар водил его по дому, из комнаты в комнату, распевая на ходу. Ватага припозднившихся гостей устроила настоящую кутерьму,

с ними была и укутанная в египетский саван прапрапрапра- и еще тыщу раз «пра-» бабушка — она не говорила ни слова, а держалась прямо, как прислоненная к стене гладильная доска. Впалые глаза мудро, тихо мерцали. За завтраком в четыре утра тысячекратно великую бабулю усадили во главе длиннейшего стола.

Многочисленные юные кузины пировали возле хрустальной пуншевой чаши. Их глаза блестели, словно оливки, на конусообразных лицах, а бронзовые кудри рассыпались по столу, возле которого они пили, отталкивая друг друга своими твердо-мягкими, полудевичьими-полуюношескими телами.

Ветер усилился, звезды засверкали будто с яростью, шум множился, танцы становились бешеными, питье делалось разгульным. Тимоти надо было успеть увидеть и услышать тысячу разных вещей. Мириады теней переплетались, смешивались; мрак взбалтывался, пузырился; лица мелькали, исчезали, появлялись снова.

«Слушай!»

Вечеринка затаила дыхание. Откуда-то издалека донесся удар городских колоколов, сообщавших, что уже шесть утра. Праздник кончился. В такт бьющим часам сотня голосов затянула песню — ей было лет четыреста, не меньше, — песню, которую Тимоти знать не мог. Руки извивались, медленно вращались; они пели, а там, вдалеке, в холодном утреннем просторе, городские куранты окончили свой перезвон и затихли.

Тимоти пел: он не знал ни слов, ни мелодии, но они возникали сами по себе. Он взглянул на закрытую дверь наверху.

— Спасибо, Сеси, — прошептал он, — я простил тебя, спасибо.

Расслабился и позволил словам свободно срываться с его губ голосом Сеси.

Произносились последние прощальные слова, возле дверей образовалась сутолока. Отец и мать стояли на по-

роге, жали руки и целовались поочередно со всеми уходящими. Сквозь открытую дверь было видно, как на востоке розовеет небо. Холодный ветер выстудил прихожую, а Тимоти чувствовал, что поочередно переходит из одного тела в другое, почувствовал, что Сеси поместила его в дядюшку Фрая, и у него как будто стало сухое, морщинистое лицо, и он взлетел сухим листиком над домом и рассыпающимися холмами...

Затем, размашисто шагая по скользкой тропинке, он ощутил, как горят его покрасневшие глаза, что мех его шкуры влажен от росы, будто внутри кузена Вильяма он тяжело протискивался в дупло, чтобы исчезнуть...

Подобно голышу во рту у дяди Эйнара, Тимоти летел среди перепончатого грохота, заполняя собой небо. А потом — навсегда вернулся в свое собственное тело.

Среди занимающегося рассвета последние гости еще обнимались напоследок, плакали и жаловались, что в мире осталось слишком мало места для них... Когда-то они собирались каждый год, а теперь без встреч проходили десятки лет. «Не забудь, — крикнул кто-то, — встречаемся в Салеме, в тысяча девятьсот семидесятом!»

Салем. Салем. От этих слов мозг Тимоти оцепенел. Салем, 1970-й. И там будут дядюшка Фрай, и тыщур-раз-прабабушка в своем вечном саване, и мать, и отец, и Элен, и Лаура, и Сеси, и... все остальные. Но будет ли там он? Доживет ли он до той поры?

С последним, слабеющим порывом ветра исчезли все: множество шарфов, увядших листьев, множество крылатых существ, множество хнычущих, слипающихся в гроздь звуков, бескрайних полночей, безумий и мечтаний.

Мать закрыла дверь. Лаура взялась за метлу.

— Не надо, — сказала мать. — Уберем потом, а сейчас нам надо спать.

Домочадцы разбрелись — кто в подвал, кто на чердак. И Тимоти с поникшей головой пошел через украшенную

крепом гостиную. Возле зеркала, оставшегося с вечеринки, остановился, заглянул в него и увидел смертную бледность своего лица, себя — озябшего и дрожащего.

— Тимоти, — сказала мать. Она подошла и прикоснулась ладонью к его лицу. — Сын, — вздохнула она, — запомни, мы любим тебя. Мы все тебя любим. Неважно, насколько ты другой, неважно, что ты нас однажды покинешь. — Она поцеловала его в щеку. — И если ты даже и умрешь, то твой прах никто не потревожит, мы пригладим за ним. Ты будешь лежать спокойно и беззаботно, а я буду приходить к тебе в каждый Канун всех святых и перепрятывать в более надежное место.

Дом затих. Где-то вдаль ветер уносил за холмы свой последний груз: темных летучих мышей — гомонящих, перекликающихся.

Тимоти поднимался по лестнице, ступенька за ступенькой, и беззвучно плакал.

### **УДИВИТЕЛЬНАЯ КОНЧИНА ДАДЛИ СТОУНА**

— Жив!

— Умер!

— Живет в Новой Англии, черт возьми!

— Умер двадцать лет назад!

— Пустите-ка шапку по кругу, и я сам доставлю вам его голову!

Вот такой разговор произошел однажды вечером. Завел его какой-то незнакомец, с важным видом он изрек, будто Дадли Стоун умер. «Жив!» — воскликнули мы. И уж нам ли этого не знать? Не мы ли последние могикане, последние из тех, кто в двадцатые годы курил ему фимиам и читал его книги при свете пламенеющего, исполнившего обеты разума?

Тот самый Дадли Стоун. Блистательный стилист, самый величественный из всех литературных львов. Вы

помните, конечно, как вас ошеломило, сбило с ног, как затрубили трубы судьбы, когда он написал своим издателям вот эту записку:

*Господа, сегодня, в возрасте тридцати лет, я покидаю свое поприще, расстаюсь с пером, сжигаю все, что создал, выбрасываю на свалку свою последнюю рукопись. На том привет и прости-прощай.*

*Искренне Ваш,  
Дадли Стоун.*

Гром среди ясного неба.

Шли годы, а мы при каждой встрече опять и опять спрашивали друг друга:

— Почему?

Совсем как в рекламной радиопередаче, мы обсуждали на все лады, что же заставило его махнуть рукой на писательские лавры — женщины? Или вино? А может, это лошади обскакали его и вынудили прекрасного иноходца сойти с круга в самом расцвете сил?

Мы уверяли всех и каждого, что, продолжай Стоун писать, перед ним померкли бы и Фолкнер, и Хемингуэй, и Стейнбек. Тем печальнее, что на подступах к величайшему своему творению писатель вдруг отвернулся от него и поселился в городе, который мы назовем Безвестность, на берегу моря, самое верное название которому — Былое.

Почему?

Это так и осталось загадкой для всех нас, кто различал проблески гения в пестрых страницах, вышедших из-под его пера.

И вот несколько недель назад, однажды вечером, поглядев друг на друга, мы задумались над безжалостной работой времени, над тем, что лица у всех у нас все больше обмякают и все заметней редеют волосы, и вдруг нас взбесило, что нынешняя публика ровным счетом ничего не знает о Дадли Стоуне.



«Томас Вулф, — ворчали мы, — прежде чем ухнуть в пучину вечности, по крайней мере, всю наслаждался успехом. И по крайней мере, критики толпой глядели ему вслед, точно огненному метеору, прорезавшему тьму.

А кто нынче помнит Дадли Стоуна, кто помнит кружки, что собирались вокруг него в двадцатые годы, неистовство его последователей?»

— Шапку по кругу, — сказал я. — Я скачаю за триста миль, ухвачу Дадли Стоуна за шиворот и скажу ему: «Послушайте, мистер Стоун, что ж это вы нас так подвели? Почему за двадцать пять лет не удосужились написать ни одной книги?»

В шапку накидали звонкой монеты, я отправил телеграмму и сел в поезд.

Сам не знаю, чего я ожидал. Быть может, что на станции меня встретит высохшая мумия, бледная тень, дряхлый старец на неверных ногах, с еле слышным, будто шелест осенних трав на ночном ветру, голосом. И когда поезд, пыхтя, подкатил к платформе, я внутренне сжался от тоскливого предчувствия. Сумасбродный простофиля, я сошел на безлюдной захолустной станции, в миле от моря, не понимая, чего ради меня сюда занесло.

Доска у железнодорожной кассы заросла толстым слоем всевозможных объявлений, их, видно, из года в год наклеивали или набивали одно на другое. Сняв несколько геологических пластов печатного текста, я наконец нашел то, что мне было нужно. Дадли Стоун — кандидат в члены Совета округа, в шерифы, в мэры! Его фотографии, выцветшие от солнца и дождя бюллетени, на которых он был почти неузнаваем, сообщали о том, что он год от году добивался в этом приморском краю все более ответственных постов. Я стоял и читал.

— Привет! — донеслось до меня откуда-то сзади. — Это вы и есть мистер Дуглас?

Я круто обернулся. Прямо на меня по платформе мчался человек великолепного сложения, крупный, но ничуть не толстый, ноги у него работали как могучие рычаги, в лацкане пиджака — яркий цветок, на шее — яркий галстук. Он стиснул мою руку и поглядел на меня с высоты своего роста, точно микеланджеловский Создатель, своим властным прикосновением сотворивший Адама. Лицо его было точно лики южных и северных ветров на старинных мореходных картах, что грозят зноем и холодом. Такое пышущее жаром жизни лицо — символ солнца — встречаешь в египетской каменной резьбе.

«Надо же, — подумал я. — И этот человек за двадцать с лишним лет не написал ни строчки? Не может быть! Он такой живой, прямо до неприличия. Я, кажется, слышу, как мерно бьется его сердце».

Должно быть, я преглупо вытаращил глаза, ошарашенный этим зрелищем.

— Признайтесь, — со смехом сказал он, — вы ожидали встретить привидение?

— Я...

— Жена накормит нас тушеным мясом с овощами, и у нас вдосталь эля и крепкого портера. Люблю звучание этих слов. Приятно слышать такие слова. От слов этих веет здоровьем, румянцем во всю щеку. Крепкий портер!

На животе у него подскакивали массивные золотые часы на сверкающей цепочке. Он сжал мой локоть и потащил меня за собой — чародей, влекущий в свое логово незадачливого простофилю.

— Рад познакомиться. Вы, наверно, приехали, чтобы задать мне все тот же вопрос, а? Что ж, не вы первый. Ну, на этот раз я все выложу!

Сердце мое так и подпрыгнуло.

— Замечательно!

За безлюдной станцией ждал открытый «Форд» выпуска 1927 года.

— Свежий воздух. Когда едешь вот так в сумерках, все поля, травы, цветы — все вливается в тебя вместе с ветром. Надеюсь, вы не из тех, кто только и делает, что закрывает окна! Наш дом — как вершина Столовой горы. Комнаты у нас подметает ветер. Залезайте.

Десять минут спустя мы свернули с большака на дорогу, которую уже многие годы не выравнивали и не утрамбовывали. Стоун вел машину прямо по выбоинам и ухабам, с лица его не сходила улыбка. Бац! Последние несколько ярдов нас трясло вовсю, но вот наконец мы подкатили к запущенному, некрашеному двухэтажному дому. «Форд» тяжело вздохнул и затих.

— Хотите знать правду? — Стоун обернулся, крепко ухватил меня за плечо, заглянул в глаза. — Ровно двадцать пять лет назад один человек пристрелил меня из револьвера.

И он выскочил из машины. Я оторопело уставился на него. Он был как каменная глыба, отнюдь не привидение, и однако я понял: в словах, что он бросил мне, перед тем как пулей устремиться в дом, есть какая-то правда.

— Это моя жена, это наш дом, а вот и ужин! Взгляните, каков вид! Окна гостиной выходят на три стороны — на море, на берег и на луга. Мы их никогда не закрываем, только зимой. Среди лета к нам сюда доносится запах цветущей липы, вот честное слово, а в декабре веет Антарктикой — нашатырным спиртом и мороженым. Садитесь! Лена, ведь правда приятно, что он приехал?

— Надеюсь, вы любите тушеное мясо с овощами, — сказала Лена.

Рослая, крепко сбитая, она ловко управлялась с добротной, массивной посудой, которую не разбил бы кулаком и великан, и озаряла стол ярче всякой лампы; лицо ее, точно ясное солнышко, так и светилось доброжелательством. Ножи в этом доме были под стать львиным

зубам. Над столом поднялось облако аппетитнейшего пара и повлекло нас, ликующих чревоугодников, прямоком в ад. Тарелка моя наполнялась трижды, и раз от разу я чувствовал, что сыт, сыт по горло и наконец по самые уши. Дадли Стоун налил мне пива, которое, по его словам, сам сварил из моливших о пощаде черных гроздьев дикого винограда. А потом он взял бутылку, в которой не осталось уже ни капли вина, и, дую в зеленое стеклянное горлышко, быстро извлек из нее нехитрую мелодийку.

— Ну ладно, довольно я вас томил, — сказал он, глядя в меня из той дали, которая разъединяет людей еще больше, когда они выпьют, но в иные минуты кажется им самой близостью. — Я расскажу вам, как меня убили. Поверьте, я еще никому этого не рассказывал. Вам знакомо имя Джона Оутиса Кенделла?

— Второсортный писатель, который подвизался в двадцатые годы? — сказал я. — У него было несколько книг. Выдохся к тридцать первому году. Умер на прошлой неделе.

— Мир праху его.

На мгновение, как и подобает, мистер Стоун приоткрыл рот и опечалился, но едва заговорил, печаль как рукой сняло.

— Да. Джон Оутис Кенделл. Выдохся к тысяча девятьсот тридцать первому году. Писатель, который многое обещал.

— Меньше, чем вы, — поспешно вставил я.

— Ну-ну, не торопитесь. Мы вместе росли, Джон и я, родились в соседних домах, тень одного и того же дуба падала на мой дом утром, а на его — вечером. Вместе переплывали каждую встречную речушку, обоим нам приходилось худо от зеленых яблок и от первых сигарет, обоим завиделся волшебный свет в белокурых волосах одной и той же девушки; и нам еще не исполнилось двадцати, когда оба мы отправились искать счастья, брать судьбу за

бока и набивать себе синяки и шишки. Поначалу у обоих получалось неплохо, но с годами я стал его обходить, и он все больше отставал. Если на его первую книгу был один хороший отзыв, то на мою их было шесть, если на меня была одна плохая рецензия, на него десяток. Мы были точно два друга в одном поезде, а потом публика расцепила вагоны. Джон Оутис оставался позади, в тормозном вагоне, и кричал мне вслед: «Спаси меня! Ты оставляешь меня в Тэнктауне, в Огайо, а ведь у нас один путь». А кондуктор объяснял: «Путь-то один, да поезда разные!» И я кричал: «Я верю в тебя, Джон! Не падай духом, я за тобой вернусь!» И тормозной вагон все больше отставал, его было уже не разглядеть, только красный и зеленый фонари, точно вишневый и лимонный леденцы, еще светились во тьме, и мы всю душу вкладывали в прощальные крики: «Джон, старина!», «Дадли, дружище!» — и Джон Оутис очутился в полночь на неосвещенной боковой ветке, позади пакгауза, а мой паровоз на всех парах с шумом и грохотом мчался к рассвету.

Дадли Стоун замолчал и тут заметил полнейшее мое недоумение.

— Я не зря все это рассказываю, — сказал он. — Этот самый Джон Оутис в тысяча девятьсот тридцатом году продал кой-какую старую одежду и оставшиеся экземпляры своих книг, купил револьвер и явился в этот самый дом, в эту самую комнату.

— Он замышлял вас убить?

— Черта с два замышлял. Он меня убил! Бах! Хотите еще вина? Так-то оно лучше.

Миссис Стоун подала слоеный торт с клубникой, а Дадли Стоун наслаждался моим лихорадочным нетерпением. Он разрезал торт на три огромные доли и, раскладывая их по тарелкам, глядел на меня, словно кот на сметану.

— Вот тут, на вашем стуле, сидел Джон Оутис. Во дворе у нас в коптильне — семнадцать окороков, в вин-

ном погребе — пятьсот бутылок превосходнейшего вина, за окном — простор, дивное море во всей красе, в небе луна, точно блюдо прохладных сливок, весна в разгаре, за окном напротив — Лена, гибкая ива под ветром, смеется всему, что я скажу и о чем промолчу, и, не забудьте, обоим нам по тридцать всего-навсего, жизнь наша — чудесная карусель, все нам улыбается, книги мои продаются хорошо, письма восторженных читателей захлестывают меня пенным потоком, в конюшнях ждут лошади, и можно скакать при луне к морским бухтам и слушать в ночи, как шепчет море или мы сами — все, что нам заблагорассудится. А Джон Оутис сидит на том месте, где вы сейчас, и медленно вытаскивает из кармана вороненый револьвер.

— Я засмеялась, думала, это такая зажигалка, — встала миссис Стоун.

— И вдруг Джон Оутис говорит: «Сейчас я убью вас, мистер Стоун», — и я понял, что он не шутит.

— Что же вы сделали?

— Сделал? Я был оглушен, раздавлен. Я услышал, как хлопнулась надо мной крышка гроба! Услышал, как с грохотом, точно уголь в подвал, сыплется земля на мое последнее жилище. Говорят, в такие минуты перед тобой проносится вся жизнь, все твое прошлое. Чепуха. Ты видишь будущее. Видишь, как лицо твое превращается в кровавое месиво. Сидишь и собираешься с силами и наконец еле-еле выдавишь из себя: «Да что ты, Джон, что я тебе сделал?»

«Что ты мне сделал?» — заорал он.

И окинул взглядом длинную полку и молодецкий отряд выстроившихся на ней книг — на каждом корешке, на черном сафьяне, точно пантерий глаз, сверкало мое имя. «Что сделал?» — ужасным голосом выкрикнул он. И рука его, дрожа от нетерпения, стиснула рукоятку.

«Осторожней, Джон, — сказал я. — Что тебе надо?»

«Только одно, — сказал он. — Убить тебя и прославиться. Пускай обо мне кричат газеты. Пускай и у меня будет слава. Пускай знают, пока я жив и даже когда умру: я тот, кто убил Дадли Стоуна».

«Ты не сделаешь этого!»

«Нет, сделаю. Я буду знаменит. Куда знаменитей, чем теперь, когда ты меня затмил. О, как я люблю твои книги и как я ненавижу тебя за то, что ты так великолепно пишешь. Поразительное раздвоение. Нет, больше я не могу. Писать как ты мне не под силу, так я найду другой путь к славе, полегче. Я покончу с тобой, пока ты не достиг расцвета. Говорят, следующая твоя книга будет лучше всех, будет самой блистательной!»

«Это преувеличение».

«А я думаю, это чистая правда», — сказал он.

Я перевел взгляд на Лену — она сидела испуганная, но не настолько, чтобы закричать или вскочить и смеяться все карты.

«Спокойно, — сказал я. — Спокойствие. Повремени, Джон. Дай мне всего одну минуту. Потом спустишь курок».

«Нет», — прошептала Лена.

«Спокойствие», — сказал я ей, себе, Джону Оутису.

Я поглядел в открытые окна, ощутил дыхание ветра, вспомнил вино в погребе, прибрежные бухты, море, лунный диск, от которого, точно мятой, веют прохладой летние небеса, и вспыхивают пламенеющие облака соленых испарений, и звезды влекутся за ним по кругу, к рассвету. Подумал о том, что мне только тридцать и Лене тоже, и у нас вся жизнь впереди. Подумал о прелести бытия, которая, точно спелый плод, только и ждет, чтобы я ею насладился! Я никогда еще не взбирался на горы, не пересекал океана, не баллотировался в мэры, не нырял за жемчугом, у меня никогда еще не было телескопа, я ни разу не играл на сцене, не строил дома, не прочел всех классиков, которых мне так хотелось прочесть. Столько еще предстояло сделать!

В эти молниеносные шестьдесят секунд я подумал, наконец, и о своей карьере. Обо всех уже написанных книгах, о тех, которые еще писал, и о тех, что собирался написать. О рецензиях, о больших тиражах, о нашем внушительном счете в банке. И, хотите верьте, хотите нет, впервые в жизни почувствовал себя свободным от всего этого. В один миг я обратился в критика. Я взвесил все. На одной чаше весов — корабли, на которых не плавал, цветы, которых не сажал, дети, которых не растил, горы, которых не видел, и надо всем моя Лена — богиня всего этого изобилия. Посредине — опора весов, Джон Оутис Кенделл с его револьвером. А на второй, пустой чаше — мое перо, чернила, чистая бумага, десяток моих книг. Я подбавил туда и сюда еще кое-какой мелочи. Шестьдесят секунд истекли. Вечерний ветерок залетел в растворенные окна. Коснулся завитка волос на шее у Лены, о господи, как нежно коснулся, как нежно...

Револьвер был наставлен на меня в упор. Мне случилось видеть снимки лунных кратеров и провал в пространстве, который называют Большим угольным мешком, но, поверьте, дуло пистолета, нацеленного на меня, разверзлось куда шире.

«Джон, — сказал я наконец, — неужто ты так меня ненавидишь? И все из-за того, что мне повезло, а тебе нет?»

«Да, черт возьми!» — крикнул он.

Как нелепо, что он мне завидовал! Уж не настолько лучше я писал. Легкое движение руки — и все переменится.

«Джон, — сказал я спокойно, — если тебе надо, чтобы я умер, я умру. Ты, наверно, хочешь, чтобы я больше не написал ни строчки?»

«Еще как хочуй! — крикнул он. — Приготовься!»

И прицелился мне в сердце!

«Ладно, — сказал я, — больше я писать не стану».

«Что?»



«Мы с тобой старые друзья, мы никогда не лгали друг другу, верно? Так вот тебе мое слово: никогда больше мое перо не коснется бумаги».

«Ха-ха!» — Он презрительно и недоверчиво засмеялся.

«Вон там, — я кивнул в сторону письменного стола, — лежат единственные экземпляры двух моих рукописей, я работал над ними последние три года. Одну я сожгу прямо сейчас, у тебя на глазах. А другую можешь сам бросить в море. Обыщи весь дом, возьми всю исписанную бумагу до последнего листочка, сожги мои опубликованные книги тоже. Пожалуйста».

Я поднялся. В эту минуту он мог бы меня пристрелить, но мои слова заворожили его. Я швырнул одну рукопись в камин и чиркнул спичкой.

«Нет!» — вырвалось у Лены.

Я обернулся и сказал:

«Я знаю, что делаю».

Она заплакала. Джон Оутис Кенделл смотрел на меня во все глаза, точно околдованный. Я принес ему вторую, еще не опубликованную рукопись.

«Пожалуйста», — сказал я и подsunул рукопись ему под ногу, как под пресс-папье. Потом отошел и сел на свое место. Дул ветерок, вечер был теплый, и сидящая напротив меня Лена была белее яблоневого цвета.

«Отныне я не напишу ни строчки», — сказал я.

К Джону Оутису наконец вернулся дар слова:

«Как же ты можешь?»

«Зато все будут счастливы, — сказал я. — Я хочу, чтобы ты был счастлив, ведь, в конце концов, мы снова станем друзьями. И Лена будет счастлива — ведь я опять буду просто ее мужем, а не дрессированным моржом, который пляшет под дудочку своего литературного агента. И сам я тоже буду счастлив — ведь лучше быть живым человеком, чем мертвым писателем. Ну а теперь бери мою последнюю рукопись и ступай отсюда».

Мы сидели здесь втроем, вот как с вами сейчас. Пахло лимоном, липой, камелией. Внизу бился о камни и ревел океан. Чудесная музыка, пронизанная лунным светом. И наконец Джон Оутис подобрал рукопись и понес вон из комнаты, точно мое бездыханное тело. На пороге он приостановился и сказал:

«Я тебе верю».

И вышел. Я слышал, как отъехала его машина. Тогда я уложил Лену в постель. Нечасто мне случалось на ночь глядя ходить одному по берегу моря, но сейчас я пошел.

Я дышал полной грудью, ошупывал свои руки, ноги, лицо и плакал, как малый ребенок; я вошел в воду и с наслаждением ощущал, как холодный соленый прибой пенится у моих ног и обдаёт меня миллионами брызг.

Дадли Стоун примолк. Время в комнате остановилось. Мы все трое точно по волшебству перенеслись в прошлое, в тот год, когда совершилось убийство.

— И он уничтожил ваш последний роман? — спросил я.

Дадли Стоун кивнул:

— Неделю спустя на берег вынесло одну страницу. Он, наверно, швырнул их со скалы, всю тысячу страниц, я так ясно представляю: точно стая белых чаек опустилась на воду, и в глухой предрассветный час ее унесло отливом. Лена бежала по берегу с той единственной страницей в руках и кричала: «Смотри, смотри!» И когда я увидел, что она мне дает, я швырнул листок назад, в океан.

— Неужто вы сдержали слово?

Дадли Стоун посмотрел на меня в упор:

— А вы бы как поступили на моем месте? В сущности, Джон Оутис оказал мне милость. Он не убил меня. Не застрелил. Выслушал. И поверил мне на слово. Оставил меня в живых. Дал мне возможность и дальше есть, спать, дышать. Он в один миг раздвинул мои горизонты. И я был так ему благодарен, что стоял в ту ночь чуть не

по пояс в воде и плакал. Да, был благодарен. Понимаете ли вы, что это значит? Благодарен, что он оставил меня в живых, когда одним движением руки мог меня уничтожить.

Миссис Стоун поднялась, ужин был окончен. Она собрала посуду, мы закурили сигары, и Дадли Стоун провел меня в свой кабинет, к столу, на котором громоздились пакеты, кипы газет, бутылки чернил, пишущая машинка, всевозможные документы, гроссбухи, алфавитные указатели.

— Все это уже накипало во мне. Джон Оутис просто снял сверху пену, и я увидел само варево. Все стало ясно — ясней некуда. Писательство было для меня той же горчицей, я писал и черкал с тяжелым сердцем и растревлял себе душу. И уныло смотрел, как алчные критики раздвигали меня, разбирали на части, нарезали ломтями, точно колбасу, и за полночь закусывали мной. Грязная работа, куда уж хуже. Я уже и сам был готов махнуть на все рукой. Совсем доспел. И тут — бац! — явился Джон Оутис. Взгляните.

Он порылся на столе и вытащил пачку рекламных листков и предвыборных плакатов.

— Прежде я только писал о жизни. А тут захотел жить. Захотел что-то делать сам, а не писать о том, что делают другие. Решил возглавить местный отдел народного образования — и возглавил. Решил стать членом окружного управления — и стал. Решил стать мэром. И стал. Был шерифом! Был городским библиотекарем! Заправлял городской канализацией. Я был в гуще жизни. Сколько рук пожал, сколько дел переделал. Мы испробовали все на свете и на вкус, и на ошупь, чего только не нагляделись, не наслушались, к чему только не приложили рук! Лазили по горам, писали картины, вон кое-что висит на стене! Мы трижды объехали вокруг света. У нас даже вдруг родился сын. Он уже взрослый, женат, живет в Нью-Йорке. Мы жили, действовали. — Стоун помолчал, улыбнулся. —

Пойдемте во двор. У нас там телескоп, хотите посмотреть на кольца Сатурна?

Мы стояли во дворе, и нас овевало ветром, облетевшим всю ширь океана, и, пока мы смотрели в телескоп на звезды, миссис Стоун спустилась в крошечную тьму погреба за редкостным испанским вином.

На следующий день автомобиль промчался по неровной, тряской дороге от побережья через луга и в полдень доставил нас на бесплодную станцию. Мистер Дадли Стоун почти не уделял внимания своей машине, он что-то рассказывал, улыбался, смеялся, показывал мне то камень времен неолита, то какой-нибудь полевой цветок и умолк, лишь когда мы подъехали к станции и остановились в ожидании поезда, который должен был меня увезти.

— Вы, наверно, считаете меня сумасшедшим, — сказал он, глядя в небо.

— Ничуть не бывало.

— Так вот, — сказал Дадли Стоун, — Джон Оутис Кенделл оказал мне еще одну милость.

— Какую же?

Стоун поудобнее расположился на кожаном, в заплатках сиденье.

— Он помог мне выйти из игры, прежде чем я выдохся. Где-то в глубине души я, должно быть, чувал, что моя литературная слава сильно раздута и может лопнуть, как воздушный шар. В подсознании мне ясно рисовалось будущее. Я знал то, чего не знал ни один критик, — что иду уже не к вершине, а под гору. Обе книги, которые уничтожил Джон Оутис, никуда не годились. Они убили бы меня наповал еще верней, чем Оутис. Он невольно помог мне решиться на то, на что иначе у меня, пожалуй, не хватило бы мужества: изящно откланяться, пока котильон еще не кончился и китайские фонарики еще бросали лестный розовый свет на мой здоровый румянец. Я видел слишком много писателей, видел их взлеты и падения, видел,

как они сходили с круга, уязвленные, жалкие, отчаявшиеся. Но, конечно, все это стечение обстоятельств, совпадение, подсознательная уверенность в своей правоте, облегчение и благодарность Джону Оутису Кенделлу за то, что я просто-напросто жив, — все это была по меньшей мере счастливая случайность.

Мы еще немного посидели под ласковым солнцем.

— А потом я объявил о своем уходе со сцены и имел удовольствие видеть, как меня ставят в один ряд с великими. За последнее время очень мало кто из писателей удостоился столь пышных проводов. Преотличные вышли похороны! Я был, что называется, совсем как живой. И это еще долго не смолкало. «Если бы он написал еще одну книгу! — вопили критики. — Вот это была бы книга! Шедевр!» Они задыхались от волнения, ждали. Ничегошеньки они не понимали. Еще и теперь, четверть века спустя, мои читатели, которые в ту пору были студентами, отправляются на допотопных паровичках, дышат нефтяной вонью и перемазываются в саже, лишь бы разгадать тайну — отчего я так долго заставляю ждать этого самого «шедевра». И — спасибо Джону Оутису Кенделлу — у меня все еще есть кое-какое имя. Оно тускнеет медленно, безболезненно. На следующий год я сам бы убил себя собственным пером. Куда как лучше отцепить свой тормозной вагон самому, не дожидаясь, когда это сделают за тебя другие. А Джон Оутис Кенделл? Мы снова стали друзьями. Не сразу, конечно. Но в тысяча девятьсот сорок седьмом он приезжал со мной повидаться, и мы славно провели денек, совсем как в былые времена. А теперь он умер, и вот наконец я хоть кому-то рассказал все как было. Что вы скажете вашим городским друзьям? Они не поверят ни единому вашему слову. Но ручаюсь вам, все это чистая правда. Это так же верно, как то, что я сижу здесь сейчас, и дышу свежим воздухом, и гляжу на свои мозолистые руки, и уже немного напоминаю вы-

цветшие предвыборные плакаты той поры, когда я баллотировался в окружные казначеи.

Мы стояли с ним на платформе.

— До свиданья, спасибо, что приехали и выслушали меня и позволили мне выложить всю мою подноготную. Всех благ вашим любознательным друзьям! А вот и поезд! И мне надо бежать — мы с Леной сегодня после обеда едем по побережью с миссией Красного Креста. Прощайте!

Я смотрел, как покойник резво топал по платформе, так что у меня под ногами дрожали доски, как он вскочил в свой древний «Форд», осевший под его тяжестью, и вот уже нажал могучей ножицей на стартер, мотор взревел, Дадли Стоун с улыбкой обернулся ко мне, помахал рукой — и покатил прочь, к тому вдруг засверкавшему всеми огнями городу, что называется Безвестность, на берегу ослепительного моря под названием Былое.

**ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ  
СОЛНЦА**





## РЕВУН

Среди холодных волн, вдали от суши, мы каждый вечер ждали, когда приползет туман. Он приползал, и мы — Макдан и я — смазывали латунные подшипники и включали фонарь наверху каменной башни. Макдан и я, две птицы в сумрачном небе...

Красный луч... белый... снова красный искал в тумане одинокие суда. А не увидят луча, так ведь у нас есть еще Голос — могучий низкий голос нашего Ревуна; он рвался, громогласный, сквозь лохмотья тумана, и перепуганные чайки разлетались, будто подброшенные игральные карты, а волны дыбились, шипя пеной.

— Здесь одиноко, но, я надеюсь, ты уже свыкся? — спросил Макдан.

— Да, — ответил я. — Слава богу, ты мастер рассказывать.

— Завтра твой черед ехать на Большую землю. — Он улыбался. — Будешь танцевать с девушками, пить джин.

— Скажи, Макдан, о чем ты думаешь, когда остаешься здесь один?

— О тайнах моря.

Макдан раскурил трубку.

Четверть восьмого. Холодный ноябрьский вечер, отопление включено, фонарь разбрасывает свой луч во все стороны, в длинной башенной глотке ревет Ревун. На берегу на сто миль ни одного селения, только дорога с ред-

кими автомобилями, одиноко идущая к морю через пустынный край, потом две мили холодной воды до нашего утеса и в кои-то веки далекое судно.

— Тайны моря, — задумчиво сказал Макдан. — Знаешь ли ты, что океан — огромная снежинка, величайшая снежинка на свете? Вечно в движении, тысячи красок и форм, и никогда не повторяется. Удивительно! Однажды ночью, много лет назад, я сидел здесь один, и тут из глубин поднялись рыбы, все рыбы моря. Что-то привело их в наш залив, здесь они стали, дрожа и переливаясь, и смотрели, смотрели на фонарь, красный — белый, красный — белый свет над ними, и я видел странные глаза. Мне стало холодно. До самой полуночи в море будто плавал павлиний хвост. И вдруг — без звука — исчезли, все эти миллионы рыб сгнули. Не знаю, может быть, они плыли сюда на паломничество? Удивительно! А только подумай сам, как им представлялась наша башня: высится над водой на семьдесят футов, сверкает божественным огнем, вещает голосом исполина. Они больше не возвращались, но разве не может быть, что им почудилось, будто они предстали перед каким-нибудь рыбьим божеством?

У меня по спине пробежал холодок. Я смотрел на длинный серый газон моря, простирающийся в ничто и в никуда.

— Да-да, в море чего только нет... — Макдан взволнованно пыхтел трубкой, часто моргая. Весь этот день его что-то тревожило, он не говорил, что именно. — Хотя у нас есть всевозможные механизмы и так называемые субмарины, но пройдет еще десять тысяч веков, прежде чем мы ступим на землю подводного царства, придем в затонувший мир и узнаем *настоящий* страх. Подумать только: там, внизу, все еще трехсоттысячный год до нашей эры! Мы тут трубим во все трубы, отхватываем друг у друга земли, отхватываем друг другу головы, а они жи-

вут в холодной пучине, двенадцать миль под водой, во времена столь же древние, как хвост кометы.

— Верно, там древний мир.

— Пошли. Мне нужно тебе кое-что сказать, сейчас самое время.

Мы отсчитали ногами восемьдесят ступенек, разговаривая не спеша. Наверху Макдан выключил внутреннее освещение, чтобы не было отражения в толстых стеклах. Огромный глаз маяка мягко вращался, жужжа на смазанной оси. И неустанно каждые пятнадцать секунд гудел Ревун.

— Правда, совсем как зверь? — Макдан кивнул своим мыслям. — Большой одинокий зверь воет в ночи. Сидит на рубеже десятка миллиардов лет и ревет в пучину: «Я здесь, я здесь, я здесь...» И пучина отвечает — да-да, отвечает! Ты здесь уже три месяца, Джонни, пора тебя подготовить. Понимаешь, — он всмотрелся в мрак и туман, — в это время года к маяку приходит гость.

— Стаи рыб, о которых ты говорил?

— Нет, не рыбы, нечто другое. Я потому тебе не рассказывал, что боялся — сочтешь меня помешанным. Но дальше ждать нельзя: если я верно пометил календарь в прошлом году, то сегодня ночью оно появится. Никаких подробностей — увидишь сам. Вот, сиди тут. Хочешь, уложи утром барахлишко, садись на катер, отправляйся на Большую землю, забирай свою машину возле пристани на мысу, кати в какой-нибудь городок и жги свет по ночам — я ни о чем тебя не спрошу и корить не буду. Это повторялось уже три года, и впервые я не один — будет кому подтвердить. А теперь жди и смотри.

Прошло полчаса, мы изредка роняли шепотом несколько слов. Потом устали ждать, и Макдан начал делиться со мной своими соображениями. У него была целая теория насчет Ревуна.

— Однажды, много лет назад, на холодный сумрачный берег пришел человек, остановился, внимая гулу

океана, и сказал: «Нам нужен голос, который кричал бы над морем и предупреждал суда; я сделаю такой голос. Я сделаю голос, подобный всем векам и туманам, какие когда-либо были; он будет как пустая постель с тобой рядом ночь напролет, как безлюдный дом, когда открываешь дверь, как голые осенние деревья. Голос, подобный птицам, что улетают, крича, на юг, подобный ноябрьскому ветру и прибою у мрачных, угрюмых берегов. Я сделаю голос такой одинокий, что его нельзя не услышать, и всякий, кто его услышит, будет рыдать в душе, и очаги покажутся еще жарче, и люди в далеких городах скажут: «Хорошо, что мы дома». Я сотворю голос и механизм, и нарекут его Ревуном, и всякий, кто его услышит, постигнет тоску вечности и краткость жизни».

Ревун заревел.

— Я придумал эту историю, — тихо сказал Макдан, — чтобы объяснить, почему оно каждый год плывет к маяку. Мне кажется, оно идет на зов маяка...

— Но... — заговорил я.

— Шшш! — перебил меня Макдан. — Смотри!

Он кивнул туда, где простерлось море.

Что-то плыло к маяку.

Ночь, как я уже говорил, выдалась холодная, в высокой башне было холодно, свет вспыхивал и гас, и Ревун все кричал, кричал сквозь клубящийся туман. Видно было плохо и только на небольшое расстояние, но, так или иначе, вот море — море, скользящее по ночной земле, плоское, тихое, цвета серого ила, вот мы, двое, одни в высокой башне, а там, вдали, сперва морщинки, затем волна, бугор, большой пузырь, немного пены. И вдруг над холодной гладью — голова, большая темная голова с огромными глазами, и шея. А затем... нет, не тело, а опять шея, и еще, и еще! На сорок футов поднялась над водой голова на красивой тонкой темной шее. И лишь после этого из пучины вынырнуло тело, словно островок из черного коралла, мидий и раков. Дернулся гибкий

хвост. Длина туловища от головы до кончика хвоста была, как мне кажется, футов девяносто — сто.

Не знаю, что я сказал, но я сказал что-то.

— Спокойно, парень, спокойно, — прошептал Макдан.

— Это невозможно! — воскликнул я.

— Ошибаешься, Джонни, это *мы* невозможны. Оно все такое же, каким было десять миллионов лет назад. Оно не изменялось. Это *мы* и весь здешний край изменились, стали невозможными. *Мы!*

Медленно, величественно плыло оно в ледяной воде там, вдали. Рваный туман летел над водой, стирая на миг его очертания. Глаз чудовища ловил, удерживал и отражал наш могучий луч, красный — белый, красный — белый. Казалось, высоко поднятый круглый диск передавал послание древним шифром. Чудовище было таким же безмолвным, как туман, сквозь который оно плыло.

— Это какой-то динозавр! — Я присел и схватился за перила.

— Да, из их породы.

— Но ведь они вымерли!

— Нет, просто ушли в пучину. Глубоко-глубоко, в глубь глубин, в Бездну. А что, Джонни, правда, выразительное слово, сколько в нем заключено: Бездна. В нем весь холод, весь мрак и вся глубь на свете.

— Что же мы будем делать?

— Делать? У нас работа, уходить нельзя. К тому же здесь безопаснее, чем в лодке. Пока еще доберешься до берега, а зверь длиной с миноносец и плывет почти так же быстро.

— Но почему, почему он приходит именно сюда?

В следующий миг я получил ответ.

Ревун заревел.

И чудовище ответило.

В этом крике были миллионы лет воды и тумана. В нем было столько боли и одиночества, что я содрогнул-

ся. Чудовище кричало башне. Ревун ревел. Чудовище закричало опять. Ревун ревел. Чудовище распахнуло огромную зубастую пасть, и из нее вырвался звук, в точности повторяющий голос Ревуна. Одинокий, могучий, далекий-далекий. Голос безысходности, непроглядной тьмы, холодной ночи, отверженности. Вот какой это был звук.

— Ну, — зашептал Макдан, — теперь понял, почему оно приходит сюда?

Я кивнул.

— Целый год, Джонни, целый год несчастное чудовище лежит в пучине за тысячи миль от берега, на глубине двадцати миль, и ждет. Ему, быть может, миллион лет, этому одинокому зверю. Только представь себе: ждать миллион лет. Ты смог бы? Может, оно последнее из всего рода. Мне так почему-то кажется. И вот пять лет назад сюда пришли люди и построили этот маяк. Поставили своего Ревуна, и он ревет, ревет над пучиной, куда, представь себе, ты ушел, чтобы спать и грезить о мире, где были тысячи тебе подобных; теперь же ты одинок, совсем одинок в мире, который не для тебя, в котором нужно прятаться. А голос Ревуна то зовет, то смолкает, то зовет, то смолкает, и ты просыпаешься на илистом дне пучины, и глаза открываются, будто линзы огромного фотоаппарата, и ты поднимаешься медленно-медленно, потому что на твоих плечах груз океана, огромная тяжесть. Но зов Ревуна, слабый и такой знакомый, летит за тысячу миль, пронизывает толщу воды, и топка в твоем брюхе развивает пары, и ты плывешь вверх, плывешь медленно-медленно. Пожираешь косяки трески и мерлана, полчища медуз и идешь выше, выше всю осень, месяц за месяцем, сентябрь, когда начинаются туманы, октябрь, когда туманы еще гуще, и Ревун все зовет, и в конце ноября, после того как ты изо дня в день принаравливался к давлению, поднимаясь в час на несколько футов, ты у поверхности, и ты жив. Поневоле всплываешь медленно: если поднят-ся сразу, тебя разорвет. Поэтому уходит три месяца на то,

чтобы всплыть, и еще столько же дней пути в холодной воде отделяет тебя от маяка. И вот наконец ты здесь — вон там, в ночи, Джонни, — самое огромное чудовище, какое знала Земля. А вот и маяк, что зовет тебя, такая же длинная шея торчит из воды и как будто такое же тело, но главное — точно такой же голос, как у тебя. Понимаешь, Джонни, теперь понимаешь?

Ревун взревел. Чудовище отозвалось.

Я видел все, я понимал все: миллионы лет одинокого ожидания — когда же, когда вернется тот, кто никак не хочет вернуться? Миллионы лет одиночества на дне моря, безумное число веков в пучине, небо очистилось от летающих ящеров, на материке высохли болота, лемуры и саблезубые тигры отжили свой век и завязли в асфальтовых лужах, и на пригорках белыми муравьями засуетились люди.

Рев Ревуна.

— В прошлом году, — говорил Макдан, — эта тварь всю ночь проплавала в море, круг за кругом, круг за кругом. Близко не подходила — недоумевала, должно быть. Может, боялась. И сердилась: шутка ли, столько проплыть! А наутро туман вдруг развеялся, вышло яркое солнце, и небо было синее, как на картинке. И чудовище ушло прочь от тепла и молчания, уплыло и не вернулось. Мне кажется, оно весь этот год все думало, ломало себе голову..

Чудовище было всего лишь в ста ярдах от нас, оно кричало, и Ревун кричал. Когда луч касался глаз зверя, получалось: огонь — лед, огонь — лед.

— Вот она, жизнь, — сказал Макдан. — Вечно все то же: один ждет другого, а его нет и нет. Всегда кто-нибудь любит сильнее, чем любят его. И наступает час, когда хочется уничтожить то, что ты любишь, чтобы оно тебя больше не мучило.

Чудовище понеслось на маяк. Ревун ревел.

— Посмотрим, что сейчас будет, — сказал Макдан.

И он выключил Ревуна.

Наступила тишина, такая глубокая, что мы слышали в стеклянной клетке, как бьются наши сердца, слышали медленное скользкое вращение фонаря.

Чудовище остановилось, оцепенело. Его глазищи-прожектора мигали. Пасть раскрылась и издала ворчание, будто вулкан. Оно повернуло голову в одну, другую сторону, словно искало звук, канувший в туман. Оно взглянуло на маяк. Снова заворчал. Вдруг зрочки его запылали. Оно вздыбилось, колотя воду, и ринулось на башню с выражением ярости и муки в огромных глазах.

— Макдан! — вскричал я. — Включи Ревуна!

Макдан взялся за рубильник. В тот самый миг, когда он его включил, чудовище снова поднялось на дыбы. Мелькнули могучие лапищи и блестящая паутина рыбьей кожи между пальцевидными отростками, царапающими башню. Громадный глаз в правой части искаженной страданием морды сверкал передо мной, словно котел, в который можно упасть, захлебнувшись криком. Башня содрогнулась. Ревун ревел; чудовище ревели. Оно обхватило башню и скрипнуло зубами по стеклу; на нас посыпались осколки.

Макдан поймал мою руку.

— Вниз! Живей!

Башня качнулась и подалась. Ревун и чудовище ревели. Мы кубарем покатались вниз по лестнице.

— Живей!

Мы успели — нырнули в подвальчик под лестницей в тот самый миг, когда башня над нами стала разваливаться. Тысячи ударов от падающих камней, Ревун захлебнулся. Чудовище рухнуло на башню. Башня рассыпалась. Мы стояли молча, Макдан и я, слушая, как взрывается наш мир.

Все. Лишь мрак и плеск валов о груды битого камня.

И еще...

— Слушай, — тихо произнес Макдан. — Слушай.



Прошла секунда, и я услышал. Сперва гул вбираемого воздуха, затем жалоба, растерянность, одиночество огромного зверя, который, наполняя воздух тошнотворным запахом своего тела, бессильно лежал над нами, отделенный от нас только слоем кирпича. Чудовище кричало, задыхаясь. Башня исчезла. Свет исчез. Голос, звавший его через миллионы лет, исчез. И чудовище, разинув пасть, ревело могучим голосом Ревуна. И суда, что в ту ночь шли мимо, хотя не видели света, не видели ничего, зато слышали голос и думали: «Ага, вот он, одинокий голос Ревуна в Лоунсам-Бей! Все в порядке. Мы прошли мыс».

Так продолжалось до утра.

Жаркое желтое солнце уже склонялось к западу, когда спасательная команда разгребла груды камней над подвалом.

— Она рухнула, и все тут, — мрачно сказал Макдан. — Ее потрепало волнами, она и рассыпалась.

Он ущипнул меня за руку.

Никаких следов. Тихое море, синее небо. Только резкий запах водорослей от зеленой жижи на развалинах башни и береговых скалах. Жужжали мухи. Плескался океан.

На следующий год поставили новый маяк, но я к тому времени устроился на работу в городке, женился, и у меня был уютный, теплый домик, окна которого золотятся в осенние вечера, когда дверь заперта, а из трубы струится дымок. А Макдан стал смотрителем нового маяка, сооруженного, по его указаниям, из железобетона.

— На всякий случай, — объяснил он.

Новый маяк был готов в ноябре. Однажды поздно вечером я приехал один на берег, остановил машину и смотрел на серые волны, слушая голос нового Ревуна: раз... два... три... четыре раза в минуту, далеко в море, одинешенек.

Чудовище? Оно больше не возвращалось.

— Ушло, — сказал Макдан. — Ушло в пучину. Узнало, что в этом мире нельзя слишком крепко любить. Ушло вглубь, в Бездну, чтобы ждать еще миллион лет. Бедняга! Все ждать, и ждать, и ждать... Ждать.

Я сидел в машине и слушал. Я не видел ни башни, ни луча над Лоунсам-Бей. Только слушал Ревуна, Ревуна, Ревуна. Казалось, это ревет чудовище.

Мне хотелось сказать что-нибудь, но что?

---

### ПЕШЕХОД

Больше всего на свете Леонард Мид любил выйти в тишину, что туманным ноябрьским вечером, часам к восьми, окутывает город, и — руки в карманы — шагать сквозь тишину по неровному асфальту тротуаров, стараясь не наступить на проросшую из трещин траву. Остановясь на перекрестке, он всматривался в длинные улицы, озаренные луной, и решал, в какую сторону пойти, — а впрочем, невелика разница: ведь в этом мире, в лето от Рождества Христова две тысячи пятьдесят третье, он один или все равно что один; и наконец он решался, выбирал дорогу и шагал, и перед ним, точно дым сигары, клубился в морозном воздухе пар от его дыхания.

Иногда он шел так часами, отмеряя милю за милей, и возвращался только в полночь. На ходу он оглядывал дома и домики с темными окнами — казалось, идешь по кладбищу, и лишь изредка, точно светлячки, мерцают за окнами слабые дрожащие отблески. Иное окно еще не завешено на ночь, и в глубине комнаты вдруг мелькнут на стене серые призраки; а другое окно еще не закрыли — и из здания, похожего на склеп, послышатся шорохи и шепот.

Леонард Мид останавливался, склонял голову набок, и прислушивался, и смотрел, а потом неслышно шел

дальше по бугристому тротуару. Давно уже он, отправляясь на вечернюю прогулку, предусмотрительно надевал туфли на мягкой подошве: начини он стучать каблуками, в каждом квартале все собаки станут встречать и провожать его яростным лаем, и повсюду зашелкают выключатели, и замаячат в окнах лица — всю улицу спугнет он, одинокий путник, своей прогулкой в ранний ноябрьский вечер.

В этот вечер он направился на запад — там, невидимое, лежало море. Такой был славный звонкий морозец, даже пошипывало нос, и в груди будто рождественская елка горела: при каждом вздохе то вспыхивали, то гасли холодные огоньки и колкие ветки покрывал незримый снег. Приятно было слушать, как шуршат под мягкими подошвами осенние листья, и тихонько, неторопливо насвистывать сквозь зубы, и порой, подобрав сухой лист, при свете редких фонарей всматриваться на ходу в узор тонких жилок, и вдыхать горьковатый запах увядания.

— Эй, вы там, — шептал он, проходя, каждому дому, — что у вас нынче по четвертой программе, по седьмой, по девятой? Куда скачут ковбои? А из-за холма сейчас, конечно, подоспеет на выручку наша храбрая кавалерия?

Улица тянулась вдаль, безмолвная и пустынная, лишь его тень скользила по ней, словно тень ястреба над полями. Если закрыть глаза и стоять не шевелясь, почудится, будто тебя занесло в Аризону, в самое сердце зимней безжизненной равнины, где не дохнет ветер, и на тысячи миль не встретить человеческого жилья, и только русла пересохших рек — безлюдные улицы — окружают тебя в твоём одиночестве.

— А что теперь? — спрашивал он у домов, бросив взгляд на ручные часы. — Половина девятого? Самое время для дюжины отборных убийств? Или викторина? Эстрадное обозрение? Или вверх тормашками валится со сцены комик?

Что это — в доме, побеленном луной, кто-то негромко засмеялся? Леонард Мид помедлил — нет, больше ни звука, и он пошел дальше. Споткнулся — тротуар тут особенно неровный. Асфальта совсем не видно, все заросло цветами и травой. Десять лет он бродит вот так, то среди дня, то ночами, отшагал тысячи миль, но еще ни разу ему не повстречался ни один пешеход, ни разу.

Он вышел на тройной перекресток, здесь в улицу вливались два шоссе, пересекавшие город; сейчас тут было тихо. Весь день по обоим шоссе с ревом мчались автомобили, без передышки работали бензоколонки, машины жужжали и гудели, словно тучи огромных жуков, тесня и обгоняя друг друга, фыркая облаками выхлопных газов, и неслись, неслись каждая к своей далекой цели. Но сейчас и эти магистрали тоже похожи на русла рек, обнаженные засухой, — каменное ложе молча стынет в лунном сиянии.

Он свернул в переулок, пора было возвращаться. До дому оставался всего лишь квартал, как вдруг из-за угла вылетела одинокая машина и его ослепил яркий сноп света. Он замер, словно ночная бабочка в луче фонаря, потом как замороженный двинулся на свет.

Металлический голос приказал:

— Смирно! Ни с места! Ни шагу!

Он остановился.

— Руки вверх!

— Но... — начал он.

— Руки вверх! Будем стрелять!

Ясное дело — полиция, редкостный, невероятный случай: ведь на весь город с тремя миллионами жителей осталась одна-единственная полицейская машина, не так ли? Еще год назад, в 2052-м — в год выборов, — полицейские силы были сокращены, из трех машин осталась одна. Преступность все убывала; полиция стала не нужна, только эта единственная машина все кружила и кружила по пустынным улицам.

— Имя? — негромким металлическим голосом спросила полицейская машина; яркий свет фар слепил глаза, людей не разглядеть.

— Леонард Мид, — ответил он.

— Громче!

— Леонард Мид!

— Род занятий?

— Пожалуй, меня следует назвать писателем.

— Без определенных занятий, — словно про себя сказала полицейская машина. Луч света упирался ему в грудь, пронизывал насквозь, точно игла — жука в кол-лекции.

— Можно сказать и так, — согласился Мид.

Он ничего не писал уже много лет. Журналы и книги никто больше не покупает. Все теперь замыкаются по вечерам в домах, подобных склепам, подумал он, продолжая недавнюю игру воображения. Склепы тускло освещает отблеск телевизионных экранов, и люди сидят перед экранами, точно мертвецы; серые или разноцветные отсветы скользят по их лицам, но никогда не задевают душу.

— Без определенных занятий, — прошипел механический голос. — Что вы делаете на улице?

— Гуляю, — сказал Леонард Мид.

— Гуляете?!

— Да, просто гуляю, — честно повторил он, но кровь отхлынула от лица.

— Гуляете? Просто гуляете?

— Да, сэр.

— Где? Зачем?

— Дышу воздухом. И смотрю.

— Где живете?

— Южная сторона, Сент-Джеймс-стрит, одиннадцать.

— Но воздух есть и у вас в доме, мистер Мид? Кондиционная установка есть?

— Да.

— А чтобы смотреть, есть телевизор?

— Нет.

— Нет? — Молчание, только что-то потрескивает, и это как обвинение.

— Вы женаты, мистер Мид?

— Нет.

— Не женат, — произнес жесткий голос за спящей полосой света.

Луна поднялась уже высоко и сияла среди звезд, дома стояли серые, молчаливые.

— Ни одна женщина на меня не польстилась, — с улыбкой сказал Леонард Мид.

— Молчите, пока вас не спрашивают.

Леонард Мид ждал, холодная ночь обступала его.

— Вы *просто гуляли*, мистер Мид?

— Да.

— Вы не объяснили, с какой целью.

— Я объяснил: хотел подышать воздухом, поглядеть вокруг, просто пройтись.

— Часто вы этим занимаетесь?

— Каждый вечер, уже много лет.

Полицейская машина торчала посреди улицы, в ее радиоглотке что-то негромко гудело.

— Что ж, мистер Мид, — сказала она.

— Это все? — учтиво спросил Мид.

— Да, — ответил голос. — Сюда. — Что-то дохнуло, что-то щелкнуло. Задняя дверца машины распахнулась. — Влезайте.

— Погодите, ведь я ничего такого не сделал!

— Влезайте.

— Я протестую!

— Мистер Мид!

И он пошел нетвердой походкой, будто вдруг захмелел. Проходя мимо лобового стекла, заглянул внутрь. Так и знал: никого ни на переднем сиденье, ни вообще в машине.

— Влезайте.

Он взялся за дверцу и заглянул — заднее сиденье помещалось в черном тесном ящике, это была узкая тюремная камера, забранная решеткой. Пахло сталью. Едко пахло дезинфекцией; все отдавало чрезмерной чистотой, жесткостью, металлом. Здесь не было ничего мягкого.

— Будь вы женаты, жена могла бы подтвердить ваше алиби, — сказал железный голос. — Но...

— Куда вы меня повезете?

Машина словно засомневалась, послышалось слабое жужжание и щелчок, как будто где-то внутри механизм-информатор выбросил пробитую отверстиями карточку и подставил ее взгляду электрических глаз.

— В Психиатрический центр по исследованию атавистических наклонностей.

Он вошел в клетку. Дверь бесшумно захлопнулась. Полицейская машина покатила по ночным улицам, освещая себе путь приглушенными огнями фар.

Через минуту показался дом, он был один такой на одной только улице во всем этом городе темных домов — единственный дом, где зажжены были все электрические лампы и желтые квадраты окон празднично и жарко горели в холодном сумраке ночи.

— Вот он, мой дом, — сказал Леонард Мид.

Никто ему не ответил.

Машина мчалась все дальше и дальше по улицам — по каменным руслам пересохших рек, позади оставались пустынные мостовые и пустынные тротуары, и нигде в ледяной ноябрьской ночи больше ни звука, ни движения.

---

### АПРЕЛЬСКОЕ КОЛДОВСТВО

---

Высоко-высоко, выше гор, ниже звезд, над рекой, над прудом, над дорогой, летела Сеси. Невидимая, как юные весенние ветры, свежая, как дыхание клевера на сумеречных лугах... Она парила в горловинах, мягких, как белый

горностаи, отдыхала в деревьях и жила в цветах, улетая с лепестками от самого легкого дуновения. Она сидела в прохладной, как мята, лимонно-зеленой лягушке рядом с блестящей лужей. Она бежала в косматом псе и громко лаяла, чтобы услышать, как между амбарами вдалеке мечется эхо. Она жила в нежной апрельской травке, в чистой как слеза влаге, которая испарялась из пахнущей мускусом почвы.

«Весна... — думала Сеси. — Сегодня ночью я побываю во всем, что живет на свете».

Она вселялась в франтоватых кузнечиков на пятнистом гудроне шоссе, купалась в капле росы на железной ограде. В этот неповторимый вечер ей исполнилось ровно семнадцать лет, и душа ее, поминутно преображаясь, летела, незримая на ветрах Иллинойса.

— Хочу влюбиться, — произнесла она.

Она еще за ужином сказала то же самое. Родители переглянулись и приняли чопорный вид.

— Терпение, — посоветовали они. — Не забудь, ты не как все. Наша семья вся особенная, необычная. Нам нельзя общаться с обыкновенными людьми, тем более вступать в брак. Не то мы лишимся своей магической силы. Ну скажи, разве ты захочешь утратить дар волшебных путешествий? То-то... Так что будь осторожна. Будь осторожна!

Но в своей спальне наверху Сеси чуть-чуть надушила шею и легла, трепещущая, взволнованная, на кровать с пологом, а над полями Иллинойса всплыла молочная луна, превращая реки в сметану, дороги в платину.

— Да, — вздохнула она, — я из необычной семьи. День мы спим, ночью летаем по ветру, как черные бумажные змеи. Захотим — можем всю зиму проспать в кротах, в теплой земле. Я могу жить в чем угодно — в камешке, в крокусе, в богомоле. Могу оставить здесь свою невзрачную оболочку из плоти и послать душу далеко-далеко в полет, на поиски приключений. Лечу!



И ветер понес ее над полями, над лугами.

И коттеджи внизу лучились ласковым весенним светом, и тускло рдели окна ферм.

«Если я такое странное и невзрачное создание, что сама не могу надеяться на любовь, влюблюсь через кого-нибудь другого», — подумала она.

Возле фермы в весеннем сумраке темноволосая девушка лет девятнадцати, не больше, доставала воду из глубокого каменного колодца. Она пела.

Зеленым листком Сеси упала в колодец. Легла на нежный мох и посмотрела вверх, сквозь темную прохладу. Миг — и она в невидимой суетливой амебе, миг — и она в капле воды! И уже чувствует, как холодная кружка несет ее к горячим губам девушки. В ночном воздухе мягко отдались глотки.

Сеси посмотрела вокруг глазами этой девушки.

Проникла в темноволосую голову и ее блестящими глазами посмотрела на руки, которые тянули шершавую веревку. Розовыми раковинами ее ушей вслушалась в окружающий девушку мир. Ее тонкими ноздрями уловила запах незнакомой среды. Ощутила, как ровно, как сильно бьется юное сердце. Ощутила, как вздрагивает в песне чужая гортань.

«Знает ли она, что я здесь?» — подумала Сеси. Девушка ахнула и уставилась на черный луг.

— Кто там?

Никакого ответа.

— Это всего-навсего ветер... — прошептала Сеси.

— Всего-навсего ветер. — Девушка тихо рассмеялась, но ей было жутко.

Какое чудесное тело было у этой девушки! Нежная плоть облекала, скрывая, остов из лучшей, тончайшей кости. Мозг был словно цветущая во мраке светлая чайная роза, рот благоухал, как легкое вино. Под упругими губами — белые-белые зубы, брови красиво изогнуты, волосы ласково, мягко гладят молочно-белую шею. Поры

были маленькие, плотно закрытые. Нос задорно смотрел вверх, на луну, щеки пылали, будто два маленьких очага. Чутко пружиня, тело переходило от одного движения к другому и все время как будто что-то напевало про себя. Быть в этом теле, в этой голове — все равно что греться в пламени камина, поселиться в мурлыканье спящей кошки, плескаться в теплой воде ручья, стремящегося через ночь к морю.

«А мне здесь славно», — подумала Сеси.

— Что? — спросила девушка, словно услышала голос.

— Как тебя звать? — осторожно спросила Сеси.

— Энн Лири. — Девушка встрепенулась. — Зачем я это вслух сказала?

— Энн, Энн, — прошептала Сеси. — Энн, ты влюбишься.

Как бы в ответ на ее слова с дороги донесся громкий топот копыт и хруст колес по щебню. Появилась повозка, на ней сидел рослый парень, его могучие ручки крепко держали натянутые вожжи, и его улыбка осветила весь двор.

— Энн!

— Это ты, Том?

— Кто же еще? — Он соскочил на землю и привязал вожжи к изгороди.

— Я с тобой не разговариваю! — Энн отвернулась так резко, что ведро плеснуло водой.

— Нет! — воскликнула Сеси.

Энн оцепенела. Она взглянула на холмы и на первые весенние звезды. Она взглянула на мужчину, которого звали Томом. Сеси заставила ее уронить ведро.

— Смотри, что ты натворил!

Том подбежал к ней.

— Смотри, это все из-за тебя!

Смеясь, он вытер ее туфли носовым платком.

— Отойди!

Она ногой оттолкнула его руки, но он только продолжал смеяться, и, глядя на него из своего далекого далека, Сеси видела его голову — крупную, лоб — высокий, нос — орлиный, глаза — блестящие, плечи — широкие и налитые силой руки, которые бережно гладили туфли платком. Глядя вниз из потаенного чердака красивой головки, Сеси потянула скрытую проволочку чревовещания, и милый ротик тотчас открылся:

— Спасибо!

— Вот как, ты умеешь быть вежливой!

Запах сбруи от его рук, запах конюшни, пропитавший его одежду, коснулся чутких ноздрей, и тело Сеси, лежащее в постели далеко-далеко, за темными полями и цветущими лугами, беспокойно зашевелилось, словно она что-то увидела во сне.

— Только не с тобой! — ответила Энн.

— Тсс, говори ласково, — сказала Сеси, и пальцы Энн сами потянулись к голове Тома.

Энн отдернула руку.

— Я с ума сошла!

— Верно. — Он кивнул, улыбаясь, слегка озадаченный. — Ты хотела потрогать меня?

— Не знаю. Уходи, уходи!

Ее щеки пылали, словно розовые угли.

— Почему ты не убегаешь? Я тебя не держу. — Том выпрямился. — Ты передумала? Пойдешь сегодня со мной на танцы? Это очень важно. Я потом скажу почему.

— Нет, — ответила Энн.

— Да! — воскликнула Сеси. — Я еще никогда не танцевала. Хочу танцевать. Я еще никогда не носила длинного шуршащего платья. Хочу платье. Хочу танцевать всю ночь. Я еще никогда не была в танцующей женщине, папа и мама ни разу мне не позволяли. Собаки, кошки, кузнечики, листья — я во всем свете побывала в разное время, но никогда не была женщиной в весенний ве-

чер, в такой вечер, как этот... О, прошу тебя, пойдем на танцы!

Мысль ее напряглась, словно расправились пальцы в новой перчатке.

— Хорошо, — сказала Энн Лири. — Я пойду с тобой на танцы, Том.

— А теперь — в дом, живо! — воскликнула Сеси. — Тебе еще надо умыться, сказать родителям, достать платье, уют в руки, за дело!

— Мама, — сказала Энн, — я передумала.

Повозка мчалась по дороге, комнаты фермы вдруг ожили, кипела вода для купания, плита раскалила уют для платья, мать металась из угла в угол, и рот ее ошетинился шпильками.

— Что это на тебя вдруг нашло, Энн? Тебе ведь не нравится Том!

— Верно. — И Энн в разгар приготовлений вдруг застыла на месте.

«Но ведь весна!» — подумала Сеси.

— Сейчас весна, — сказала Энн.

«И такой чудесный вечер для танцев», — подумала Сеси.

— ...для танцев, — пробормотала Энн Лири.

И вот она уже сидит в корыте, и пузырчатое мыло пенится на ее белых покатых плечах, лепит под мышками гнездышки, теплая грудь скользит в ладонях, и Сеси заставляет губы шевелиться. Она терла тут, мылила там, а теперь — встать! Вытереться полотенцем! Духи! Пудра!

— Эй, ты! — Энн окликнула свое отражение в зеркале: белое и розовое, словно лилии и гвоздики. — Кто ты сегодня вечером?

— Семнадцатилетняя девушка. — Сеси выглянула из ее фиалковых глаз. — Ты меня не видишь. А ты знаешь, что я здесь?

Энн Лири покачала головой.

— Не иначе в меня вселилась апрельская ведьма.

— Горячо, горячо! — рассмеялась Сеси. — А теперь одеваться.

Ах, как сладостно, когда красивая одежда облегает пышущее жизнью тело! И снаружи уже зовут...

— Энн, Том здесь!

— Скажите ему, пусть подождет. — Энн внезапно села. — Скажите, что я не пойду на танцы.

— Что такое? — сказала мать, стоя на пороге.

Сеси мигом заняла свое место. На какое-то роковое мгновение она отвлеклась, покинула тело Энн. Услышала далекий топот копыт, скрип колес на лунной дороге и вдруг подумала: «Полечу найду Тома, проникну в его голову, посмотрю, что чувствует в такую ночь парень двадцати двух лет». И она пустилась в полет над вересковым лугом, но тотчас вернулась, будто птица в родную клетку, и заметалась, забилась в голове Энн Лири.

— Энн!

— Пусть уходит!

— Энн! — Сеси устроилась поудобнее и напрягла свои мысли.

Но Энн закусила удила.

— Нет-нет, я его ненавижу!

Нельзя было ни на миг оставлять ее. Сеси подчинила себе руки девушки... сердце... голову... исподволь, осторожно: «Встань!» — подумала она.

Энн встала.

«Надень пальто!»

Энн надела пальто.

«Теперь иди!»

«Нет!» — подумала Энн Лири.

«Ступай!»

— Энн, — заговорила мать, — не заставляй больше Тома ждать. Сейчас же иди, и никаких фокусов. Что это на тебя нашло?

— Ничего, мама. Спокойной ночи. Мы вернемся поздно.

Энн и Сеси вместе выбежали в весенний вечер.

Комната, полная плавно танцующих голубей, которые мягко распускают оборки величавых, пышных перьев, комната, полная павлинов, полная радужных пятен и бликов. И посреди всего этого кружится, кружится в танце Энн Лири...

— Какой сегодня чудесный вечер! — сказала Сеси.

— Какой чудесный вечер! — произнесла Энн.

— Ты какая-то странная, — сказал Том.

Вихревая музыка окутала их мглой, закружила в струях песни; они плыли, качались, тонули и вновь всплывали за глотком воздуха, цепляясь друг за друга, словно утопающие, и опять кружились, кружились в вихре, в шепоте, вздохах под звуки «Прекрасного Огайо».

Сеси напевала. Губы Энн разомкнулись, и зазвучала мелодия.

— Да, я странная, — ответила Энн.

— Ты на себя не похожа, — сказал Том.

— Сегодня — да.

— Ты не та Энн Лири, которую я знал.

— Совсем, совсем не та, — прошептала Сеси за много-много миль оттуда.

— Совсем не та, — послушно повторили губы Энн.

— У меня какое-то нелепое чувство, — сказал Том.

— Насчет чего?

— Насчет тебя. — Он чуть отодвинулся и, кружа ее, пристально, пытливо посмотрел на раздумывшееся лицо. — Твои глаза, — произнес он, — не возьму в толк.

— Ты видишь меня? — спросила Сеси.

— Ты вроде бы здесь и вроде бы где-то далеко отсюда. — Том осторожно ее кружил, лицо у него было озабоченное.

— Да.

— Почему ты пошла со мной?

— Я не хотела, — ответила Энн.

— Так почему же?..

— Что-то меня заставило.

— Что?

— Не знаю. — В голосе Энн зазвенели слезы.

— Спокойно, тише... тише... — шепнула Сеси. — Вот так. Кружись, кружись.

Они шуршали и шелестели, взлетали и опускались в темной комнате, и музыка вела и кружила их.

— И все-таки ты пошла на танцы, — сказал Том.

— Пошла, — ответила Сеси.

— Хватит. — И он легко увлек ее в танце к двери, на волю, неприметно увел ее прочь от зала, от музыки и людей.

Они забрались в повозку и сели рядом.

— Энн, — сказал он и взял ее руки дрожащими руками. — Энн.

Но он произносил ее имя так, словно это было вовсе не ее имя. Он пристально смотрел на бледное лицо Энн, теперь ее глаза были открыты.

— Энн, было время, я любил тебя, ты это знаешь, — сказал он.

— Знаю.

— Но ты всегда была так переменчива, а мне не хотелось страдать понапрасну.

— Ничего страшного, мы еще так молоды, — ответила Энн.

— Нет-нет, я хотела сказать: прости меня, — сказала Сеси.

— За что простить? — Том отпустил ее руки и насто- рожился.

Ночь была теплая, и отовсюду их обдавало трепетное дыхание земли, и зазеленевшие деревья тихо дышали шуршащими, шелестящими листьями.

— Не знаю, — ответила Энн.

— Нет, знаю, — сказала Сеси. — Ты высокий, ты самый красивый парень на свете. Сегодня чудесный вечер, я на всю жизнь запомню, как я провела его с тобой.

И она протянула холодную чужую руку за его сопротивляющейся рукой, взяла ее, стиснула, согрела.

— Что с тобой сегодня? — сказал, недоумевая, Том. — То одно говоришь, то другое. Сама на себя не похожа. Я тебя по старой памяти решил на танцы позвать. Поначалу спросил просто так. А когда мы стояли с тобой у колодца, вдруг почувствовал: ты как-то переменялась, сильно переменялась. Стала другая. Появилось что-то новое... мягкость какая-то... — Он подыскивал слова. — Не знаю, не умею сказать. И смотрела не так. И голос не тот. И я знаю: я опять в тебя влюблен.

«Не в нее, — сказала Сеси, — в меня!»

— А я боюсь тебя любить, — продолжал он. — Ты опять станешь меня мучить.

— Может быть, — ответила Энн.

«Нет-нет, я всем сердцем буду тебя любить! — подумала Сеси. — Энн, скажи ему это, скажи за меня. Скажи, что ты его всем сердцем полюбишь».

Энн ничего не сказала.

Том тихо придвинулся к ней, ласково взял ее за подбородок.

— Я уезжаю. Нанялся на работу, сто миль отсюда. Ты будешь обо мне скучать?

— Да, — сказали Энн и Сеси.

— Так можно поцеловать тебя на прощание?

— Да, — сказала Сеси, прежде чем кто-либо другой успел ответить.

Он прижался губами к чужому рту. Дрожа, он поцеловал чужие губы.

Энн сидела будто белое изваяние.

— Энн! — воскликнула Сеси. — Подними руки, обними его!



Она сидела в лунном сиянии, будто деревянная кукла.

Он снова поцеловал ее в губы.

— Я люблю тебя, — шептала Сеси. — Я здесь, это меня ты увидел в ее глазах, меня, а я тебя люблю, хоть бы она тебя никогда не полюбила.

Он отодвинулся и сидел рядом с Энн такой измученный, будто перед тем пробежал невесть сколько.

— Не понимаю, что это делается... Только сейчас...

— Да? — спросила Сеси.

— Сейчас мне показалось... — Он протер руками глаза. — Не важно. Отвезти тебя домой?

— Пожалуйста, — сказала Энн Лири.

Он почмокал лошади, вяло дернул вожжи, и повозка тронулась. Шуршали колеса, шлепали ремни, катилась серебристая повозка, а кругом ранняя весенняя ночь — всего одиннадцать часов, — и мимо скользят мерцающие поля и луга, благоухающие клевером.

И Сеси, глядя на поля, на луга, думала: «Все можно отдать, ничего не жалко, чтобы быть с ним вместе, с этой ночи и навсегда». И она услышала издали голоса своих родителей: «Будь осторожна. Неужели ты хочешь потерять свою магическую силу? А ты ее потеряешь, если выйдешь замуж за простого смертного. Берегись. Ведь ты этого не хочешь?»

«Да, хочу, — подумала Сеси. — Я даже этим готова поступиться хоть сейчас, если только я ему нужна. И не надо больше метаться по свету весенними вечерами, не надо вселяться в птиц, собак, кошек, лис — мне нужно одно: быть с ним. Только с ним. Только с ним».

Дорога под ними, шурша, бежала назад.

— Том, — заговорила наконец Энн.

— Да? — Он угрюмо смотрел на дорогу, на лошадь, на деревья, небо и звезды.

— Если ты когда-нибудь, в будущем, попадешь в Гринтаун в Иллинойсе — это несколько миль отсюда, — можешь сделать мне одолжение?

— Возможно.

— Можешь ты там зайти к моей подруге? — Энн Лири сказала это запинаясь, неуверенно.

— Зачем?

— Это моя хорошая подруга... Я рассказывала ей про тебя. Я тебе дам адрес. Минутку.

Повозка остановилась возле дома Энн, она достала из сумочки карандаш и бумагу и, положив листок на колесо, стала писать при свете луны.

— Вот. Разберешь?

Он поглядел на листок и озадаченно кивнул. «Сеси Элиот. Тополевая улица, 12, Грингаун, Иллинойс», — прочел он.

— Зайдешь к ней как-нибудь? — спросила Энн.

— Как-нибудь, — ответил он.

— Обещаешь?

— Какое отношение это имеет к нам? — сердито крикнул он. — На что мне бумажки, имена?

Он скомкал листок и сунул бумажный шарик в карман.

— Пожалуйста, обещай! — взмолилась Сеси.

— ...обещай... — сказала Энн.

— Ладно, ладно, только не приставай! — крикнул он.

«Я устала, — подумала Сеси. — Не могу больше. Пора домой. Силы кончаются. У меня всего на несколько часов сил хватает, когда я ночью вот так странствую... Но на прощание...»

— ...на прощание... — сказала Энн.

Она поцеловала Тома в губы.

— Это я тебя целую, — сказала Сеси.

Том отодвинул от себя Энн Лири и поглядел на нее, заглянул ей в самую душу. Он ничего не сказал, но лицо его медленно, очень медленно разгладилось, морщины исчезли, каменные губы смягчились, и он еще раз пристально всмотрелся в озаренное луной лицо, белеющее перед ним.

Потом помог ей сойти с повозки и быстро, даже не сказав «спокойной ночи», покатил прочь.

Сеси отпустила Энн.

Энн Лири вскрикнула, точно вырвалась из плена, побежала по светлой дорожке к дому и захлопнула за собой дверь.

Сеси чуть помешкала. Глазами сверчка она посмотрела на ночной весенний мир. Одну минуту, не больше, глядя глазами лягушки, посидела в одиночестве возле пруда. Глазами ночной птицы глянула вниз с высокого, купающегося в лунном свете вяза и увидела, как гаснет свет в двух домиках — ближнем и другом, в миле оттуда. Она думала о себе, о всех своих, о своем редком даре, о том, что ни одна девушка в их роду не может выйти замуж за человека, живущего в этом большом мире за холмами.

«Том. — Ее душа, теряя силы, летела в ночной птице над деревьями, над темными полями дикой горчицы. — Том, ты сохранил листок? Зайдешь когда-нибудь, как-нибудь при случае навестить меня? Узнаешь меня? Вглядишься в мое лицо и вспомнишь, где меня видел, почувствуешь, что любишь меня, как я люблю тебя — всем сердцем и навсегда?»

Она остановилась, а кругом — прохладный ночной воздух и миллионы миль до городов и людей, и далеко-далеко внизу фермы и поля, реки и холмы.

Тихонько: «Том?»

Том спал. Была уже глубокая ночь; его одежда аккуратно висела на стульях, на спинке кровати. А возле его головы на белой подушке ладонью кверху удобно покоилась рука, и на ладони лежал клочок бумаги с буквами. Медленно-медленно пальцы согнулись и крепко его сжали. И Том даже не шелохнулся, даже не заметил, когда черный дрозд на миг тихо и мягко прильнул к переливающемуся лунными бликами окну, бесшумно вспорхнул, замер — и полетел прочь, на восток, над спящей землей.

## ПУСТЫНЯ

«Итак, настал желанный час...» Уже смеркалось, но Джейнис и Леонора во флигеле неумоимо укладывали вещи, что-то напевали, почти ничего не ели и, когда становилось невтерпеж, подбадривали друг друга. Только в окно они не смотрели — за окном сгущалась тьма, высыпали холодные яркие звезды.

— Слышишь? — сказала Джейнис.

Звук такой, словно по реке идет пароход, но это взмыла в небо ракета. И еще что-то — играют на банджо? Нет, это, как положено по вечерам, поют свою песенку сверчки в лето от Рождества Христова две тысячи третье. Несчетные голоса звучат в воздухе, голоса природы и города. И Джейнис, склонив голову, слушает. Давным-давно, в 1849-м, здесь, на этой самой улице, раздавались голоса чревоушителей, проповедников, гадалок, глупцов, школьников, авантюристов — все они собрались тогда в этом городке Индипенденс, штат Миссури. Они ждали, чтоб подсохла почва после дождей и весенних разливов и поднялись густые травы, плотный ковер, что выдержит их тележки и фургоны, их пестрые судьбы и мечты.

Итак, настал желанный час —  
И мы летим, летим на Марс!  
Пять тысяч женщин в небесах  
Творить сумеют чудеса!

— Такую песенку пели когда-то в Вайоминге, — сказала Леонора. — Чутьочку изменить слова — и вполне подходит для две тысячи третьего года.

Джейнис взяла маленькую, не больше спичечной, коробочку с питательными пилюлями и мысленно прикинула, сколько всего везли в тех старых фургонах на огромных колесах. На каждого человека — тонны груза, подумать страшно! Окорока, грудинка, сахар, соль, мука, сушеные фрукты, галеты, лимонная кислота, во-

да, имбирь, перец — длиннейший, нескончаемый список! А теперьхвати в дорогу пилюли не крупнее наручных часов — и будешь сыт, странствуя не просто от Форта Ларами до Хангтауна, а через всю звездную пустыню.

Джейнис распахнула дверь чулана и чуть не вскрикнула. На нее в упор смотрели тьма, и ночь, и межзвездные бездны.

Много лет назад было в ее жизни два таких случая: сестра заперла ее в чулане, а она визжала и отбивалась, а в другой раз в гостях, когда играли в прятки, она через кухню выбежала в длинный темный коридор. Но это оказался не коридор. Это была неосвещенная лестница, глубокий черный колодец. Она выбежала в пустоту. Опора ушла из-под ног, Джейнис закричала и свалилась. Вниз, в непроглядную черноту. В погреб. Она падала долго — успело гулко ударить сердце. И долго-долго она задыхалась в том чулане — ни один луч света не пробивался к ней, ни одной подружки не было рядом, никто не слышал ее криков. Совсем одна, взаперти, во тьме. Падаешь во тьму. И кричишь!

Два воспоминания.

И вот сейчас распахнулась дверь чулана и тьма повисла бархатным пологом, таким плотным, что можно потрогать его дрожащей рукой; точно черная пантера, дышала тьма, глядя в лицо тусклым взором, — и те давние воспоминания вдруг нахлынули на Джейнис. Бездна и падение. Бездна и одиночество, когда тебя заперли, и кричишь, и никто не слышит. Они с Леонорой укладывались, работали без передышки и при этом старались не смотреть в окно, на пугающий Млечный Путь, в бескрайнюю, беспредельную пустоту, и только старый привычный чулан, где затаился свой, отдельный клочок ночи, напомнил им наконец о том, что их ждет.

Вот так и будешь скользить в пустоту, к звездам, во тьме, в огромном, чудовищном черном чулане, и станешь

кричать и звать, и никто не услышит. Вечно падать сквозь тучи метеоритов, среди безбожных комет. В бездонную лестничную клетку. Через немыслимую, как в кошмарном сне, угольную шахту — в ничто.

Она закричала. Ни звука не сорвалось с ее губ. Вопль метался в груди, в висках. Она кричала. С маху захлопнула дверь чулана! Навалилась на нее всем телом. Чувствовала, как по ту сторону дышит и скулит тьма, и изо всей силы держала дверь, и слезы выступили у нее на глазах. Она долго стояла так и смотрела, как Леонора укладывает вещи, и наконец дрожь унялась. Истерики, которой не дали волю, понемногу отступила. И стало слышно, как трезво, рассудительно тикают на руке часы.

— Шестьдесят миллионов миль! — Она подошла наконец к окну, точно ступила на край глубокого колодца. — Просто не могу поверить, что вот сейчас на Марсе наши мужчины строят города и ждут нас.

— Верить надо только в завтрашнюю ракету — не опоздать бы на нее!

Джейнис подняла обеими руками белое платье, в полумрачной комнате оно казалось призраком.

— Странно это... выйти замуж на другой планете.

— Пойдем-ка спать.

— Нет! В полночь вызовет Марс. Я все равно не усну, буду думать, как мне сказать Уиллу, что я решила лететь. Ты только представь, мой голос полетит к нему по световому фону за шестьдесят миллионов миль! Я боюсь — а вдруг передумаю, со мной ведь это бывало!

— Наша последняя ночь на Земле...

Теперь они знали, что так оно и есть, и примирились с этим; уже не укрыться было от этой мысли. Они улетают — и, быть может, никогда не вернуться. Они покидают город Индипенденс в штате Миссури на североамериканском континенте, который омывают два океана — с од-

ной стороны Атлантический, с другой — Тихий, — и ничего этого не захватишь с собой в чемодане. Все время они страшились посмотреть в лицо этой суровой истине. А теперь она стала перед ними во весь рост. И они оцепенели.

— Наши дети уже не будут американцами, они даже не будут людьми с Земли. Теперь мы на всю жизнь — марсиане.

— Я не хочу! — вдруг крикнула Джейнис.

Ужас сковал ее.

— Я боюсь! Бездна, тьма, ракета, метеориты... И все, все останется позади! Ну зачем мне лететь?!

Леонора обхватила ее за плечи, прижала к себе и стала укачивать, как маленькую.

— Там новый мир. Так бывало и в старину. Мужчины идут вперед, женщины — за ними.

— Нет, ты скажи, зачем, ну зачем это мне?

— Затем, — спокойно сказала Леонора и усадила ее на край кровати. — Затем, что там Уилл.

Отрадно было услышать его имя. Джейнис притихла.

— Это из-за мужчин нам так трудно, — сказала Леонора. — Когда-то, бывало, если женщина одолеет ради мужчины двести миль, это уже событие. Потом они стали уезжать за тысячу миль. А теперь улетают на другой край Вселенной. Но все равно это нас не остановит, правда?

— Боюсь, в ракете я буду дура дурой.

— Ну и я буду дурой, — сказала Леонора и поднялась. — Пойдем-ка погуляем на прощание.

Джейнис выглянула из окна.

— Завтра все в городе пойдет по-прежнему, а нас тут уже не будет. Люди проснутся, позавтракают, займутся делами, лягут спать, на следующее утро опять проснутся, а мы уже ничего этого не узнаем, и никто про нас не вспомнит.

Они слепо кружили по комнате, словно не могли найти выхода.

— Пойдем.

Отворили наконец дверь, погасили свет, вышли и закрыли за собой дверь.

В небе царило небывалое оживление. То ли распускались огромные цветы, то ли свистела, кружила, завивалась невиданная метель. Медлительными снежными хлопьями опускались вертолеты. Еще и еще прибывали женщины — с востока и запада, с юга и севера. Все огромное ночное небо снежило вертолетами. Гостиницы были переполнены, радушно распахивались двери частных домов, в окрестных полях и лугах поднимались целые палаточные городки, точно странные, уродливые цветы, — и весь город и его окрестности согреты были не одной только летней ночью. Тепло излучали запрокинутые к небу раздумавшиеся лица женщин и загорелые лица юношей. За грядой холмов готовились к старту ракеты, казалось, кто-то разом нажимает все клавиши гигантского органа, и от могучих аккордов ответно трепетали все стекла в каждом окне и каждая косточка в теле. Дрожь отдавалась в зубах, в руках и ногах до самых кончиков пальцев.

Леонора и Джейнис сидели в аптеке среди незнакомых женщин.

— Вы премило выглядите, красавицы, только что-то вы нынче невеселые? — сказал им продавец за стойкой.

— Два стакана шоколада на солоде, — попросила Леонора и улыбнулась за двоих, потому что Джейнис не вымолвила ни слова.

И обе усталились на свои стаканы, точно на редкостную картину в музее. Не скоро; очень не скоро на Марсе можно будет побаловаться солодовым напитком.

Джейнис порылась в сумочке, нерешительно вытащила конверт и положила на мраморную стойку.



— От Уилла. Пришло с почтовой ракетой два дня назад. Из-за этого я и решила лететь. Я тебе сразу не сказала. Посмотри. Возьми, возьми, прочти записку.

Леонора вытряхнула из конверта листок бумаги и прочитала вслух:

*Милая Джейнис. Это наш дом, если, конечно, ты решишь приехать.*

*Уилл*

Леонора еще постучала по конверту, и из него выпала на стойку блестящая цветная фотография. На фотографии был дом — старый, замшелый, золотисто-коричневый, как леденец, уютный дом, а вокруг алели цветы, прохладно зеленел папоротник, и веранда заросла косматым плющом.

— Но позволь, Джейнис!

— Да?

— Это же твой дом здесь, на Земле, на улице Вязов!

— Нет. Смотри получше.

Обе всмотрелись — по сторонам уютного коричневого дома и за ним открывался вид, какого не найдешь на Земле. Почва была странного фиолетового цвета, трава чуть отливала красным, небо сверкало, как серый алмаз, а сбоку причудливо изогнулось дерево, похожее на старуху, в чьих седых волосах запутались блестящие льдинки.

— Этот дом Уилл построил там для меня, — сказала Джейнис. — Как посмотрю, легче на душе. Вчера, когда я оставалась на минутку одна и меня одолевал страх, я каждый раз вынимала эту карточку и смотрела.

Они не сводили глаз с фотографии, разглядывали уютный дом, что ждал за шестьдесят миллионов миль отсюда, — знакомый и все же незнакомый, старый и совсем новый, и справа теплый желтый прямоугольник — это светится окно гостиной.

— Молодчина Уилл. — Леонора одобрительно кивнула. — Он знает, что делает.

Они допили коктейль. А по улице все бродили оживленные толпы приезжих, и падал, падал с летнего неба нетающий снег.

Они накупили в дорогу уйму всякого вздора: пакетики лимонных леденцов, журналы мод на глянцевиной бумаге, тонкие духи; потом взяли напрокат две гравизащитные куртки — наряд, в котором стоит коснуться едва заметной кнопки на поясе — и порхаешь, как мотылек, бросая вызов земному притяжению, — и, словно подхваченные ветром цветочные лепестки, понеслись над городом.

— Все равно куда, — сказала Леонора. — Куда глаза глядят.

Они отделись на волю ветра, и он понес их сквозь летнюю ночь, полную яблоневого цвета и оживленных приготовлений, над милым городом, над домами их детства и юности, над школами и улицами, над ручьями, лугами и фермами, такими родными, что каждое зерно пшеницы было дороже золота. Они трепетали, точно листья под жарким дуновением ветра, что предвещает грозу, когда в горах уже сверкают летние молнии. Под ними в полях белели пыльные дороги — еще так недавно они по спирали спускались здесь на блестящих под луной стрекочущих вертолетах и дышали ночной прохладой на берегу реки, и с ними были их любимые, которые теперь так далеко...

Они парили над городом, уже отдаленным, хоть они пока не так высоко поднялись над землей; город уходил вниз, словно черная река, и вдруг, точно гребень волны, вздымался свет живых и ярких огней... и все же город был уже недосыгаем, уже только видение, затянутое дымкой отчужденности; он еще не скрылся навсегда из глаз, а память уже в тоске и страхе оплакивала утрату.

Покачиваясь и кружа в воздухе, они украдкой заглядывали на прощание в сотни родных и милых лиц, которые проплывали мимо в рамках освещенных окон, будто уносимые ветром; но это само Время подхватило их обе-

их и несло своим дыханием. Они всматривались в каждое дерево — ведь кора хранила вырезанные на ней когда-то признания; скользили взглядом по каждому тротуару. Впервые они увидели, как прекрасен их город, прекрасны и одинокие огоньки, и потемневшие от старости кирпичные стены, — они смотрели расширенными глазами и упивались этой красотой. Город кружил под ними, точно праздничная карусель; порой всплеснет музыка, забормочут, переключаются голоса в домах, мелькнут призрачные отсветы телевизионных экранов.

Две женщины скользили в воздухе, точно иглы, и за ними от дерева к дереву тонкой нитью тянулся аромат духов. Глаза, кажется, уже не вмещали виденного, а они все откладывали впрок каждую мелочь, каждую тень, каждый одинокий дуб и вяз, каждую машину, пробегающую там, внизу, по извилистой улочке, — и вот уже полны слез глаза, полны с краями и голова и сердце...

«Точно я мертвая, — думала Джейнис, — точно лежу в могиле, а надо мной весенняя ночь, и все живет и движется, а я — нет, все готово жить дальше без меня. Так бывало в пятнадцать, в шестнадцать лет: весной я не могла спокойно пройти мимо кладбища, всегда плакала, думала: ночь такая чудесная, и я живу, а они все лежат мертвые, и это несправедливо, несправедливо. Мне стыдно было, что я живу. А вот сейчас, сегодня меня будто вытащили из могилы и сказали: один только раз, последний, посмотри, какой он, город, и люди, и что это значит — жить, а потом за тобой опять захлопнется черная дверь».

Тихо-тихо, качаясь на ночном ветру, словно два белых китайских фонарика, проплывали они над своей жизнью, над прошлым, над лугами, где в свете множества огней раскинулись палаточные городки, над большими дорогами, где до рассвета будут второпях тесниться грузовики с припасами для дальнего пути. Долго смотрели они сверху на все это и не могли оторваться.

Часы на здании суда гулко пробили три четверти двенадцатого, когда две женщины, словно две паутинки, слетевшие со звезд, опустились на залитую луной мостовую перед домом Джейнис. Город уже спал, дом Джейнис им тоже сулил покой и сон, но обеим было не до сна.

— Неужели это мы? — сказала Джейнис. — Мы — Джейнис Смит и Леонора Холмс, и на дворе год две тысячи третий.

— Да.

Джейнис провела языком по пересохшим губам и выпрямилась.

— Хотела бы я, чтоб это был какой-нибудь другой год.

— Тысяча четыреста девяносто второй? Тысяча шестьсот двенадцатый? — Леонора вздохнула, и заодно с нею вздохнул, пролетая, ветер в листве деревьев. — Всегда было не одно, так другое: отплытие Колумба, высадка в Плимут-Роке. И хоть убей, не знаю, как тут быть нам, женщинам.

— Оставаться старыми девами.

— Или сниматься с якоря, как мы сейчас.

Они открыли дверь, дом дохнул им навстречу теплом и ночной тишиной, шум города медленно отступал. Они закрыли за собой дверь, и тут в доме раздался звонок.

— Вызов! — крикнула на бегу Джейнис.

Леонора вошла в спальню за нею по пятам, но Джейнис уже схватила трубку и повторяет: «Алло, алло!» В большом далеком городе техник готовится включить огромный аппарат, который соединит сейчас два мира, и две женщины ждут — одна, вся побелев, сидит с трубкой в руках, другая склонилась над нею, и в лице ее тоже ни кровинки.

Настало долгое затишье, и в нем — только звезды и время — нескончаемое ожидание, каким были для них и все последние три года. И вот настал час, пришла очередь Джейнис позвать через миллионы миль, через без-

дну, где мчатся метеоры и кометы, убегая от рыжего солнца, которое вот-вот опалит и расплавит ее слова и выжжет из них всякий смысл. Но голос ее все пронизал серебряной иглой, прошел стежками слов бескрайнюю ночь, отразился от лун Марса. И нашел того, кто ждал в далекой-далекой комнате, в городе на другой планете, до которой радиоволнам лететь пять минут. Вот что она сказала:

— Здравствуй, Уилл! Это я, Джейнис!

Она сглотнула комок, застрявший в горле.

— Дают так мало времени. Только одну минуту.

Она закрыла глаза.

— Я хочу говорить медленно, а велют побыстрее. Так вот... я решила. Я приеду. Я вылетаю завтрашней ракетой. Я все-таки прилечу к тебе. И я тебя люблю. Надеюсь, ты меня слышишь. Я тебя люблю. Я так соскучилась...

Голос ее полетел к далекому, невидимому миру. Теперь, когда все было уже сказано, ей захотелось вернуть свои слова, сказать не так, по-другому, лучше объяснить, что у нее на душе. Но слова ее уже неслись среди планет, и если б какое-нибудь чудо космической радиации заставило их вспыхнуть и засветиться, подумала Джейнис, ее любовь озарила бы десятки миров и на той стороне земного шара, где сейчас ночь, люди изумились бы неурочной заре. Теперь ее слова принадлежат уже не ей, но межпланетному пространству, они ничьи, пока не долетят до цели, к которой они мчатся со скоростью сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду.

«Что он мне ответит? — думала она. — Что скажет он в ту короткую минуту, которая отведена ему?» Она беспокойно вертела и теребила часы на руке, а в трубке светфона потрескивало — само пространство говорило с Джейнис, она слышала неистовую пляску электрических разрядов и голос магнитных бурь.

— Он уже ответил? — шепнула Леонора.

— Ш-ш! — Джейнис пригнулась к самым коленям, точно ей стало дурно.

И тогда из бездны долетел голос Уилла.

— Я его слышу! — вскрикнула Джейнис.

— Что он говорит?

Голос звучал с Марса, он летел через пустоту, где не бывает ни рассвета, ни заката, лишь вечная ночь, и во мраке — пылающее солнце. И где-то на полпути между Марсом и Землей голос потерялся — быть может, слова захватил силою тяготения и увлек за собой пронесшийся мимо наэлектризованный метеорит, быть может, на них обрушился серебряный дождь метеоритной пыли... как знать. Но только все мелкие, незначительные слова будто смыло. И когда голос долетел до Джейнис, она услышала одно лишь слово:

— ...люблю...

И опять воцарилась бескрайняя ночь, и слышно было, как вращаются звезды и что-то нашептывают солнца, и голос еще одного мира, затерянного в пространстве, отдавался у нее в ушах — гром ее собственного сердца.

— Ты его слышала? — спросила Леонора.

У Джейнис едва хватило сил кивнуть.

— Что же он говорил, что он говорил? — допытывалась Леонора.

Но этого Джейнис не сказала бы никому на свете, эта радость слишком дорогая, чтобы ею можно было поделиться. Она сидела и вслушивалась — в памяти опять и опять звучало то единственное слово. Она сидела и вслушивалась, и даже не заметила, как Леонора взяла у нее из рук трубку и положила на рычаг.

И вот они лежат в постелях, свет погашен, в комнатах веет ночной ветер, а в нем — дыхание долгих странствий среди мрака и звезд; и они говорят о завтрашнем дне и о днях, которые настанут после: то будут не дни и не ночи, но неведомое время без границ и пределов; а потом голоса смолкают, заглушенные то ли сном, то ли бессонными мыслями, и Джейнис остается в постели одна.

«Так вот как бывало столетие с лишним назад? — думается ей. — В маленьких городках на востоке страны женщины в последнюю ночь, в ночь кануна, ложились спать, и не могли уснуть, и слышали в ночи, как фыркают и переступают лошади и скрипят огромные фургоны, снаряженные в дорогу, и под деревьями шумно дышат во-лы, и плачут дети, до срока узнав одиночество. Равнины и лесные чащи наполнились извечным шумом прибытий и отъездов, и кузнецы за полночь гремели молотами в багровом аду подле своих горнов. И пахло грудинкой и окороками, что коптились на дороге, и, словно корабли, тяжело раскачивались фургоны, до отказа нагруженные припасами для перехода через прерии; в деревянных бочонках плескалась вода, ошалело кудахтали куры в корзинах, подвешенных снизу к осям, собаки убегали вперед и в страхе прибегали обратно, и в глазах у них отражалась пустыня. Значит, вот как было в те давние времена? На краю бездны, на грани звездной пропасти. Тогда был запах буйволов, в наши дни — запах ракеты. Значит, вот как это было?»

Дремотные мысли путались, и, уже погружаясь в сон, она окончательно поняла — да, конечно, неизбежно и неотвратимо — так было от века и так будет во веки веков.

---

### ФРУКТЫ НА САМОМ ДНЕ ВАЗЫ

Уильям Эктон встал. Часы на каминной полке отбили полночь.

Он оглядел свои пальцы, большой зал вокруг и тело человека на полу. Этими пальцами Уильям Эктон печатал на машинке, ласкал любимую, готовил яичницу с беконом на завтрак; этими же десятью пальцами в узорах ложбинок он только что совершил убийство.

Он не подозревал у себя таланта скульптора, но в эту минуту, глядя на тело, лежащее на сверкающем паркете,

неволью любовался, как у него получилось из этой человеческой глины вылепить, изобразить, сваять Дональду Хаксли новое лицо, даже новое тело.

Легким движением пальцев он убрал из серых глаз Хаксли требовательный блеск, сменил его отрешенным холодом и неподвижностью. Прежде розовые и чувственные губы приоткрыты, за ними виднеются крупные зубы: пожелтевшие резцы, клыки с никотиновым налетом, моляры с золотыми коронками. Нос, тоже когда-то розовый, пошел пятнами, побледнел и обесцветился, как и уши. Руки, распростертые на полу, впервые протянуты с мольбой, а не с требованием.

Да, это было произведение искусства. В общем и целом, все перемены пошли Хаксли только на пользу. После смерти с ним даже стало приятно иметь дело. Теперь с ним можно было поговорить, и он бы, наконец, выслушал.

Уильям Эктон продолжал разглядывать свои пальцы.

Сделанного не воротишь. Слышал ли их кто-нибудь? Он прислушался. Снаружи как ни в чем не бывало шумела ночная улица. Никто не колотил во входную дверь, не пытался высадить ее с плеча, не кричал «Откройте!». Убийство, это превращение теплой и мягкой глины в холодную и застывшую, свершилось. Свидетелей не было.

Что теперь? Часы отбили полночь. Все внутри Эктона молило: скорее, к двери. Убраться отсюда, убежать без оглядки, скрыться, сесть на поезд, поймать такси, уехать, уйти, уползти, улететь — как можно дальше!

Но он не отрывал взгляда от своих рук, медленно сжимаемая и разжимаемая кулаки; в ладонях ощущалась легкость и воздушность. «Отчего я вдруг так ими заинтересовался? — спросил он сам себя. — Что в них такого, что я должен отвлечься от убийства и рассматривать узор кожи?»

Руки как руки — не толстые, но и не худые, не длинные, но и не короткие, не волосатые, но и не гладкие, не ухоженные, но и не грязные, не нежные, но и не гру-



бые, не морщинистые, но и не юные. Не руки убийцы, но и невинными их тоже не назовешь. И все равно по какой-то необъяснимой причине Эктон не мог оторвать от них глаз.

Не руки как таковые интересовали его, и даже не ладони. В накотившем после свершившегося насилия ступоре его интересовали лишь самые кончики пальцев.

Каминные часы продолжали тикать.

Эктон присел у трупа Хаксли, достал из кармана его костюма носовой платок и начал методично вытирать Хаксли шею. Он тер ему шею, лицо, загривок с отчаянным упорством. Встал.

Посмотрел на шею. Затем на начищенный пол. Медленно наклонился и махнул пару раз платком. Поморщился и начал тереть: сначала вокруг головы трупа, следом у рук. Потом отдраил пол вокруг тела. Затем на один метр во все стороны от тела. И еще на метр во все стороны. И еще на метр. А потом...

Прекратил.

Перед внутренним взором предстал весь особняк: одинаковые коридоры, ведущие в разные стороны, резные двери, роскошная мебель. В ушах слово в слово, будто записанная на пленку, звучала беседа с Хаксли, которая произошла всего с час назад.

Палец — на звонке. Хаксли открывает. Он не ожидал его прихода.

— Эктон? Ты?!

— Где моя жена?

— Так я тебе и сказал! Ну же, не стой на пороге, как придурок. Есть дело — проходи. Вон в ту дверь. Да, туда. В библиотеку.

Эктон *дотрагивался* до двери в библиотеку.

— Выпить хочешь?

— Не откажусь. Поверить не могу, что Лили ушла, что она...

— Вон в том шкафчике стоит бутылка бургундского. Принесешь?

Да, принеси ее. Пощупай. Подержи в руках. Так Эктон и поступил.

— А вот тут у меня кое-какие занятные оригиналы. Только посмотри, какие переплеты! Ну же, потрогай.

— Я пришел сюда не книги разглядывать, а...

И до книг он дотрагивался, и до читального столика, и до бутылки, и до винных бокалов тоже.

Сидя на полу рядом с окоченевшим трупом Хаксли, Эктон с платком в руках озирает зал, стены, мебель вокруг. Поняв, что натворил, он застыл от ужаса, глаза его расширились, рот раскрылся в беззвучном крике. Он зажмурился, смял платок и теперь кусал губы, отчаянно желая провалиться сквозь землю.

Отпечатки. Отпечатки были повсюду!

Не принесешь ли бургундского, Эктон? Бутылку, да? Руками, да?.. Как я устал. Ты понимаешь?!

Перчатки.

Прежде чем сделать еще хоть что-то, прикоснуться еще хоть к чему-то, нужны перчатки, иначе можно, стерев один след, ненароком оставить другой.

Он спрятал руки в карманы и пошел в прихожую, где стояла подставка для зонтов и вешалка. На ней висел плащ Хаксли. Эктон покопался в нем.

Перчаток там не было.

Он снова сунул руки в карманы и поднялся по лестнице — быстро, но осторожно, не допуская резких движений. Положение и так хуже некуда. Он не озаботился перчатками (с другой стороны, он ведь и не планировал убийство, а подсознание, которое наверняка готовилось к нему, даже не намекнуло, что неплохо бы захватить перчатки) и теперь был вынужден отдуваться за такую непредусмотрительность. Должна ведь в доме быть хоть пара перчаток! Нужно торопиться: даже в такой поздний час к Хаксли могут зайти. У него хватает богатых приятелей,

которые без приглашения ходят друг к другу в гости покутить и повеселиться. Времени максимум до шести утра, когда за Хаксли должны заехать друзья, чтобы отвезти его в аэропорт и посадить на рейс до Мехико...

Эктон в спешке рыскал по второму этажу, протирая за собой платком. Он выпотрошил семь-восемь десятков ящиков в шести комнатах, оставил их свешиваться, как языки у собак, и побежал к следующим. Без перчаток он не мог ничего делать и чувствовал себя голым. Можно оттереть весь дом платком, очистить все поверхности, где могли быть отпечатки, а затем случайно опереться о какую-нибудь стену и оставить на ней крошечный след из завитков, тем самым подписав себе приговор! Это все равно что поставить штамп на убийстве: совсем как в старину, когда писали чернилами на хрустящем пергаменте, присыпали их песком, чтобы высохли, а затем капали расплавленным красным воском и придавливали фамильным перстнем. И для этого хватит одного — всего одного! — отпечатка на месте преступления. Пускай Эктон и одобрял это убийство, но свою печать на нем ставить не собирался.

Ящики, ящики, ящики! Спокойно, внимательно, осторожно, уговаривал он себя.

Перчатки нашлись на дне восьмьдесят пятого ящика.  
— Слава, слава тебе, Господи!

Со вздохом облегчения он привалился к комоду. Проверил перчатки, посмотрел на свет, расправил, застегнул. Они были мягкие, серые, плотные и непроницаемые. В них можно трогать что угодно, не оставляя следов. Эктон соорудил рожу зеркалу в спальне и цокнул языком.

— Стой! — закричал Хаксли.

Нет, ну какое коварство!

Он специально упал на пол! О, как он коварен и хитер. Упал прямо на паркет, увлекая Эктона за собой. Они продолжали бороться на полу, повсюду оставляя свои от-

печатки. Хаксли вырвался и откатился на несколько шагов, Эктон пополз за ним, схватил руками за горло и начал душить, душить, пока не выдавил из него жизнь, как пасту из тюбика!

Разжившись перчатками, Уильям Эктон вернулся в комнату, опустился на пол и с усердием принялся протирать каждый заляпанный сантиметр. Он тер и тер, пятно за пятном, сантиметр за сантиметром — в паркете едва не отражалось его сосредоточенное, вспотевшее лицо. Он добрался до стола и протер ножку, все изгибы и завитки, затем столешницу. На столе стояла серебряная ваза с филигранью. Эктон достал оттуда восковые фрукты и начисто их протер. Остались только те, что лежали на самом дне вазы.

— Их-то я уж точно не трогал.

Над столом висела картина.

— Ее я тоже не трогал.

Эктон изучил раму.

Он взглянул на все двери в комнате. Какие из них я трогал? Не помню. Что ж, тогда протирать все. Он начал с ручек, отдраил их до блеска, затем прошелся по дверным полотнам сверху донизу, чтобы уж наверняка. Потом принялся за мебель, особенно за подлокотники.

— Ты, кстати, сидишь в кресле из гарнитура самого Людовика Четырнадцатого. Какой материал, только пощупай! — сказал Хаксли.

— Я пришел не о мебели болтать, а о Лили!

— Серьезно? Да будет тебе! Она не любит тебя, ты и сам знаешь. Она пообещала, что завтра полетит со мной в Мехико.

— Пропади ты пропадом со своими деньгами и раскрепятой мебелью!

— Превосходная мебель, между прочим. Ну же, Эктон, уважь хозяина, потрогай ее.

На ткани тоже остаются отпечатки.

— Хаксли! — Уильям Эктон вперился в труп. — Интересно, знал ли ты, что я собираюсь тебя убить? Подозревало ли твое подсознание так же, как мое? Может, это именно оно подсказало тебе провести меня по всему дому, чтобы потрогать, погладить, пощупать книги, посуду, двери и кресла? Неужели ты настолько хитер и коварен?

Он вытер кресла сжатым в руке платком. Затем вспомнил про тело — его-то он не протер! Он подошел, перевернул труп сначала одним боком, потом другим и старательно вытер. Даже начистил обувь, причем совершенно бесплатно.

Пока Эктон начищал ботинки, у него начало нервно подрагивать лицо. Он остановился, затем встал и вернулся к столу.

Достал и вытер восковые фрукты с самого дна вазы.

— Так-то лучше, — прошептал он, возвращаясь к трупу.

Стоило ему склониться над Хаксли, как опять начался тик. Он заскрежетал зубами, выругался, поднялся и снова подошел к столу.

Протер раму картины.

Протирая ее, он заметил...

Стена.

— Нет, ну это уже ни в какие ворота.

— Ай! — вскрикнул Хаксли, отбиваясь.

Он оттолкнул Эктона. Тот упал, затем встал, коснувшись стены, и снова бросился на Хаксли. Задушил его. Хаксли умер.

Эктон решительно отвернулся. Воспоминания о криках и драке угасали, он сознательно их подавлял. Но стены никуда не делись.

— Бред!

Краем глаза он заметил что-то на стене.

— Не буду смотреть, — сказал он вслух, чтобы отвлечься. — Нельзя останавливаться, пора в следующую комнату! Так, посмотрим... Всего за вечер мы были в при-

хожей, в библиотеке, в этой комнате, в столовой и на кухне.

На стене за спиной пятнышко.

Правда, что ли?!

Эктон раздраженно развернулся.

— Ладно, ладно, на всякий случай!

Он осмотрел всю стену, однако пятнышка так и не нашел. А, так вот же оно, совсем крошечное, прямо здесь! Да и не отпечаток это вовсе. Все равно протру. Разделавшись с ним, Эктон оперся перчаткой о стену, посмотрел, как она тянется вправо и влево от него, опускается к ногам и поднимается над головой...

— Нет, — прошептал он и добавил тихо: — Это перебор.

Какая же тут площадь?

— Даже заморачиваться не буду.

А пальцы сами собой, незаметно скребли по стене.

Он усталился себе на руку и на обои. Посмотрел через плечо на соседнюю комнату.

— Нужно пойти туда и все протереть.

Но рука его как будто приклеилась к стене; убери ее, и кто-то из них упадет. Эктон нахмурился.

Не говоря ни слова, он начал тереть стену — сверху вниз, справа налево, снизу вверх.

— Бред, господи, какой бред!

Ничего нельзя упускать, — сказал ему внутренний голос.

— Да, нельзя.

Закончив с одной стеной, Эктон...

Перешел к следующей.

— Черт, сколько уже времени?

Каминные часы показывали пять минут второго. Прошел час.

Зазвонил дверной звонок.

Эктон замер, переводя взгляд с двери на часы, с часов на дверь.

Кто-то громко постучал.

Тишина. Эктон затаил дыхание. От недостатка кислорода ноги стали ватными, а в голове будто шумел прибор, обрушивающийся на прибрежные скалы.

— Эй, там! — раздался пьяный окрик. — Хаксли, я знаю, что ты дома! Открывай, черт бы тебя побрал! Это дружище-Билли, пьяный в стельку, к тебе, Хаксли-приятель, даже в обе стельки.

— Убирайся, — проговорил Эктон одними губами.

— Хаксли, ты ведь здесь, я слышу, как ты дышишь! — продолжал пьяный.

— Да, я здесь. — Эктон вжался в стену, ему было холодно и неудобно. — Здесь я.

— Ну и катись к черту! К черту..

Несостоявшийся гость удалился, шаги стихли.

Эктон долгое время стоял, зажмурившись, чувствуя, как долбит сердце, отдаваясь в висках и сомкнутых веках. Наконец, он разлепил их, посмотрел на нетронутую стену перед собой, и, набравшись смелости, сказал вслух:

— Чепуха. Эта стена чиста. Даже прикасаться к ней не буду. Надо спешить. Надо спешить. Время, время. Еще несколько часов, и сюда ввалятся его чертовы дружки!

Он отвернулся.

Краем глаза Эктон заметил крошечные паутинки. Пока он стоял спиной, из щелей в дереве выползли паучки и сплели свои тоненькие, невесомые сети. Не на стене слева, которую он только что оттер, но на трех оставшихся, пока нетронутых. Пока он смотрел на них, паучки прятались, но стоило ему отвернуться, снова выползали.

— Все со стенами в порядке. Не буду я их трогать! — проговорил он громче и настойчивее.

Он подошел к письменному столу, за которым работал Хаксли, и отыскал в ящике небольшую лупу для чтения, которой тот иногда пользовался. Он взял ее и осторожно подошел к стене.

И тут отпечатки.

Эктон нервно захихикал.

— Но это не мои! Не я их тут оставил — уж никак не я. Слуга, дворецкий, горничная — мало ли кто!

Стена была вся в отпечатках.

— Вот, взгляни хоть на этот. Длинный и заостренный — как пить дать женский, на что хочешь спорю.

— На что хочешь?

— На что хочешь!

— Уверен?

— Да!

— На все сто?

— Ну... д-да.

— Точно-точно?

— Да, черт возьми, да!

— А может, все-таки выпрешь?

— Черт с тобой! На, подавись!

— Прочь, проклятое пятно, да, Эктон?

— И вот еще один, вот тут, — насмешливо произнес Эктон. — Но это не мой, у меня палец не такой толстый.

— Ты уверен?

— Вот только не начинай, — огрызнулся он и вытер отпечаток.

Он стянул перчатку и поднял дрожащую руку на свет.

— Вот, смотри, дубина! Видишь, какие тут завитки? Видишь?

— Это ничего не доказывает!

— А, чтоб тебя!

Побагровев от гнева, потев от натуги, пыхтя, бурча и ругаясь, он протер стену сверху вниз и справа налево.

Снял пальто и повесил на кресло.

Закончив со стеной, устался на часы.

— Уже два.

Эктон вернулся к вазе, достал фрукты, протер те, что лежали на самом дне, затем положил их на место и почистил раму картины.

Поднял глаза на люстру.



Пальцы непроизвольно заскребли по штанинам.

Он раскрыл рот, нервно облизал губы, смотря на люстру, отвел глаза, затем снова посмотрел на люстру, отвел глаза на тело Хаксли, затем снова посмотрел на люстру, на длинные, переливающиеся радугой стеклянные нити.

Эктон взял стул и поставил его под люстру, наступил одной ногой, затем убрал и со смехом отшвырнул стул в угол комнаты. Потом выбежал, так и оставив одну стену нечищенной.

Он оказался в столовой

— А вот взгляни-ка на эти григорианские столовые приборы, — говорил Хаксли.

Ох уж этот его вальяжный, навязчивый голос!

— Мне не до этого, — отвечал Эктон. — Мне нужна Лили...

— Брось, лучше посмотри на серебро. Какая тонкая работа!

Эктон задержался у стола, где были расставлены коробки с приборами. Он снова услышал голос Хаксли, постарался припомнить, что брал и что трогал.

Он вытер все вилки и ложки, даже снял со стены все таблички и сувенирные керамические тарелочки...

— Прекрасный образчик фарфора мастерской Гертруды и Отто Натцлеров. Видел когда-нибудь такие?

— Нет, но очень красиво.

— Возьми. Покрути. Только взгляни, какая она изящная. Ручная работа! Тонкая, как скорлупка — поразительно. А вулканическая глазурь! Ну же, возьми, потрогай, разрешаю.

**НУ ЖЕ! ВОЗЬМИ! ПОТРОГАЙ!**

Эктон нервно всхлипнул. Он швырнул керамическую тарелку о стену. Та раскололась и щедро усыпала пол осколками.

В следующее мгновение Эктон уже ползал по полу. Нужно собрать осколки, все до единого. Идиот, идиот,

идиот! — ругал он себя, мотая головой, закрывая и раскрывая глаза. Заполз под стол. Ищи, идиот, ищи! Найди каждый осколок, ничего нельзя оставить. Идиот, идиот! Он собрал их. Все на месте? Он разложил осколки на столе и рассмотрел их. Затем снова полез под стол, под стулья, под серванты, светя себе спичками, — и нашел еще один. После этого отполировал каждый осколочек, как будто драгоценный камень. Аккуратно выложил их на отдраенный до блеска стол.

— Прекрасный образчик фарфора. Ну же, возьми. Потрогай!

Эктон взял полотенце, встряхнул его и стал протирать стулья, столы, дверные ручки, оконные рамы, подоконники и занавески, затем принялся за пол, попал в кухню. Он тяжело дышал, почти задыхался. Снял майку, поправил перчатки и стал начищать хром...

— Давай я покажу тебе дом, Эктон, — сказал Хаксли. — Пошли.

Он протирал все: приборы, краны, посуду, — потому что к этому времени уже забыл, до чего дотрагивался, а до чего — нет. Так, они с Хаксли задержались на кухне, где хозяин с гордостью демонстрировал свои богатства — возможно, чтобы скрыть волнение в присутствии вероятного убийцы и чтобы под рукой на всякий случай были ножи. Они вели незначущую беседу, трогали то, се, еще что-то — уже не вспомнить, что именно и в какой последовательности.

Закончив с кухней, Эктон вернулся в прихожую, а от туда — в комнату, где лежал Хаксли.

Из его груди исторгся крик.

Он забыл почистить четвертую стену! А пока его не было, паучки расползлись по уже оттертым стенам и снова наследили! На потолках и на полу, на люстре и по углам свисали миллионы крошечных узорчатых паутинок, потревоженных криком. Малюсенькие паутинки, не крупнее подушечки пальца — какова ирония, а?

Эктон наблюдал, как паутинки сплетаются на картинной раме, на вазе с фруктами, на трупе, на полу. Отпечатки возникали на ноже для бумаг, на выдвинутых ящиках, на столешнице, на всем без исключения.

Он отчаянно, самозабвенно драил пол. Перевернул тело и, рыдая, снова протер его; затем встал, подошел к столу и протер фрукты на самом дне вазы. Потом поставил стул под люстру, залез на него и протер каждый сверкающий огонек, после чего встряхнул ее, как хрустальный бубен, чтобы та приняла первоначальное положение. Потом он соскочил со стула, прошелся по дверным ручкам, залез на другие стулья и протер стены докуда смог дотянуться, побежал на кухню, принес метлу и снял паутину с потолка, протер фрукты на самом дне вазы, затем тело, дверные ручки, серебряные приборы, заметил перила в вестибюле и, протирая их, пошел наверх.

Три! Повсюду с механическим упорством тикали часы. Всего в доме было двенадцать комнат на первом этаже и восемь — на втором. Эктон прикинул в уме общую площадь и сколько на это уйдет времени. Сотня стульев и кресел, шесть диванов, двадцать семь столов, шесть радиоприемников. А еще под ними, над ними и за ними. Он отодвигал мебель от стен и, всхлипывая, избавлялся от многолетнего слоя пыли. Шатаясь, он пошел вверх по лестнице, очищая, протирая и надраивая все подряд; ведь стоит оставить всего один малюсенький отпечаток, как он размножится, и их будут миллионы! Все придется начинать заново, а уже четыре часа! Руки болят, глаза опухли и не закрываются, и Эктон на нетвердых ногах плетется по дому, опустив голову, двигая только руками, трет и чистит, спальня за спальней, шкаф за шкафом...

Его нашли тем же утром в половине седьмого.

На чердаке.

Дом был отмыт до блеска. Звездами искрились стеклянные вазы. Поблескивали начищенные кресла. Бронза, латунь, медь аж светилась. Полы сверкали. Перила сияли.

Кругом была ослепительная чистота.

Эктона застали за тем, что он драил старые сундуки и рамы, старые кресла и коляски, игрушки и шкатулки, вазы и посуду, лошадки-качалки и пыльные монеты времен Гражданской войны. К появлению полицейских он успел перебрать половину чердака.

— Все!

Когда Эктона вывели из дома, он напоследок протер дверную ручку и победоносно захлопнул за собой дверь.

---

### **МАЛЬЧИК - НЕВИДИМКА**

Она взяла большую железную ложку и высушенную лягушку, стукнула по лягушке так, что та обратилась в прах, и принялась бормотать над порошком, быстро растирая его своими жесткими руками. Серые птички бусинки глаз то и дело поглядывали в сторону лачуги. И каждый раз голова в низеньком узком окошке ныряла, точно в нее летел заряд дроби.

— Чарли! — крикнула Старуха. — Давай выходи! Я делаю змеинный талисман, он отомкнет этот ржавый замок! Выходи сей момент, а не то захочу — и земля заколышется, деревья вспыхнут ярким пламенем, солнце сядет средь белого дня!

Ни звука в ответ, только теплый свет горного солнца на высоких стволах скипидарного дерева, только пушистая белка, шелкая, кружится, скачет на позеленевшем бревне, только муравьи тонкой коричневой струйкой наступают на босые, в синих жилах ноги Старухи.

— Ведь уже два дня не евши сидишь, чтоб тебя! — выдохнула она, стуча ложкой по плоскому камню, так что набитый битком серый колдовской мешочек у нее на поясе закачался взад и вперед.

Вся в поту, она встала и направилась напрямиком к лачуге, зажав в горсти порошок из лягушки.

— Ну, выходи! — Она швырнула в замочную скважину щепоть порошка.

— Ах так! — прошипела Старуха несколько мгновений спустя. — Хорошо же, я сама войду!

Она повернула дверную ручку пальцами, темными точно грецкий орех, сперва в одну сторону, потом в другую.

— Господи, о господи, — воззвала она, — распахни эту дверь настезь!

Но дверь не распахнулась; тогда она кинула еще чуток волшебного порошка и затаила дыхание. Шурша своей длинной мятой синей юбкой, Старуха заглянула в таинственный мешочек, проверяя, нет ли там еще какой чешуйчатой твари, какого-нибудь магического средства посильнее этой лягушки, которую она пришила много месяцев назад как раз для такой вот okazji.

Она слышала, как Чарли дышит за дверью. Его родители в начале недели подались в какой-то городишко в Озаркских горах, оставив мальчонку дома одного, и он, страшась одиночества, пробежал почти шесть миль до лачуги Старухи — она приходилась ему не то теткой, не то двоюродной бабкой или еще кем-то, а что до ее причуд, так он на них не обращал внимания.

Но два дня назад, привыкнув к мальчишке, Старуха решила совсем оставить его у себя — будет с кем поговорить. Она кольнула иглой свое тощее плечо, выдавила три бусинки крови, смачно плюнула через правый локоть, ногой раздавила хрусткого сверчка, а левой когтистой лапой попыталась схватить Чарли и закричала:

— Ты мой сын, мой, отныне и навеки!

Чарли вскочил, будто испуганный заяц, и ринулся в кусты, метя домой.

Но Старуха юркнула следом — проворно, как пестрая ящерица, — и перехватила его. Тогда он заперся в ее лачуге и не хотел выходить, сколько она ни барабанила в дверь, в окно, в сучковатые доски желтым кулачком,

сколько ни ворожила над огнем и ни твердила, что теперь он ее сын, больше ничей, и делу конец.

— Чарли, ты здесь? — спросила она, пронизывая доски блестящими, острыми глазками.

— Здесь, здесь, где же еще, — ответил он наконец усталым голосом.

Еще немного, еще чуть-чуть, и он свалится сюда, на приступку. Старуха с надеждой подергала ручку. Уж не перестаралась ли она — швырнула в скважину лишнюю щепоть, и замок заело. «Всегда-то я, как ворожу, либо лишку дам, либо недотяну, — сердито подумала она, — никогда в самый раз не угадаю, черт бы его побрал!»

— Чарли, мне бы только было с кем поболтать вечерами, вместе у костра руки греть. Чтобы было кому утром хворосту принести да отгонять блуждающие огоньки, что подкрадываются в вечерней мгле! Никакой тут каверзы нет, сынок, но ведь не вмоготу одной-то. — Она почмокала губами. — Чарли, слышь, выходи, уж я тебя такому научу!

— Чему хоть? — недоверчиво спросил он.

— Научу, как дешево покупать и дорого продавать. Излови ласку, отрежь ей голову и сунь в задний карман, пока не остыла. И все!

— Э-э! — презрительно ответил Чарли.

Она заторопилась:

— Я тебя средству от пули научу. В тебя кто стрельнет из ружья, а тебе хоть бы что.

Чарли молчал; тогда она свистящим прерывистым шепотом открыла ему тайну:

— В пятницу, в полнолуние, накопай мышиноного корня, свяжи пучок и носи на шею на белой шелковой нитке.

— Ты рехнулась, — сказал Чарли.

— Я научу тебя заговаривать кровь, пригвождать к месту зверя, исцелять слепых коней — всему научу! Лечить корову, если она дурной травы объелась, выгонять беса из козы. Покажу, как делаться невидимкой!

— О! — воскликнул Чарли.

Сердце Старухи стучало, словно барабан солдата Армии спасения.

Ручка двери повернулась, нажатая изнутри.

— Ты меня разыгрываешь, — сказал Чарли.

— Что ты! — воскликнула Старуха. — Слышь, Чарли, я так сделаю, ты будешь вроде окошка, сквозь тебя все будет видно. То-то ахнешь, сынок!

— Правда буду невидимкой?

— Правда, правда!

— А ты не схватишь меня, как я выйду?

— Я тебя пальцем не трону, сынок.

— Ну ладно, — нерешительно сказал он.

Дверь отворилась. На пороге стоял Чарли — босой, понурый, глядит исподлобья.

— Ну, делай меня невидимкой.

— Сперва надо поймать летучую мышь, — ответила Старуха. — Давай-ка ищи!

Она дала ему немного сушеного мяса, заморить червячка, потом он полез на дерево. Выше, выше... как хорошо на душе, когда видишь его, когда знаешь, что он тут и никуда не денется, после многих лет одиночества, когда даже «доброе утро» сказать некому, кроме птичьего помета да серебристого улиткина следа...

И вот с дерева, шурша между веток, падает летучая мышь со сломанным крылом. Старуха схватила ее — теплую, трепещущую, свистящую сквозь фарфорово-белые зубы, а Чарли уже спускался вниз, перехватывая ствол руками, и победно вопил.

В ту же ночь, в час, когда луна принялась обкусывать пряные сосновые шишки, Старуха извлекла из складок своего просторного синего платья длинную серебряную иглу. Твердя про себя: «Хоть бы сбилось, хоть бы сбилось», она крепко-крепко сжала пальцами холодную иглу и тщательно прицелилась в мертвую летучую мышь.

Она уже давно привыкла к тому, что, несмотря на все ее потути, всяческие соли и серные пары, ворожба не удалется. Но как расстаться с мечтой, что в один прекрасный день начнутся чудеса, фейерверк чудес, алые цветы и серебряные звезды — в доказательство того, что Господь простил ее розовое тело и розовые грезы, ее пылкое тело и пылкие мысли в пору девичества. Увы, до сих пор Бог не явил ей никакого знамения, не сказал ни слова, но об этом, кроме самой Старухи, никто не знал.

— Готов? — спросила она Чарли, который сидел, обхватив поджатые стройные ноги длинными, в пупырышках руками, рот открыт, зубы блестят...

— Готов, — содрогаясь, прошептал он.

— Раз! — Она глубоко вонзила иглу в правый глаз мыши. — Так!

— Ох! — крикнул Чарли и закрыл лицо руками.

— Теперь я заворачиваю ее в полосатую тряпицу — вот так, а теперь клади ее в карман и носи там вместе с тряпицей. Ну!

Он сунул амулет в карман.

— Чарли! — испуганно вскричала она. — Чарли, где ты? Я тебя не вижу, сынок!

— Здесь! — Он подпрыгнул, так что свет красными бликами заметался по его телу. — Здесь я, бабка!

Он лихорадочно разглядывал свои руки, ноги, грудь, пальцы.

— Я здесь!

Она смотрела так, словно полчища светлячков мельтешили у нее перед глазами в пьянящем ночном воздухе.

— Чарли! Надо же, как быстро пропал! Точно колибри! Чарли, вернись, вернись ко мне!

— Да ведь я здесь! — всхлипнул он.

— Где?

— У костра, у костра! И... и я себя вижу. Вовсе я не невидимка!

Тощее тело Старухи затряслось от смеха.



— Конечно, ты видишь сам себя! Все невидимки себя видят. А то как бы они ели, гуляли, ходили? Тронь меня, Чарли. Тронь, чтобы я знала, где ты.

Он нерешительно протянул к ней руку.

Она нарочно вздрогнула, будто испугалась, когда он ее коснулся.

— Ой!

— Нет, ты и впрямь не видишь меня? — спросил он. — Правда?

— Ничего не вижу, хоть бы один волосок!

Она отыскала взглядом дерево и уставилась на него блестящими глазами, остерегаясь глядеть на мальчика.

— А ведь получилось, да еще как! — Она восхищенно вздохнула. — Ух ты! Никогда еще я так быстро не делала невидимок! Чарли, Чарли, как ты себя чувствуешь?

— Как вода в ручье, когда ее взбаламутишь.

— Ничего, муть оседет.

Погодя, она добавила:

— Вот ты и невидимка, что ты теперь будешь делать, Чарли?

Она видела, как озорные мысли вихрем роятся в его голове. Приключения, одно другого увлекательнее, плясали чертиками в его глазах, да по одному только его широко раскрытому рту было видно — что значит быть мальчишкой, который вообразил, будто он горный ветер.

Грезя наяву, он заговорил:

— Буду бегать по хлебам напрямик, забираться на самые высокие горы, таскать на фермах белых кур, поросята увижу — пинка дам. Буду щипать за ноги красивых девчонок, когда спят, а в школе дергать их за подвязки.

Чарли взглянул на Старуху, и ее сверкающие зрачки увидели, как что-то скверное, злое исказило его лицо.

— И еще много кой-чего буду делать, уж я придумаю, — сказал он.

— Только не вздумай мне козни строить, — предупредила Старуха. — Я хрупкая, словно весенний лед, со мной грубо нельзя.

Потом прибавила:

— А как с твоими родителями?

— Родителями?

— Не можешь же ты таким вернуться домой. Ты ж их насмерть перепугаешь! Мать так и шлепнется в обморок, будто срубленное дерево. Очень им надо на каждом шагу спотыкаться о тебя, очень надо матери поминутно звать: «Чарли, где ты?» — а ты у нее под носом!

Об этом Чарли не подумал. Он малость поостыл и даже прошептал: «Господи!» — после чего осторожно ощупал свои длинные ноги.

— Ох и одиноко тебе будет. Люди станут смотреть прямо сквозь тебя, как сквозь стеклянную банку, толкать, пихать на ходу — ведь тебя же не видно. А девчонки-то, Чарли, девчонки...

Он глотнул.

— Ну что девчонки?

— Ни одна и глядеть на тебя не захочет. Думаешь, им нужно, чтоб их целовал парень, если ни его, ни губ не видать!

Чарли озабоченно ковырял землю пальцами босой ноги. Он надул губы.

— Все равно хоть немного побуду невидимкой. Уж я позабавлюсь! Буду осторожным, только и всего. Буду держаться подальше от фургонов и коней. И от отца подальше: он как услышит шорох какой, сразу стреляет. — Чарли моргнул. — Я же невидимка, вот и влепит он мне заряд крупной дроби, очень просто, почудится ему, что белка скачет на дворе, и саданет. Ой-ой...

Старуха кивнула дереву.

— А что, так и будет.

— Ладно, — рассудил Чарли, — сегодня вечером я побуду невидимкой, а завтра утром ты меня по-старому сделаешь, решено?

— Есть же чудачки, выше себя прыгнуть стараются, — сообщила Старуха жуку, который полз по бревну.

— Это почему же? — спросил Чарли.

— А вот почему, — объяснила она. — Не так-то это просто было — сделать тебя невидимкой. И теперь нужно время, чтобы с тебя сошла невидимость. Это как краска, сразу не сходит.

— Это все ты! — вскричал он. — Ты меня превратила! Теперь давай ворожи обратно, делай меня видимым!

— Тише, не кричи, — ответила Старуха, — Само сойдет помаленьку, сперва рука покажется, потом нога.

— Это как же так — я иду по горам и только одну руку видно?

— Будто пятикрылая птица скачет по камням, по ежевике!

— Или ногу?..

— Будто розовый кролик в кустах прыгает!

— Или одна голова плывет в воздухе?

— Будто волосатый шар на карнавале!

— Когда же я целым стану?

Она прикинула, что, пожалуй, не меньше года пройдет.

У него вырвался стон. Потом он захныкал, кусая губы и сжимая кулаки:

— Ты меня заколдовала, это все ты, ты наделала. Теперь мне нельзя бежать домой!

Она подмигнула.

— Так оставайся, живи со мной, сынок, тебе у меня будет вот как хорошо, уж я тебя так баловать да холить стану.

— Ты нарочно это сделала! — выпалил он. — Старая карга, вздумала удержать меня!

И он вдруг метнулся в кусты.

— Чарли, вернись!

Никакого ответа, только топот ног по мягкому темному дерну да сдвоенный плач, но и тот быстро смолк вдали.

Подождав, она развела костер.

— Вернется, — прошептала она. И громко заговорила, убеждая сама себя: — Будет у меня собеседник всю весну и до конца лета. А уж тогда, как устану от него и захочется тишины, спроважу его домой.

Чарли вернулся беззвучно вместе с первым серым проблеском дня; он прокрался по белой от инея траве туда, где возле разбросанных головешек, точно сухой обветренный сук, лежала Старуха.

Он сел на скатанные ручьем голыши и устался на нее.

Она не смела взглянуть на него и вообще в ту сторону. Он двигался совсем бесшумно, как же она может знать, что он где-то тут? Никак!

На его щеках были следы слез.

Старуха сделала вид, будто просыпается — она за всю ночь и глаз-то не сомкнула, — встала, ворча и зевая, и повернулась лицом к восходу:

— Чарли?

Ее взгляд переходил с сосны на землю, с земли на небо, с неба на горы вдали. Она звала его снова и снова, и ей все мерещилось, что она глядит на него в упор, но она вовремя спохватывалась и отводила глаза.

— Чарли? Ау, Чарльз! — кричала Старуха и слышала, как эхо ее передразнивает.

Губы его растянулись в улыбку: ведь вот же он, совсем рядом сидит, а ей кажется, что она одна! Возможно, он ощущал, как в нем растет тайная сила, быть может, наслаждался сознанием своей неуязвимости, и уж во всяком случае, ему очень нравилось быть невидимым.

Она громко произнесла:

— Куда же этот парень запропастился? Хоть бы зашумел, хоть бы услышать, где он, я бы ему, пожалуй, завтрак сготовила.

Она принялась стряпать, раздраженная его упорным молчанием. Она жарила свинину, нанизывая куски на ореховый прутик.

— Ничего, небось запах сразу учует! — буркнула Старуха.

Только она повернулась к нему спиной, как он схватил поджаренные куски и жадно их проглотил.

Она обернулась с криком:

— Господи, что это?

Подозрительно осмотрелась вокруг.

— Это ты, Чарли?

Чарли вытер руками рот.

Старуха засемила по прогалине, делая вид, будто ищет его. Наконец ее осенило: она прикинулась слепой и пошла прямо на Чарли, вытянув вперед руки.

— Чарли, да где же ты?

Он присел, отскочил и молнией метнулся прочь.

Она чуть не бросилась за ним вдогонку, но с великим трудом удержалась — нельзя же гнаться за невидимым мальчиком! — и, сердито ворча, села к костру, чтобы поджарить еще свинины. Но сколько она ни отрезала себе, он всякий раз хватал шипящий над огнем кусок и убегал прочь. Кончилось тем, что Старуха, красная от злости, закричала:

— Знаю, знаю, где ты! Вот там! Я слышу, как ты бегаешь!

Она показала пальцем, но не прямо на него, а чуть вбок. Он сорвался с места.

— Теперь ты там! — кричала она. — А теперь там... там! — Следующие пять минут ее палец преследовал его. — Я слышу, как ты мнешь травинки, топчешь цветы, ломаешь сучки. У меня такие уши, такие чуткие, слов-

но розовый лепесток. Я даже слышу, как движутся звезды на небе!

Он втихомолку удрал за сосны, и оттуда донесся голос:

— А вот попробуй услышать, как я буду сидеть на камне! Буду сидеть — и все!

Весь день он просидел неподвижно на камне, на видном месте, на сухом ветру, боясь даже рот открыть.

Собирая хворост в чаще, Старуха чувствовала, как его взгляд зверьком юлит по ее спине. Ее так и подмывало крикнуть: «Вижу тебя, вижу! Не бывает невидимых мальчиков, я просто выдумала! Вон ты сидишь!» Но она подавляла свою злость, крепко держала себя в руках.

На следующее утро мальчишка стал безобразничать. Он внезапно выскакивал из-за деревьев. Он корчил рожи — лягушачьи, жабы, паучьи: оттягивал губы вниз пальцами, выпучивал свои нахальные глаза, сплюшивал нос так, что загляни — и увидишь мозг, все мысли прочтешь.

Один раз Старуха уронила вязанку хвороста. Пришлось сделать вид, будто испугалась сойки.

Мальчишка сделал такое движение, словно решил ее задушить.

Она вздрогнула.

Он притворился, будто хочет дать ей ногой под колено и плюнуть в лицо.

Она все вынесла, даже глазом не моргнула, бровью не повела.

Он высунул язык, издавая странные, противные звуки. Он шевелил своими большими ушами, так что нестерпимо хотелось смеяться, и в конце концов она не удержалась, но тут же объяснила:

— Надо же, на саламандру села, дура старая! И до чего колючая!

К полудню вся эта кутерьма достигла опасного предела.

Ровно в полдень Чарли примчался откуда-то сверху совершенно голый, в чем мать родила!

Старуха едва не шлепнулась навзничь от ужаса!

«Чарли!» — чуть не вскричала она.

Чарли взбежал нагишом вверх по склону, нагишом сбежал вниз, нагой, как день, нагой, как луна, голый, как солнце, как цыпленок только что из яйца, и ноги его мелькали, будто крылья летящего над землей колибри.

У старухи отнялся язык. Что сказать ему? Одеться, Чарли? Как тебе не стыдно? Перестань безобразничать? Сказать так? Ох, Чарли, господи боже мой, Чарли... Сказать и выдать себя? Как тут быть?..

Вот он пляшет на скале, голый, словно только что на свет явился, и топает босыми пятками, и хлопает себя по коленям, то выпятит, то втянет свой белый живот, как в цирке воздушный шар надувают.

Она зажмурилась и стала читать молитву.

Три часа это длилось, наконец она не выдержала:

— Чарли, Чарли, иди же сюда! Я тебе что-то скажу!

Он спорхнул к ней, точно лист с дерева, — слава богу, одетый.

— Чарли, — сказала она, глядя на сосны, — я вижу палец твоей правой ноги. Вот он!

— Правда видишь? — спросил он.

— Да, — сокрушенно подтвердила она. — Вон, на траве, похож на рогатую лягушку. А вот там, вверху, твое левое ухо висит в воздухе — совсем как розовая бабочка.

Чарли заплясал.

— Появился, появился!

Старуха кивнула.

— А вон твоя щиколотка показалась.

— Верни мне обе ноги! — приказал Чарли.

— Получай.

— А руки, руки как?

— Вижу, вижу: одна ползет по колену, словно паук коси-коси-ножка!

— А вторая?

— Тоже ползет.

— А тело у меня есть?

— Уже проступает, все как надо...

— Теперь верни мне голову, и я пойду домой.

«Домой», — тоскливо подумала Старуха.

— Нет! — упрямо, сердито крикнула она. — Нет у тебя головы! Нету!

Оттянуть, сколько можно оттянуть эту минуту...

— Нету головы, нету, — твердила она.

— Совсем нет? — заныл Чарли.

— Есть, есть, о господи, вернулась твоя паршивая голова! — огрызнулась она, славаясь. — А теперь отдай мне мою летучую мышь с иголкой в глазу!

Чарли швырнул ей мышь.

— Эге-гей!

Его крик раскатился по всей долине, и еще долго после того, как он умчался домой, в горах бесновалось эхо.

Старуха, согнутая тяжелой, тупой усталостью, подняла свою вязанку хвороста и побрела к лачуге. Она вздыхала и что-то бормотала себе под нос, и всю дорогу за ней шел Чарли, теперь уже и в самом деле невидимый, она не видела его, только слышала: вот упала на землю сосновая шишка — это он, вот журчит под ногами подземный поток — это он, белка цепляется за ветку — это Чарли; и в сумерках она и Чарли сидели вместе у костра, только он был настоящим невидимкой, и она угощала его свиной, но он отказывался, тогда она все съела сама, потом немного поколдовала и уснула рядом с Чарли, правда, он был сделан из сучьев, тряпок и камешков, но все равно он теплый, все равно ее родимый сыночек — вон как сладко дремлет, ненаглядный, у нее на руках,



материнских руках, — и они говорили, сонно говорили о чем-то приятном, о чем-то золотистом, пока рассвет не заставил пламя медленно, медленно поблекнуть...

---

### ЧЕЛОВЕК В НЕБЕ

---

В году четырехсотом от Рождества Христова страной у Великой Китайской стены правил император Юань. Земли его орошали дожди, на них зрел урожай, а подданные жили в мире и пусть не особо благоденствовали, но и не бедствовали.

Ранним утром первого дня первой недели второго месяца нового года император Юань потягивал чай и обмахивался веером, разгоняя теплый ветерок, когда в его покой через сад, мошенный ало-синей плиткой, вбежал лакей.

— О мой император, случилось чудо! Чудо, мой император! — воскликнул он.

— Да, — кивнул император, — воздух сегодня на удивление свеж.

— Нет, нет, чудо! — возразил лакей и тут же поспешно поклонился.

— И чай на вкус удивительно хорош. Вот уж воистину чудо.

— Нет же, нет, Ваше величество.

— Дай угадаю. Взошло солнце и наступил новый день? Море синего цвета? Вот уж на что чудеса так чудеса.

— Человек поднялся в небо, Ваше величество!

— Что?! — Император опустил веер.

— Человек поднялся в небо на крыльях! Я услышал чей-то голос, поднял голову, а там, среди облаков, парит дракон, и в пасти у него человек. Потом я понял, что дракон сделан из бумаги и бамбуковых прутьев, а раскрашен под цвет солнца и травы.

— Только рассвело. Ты, должно быть, еще досматривал сон, — отвечивал император.

— Да, только рассвело, но я видел все это взаправду. Пойдемте со мной, я и вам покажу.

— Лучше присядь здесь да выпей чаю. Странное дело — видеть человека в небе. Если он и вправду там. Успокойся и подумай хорошенько, а мне нужно собраться с духом и подготовиться к этому зрелищу.

Они выпили чаю.

— Прошу вас, пойдете, — снова взмолился лакей, — или мы его не застанем.

Император, погруженный в думу, поднялся.

— Что ж, показывай, чему стал свидетелем.

Они вышли в сад, пересекли луг, мостик, рошу и поднялись на небольшой холм.

— Смотрите! — воскликнул лакей.

Император обратил глаза к небу.

Там, в вышине, парил человек, да так высоко, что его радостный смех едва достигал земли. Облачен он был в яркую цветную бумагу, крылья его были сделаны из прутьев, а сзади развевался роскошный желтый хвост. Он был словно самая крупная птица в царстве птиц, словно юный дракон в стране древних драконов.

Прохладный утренний ветерок донес его крик:

— Я лечу, я лечу!

Лакей замахал в ответ.

— Мы видим, видим!

Император Юань не пошевелился. Он перевел взгляд на Великую стену, очертания которой проступали из тумана, висящего над зелеными холмами. Могучая глыба величественным каменным змеем обвивала страну и с незапамятных времен защищала ее от вражеских полчищ, несчетные годы охраняла мир. Невдалеке, между рекой, дорогой и холмом приютился городок. Жители его только-только просыпались.

Император обратился к лакею:

— Скажи мне, кто-нибудь еще видел этого человека в небе?

— Только я и более никто, Ваше величество, — ответил тот, не прекращая улыбаться и махать.

Император еще с минуту смотрел на небо.

— Крикни ему, пускай спустится.

— Э-эй! Спускайся, спускайся! Тебя желает видеть император! — крикнул лакей, сложив ладони у рта.

Человек устремился вниз, а Юань огляделся по сторонам. Какой-то крестьянин, решивший выйти в поле спозаранку, удивленно уставился на небо. Император заметил его и запомнил, где тот стоит.

Шурша бумагой и скрипя бамбуковыми прутьями, человек приземлился. Важно, пусть и неуклюже из-за громоздкого облачения, он подошел к императору и склонился перед ним.

— Что ты сотворил? — спросил Юань.

— Поднялся в небо, Ваше величество.

— Нет, ответь мне, что ты сотворил? — снова спросил Юань.

— Я же уже сказал! — воскликнул человек.

— Ты все равно что промолчал.

Император сухощавой ладонью потрогал ярко раскрашенную бумагу и киль наподобие птичьего. От аппарата пахло утренней свежестью.

— Разве он не прекрасен, Ваше величество?

— Воистину прекрасен.

— Другого такого на всем свете нет! — улыбнулся человек. — Это я его придумал.

— То есть, он один такой на всем свете?

— Клянусь!

— И кто еще знает про него?

— Никто, даже моя жена. Она бы решила, что мне напекло голову. Для нее я как будто делал воздушного змея. Я встал еще затемно и поднялся на далекие скалы. А когда задул утренний ветерок и занялась заря, я, Ваше величество, собрался с духом, прыгнул и полетел! Но никто, даже моя жена, об этом не знает.

— Тем лучше для нее, — сказал император. — Следуй за мной.

Они вернулись в императорские покои. Солнце уже вошло, свежие травы благоухали. Император, лакей и изобретатель остановились посреди просторного сада.

Юань хлопнул в ладоши.

— Стража!

Сбежались стражники.

— Взять его.

Стражники схватили изобретателя.

— Позвать палача, — велел император.

— Как? За что?! — закричал человек растерянно. — Что я такого сделал?

Он заплакал, а вместе с ним шуршал и содрогался его прекрасный аппарат.

— Этот человек утверждает, что придумал и построил такую машину, а потом спрашивает у нас, что же он сделал, — молвил император. — Воистину, он и сам не знает, что сотворил. Он лишь создатель, его не волнует, зачем нужно его изобретение и на что оно способно.

Прибежал палач, в обнаженных мускулистых руках сжимая остро заточенный серебристый топор; лицо его скрывала зловещая белая маска.

— Не сейчас, — сказал император.

На столике рядом стояла машина, которую изобрел он сам. Император снял с шеи крошечный золотой ключик, вставил в изящное отверстие и несколько раз повернул. Машина завелась.

Это был сад из металла и камней. Пока ключ крутился, на крошечных металлических деревьях пели птицы, по миниатюрному лесу бродили волки, а из тени на свет выбегали малюсенькие человечки, обмахивались веерами, слушали изумрудных птичек, отдыхали у невозможно маленьких, но при этом журчащих фонтанчиков.

— Разве это не прекрасно? — сказал Юань. — Спроси меня, что я сотворил, и я с легкостью отвечу. Я заставил

птиц петь, листву шелестеть, а людей гулять по лесу, наслаждаясь тенью, прохладой и пением. Вот что я сотворил.

— О мой император! — Изобретатель упал на колени, по лицу его текли слезы. — Я ведь сделал то же самое — сумел отыскать красоту. Подобно птицам я парил на утреннем ветерке. Смотрел с высоты на спящие дома и сады. Вдыхал аромат моря и даже видел его само, там, за холмами, — так высоко я поднялся. У меня нет слов, чтобы выразить, как прекрасно там, наверху, в небе, когда ветер струится вокруг тебя, подхватывает, как перышко, и гонит. А запах рассветного неба! А свобода! И это прекрасно, мой император, это тоже прекрасно!

— Я верю тебе, — признался Юань с грустью, — ибо сердце мое тоже рвалось ввысь, желая понять: каково это? Что при этом чувствуешь? Как с такой высоты выглядят далекие озера? А подданные — должно быть, муравьями? И на что похожи далекие, еще дремлющие городки?

— Так пощадите меня!

— Но бывает так, — продолжил Юань с еще большей грустью, — что одна красота должна погибнуть, чтобы уберечь ту, которая уже есть. Я страшусь не тебя, я страшусь другого.

— Кого?

— Того, кто, увидев тебя, тоже решит построить аппарат из бамбука и цветной бумаги. Но у того человека будет злое лицо и злые помыслы. Вот его я страшусь.

— Но почему? Почему?

— А что, если однажды этот человек, оседлав свой аппарат, поднимется в небо и примется сбрасывать огромные камни на Великую стену? Что тогда? — спросил император.

Никто не шевельнулся и не произнес ни слова в ответ.

— Отрубить изобретателю голову, — приказал император.

Палач взмахнул серебристым топором.

— Сжечь вместе со змеем, а пепел ссыпать в общую яму.

Слуги пошли исполнять приказ.

Юань обратился к лакею:

— А тебе повелеваю молчать. Ты видел сон, самый прекрасный и самый печальный. И разыщи того крестьянина, который тоже видел человека в небе. Скажи ему, пусть считает все это миражом, для его же блага. Если о случившемся узнает еще хоть одна живая душа — не пройдет и часа, как ни тебе, ни крестьянину не сносить головы.

— Вы так милосердны, Ваше величество.

За садовой стеной стражники сжигали изумительный аппарат из прутьев и бумаги, от которого пахло утренней свежестью. В небо поднимались клубы черного дыма.

— Нет, я не милосерден, а лишь очень растерян и напуган.

Стражники тем временем копали неглубокую ямку, чтобы сбросить туда пепел.

— Утешает только одно: что есть жизнь человека против миллионов других?

Император снял ключ с шеи и снова завел свой прекрасный миниатюрный сад. Перед ним простиралась его страна: Великая стена, тихие городки, зеленые поля, реки и ручьи. Он вздохнул. Зажужжал тонкий механизм, спрятанный внутри сада, и вся машина пришла в движение: крошечные человечки гуляли по лесу, крошечные лица плыли по залитым солнцем полянам, блестели металлические шевелюры, а среди крошечных деревьев мелькали синие и желтые искорки и с звонким пением поднимались, уносились, воспаряли в крошечное небо.

Император Юань прикрыл глаза.

— Ах, птички! Какие птички!

## УВИЙЦА

Музыка гналась за ним по белым коридорам. Из-за одной двери слышался вальс из «Веселой вдовы». Из-за другой — «Послеполуденный отдых фавна». Из-за тре-

тшей — «Поцелуй еще разок!». Он повернул за угол, «Танец с саблями» захлестнул его шквалом цимбал, барабанов, кастрюль и сковородок, ножей и вилок, жестяными громами и молниями. Все это схлынуло, когда он чуть не бегом вбежал в приемную, где расположилась секретарша, блаженно ошалевшая от Пятой симфонии Бетховена. Он шагнул вправо, потом влево, словно рукой помахал у нее перед глазами, но она так его и не заметила.

Негромко зажужжал радиобраслет.

— Слушаю.

— Пап, это я, Ли. Ты не забыл? Мне нужны деньги.

— Да-да, сынок. Сейчас я занят.

— Я только хотел напомнить, пап, — сказал браслет.

Голос сына потонул в увертюре Чайковского «Ромео и Джульетта», она вдруг затопила длинные коридоры.

Психиатр шел по улью, где лепились друг к другу лаборатории и кабинеты, и со всех сторон на него сыпалась цветочная пыльца мелодий. Стравинский мешался с Бахом, Гайдн безуспешно отбивался от Рахманинова, Шуберт погибал под ударами Дюка Эллингтона. Секретарши мурлыкали себе под нос, врачи насвистывали — все по-утреннему бодро принимались за работу, психиатр на ходу кивал им. У себя в кабинете он просмотрел кое-какие бумаги со стенографисткой, которая все время что-то напевала, потом позвонил по телефону наверх, полицейскому капитану. Несколько минут спустя замигала красная лампочка и с потолка раздался голос:

— Арестованный доставлен для беседы в кабинет номер-девять.

Он отпер дверь и вошел, позади шелкнул замок.

— Только вас не хватало, — сказал арестант и улыбнулся.

Эта улыбка ошеломила психиатра. Такая она была сияющая, лучезарная, она вдруг осветила и согрела комнату. Она была точно утренняя заря в темных горах, эта улыбка. Точно полуденное солнце внезапно проглянуло среди

ночи. А над этой хвастливой выставкой ослепительных зубов спокойно и весело блестели голубые глаза.

— Я пришел вам помочь, — сказал психиатр.

И нахмурился. Что-то в комнате не так. Он ощутил это еще с порога. Неуверенно огляделся. Арестант засмеялся:

— Удивились, что тут так тихо? Просто я кокнул радио.

«Буйный», — подумал врач.

Арестант прочел его мысли, улыбнулся и успокоительно поднял руку:

— Нет, нет, я так только с машинками, которые твякают.

На сером ковре валялись осколки ламп и клочки проводов от сорванного со стены радио. Не глядя на них, чувствуя, как его обдает теплом этой улыбки, психиатр уселся напротив пациента; необычная тишина давила, словно перед грозой.

— Вы — Элберт Брок, именующий себя Убийцей?

Брок удовлетворенно кивнул.

— Прежде чем мы начнем... — Мягким проворным движением он снял с руки врача радиобраслет. Взял крохотный приемник в зубы, точно орех, сжал покрепче — крак! — и вернул ошарашенному психиатру обломки с таким видом, словно оказал и себе, и ему величайшее благодеяние. — Вот так-то лучше.

Врач во все глаза смотрел на загубленный аппарат.

— Немало с вас, наверно, взыскивают за убытки.

— Наплевать! — улыбнулся пациент. — Как поется в старой песенке, «Мне плевать, что станется со мною!» — вполголоса пропел он.

— Начнем? — спросил врач.

— Извольте. Первой жертвой, одной из первых, был мой телефон. Гнуснейшее убийство. Я запихал его в кухонный поглотитель. Забил бедняге глотку. Несчастный задохнулся насмерть. Потом я пристрелил телевизор!



— М-м-м, — промычал психиатр.

— Всадил в кинескоп шесть пуль. Отличный был трезвон, будто разбилась люстра.

— У вас богатое воображение.

— Весьма польщен. Всегда мечтал стать писателем.

— Не расскажете ли, когда вы возненавидели телефон?

— Он напугал меня еще в детстве. Один мой дядюшка называл его Машина-призрак. Бесплотные голоса. Я боялся их до смерти. Стал взрослым, но так и не привык. Мне всегда казалось, что он обезличивает человека. Если ему заблагорассудится, он позволит вашему «я» перелиться по проводам. А если не пожелает, просто высосет его, и на другом конце провода окажетесь уже не вы, а какая-то дохлая рыба, не живой теплый голос, а только сталь, медь и пластмасса. По телефону очень легко сказать не то, что надо; вовсе и не хотел это говорить, а телефон все переиначил. Оглянуться не успел, а уже нажил себе врага. И потом, телефон — необыкновенно удобная штука! Стоит и прямо-таки требует: позвони кому-нибудь, а тот вовсе не желает, чтобы ему звонили. Друзья звонят мне; звонят, звонят без конца. Ни минуты покоя, черт возьми. Не телефон — так телевизор, или радио, или патефон. А если не телевизор, не радио и не патефон, так кинотеатр тут же на углу или кинореклама на облаках. С неба теперь льет не дождь, а мыльная пена. А если не слепят рекламой на небесах, так глушат джазом в каждом ресторане; едешь в автобусе на работу — и тут музыка и реклама. А если не музыка, так служебный селектор и главное орудие пытки — радиобраслет, жена и друзья вызывают меня каждые пять минут. И что за секрет у этих штук, чем они так соблазняют людей? Обыкновенный человек сидит и думает: делать мне нечего, скучища, а на руке этот самый наручный телефон — дай-ка позвоню старине Джо. Алло, алло! Я люблю жену, друзей, вообще человечество, очень люблю.. Но вот жена в сотый раз спрашивает: «Ты сейчас

где, милый?» — а через минуту вызывает приятель и говорит: «Слушай, отличный анекдот: один парень...» А потом кто-то орет: «Вас вызывает Статистическое бюро. Какую жевательную резинку вы жуete в данную минуту?» Ну, знаете!

— Как вы себя чувствовали всю эту неделю?

— А так: вот-вот взорвусь. Или начну биться головой о стену. В тот день в конторе я и поступил как надо.

— А именно?

— Плеснул воды в селектор.

Психиатр сделал пометку в блокноте.

— И вывели его из строя?

— Конечно! То-то была потеха! Стенографистки забегали как угорелые! Крик, суматоха!

— И вам на время полегчало, а?

— Еще бы! А днем меня осенило, я кинул свой радиобраслет на тротуар и растоптал. Кто-то как раз завершал: «Говорит Статистическое бюро, девятый отдел. Что вы сегодня ели на обед?» — и тут я вышиб из машинки дух.

— И вам еще полегчало, а?

— Я вошел во вкус. — Брок потер руки. — Дай-ка, думаю, подниму единоличную революцию, надо же человеку освободиться ото всех этих удобств! Кому они, спрашивается, удобны? Другьям-приятелям? «Здорово, Эл, решил с тобой поболтать, я сейчас в Грин-хилле, в гардеробной. Только что я их тут всех сокрушил одним ударом. Одним ударом, Эл! Удачный денек! А сейчас выпиваю по этому случаю. Я решил, что тебе будет любопытно». Еще удобно моему начальству — я разъезжаю по делам службы, а в машине радио, и они всегда могут со мной связаться. Связаться! Мягко сказано. Связаться, черта с два! Связать по рукам и ногам! Заграбастать, зацапать, раздавить, измолотить всеми этими радиоголосами. Нельзя на минуту выйти из машины, непременно надо доложить: «Остановился у бензоколонки, зайду в уборную». — «Ладно, Брок, валяйте». «Брок, чего вы столько возились?» —

«Виноват, сэр!» — «В другой раз не копайтесь!» — «Слушаю, сэр!» Так вот, доктор, знаете, что я сделал? Купил квартиру шоколадного мороженого и досыта накормил свой передатчик.

— Почему вы избрали для этой цели именно шоколадное мороженое?

Брок чуть призадумался, потом улыбнулся:

— Это мое любимое лакомство.

— Вот как, — сказал врач.

— Я решил: черт подери, что годится для меня, годится и для радио в моей машине.

— Почему вы решили накормить передатчик именно мороженым?

— В тот день была жара.

— И что же дальше? — помолчав, спросил врач.

— А дальше наступила тишина. Господи, какая благодать! Ведь окаянное радио трещало без передышки. Брок, туда, Брок, сюда, Брок, доложите, когда пришли, Брок, доложите, когда ушли, хорошо, Брок, обеденный перерыв, Брок, перерыв кончился, Брок, Брок, Брок, Брок... Я наслаждался тишиной, прямо как мороженым.

— Вы, видно, большой любитель мороженого.

— Я ездил, ездил и все слушал тишину. Как будто тебя укутали в отличнейшую мягкую фланель. Тишина. Целый час тишины! Сажу в машине и улыбаюсь и чувствую — в ушах мягкая фланель. Я наслаждался, я просто упивался, это была Свобода!

— Продолжайте!

— Потом я вспомнил, что есть такие портативные диатермические аппараты. Взял один напрокат и в тот же вечер повез в автобусе домой. А в автобусе полным-полно замученных канцелярских крыс, и все переговариваются по радиобраслетам с женами: я, мол, уже на Сорок третьей улице... на Сорок четвертой... на Сорок девятой... поворачиваю на Шестьдесят первую... А один супруг бранится: «Хватит тебе околачиваться в баре, черт возьми! Иди до-

мой и разогрей обед, я уже на Семидесятой!» А репродуктор орет «Сказки Венского леса» — точь-в-точь канарейка натошак насвистывает про лакомые зернышки. И тут я включаю диатермический аппарат! Помехи! Перебои! Все жены отрезаны от брюзжанья замученных за день мужей. Все мужья отрезаны от жен, на глазах у которых милые отпрыски только что запустили камнем в окно! «Венский лес» срублен под корень, канарейке свернули шею. Тиши-на! Пугающая внезапная тишина. Придется пассажирам автобуса вступить в беседу друг с другом. Они в страхе, в ужасе, как перепуганные овцы!

— Вас забрали в полицию?

— Пришлось остановить автобус. Ведь и впрямь музыка превратилась в кашу, мужья и жены не знали, на каком они свете. Шабаш ведьм, сумбур, светопреставление. Митинг в обезьяннике! Прибыла аварийная команда, меня миглом засекли, отчитали, оштрафовали, я и оглянуться не успел, как очутился дома, — понятно, без аппарата.

— Разрешите вам заметить, мистер Брок, что до сих пор ваш образ действий кажется мне не слишком... э-э... разумным. Если вам не нравится радиотрансляция, служебные селекторы, приемники в автомобилях, почему бы вам не вступить в общество радионенавистников? Подавайте петиции, добивайтесь запретов и ограничений в законодательном порядке. В конце концов, у нас же демократия!

— А я так называемое меньшинство, — сказал Брок. — Я уже вступал во всякие общества, вышагивал в пикетах, подавал петиции, обращался в суд. Я протестовал годами. И везде меня поднимали на смех. Все просто обожают радио и рекламу. Я один такой урод, не иду в ногу со временем.

— Но тогда, может быть, вам следует сменить ногу, как положено солдату? Надо подчиняться большинству.

— Так ведь они хватают через край! Послушать немножко музыки, изредка «связаться» с друзьями, может,

и приятно, но они-то воображают: чем больше, тем приятнее. Я прямо озверел! Прихожу домой — жена в истерике. Отчего, почему? Да потому, что она полдня не могла со мной связаться. Помните, я малость поплясал на своем радиобраслете? Ну вот, в тот вечер я и задумал убийство собственного дома.

— Что же, так и записать?

— По смыслу это совершенно точно. Я решил убить его, умертвить. Дом у меня, знаете, чудо техники: разговаривает, поет, мурлычет, сообщает погоду, декламирует стихи, пересказывает романы, звякает, брякает, напевает колыбельную песенку, когда ложишься в постель. Станешь под душ — он тебя глушит ариями из опер, ляжешь спать — обучает испанскому языку. Этакая болтливая нора, в ней полно электронных оракулов. Духовка тебе лопочет: «Я пирог с вареньем, я уже испекся!» или: «Я — жаркое, скорей подбавьте подливки!» — и прочий младенческий вздор. Кровати укачивают тебя на ночь, а утром встряхивают, чтоб проснулся! Этот дом терпеть не может людей, верно вам говорю! Парадная дверь так и рывкает: «Сэр, у вас башмаки в грязи!» А пылесос гоняется за тобой по всем комнатам, как собака, не дай бог уронишь щепотку пепла с сигареты — мигом всосет. О боже милостивый!

— Успокойтесь, — мягко посоветовал психиатр.

— Помните песенку Гилберта и Салливена «Веду обидам точный счет, и уж за мной не пропадет»? Всю ночь я подсчитывал обиды. А рано поутру купил револьвер. На улице нарочно ступал в самую грязь. Парадная дверь так и завизжала: «Надо ноги вытирать! Не годится пол марать!» Я выстрелил этой дрянью прямо в замочную скважину. Вбежал в кухню, а там плита скулит: «Скорей взгляни! Переверни!» Я всадил пулю в самую серединку механической яичницы, и плите пришел конец. Ох как она зашипела и заверещала: «Я перегорела!» Потом завопил телефон, прямо как капризный ублюдок. И я сунул его

в поглотитель. Должен вам заявить честно и откровенно, я ничего не имею против поглотителя, он пострадал за чужие грехи. Теперь-то мне его жалко — очень полезное приспособление, и притом безобидное, словечка от него не услышишь, знай себе мурлычет, как спящий лев, и переваривает всякий мусор. Непременно отдам его в починку. Потом я пошел и пристрелил коварную бестию — телевизор. Это Медуза — каждый вечер своим неподвижным взглядом обращает в камень миллионы людей, это сирена — поет, и зовет, и обещает так много, а дает ничтожно мало... но я всегда возвращался к ней, возвращался и надеялся на что-то до последней минуты, и вот — бац! Тут моя жена заметалась, точно безголовая индюшка, злобно закулдыкала, завопила на всю улицу. Явилась полиция. И вот я здесь.

Он блаженно откинулся на спинку стула и закурил.

— Мистер Брок, отдавали ли вы себе отчет, совершая такие преступления, что радиобраслет, репродуктор, телефон, радио в автобусе, селектор у вас на службе — все это либо чужая собственность, либо сдается напрокат?

— Я и опять бы проделал то же самое, верно вам говорю.

Психиатр едва не зажмурился от сияющей благодушной улыбки пациента.

— И вы не желаете воспользоваться помощью Службы душевного здоровья? Вы готовы за все ответить?

— Это только начало, — сказал Брок. — Я знаменосец скромного меньшинства, мы устали от шума, от того, что нами вечно помыкают, и командуют, и вертят на все лады, и вечно глушат нас музыкой, и вечно кто-нибудь орет: делай то, делай это, иди туда, теперь сюда, быстрее, быстрее! Вот увидите. Начинается бунт. Мое имя войдет в историю!

— Гмм... — Психиатр, казалось, призадумался.

— Понятно, это не сразу делается. На первых порах все были очарованы. Великолепная выдумка эти по-

лезные и удобные штуки! Почти игрушки, почти забава! Но люди чересчур втянулись в игру, зашли слишком далеко, все наше общество попало в плен к механическим нянькам — и запуталось, и уже не умеет выпутаться, даже не умеет само себе признаться, что запуталось. Вот они и мудрствуют, как и во всем прочем: таков, мол, наш век! Таковы условия жизни! Мы — нервное поколение! Но помяните мое слово, семена бунта уже посеяны. Обо мне раззвонили на весь мир по радио, показывали меня и по телевидению, и в кино — вот ведь парадокс! Дело было пять дней назад. Про меня узнали миллиарды людей. Следите за биржевыми отчетами. Ждите в любой день. Хоть сегодня. Вы увидите, как подскочит спрос на шоколадное мороженое!

— Ясно, — сказал психиатр.

— Теперь, надеюсь, мне можно вернуться в мою милую одиночную камеру? Я намерен полгода наслаждаться одиночеством и тишиной.

— Пожалуйста, — спокойно сказал психиатр.

— За меня не бойтесь, — сказал, вставая, мистер Брок. — Я буду сидеть да посиживать и наслаждаться мягкой фланелью в ушах.

— Гм-м, — промычал психиатр, направляясь к двери.

— Не унывайте, — сказал Брок.

— Постараюсь, — отозвался психиатр.

Он нажал незаметную кнопку, подавая условный сигнал, дверь отворилась, он вышел в коридор, дверь захлопнулась, шелкнув замком. Он вновь шагал один по коридорам мимо бесчисленных дверей. Первые двадцать шагов его провожали звуки «Китайского тамбурина». Их сменила «Цыганка», затем «Пассакалья» и какая-то там минорная fuga Баха, «Тигровый рэгтайм», «Любовь — что сигарета». Он достал из кармана сломанный радиобрасслет, точно раздавленного богомола. Вошел к себе в кабинет. Тотчас зазвенел звонок и с потолка раздался голос:

— Доктор?

— Только что закончил с Брокком, — отозвался психиатр.

— Диагноз?

— Полная дезориентация, но общителен. Отказывается признавать простейшие явления окружающей действительности и считаться с ними.

— Прогноз?

— Неопределенный. Когда я его оставил, он с наслаждением затыкал себе уши воображаемыми тампонами.

Зазвонили сразу три телефона. Запасной радиобраслет в ящике стола закрипел, словно раненый кузнечик. Замигала красноватая лампочка, и защелкал вызов селектора. Звонили три телефона. Жужжало в ящике. В открытую дверь вливалась музыка. Психиатр, что-то мурлыча себе под нос, надел новый радиобраслет, шелкнул селектором, поговорил минуту, снял одну телефонную трубку, поговорил, снял другую трубку, поговорил, снял третью, поговорил, нажал кнопку радиобраслета, поговорил негромко, размеренно, лицо его было невозмутимо-спокойно, а вокруг гремела музыка, мигали лампочки, снова звонили два телефона, и руки его непрерывно двигались, и радиобраслет жужжал, и его вызывали по селектору, и с потолка звучали голоса. Так провел он остаток долгого служебного дня, овеваемый прохладным кондиционированным воздухом, сохраняя то же невозмутимое спокойствие: телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет...

### **ЗОЛОТОЙ ЗМЕЙ,**

### **СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕТЕР**

---

— В форме свиньи? — воскликнул мандарин.

— В форме свиньи, — подтвердил гонец и покинул его.

— О, что за горестный день несчастного года! — возопил мандарин. — В дни моего детства город Квон-Си за



холмом был так мал. А теперь он вырос настолько, что обзавелся стеной!

— Но почему стена в двух милях от нас в одночасье лишает моего родителя покоя и радости? — спросила его дочь.

— Они выстроили свою стену, — ответил мандарин, — в форме свиньи! Понимаешь? Стена нашего города выстроена наподобие апельсина. Их свинья жадно пожрет нас!

— О... — И оба надолго задумались.

Жизнь полна символов и знамений. Духи обитали повсюду. Смерть таилась в капельке слез, и дождь — во взмахе крыла чайки. Поворот веера — вот так — наклон крыши и даже контур городской стены — все имело свое значение. Путники, торговцы и зеваки, музыканты и лицедеи доберутся до двух городов, и знаменья заставят их сказать: «Город в облике апельсина? Нет, лучше я войду в город, подобный свинье, набирающей жир на любом корму, и буду процветать его удачей».

Мандарин заплакал.

— Все потеряно! Тяжелые дни наступили для нашего города, ибо явились ужасающие знаки.

— Тогда призови к себе каменщиков и строителей храмов, — посоветовала его дочь. — Я нашепчу тебе из-за шелковой ширмы, что сказать им.

И в отчаянии хлопнул в ладоши старик:

— Хэй, каменщики! Хэй, строители домов и святилищ!

Быстро явились к нему мастера, знакомые с мрамором, гранитом, ониксом и кварцем. Встретил их мандарин, ежась на троне в ожидании шепота из-за шелковой ширмы. И вот прозвучал шепот:

— Я собрал вас...

— Я собрал вас, — повторял мандарин, — ибо наш город выстроен в форме апельсина, а гнусные жите-

ли Квон-Си выстроили свою стену в облике жадной свиньи...

Закричали каменотесы и восплакали. Простучала во внешнем дворике тросточка смерти. Отхаркалась, прячась в тенях, нищета.

— А потому, — сказали шепот и мандарин, — мои строители, возьмите кирки и камни и измените форму нашего города!

Вздохнули изумленно зодчие и каменщики. И сам мандарин вздохнул изумленно. А шепот нашептывал, и повторял за ним мандарин:

— И мы отстроим наши стены в форме дубинки, которая отгонит свинью!

Вскочили с колен мастера и закричали от радости. Даже сам мандарин, восхитившись своими словами, захлопал в ладоши, поднявшись с трона.

— Быстрее же! — воскликнул он. — За работу!

А когда ушли люди, веселые и деловитые, мандарин повернулся к шелковой ширме и с любовью воззрился на нее.

— Позволь обнять тебя, дочь моя, — прошептал он.

Но ответа не было, и, шагнув за ширму, мандарин не нашел там никого.

«Какая скромность, — подумал мандарин. — Она ушла, оставив меня радоваться победе, словно я одержал ее».

Новость расходилась по городу, и жители славили мудрого мандарина. И каждый таскал камень к стенам. Запускали фейерверки, чтобы отогнать демонов нищеты и погибели, пока горожане трудятся вместе. И к концу месяца встала новая стена, в форме могучей булавы, способной отогнать не только свинью, но даже кабана или льва. И мандарин той ночью спал, как счастливый лис.

— Хотел бы я видеть мандарина Квон-Си, когда ему донесут эту весть. Что за шум и суматоха поднимется! Он, должно быть, спрыгнет с утеса от зло-

сти, — говорил он. — Налей еще вина, о дочь, думающая как сын.

Но радость его увяла быстро, как цветок зимой. В тот же вечер в тронный зал ворвался гонец:

— О мандарин! Чума, лавина, саранча, глад и отравленные колодцы!

Задрожал мандарин.

— Горожане Квон-Си, чьи стены построены в форме свиньи, которую прогнали мы, изменив наши стены в подобие дубинки, превратили нашу победу в прах. Они построили стену в виде огромного костра, чтобы сжечь нашу дубинку!

И сжалось сердце мандарина, как сморщивается последнее яблоко на осенних ветвях.

— О боги! Путники станут обходить нас стороной. Торговцы, узрев такие знамена, отвернутся от полыхающей дубинки к пожирающему ее огню!

— Нет, — донесся из-за шелковой ширмы голос, как падение снежинки.

— Нет, — повторил изумленный мандарин.

— Передай каменотесам, — сказал шепот, как касание капли дождя, — чтобы они отстроили стену в облике сверкающего озера.

Повторил эти слова мандарин, и потеплело у него на сердце.

— И воды озера, — сказали шепот и старик, — погасят огонь навеки!

И вновь возрадовались горожане, узнав, что и в этот раз сохранил их от напасти блистательный повелитель мудрости. Побежали они к стенам и отстроили их заново, в новом обличье. Но пели они уже не так громко, ибо устали, и работали не так быстро, ибо в тот месяц, что строили первую стену, поля и лавки оставались заброшены и жители голодали и нишали.

Но последовали дни жуткие и удивительные, и каждый — как новая коробочка со страшным сюрпризом.

— О повелитель! — воскликнул гонец. — В Квон-Си перестроили стену, чтобы она походила на рот и выпила наше озеро!

— Тогда, — ответил повелитель, стоя у шелковой ширмы, — отстроим наши стены в подобие иглы, чтобы зашить этот рот!

— Повелитель! — взвизгнул гонец. — Они строят стену в виде меча, чтобы сломать нашу иглу!

Трепеща, прижался повелитель к шелковой ширме.

— Тогда переставьте камни, чтобы походила стена на ножны для их меча.

— Смилуйся, повелитель! — простонал гонец следующим утром. — Враги работали всю ночь и сложили стену в форме молнии, которая разломает и уничтожит ножны.

Болезни носились по городу, как стая бешеных псов. Жители, долгие месяцы трудившиеся над постройкой стен, сами ходили теперь на призраки смерти, и кости их стучали на ветру, как ксилофон. Похоронные процессии потянулись по улицам, хотя была еще середина лета, время сельских трудов и сбора урожая. Мандарин заболел, и кровать его поставили в тронном зале, перед шелковой ширмой. Он лежал, скорбный, отдавая приказы строителям, и шепот из-за ширмы становился все тише и слабее, точно ветер в камышах.

— Квон-Си — это орел? Наши стены должны стать сетью для него. Они построили подобие солнца, чтобы спалить нашу сеть? Мы выстроим луну, чтобы затмить их солнце!

Как проржавевшая машина, город со скрежетом застыл.

И наконец голос из-за экрана прошептал в отчаянии:

— Пошлите за мандарином Квон-Си!

В последние дни лета четверо голодных носильщиков внесли в тронный зал мандарина Квон-Си, исстрадавшегося и измученного. Мандаринов поставили друг против друга. Дыхание их свистело, как зимний ветер.

— Мы должны положить конец этому безумию, — прошептал голос.

Старики кивнули.

— Так не может больше продолжаться, — говорил голос. — Наши подданные заняты только тем, что перестраивают городские стены ежедневно и ежечасно. У них не остается времени на охоту, рыбалку, любовь, почитание предков и потомков их предков.

— Истинно так, — ответили мандарины городов Клетки, Луны, Копья, Огня, Меча и еще многого, многого другого.

— Вынесите нас на солнце, — приказал шепот.

И стариков вынесли на вершину холма, под ясное солнце. На летнем ветру худенькие ребятишки запускали воздушных змеев всех цветов — цвета солнца, и лягушек, и травы, цвета моря, и зерна, и медяков.

Дочь первого мандарина стояла у его ложа.

— Видишь ли? — спросила она.

— Это лишь воздушные змеи, — ответили старики.

— Но что есть воздушный змей на земле? — спросила она. — Его нет. Что нужно ему, чтобы сделаться прекрасным и возвышенным, чтобы удержаться в полете?

— Ветер, конечно, — был ответ.

— А что нужно ветру и небу, чтобы стать красивыми?

— Воздушный змей — много змеев, чтобы разрушить однотонность неба, полет красочных змеев!

— Пусть же будет так, — сказала дочь мандарина. — Ты, Квон-Си, в последний раз перестроишь свои стены в подобие самого ветра, не больше и не меньше. Мы же выстроим свои в подобие золотого змея. Ветер поднимет змея к удивительным высотам. А тот разрушит монотонность ветра, даст ему цель и значение. Одно ничто без другого. Вместе найдем мы красоту, и братство, и долгую жизнь.

Так возрадовались мандарины при этих словах, что тотчас же поели — впервые за многие дни, — и силы вер-

нулись к ним в тот же миг. Обнялись они и осыпали хвалами друг друга, а पुше всего — дочь мандарина, называя ее мальчиком, мужем, опорой, воином и истинным, единственным сыном. А потом расстались они, не мешкая, и поспешили в свои города, распевая от счастья слабыми голосами.

А потом стали города-соседи Городом Золотого Змея и Городом Серебряного Ветра. И собирались в них урожаи, и вновь открывались лавки, вернулась плоть на костяки, и болезни умчались, как перепуганные шакалы. И каждую ночь жители Города Воздушного Змея слышали, как поддерживает их ласковый и чистый ветер, а жители Города Ветра — как поет, шепчет и озаряет их в полете змей.

— И да будет так, — сказал мандарин, стоя перед шелковой ширмой.

### **Я НИКОГДА ВАС НЕ УВИЖУ**

Послышался тихий стук в кухонную дверь, и когда миссис О'Брайен отворила, то увидела на крыльце своего лучшего жильца, мистера Рамиреса, и двух полицейских — по одному с каждой стороны. Зажатый между ними, мистер Рамирес казался таким маленьким.

— Мистер Рамирес! — озадаченно воскликнула миссис О'Брайен.

Мистер Рамирес был совершенно уничтожен. Он явно не мог найти слов, чтобы объяснить.

Он пришел в пансионат миссис О'Брайен больше двух лет назад и с тех пор постоянно жил тут. Приехал на автобусе из Мехико-Сити в Сан-Диего, а затем сюда, в Лос-Анджелес. Здесь он нашел себе маленькую чистую комнатку с лоснящимся голубым линолеумом на полу, с картинами и календарями на цветастых обоях и узнал миссис О'Брайен — требовательную, но приветливую

хозяйку. В войну работал на авиазаводе, делал части для самолетов, которые куда-то улетали; ему и после войны удалось сохранить свое место. С самого начала он зарабатывал хорошо. Мистер Рамирес понемногу откладывал на сберегательную книжку и только раз в неделю напивался — право, которое миссис О'Брайен признавала за каждым честным тружеником, не докучая человеку распросами и укорами.

В печи на кухне миссис О'Брайен пеклись пироги. Скоро они лягут на стол, чем-то похожие на мистера Рамиреса: блестящая, хрустящая коричневая корочка и надрезы, чтобы выходил воздух, сильно смахивающие на узкие щелочки, сквозь которые смотрели его черные глаза. На кухне вкусно пахло. Полицейские чуть наклонились вперед, соблазненные заманчивым ароматом. Мистер Рамирес упорно смотрел на свои ноги, точно это они завели его в беду.

— Что произошло, мистер Рамирес? — спросила миссис О'Брайен.

Подняв глаза, мистер Рамирес за спиной миссис О'Брайен увидел знакомый длинный стол с чистой белой скатертью, и на нем большое блюдо, холодно поблескивающие бокалы, кувшин с водой и кубиками льда, миску свежего картофельного салата и миску фруктового салата из бананов и апельсинов, нарезанных кубиками и посыпанных сахаром. За столом сидели дети миссис О'Брайен. Трое взрослых сыновей были увлечены едой и разговором, две дочери помоложе ели, не сводя глаз с полицейских.

— Я здесь уже тридцать месяцев, — тихо сказал мистер Рамирес, глядя на пухлые руки миссис О'Брайен.

— На шесть больше, чем положено, — добавил один из полицейских. — У него ведь временная виза. Мы уже начали его разыскивать.

Вскоре после того, как мистер Рамирес поселился в пансионате, он купил для своей комнатухи радиопри-

емник; придя с работы, он с неподдельным удовольствием включал его на полную мощность. Кроме того, он купил часы на руку, которые тоже носил с удовольствием. Вечерами он часто гулял по примолкшим улицам, разглядывал в витринах красивые рубашки и некоторые из них покупал, любовался брошками и некоторые покупал своим немногочисленным приятельницам. Одно время он по пять раз в неделю ходил в кино. Еще он катался на трамвае, иногда целую ночь напролет, вдыхая электричество, скользя черными глазами по объявлениям, чувствуя, как вращаются колеса под ним, глядя, как проплывают мимо маленькие спящие дома и большие отели. Кроме того, он ходил в роскошные рестораны, где заказывал себе обед из многих блюд, посещал оперу и театр. И он приобрел автомобиль, но потом забыл про взносы, и сердитый агент из магазина увел машину со стоянки перед пансионатом.

— Понимаете, миссис О'Брайен, — продолжал мистер Рамирес, — придется мне выехать из моей комнаты. Я пришел только забрать свой чемодан и одежду, чтобы последовать за этими господами.

— Обратно в Мексику?

— Да. В Лагос. Это маленький городок севернее Мехико-Сити.

— Мне очень жаль, мистер Рамирес.

— Я уже собрал свои вещи, — глухо произнес мистер Рамирес, часто моргая черными глазами и растерянно шевеля руками.

Полицейские не трогали его. В этом не было нужды.

— Вот ключ, миссис О'Брайен, — сказал мистер Рамирес. — Я уже взял чемодан.

Только теперь миссис О'Брайен заметила стоящий у его ног чемодан. Мистер Рамирес снова обвел взглядом просторную кухню, блестящее серебро приборов, обедающих молодых людей, сверкающий воском пол. Он повернулся и долго глядел на соседний дом, высокое и кра-



сивое трехэтажное здание. Глядел на балконы и пожарные лестницы, на ступеньки крылец, на веревки с хлопающим на ветру бельем.

— Вы были хорошим жильцом, — сказала миссис О'Брайен.

— Спасибо, спасибо, миссис О'Брайен, — тихо ответил он. И закрыл глаза.

Миссис О'Брайен правой рукой придерживала наполовину открытую дверь. Один из сыновей за ее спиной напомнил, что ее обед стынет, но она только кивнула ему и снова повернулась к мистеру Рамиресу. Когда-то ей довелось гостить в нескольких мексиканских пограничных городках, и вот теперь вспомнились знойные дни и несчетные цикады — они прыгали, падали, лежали мертвые, хрупкие, словно маленькие сигары в витринах табачных лавок, — вспомнились каналы, разносящие по фермам воду из реки, пыльные дороги, иссушенные пригорки. И тихие города, и теплое вино, и неперенные обжигающие рот сытные блюда. Вспомнились вяло бредущие лошади и тощие зайцы на шоссе. Вспомнились ржавые горы, запорошенные пылью долины и океанский берег, сотни километров океанского берега — и никаких звуков, кроме прибоя.

— Мне искренне жаль, мистер Рамирес, — сказала она.

— Я не хочу уезжать обратно, миссис О'Брайен, — тихо промолвил он. — Мне здесь нравится, я хочу остаться. Я работал, у меня есть деньги. Я выгляжу вполне прилично, ведь правда? Нет, я не хочу уезжать!

— Мне очень жаль, мистер Рамирес, — ответила она. — Если бы я могла что-то сделать.

— Миссис О'Брайен! — вдруг крикнул он, и по щекам его покатались слезы. Он протянул обе руки, пылко схватил ее руку и тряс, сжимал, цеплялся за нее. — Миссис О'Брайен, я никогда вас не увижу больше, никогда не увижу!..

Полицейские улыбнулись, но мистер Рамирес не видел их улыбок, и они перестали улыбаться.

— Прощайте, миссис О'Брайен. Вы были очень добры ко мне. Прощайте! Я никогда вас не увижу больше!

Полицейские ждали, когда мистер Рамирес повернется, возьмет свой чемодан и пойдет. Он сделал это, и они последовали за ним, вежливо козырнув на прощание миссис О'Брайен. Она смотрела, как они спускаются вниз по ступенькам. Потом тихо затворила дверь и медленно вернулась к своему стулу. Она выдвинула его и села. Взяла блестящие нож и вилку и вновь принялась за свою котлету.

— Поторопись, мам, — сказал один из сыновей. — Все остыло.

Миссис О'Брайен отрезала кусок и долго, медленно жевала его, потом поглядела на закрытую дверь. И положила на стол нож и вилку.

— Что случилось, мама?

— Ничего, — сказала миссис О'Брайен, поднося руку к лицу. — Просто я подумала, что никогда больше не увижу мистера Рамиреса...

---

### ВЫШИВАНИЕ

---

В сумеречном вечернем воздухе на террасе часто-часто сверкали иголки, и казалось, это кружится рой серебряных мошек. Губы трех женщин беззвучно шевелились. Их тела откидывались назад, потом едва заметно наклонялись вперед, так что качалки мерно покачивались, тихо скрипя. Все три смотрели на свои руки так пристально, словно вдруг увидели там собственное тревожно бьющееся сердце.

— Который час?

— Без десяти пять.

— Надо уже идти лущить горох для обеда.

— Но... — возразила одна из них.

— Верно, я совсем забыла. Надо же...

Первая женщина остановилась на полуслове, опустила на колени руки с вышиванием и посмотрела через открытую дверь, через дышащую безмолвным уютom комнату в притихшую кухню. Там, на столе, ожидая, когда ее пальцы выпустят чистенькие горошины на волю, лежала кучка изящных упругих стручков. И ей казалось, что она в жизни не видела более яркого воплощения домовитости.

— Иди лущи, если тебе от этого будет легче на душе, — сказала вторая женщина.

— Нет, — ответила первая, — не хочу. Никакого желания.

Третья женщина вздохнула. Она вышивала розу, зеленый лист, ромашку и луг. Иголка то появлялась, то снова исчезала.

Вторая женщина делала самый изысканный, тонкий узор, ловко протыкала материю, безошибочно ловила иглу и посылала обратно, заставляя ее молниеносно порхать вверх-вниз, вверх-вниз. Зоркие черные глаза чутко следили за каждым стежком. Цветок, мужчина, дорога, солнце, дом — целая картина рождалась под ее руками, чудесный миниатюрный ландшафт, подлинный шедевр.

— Иногда думается, в руках все спасение, — сказала она, и остальные кивнули, так что кресла вновь закачались.

— А может быть, — заговорила первая женщина, — душа человека обитает в его руках? Ведь все, что мы делаем с миром, мы делаем руками. Порой мне кажется, что наши руки не делают и половины того, что следовало бы, а головы и вовсе не работают.

Они с новым вниманием посмотрели на то, чем были заняты руки.

— Да, — согласилась третья женщина, — когда вспоминаешь свою жизнь, то видишь в первую очередь руки и то, что они сделали, а потом уже лица.

Они посчитали в уме, сколько крышек поднято, сколько дверей отворено и затворено, сколько цветов собрано, сколько обедов приготовлено торопливыми или медлительными — в соответствии с характером и привычкой — руками. Оглядываясь на прошлое, они видели словно воплощенную мечту чародея: вихрь рук, распахивающиеся двери, поворачивающиеся краны, летающие веники, ожившие розги. И единственным звуком был шелест порхающих розовых рук, все остальное было как немой сон.

— Не будет обеда, который надо приготовить, ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, — сказала третья женщина.

— Не будет окон, которые надо открывать и закрывать.

— Не будет угля, который надо бросать в печь в подвале, как настанет зима.

— Не будет газет, из которых можно вырезать рецепты.

Внезапно все три расплакались. Слезы мягко катились вниз по щекам и падали на материю, по которой бегали их пальцы.

— От слез все равно не легче, — заговорила наконец первая женщина и поднесла большой палец сначала к одному глазу, потом к другому. Она поглядела на палец — мокрый.

— Что же я натворила! — укоризненно воскликнула вторая женщина.

Ее подруги оторвались от работы. Вторая женщина показала свое вышивание. Весь ландшафт закончен, все безупречно: вышитое желтое солнце светит на вышитый зеленый луг, вышитая коричневая дорожка подходит, извиваясь, к вышитому розовому дому — и только с лицом мужчины, стоящего на дороге, что-то было не так.

— Придется, чтобы исправить, выпарывать чуть ли не весь узор, — сказала вторая женщина.

— Какая досада. — Они пристально смотрели на чудесную картину с изъяном.

Вторая женщина принялась ловко выпарывать нитку крохотными блестящими ножницами. Стежок за стежком, стежок за стежком. Она дергала и рвала, словно сердилась. Лицо мужчины пропало. Она продолжала дергать.

— Что ты делаешь? — спросили подруги.

Они наклонились, чтобы посмотреть.

Мужчина исчез совершенно. Она убрала его.

Они молча продолжали вышивать.

— Который час? — спросила одна.

— Без пяти пять.

— А это назначено на пять часов ровно?

— Да.

— И они не знают точно, что получится, какие будут последствия?

— Не знают.

— Почему мы их не остановили вовремя, когда еще не зашло так далеко?

— Она вдвое мощней предыдущей. Нет, в десять раз, если не в тысячу.

— Она не такая, как самая первая или та дюжина, что появилась потом. Она совсем другая. Никто не знает, что она может натворить.

Они ждали, сидя на террасе, где царил аромат роз и свежескошенной травы.

— А теперь который час?

— Без одной минуты пять.

Иголки рассыпали серебристые огоньки, метались в сгущающихся сумерках, словно стайка металлических рыбок.

Далеко-далеко послышался комариный писк. Потом словно барабанная дробь. Женщины наклонили головы, прислушиваясь.

— Мы ничего не услышим?

— Говорят, нет.

— Может быть, мы просто дуры. Может быть, мы и после пяти будем продолжать по-старому лущить горох, отворять двери, мешать суп, мыть посуду, готовить завтрак, чистить апельсины...

— Вот посмеемся после, что так испугались какого-то дурацкого опыта!

Они неуверенно улыбнулись друг другу.

— Пять часов.

В тишине, которую вызвали эти слова, они постепенно возобновили работу. Пальцы беспокойно летали. Лица смотрели вниз. Женщины лихорадочно вышивали. Вышивали сирень и траву, деревья, и дома, и реки. Они ничего не говорили, но на террасе отчетливо было слышно их дыхание:

Прошло тридцать секунд.

Вторая женщина глубоко вздохнула и стала работать медленнее.

— Пожалуй, стоит все-таки налущить гороха к обеду, — сказала она. — Я...

Но она не успела даже поднять головы. Уголком глаза она увидела, как весь мир вспыхнул, озарившись ярким огнем. И она не стала поднимать головы, ибо знала, что это. Она не глядела, и подруги ее тоже не глядели, и пальцы их до самого конца порхали в воздухе; женщины не хотели видеть, что происходит с полями, с городом, с домом, даже с террасой. Они смотрели только на узор в дрожащих руках.

Вторая женщина увидела, как исчез вышитый цветок. Она попыталась вернуть его на место, но он исчез бесповоротно, за ним исчезла дорога, травинки. Она увидела, как пламя, точно в замедленном фильме, коснулось вышитого дома и поглотило крышу, опалило один за другим вышитые листья на вышитом зеленом деревце, затем раздергало по ниточкам само солнце. Оттуда огонь перекинулся на кончик иголки, которая все еще продолжала сверкать в движении, с иголки пополз по пальцам, по ру-

кам, лизнул тело и принялся распарывать ткань ее плоти столь тщательно и кропотливо, что женщина видела его во всем его дьявольском великолепии, пока он выпарывал узоры. Но она так и не узнала, что он сделал с остальными женщинами, с мебелью на террасе, с вязом во дворе. Ибо в этот самый миг огонь дергал розовые нити ее ланит, рвал нежную белую ткань и наконец добрался до ее сердца — вышитой пламенем нежной красной розы; и он сжег свежие лепестки, один тончайший вышитый лепесток за другим...

---

**БОЛЬШАЯ ИГРА**  
**МЕЖДУ ЧЕРНЫМИ И ВЕЛЫМИ**

Трибуны за проволочной сеткой постепенно заполнялись людьми. Мы, дети, повывлезали из озера, с криками промчались мимо белых дачных домов и курортного отеля, а затем звонкоголосой ордой начали занимать места, помечая скамейки своими мокрыми ягодицами. Горячее солнце било сквозь кроны высоких дубов, стоявших вокруг бейсбольной площадки. Наши папы и мамы, в шортах, майках и летних платьях, шикали и кричали на нас, заставляя сидеть тихо и спокойно.

Все нетерпеливо посматривали на отель и особенно на заднюю дверь огромной кухни. По тенистой аллее, покрытой веснушками солнечных пятен, побежал табунок чернокожих женщин. Через десять минут вся левая трибуна стала пестрой от их цветастых платьев, свежевывмытых лиц и мелькавших рук. Даже сейчас, возвращаясь мыслями к тем далеким временам, я по-прежнему слышу звуки, которые они издавали. Теплый воздух смягчал тона, и каждый раз, когда они о чем-то говорили друг с другом, их голоса напоминали мне мягкое воркование голубей.

Публика оживилась в предчувствии скорого начала. Смех и крики поднимались вверх, в бездонное синее не-

бо Висконсина. А потом дверь кухни раскрылась и оттуда выбежала команда чернокожих парней: официанты, швейцары и повара, уборщики, лодочники и посудомойщики, уличные продавцы, садовники и рабочие с площадки для гольфа. Они выделывали забавные прыжки и скалили белые зубы, безумно гордые своими блестящими ботинками и новой формой в красную полоску. Прежде чем свернуть на зеленую траву площадки, команда пробежала вдоль трибун, размахивая руками и приветствуя зрителей.

Мы, мальчишки, выражали свой восторг пронзительным свистом. Мимо нас проносились такие звезды, как Дылда Джонсон, работавший газонокосильщиком; Коротышка Смит, продававший газированную воду; Бурый Пит и Джиффи Миллер. А следом за ними бежал Большой По! Мы засвистели еще громче и захлопали в ладоши.

Большой По был тем добрым великаном, который продавал попкорн у входа в танцевальный павильон — почти у самой кромки озера. Каждый вечер я покупал у него воздушную кукурузу, и он специально для меня подливал в аппарат побольше масла.

Я топал ногами и орал:

— Большой По! Большой По!

Он обернулся, помахал мне рукой и засмеялся, сверкая белыми зубами.

Мама быстро осмотрелась по сторонам и ткнула меня в бок своим острым локтем.

— Ш-ш-ш, — прошептала она. — Немедленно заткнись, кому я сказала!

— О боже, боже! — воскликнула мамина соседка, обмахиваясь сложенной газетой. — Для чернокожих это прямо какой-то праздник. Единственный день в году, когда наши слуги вырываются на свободу. У меня такое впечатление, что они все лето ждут большой игры между белыми и черными. Да что там игра! Посмотрели бы вы на их пирушку с танцами!



— Мы купили на нее билеты, — ответила мама. — И сегодня вечером идем в навильон. С каждого белого по доллару, представляете? Я бы сказала, это дорого для танцев.

— Ничего! Раз в году можно и раскошелиться, — пошутила женщина. — Между прочим, на их танцы действительно стоит посмотреть. Они так естественно держат... этот... Ну, как его?

— Ритм, — подсказала мама.

— Да, правильно, ритм, — подхватила леди. — Вот его они и держат. А вы видели этих чернокожих горничных в отеле? Они за месяц до игры ярдами покупали сатин в большом магазине Мэдисона и в свободное время шили себе платья. Однажды я видела, как некоторые из них выбирали перья для шляп — горчичные, вишневые, голубые и фиолетовые. О, это будет еще то зрелище!

— А их парни всю прошлую неделю проветривали свои пропахшие нафталином смокинги, — добавил я. — Там, на веревках за отелем, висело по несколько дюжин костюмов!

— Посмотрите на их гордую походку, — сказала мама. — Можно подумать, что они уже выиграли у наших ребят.

Чернокожие игроки разминались и подбадривали друг друга высокими звонкими голосами. Они, как кролики, носились по траве, подпрыгивали вверх и вниз и делали круговые махи руками.

Большой По взял охапку бит, взвалил их на огромное покатое плечо и, задирая от гордости подбородок, затрусил к линии первой базы. На его лице сияла улыбка. Губы напевали слова любимой песни:

...Вы будете танцевать, мои туфли,  
Под звуки блюза «желе-ролл»;  
Завтра вечером, в Городе чернокожих,  
На балу веселых задавак!

Легонько приседая в такт мелодии, он размахивал битами, как дирижерскими палочками. На левой трибуне послышались аплодисменты и смех. Я взглянул туда, и у меня зарябило в глазах от цветастых одежд и быстрых грациозных движений. Юные трепетные девушки, сияя коричневыми глазами, нетерпеливо ожидали начала игры. Их смех походил на чириканье птиц. Они подавали знаки своим парням, а одна из них кричала:

— Ах, мой По! Мой милый и славный великан!

Когда Большой По закончил свой танец, белые трибуны отозвались умеренными аплодисментами.

— Bravo, По! — закричал я изо всех сил.

Мама треснула меня по затылку и сердито прошептала:

— Дуглас! Прекрати орать!

И тут на аллее появилась наша команда. Трибуны содрогнулись от шума и криков. Люди восторженно вскакивали с мест, размахивая руками, хлопая в ладоши и топая ногами. Белые парни в ослепительно-белой форме выбежали на зеленую площадку.

— Смотри, там дядюшка Джордж! — сказала мама. — Ну разве он не великолепен?

Я взглянул на дядюшку Джорджа, который тащился в хвосте команды. Из-за большого живота и толстых щек, свисавших на воротник, он казался смешным и нелепым в спортивной форме. Дядя с трудом успевал дышать и улыбаться в одно и то же время. А ведь ему еще приходилось бежать, перебирая толстыми короткими ногами.

— По-моему, наши ребята выглядят прекрасно, — с энтузиазмом продолжала мама.

Я промолчал, наблюдая за их движениями. Мать сидела рядом, и мне было ясно, что она тоже сравнивала их с черными парнями. Похоже, это сравнение удивило и расстроило ее. Негры бегали легко и плавно, как облака из снов, как антилопы и козы в замедленных кадрах фильмов про Африку. Там, на поле, они походили на ста-

до прекрасных животных, которые жили игрой, а не притворялись живыми. Беззаботно перебирая длинными ногами и помахивая полусогнутыми руками, эти парни улыбались ветру и небу и всем своим видом не кричали всем и каждому: «Смотрите, как я бегу! Смотрите на меня!» Наоборот! Они мечтательно говорили: «О боже! Как прекрасен этот день. Как мягко пружинит земля под ногами. Мои мышцы послушны мне, и нет на свете лучшего удовольствия, чем бежать, бежать и бежать!» Их движения напоминали веселую песню. Их бег казался полетом небесных птиц.

А белые парни исполняли свой выход с обычным усердием деловых людей. Они относились к игре с таким же прагматизмом, как и ко всему остальному. Нам было неловко за них, потому что они вели себя не так. Парни поминутно косились по сторонам, выискивая тех, кто обращал на них внимание. Негров вообще не волновали взгляды толпы; настроившись на игру, они уже не думали ни о чем постороннем.

— Да, наши ребята выглядят просто замечательно, — печально повторила моя мама.

Однако она видела, насколько отличались две команды. Спортивная форма сидела на неграх как влитая. На их фоне белые парни казались переростками, надевшими детское белье. Я даже прыснул, представив, как они натягивали на себя эту узкую амуницию, которая теперь задиралась на животах и выползала из брюк.

Возможно, их напряженность начиналась именно отсюда.

Все прекрасно понимали, что происходило на поле. Люди качали головами, глядя на игроков, одетых, словно сенаторы, в белые костюмы. И, конечно, зрителей восхищала грациозная непосредственность чернокожих. Как всегда, это восхищение превращалось в зависть, ревность и раздражение, порождая массу реплик и оправданий. Я прислушался к разговору дам, сидевших за нами:

— Между прочим, третью базу будет защищать мой муж Том. Странно! Почему он не разминается? Я думаю, он мог бы присесть пару раз или подрыгать ногами. Стоит там прямо как кол!

— Ах, не волнуйтесь, милая. Он подрыгает ими, когда придет время!

— Вот и я того же мнения! Взять, к примеру, моего Генри. Он не может быть активным все время, но в опасные моменты... Да что там говорить! Если вы понаблюдаете за ним, то сами все увидите. Ах, как я хочу, чтобы он помахал мне рукой или сделал что-нибудь шальное. Эй, Генри! Я здесь! Я здесь!

— А посмотрите, как дурачится Джимми Коснер!

Я посмотрел. Этот рыжий парень с лицом, усеянным веснушками, действительно выделывал всякие трюки. Поставив биту на лоб, он старался удержать ее в равновесии. На наших трибунах раздались жидкие аплодисменты и тихий смех, похожий на смущенное хихиканье. Так обычно смеются люди, когда им становится стыдно за поведение какого-то человека.

— Мяч в игру! — закричал судья.

Монетка взлетела в воздух, и черные парни выиграли право начинать игру.

— Черт бы их побрал, — прошептала мама.

Чернокожая команда освободила площадку.

Большой По вышел на ударную позицию. Я завопил от восторга, когда он поднял биту одной рукой — легко и лениво, словно зубочистку. Примерившись, гигант положил ее на покатое плечо и с широкой улыбкой повернул свое гладкое лицо к трибуне, где сидели чернокожие женщины. Их кремовые платья едва прикрывали бедра, а темные ноги в белых чулках походили на хрустящие имбирные палочки. Причудливо уложенные волосы свисали над ушами тонкими локонами. Но Большой По смотрел только на свою подружку Кэтрин — стройную и лакомую, как куриная ножка. Она работала горничной

в отеле и каждое утро меняла в коттеджах постели. Кэт стучала в двери, словно пташка в окно, и вежливо спрашивала, как вам спалось и что снилось. Она просила отдать ей ваши ночные кошмары в обмен на кучку свежего белья, «потому что простыни надо использовать только один раз, вот так-то, милый мальчик».

Увидев Кэт, Большой По расправил плечи и покачал головой, словно не верил тому, что она пришла взглянуть на его игру. Помахивая битой, он повернулся к питчеру, и его левая рука свободно захлопала по бедру, пока противник делал пробные подачи. Мячи пронеслись мимо него со свистом, затыкая пасть ловушки белого кэтчера. Наш «хватала» принимал подачи ловко и довольно уверенно. Когда он отбросил назад последний принятый мяч, судья дал команду, и игра началась всерьез.

Большой По специально пропустил первую подачу.

— Четкий захват! — объявил судья.

Чернокожий гигант по-дружески подмигнул нашему питчеру. Банг!

— Второй захват! — закричал судья.

Мяч отбросили на третью подачу.

И тут Большой По превратился в непогрешимую и прекрасно смазанную бейсбольную машину. Левая рука обхватила конец биты, которая, со свистом рассекая воздух, ударила по мячу.. Бац! Мяч взвился в небо и полетел к дубам с их шумевшей листвой, к далекому озеру, где по водной глади тихо скользила лодка с белым парусом. Толпа взревела, и я громче всех! Дядюшка Джордж побежал за мячом на своих толстых коротеньких ножках. Его фигура становилась все меньше и меньше.

Понаблюдав какое-то время за полетом мяча, Большой По начал свой триумфальный путь вдоль площадки. Он легкой трусцой пробежал все базы и на пути от третьей, счастливо улыбаясь, помахал рукой чернокожим девчонкам. Они с визгом вскочили на скамейки и замали ему в ответ.

Через десять минут, после неудачных подач и бесполезных перебежек, команды поменялись местами. Большой По вновь вышел с битой на ударную позицию. Моя мама возмущенно сказала:

— Посмотрите, как они себя нагло ведут!

— Но это же только игра, — заступился я за негров. — Между прочим, у них уже два аута.

— При счете семь-ноль, — напомнила мама.

— Ничего, подождите немного, — сказала леди, сидевшая рядом с мамой. — Скоро будут бить наши парни. И тут уже черным их рост не поможет!

Она раздраженно согнала муху со своей бледной руки, покрытой синими венами.

— Второй захват! — крикнул судья, и Большой По размахнулся, приготовившись к настоящему удару.

— Всю эту неделю прислуга в отеле вела себя просто невыносимо, — сказала мамина соседка, не спуская глаз с Большого По. — Горничные только и знали, что болтали о своей пирушке с танцами. Когда вы требовали воду со льдом, они приносили ее вам через полчаса. Шитье тряпок стало им важнее, чем просьбы отдыхающих!

— Первый мяч! — произнес судья.

Женщина сердито зашипела.

— Я просто жду не дождусь, когда эта проклятая неделя закончится, — сказала она.

— Второй мяч! — крикнул судья Большому По.

— Да его просто невозможно обыграть! — возмущенно воскликнула мама. — О чем они думали, когда соглашались на игру? — Повернувшись к соседке, она изменила тон и любезно сказала: — Вы правы. Они действительно стали какими-то странными. Вчера вечером мне дважды пришлось сказать этому верзиле, чтобы он добавил масла в мой попкорн. Я думаю, он хотел сэкономить на мне лишние деньги.

— Третий мяч! — прокричал судья.

Леди, сидевшая рядом с мамой, начала яростно обмахиваться газетой.

— Черт, я так и думала. Они выигрывают! Разве это не ужасно? Наши олухи ничего не могут сделать. Вот увидите, мы продаем им!

Моя мать обиженно отвернулась, посмотрела на озеро, на деревья, а потом на свои руки.

— Не знаю, зачем дяде Джорджу понадобилось участвовать в этой игре. Только выставляет себя в дурацком виде. Дуглас, мальчик мой, сбегай к нему и скажи, чтобы он немедленно покинул поле. При его больном сердце такие нагрузки просто недопустимы.

— Аут! — крикнул судья.

— О-о-о! — облегченно вздохнули трибуны.

Команды поменялись местами. Положив свою битую на землю, Большой По зашагал вдоль площадки. Наши парни, с красными лицами и пятнами пота под мышками, раздраженно кричали друг на друга. Проходя мимо трибун, Большой По взглянул на меня, и я подмигнул ему тайком от мамы. Он тоже подмигнул мне в ответ. И тогда я понял, что По нарочно промахнулся.

Он выбил мяч в аут, чтобы дать нашим какой-то шанс.

На подачи вышел Дылда Джонсон. Он легкой походкой направился к кругу, разминая пальцы и сжимая кулаки.

Первым против него вышел парень по имени Кодимер. Насколько я знаю, он торговал в Чикаго пиджаками.

Дылда Джонсон кормил его подачами, как с тарелочки. Несмотря на точность, они были довольно скромными и не отличались особой силой.

Мистер Кодимер размахивал битой, словно косой. Раз за разом попадая по мячу, он в конце концов дотолкал его до линии третьей базы.

— Аут в первом круге! — закричал судья Махони.

Вторым с битой вышел молодой швед по имени Моберг. Он запустил высокую свечу в центр поля, но мяч

подхватил маленький пухлый негр, который двигался по полю, как круглая капля ртути.

Третьим отбивал подачи коренастый водитель грузовика из Милуоки. Он отбросил линию защиты к центру площадки и наверняка добился бы успеха, если бы действовал немного побыстрее. На второй базе его поджидал Коротышка Смит. У нашего игрока имелось небольшое преимущество. Но, к сожалению, мяч оказался в черной, а не белой руке.

Мама откинулась на спинку скамьи и вздохнула:

— Черт! Мне это уже не нравится!

— Да, становится жарко, — отозвалась ее соседка. — Я лучше пойду прогуляюсь по берегу озера. Что толку сидеть на этой жаре и смотреть на дурацкие забавы мужчин. Не хотите составить мне компанию?

Последовало еще пять подач.

При счете одиннадцать — ноль Большой По нарочно промазал три раза по мячу, и во второй половине пятой смены за нашу команду вышел играть Джимми Коснер. Он вел себя как шеф: кричал, давал советы, указывал, кому и где стоять. Коснер перепробовал шесть бит, критично осматривая их маленькими зелеными глазами. Выбрав наконец одну, он отбросил остальные и не спеша направился к кругу, выдирая шипованными бутсами маленькие пучки травы из покрытия. Раздуваясь от самодовольства, он сдвинул кепку на затылок, пригладил рукой запылившиеся рыжие волосы и закричал сидевшим на трибунах леди:

— Эй, смотрите сюда! Сейчас я задам этим черным перцу!

Дылда Джонсон, изображая испуг, прикрыл лицо рукой. Он изогнулся всем телом, словно змея на ветке, которая вот-вот бросится. Внезапно его рука метнулась вперед; ладонь в перчатке раскрылась, как черная пасть, и белый мяч со свистом влетел в ловушку.

— Четкий захват!



Опустив биту, Джимми Коснер уставился на судью. Он осуждающе покачал головой, потом с вызовом плюнул под ноги Дылды и, приподняв свою кленовую биту, крутанул ею так, что солнце превратило ее в сияющую молнию. Потом пригнулся и выставил вперед плечо. Его рот открылся, демонстрируя длинные прокуренные зубы.

Клап! Ловушка проглотила мяч.

Коснер повернулся и с удивлением посмотрел на Дылду Джонсона. Тот, словно маг, сверкнул белозубой улыбкой, открыл перчатку, и на ней, как цветущая лилия, забелел бейсбольный мяч.

— Второй захват! — объявил судья.

Джимми Коснер отбросил биту и шлепнул себя руками по бедрам.

— Ты хочешь сказать, что этот удар засчитан?

— Именно это я и сказал, — ответил судья. — Подними биту.

— Чтобы треснуть тебя по черепу? — съязвил Джимми Коснер.

— Или играй, или иди в душ!

Поработав челюстями, Коснер поднакопил слюны для плевка; но потом сердито проглотил ее и шепотом выругался. Он пригнулся, поднял биту и опустил ее на плечо, как ружье.

А потом пошла третья подача! Маленький мяч увеличился в размерах, пролетая мимо него. Пу-у-у! Желтая бита сверкнула молнией, и белое пятнышко понеслось к лазурным небесам. Джимми бросился к первой базе. Мяч приостановился в воздухе, будто вспомнив о законе гравитации. На берег озера накатила волна, и в наступившей тишине все услышали, как она зашипела на песке и гальке. И тут толпа, не выдержав, взревела. Джимми мчался вперед под шквалом свиста и воплей. А мяч к тому времени решил вернуться на землю. Гибкий и рослый Коснер бежал изо всех сил, протягивая к нему цепкие руки.

Мяч упал на дерн, несколько раз подскочил и покати́лся к первой базе. Джимми понял, что не успел. В отчаянии и злости он прыгнул ногами вперед, и все увидели, как шипы его ботинок вонзились в лодыжку Большого По. Прежде чем поднялось облако пыли, все увидели кровь и слышали крик.

— Я играл по правилам! — оправдывался Джимми через две минуты.

Большой По сидел на траве. Вся команда чернокожих собралась вокруг него. Доктор склонился к ноге, ощупал лодыжку и сказал: «Ого!», а потом задумчиво добавил: «Выглядит довольно мрачно! Особенно вот здесь!» Промыв рану какой-то жидкостью, он начал перевязывать ее белым бинтом.

Судья бросил на Коснера холодный взгляд:

— Иди в душ!

— Какого черта! — возмущился Джимми. Он стоял в центре первой базы и, раздувая щеки, махал руками, как ветряная мельница. — Я все делал правильно! И я останусь здесь, черт бы вас побрал! Ни один ниггер не выведет меня из игры!

— Но это спокойно сделает белый, — ответил судья. — Я удаляю тебя с поля. Вон отсюда!

— Он шел на мяч! Почитай лучше правила, Махони! Я действовал как надо!

Какое-то время судья и Коснер стояли друг перед другом и обменивались сердитыми взглядами.

Сжимая руками распухшую лодыжку, Большой По поднял голову и без всякой злобы посмотрел на Джимми Коснера.

— Наверное, этот парень прав, мистер судья, — сказал он мягким и сочным басом. — Не удаляйте его с поля.

А я стоял рядом с ним и ловил каждое слово. Я и несколько других мальчишек выбежали на поле, чтобы послушать их перебранку. Мать кричала мне с трибуны и грозила кулаком, но меня это нисколько не пугало.

— Он играл по правилам, — повторил Большой По. Черные парни подняли крик.

— Что за дела, братан? Ты что, упал на голову?

— А я говорю, что он играл по правилам, — ответил По и посмотрел на доктора, который бинтовал ему ногу. — Оставьте его в игре.

Махони прорычал проклятие.

— Ладно. Раз у вас нет претензий... Будем считать, что он прав.

Махнув рукой, судья отошел в сторону. Его плечи приподнялись, спина сгорбилась, а шея стала красной.

Большому По помогли подняться.

— Лучше не наступай на нее, — посоветовал доктор.

— Но я могу ходить, — шепотом ответил По.

— Не играй, парень, иначе будет хуже!

— Но я должен играть, — качая головой, настаивал По. На его щеках виднелись мокрые полосы от слез. — Я должен продолжать игру! — Он старался не смотреть на своих друзей. — И клянусь, я буду играть очень хорошо.

— О-о-о! — произнес черный парень, стоявший на второй базе.

Мне этот возглас показался довольно забавным.

Чернокожие посмотрели друг на друга, на Большого По и Джимми Коснера, на небо, озеро и толпу. Потом без лишних слов разошлись по своим местам, а Большой По попрыгал на раненой ноге, показывая, что может продолжать игру. Доктор начал спорить, но огромный негр махнул на него рукой. Судья откашлялся и громко прокричал:

— Приготовиться к игре! Посторонним убраться с поля!

Мы, мальчишки, побежали к трибунам. Мама ущипнула меня за ногу и спросила, почему я не могу сидеть спокойно.

Солнце поднималось из-за крон деревьев, и люди все чаще посматривали на озеро и прохладные волны. Леди

обмахивались газетами и вытирали платочками потные лица. Мужчины ерзали на скамейках и, приставив ладони к нахмуренным бровям, следили за Большим По и Джимми Коснером, который стоял перед негром, как лилипут в тени огромного мамонтового дерева.

От нашей команды с битой вышел молодой Моберг.

— Давай, швед! Сделай их! — раздался чей-то возглас, одинокий и жалкий, как крик напуганной птицы.

Конечно же, это кричал Джимми Коснер. Зрители неодобрительно зашумели. Девушки в цветастых платьях уставились на его нервно выгнутую спину. Чернокожие игроки презрительно закачали головами. На какой-то миг Джимми стал центром всей Вселенной.

— Давай, швед! Покажи этим черным ублюдкам! — громко повторил он и засвистел, краснея от натуги.

Стадион ответил ему гробовой тишиной. Только ветер шумел листвой высоких деревьев.

— Давай, швед! Всади им пиллолю...

Дылда Джонсон встал на место питчера и набычился. С усмешкой посмотрев на Коснера, он быстро переглянулся с Большим По. Джимми заметил этот взгляд и тут же заткнулся, судорожно сглотнув слюну. А Джонсон провел защиту с преимуществом и остался подавать при нападавшем Коснере.

Коснер шагнул к сумке, вытащил свою битку и, чмокнув кончики пальцев, прилепил поцелуй к центру мешка. Потом он осмотрел трибуны и самодовольно рассмехался.

Питчер взмахнул рукой, стиснул в кулаке белый мяч и отвел руку назад, готовясь к броску. Коснер затанцевал на своей позиции у базы. Он то приседал, то поднимался, чем очень напоминал одетую в костюмчик ширковую мартышку. Джонсон посматривал на него исподтишка, и в его глазах сверкали веселые искры. Покачав головой, он опустил руку с мячом, что означало потерю одной подачи. Коснер презрительно сплюнул в траву.

Дылда Джонсон приготовился к новому броску. Коснер присел, замахаясь битой. Мяч вырвался из руки питчера, и бита со звонким ударом отправила его к первой базе.

На какой-то миг все замерло и остановилось — сиявшее солнце в небе, озеро и лодки на нем, трибуны, питчер с вытянутой рукой и Большой По, поймавший мяч широкой ладонью. Игроки застыли на поле, пригнувшись или вытянув шеи. И только Джимми бежал, взбивая ногами пыль, — единственный, кто двигался во всем этом мире.

Внезапно Большой По пригнулся вперед, повернулся ко второй базе и, взмахнув могучей рукой, метнул белый мяч в подбегавшего Джимми. Тот угодил Коснеру прямо в лоб.

Чары всеобщего оцепенения разрушились, и на этом игра закончилась.

Джимми Коснер лежал пластом на выгоревшей траве. Люди на трибунах негодовали. Повсюду раздавались проклятия и брань. Женщины кричали, топая ногами. Мужчины сбегали вниз по ступеням лестниц, а кое-где и по скамейкам. Команда чернокожих торопливо покидала поле. К Джимми спешили доктор и двое его помощников, а Большой По, хромя, пробирался сквозь толпу кричавших белых мужчин, расталкивая их, как деревянные кегли. Он просто хватал этих парней и отбрасывал в сторону, когда они пытались преградить ему дорогу.

— Идем, Дуглас! — строго сказала мама, сжимая мою ладонь. — Немедленно домой! У них же могут быть бритвы! О боже! Какой ужас!

Тем вечером, напуганные парой уличных драк, мои родители решили остаться дома и провести время за чтением журналов. Коттеджи вокруг нас сияли огнями, и все соседи тоже сидели по домам. Издалека, со стороны озера, доносилась музыка. Выскользнув через заднюю дверь в темноту летней ночи, я побежал по аллее к танцевально-

му павильону. Меня манили разноцветные огоньки электрических гирлянд и громкие звуки медленного блюза.

Однако, заглянув в окно, я не увидел за столиками ни одного белого. Никто из наших не пришел на их пирушку.

Там сидели только чернокожие. Женщины были одеты в ярко-красные и голубые сатиновые платья, ажурные чулки, перчатки и шляпы с перьями. Мужчины вырядились в свои лоснившиеся костюмы и лакированные туфли. Музыка рвалась из окон и уносилась к далеким берегам заснувшего озера. Она плескалась волнами, вскипая от смеха и стука каблучков.

Я увидел Дылду Джонсона, Каванота и Джиффи Миллера. Рядом танцевали с подругами Бурый Пит и хромавший Большой По. Они веселились и пели — швейцары и лодочники, горничные и газонокосильщики. Над павильоном сияли звезды, а я стоял в темноте и, прижимая нос к стеклу, смотрел на этот радостный, но чужой мне праздник.

Потом я отправился спать, так и не рассказав никому о том, что увидел.

Лежа в темноте, пропахшей спелыми яблоками, я слушал тихий плеск далеких волн и мелодию прекрасной песни. Перед тем как сон закрыл мои глаза, мне вспомнился последний куплет:

...Вы будете танцевать, мои туфли,  
Под звуки блюза «желе-ролл»;  
Завтра вечером, в Городе чернокожих,  
На балу веселых задавак!

### **И ГРЯНУЛ ГРОМ**

Объявление на стене расплылось, словно его затянуло пленкой скользящей теплой воды; Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы:

А/О САФАРИ ВО ВРЕМЕНИ  
ОРГАНИЗУЕМ САФАРИ  
В ЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО  
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ДОБЫЧУ  
МЫ ДОСТАВЛЯЕМ ВАС НА МЕСТО  
ВЫ УБИВАЕТЕ ЕЕ

В плотке Экельса скопилась теплая слизь; он судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на десять тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой.

— Вы гарантируете, что я вернусь из сафари живым?

— Мы ничего не гарантируем, — ответил служащий, — кроме динозавров. — Он повернулся. — Вот мистер Тревис, он будет вашим проводником в Прошлое. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет «не стрелять» — значит, не стрелять. Не выполните его распоряжения — по возвращении заплатите штраф, еще десять тысяч, кроме того, ждите неприятностей от правительства.

В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее, переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол — то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само Время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу и подожгли.

Одно прикосновение руки — и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экельс помнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы, розы усладят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повернет вспять и станет семенем, от смерти ринется к своему истоку, солнца будут всходить на западе и погружаться в зарево востока, луны будут убывать с другого конца, все и вся уподобится щыпленку, прячущемуся в яйцо, кроли-

кам, ныряющим в шляпу фокусника, все и вся познает новую смерть, смерть семени, зеленую смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки...

— Черт возьми, — выдохнул Экельс; на его худом лице мелькали блики света от Машины. — Настоящая Машина времени! — Он покачал головой. — Подумать только. Закончись выборы вчера иначе, и я сегодня, быть может, пришел бы сюда спастись бегством. Слава богу, что победил Кейт. В Соединенных Штатах будет хороший президент.

— Вот именно, — отозвался человек за конторкой. — Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не миновать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете — против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись, — шутя, конечно, а впрочем... Дескать, если Дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год. Да только не наше это дело — побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт — президент, и у вас теперь одна забота...

— ...убить моего динозавра, — закончил фразу Экельс.

— *Tyrannosaurus rex*. Громогласный Ящер, отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит.

Экельс вспыхнул от возмущения.

— Вы пытаетесь испугать меня?

— По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибло шесть руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком только может мечтать настоящий охотник. Путешествие на шестьдесят миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен! Вот ваш чек. Порвите его.



Мистер Экельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали.

— Ни пуха ни пера, — сказал человек за конторкой. — Мистер Тревис, займитесь клиентом.

Неся ружья в руках, они молча прошли через комнату к Машине, к серебристому металлу и рокошущему свету.

Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь; потом день — ночь, день — ночь, день. Неделя, месяц, год, десятилетие! 2055 год. 2019-й, 1999-й! 1957-й! Мимо! Машина ревела.

Они надели кислородные шлемы, проверили наушники.

Экельс качался на мягком сиденье — бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В Машине было еще четверо. Тревис — руководитель сафари, его помощник Лесперанс и два охотника — Биллингс и Кремер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо, точно вспышки молний, проносились годы.

— Это ружье может убить динозавра? — вымолвили губы Экельса.

— Если верно попадешь, — ответил в наушниках Тревис. — У некоторых динозавров два мозга: один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Слепили, тогда бейте в мозг.

Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнца летели вспять, за ними мчались десятки миллионов лун.

— Господи, — произнес Экельс. — Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом.

Машина замедлила ход, вой сменился ровным гулом. Машина остановилась.

Солнце остановилось на небе.

Мгла, окружавшая Машину, рассеялась, они были в древности, глубокой-глубокой древности, три охотника и два руководителя, у каждого на коленях ружье — голубой вороненый ствол.

— Христос еще не родился, — сказал Тревис, — Моисей не ходил еще на гору беседовать с Богом. Пирамиды лежат в земле, камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом. Александр, Цезарь, Наполеон, Гитлер — никого из них нет.

Они кивнули.

— Вот, — мистер Тревис указал пальцем, — вот джунгли за шестьдесят миллионов две тысячи пятьдесят пять лет до президента Кейта.

Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами.

— А это, — объяснил он, — Тропа, проложенная здесь для охотников Компанией. Она парит над землей на высоте шести дюймов. Не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение — изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь Тропы. Не сходите с нее. Повторяю: не сходите с нее. Ни при каких обстоятельствах! Если свалитесь с нее — штраф. И не стреляйте ничего без нашего разрешения.

— Почему? — спросил Экельс.

Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов.

— Мы не хотим изменять Будущее. Здесь, в Прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени — дело щекотливое. Сами того не зная, мы можем убить какое-

нибудь важное животное, пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида.

— Я что-то не понимаю, — сказал Экельс.

— Ну так слушайте, — продолжал Тревис. — Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет — верно?

— Да.

— Не будет потомков от потомков от всех ее потомков! Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион — миллиард мышей!

— Хорошо, они сложи, — согласился Экельс. — Ну и что?

— Что? — Тревис презрительно фыркнул. — А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит десяти мышей — умрет одна лиса. Десятью лисами меньше — подохнет от голода лев. Одним львом меньше — погибнут всевозможные насекомые и стервятники, сгинет неисчислимое множество форм жизни. И вот итог: через пятьдесят девять миллионов лет пещерный человек, один из дюжины, населяющей весь мир, гонимый голодом, выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой, раздавив одну мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, не просто один человек, нет! Это целый будущий народ. Из его чресел вышло бы десять сыновей. От них произошло бы сто — и так далее, и возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте одного человека — и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно что убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь — это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей Земли, в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека — смерть миллиарда его потомков, задушенных во чреве. Может быть, Рим не появится на своих семи холмах. Европа навсегда останет-

ся глухим лесом, только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь — и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь — и вы оставите на Вечности вмятину величиной с Великий Каньон. Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь Тропы. Никогда не сходите с нее!

— Понимаю, — сказал Экейлс. — Но тогда, выходит, опасно касаться даже травы?

— Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за шестьдесят миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Быть может, мы не в состоянии повлиять на Время. А если и в состоянии — то очень незначительно. Скажем, мертвая мышь ведет к небольшому отклонению в мире насекомых, дальше — к угнетению вида, еще дальше — к неурожаю, депрессии, голоду, наконец, к изменениям социальным. А может быть, итог будет совсем незаметным — легкое дуновение, шепот, волосок, пылинка в воздухе, такое, что сразу не увидишь. Кто знает? Кто возьмется предугадать? Мы не знаем — только гадаем. И покуда нам не известно совершенно точно, что наши вылазки во Времени для истории — гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта Машина, эта Тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, — все обеззаражено. И назначение этих кислородных шлемов — помещать нам внести в древний воздух наши бактерии.

— Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?

— Они помечены красной краской, — ответил Тревис. — Сегодня, перед нашей отправкой, мы послали сюда на Машине Лесперанса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными.

— Изучал их?

— Вот именно, — отозвался Лесперанс. — Я прослеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут дол-

го. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются. Редко... Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. Когда экспедиция отбывает в Прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минуты за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только тех особей, у которых нет будущего, которым и без того уже не спариться. Видите, насколько мы осторожны?

— Но если вы утром побывали здесь, — взволнованно заговорил Экельс, — то должны были встретить нас, нашу экспедицию! Как она прошла? Успешно? Все остались живы?

Тревис и Лесперанс переглянулись.

— Это был бы парадокс, — сказал Лесперанс. — Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя, Время не допускает. Если возникает такая опасность, Время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как Машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в Будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы — вернее, вы, мистер Экельс, — обратно живые.

Экельс бледно улыбнулся.

— Ну, все, — отрезал Тревис. — Встали!

Пора было выходить из Машины.

Джунгли были высокие, и джунгли были широкие, и джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе, — это летели, будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный свод, се-

рыми крыльями, птеродактили. Экельс, стоя на узкой Тропе, шутя прицелился.

— Эй, бросьте! — скомандовал Тревис. — Даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит...

Экельс покраснел.

— Где же наш Tuganossaurus rex?

Лесперанс взглянул на свои часы.

— На подходе. Мы встретимся ровно через шестьдесят секунд. И ради бога — не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стрелять. И не сходите с Тропы. Не сходите с Тропы!

Они шли навстречу утреннему ветерку.

— Странно, — пробормотал Экельс. — Перед нами — шестьдесят миллионов лет. Выборы прошли. Кейт стал президентом. Все празднуют победу. А мы — здесь, все эти миллионы лет словно ветром сдуло, их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте.

— Приготовиться! — скомандовал Тревис. — Первый выстрел ваш, Экельс: Биллингс — второй номер. За ним — Кремер.

— Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но, видит бог, это совсем другое дело, — произнес Экельс. — Я дрожу, как мальчишка.

— Тихо, — сказал Тревис.

Все остановились.

Тревис поднял руку.

— Впереди, — прошептал он. — В тумане. Он там. Встречайте Его Королевское Величество.

Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотанья, вздохов.

Вдруг все смолкло, точно кто-то затворил дверь.

Тишина.

Раскат грома.

Из мглы ярдах в ста впереди появился Tuganossaurus rex.

— Силы небесные, — пролепетал Экельс.

— Тсс!

Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах.

Оно на тридцать футов возвышалось над лесом — великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги — могучие поршни, тысяча фунтов белой кости, оплетенные тугими канатами мышц под блестящей морщинистой кожей, подобной кольчуге грозного воина. Каждое бедро — тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали две тонких руки, руки с пальцами, которые могли подобрать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся змеяная шея легко вздымала к небу тысячекілограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала частоккол зубов-кинжалов. Вращались глаза — страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы шестидюймовой глубины. Оно бежало скользящим балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для десятитонной махины. Оно настороженно вышло на залитую солнцем прогалину и пощупало воздух своими красивыми чешуйчатыми руками.

— Господи! — Губы Экельса дрожали. — Да оно, если вытянется, луну достать может.

— Тсс! — сердито зашипел Тревис. — Он еще не заметил нас.

— Его нельзя убить. — Экельс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. — Идиоты, и что нас сюда принесло... Это же невозможно.

— Молчать! — рявкнул Тревис.

— Кошмар...

— Кругом! — скомандовал Тревис. — Спокойно возвращайтесь в Машину. Половина суммы будет вам возвращена.

— Я не ждал, что оно окажется таким огромным, — сказал Экельс. — Одним словом, просчитался. Нет, я участвовать не буду.

— Оно заметило нас!

— Вон красное пятно на груди!

Громогласный Ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысяча зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глухо дохнуло. Над поляной повис запах сырого мяса.

— Помогите мне уйти, — сказал Экельс. — Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари, никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам. Признаюсь. Орешек мне не по зубам.

— Не бегите, — сказал Лесперанс. — Повернитесь кругом. Спрячьтесь в Машине.

— Да. — Казалось, Экельс окаменел. Он поглядел на свои ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия.

— Экельс!

Он сделал шаг, другой, зажмурившись, волоча ноги.

— Не в ту сторону!

Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим воем ринулось вперед. Сто ярдов оно покрыло за четыре секунды. Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело, его зубы сверкали на солнце.

Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю Тропы, сошел с нее и, сам того не сознавая, направился в джунгли; ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху, ноги влекли его прочь, он чувствовал се-



бя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной.

Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом реве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира — погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть, в ревшую глотку! Плыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам.

Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул *Tyrannosaurus rex*.

Рыча, он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую Тропу. Люди бросились назад, отступая. Десять тонн холодного мяса, как утес, грохнулись оземь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк с жидкостью, и зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным.

Гром смолк.

В джунглях воцарилась тишина. После обвала — зеленый покой. После кошмара — утро.

Биллингс и Кремер сидели на Тропе; им было плохо. Тревис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья и чертыхаясь.

Экельс, весь дрожа, лежал ничком в Машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на Тропу и добрался до Машины.

Подошел Тревис, глянул на Экельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на Тропе.

— Оботритесь.

Они стерли со шлемов кровь. И тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из

недр которой доносилось бульканье, вздохи — это умирали клетки, органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам, все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка — все клапаны открыты или плотно закрыты. Затрещали кости: вес мышц, ничем не управляемый — мертвый вес, — раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Колыхаясь, мясо приняло покойное положение.

Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполтинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель.

— Так. — Лесперанс поглядел на часы. — Минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. — Он обратился к двум охотникам: — Фотография трофея вам нужна?

— Что?

— Мы не можем увозить добычу в Будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее.

Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой.

Они послушно дали отвести себя в Машину. Устало опустились на сиденья. Тупо оглянулись на поверженное чудовище — немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицеящеры.

Внезапный шум заставил охотников оцепенеть: на полу Машины, дрожа, сидел Экельс.

— Простите меня, — сказал он.

— Встаньте! — рявкнул Тревис.

Экельс встал.

— Ступайте на Тропу, — скомандовал Тревис. Он под-

нял ружье. — Вы не вернетесь с Машиной. Вы останетесь здесь!

Лесперанс перехватил руку Тревиса:

— Постой...

— А ты не суйся! — Тревис стряхнул его руку. — Из-за этого подонка мы все чуть не погибли. Но главное даже не это. Нет, черт возьми, ты погляди на его башмаки! Гляди! Он соскочил с Тропы. Понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилепят! Десятки тысяч долларов! Мы гарантируем, что никто не сойдет с Тропы. Он сошел. Идиот чертов! Я обязан доложить правительству. И нас могут лишить концессии на эти сафари. А какие последствия будут для Времени, для Истории?!

— Успокойся, он набрал на подошвы немного грязи — только и всего.

— Откуда мы можем знать? — крикнул Тревис. — Мы ничего не знаем! Это же все сплошная загадка! Шагом марш, Экельс!

Экельс полез в карман.

— Я заплачу сколько угодно. Сто тысяч долларов!

Тревис покосился на чековую книжку и плюнул.

— Ступайте! Чудовище лежит возле Тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам.

— Это несправедливо!

— Зверь мертв, ублюдок несчастный. Пули! Пули не должны оставаться здесь, в Прошлом. Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их!

Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Экельс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, глыбе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по Тропе.

Пять минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к Машине; его руки были по локоть красны от крови. Он протянул вперед обе ладони. На них блестели сталь-

ные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал, недвижимый.

— Напрасно ты его заставил это делать, — сказал Лесперанс.

— Напрасно! Об этом рано судить. — Тревис толкнул неподвижное тело. — Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей. А теперь, — он сделал вялый жест рукой, — включай. Двигаемся домой.

1492. 1776. 1812.

Они умыли лицо и руки. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экельс пришел в себя, но сидел молча. Тревис добрых десять минут в упор смотрел на него.

— Не смотрите на меня, — вырвалось у Экельса. — Я ничего не сделал.

— Кто знает...

— Я только соскочил с Тропы и вымазал башмаки глиной. Чего вы от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?

— Это не исключено. Предупреждаю вас, Экельс, может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено.

— Я не виноват. Я ничего не сделал!

1999. 2000. 2055.

Машина остановилась.

— Выходите, — скомандовал Тревис.

Комната была такая же, как прежде. Хотя нет, не совсем такая же... Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек, и конторка не та же.

Тревис быстро обвел помещение взглядом.

— Все в порядке? — буркнул он.

— Конечно. С благополучным возвращением!

Но настороженность не покидала Тревиса.

Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придиричиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна.

— О'кей, Экельс, выходите. И больше никогда не попадайтесь мне на глаза.

Экельс будто окаменел.

— Ну? — поторопил его Тревис. — Что вы там такое увидели?

Экельс медленно вдыхал воздух — с воздухом что-то произошло, какое-то химическое изменение, настолько незначительное, неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Экельсу о перемене. И краски — белая, серая, синяя, оранжевая на стенах, мебели, в небе за окном — они... они... да: что с ними случилось? А тут еще это ощущение. По коже бегали мурашки. Руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул в свисток, который слышат только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека (который был не тем человеком), у перегородки (которая была не той перегородкой) — целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир теперь, что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, — словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром...

Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене, объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда.

Что-то в нем было не так.

А/О СОФАРИ ВОВРЕМЕНИ  
АРГАНИЗУЕМ СОФАРИ  
ВЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО  
ВЫ ВЫБЕРАЕТЕ ДАБЫЧУ  
МЫ ДАСТАВЛЯЕМ ВАС НАМЕСТО  
ВЫ УБЕВАЕТЕ ЕЕ

Экельс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука подняла липкий ком.

— Нет, не может быть! Из-за такой малости... Нет!

На комке было отливающее зеленью, золотом и чернью пятно — бабочка, очень красивая... мертвая.

— Из-за такой малости! Из-за бабочки! — закричал Экельс.

Она упала на пол — изяшное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалились маленькие костяшки домино... большие костяшки... огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих Время. Мысли Экельса смешались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка — и такие последствия? Невозможно!

Его лицо похолодело. Непослушными губами он вымолвил:

— Кто... кто вчера победил на выборах?

Человек за конторкой хихикнул.

— Шутите? Будто не знаете! Дойчер, разумеется! Кто же еще? Уж не этот ли хлюпик Кейт? Теперь у власти железный человек! — Служащий опешил. — Что это с вами?

Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке.

— Неужели нельзя, — молил он весь мир, себя, служащего, Машину, — вернуть ее туда, оживить ее? Неужели нельзя начать все сначала? Может быть...

Он лежал неподвижно. Лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Тревиса, слышал, как Тревис поднимает ружье и нажимает курок.

И грянул гром.

## **ОГРОМНЫЙ-ОГРОМНЫЙ МИР**

### **ГДЕ-ТО ТАМ**

---

Это был такой день, когда невозможно улежать в постели, когда необходимо раздернуть шторы и распахнуть настежь все окна. День, в который сердце словно вырастает в груди от теплого горного ветра.

Кора села на постели, чувствуя себя девочкой в старом измятом платье.

Было еще рано, солнце только показалось из-за горизонта, но птицы уже затеяли переполох в сосновых ветвях, и десять биллионов красных муравьев уже деловито сновали по бронзовой куче муравейника у дверей домика. Муж Кору, Том, был еще погружен в спячку в белоснежной берлоге постели. «И как это стук моего сердца его не разбудил?» — удивилась Кора.

И тут же вспомнила, почему сегодня — особый день.  
«Сегодня придет Бенджи!»

Она представила себе, как он, еще далеко-далеко, вприпрыжку несется сюда по зеленым лугам, переходит вброд ручьи, по которым весна, перемешав зимний ил и чистую воду, пробивается к морю. Она видела, как его большие башмаки пылят по дорожной щебенке. Она видела его поднятую к солнцу веснушчатую физиономию, видела его долговязую нескладную фигуру, беззаботно размахивающую руками на бегу.

«Ну, скорее же, Бенджи!» — мысленно взмолилась она и распахнула окно. Ветер взъерошил ей волосы, и они серебристой паутинкой упали на глаза. Сейчас Бенджи уже на Железном мосту, а сейчас уже на Верхнем пастбище, а сейчас он поднимается по Речной тропе, бежит через луг Челси...

Бенджи уже там, в горах Миссури. Кора прикрыла глаза. В этих чужих горах, через которые они с Томом дважды в год ездили в город в фургоне, запряженном кобылой; в горах, от которых она тридцать лет назад хотела сбежать навсегда. Тогда она сказала Тому: «Томми, давай лучше будем ехать все прямо и прямо, пока не увидим моря». Но он посмотрел на нее так, словно она его ударила, и лишь молча повернул фургон домой и всю дорогу назад только с кобылой и разговаривал. Есть ли еще люди, живущие на побережье, где каждый день то громче, то тише шумит прилив, Кора этого не знала. И есть ли еще горо-

да, где каждый вечер фейерверками розового льда и зеленой мяты вспыхивает неон, она тоже уже не знала. Ее горизонт — север, юг, восток и запад — замыкался на этой долине — и ничего больше, за всю жизнь.

«Но сегодня, — подумала она, — Бенджи придет из того мира, придет оттуда; он его видел, он ощущал его запахи, и он мне о нем расскажет. И еще он умеет писать. — Она посмотрела на свои руки. — Он будет здесь целый месяц и всему меня научит. И тогда я смогу написать туда, в большой мир, чтобы заманить его в почтовый ящик, который я сегодня же заставлю Тома сделать».

— Том, подымайся! Слышишь?

И она стала расталкивать храпящий сугроб.

В девять, когда кузнечики устроили на лугу чехарду в синем, пахнущем хвоей воздухе, к небу поплыл дымок.

Кора, напевая, начищала горшки и сковородки, любуясь своим отражением на их медных боках, — более свежим и загорелым, чем ее морщинистое лицо. Том ворчал сонным медведем над маисовой кашей, и песенка жены порхала вокруг него, словно птичка, бьющаяся в клетке.

— Кто-то тут очень счастлив, — раздался голос.

Кора превратилась в статую. Краем глаза она заметила длинную тень, упавшую на пол.

— Миссис Браббам? — спросила Кора, не отрывая глаз от тряпки.

— Она самая! — И перед ней предстала леди Вдова, отряхивающая теплую пыль с пестрого бумажного платья пачкой писем, зажатых в цыплячьей лапке. — С добрым утром! Я ходила забирать почту. Дядя Джордж из Спрингфилда так меня порадовал! — Миссис Браббам вонзила в Кору пристальный взгляд, словно серебряную булавку. — А когда вы в последний раз получали письма от своего дяди, миссис?

— Все мои дяди уже умерли.

Это сказала не Кора, а ее язык, который солгал. Но



она знала, что, когда придет время, только ему и придется отвечать за все его грехи.

— Очень приятно получать письма, знаете ли. — Миссис Браббам в упоении помахала пачкой конвертов.

Вот всегда ей надо повернуть нож в ране. Сколько уже лет, подумала Кора, все это длится: миссис Браббам, ехидно поглядывая, орет на весь мир, что получает письма, намекая этим на то, что никто, кроме нее, на многие мили вокруг не умеет читать. Кора закусила губу и чуть не уронила горшок, но вовремя его подхватила и улыбнулась:

— Совсем забыла вам сказать: приезжает мой племянник Бенджи. У его родителей денежные затруднения, и он проживет часть лета у меня. Он будет учить меня писать. А Том уже сделал для нас почтовый ящик. Правда, Том?

Миссис Браббам прижала свои письма к груди:

— Что ж, чего уж лучше! Повезло вам, леди! — И дверной проем мгновенно опустел. Миссис Браббам и след простыл.

Кора вышла за ней. И вдруг увидела что-то похожее на пугало, на яркий солнечный луч, на пятнистую форель, прыгающую вверх по течению через плотину высотой в ярд. Она увидела, как от взмаха длинной руки во все стороны из кроны дикой яблони порхнули перепуганные птицы.

Кора рванулась вперед по тропинке, ведущей к дому, и весь мир рванулся к ней навстречу.

— Бенджи!

Они побежали навстречу друг другу, как партнеры в субботнем танце, обнялись и закружились в вальсе, перебивая друг друга.

— Бенджи! — Кора бросила быстрый взгляд на его ухо. Да, за ним был заткнут желтый карандаш. — Бенджи! Добро пожаловать!

— Ой, миссис! — Он отстранил ее от себя. — Чего ж вы плачете-то?

— Это мой племянник, — сказала Кора.

Том бросил утрюмый взгляд поверх ложки с кашей.

— Наше вам, — улыбнулся Бенджи.

Кора крепко держала его за руку, чтобы он никуда не исчез. У нее кружилась голова; ей одновременно хотелось присесть, вскочить, бежать куда-то, но она оставалась на месте, позволив лишь сердцу громко колотиться в груди и пытаясь спрятать счастливую улыбку, в которой ее губы сами расплывались. В одну секунду все дальние страны оказались ближе; рядом с ней стоял долговязый мальчик, освещающий комнату своим присутствием, словно факел из сосновой ветви; мальчик, который своими глазами видел все эти города, моря и другие места, когда у его родителей дела шли получше.

— Бенджи, сейчас я принесу тебе завтрак: бобы, маис, бекон, кашу, суп и горошек.

— Чего суетишься! — буркнул Том.

— Помолчи, Том. Мальчик голоден как зверь после дальней дороги. — Она повернулась к племяннику: — Бенджи, расскажи мне о себе все. Ты правда ходил в школу?

Бенджи скинул ботинки и пальцем ноги написал в золе очага одно слово.

— И что это значит? — исподлобья взглянул Том.

— Это значит, — ответил Бенджи, — кэ-и-о-и-рэ-и-а — Кора.

— Это мое имя, ну посмотри же, Том! Бенджи, детка, как это здорово, что ты умеешь писать! Как-то здесь у нас жил мой двоюродный брат, который утверждал, что знает грамоту вдоль и поперек. Ну, мы его всячески ублажали, лишь бы он писал для нас письма, вот только ответов мы никогда не получали. Лишь потом выяснилось, что его грамоты хватало только для того, чтобы все письма шли аккуратно в корзину для невыявленных адресатов. Боже, Том выдернул из забора жердину и давай гонять его

по дороге, да так, что, наверное, согнал с него все жиры, которые он тут нагулял за два месяца.

Все громко расхохотались.

— Я хорошо умею писать, — серьезно сказал парнишка.

— Это все, что нам хотелось знать. — И она подвинула ему кусок пирога с ягодами: — Ешь.

В половине одиннадцатого, когда солнце поднялось еще выше, вдоволь нагледевшись на то, как Бенджи с жадностью очищает кучу тарелок со всякой снедью, Том с грохотом встал и, нахлобучив шляпу, вышел.

— Я ухожу. И, ей-богу, свалю половину леса! — в ярости бросил он на прощание.

Но его никто не услышал. Кора замерла, не дыша, впившись взглядом в карандаш, торчавший из-за покрытого нежным пухом, словно персик, уха Бенджи. Она созерцала, как он лениво, небрежно и равнодушно берет его в руку. «Не надо так небрежно! — мысленно вскрикнула она. — Держи его, словно яйцо малиновки!» Ей хотелось дотронуться до карандаша — она не прикасалась к карандашам уже много лет, потому что сначала они заставляли ее почувствовать себя глупой, затем приводили в бесильную ярость, а потом вызывали лишь чувство печали. Она никак не могла заставить свои руки спокойно лежать на коленях.

— А бумага есть? — спросил Бенджи.

— Ой, батюшки, а я и не подумала! — выдохнула она, и в комнате сразу помрачнело. — И что ж теперь делать?

— Вам повезло, у меня есть с собой. — Он достал из рюкзака блокнот. — Так куда вы хотите написать?

Она беспомощно улыбнулась.

— Я хотела написать в... в... — И, сникнув, оглянулась, словно пытаясь взглядом найти хоть кого-нибудь далеко-далеко отсюда.

Она смотрела на горы, залитые солнечным светом. Она слышала шум набегающих на желтый песчаный бе-

рег волн, в тысяче миль отсюда. Над полем возвращалась с севера стая птиц, пролетевших над множеством городов, безразличных к тому, что было так необходимо ей в этот момент.

— Бенджи, я как-то об этом не думала. Я не знаю ни одного человека там, в большом мире. Ни одного, кроме моей тетки. Но если я ей напишу, я только прибавлю ей хлопот, заставив ее искать кого-нибудь, кто ей его прочтет. А она носит свою гордость, словно корсет из китового уса. Да она лет десять будет переживать из-за письма, лежащего на каминной полке. Нет, ей я писать не буду. — Кора оторвала взгляд от гор и невидимого океана. — Но тогда — кому? Куда? Да кому угодно. Мне просто хотелось бы получить несколько писем.

— Держите. — Бенджи выудил из кармана пальто дешевый журнал. На его красной обложке неодетая красавица убегала от зеленого чудовища. — Здесь навалом адресов на любой вкус.

Они вместе пролистали его весь от корки до корки.

— Это что? — спросила Кора, ткнув пальцем в одно из объявлений.

— «ВЫСЫЛАЕМ БЕСПЛАТНО ПРОСПЕКТЫ «ПАУЭР ПЛЮС». Пришлите нам заказ с обратным адресом и фамилией, в Департамент М-3, — прочел Бенджи, — и вы получите Карту здоровья бесплатно».

— А что здесь?

— «ДЕТЕКТИВЫ ПРОВЕДУТ ЛЮБЫЕ ТАЙНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, СПИСОК ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНО. Заявки посылайте по адресу: Главпочтамт, для Школы детективов...»

— Все бесплатно. Отлично, Бенджи.

Она глазами показала ему на карандаш.

Мальчик пододвинул стул поближе к столу. И Кора, вновь замерев, очарованно следила, как он примеривается взять карандаш поудобнее. Вот он легонько прикусил кончик языка. Вот он прищурился. Она перестала дышать

и подалась вперед. И сама тоже прищурилась и закусила кончик языка.

А теперь, теперь он поднял карандаш, лизнул его и опустил на бумагу.

«Вот оно!» — стукнуло сердце Кора.

Первые слова. Они медленно стали появляться на девственной белизне листа. «Дорогая компания «Пауэр Плюс», господа...» — писал он.

Утро упорхнуло вместе с ветром, утро проплыло по речушке, утро улетело с компанией ворон, и на крыше дома разлегся солнечный полдень. За сияющим ослепительным светом прямоугольником дверей послышались шаркающие шаги, но Кора даже не обернулась. Том был здесь, но его не было; не было вообще ничего, кроме стопки исписанных листков и шепота карандаша в руке Бенджи. Она водила носом за каждым кружком «о», за каждой «л», за каждым миниатюрным горным хребтом «м»; каждую крохотную точку она отмечала, клюнув носом, словно цыпленок; каждое перекрестие «х» заставляло ее облизывать верхнюю губу.

— День на дворе, и я жрать хочу! — сказал Том у нее над ухом.

Но Кора превратилась в статую, вперившую взор в карандаш, словно человек, в трансе следящий за невероятно смелой попыткой улитки пересечь плоский камень с утра пораньше.

— Время обедать! — рявкнул над ухом Том.

Кора словно проснулась:

— Как? Мы же всего минуту назад писали в эту.. Филладельфийскую нумизматическую компанию — я правильно сказала, Бенджи? — И Кора расцвела улыбкой, даже слишком обольстительной для ее пятидесяти пяти лет. — Пока ты ждешь харчей, Том, может, сколотишь почтовый ящик? Только побольше, чем у миссис Брамбам, а?

— Сгодится и коробка для обуви.

— Том Джиббс! — Она порывисто встала. В ее улыбке явно читалось: «Кто не работает, тот не ест». — Я хочу очень большой и красивый ящик. Белый-белый, и чтобы Бенджи написал на нем большими черными буквами нашу фамилию. Я не желаю доставать мое первое настоящее письмо из картонки для обуви.

И все было сделано, как она хотела.

Бенджи, довершая великолепие нового почтового ящика, тщательно вывел: «МИССИС КОРА ДЖИББС». Том, наблюдавший за ним, пробурчал:

— И что здесь написано?

— «Мистер Том Джиббс», — спокойно ответил Бенджи, старательно подмалевывая буквы.

Том моргнул, полюбовался с минуту, а потом заявил:

— Я все еще хочу жрать! Разведет хоть кто-нибудь огонь?

Марок в доме не было. Кора сразу осунулась. Тому пришлось запрягать кобылу и ехать в Грин-Форк, чтобы купить несколько красных, зеленых и обязательно десять розовых марок с нарисованным на них важным джентльменом. Но Кора поехала вместе с ним, чтобы быть уверенной, что он не выбросит эти письма в первую попавшуюся канаву. Когда они вернулись домой, первое, что она сделала, — это с пылающим лицом заглянула в свеженький почтовый ящик.

— Ты что, спятила? — фыркнул Том.

— Проверить не вредно.

В этот вечер она еще шесть раз ходила к ящику. На седьмой из него выпорхнул птенец вальдшнепа. Том, стоя в дверях, с хохотом колотил себя по коленям. Кора тоже рассмеялась и загнала его в дом.

А потом она стояла у окна, любуясь почтовым ящиком, прибитым прямо напротив ящика миссис Браббам.

Десять лет назад леди Вдова воткнула свой прямо у Кору перед носом, несмотря на то что могла повесить его у своих входных дверей. Но это зато давало возможность миссис Браббам каждое утро проплывать, словно цветок по реке, вниз по дорожке и опустошать свой ящик, намеренно громко кашляя и шурша письмами, временами поглядывая, смотрит ли на нее Кора. А Кора всегда смотрела. Но когда ее на этом ловили, она тут же притворялась, что поливает цветы из пустой лейки или ищет грибы поздней осенью.

На следующее утро Кора поднялась задолго до того, как солнце согрело клубничные грядки, а ветерок успел растрепать кудри сосен. Когда Кора вернулась от почтового ящика, Бенджи уже проснулся.

— Слишком рано, — сказал он. — Почтальон еще не проезжал.

— Проезжал?

— В такую даль они ездят на машинах.

— О! — Кора опустила на стул.

— Тетя Кора, вам плохо?

— Нет-нет. — Она прищурилась. — Просто я не могу вспомнить, видела ли за последние двадцать лет тут почтовый фургон. До меня только сейчас дошло: за все это время я не видела здесь ни одного почтальона.

— Может, он проходил, когда вас не было?

— Я встаю с утренним туманом и ложусь спать с шлепками. Я никогда раньше об этом не задумывалась, но... — Она обернулась и бросила в окно взгляд на дом миссис Браббам. — Бенджи, у меня появилось кое-какое подозрение.

Она встала и целенаправленно зашагала напрямиком к почтовому ящику Вдовы. Бенджи увязался за ней. Кругом в полях и горах царил тишина. Было так рано, что хотелось говорить только шепотом.

— Тетя Кора, не нарушайте закон.

— Тсс! Вот они! — Она запустила руку в ящик, словно в нору суслика. — Вот. И еще. — Она сунула ему несколько писем.

— Но они же уже вскрыты! Это вы их распечатали, тетя Кора?

— Детка, я никогда в жизни к ним не прикасалась, — сказала она с каменным лицом. — Первый раз в жизни я позволила своей тени коснуться этого ящика.

Бенджи рассмотрел письма и, покачав головой, прошептал:

— Тетя Кора, да этим письмам уже лет десять!

— Что?!

— Тетя Кора, эта леди уже годами получает одно и то же. К тому же они адресованы вовсе не миссис Браббам, а какой-то Ортега из Грин-Форк.

— А, Ортега, мексиканка из бакалейной лавки! Все эти годы... — прошептала Кора, глядя на потертые конверты. — Все эти годы...

Они обернулись к дому миссис Браббам, мирно спящему в прохладе раннего утра.

— Так эта ловкачка затеяла всю эту возню лишь для того, чтобы умалить меня. Как она раздувалась от гордости, несясь на всех парусах читать свои письма!

Дверь миссис Браббам отворилась.

— Валите их назад, тетя Кора!

Кора с быстротой молнии захлопнула ящик.

Миссис Браббам медленно спускалась по дорожке, там и сям останавливаясь, чтобы полюбоваться цветочками.

— С добрым утром! — приветливо сказала она.

— Миссис Браббам, это мой племянник Бенджи.

— Очень приятно. — И миссис Браббам, неестественно развернувшись, с демонстративной тщательностью опорожнила ящик, постучав мучнисто-белой рукой по дну, чтобы ни одно письмо не застряло, прикрывая, однако, свои манипуляции спиной. Затем она всплеснула



руками и повернулась к ним, задорно подмигнув: — Замечательно! Вы только поглядите, что мне пишет мой дорогой дядюшка Джордж!

— Ну да, куда как замечательно! — сказала Кора.

Затем потянулись знойные летние дни ожидания. Оранжевые и голубые бабочки порхали в воздухе, цветы около дома кивали головками, и карандаш Бенджи дни напролет сухо и деловито шуршал по бумаге. Рот парнишки всегда был набит чем-то вкусным, а Том мрачно бил копытами, обнаруживая, что его обед или ужин либо опаздывал, либо уже остыл, либо и то и другое вместе, а то и вообще не готовился.

Бенджи, нежно держа карандаш худыми пальцами, любовно выписывал каждую гласную и согласную, а Кора не отходила от него ни на шаг, составляя их в слова, помогая себе языком и наслаждаясь каждой секундой созерцания того, как они появляются на бумаге. Но писать сама она не училась.

— Смотреть, как ты пишешь, так приятно, Бенджи! Я возьмусь за учебу завтра. А пока начни следующее письмо.

Они уже написали по объявлениям об астме, банджах и магии, вступили в «розенкрейцеры» или, по крайней мере, выслали запрос на «Книгу за семью печатями», хранившую сокровенное, давно позабытое Знание и открывавшую тайны сокрытых древних храмов и разрушенных святилищ. И еще они заказали пакетики с семенами гигантских подсолнухов и справочник «Все об изжоге». Ясным солнечным утром они трудились над 127-й страницей журнала «Рышущий убийца», как вдруг...

— ~~Слышали?~~ — встрепелась Кора.

Они прислушались.

— Машина, — сказал Бенджи.

Над голубыми горами, сквозь нагретые солнцем кроны высоких зеленых сосен, вдоль по пыльной дороге, ми-

ля за милей, приближался шум мотора машины, подъезжающей все ближе и ближе, пока под конец не превратился в рев. Кора бросилась опрометью к дверям и, пока она бежала, успела заметить, услышать и почувствовать так много всего. Но в первую очередь она уголком глаза отметила миссис Браббам, величаво плывущую по дорожке с другой стороны. Увидев светло-зеленый фургон, несущийся на полной скорости, миссис Браббам застыла на месте; а затем раздалась трель серебряного свистка, и представительный старик, выглянув из кабины, спросил подбежавшую Кору:

— Вы миссис Джиббс?

— Да! — звонко крикнула она.

— Ваша почта, сударыня, — сказал он, достав стопку конвертов.

Кора протянула было руку, но, вспомнив, отдернула ее.

— Извините. — Она замялась. — А не будете ли вы столь любезны положить их... Ну пожалуйста, положите их в мой почтовый ящик сами.

Старик сощурился, потом искоса взглянул на ящик, потом снова на нее и рассмеялся:

— Да чего уж там! — и сделал именно так, как надо, положив письма в ящик.

Миссис Браббам ошалевшими глазами следила за ними, так и не двигаясь с места.

— А у вас есть почта для миссис Браббам? — спросила Кора.

— Нет, это все. — И машина запыхтела по дороге дальше.

Миссис Браббам стояла, прижав руки к груди. Затем развернулась и, так и не заглянув в свой ящик, быстро скользнула по тропинке вверх и скрылась из глаз.

Кора дважды обошла вокруг ящика, оттягивая момент, когда она его откроет.

— Бенджи, вот я и получила письма!

Она осторожно залезла рукой вовнутрь, достала их и мягко вложила в руку племянника.

— Почитай их мне. А что, на конверте указано мое имя, да?

— Да, мэм. — Он с превеликой осторожностью распечатал одно из них и громко начал читать, нарушая покой летнего утра: — «Уважаемая миссис Джиббс...» — Он остановился, чтобы дать ей насладиться этим моментом: беззвучно шевеля губами, с полузакрытыми глазами она повторяла прочитанные слова. Бенджи повторил их с актерскими интонациями и продолжил: — «...Высылаем вам наш рекламный проспект Общеконтинентального заочного университета, содержащий ответы на все ваши вопросы, каким образом вы сможете пройти наш заочный курс инженеров-сантехников...»

— Бенджи, Бенджи! Я так счастлива! Начни еще раз сначала!

— «Уважаемая миссис Джиббс...»

С этого дня почтовый ящик больше не пустовал. В него устремился весь мир; в нем было тесно от вестей из таких мест, где Кора никогда не бывала и о которых даже никогда не слышала. В нем толпились дорожные расписания, рецепты пирогов со специями и даже было письмо от одного престарелого джентльмена, мечтавшего о «леди пятидесяти лет, с мягким характером, обеспеченной, с матримониальными планами». В ответ Бенджи написал: «Я уже замужем, но все равно благодарю вас за проявленную чуткость. Искренне ваша — Кора Джиббс».

А письма из-за гор продолжали прибывать: нумизматические каталоги, романы в дешевых переплетах, магические гороскопы, рецепты от артрита, образчики порошка от блох. Мир заполнил доверху ее ящик для писем, и она больше не была отрезана от других людей. Если кто-нибудь писал ей, например, о тайнах исчезнувших древних майя, на следующей неделе он получал от нее три письма, и формальная переписка перерастала в те-

плую дружбу. Однажды после целого дня писанины Бенджи даже пришлось отмачивать руку в растворе английской соли.

К концу третьей недели миссис Браббам вообще перестала навещать к своему ящику. Она даже не выходила подышать воздухом на крыльцо, так как Кора вечно торчала на дороге, кланяясь и улыбаясь почтальону.

В этот год лето слишком быстро подошло к концу, а точнее, его главная часть: визит Бенджи. Вот на столе лежат завернутые в его красный носовой платок сэндвичи с луком, украшенные веточками мяты, чтобы отбить запах; вот на полу сверкают его начищенные башмаки; и вот на стуле, держа в руках карандаш, некогда такой длинный и желтый, а теперь коротенький и изжеванный, сидит сам Бенджи. Кора взяла его за подбородок и заглянула ему в лицо, словно разглядывала летнюю тыкву незнакомого вида.

— Бенджи, я должна извиниться перед тобой. Не помню, чтобы за все это время я хоть раз взглянула тебе в лицо. Мне кажется, что я изучила каждую складку, каждый ноготь, каждую бородавку на твоих руках, но твое лицо я могу и не узнать в толпе.

— На такую физиономию и смотреть-то нечего, — застенчиво ответил он.

— Но эту руку я узнаю из миллиона, — продолжала Кора. — Если бы мне в темной комнате пожали руку тысячи людей, я все равно безошибочно узнала бы твою и сказала бы: «Это ты, Бенджи». — Она тихонько рассмеялась и подошла к дверям. — Я вот все думаю, — она посмотрела на соседний дом, — я не видела миссис Браббам уже несколько недель. Сидит дома и носа не кажет. А виновата я. Нечестно я поступила с ней, даже хуже, чем она со мной. Я выбила у нее землю из-под ног. Это было подло и злобно, и мне теперь стыдно. — Она снова взглянула на запертую дверь соседки. — Бенджи, можешь напоследок оказать мне еще одну услугу?

— Да, мэм.

— Напиши письмо для миссис Браббам.

— Мэм?

— Да, напиши одной из этих компаний по распространению порошков или рецептов, чего угодно, и подпишись именем миссис Браббам.

— Хорошо, — ответил Бенджи.

— И тогда через неделю или через месяц почтальон снова засвистит у наших ворот, и я попрошу его подняться к ней и лично вручить ей письмо. А я уж постараюсь встать так, чтобы она видела, что я ее вижу. И я помашу ей своими письмами, а она мне помашет своими, и мы улыбнемся друг другу.

— Да, мэм, — сказал Бенджи.

Он написал три письма, тщательно их заклеил и положил в карман.

— Я пошлю их из Сент-Луиса.

— Это было чудесное лето, — сказала она.

— Да, конечно.

— Вот только, Бенджи, писать я так и не научилась. Я была вся в письмах и заставляла тебя писать до поздней ночи, и мы оба были так заняты, посылая купоны и получая образчики. Батюшки, да на учебу времени просто не было! Но это значит..

Он знал, что это значит, и пожал ей руку. Они оставались в дверях.

— Спасибо, — сказала она, — за все, за все.

И он убежал. Он добежал до загородки луга, легко ее перепрыгнул и, пока не скрылся из виду, все бежал и бежал, размахивая письмами; бежал туда, в огромный мир, где-то там, за горами.

После ухода Бенджи письма продолжали приходить еще почти шесть месяцев. Морозный утренний воздух пронзала трель серебряного свистка светло-зеленого почтового фургончика, и в красивый почтовый ящик опустились два-три голубых или розовых конверта.

Наконец наступил особый день. День, когда миссис Браббам получила свое первое настоящее письмо.

Потом писем не было целую неделю, потом месяц, а потом исчез и почтальон, и его свисток больше не тревожил тишину на пустынной горной дороге. Сначала в ящике поселился паук, а потом воробей.

И Кора, которая, если бы письма продолжали еще идти, раздавила бы их бестрепетной рукой, теперь только смотрела на них до тех пор, пока на ее лице не появились две блестящие мокрые дорожки. Она держала в руках голубой конверт.

— От кого это?

— Понятия не имею, — отозвался Том.

— Что в нем написано? — вскрикнула она.

— Понятия не имею, — ответил Том.

— Я никогда уже не узнаю, что происходит в том, большом мире, да, никогда уже не узнаю, — сказала она. — Ну что вот написано в этом письме? А в этом? А в том?

Она ворошила гору писем, пришедших уже после того, как ушел Бенджи.

— Весь мир, все люди, все события — а мне ничего не узнать. Весь этот мир, мир людей, ждет от нас ответа, а мы не пишем. И никогда уже не напишем!

И наконец настал день, когда ветер опрокинул почтовый ящик. По утрам Кора по-прежнему выходит на порог, расчесывает волосы щеткой и молча глядит на горы. Но за все последующие годы она ни разу не прошла мимо почтового ящика, чтобы не остановиться и без всякой цели не опустить в него руку. И ничего там не найдя, она уходит бродить по полям.

## ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Лошади медленно брели к привалу. Седоки — муж и жена — смотрели вниз, на сухую песчаную долину. У женщины был растерянный вид, вот уже несколько часов она

молчала, просто не могла говорить. Ей было душно под мрачным грозовым небом Аризоны, суровые обветренные скалы угнетали ее. На ее дрожащие руки упало несколько холодных дождевых капель.

Она бросила усталый взгляд на мужа. Он был весь в пыли, впрочем, держался в седле легко и уверенно. Закрыв глаза, она думала, как безмятежно прошли все эти годы. Достала зеркальце и посмотрелась в него. Она хотела увидеть себя веселой, но никак не могла заставить себя улыбнуться, сейчас это было совсем не к месту. Давили тяжелые свинцовые облака, удручала телеграмма, принесенная сегодня утром конным посыльным; изматывала бесконечная дорога до города.

Она продрогла, а дороге все не было видно конца.

— Я никогда не была верующей, — произнесла она тихо, не поднимая век.

— Что? — оглянулся на нее Берти.

— Нет. Ничего, — прошептала она, покачав головой. Все эти годы она прожила беззаботно, ни разу не испытывала потребности пойти в церковь. Она слышала, как почтенные люди говорят о Боге, о полированных церковных скамьях, о каллах в больших бронзовых ведрах и о колоколах, таких огромных, что звонарь раскачивается в них вместе с языком. Все эти высокопарные, страстные и проникновенные речи были ей одинаково безразличны. Она даже представить себя не могла на церковной скамье.

— Да мне просто ни к чему было ходить в церковь, — пробормотала она, словно оправдываясь.

Она никогда не придавала этому значения. Жила своими заботами, ходила по своим делам. От работы ее маленькие ручки стали гладкими, как галька. Труд отполировал ее ногти лаком, какого не купишь ни в одном магазине. Воспитание детей сделало ее руки ласковыми и сдержанно-строгими, а любовь к мужу — нежными. Теперь же нависшая тень смерти заставила их дрожать.

— Сюда, — позвал Берти.

Их лошади спустились по пыльной тропе туда, где в стороне от пересохшего ручья стояло старинное кирпичное здание. В окна были вставлены зеленые стекла, крыша — из красной черепицы. Внутри синели машины, а множество проводов тянулось далеко в пустыню. Она посмотрела на уходящие за горизонт мачты высоковольтных передач и, все еще занятая своими мыслями, оглянулась на необычные зеленые окна и огненно-красные стены.

Она не помнила ни одного стиха из Священного Писания и никогда не оставляла в своей Библии закладки. Правда, жила она в жаркой пустыне, среди раскаленного солнцем гранита, пот лил с нее ручьями, но тут ей ничего не угрожало. Беды, из-за которых люди не спят по ночам, в память о которых остаются морщины на лице, были ей неведомы. Несчастья проходили стороной, не задевая ее. Смерть была ураганом, гул которого доносился откуда-то издалека.

Двадцать лет унеслись в прошлое, как перекасти-поле, с тех пор как она поселилась на Западе, надела обручальное кольцо одинокого охотника и пустыня заполнила их жизнь. Ни один из четырех ее детей ни разу не был опасно болен или при смерти. Никогда ей не приходилось становиться на колени, разве только чтобы отдраить и без того хорошо выскобленный пол.

Теперь всему этому пришел конец. Они ехали в далекий городок, потому что утром принесли клочок желтой бумаги, в котором сухо, но ясно говорилось о том, что ее мать умирает.

И сколько она ни думала об этом, как ни пыталась представить себе, все это никак не укладывалось у нее в голове. Она лишилась привычной опоры и оказалась в беспомощном положении. Ее мысли лихорадочно металась, как стрелки компасов в магнитную бурю, все привычные представления о том, где север и где юг, где верх и где низ, вдруг пошатнулись, рухнули, и все беспорядоч-



но закружилось и завертелось. Рука Берти лежала у нее на плече, но даже от этого она не чувствовала себя уверенной. Словно настал конец красивой сказки и началась страшная. Умирала ее мама. Это было невыносимо.

— Давай остановимся, — не в силах справиться со своим страхом, она очень нервничала и говорила с раздражением.

Берти оставался невозмутимым, его не ввела в заблуждение раздражительность жены. Он-то знал, что это не в ее характере — у нее была ясная голова. Дождь все накрапывал. Он повернулся к ней и нежно взял за руку.

— Конечно, нужно остановиться. — Берти покосился на небо. — Тучи с востока. Надо переждать, будет ливень. Не хватало еще вымокнуть.

Она разозлилась на себя из-за собственной несдержанности. Как-то против ее желания одно потянуло за собой другое. Она была не в состоянии говорить и расплакалась навзрыд, сотрясаясь всем телом. Ее лошадь сама остановилась у кирпичной стены и мягко переступала с ноги на ногу.

Поникая, с застывшим взглядом, она скользнула из седла на руки Берти и обняла его.

— Похоже, никого нет, — сказал он, опуская ее на землю. — Эй, есть тут кто-нибудь? — позвал он и увидел табличку на дверях:

**СТОЙ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!**

**Комитет по электроэнергии**

В воздухе висело густое жужжание. Провода пели на одной ноте, непрерывно, то слегка повышая, то чуть снижая тон, как хозяйка, которая гудит себе что-то под нос и готовит на плите в мягком сумраке кухни. В здании никого не было видно. Все вокруг дрожало от вибрации. Так, кажется, должен гудеть горячий воздух, когда он плывет и струится над раскаленным полотном желез-

ной дороги в жаркий солнечный день. А слышно только, как звенящая напряженная тишина давит на барабанные перепонки.

Дрожь от вибрации пробегала через пятки по ее изящным ногам и, разливаясь по всему телу, подобралась к сердцу, коснулась его, и она заволновалась, словно в очередной раз увидела Берти сидящим на верхней балке загона. Дрожь проникла в мозг, пленила каждую его клеточку, и ей вдруг захотелось запеть. Так с ней бывало, когда она читала хорошие книги или слышала красивые песни.

Все вокруг было насыщено гудением. Оно пронизывало раскаленный воздух, пустыню и даже кактусы в ней — гудением было охвачено все.

— Что это? — спросила она, растерянно глядя на здание.

— Не знаю. Похоже на электростанцию, — отозвался Берти и толкнул дверь. — Хм, открыто, — удивился он. — Вот только жаль, нет никого.

Дверь широко распахнулась, и в виски им ударил сильный, как порыв ветра, гул.

Они вступили под своды таинственного поющего зала. Она шла под руку с Берти, крепко прижавшись к нему.

Тут было сумрачно, как в подземном царстве. Все вычищено, отшлифовано до блеска, словно какие-то невидимки упорно, день и ночь, без усталости, без конца терли, терли и терли пол, стены и машины. Им показалось, будто они шагают сквозь строй молчаливо стоящих людей. Но люди превратились в круглые, похожие на снаряды машины, поставленные в два ряда и гудящие во всю мочь. Из черных, серых, зеленых машин тянулись золотистые кабели и белые провода, поблескивали серебристые коробки с малиновыми контактами и белыми надписями. В полу было углубление, и там бешено крутилось, с неразличимой для глаз скоростью полоскалось что-то

невидимое. (Центрифуга вертелась очень быстро, казалось, она застыла на месте.) С темного потолка гигантскими змеями свисали медные провода, переплетения труб поднимались от цементного пола по огненно-красным кирпичным стенам. Пахло озоном, как после грозы. Время от времени раздавался треск, что-то шуршало, шелкало, шипело; там, где провода подходили к фарфоровым и стеклянным изоляторам, иногда проскакивали искры.

А за стенами, в мире реальном, начался дождь.

Ей не хотелось тут оставаться. Все здесь было ей чуждо: люди оказались серыми машинами, а музыка звучала как орган, гудевший то на высокой, то на низкой ноте. Но по окнам уже растекались дождевые струи.

— Похоже, это надолго. Придется тут заночевать. Да и поздно уже, — сказал Берти. — Пойду занесу вещи.

Она молчала. Ее тянуло дальше. Куда, к чему? Она не знала. Наверное, в город. Там бы она купила билеты и, крепко зажав их в руке, побежала бы к поезду, и поезд помчался бы с грохотом, а потом, проехав сотни миль, она бы сошла с него и пересела на лошадь или машину — и снова в путь. И наконец увидела бы свою маму, живую или мертвую. Только бы хватило времени и сил. Где бы ни проходила ее дорога, она будет довольствоваться лишь воздухом, чтобы дышать, пищей и водой, чтобы смочить пересохшие губы, да твердой землей под ногами, чтобы ходить. Но уж лучше вообще не испытывать всего этого. «Ну зачем ехать к маме, к чему слова, волнения? — спрашивала она себя. — И кому от этого легче?»

Пол под ногами блестел, как замерзшая речка. Шаги отдавались сухим гулким эхом, ясно и четко. Каждое произнесенное слово летело обратно, будто из каменной пещеры.

Она слышала, как Берти за ее спиной складывает на пол вещи. Он расстелил пару серых одеял и достал несколько банок консервов.

Была ночь. Потоки дождя все текли и текли по высоким зеленым окнам; струи воды свивались в тончайшие узоры. Удары грома рвали дождевую завесу, молнии врезались в каменистую землю и переламявались.

Она положила голову на подвернутое одеяло, но, как ни старалась устроиться поудобнее, гудение огромной электростанции не давало покоя. Она перевернулась на другой бок, закрыла глаза, постаралась уснуть, но в голове по-прежнему гудело от вибрации. Тогда она встала, расправила одеяло и снова легла.

Гудение, однако, не отступало.

Какое-то чувство подсказывало ей, что и Берти не спит. Интуиция никогда не подводила ее. В том, как он дышал, была едва уловимая разница. Он дышал беззвучно, совсем неслышно, но она знала, что он сейчас задумчиво смотрит на нее в темноте. Она обернулась.

— Берти?

— Что?

— Я тоже не сплю.

— Знаю.

Она лежала, вытянувшись, неподвижно и была вся напряжена, а он расслабился и чуть поджал ноги. Она смотрела на него и дивилась его спокойствию.

— Берти, — сказала она и, помолчав, продолжала: — Как тебе здесь?

Он ответил не сразу.

— О чем это ты?

— Как ты можешь тут *отдыхать*? — сказала и запнулась.

Нехорошо вышло. Получалось, что она его упрекает, а ей вовсе этого не хотелось. Она знала его как человека, который видит скрытое от глаз других, которого ничто не оставляет равнодушным, но эти качества не мешали ему оставаться добрым и простым. Его мучили те же мысли, что и ее, и он переживал за ее маму, но внешне выглядел хладнокровным и безразличным. Все его мысли и пере-

живания были скрыты от глаз, запрятаны глубоко в душе, где жила его вера, его внутренняя сила, она-то и не позволяла ему быть в разладе с самим собой. Он умел встретить любую неприятность. Уверенность и стойкость делали Берти неуязвимым, он был защищен ими, как лабиринтом или сетью, в которой запутывались и терялись все надвигающиеся напасти, и никакие беды, кажется, не могли причинить ему боли. Глядя на его спокойствие, она иногда, сама того не желая, выходила из себя, но тут же подавляла в себе бессмысленную злость, понимая, что злиться на него — это все равно что обижаться на природу за то, что она в каждый персик вложила по косточке.

— Почему я так и не научилась этому? — сказала она наконец.

— Чему?

— Ты научил меня всему.. Ты заставил меня по-своему смотреть на мир. Я знаю только то, чему ты меня научил.

Она остановилась. Трудно это было выразить словами. Их жизнь текла спокойно, как кровь в жилах.

— И вот только верить ты меня не научил, — сказала она. — Я никогда об этом от тебя не слышала.

— Этому не учатся, — ответил он. — Просто однажды ты расслабишься, тебе станет легко. Вот и все.

«Расслабишься, — думала она. — Почувствую облегчение? Но только телесное. А как избавиться от того, что в мыслях?» Ее пальцы вдруг сами собой сжались. Взгляд блуждал по залу огромной электростанции. Над головой возвышались мрачные силуэты машин, вспыхивали искры... Вибрация пронизывала все тело.

От усталости ее клонило ко сну. Глаза слипались. Ее тело наполнилось гудением, словно затрепетали крылышки тысячи крошечных колибри.

Она проводила взглядом теряющиеся во мраке под потолком трубы, посмотрела на машины, услышала вой

центрифуг.. И тут ее дремота исчезла, и ею овладело беспокойство. Стены, пол, потолок — все запрыгало и заплясало перед глазами, гудение нарастало и нарастало, и к ней пришла вдруг удивительная легкость, она увидела в зеленых окнах очертания высоковольтной линии, убегающей в сырую мглу.

Ее тело дрожало и гудело. Ей показалось, что ее вдруг рвануло и оторвало от земли. Бешено крутящееся динамо подхватило ее и завертело, она стала невидимой и током потекла по медным проводам!

В какой-то миг она стала вездесущей!

Она пронеслась по проводам, оставляя позади громадные мачты высоковольтных передач, прожужжала в проводах над бесчисленными опорами, увенчанными изоляторами из зеленого стекла, похожими на хрустальных птиц, держащих в клюве высоковольтную линию. Провода несли ее через города, городки и поселки, фермы и ранчо, гаспенды, разветвляясь в четыре стороны, потом еще в восемь. Она скользила по паугине проводов, брошенной на пустыню!

И мир стал вдруг чем-то большим, чем просто дома, горы, дороги и пасущиеся кони, покойник под каменной плитой, колючка кактуса или город, искрящийся в ночи своими огнями. Мир уже не был раздроблен, расколот на части. Охваченный сетью гудящих проводов, он стал вдруг единым целым.

С потоком света она влилась в каждый дом, в каждую комнату, и туда, где жизнь только пробудилась от шлепка по попе новорожденного, и туда, где жизнь в человеке уже едва теплилась, как свет в лампочке, горела неровно, тлела и погасла совсем. Поток электричества увлекал ее за собой. На сотни миль вокруг в окнах загорелся свет, и все стало доступно ее зрению и слуху, одиночество ушло. Теперь она стала такой же, как все, одной из многих тысяч людей, о чем-то размышляющих, в чем-то убежденных.

Она трепетала, как сухая, безжизненная тростинка. От высокого напряжения ее мысли металась и запутывались в переплетении проводов.

Во всем царило равновесие. В одном месте она видела, как жизнь увядает, а рядом, всего в какой-нибудь миле, люди поднимали бокалы за новорожденного, передавали сигары, улыбались, хохотали, жали друг другу руки. Она видела бледные, вытянутые лица умирающих в белых постелях, слышала, как они начинают постигать и принимать смерть, смотрела на их движения, угадывала чувства и понимала, как они одиноки и замкнуты, понимала, что им уже никогда, ни за что не увидеть мир в равновесии, каким его видит она.

Она проглотила слюну, коснулась пальцами шеи — шея горела. Веки дрожали.

Она не была одинока.

Динамо-машина раскрутила ее, а центробежная сила пустила по проводам, как из пращи, к миллионам стеклянных колбочек, привинченных под потолками. Нужно только потянуть за шнурок, или повернуть рубильник, или нажать на выключатель — и они вспыхнут.

Зажечь свет можно везде, его надо только включить. Пока света не было, в домах было темно. Но вот она сразу очутилась во всех домах, вошла в каждую комнату. И она уже не одинока. И ей досталась частица большого, общего горя и страха. Но вокруг не только одни страдания. Можно посмотреть на все и с другой стороны. Жизнь начинается с рождения — это нежный, хрупкий младенец. Это тело, согретое обедом, свежие краски и звуки, запахи полевых цветов.

И как только свет где-то гаснет, жизнь зажигает его снова, и в домах опять светло.

Она очутилась сразу у Кларков и Греев, Шоу и Мартинсов, у Хэнфордс и Фентонов, у Дрейков, Губбельсов и Смитов. Она была одна, но не знала одиночества. В го-

лове у человека есть разные отверстия. Пожалуй, это звучит странно, даже несколько глупо, но все же это отверстия. Сквозь одни мы смотрим на мир и на людей в нем, таких же беспокойных, разных и непростых, как и мы сами. Другие отверстия помогают нам слышать, и есть еще одно, чтобы поведать о своем горе, когда оно нас тяготит. Запахи пшеницы, льда, костров проникают через другие отверстия, и мы узнаем через них времена года — лето, зиму или осень. Все это дано человеку, чтобы он не чувствовал себя одиноко. Зажмурьтесь — вы окажетесь в одиночестве. Чтобы верить во что-то, нужно просто открыть глаза.

Электрической сетью опутался весь мир, знакомый ей уже столько лет. Она вжилась в каждый провод этой сети. В ней светилась и дрожала каждая клеточка. Ее ласкало бесконечное легкое полотно, которое мило за милей укутало землю мягким, гудящим покрывалом.

В электростанции пели работающие турбины; искры, яркие, как свечки, вспыхивали и соскакивали вниз по согнутым локтям труб и кабелей. Ряды машин казались хором святых, их нимбы переливались то красным, то желтым, то зеленым, их мощные гимны возносились под самую крышу, и в зале все дрожало от эха. Снаружи порывы ветра с воем разбивались о стены, дождь заливал окна. Некоторое время она лежала, положив голову на свернутое одеяло, а потом вдруг расплакалась.

Какие мысли заставили ее плакать? Были это слезы радостного облегчения или смирения — она не знала. Торжественные звуки взлетали все выше и выше. Казалось, целый мир хлынул в ее душу. Она протянула руку и дотронулась до Берти. Он все еще не спал и смотрел в потолок. Наверное, его мысли тоже витали сейчас где-то в переплетении проводов; и в его душе отзывалось все, что ни есть на свете. Он чувствовал себя частицей целого, и это придавало ему силы и уверенности. Но ее это новое



ощущение единства со всем миром ошеломило. Гудение все нарастало. Руки мужа обняли ее, она уткнулась в его плечо и снова разрыдалась, горько и неудержимо...

Утром небо над пустыней было яркое, чистое. Они неторопливо вышли из электростанции, оседлали лошадей, привязали вещи и двинулись в путь.

Над нею сияло голубое небо. Она не сразу почувствовала, что держится в седле прямо, не сутулясь, взглянула на свои руки — они не дрожат, а раньше были как чужие. Видны были горы вдалеке, краски не блекли и не расплывались перед глазами. Все было неразрывно связано: камни с песком, песок с цветком, а цветок — с небом. И так бесконечно.

— Но! Пошли! — раздался в душистом прохладном воздухе голос Берти, и лошади ускорили шаг, оставляя позади кирпичное здание.

Она держалась в седле легко и изящно. В ней пробудилось чувство безмятежной легкости, и она не смогла бы теперь прожить без этого. Это было бы так же невыносимо, как персик без косточки.

— Берти, — позвала она.

Он чуть придержал лошадь.

— Что?

— Мы могли бы... — начала она.

— Что бы мы могли? — переспросил он, не слышав.

— Мы могли бы приехать сюда еще раз? — спросила она, показывая на электростанцию. — Ну, как-нибудь, в воскресенье?

Он задумчиво посмотрел на нее и кивнул:

— А что ж. Приедем, конечно, приедем.

Когда они въехали в город, она гудела себе под нос какую-то странную мелодию. Он оглянулся и прислушался. Так, наверное, гудит горячий воздух, когда плывет и струится над раскаленным полотном железной до-

роги в жаркий летний день. Гудит в одном ключе, на одной ноте. Гудение то чуть повышается, то понижается, но звук непрерывный, нежный и приятный на слух.

---

*EN LA NOCHE*

---

Всю ночь миссис Наваррес выла, и ее завывания заполняли дом подобно включенному свету, так что никто не мог уснуть. Всю ночь она кусала свою белую подушку, и заламывала худые руки, и вопила: «Мой Джо!» К трем часам ночи обитатели дома, окончательно отчаявшись, что она хоть когда-нибудь закроет свой размалеванный красный рот, поднялись, разгоряченные и решительные, оделись и поехали в окраинный круглосуточный кинотеатр. Там Рой Роджерс гонялся за негодьями сквозь клубы застоявшегося табачного дыма, и его реплики раздавались в темном ночном кинозале поверх тихого похрапывания.

На рассвете миссис Наваррес все еще рыдала и вопила.

Днем было не так уж плохо. Сводный хор детей, орущих там и сям по всему дому, казался спасительной благодатью, почти гармонией. Да еще пыхтящий грохот стиральных машин на крыльце, да торопливая мексиканская скороговорка женщин в синелевых платьях, стоящих на залитых водой, промокших насквозь ступеньках. Но то и дело над пронзительной болтовней, над шумом стирки, над криками детей, словно радио, включенное на полную мощность, взмывал голос миссис Наваррес.

— Мой Джо, о бедный мой Джо! — верещала она.

В сумерках появились мужчины с рабочим потом под мышками. По всему раскаленному дому, развалиясь в прохладных ваннах, они ругались и зажимали уши ладонями.

---

<sup>1</sup> В ночи (исп.).

— Да когда же она замолкнет! — бессильно гневались они.

Кто-то даже постучал в ее дверь:

— Уймись, женщина!

Но миссис Наваррес только завизжала еще пуще: «Ох, ах! Джо, Джо!»

— Сегодня дома не обедаем! — сказали мужья своим женам. Во всем доме кухонная утварь возвращалась на полки, двери закрывались, и мужчины спешили к выходу, придерживая своих надушенных жен за бледные локотки.

Мистер Вильянасуль, в полночь отперев свою ветхую рассыпающуюся дверь, прикрыл свои карие глаза и постоял немного, пошатываясь. Его жена Тина стояла рядом, вместе с тремя сыновьями и двумя дочерьми (одна грудная).

— О господи, — прошептал мистер Вильянасуль. — Иисусе сладчайший, спустись с креста и утихомирь эту женщину.

Они вошли в свою сумрачную комнатушку и взглянули на голубой огонек свечи, мерцавший под одиноким распятием. Мистер Вильянасуль задумчиво покачал головой:

— Он по-прежнему на кресте.

Они поджаривались в своих постелях, словно мясо на угольях, и ночь поливала их собственными приправами. Весь дом полыхал от крика этой несносной женщины.

— Задыхаюсь!

Мистер Вильянасуль пронесся по всему дому и вместе с женой удрал на крыльцо, покинув детей, обладавших великим и волшебным талантом спать, несмотря ни на что.

Неясные фигуры толпились на крыльце. Дюжина мужчин молчаливо сутулилась, сжимая в смуглых пальцах дымящиеся сигареты; облаченные в синель женщины подставлялись под слабый летний ночной ветерок. Они двигались, словно сонные видения, словно манекены, на-

чиненные проволочками и колесиками. Глаза их опухли, голоса звучали хрипло.

— Пойдем удавим ее, — сказал один из мужчин.

— Нет, так не годится, — возразила женщина. — Давайте выбросим ее из окна.

Все устало засмеялись. Мистер Вильянасуль заморгал и обвел всех растерянным взглядом. Его жена вяло переминалась с ним рядышком.

— Можно подумать, кроме Джо никого на свете в армию не призывали, — раздраженно бросил кто-то. — Миссис Наваррес, вот еще! Да этот ее муженек Джо картошку чистить будет — самое безопасное местечко в пехоте!

— Что-то нужно предпринять, — молвил мистер Вильянасуль. Жесткая решительность собственного голоса его испугала. Все воззрились на него. — Еще одной ночи нам не выдержать, — тупо заключил мистер Вильянасуль.

— Чем больше мы стучимся к ней, тем больше она орет, — пояснил мистер Гомес.

— Священник приходил после обеда, — сказала миссис Гутьеррес. — Мы за ним послали с отчаяния. Но миссис Наваррес даже дверь ему не открыла, как он ни упрашивал. Священник и ушел. Мы и полицейского Гилви попросили на нее наорать — думаете, она хоть послушала?

— Значит, нужно попытаться по-другому, — размышлял мистер Вильянасуль. — Кто-то должен ее... утешить, что ли...

— По-другому — это как? — спросил мистер Гомес.

— Вот если бы, — подвел итог минутному раздумью мистер Вильянасуль, — среди нас оказался холостяк...

Его слова упали, словно холодный камень в глубокий колодец. Послышался всплеск, тихо разошлись круги. Все вздохнули.

Словно летний ветерок поднялся. Мужчины слегка приосанились; женщины оживились.

— Но, — ответил мистер Гомес, вновь оседая, — мы все женаты. Холостяков здесь нет.

— О, — сказал каждый, и все погрузились в жаркое пересохшее русло ночи, продолжая безмолвно курить.

— Тогда, — выпалил мистер Вильянасуль, приподняв плечи и поджав губы, — это должен сделать один из нас!

И вновь подул ночной ветер, пробуждая в людях благоговение.

— Сейчас не до эгоизма! — объявил мистер Вильянасуль. — Один из нас должен это совершить! Или это, или еще одну ночь в аду поджариваться!

И тут люди на крыльце, прищурившись, расступились вокруг него.

— Вы ведь это сделаете, мистер Вильянасуль? — жаждали узнать они.

Он оцепенел. Сигарета едва не вывалилась у него из пальцев.

— Да, но я... — возразил он.

— Вы, — откликнулись они. — Да?

Он лихорадочно взмахнул руками.

— У меня жена и пятеро детей, один грудной!

— Но мы все женаты, а это ваша идея, и вы должны иметь храбрость не отступить от своих убеждений, мистер Вильянасуль, — говорил каждый.

Он очень перепугался и замолчал. Он боязливо взглянул на свою жену.

Она стояла, утомленно обмахиваясь ночным воздухом, и старалась разглядеть его.

— Я так устала, — горестно произнесла она.

— Тина, — сказал он.

— Я умру, если не засну, — пожаловалась она.

— Да, но, Тина... — сказал он.

— Я умру, и мне принесут много цветов и похоронят, если я не отдохну хоть немного, — пробормотала она.

— Как она скверно выглядит, — заметил каждый.

Мистер Вильянасуль колебался не более мгновения. Он коснулся вялых горячих пальцев своей жены. Он коснулся губами ее горячей щеки.

Без единого слова он покинул крыльцо.

Они слышали его шаги на темной лестнице, потом наверху, на третьем этаже, где завывала и вопила миссис Наваррес.

Мужчины снова закурили и отбросили спички, перешептываясь, словно ветер; женщины слонялись вокруг них, то и дело подходя и заговаривая с миссис Вильянасуль, опирающейся на перила. Под ее усталыми глазами пролегли тени.

— Вот теперь, — тихо прошептал один из мужчин, — мистер Вильянасуль уже наверху!

Все затихли.

— А теперь, — выдохнул мужчина театральным шепотом, — мистер Вильянасуль стучится в ее дверь! Тук-тук.

Все молчали, затаив дыхание.

— А теперь миссис Наваррес по случаю вторжения начинает вопить с новыми силами!

С верхнего этажа донесся пронзительный вопль.

— А теперь, — воображал мужчина, сутулясь и осторожно помахивая рукой, — мистер Вильянасуль умоляет и умоляет у закрытой двери, тихо, нежно.

Люди на крыльце напряженно вздернули в ожидании подбородки, пытаясь сквозь тройной слой дерева и штукатурки разглядеть верхний этаж.

Вопли утихли.

— А теперь мистер Вильянасуль говорит быстро-быстро, он молит, он шепчет, он обещает, — тихо воскликнул мужчина.

Вопли перешли в рыдания, рыдания в стоны, и наконец все смолкло и растворилось в дыхании, в биении сердец, в ожидании.

Примерно через пару минут, потные, выжидающие, все стоявшие на крыльце услышали, как на третьем этаже

брякнула щеколда, дверь открылась и мгновением позже затворилась под звуки шепота.

Дом затих.

Тишина жила в каждой комнате, словно выключенный свет. Тишина, словно прохладное вино, струилась по коридорам. Тишина обдавала их из окон, словно прохладный воздух из погребка. Они стояли и вдыхали ее прохладу.

— Ах, — вздохнули они.

Мужчины отшвырнули сигареты и на цыпочках вошли в затихший дом, женщины следом. Вскоре крыльцо опустело. Они плыли в прохладных чертогах тишины.

Миссис Вильянасуль в тупом остоленении отперла свою дверь.

— Мы должны выставить мистеру Вильянасулю угощение, — прошептал кто-то.

— Свечку ему завтра поставить.

Двери затворились.

В своей прохладной постели покоилась миссис Вильянасуль.

«Он такой заботливый, — сонно подумала она, смежив веки. — За это я его и люблю».

Тишина, словно прохладная рука, погладила ее на сон грядущий.

---

### СОЛНЦЕ И ТЕНЬ

Камера стрекотала, как насекомое. Она отливала металлической синью, точно большой жирный жук, в чутких, бережно ощупывающих руках мужчины. Она блестела в ярком солнечном свете.

— Брось, Рикардо, не надо!

— Эй, вы там, внизу! — заорал Рикардо, подойдя к окну.

— Рикардо, перестань!

Он повернулся к жене:

— Ты не мне, ты им скажи, чтобы перестали. Спустишься и скажи... Что, трусишь?

— Они никого не задевают, — терпеливо произнесла жена.

Он отмахнулся от нее и лег на подоконник, глядя вниз.

— Эй, вы! — крикнул он.

Человек с черной камерой мельком взглянул на него, потом снова навел аппарат на даму в белых, как соль, купальных трусиках, белом бюстгальтере и зеленой клетчатой косынке. Она стояла, прислонившись плечом к потрескавшейся штукатурке дома. Позади нее, поднеся руку ко рту, улыбался смуглый мальчонка.

— Томас! — крикнул Рикардо. Он обратился к жене: — Господи Иисусе, там стоит Томас, это мой собственный сын там улыбается.

Рикардо метнулся к двери.

— Не натвори беды! — взмолилась жена.

— Я им голову оторву! — ответил Рикардо.

В следующий миг он исчез.

Внизу томная дама переменяла позу, теперь она опиралась на облупившиеся голубые перила. Рикардо подошел как раз вовремя.

— Это мои перила! — заявил он.

Фотограф подбежал к ним.

— Нет-нет, не мешайте, мы фотографируем. Все в порядке. Сейчас уйдем.

— Нет, не в порядке, — сказал Рикардо, сверкая черными глазами. Он взмахнул морщинистой рукой. — Она стоит перед моим домом.

— Мы снимаем для журнала мод. — Фотограф улыбался.

— Что же мне теперь делать? — спросил Рикардо, обращаясь к небесам. — Прийти в исступление от этой новости? Плясать наподобие эпилептического святого?



— Если дело в деньгах, то вот вам пять песо, — с улыбкой предложил фотограф.

Рикардо оттолкнул его руку.

— Я получаю деньги за работу. Вы ничего не понимаете. Пожалуйста, уходите.

Фотограф оторопел:

— Постойте...

— Томас, домой!

— Но, папа...

— Брысь! — рявкнул Рикардо.

Мальчик исчез.

— Никогда еще такого не бывало! — сказал фотограф.

— А давно пора! Кто мы? Труссы? — Рикардо вопрошал весь мир.

В переулке стала собираться толпа. Люди тихо переговаривались, улыбались, подталкивали друг друга локтем. Фотограф подчеркнуто вежливо закрыл камеру.

— Ол райт, пойдём на другую улицу. Я там заметил великолепную стену, чудесные трещины, отличные глубокие тени. Если мы поднажмем...

Девушка, которая во время перепалки нервно мяла в руках косынку, взяла сумку с гримом и сорвалась с места. Но Рикардо успел коснуться ее руки.

— Не поймите меня превратно, — поспешно проговорил он.

Она остановилась и глянула на него из-под опущенных век.

— Я не на вас сержусь, — продолжал он. — И не на вас. — Он повернулся к фотографу.

— Так какого же... — заговорил фотограф.

Рикардо махнул рукой:

— Вы служите, и я служу. Все мы люди подневольные. И мы должны понимать друг друга. Но когда вы приходите к моему дому с этой вашей камерой, которая словно глаз черного слепня, пониманию конец. Я не хочу, чтобы вы использовали мой переулок из-за его красивых

теней, мое небо из-за его солнца; мой дом из-за этой живописной трещины! Ясно? «Ах, как красиво! Прислонись здесь! Стань там! Сядь тут! Согнись там! Вот так!» Да-да, я все слышал! Вы думаете, я дурак? У меня книги есть. Видите вон то окно, наверху? Мария!

Из окна высунулась голова его жены.

— Покажи им мои книги! — крикнул он.

Она недовольно скривилась и что-то буркнула себе под нос, но затем, зажмурившись и отвернув лицо, словно речь шла о тухлой рыбе, показала сперва одну, потом две, потом с полдюжины книг.

— И это не все, у меня еще штук двадцать, не меньше! — кипятился Рикардо. — Вы с человеком разговариваете, не с бараном каким-нибудь!

— Все, все, — фотограф торопливо складывал свои принадлежности, — уходим. Благодарю за любезность.

— Нет, вы сперва поймите меня, что я хочу сказать, — настаивал Рикардо. — Я не злой человек. Но я тоже умею сердиться. Похож я на картонные декорации?

— Никто никого ни с кем не сравнивал.

Фотограф повесил на плечо сумку и зашагал прочь.

— Тут через два квартала есть фотограф, — продолжал Рикардо, идя за ними следом. — Так у него картонные декорации. Становишься перед ними. Написано — «Гранд-отель». Он снимает, и пожалуйста — как будто вы живете в Гранд-отеле. Ясно, к чему я клоню? Мой переулок — это мой переулок, моя жизнь — моя жизнь, мой сын — мой сын, а не картон какой-нибудь. Я видел, как вы распоряжались моим сыном — стань так, повернись этак! Вам фон нужен... Как это там у вас называется — характерная деталь? Для красоты, а впереди хорошенькая дама!

— Время, — выдохнул фотограф, обливаясь потом.

Его модель семенила рядом с ним.

— Мы люди бедные, — говорил Рикардо. — Краска на наших дверях облупилась, наши стены выпцвели и по-

трескались, из водостока несет воню, улицы вымошены булыжником. Но меня душит гнев, когда я смотрю, как вы все это подаете, — словно я так нарочно задумал, еще много лет назад заставил стену треснуть. Думаете, я знал, что вы придете, и сделал краску старой? Мы вам не ате-лье! Мы люди, и будьте любезны относиться к нам как к людям. Теперь вы меня поняли?

— Все до последнего слова, — не глядя, ответил фотограф и прибавил шагу.

— А теперь, когда вам известны мои желания и мысли, сделайте одолжение — убирайтесь домой! Гоу хоум!

— Вы шутник, — ответил фотограф.

— Привет! — Они подошли к группе из еще шести моделей и фотографа, которые стояли перед огромной каменной лестницей. Многослойная, будто свадебный торт, она вела к ослепительно-белой городской площади. — Ну как, Джо, дело подвигается?

— Мы сделали шикарные снимочки возле церкви Девы Марии, там есть безносые статуи, блеск! — отозвался Джо. — Из-за чего переполох?

— Да вот, Панчо кипятится. Мы прислонились к его дому, а он возьми да рассыпся.

— Меня зовут Рикардо. Мой дом совершенно не-вредим.

— Поработаем здесь, крошка, — продолжал первый фотограф. — Стань у входа в тот магазин. Какая арка... и стена!..

Он принялся колдовать над своим аппаратом.

— Вот как! — Рикардо ощутил грозное спокойствие. Он выжидательно смотрел на их приготовления. Когда оставалось только шелкнуть, он выскочил перед камерой, взывая к человеку, стоящему на пороге магазина: — Хорхе! Что ты делаешь?

— Стою, — ответил тот.

— Вот именно, — сказал Рикардо. — Разве это не твоя дверь? Ты разрешаешь им ее использовать?

— А мне-то что, — ответил Хорхе.

Рикардо схватил его за руку.

— Они превращают твою собственность в киноателье. Тебя это не оскорбляет?

— Я об этом не задумывался. — Хорхе ковырнул нос.

— Господи Иисусе, так подумай же, человек!

— Я ничего такого не вижу, — сказал Хорхе.

— Неужели я во всем свете единственный, у кого язык есть? — спросил Рикардо свои ладони. — И глаза? Или, может быть, этот город — сплошные кулисы и декорации? Неужели, кроме меня, не найдется никого, кто бы вмешался?

Толпа не отставала от них, по пути она выросла, и теперь собралось изрядно народу, а со всех сторон, привлеченные могучим голосом Рикардо, подходили еще люди. Он топал ногами. Он потрясал в воздухе кулаками. Он плевался. Фотографы и модели боязливо наблюдали за ним.

— Так вам нужен живописный тип для фона? — рявкнул он, обращаясь к фотографам. — Я сам стану здесь. Как мне становиться? У стены? Шляпа так, ноги так, мои сандалии — я их сам пошил — освещены солнцем так? Эта дыра на рубашке — сделать ее побольше?.. Вот так? Готово. Достаточно пота у меня на лице? Волосы не короткие, добрый господин?

— Пожалуйста, стойте себе на здоровье, — сказал фотограф.

— Я не буду смотреть в объектив, — заверил его Рикардо.

Фотограф улыбнулся и прицелился камерой.

— Чуть влево, крошка.

Модель шагнула влево.

— Теперь поверни правую ногу. Отлично. Очень хорошо. Так держать!

Модель замерла, приподняв подбородок.

Брюки Рикардо съехали вниз.

— Господи! — воскликнул фотограф.

Девушки приснули. Толпа покатилась со смеху, люди подталкивали друг друга. Рикардо невозмутимо подтянул брюки и прислонился к стене.

— Ну как, живописно получилось? — спросил он.

— Господи! — повторил фотограф.

— Пошли на набережную, — предложил его товарищ.

— Пожалуй, я пойду с вами, — улыбнулся Рикардо.

— Силы небесные, что нам делать с этим идиотом? — прошептал фотограф.

— Дай ему денег.

— Уже пробовал!

— Мало предложил.

— Вот что, сбегай за полицейским. Мне это надоело.

Второй фотограф убежал. Остальные, нервно куря, смотрели на Рикардо. Подошла собачонка, подняла ногу, и на стене появилось мокрое пятно.

— Посмотрите! — крикнул Рикардо. — Какое произведение искусства! Какой узор! Живее фотографируйте, пока не высохло!

Фотограф отвернулся и стал смотреть на море.

В переулке показался его товарищ. Он бежал, за ним не спеша шествовал полицейский. Пришлось второму фотографу обернуться и поторопливать его. Полицейский издал жестом дал ему понять, что день еще не кончился, они успеют своевременно прибыть на место происшествия.

Наконец он занял позицию за спиной у фотографов.

— Ну, что вас тут беспокоит?

— Вот этот человек. Нам нужно, чтобы он ушел.

— Этот человек? Который прислонился к стене? — спросил сержант.

— Нет-нет, дело не в том, что он прислонился... А, черт! — не выдержал фотограф. — Сейчас вы сами поймете. Ну-ка, крошка, займи свое место.

Девушка встала в позу, Рикардо тоже; на его губах играла небрежная улыбка.

— Так держать!

Девушка замерла.

Брюки Рикардо скользнули вниз.

Камера шелкнула.

— Ага, — сказал полицейский.

— Вот, доказательство у меня здесь, в камере, если вам понадобится! — воскликнул фотограф.

— Ага, — сказал полицейский, не сходя с места, и потер рукой подбородок. — Так.

Он рассматривал место действия, словно сам был фотографом-любителем. Поглядел на модель, чье беломраморное лицо вспыхнуло нервным румянцем, на булыжники, стену, Рикардо. Рикардо, стоя под голубым небом, освещенный ярким солнцем, величественно попыхивал сигаретой, и брюки его занимали далеко не обычное положение.

— Ну, сержант? — выжидательно произнес фотограф.

— А чего вы, собственно, от меня хотите? — спросил полицейский, снимая фуражку и вытирая свой смуглый лоб.

— Арестуйте этого человека! За непристойное поведение!

— Ага, — произнес полицейский.

— Ну? — сказал фотограф.

Публика что-то бормотала. Юные красотки смотрели вдаль на чаек и океан.

— Я его знаю, — заговорил сержант, — этого человека возле стены. Его зовут Рикардо Рейес.

— Привет, Эстеван!

— Привет, Рикардо, — откликнулся сержант.

Они помахали друг другу.

— Я не вижу, чтобы он делал что-нибудь, — сказал сержант.

— То есть как это? — вскричал фотограф. — Он же голый, в чем мать родила. Это безнравственно!

— Этот человек ничего безнравственного не делает. Стоит, и все, — возразил полицейский. — Если бы он делал что-нибудь, на что глядеть невыносимо, я бы тотчас вмешался. Но ведь он всего-навсего стоит у стены, совершенно неподвижно, в этом ничего противозаконного нет.

— Он же голый, голый! — кричал фотограф.

— Не понимаю. — Полицейский удивленно моргал.

— Голым ходить не принято — только и всего!

— Голый голому рознь, — сказал сержант. — Есть люди хорошие и дурные. Трезвые и под мухой. Насколько я вижу, этот человек не пьян. Он пользуется славой доброго семьянина. Пусть он голый, но ведь он не делает со своей наготой ничего такого, что бы можно было назвать преступлением против общества.

— Да кто вы такой — уж не брат ли ему? — спросил фотограф. — Или сообщник? — Казалось, он вот-вот сорвется с места и забегает под жгучим солнцем, кусая, лая, хрипя. — Где справедливость? Что здесь, собственно, происходит? Пойдемте, девочки, найдем другое место!

— Франция, — сказал Рикардо.

— Что? — Фотограф круто обернулся.

— Я говорю, Франция или Испания, — объяснил Рикардо. — Или Швеция. Я видел фотографии из Швеции — красивые стены. Вот только трещин маловато... Извините, что вмешиваюсь в ваши дела.

— Ничего, будут у нас снимки вам назло! — Фотограф тряхнул камерой, сжал руку в кулак.

— Я от вас не отстану, — сказал Рикардо. — Завтра, послезавтра, на бое быков, на базаре, всюду и везде, куда бы вы ни пошли, я тоже пойду, охотно, без скандала. Пойду с достоинством, чтобы выполнить свой прямой долг.

Они посмотрели на него и поняли, что так и будет.

— Кто вы такой, что вы о себе воображаете? — закричал фотограф.

— Я ждал этого вопроса, — сказал Рикардо. — Всмотритесь в меня. Отправляйтесь домой и поразмышляйте обо мне. Покуда есть такие, как я, хоть один на десять тысяч, мир может спать спокойно. Без меня был бы сплошной хаос.

— Спокойной ночи, няня, — процедил фотограф, и вся свора девиц, шляпных коробок, камер и сумок потянулась в сторону набережной. — Сейчас перекусим, крошки. После что-нибудь придумаем.

Рикардо спокойно проводил их взглядом. Он стоял все на том же месте. Толпа улыбаясь смотрела на него.

«Теперь, — подумал Рикардо, — пойду к своему дому, на двери которого стерлась краска там, где я тысячу раз задевал ее; входя и выходя; пойду по камням, которые я стер ногами за сорок шесть лет хождения, проведу рукой по трещине на стене моего дома — трещине, которая появилась во время землетрясения тысяча девятьсот тридцатого года. Как сейчас помню ту ночь, мы были в постели, Томас еще не родился, Мария и я сгорали от любви, и нам казалось, что наша любовь, такая сильная и жаркая, колышет весь дом, а это земля колыхалась, и утром в стене оказалась трещина. И я поднимусь по лестнице на балкон с затейливой решеткой в доме моего отца, он сам эту решетку ковал, и я буду на балконе есть то, что мне приготовила моя жена, и рядом будут мои книги. И мой сын Томас, которого я сотворил из материи — чего уж там, из простыней — вместе с моей славной супругой. Мы будем есть и разговаривать — не фотографии, и не декорации, и не картинки, и не реквизит, а актеры, да-да, совсем неплохие актеры».

И словно в ответ на его последнюю мысль, какой-то звук дошел до его слуха. Он как раз сосредоточенно, с большим достоинством и изяществом подтягивал брю-



ки, чтобы застегнуть ремень, когда услышал этот восхи-  
тельный звук. Будто легкие крылья плескались в воз-  
духе. Аплодисменты...

Кучка людей, которая следила за его исполнени-  
ем заключительной сцены перед ленчем, увидела, сколь  
элегантно, с истинно джентльменской учтивостью он  
подтянул брюки. И аплодисменты рассыпались по-  
добно легкой волне на берегу моря, что шумело непода-  
леку.

Рикардо вскинул руки и улыбнулся всем.

Поднимаясь к дому, он пожал лапу собачонке, кото-  
рая окропила стену.

### ЛУГ

Рушится стена... За ней другая, третья: глухой гул —  
целый город превращается в развалины.

...Разгулялся ночной ветер.

Мир притих.

Днем снесли Лондон. Разрушили Порт-Саид. Выдер-  
нули гвозди из Сан-Франциско. Перестал существовать  
Глазго.

Их нет больше, исчезли навсегда.

Ветер негромко стучит досками, кружится маленьки-  
ми смерчами песок.

На дороге, ведущей к сумрачным развалинам, появля-  
ется старик — ночной сторож. Он идет к высокой прово-  
лочной ограде, отворяет калитку и смотрит.

Вот в лунном сиянии Александрия, Москва, Нью-  
Йорк. Вот Йоганнесбург, Дублин, Стокгольм. И Клируо-  
тер в штате Канзас, Провинстаун и Рио-де-Жанейро.

Несколько часов назад старик сам видел, как это  
происходило: видел машину, которая с ревом подкатила  
к ограде, видел стройных загорелых мужчин в машине,  
мужчин в элегантных черных костюмах, с блестящими

золочеными запонками, толстыми золотыми браслетами ручных часов, ослепительными кольцами; мужчин, которые прикуривали от ювелирных зажигалок...

— Вот смотрите, джентльмены, во что это превратилось. Все ветер да непогода.

— Да-да, мистер Дуглас, сплошная рухлядь, сэр.

— Может быть, еще удастся спасти Париж.

— Да, сэр!

— Постой... черт подери! Да он размок от дождя! Вот вам и Голливуд! Снесите! Расчишайте до конца! Этот участок нам пригодится. Сегодня же присылайте рабочих!

— Есть, сэр... мистер Дуглас!

Машина взвыла и исчезла.

И вот — ночь. Старый ночной сторож подходит к калитке.

Он вспоминает, что было потом, когда предвечернюю тишину нарушили рабочие.

Стук, грохот, треск, гром падения. Пыль и гул, гул и пыль!

Весь мир трещал по швам и рассыпался, роняя гвозди, перекладыны, барельефы, рамы, целлулоидные окна; город за городом, город за городом рушились наземь и замирали.

Легкое трепетание... нарастающий, затем стихающий гром... и опять лишь легкий ветерок.

Ночной сторож медленно бредет по пустынным улицам.

Вот он в Багдаде: причудливые лохмотья дервишей, в узких окнах женская улыбка под чадрой и глаза, ясные, как сапфиры.

Ветер несет песок и конфетти.

Женщины и дервиши пропадают.

И снова кругом балки и жерди, папье-маше; холст с масляной краской, реквизит с маркой компании, и за

фасадами строений — ничего, только ночь, звезды, космос.

Старик достает из ящика для инструментов молоток и горсть длинных гвоздей, потом роется в строительном мусоре, пока не находит с десяток хороших, крепких досок и немного целого холста. Он берет шершавыми пальцами блестящие стальные гвозди, гвозди с маленькими шляпками.

И начинает сколачивать Лондон, стучит и стучит... Доска за доской, стена за стеной, окно за окном, стук-стук, громче, громче, сталь о сталь, сталь в дерево, дерево ввысь — работает час за часом, до полуночи, без передышки, стучит, приставляет, опять стучит.

— Эй, вы!

Старик останавливается.

— Эй, сторож!

Из темноты выбегает незнакомец. Он в комбинезоне, он кричит:

— Эй, вы, как вас там?

Старик поворачивается.

— Моя фамилия Смит.

— О'кей, Смит, что это вы тут затеяли?

Ночной сторож спокойно глядит на чужака:

— Кто вы?

— Келли, бригадир.

Старик кивает:

— Ага, вы из тех, что все сносят. Сегодня вы немало успели. Вот и сидели бы дома, хвастали этим.

Келли откашливается, сплевывает.

— Я проверял механизмы там, где Сингапур... — Он вытирает губы. — А вы, Смит, чем вы тут занимаетесь, черт возьми? Положите-ка молоток. Да ведь вы опять все сколачиваете! Мы сносим, а вы снова строите. Вы что, рехнулись?

Старик кивает:

— Возможно. Но ведь кому-то надо восстанавливать.

— Послушайте, Смит. Я делаю свое дело, вы делаете свое — и всем хорошо. Я не могу вам позволить заниматься ерундой, ясно? Так и знайте, я доложу мистеру Дугласу.

Старик продолжает стучать молотком.

— Позвоните ему. Вызовите его сюда. Я с ним поговорю. Это он рехнулся.

Келли хохочет:

— Вы смеетесь? Дуглас не станет говорить с первым встречным. — Он делает рукой пренебрежительный жест, потом наклоняется, изучая работу Смита. — Эй, что за черт! Какие у вас гвозди? Маленькие шляпки! Кончайте! Нам их завтра выдергивать!

Смит оборачивается и смотрит на Келли:

— Ясное дело, разве мир сколотишь гвоздями с большими шляпками? Их слишком легко выдернуть. Тут нужен другой гвоздь, с маленькой шляпкой, да и вколачивать надо как следует. Вот так!

Он сильно бьет по гвоздю, так что тот совершенно уходит в дерево. Келли подбочивается:

— Предупреждаю в последний раз. Кончайте это дело, и все будет шито-крыто.

— Молодой человек, — говорит ночной сторож, заколачивая очередной гвоздь, задумывается и снова говорит: — Я бывал здесь задолго до того, как вы родились. Я приходил сюда, когда тут не было ничего — один сплошной луг. Подует ветер, и по лугу бегут волны... Больше тридцати лет я наблюдал, как все это вырастает, как здесь вырастает целый мир. Я жил этим. Я был счастлив. Только здесь для меня настоящий мир: Тот мир, за оградой, — место, куда я хожу спать. У меня маленькая комнатка в доме на маленькой улочке, я вижу газетные заголовки, читаю о войне, о чужих, недобрых людях. А здесь? Здесь собраны все страны и все дышит покоем. Давно уже я брожу по этим городам. Захотелось — закусываю в час ночи в баре на Елисейских Полях! Захотелось — выпил отличного амонтильядо в летнем кафе в Мадриде. А то могу

вместе с каменными истуканами вон там, наверху, — видите, под крышей собора Парижской Богоматери? — порассуждать о важных государственных делах и принимать мудрые политические решения!

— Да-да, дед, точно. — Келли нетерпеливо машет рукой.

— А тут появляетесь вы и превращаете все в развалины. Оставляете лишь тот мир, снаружи, где не представляют себе, что значит жить в согласии, не знают и со-той доли того, что узнал я в этом краю. Пришли и принялись все сокрушать... Вы с вашей бригадой — чем вы гордитесь? Тем, что сносите... Рушите села, города, целые страны!

— У меня семья, — говорит Келли. — Мне надо кормить жену и детей.

— Вот-вот, все так говорят. У каждого жена и дети. И поэтому истребляют, кромсают, убивают. Дескать, приказ! Дескать, велели! Мол, вынуждены!

— Замолкни, давай сюда молоток!

— Не подходи!

— Что?! Ах ты, старый болван!..

— Этим молотком можно не только гвозди!.. — Молоток со свистом рассекает воздух, бригадир Келли отскакивает в сторону.

— Черт, — говорит Келли, — да вы свихнулись, вот и все. Я позвоню на главную студию, чтобы полицейских прислали. Это же черт знает что — сейчас вы тут гвозди заколачиваете и порете чушь, а через две минуты — кто его знает! — обольете все керосином и устроите пожарчик!..

— Я здесь даже шепки не трону, и вы это отлично знаете, — возражает старик.

— Вы весь участок спалить способны, — твердит Келли. — Вот что, старина, стойте тут и никуда не уходите!

Келли поворачивается и бежит среди деревьев и разрушенных городов, среди спящих двухмерных селений

этой ночной страны; вот шаги его стихли вдали, и слышно, как ветер перебирает серебристые струны проволочной ограды, а старик все стучит и стучит, отыскивает длинные доски и воздвигает стены, пока не начинает задыхаться. Сердце бешено колотится, ослабевшие пальцы роняют молоток, гвозди рассыпаются на тротуаре, звеня, как монеты, и старик, отчаявшись, говорит сам себе:

— Ни к чему все это, ни к чему. Я не успею ничего починить, они приедут раньше. Мне нужна помощь, и я не знаю, как быть.

Оставив молоток на дороге, старик бредет без цели неведомо куда. Похоже, у него теперь одно стремление: в последний раз все обойти, все осмотреть и попрощаться с тем, что еще есть и было в этом краю. Он бредет, окруженный тенями, а час поздний, теней много, они повсюду, всякого рода и вида — тени строений и тени людей. Он не глядит прямо на них, нет, потому что, если на них смотреть, они развеются. Нет, он просто шагает, шагает вдоль Пиккадилли... эхо шагов... или по Рю-де-ля-Пэ... старческий кашель... или вдоль Пятой авеню... и не смотрит ни влево, ни вправо. И повсюду, в темных подъездах, в пустых окнах, — его многочисленные друзья, хорошие друзья, очень близкие друзья. Откуда-то долетают бормотание, бульканье, тихий треск кофеварки и полная неги итальянская песня... Порхают руки в темноте над открытыми ртами гитар, шелестят пальмы, звенят бубны-бубенчики, колокольчики, глухо падают на мягкую траву спелые яблоки, но это вовсе не яблоки, это босые женские ноги медленно танцуют под тихий звон бубенчиков и трель золотистых колокольчиков. Хрустят кукурузные зерна, крошась о черный вулканический камень, шипят, утопая в кипящем масле, тортильи, трещит, разбрасывая тысячи блестящих светлячков, раздуваемый кем-то древесный уголь, колышутся листья папайи... И причудливый бег огня там, где озаренные факелом лица испанских цыган плывут в воздухе, будто в пылающей воде, а голоса

поют песни о жизни — удивительной, странной, печальной. Всюду тени и люди, и пение, и музыка.

Или это всего-навсего, всего-навсего ветер?

Нет, люди, здесь живут люди. Они здесь уже много лет. А завтра?

Старик останавливается, прижимает руки к груди.

Завтра их здесь не будет.

Рев клаксона!

За проволочной оградой у калитки — враг! У ворот — маленькая черная полицейская машина и большой черный лимузин киностудии, что в пяти километрах отсюда.

Снова рев клаксона!

Старик хватается за перекладины приставной лестницы и лезет, звук клаксона гонит его вверх, вверх. Створки распахиваются, враг врывается в ворота.

— Вот он!

Слепящие прожектора полицейской машины заливают светом города на лугу, прожектора видят мертвые кулисы Манхэттена, Чикаго, Чунцина! Свет падает на имитацию каменной громады собора Парижской Богородицы, выхватывает на лестнице собора фигурку, которая карабкается все выше и выше, к покатуному звездно-черному полю.

— Вот он, мистер Дуглас, на самом верху!

— Господи, до чего дело дошло... Нельзя уж и вечер провести спокойно. Непременно что-нибудь да...

— Он зажег спичку! Вызывайте пожарную команду!

На самом верху собора ночной сторож, защищая рукой от ветра крохотное пламя, смотрит вниз, видит полицейских, рабочих, продюсера — рослого человека в черном костюме. Они глядят на него, а он медленно поворачивает спичку, прячет ее в ладонях и подносит к сигаре. Прикуривает, сильно втягивая щеки.

Он кричит:

— Что, мистер Дуглас приехал?

Голос отвечает:

— Зачем я понадобился?

Старик улыбается:

— Поднимайтесь сюда, только один! Если хотите, возьмите оружие! Мне надо потолковать с вами!

Голоса гулко разносятся над огромным кладбищем:

— Не ходите туда, мистер Дуглас!

— Дайте-ка ваш револьвер. Живее, я не могу здесь так долго торчать, меня ждут. Держите его под прицелом, я не собираюсь рисковать. Чего доброго, спалит все макеты. Тут на два миллиона долларов одного леса. Готово? Я пошел.

Продюсер карабкается по темным лестницам, вдоль раковины купола, к старику, который, прислонившись к гипсовой химере, спокойно курит свою сигару. Высунувшись из люка, продюсер останавливается с револьвером наготове.

— Ол райт, Смит, не шевелитесь.

Смит невозмутимо вынимает изо рта сигару.

— Вы зря меня боитесь. Я вовсе не помешанный.

— В этом я далеко не уверен.

— Мистер Дуглас, — говорит ночной сторож, — вы когда-нибудь читали про человека, который перенесся в будущее и увидел там одних сумасшедших? Но так как они все — все до единого — были помешанные, то никто из них об этом не знал. Все вели себя одинаково и считали себя нормальными. А наш герой оказался среди них единственным здоровым человеком, но он отклонялся от привычной нормы и для них был ненормальным. Так что, мистер Дуглас, помешательство — понятие относительное. Все зависит от того, кто кого в какую клетку запер.

Продюсер чертыхается про себя.

— Я сюда лез не для того, чтобы всю ночь язык чесать. Чего вы хотите?

— Я хочу говорить с Творцом, с вами, мистер Дуглас. Ведь вы все это создали. Пришли сюда в один прекрас-



ный день, ударили оземь волшебной чековой книжкой и крикнули: «Да будет Париж!» И появился Париж: улицы, быстро, цветы, вино, букинисты... Снова вы хлопнули в ладоши: «Да будет Константинополь!» Пожалуй-ста, вот он! Вы тысячекратно хлопали в ладоши, и всякий раз возникало что-то новое. Теперь вы думаете, что достаточно хлопнуть еще один, последний раз — и все обратится в развалины. Нет, мистер Дуглас, это не так-то просто!

— В моих руках пятьдесят один процент акций этой студии!

— Студия... А что вас с ней связывает? Приходило ли вам когда-нибудь в голову приехать сюда поздно вечером, взобраться хотя бы на этот собор и посмотреть, какой великолепный мир вы создали? Приходило ли вам в голову, что недурно бы посидеть здесь, наверху, со мной и моими друзьями и выпить бокал амонтильядо? Пусть наше амонтильядо запахом, видом и вкусом больше похоже на кофе... а фантазия, мистер Творец, фантазия на что? Нет, вы ни разу не приезжали сюда, не поднимались на этот собор, не смотрели, не слушали, вас это не трогало. Вас постоянно ждал какой-нибудь прием, какая-нибудь вечеринка. А теперь, когда прошло столько лет, вы хотите, не спросив нас, все уничтожить. Пусть вам принадлежит пятьдесят один процент акций, но они вам не принадлежат.

— Они? — воскликнул продюсер. — Что это еще за «они»?

— Трудно, трудно подобрать слова... Это люди, которые живут тут. — Широким жестом сторож показывает на темнеющие в ночном воздухе двухмерные города. — Сколько фильмов снимали в этом краю! Сколько статистов в самых разнообразных костюмах ходили по улицам, говорили на тысячах языков, курили сигареты и пенковые трубки, даже персидский кальян. Танцовщицы танцевали. Женщины под вуалью улыбались с балконов. Сол-

даты печатали шаг. Дети играли. Бились рыцари в серебряных доспехах. В китайских чайных пили чай люди с чужеродным произношением. Звучал гонг. Варяжские ладьи выходили в море.

Продюсер вылезает из люка и садится на доски; пальцы, держащие револьвер, уже не так напряжены. Он глядит на старика, как любопытный шенок — сначала одним, потом другим глазом; слушает — одним, потом другим ухом, наконец в раздумье качает головой.

Ночной сторож продолжает говорить:

— А когда статисты и люди с кинокамерами, микрофонами и прочим снаряжением ушли, когда ворота закрыли и все сели в машины и уехали — все равно что-то осталось от этого множества разноплеменных людей. Осталось то, чем они были или пытались быть. Чужие языки и костюмы, религия и музыка, людские драмы — все, малое и большое, осталось. Дальние дали, запахи, соленый ветер, океан. Все это здесь сегодня вечером, если хорошенько вслушаться.

Продюсер и старик, окруженные паутиной балок и стояков, слушают. Луна спит глаза гипсовым химерам, и ветер заставляет их пасти шептать, а снизу доносятся звуки тысячи стран этого края, что вздыхает, качается, рассыпает пыль по ветру, и тысячи желтых минаретов, молочно-белых башен и зеленых бульваров, оставшихся еще не тронутыми в окружении сотен развалин, бормочут в ночи; бормочут тросы и каркасы, будто кто-то играет на огромной арфе из стали и дерева, и ветер несет звук к небесам и к двум людям, которые сидят, разделенные расстоянием, и слушают.

Продюсер усмехается, качает головой.

— Вы услышали, — говорит ночной сторож. — Ведь правда услышали? По лицу видно.

Дуглас прячет револьвер в карман.

— Стоит захотеть — и услышишь все, что угодно. Я не должен был вслушиваться. Вам бы книги писать. Вы

бы переплюнули пяток моих лучших сценаристов. А теперь пошли вниз, что ли?

— Вы заговорили почти вежливо, — отвечает ночной сторож.

— А повода как будто нет. Вы испортили мне приятный вечер.

— Действительно? Неужели вам тут так скучно? Не думаю, скорее наоборот. Вы даже кое-что приобрели.

Дуглас тихо смеется:

— А вы ничуть не опасны. Просто нуждаетесь в компании. Это все от вашей работы, и оттого, что все идет к черту, и еще от одиночества. А в общем, я вас что-то не пойму.

— Уж не хотите ли вы сказать, что мне удалось заставить вас думать? — спрашивает старик.

Дуглас снисходительно фыркает:

— Поживешь с мое в Голливуде, ко всему привыкнешь. Просто я сюда не поднимался. Вид отличный, тут вы правы. Но пусть я провалюсь на этом месте, если понимаю, какого черта вы так мучаетесь из-за этого барахла. Что вам в нем?

Сторож опускается на колени и постукивает ребром одной ладони по другой, подчеркивая свои доводы.

— Слушайте. Как я только что сказал, вы явились сюда много лет назад, хлопнули в ладоши, и одним махом выросло триста городов! Потом вы добавили еще полтыщи стран и народов, самых разных верований и политических взглядов. И тут начались осложнения! Не то чтобы это можно было увидеть. Все, что происходило, происходило в пустоте и разносилось ветром. И, однако, осложнения были те же, к каким привык тот мир, за оградой, — ссоры, стычки, невидимые войны. Но в конце концов воцарился покой. Хотите знать почему?

— Если бы я не хотел, я не сидел бы здесь и не стучал зубами от холода.

«Где ты, ночная музыка?» — мысленно взывает старик и плавно взмахивает рукой, словно кто-то аккомпанирует его рассказу...

— Потому что вы объединили Бостон и Тринидад, — говорит он тихо, — сделали так, что Тринидад упирается в Лиссабон, а Лиссабон одной стороной прислонился к Александрии, сцепили вместе Александрию и Шанхай, сколотили гвоздиками и костылями Чаттанугу и Ошкош, Осло и Суитуотер, Суассон и Бейрут, Бомбей и Порт-Артур. Пуля поражает человека в Нью-Йорке, он качается, делает шаг-другой и падает в Афинах. В Чикаго политики берут взятки, а в Лондоне кого-то сажают в тюрьму... Все близко, все так близко одно от другого. Мы здесь живем настолько тесно, что мир просто необходим, иначе все полетит к чертям! Один пожар способен уничтожить всех нас, кто бы и почему бы его ни устроил. Поэтому здесь все люди, или ожившие воспоминания, или, как вы их там еще назовете, утихомирились. Вот что это за край — прекрасный край, мирный край.

Старик смолкает, облизывает пересохшие губы, переводит дух.

— А вы, — говорит он, — хотите завтра его уничтожить.

Несколько секунд старик стоит сгорбившись, потом выпрямляется и смотрит на города, на тысячи теней в городах. Огромный гипсовый собор колышется на ветру, колышется взад-вперед, взад-вперед, будто укачиваемый летним прибоем.

— Мда-а-а, — произносит наконец Дуглас, — что ж... а теперь... пойдём вниз?..

Смит кивает:

— Я все сказал, что было на душе.

Дуглас исчезает в люке, сторож слышит, как он спускается вниз по лестницам и темным переходам. Выждав, старик берется за лестницу, что-то бормочет и начинает долгий путь в царство теней.

Полицейские, рабочие, двое-трое служащих — все уезжают. Возле ворот остается лишь большая черная машина. На лугу, в ночных городах, разговаривают двое.

— Что вы собираетесь делать? — спрашивает Смит.

— Пожалуй, поеду опять на вечеринку, — говорит продюсер.

— Там будет весело?

— Да, — продюсер мнется, — конечно, весело! — Он глядит на правую руку сторожа. — Это что, тот самый молоток, которым вы работали? Вы думаете продолжать в том же духе? Не сдаетесь?

— А вы бы сдались, будь вы последним строителем, когда все вокруг стали разрушителями?

Дуглас и старик идут по улицам.

— Что ж, до свидания, может быть, мы еще увидимся, Смит.

— Нет, — отвечает Смит, — меня уже здесь не будет. Здесь ничего уже не будет. Слишком поздно вы сюда вернетесь.

Дуглас останавливается:

— Проклятие! Что же я, по-вашему, должен сделать?

— Чего уж проще — оставить все как есть. Оставить города в покое.

— Этого я не могу, черт возьми! Бизнес. Придется все сносить.

— Человек, который по-настоящему разбирается в бизнесе да еще обладает хоть каплей воображения, придумал бы выгодное применение этим макетам, — говорит Смит.

— Машина ждет! Как отсюда выбраться?

Продюсер обходит кучу обломков, потом шагает прямо по развалинам, отбрасывая ногой доски, опираясь на стояки и гипсовые фасады. Сверху сыплется пыль.

— Осторожно!

Продюсер спотыкается. Облака пыли, лавина кирпичей... Он качается, теряет равновесие, старик подхватывает его и тянет вперед.

— Прыгайте!

Они прыгают, за их спиной с грохотом рушится половина дома, превращается в горы досок и рваного картона. В воздух поднимается огромный пылевой цветок.

— Все в порядке?

— Ничего, спасибо. — Продюсер глядит на развалившееся строение; пыль оседает. — Кажется, вы меня спасли.

— Что вы. Большинство кирпичей из папье-маше. В худшем случае получили бы несколько ссадин и синяков.

— Все равно спасибо. А что это за строение рухнуло?

— Нормандская башня, ее здесь поставили в тысяча девятьсот двадцать пятом году. Не ходите туда, она еще не вся обвалилась.

— Я осторожно. — Продюсер медленно подходит к макету. — Господи, да я всю эту дрянную постройку одним пальцем могу скovyрнуть. — Он упирается рукой, постройка накреняется, дрожит, скрипит. Продюсер стремительно отступает. — Ткни — и рухнет.

— И все-таки вы этого не сделаете, — говорит ночной сторож.

— Не сделаю? Подумаешь, одним французским домом больше или меньше, когда столько уже снесено.

Старик берет его за руку:

— Пойдемте взглянем с той стороны.

Они обходят декорацию.

— Читайте вывеску, — говорит Смит.

Продюсер шелкает зажигалкой, поднимает ее, чтобы было видно, и читает:

— «Первый национальный банк, Меллин-Таун».

Пауза.

— Иллинойс, — медленно заключает он.

Высокое строение освещено редким светом звезд и мягким светом луны.

— С одной стороны, — руки Дугласа изображают чаши весов, — французская башня. С другой, — он делает семь шагов влево, потом семь шагов вправо и все время смотрит, — Первый национальный банк. Банк. Башня. Башня. Банк. Черт побери.

— Вам все еще хочется свалить эту французскую башню, мистер Дуглас? — с улыбкой спрашивает Смит.

— Пойдите, пойдите, не спешите, — говорит Дуглас.

Он внезапно начинает видеть стоящие перед ним строения. Он медленно поворачивается, глаза смотрят вверх, вниз, влево, вправо, изучают, исследуют, отмечают, снова изучают. Продюсер молча идет дальше. Двое людей проходят через города на лугу, ступают по траве, по диким цветам, идут к развалинам, по развалинам, сквозь развалины, пересекают нетронутые бульвары, селения, города.

Они все говорят и говорят, пока идут. Дуглас спрашивает, сторож отвечает, Дуглас снова спрашивает, и сторож отвечает.

— Что это?

— Буддийский храм.

— А с обратной стороны?

— Лачуга, в которой родился Линкольн.

— Здесь?

— Церковь Святого Патрика в Нью-Йорке.

— А с другой стороны?

— Русская православная церковь в Ростове.

— А это что такое?

— Ворота замка на Рейне.

— А за воротами?

— Бар в Канзас-Сити.

— А там? А там? А вон там? А это что? — спрашивает Дуглас. — Что это? А вон то? И то?

Они спешат, почти бегут, перекликаясь, из города в город, они и тут, и там, и повсюду, входят и выходят, карабкаются вверх, спускаются вниз, щупают, трогают, отворяют и затворяют двери.

— А это, это, это, это?

Сторож рассказывает все, что можно рассказать.

Их тени летят вперед по узким переулкам и широким проспектам, что кажутся реками из камня и песка.

За разговором они описывают огромный круг, обходят весь участок и возвращаются к исходной точке.

Они снова примолкли. Старик молчит, так как сказал все, что следовало сказать, продюсер молчит, так как слушал, примечал, обдумывал и прикидывал. Он рассеянно достает портсигар. Целая минута уходит на то, чтобы его открыть, думая о своем, и протянуть ночному сторожу.

— Спасибо.

Они задумчиво прикуривают. Выпускают дым и смотрят, как он тает в воздухе.

— Куда вы дели ваш проклятый молоток? — говорит Дуглас.

— Вот он, — отвечает Смит.

— И гвозди захватили?

— Да, сэр.

Дуглас глубоко затягивается, выпускает дым.

— О'кей, Смит, давайте работайте.

— Что?!

— Вы слышали. Почините сколько сможете, сколько успеете. Всего уже не поправишь. Но коли найдете поцелее, получше на вид — сколачивайте. Слава богу, хоть что-то осталось! Да, не сразу до меня дошло. Человек с коммерческим чутьем и хоть каплей воображения, сказали вы... Вот где мирный край, сказали вы. Мне следовало это понять много лет назад. Ведь это оно, все, что надо, а я, словно крот, не видел, такой возможности не видел. У меня на пустыре Всемирная федерация — а я ее



громлю! Видит бог, нам нужно побольше помешанных ночных сторожей.

— Это верно, — говорит сторож, — я уже состарился и стал чудаковат. А вы не смеетесь над старым чудаком?

— Я не обещаю большего, чем могу сделать, — отвечает продюсер. — Обещаю только попытаться. Есть шансы, что дело пойдет. Фильм получится отличный, это ясно. Мы можем снять его целиком здесь, на луку, хоть десять вариантов. И фабулы искать не надо. Вы ее сами создали. Вы и есть фабула. Остается только посадить за работу несколько сценаристов. Хороших сценаристов. Пусть даже будет короткометражный фильм, двухчастевка, минут на двадцать, — этого достаточно, чтобы показать, как все страны и города здесь опираются и подпирают друг друга. Идея мне по душе, очень по душе, честное слово. Такой фильм можно демонстрировать где угодно и кому угодно, и он всем понравится. Никто не пройдет мимо, слишком в нем много будет заложено.

— Радостно вас слушать, когда вы вот так говорите.

— Надеюсь, я и впредь буду так говорить. Но на меня нельзя положиться. Я сам на себя не могу положиться. Слишком поддаюсь настроению, черт возьми, сегодня — одно, завтра — другое. Может быть, вам придется колотить меня по голове этим вот молотком, чтобы я помнил.

— С удовольствием, — говорит Смит.

— И если мы действительно затеем съемки, — продолжает продюсер, — то вы нам должны помочь. Кто лучше вас знает все эти макеты! Мы будем вам благодарны за все предложения. Ну а после съемок — уж тогда-то вы не станете больше возражать, если мы снесем остальное?

— Тогда — разрешу, — отвечает сторож.

— Значит, договорились. Я отзываю рабочих — и посмотрим, что выйдет. Завтра же пришлю операторов, пусть поглядят, прикинут. И сценаристов пришлю. Потолкуете с ними. Черт возьми. Сделаем, справимся! — Ду-

глас поворачивается к воротам. — А пока орудуите молотком в свое полное удовольствие. Бр-р, холодно!

Они торопливо идут к воротам. По пути старик находит ящичек, где лежит его ужин. Он достает термос, встряхивает.

— Может, выпьем, прежде чем вы уедете?

— А что у вас? Тот самый амонтильядо, которым вы так хвастались?

— Тысяча восемьсот семьдесят шестого года.

— Ну что ж, пригубим.

Термос открывают, горячая жидкость льется в крышку.

— Прошу, — говорит старик.

— Благодарю. Ваше здоровье. — Продюсер пьет. — Здорово. Чертовски здорово!

— Может, он больше похож на кофе, но я клянусь, что лучшего амонтильядо еще никто не пил.

— Согласен.

Они стоят под луной, окруженные городами всего мира, пьют горячий напиток, и вдруг старик вспоминает:

— А ведь есть старая песня, она как раз подходит к случаю, застольная, кажется... Все мы, что живем на лугу, поем ее, когда есть настроение, когда я все слышу и ветер звучит как музыка. Вот она:

Нам всем домой по пути,  
Мы все заодно! Мы все заодно!  
Нам всем по пути, домой по пути,  
Нам незачем врозь идти,  
Мы будем всегда заодно,  
Как плющ, и стена, и окно...

Они допивают кофе в Порт-о-Пренсе.

— Эй, — вдруг говорит продюсер. — Осторожно с сигаретой! Так можно весь мир поджечь!

Оба смотрят на сигарету и улыбаются.

— Я буду осторожен, — обещает Смит.

— Пока, — говорит продюсер. — Сегодня я бесповоротно опоздал на вечеринку.

— Пока, мистер Дуглас.

Калитка отворяется и затворяется, шаги стихают, ли-  
музин ворчит и уезжает, освещенный луной, оставляя го-  
рода на лугу и старого человека, который стоит за оградой  
и машет на прощание рукой.

— Пока, — говорит ночной сторож.

И снова лишь ветер...

---

### МУСОРЩИК

---

Вот как складывался его рабочий день.

Он вставал затемно, в пять утра, и умывался теплой  
водой, если кипятильник действовал, а то и холодной. Он  
тщательно брился, беседуя с женой, которая возилась на  
кухне, готовя яичницу, или блины, или что там у нее бы-  
ло задумано на завтрак. К шести он ехал на работу и с по-  
явлением солнца ставил свою машину на стоянку рядом  
с другими машинами. В это время утра небо было оран-  
жевым, голубым или лиловым, порой багровым, порой  
желтым или прозрачным, как вода на каменистом дне.  
Иногда он видел свое дыхание белым облачком в утрен-  
нем воздухе, иногда не видел. Но солнце продолжало под-  
ниматься, и он стучал кулаком по зеленой кабинке му-  
соровоза. Тогда водитель, крикнув с улыбкой «хелло!»,  
взбирался с другой стороны на сиденье, и они ехали по  
улицам большого города-туда, где ждала работа. Иногда  
они останавливались выпить чашку черного кофе, потом,  
согревшись, ехали дальше. Наконец приступали к рабо-  
те: он выскакивал перед каждым домом из кабинки, брал  
мусорные ящики, нес к машине, поднимал крышку и вы-  
тряхивал мусор, постукивая ящиком о борт, так что апель-  
синовые корки, дынные корки и кофейная гуща шлепа-  
лись на дно кузова, постепенно его заполняя. Сыпались  
кости от жаркого, рыбы головы, кусочки зеленого лука  
и высохший сельдерей. Еще ничего, если отбросы были

свежие, куда хуже, если они долго лежали. Он не знал точно, нравится ему работа или нет, но так или иначе, это была работа, и он ее выполнял добросовестно. Иногда его тянуло всласть поговорить о ней, иногда он совершенно выкидывал ее из головы. Иногда работа была наслаждением: выедешь спозаранок, воздух прохладный и чистый, пока не пройдет несколько часов и солнце начнет припекать, а отбросы — вонять. И вообще, работа как работа: он был занят своим делом, ни о чем не беспокоился, безмятежно смотрел на мелькающие за дверцей машины дома и газоны, наблюдая повседневное течение жизни. Раз или два в месяц он с удивлением обнаруживал, что любит свою работу, что лучшей работы нет во всем мире.

Так продолжалось много лет. И вдруг все переменялось. Переменялось в один день. Позже он не раз удивлялся, как могла работа настолько измениться за каких-нибудь несколько часов.

Он вошел в комнату, не видя жены и не слыша ее голоса, хотя она стояла тут же. Он прошел к креслу, а она ждала и смотрела, как он кладет руку на спинку кресла и, не говоря ни слова, садится. Он долго сидел молча.

— Что-нибудь стряслось?

Наконец ее голос проник в его сознание. Она спрашивала в третий или четвертый раз.

— Стряслось? — Он посмотрел на женщину, которая заговорила с ним. Ну конечно, это же его жена, он ее знает, и это их квартира, с высокими потолками и выгоревшими обоями. — Верно, стряслось, сегодня на работе.

Она ждала.

— Когда я сидел в кабине моего мусоровоза. — Он провел языком по шершавым губам и закрыл глаза, выключая зрение, пока не стало темно-темно — ни малейшего проблеска света, как если бы ты среди ночи встал с постели в пустой темной комнате. — Я, наверно, уйду с работы. Постарайся понять.

— Понять! — воскликнула она.

— Ничего не поделаешь. В жизни со мной не случилось ничего подобного. — Он открыл глаза и соединил вместе похолодевшие пальцы. — Это нечто поразительное.

— Да говори же, не сиди так!

Он вытащил из кармана кожаной куртки обрывок газеты.

— Сегодняшняя, — сказал он. — Лос-анджелесская «Таймс». Сообщение штаба гражданской обороны. Они закупают радиоустановки для наших мусоровозов.

— Что ж тут плохого — будете слушать музыку.

— Не музыку. Ты не поняла. Не музыку.

Он раскрыл огрубевшую ладонь и медленно стал чертить на ней ногтем, чтобы жена увидела все, что видел он.

— В этой статье мэр говорит, что в каждом мусоровозе поставят приемники и передатчики. — Он склонился на свою ладонь. — Когда на наш город упадут атомные бомбы, радио будет говорить с нами. И наши мусоровозы поедут собирать тела.

— Что ж, это практично. Когда...

— Мусоровозы, — повторил он, — поедут собирать тела.

— Но ведь нельзя же оставить тела, чтобы они лежали? Конечно, надо их собрать и...

Ее рот медленно закрылся. Глаза моргнули, один раз. Он следил за медленным движением ее век. Потом, механически повернувшись, будто влекомая посторонней силой, она прошла к креслу, помедлила, вспоминая, как это делается, и села, словно деревянная. Она молчала.

Он рассеянно слушал, как тикают часы у него на руке.

Вдруг она засмеялась:

— Это — шутка!

Он покачал головой. Он чувствовал, как голова поворачивается слева направо и справа налево — медленно, очень медленно, как и все, что происходило сейчас.

— Нет. Сегодня они поставили приемник на моем мусоровозе. Они сказали: когда будет тревога, немедленно сбрасывай мусор где придется. Получишь приказ по радио, поезжай куда скажут и вывози покойников.

На кухне зашипела, убегая, вода. Жена положила пять секунд, потом оперлась одной рукой о ручку кресла, встала, добрела до двери и вышла. Шипение прекратилось. Она снова появилась на пороге и подошла к нему; он сидел неподвижно, глядя в одну точку.

— У них все расписано. Они составили взводы, назначили сержантов, капитанов, капралов, — сказал он. — Мы знаем даже, куда свозить тела.

— Ты об этом думал весь день, — произнесла она.

— Весь день, с самого утра. Я думал: может, мне больше не хочется быть мусорщиком? Бывало, мы с Томом затевали что-то вроде викторины. Иначе и нельзя... Что ни говори, помой, отбросы — это дрянь. Но коли уж довелось такую работу делать, можно и в ней найти что-то занимательное. Так и мы с Томом. Мусорные ящики рассказывали нам, как живут люди. Кости от жаркого — в богатых домах, салатные листья и картофельные очистки — в бедных. Смешно, конечно, но человек должен извлекать из своей работы хоть какое-то удовольствие, иначе какой в ней смысл? Потом, когда ты сидишь в грузовике, то вроде сам себе хозяин. Встаешь рано, работаешь как-никак на воздухе, видишь, как восходит солнце, как просыпается город, — в общем, неплохо, что говорить. Но с сегодняшнего дня моя работа мне вдруг разонравилась.

Жена быстро заговорила. Она упомянула и то и се, и пятое и десятое, но он не дал ей разойтись и мягко остановил поток слов.

— Знаю, знаю, дети, школа, автомашина — знаю. Счета, деньги, покупки в кредит. Но ты забыла ферму, которую нам оставил отец? Взять да переехать туда, подальше от городов. Я немного разбираюсь в сельском хозяй-

стве. Сделаем запасы, укроемся в логове и сможем, если что, пересидеть там хоть несколько месяцев.

Она ничего не сказала.

— Конечно, все наши друзья живут в городе, — продолжал он миролюбиво. — И кино, и концерты, и товарищи наших ребятишек...

Она глубоко вздохнула.

— А нельзя несколько дней подумать?

— Не знаю. Я боюсь. Боюсь, что если начну размышлять об этом, о моем мусоровозе и о новой работе, то свыкнух. Но, видит небо, разве это правильно, чтобы человек, разумное создание, позволил себе свыкнуться с такой мыслью?!

Она медленно покачала головой, глядя на окна, на серые стены, темные фотографии. Она стиснула руки. Она открыла рот.

— Я подумаю вечером, — сказал он. — Лягу попозже. Утром я буду знать, что делать.

— Осторожней с детьми. Вряд ли им полезно все это узнать.

— Я буду осторожен.

— А пока хватит об этом. Мне нужно приготовить обед. — Она быстро встала и поднесла руки к лицу, потом посмотрела на них и на залитые солнцем окна. — Дети сейчас придут.

— Я не очень хочу есть.

— Ты будешь есть, тебе нужны силы.

Она поспешила на кухню, оставив его одного в комнате. Занавески висели совершенно неподвижно, а над головой был лишь серый потолок и одинокая незажженная лампочка — будто луна за облаком. Он молчал. Он растер лицо обеими руками. Он встал, постоял в дверях столовой, вошел и механически сел за стол. Его руки сами легли на пустую белую скатерть.

— Я думал весь день, — сказал он.

Она суетилась на кухне, гремя вилками и кастрюлями, чтобы прогнать настойчивую тишину.

— Интересно, — продолжал он, — как надо укладывать тела — вдоль или поперек, головами направо или налево? Мужчин и женщин вместе или отдельно? Детей в другую машину или со взрослыми? Собак тоже в особую машину или их оставлять? Интересно, сколько тел войдет в один кузов? Если класть друг на друга, ведь волей-неволей придется. Никак не могу рассчитать. Не получается. Сколько ни пробую, не выходит, невозможно сообразить, сколько тел войдет в один кузов...

Он все еще сидел в пустой комнате, когда с шумом распахнулась наружная дверь. Его сын и дочь ворвались, смеясь, увидели отца и остановились.

В кухонной двери стремительно появилась мать и, стоя на пороге, посмотрела на свою семью. Они видели ее лицо и слышали голос:

— Садитесь, дети, садитесь! — Она протянула к ним руку. — Вы пришли как раз вовремя.

### ВСПЫХНУЛО ПЛАМЯ

Утром в доме вспыхнуло пламя, и никому не под силу было его потушить. Польшала Марианна, мамина племянница, которая жила у нас, пока ее родители отдыхали в Европе. Так что тут нельзя было просто разбить стекло на красном ящичке, дернуть за рычажок и вызвать пожарных в касках и с водометными шлангами. Пылая, как подожженный целлофан, Марианна спустилась к завтраку, плюхнулась на стул с громким не то стоном, не то плачем, однако есть отказалась — даже крошечный кусочек.

Мама и папа отодвинулись подальше, чувствуя, как комната наполняется жаром.

— Доброе утро, Марианна.



— Что? — Марианна разговаривала как в полусне и смотрела сквозь собеседника. — Ах да, доброе утро.

— Как спалось?

Но все знали, что она не спала. Мама подала ей стакан воды, гадая, закипит он у нее в руке или нет. Бабушка всмотрелась в горячечные глаза Марианны.

— Дочка, да ты больна, — сказала она. — Только это не микроб. Такого паразита даже в микроскоп не разглядишь.

— Что? — переспросила Марианна.

— Любовь с глупостью рука об руку ходят, — отстраненно сказал папа.

— С ней все будет хорошо, — возразила ему мама. — Влюбленные девочки только кажутся глупенькими, а они всего-навсего плохо слышат.

— Любовь повреждает полукружные каналы внутреннего уха, — отметил папа. — Из-за этого девочки прямо-таки падают на парней. О, как мне это знакомо. Одна женщина меня так чуть насмерть не придавила, и, доложу я вам...

— Ш-ш! — Мама нахмурилась, глядя на девушку.

— Она все равно ничего не слышит. У нее состояние, близкое к каталепсии.

— Он заедет за ней сегодня, — прошептала мама папе на ухо, как будто Марианна была где-то совсем в другой комнате, — и повезет кататься на своем рыдване.

Папа промокнул рот салфеткой.

— Неужели и наша дочь была такой, мама? — поинтересовался он. — Она так давно вышла замуж и уехала, я и позабыл уже. Но я не припомню, чтобы она вела себя так глупо. В такую пору даже не подумаешь, что у девушки в голове есть хоть на грош рассудка. А мужчина и попадает. «О, какая очаровательная дурочка! Она так меня любит; я, пожалуй, женюсь!» И вот он женится, а потом — бац! — мечтательности и след простыл, на ее место прибыл ум с чемоданами и по всему дому развесил свое

белье. Тут и там мужчина начинает упираться в натянутые веревки и выясняет, что очутился на крошечном необитаемом островке — одинокой гостиной посреди бескрайней вселенной, а где-то снаружи его поджидает благоуханный цветок, обратившийся в медвежий капкан, бабочка, ставшая осой. И у него нет иного выхода, кроме как найти себе какое-нибудь увлечение: собирать марки, ходить в клуб...

— Да помолчишь ты, наконец?! — воскликнула мама. — Марианна, а расскажи-ка нам про своего молодого человека. Как его зовут? Айзек ван Пелт, кажется?

— Кого?.. Ах, Айзек, да.

Марианна всю ночь провозилась на кровати, то листая сборники стихов и вычитывая оттуда берущие за душу строки, то лежа на спине и глядя в потолок, то переворачиваясь на живот и глядя на сонные, залитые лунным светом окрестности. Всю ночь в комнате благоухал жасмин и вкупе с непривычно теплой ранней весной (термометр показывал целых двенадцать градусов) не давал ей заснуть. Если бы кто-то подсматривал в замочную скважину, то принял бы девушку за умирающего мотылька.

Утром она слегка пригладила растрепавшиеся волосы у зеркала и спустилась к завтраку, едва не забыв надеть платье перед выходом.

Весь завтрак бабушка чему-то посмеивалась про себя.

— Деточка, покушай. Надо покушать, — сказала она наконец.

Марианна послушно поковыряла тост и даже откусила половину, как вдруг за окном кто-то громко посигналил. Да это же Айзек! На своем авто!

Марианна радостно вскрикнула и пулей взметнулась по лестнице.

Юного Айзека ван Пелта пригласили в дом познакомиться.

Когда молодые, наконец, ушли, отец тяжело опустился в кресло и утер пот со лба.

— Ох, не знаю... Аж голова кругом.

— Так ведь именно ты надоумил ее выйти в люди, — напомнила мама.

— И очень об этом жалею. Но она гостит у нас уже полгода, и столько же впереди. Я полагал, если она познакомится с приятным молодым человеком...

— То выскочит за него, — мрачно прошамкала бабушка, — и тут же съедет. Угадала?

— Ну.. — сказал папа.

— Ну? — сказала бабушка.

— А стало только хуже. Она пляшет по дому с закрытыми глазами и поет, ставит эти бесовские пластинки о любви, щебечет сама с собой. Всякому терпению есть предел. А еще она постоянно хихикает. Неужели всех девушек в восемнадцать лет надо сдавать в психушку?

— А мне он показался вполне приличным молодым человеком, — заметила мама.

— Да, будем молиться, что это действительно так, — подытожил папа и поднял рюмку. — За скорый брак!

На другое утро Марианна вылетела из дома, будто охваченная пламенем, едва водитель рыдвана посигналил. Молодой человек даже не успел подойти к двери. Только бабушка, сидевшая у окна гостиной, видела, как молодежь куда-то умчалась.

— Чуть с ног меня не сбила. — Папа пригладил усы. — Так, а что у нас тут? Яйца Бенедикт? М-м...

Вечером Марианна вернулась и, ни на кого не глядя, проплыла через гостиную к пластинкам. Дом наполнился шипением иглы проигрывателя. Двадцать один раз девушка ставила «Древние черные чары» Гленна Миллера и, подпевая, кружилась по комнате с закрытыми глазами.

— Дожили. Страшно заглянуть в собственную гостиную! — пожаловался папа. — Не для того я вышел на пенсию. Я хотел наслаждаться жизнью и курить сигары, а не

смотреть, как умалишенная родственница отплясывает под люстрой.

— Ш-ш! — шикнула на него мама. — Пойми, у девочки кризис! Все пройдет! Ей кажется, что она в Париже. В октябре уедет. Потерпи немного.

— Так, посмотрим. — Папа что-то неторопливо прикинул в уме. — К тому моменту с моих похорон пройдет сто тридцать один день. — Он отложил газету. — Нет, мама, я пойду и поговорю с ней немедленно!

Он встал в проеме гостиной, глядя исподлобья на Марианну, которая кружилась в танце и напевала «ла-ла-ла» под музыку.

Папа шагнул в комнату.

— Кхм-кхм... Марианна! — позвал он.

— Эти древние чары... — мурлыкала девушка. — А, что?

Руки ее выделяли какие-то движения в воздухе. Протанцевав мимо папы, она обожгла его взглядом.

Он поправил галстук.

— Нам нужно поговорить.

— Та-там та-та-там та-та-там, — пела девушка.

— Ты слышала, что я сказал? — строго спросил папа.

— Он та-акой милый, — ответила она.

— Ну конечно.

— Он открывает двери с поклоном, как швейцар, играет на трубе, как Гарри Джеймс, а с утра подарил мне букет маргариток, представляете?

— Вполне.

— А еще у него голубые глаза. — Марианна подняла голову к потолку.

Разглядывать там было решительно нечего. Однако девушка продолжала танцевать, запрокинув голову. Папа подошел к ней вплотную и поднял глаза. На потолке не было ни мокрых пятен, ни даже завалившей трещины.

— Марианна... — сказал он со вздохом.

— А потом мы ели лангустов в кафешке у реки.

— Лангусты — это хорошо, но тебе надо немного отдохнуть, отвлекься. Может, завтра останешься, сможешь тете по дому..

— Да, конечно. — И, расправив крылья, она принялась порхать по комнате.

— Эй, ты меня вообще слушаешь? — спросил папа еще строже.

— Да, — прошептала она в ответ. — Да. — Глаза зажмурены. — Да, да, да! — Юбки шуршат. — Дядя, — сказала она, безвольно запрокинув голову.

— Ты сможешь тете по дому или нет? — почти закричал папа.

— По дому, — пробормотала она.

— Вот так-то!

Вернувшись на кухню, папа плюхнулся на стул и схватил газету.

— Мы поговорили. Думаю, она меня поняла!

Но на следующее утро, не успев встать с кровати, как услышал громовой рокот автомобиля; следом Марианна с грохотом скатилась с лестницы; потом два мгновения тишины — это она позавтракала, задержалась у туалета, дабы понять, стошнит ее или нет; затем — удар входной дверью и, наконец, громоподобное рыдваном по улице под нестройный дуэт юных пассажиров.

Папа обхватил голову руками.

— По дому.. — сказал он.

— Что? — не расслышала мама.

— Потом, — повторил папа. — А сейчас пойду в «Доулиз» на утреннюю прогулку.

— Но «Доулиз» работает с десяти.

— Я подожду, — решительно сказал папа, не открывая глаз.

Этим вечером, как и всю остальную безумную неделю, качели на крыльце тихо музыкально скрипели — туда-сюда, туда-сюда. Папа с мрачным облегчением уто-

нул в темноте гостиной и затаился десятицентовой сигарой; багровый огонек освещал его неизбежно печальное лицо. Качели скрипнули снова. Он замер в ожидании. Снаружи доносились тихие звуки, похожие на порханье бабочки, а также смешки и прочая романтическая чепуха, которую влюбленные шепчут друг другу на ухо.

— Мое крыльцо, — сказал папа. — Мои качели, — прошептал он, обращаясь к сигаре. — Мой дом.

Снова скрип.

— Бог ты мой.

Папа сходил в подсобку и вынес на крыльцо канистру масла, сверкающую в темноте.

— Нет-нет, сидите-сидите. Я вам не помешаю. — Он смазал петли качелей. — Вот и вот.

Было темно. Марианну он не видел, зато прекрасно чувал. От аромата духов закружилась голова, и папа чуть не упал в розовый куст. Лица парня тоже было не разглядеть.

— Доброй ночи, — сказал папа и вернулся в дом.

Качели больше не скрипели. С улицы доносилось только частое — словно мотылек о стекло — биение сердечка Марианны.

Мама появилась в проеме кухни с тарелкой и полотенцем в руках.

— Очень, должно быть, приятный молодой человек.

— Хочется верить, — прошептал папа. — Вот почему я разрешаю им сидеть на крыльце каждый вечер.

— Столько дней подряд, — сказала мама. — Даже с очень приятным молодым человеком не станешь видеться так часто, если у того нет серьезных намерений.

Папу посетила радостная мысль:

— Может, сегодня он сделает ей предложение!

— Едва ли. Она еще так молода.

— И все же не исключено, — проговорил он задумчиво. — Иначе и быть не может, черт побери!

Бабушка, притаившаяся в углу в кресле-качалке, захихикала — будто ветер прошелестел страницами древнего фолианта.

— Я сказал что-то смешное? — спросил папа.

— Всему свое время. Завтра увидите.

Папа усталился в темный угол, но бабушка не сказала больше ни слова.

— Так-так-так, — изрек папа за завтраком и оглядел тарелку с яйцами теплым отеческим взором. — Так-так-так, что бы вы думали? Вчера вечером они шептались на крыльце дольше обычного. Как там его? Айзек? Ну да. В общем, если я хоть что-то смыслю в этих делах, то вчера вечером он сделал Марианне предложение. Да, именно так, наверняка!

— Свадьба весной. Было бы неплохо, — сказала мама. — Но так скоро...

— Ничего не скоро, — рассуждал папа с набитым ртом. — Марианна просто из тех, кто выскакивает замуж смолоду. Кто мы такие, чтобы ей препятствовать?

— Вот здесь я с тобой согласна, — признала мама. — Свадьба — это прекрасно. Весенние букеты и Марианна в том платье, которое я на прошлой неделе приглядела в «Хейдекерз», — как мило.

Все беспокойно оглядывались на лестницу, ожидая, когда выйдет Марианна.

— Прошу прощения, — прошелестела бабушка, отрываясь от своего тоста, — но я бы на вашем месте не торопилась сплавить Марианну.

— Это почему еще?

— Потому что.

— Потому что — что?

— Не хочу рушить ваши мечты, — едко захихикала бабушка, покачивая головой. — но пока вы тут готовились выдать Марианну замуж, я внимательно следила за ней. Семь дней я наблюдала за тем молодым человеком,

который приезжает и сигналил ей. И знаете что? Он либо актер, либо мастер переодеваний.

— Чего? — удивился отец.

— Ага, — сказала бабушка. — В первый день он был блондин, на следующий день — высокий и темноволосый, в среду — с бурыми усами, в четверг — длинноволосый и рыжий, а в пятницу — невысокий парень, и вместо «Форда» у него «Шевроле» без верха.

Мама и папа с минуту сидели потрясенные, словно у них над ухом ударили в литавры.

Вдруг папа, багровея от гнева, заорал:

— Ты что это хочешь сказать?! То есть, ты все это время сидела тут, видела всех этих мужчин и ничего...

— А вы все время прятались, — огрызнулась бабушка. — Лишь бы ничего не испортить! Если бы вы хоть раз высунули нос, то увидели бы то же, что и я. Да, я ничего не сказала. Она утихомирится. Это возраст такой, все женщины через него проходят. Тяжело — да, однако, как правило, все выживают. А ежедневно новый ухажер изумительно поднимает самооценку юной девушке.

— Т-т-т-ты!..

Папа аж поперхнулся, глаза у него расширились, воротник вдруг стал жать. Тяжело дыша, он откинулся на спинку стула. Мама так и сидела, будто оглушенная.

— Всем доброе утро!

Марианна легко сбежала по лестнице и запрыгнула на стул. Папа уставился на нее, затем ткнул пальцем в сторону бабушки:

— Т-т-т-ты!..

«Я выбегу на улицу и буду кричать «Пожар!», пока не переполошу всех соседей, — метались мысли у него в голове, — разобью стекло на пожарной сигнализации, дерну рычаг и вызову пожарных со шлангами. А может, еще ударит метель, тогда я выставлю Марианну на улицу, пусть охладится».



Ни одну из этих угроз он не исполнил. Поскольку температура в комнате, если верить настенному календарю, была выше нормы, все вышли на прохладное крыльцо, а Марианна так и осталась сидеть, уставясь на стакан апельсинового сока.

---

### ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ

---

Ну конечно, он уезжает, ничего не поделаешь — настал срок, время истекло, и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены, волосы приглажены, старательно вымыты уши и шея, осталось лишь спуститься по лестнице, выйти на улицу и добраться до маленькой железнодорожной станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок Фокс-Хилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в Айову или в Канзас, а быть может, даже в Калифорнию — двенадцатилетний мальчик, а в чемодане у него лежит свидетельство о рождении, и там сказано, что родился он сорок три года назад.

— Уилли! — окликнули снизу.

— Сейчас!

Он подхватил чемодан: В зеркале на комодe он увидел свое отражение: золотое июньских одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая белизна полуденного молока. Ангельски невинное, ясное лицо — такое же, как всегда, и, возможно, навсегда таким и останется.

— Пора! — снова окликнул женский голос.

— Иду!

Кряхтя и улыбаясь, он потащил чемодан вниз. В гостиной ждали Анна и Стив, принаряженные, подтянутые.

— Вот и я! — крикнул с порога Уилли.

У Анны стало такое лицо — вот-вот заплачет.

— О господи, Уилли, неужели ты и вправду от нас уедешь?

— Люди уже начинают удивляться, — негромко сказал Уилли. — Я целых три года здесь прожил. Но когда начинаются толки, я уж знаю — пора собираться в дорогу.

— Странно все это, — сказала Анна. — Не пойму я никак. Нежданно-негаданно. Мы будем скучать по тебе, Уилли.

— Я буду вам писать каждое Рождество, честное слово. А вы не пишете, не надо.

— Мы были рады и счастливы. — Стив выпрямился на стуле, слова давались ему с трудом. — Такая обида, что всему этому конец. Такая обида, что тебе пришлось нам все про себя рассказать. До смерти обидно, что нельзя тебе остаться.

— Вы славные люди, лучше всех, у кого я жил, — сказал Уилли.

Он был четырех футов ростом, солнечный свет лежал на его щеках, никогда не знавших бритвы.

И тут Анна все-таки заплакала:

— Уилли, Уилли...

Она согнулась в своем кресле, видно было, что она хотела бы его обнять, но больше не смеет; она смотрела, смущенная, растерянная, не зная, как теперь быть, как себя с ним держать.

— Не так-то легко уходить, — сказал Уилли. — Привыкаешь. И рад бы остаться. Но ничего не получается. Один раз я попробовал остаться, когда люди уже стали подозревать неладное. Стали говорить: мол, какой ужас! Мол, сколько лет он играл с нашими невинными детьми, а мы и не догадывались! Мол, подумать страшно! Ну и пришлось мне ночью уйти из города. Не так-то это легко. Сами знаете, я вас обоих всей душой полюбил. Отличные это были три года, спасибо вам!

Все трое направились к двери.

— Куда ты теперь, Уилли?

— Сам не знаю. Куда глаза глядят. Как увижу тихий зеленый городок, там и останавливаюсь.

— Ты когда-нибудь вернешься?

— Да, — сказал он серьезно своим высоким мальчишеским голосом. — Лет через двадцать по мне уже станет видно, что я не мальчик. Тогда поеду и навещу всех своих отцов и матерей.

Они стояли на крыльце, овеваемые прохладой летнего утра, очень не хотелось выговорить вслух последние слова прощанья. Стив упорно глядел на листву соседнего вяза.

— А у многих ты еще жил, Уилли? Сколько у тебя было приемных отцов и матерей?

Вопрос как будто не рассердил и не обидел Уилли.

— Да я уже пять раз переменял родителей — лет двадцать так путешествую, побывал в пяти городах.

— Ладно, жаловаться нам не на что, — сказал Стив. — Хоть три года был сын, все лучше, чем ничего.

— Ну что ж, — сказал Уилли, быстро поцеловал Анну, подхватил чемодан и вышел на улицу, под деревья, под зеленые от листвы солнечные лучи, и пошел быстро, не оглядываясь, — самый настоящий мальчишка.

Когда он проходил мимо парка, там на зеленой лужайке ребята играли в бейсбол. Он остановился в тени под дубами и стал смотреть, как белый-белый мячик высоко взлетает в солнечных лучах, а тень его темной птицей пронесится по траве, и ребята ловят его в подставленные чашкой ладони — и так важно, так необходимо поймать, не упустить этот стремительный кусочек лета. Они оралы во все горло. Мяч упал в траву рядом с Уилли.

Он вышел с мячом из-под деревьев, вспоминая последние три года, уже истраченные без остатка, и пять лет, что были перед ними, и те, что были еще раньше, и так до той поры, когда ему и вправду было одиннад-

цать, двенадцать, четырнадцать, и в ушах зазвучали голоса:

— Что-то неладно с вашим Уилли, хозяйка?

— Миссис, а что это ваш Уилли в последнее время не растет?

— Уилли, ты уже куришь?

Эхо голосов замерло в ярком сиянии летнего дня. И потом голос матери:

— Сегодня Уилли исполняется двадцать один!

И тысяча голосов:

— Приходи, когда исполнится пятнадцать, сынок, тогда, может, и найдется для тебя работа.

Неподвижным взглядом он уставился на бейсбольный мяч в дрожащей руке, словно это был не мяч, а вся его жизнь — бесконечная лента лет скручена, свернута в тугой комок, но опять и опять все возвращается к одному и тому же, к дню, когда ему исполнилось двенадцать. Он услышал шаги по траве; ребята идут к нему, вот они стали вокруг и заслонили солнце, они выросли.

— Уилли, ты куда собрался?

Кто-то пнул ногой его чемодан.

Как они вытянулись! В последние месяцы, кажется, солнце повело рукой у них над головами, поманило — и они тянутся к нему вверх, точно жаркий, наполовину расплавленный металл, точно золотая тянучка, покорная властному притяжению небес, они растут и растут, им по тринадцать, по четырнадцать, они смотрят на Уилли сверху вниз, они улыбаются ему, но уже чуть высокомерно. Это началось месяца четыре назад.

— Пошли играть, мы против вас! А кто возьмет к себе в команду Уилли?

— Ну-у, Уилли уж очень мал, мы с малышами не играем.

И они обгоняют его, их притягивают солнце и луна и смена времен года, весенний ветер и молодая листва, а ему по-прежнему двенадцать, он им больше не компа-

ния. И новые голоса подхватывают старый, страшно знакомый, леденящий душу припев:

— Надо давать мальчику побольше витаминов, Стив.

— У вас в роду все такие коротышки, Анна?

И снова холодная рука стискивает сердце, и уже знаешь, что после стольких славных лет среди «своих» снова надо вырвать все корни.

— Уилли, ты куда собрался?

Он тряхнул головой. Опять он среди мальчишек, они топчутся вокруг, заслоняют солнце, наклоняются к нему, точно великаны к фонтанчику для питья.

— Еду на неделю погостить к родным.

— А-а.

Год назад они были бы не так равнодушны. А сейчас только с любопытством поглядели на чемодан да, может, чуть позавидовали — вот, мол, поедет поездом, увидит какие-то новые места...

— Покидаемся немножко? — предложил Уилли.

Они согласились без особой охоты, просто чтобы уважить отъезжающего. Он поставил чемодан и побежал; белый мячик взлетел к солнцу, устремился к ослепительно-белым фигурам в дальнем конце луга, снова ввысь и опять вдаль, жизнь приходила и уходила, ткался незримый узор. Вперед-назад! Мистер Роберт Хенлон и миссис Хенлон, Крик-Бенд, штат Висконсин, 1932 год, его первые приемные родители, первый год! Вперед-назад! Генри и Элис Болц, Лаймвилл, штат Айова, 1935 год! Летит бейсбольный мяч. Смиты, Итоны, Робинсоны! 1939-й! 1945-й! Бездетная чета — одна, другая, третья! Стучись в дверь — в одну, в другую.

— Извините, пожалуйста. Меня зовут Уильям. Можно мне...

— Хочешь хлеба с маслом? Входи, садись. Ты откуда, сынок?

Хлеб с маслом, стакан холодного молока, улыбки, кивки, мирная, неторопливая беседа.

— Похоже, ты издалека, сынок. Может, ты откуда-нибудь сбежал?

— Нет.

— Так ты сирота, мальчик?..

И другой стакан молока.

— Нам всегда так хотелось детей. И никогда не было. Кто его знает почему. Бывает же так. Что поделаешь. Время уже позднее, сынок. Не пора ли тебе домой?

— Нету у меня дома.

— У такого мальчонки? Да ты ж совсем еще малыш. Мама будет беспокоиться.

— Нету у меня никакого дома, и родных на свете никого. Может быть... можно... можно, я у вас сегодня переночую?

— Видишь ли, сынок, я уж и не знаю, — говорит муж. — Мы никогда не думали взять в дом...

— У нас нынче на ужин цыпленок, — перебивает жена. — Хватит на всех, хватит и на гостя.

И летят, сменяются годы, голоса, лица, люди, и всегда сначала одни и те же разговоры. Летний вечер — последний вечер, что он провел у Эмили Робинсон, вечер, когда она открыла его секрет; она сидит в качалке, он слышит ее голос:

— Сколько я на своем веку детишек перевидала. Смотрю на них иной раз и думаю — такая жалость, такая обида, что все эти цветы будут срезаны, что всем этим огонькам суждено угаснуть. Такая жалость, что этого не миновать, — вот они бегают мимо, ходят в школу, а потом вырастут, станут долговязые, безобразные, в морщинах, поседеют, полысеют, а под конец и вовсе останутся кожа да кости да одышка, и все они умрут и лягут в могилу. Вот я слышу, как они смеются, и просто не верится, неужели и они пойдут той же дорогой, что и я. А ведь не миновать! До сих пор помню стихи Вордсворта: «Я вдруг увидел хо-

ровод нарциссов нежно-золотых, меж них резвился ветерок в тени дерев, у синих вод». Вот такими мне кажутся дети, хоть они иной раз бывают жестоки, хоть я знаю, они могут быть и дурными, и злыми, но злобы еще нет у них в лице, в глазах, и усталости тоже нет. В них столько пылкости, жадного интереса ко всему! Наверно, этого мне больше всего недостает во взрослых людях — девятую из десяти уже ко всему охладели, стали равнодушными, ни свежести, ни огня, ни жизни в них не осталось. Каждый день я смотрю, как детвора выбегает из школы после уроков. Будто кто бросает из дверей целые охапки цветов. Что это за чувство, Уилли? Каково это — чувствовать себя вечно юным? Всегда оставаться новеньким, свеженьким, как серебряная монетка последней чеканки? Ты счастлив? Легко у тебя на душе — или ты только с виду такой?

Мяч со свистом прорезал воздух, точно большой белесый шершень ожег ладонь. Морщась от боли, он погладил ее другой рукой, а память знай твердила свое:

— Я изворачивался как мог. Когда все родные умерли и оказалось, что на работу меня никуда не берут, я пробовал наняться в цирк, но и тут меня подняли на смех. «Сынок, — говорили мне, — ты же не лилипут, а если и лилипут, все равно с виду ты просто мальчишка. Уж если нам брать карлика, так пускай он и лицом будет настоящий карлик. Нет уж, сынок, не взыщи». И я пустился бродить по свету и все думал: кто я такой? Мальчишка. И с виду мальчишка, и говорю как мальчишка, так лучше мне и оставаться мальчишкой. Воюй не воюй, плачь не плачь, что толку! Так куда же мне податься? Какую найти работу? А потом однажды в ресторане я увидел, как один человек показывал другому карточки своих детей. А тот все повторял: «Эх, нету у меня детей... вот были бы у меня детишки...» И все качал головой. А я как сидел неподалеку с куском мяса на вилке,

так и застыл! В ту минуту я понял, чем буду заниматься до конца своих дней. Все-таки нашлась и для меня работа. Приносить одиноким людям радость. Не знать ни отдыха, ни срока. Вечно играть. Я понял, мне придется вечно играть. Ну разнесу когда-нибудь газеты, побегая на посылках, может, газоны косилкой подстригу. Но настоящей тяжелой работы мне не видать. Все мое дело — чтобы мать на меня радовалась да отец мною гордился. И я повернулся к тому человеку за стойкой, неподалеку от меня. «Прошу прощения», — сказал я. И улыбнулся ему...

— Но послушай, Уилли, — сказала тогда, много лет назад, миссис Эмили. — Наверно, тебе иногда бывает тоскливо? И наверно, хочется... разного... что нужно взрослому человеку?

— Я молчу и стараюсь это побороть, — сказал Уилли. — Я только мальчишка, говорю я себе, и я должен жить с мальчишками, читать те же книги, играть в те же игры, все остальное отрезано раз и навсегда. Я не могу быть сразу и взрослым, и ребенком. Надо быть мальчишкой, и только. И я играю свою роль. Да, приходилось трудно. Иной раз, бывало...

Он умолк.

— Люди, у которых ты жил, ничего не знали?

— Нет. Сказать им — значило бы все испортить. Я говорил им, что сбежал из дому, пускай проверяют, запрашивают полицию. Когда выяснялось, что меня не разыскивают и ничего худого за мной нет, соглашался — пускай меня усыновят. Так было лучше всего... пока никто ни о чем не догадывался. Но проходило года три, ну пять лет, и люди догадывались, или в город приезжал кто-нибудь, кто видел меня раньше, или кто-нибудь из цирка меня узнавал — и кончено. Рано или поздно всему приходил конец.

— И ты счастлив, тебе хорошо? Приятно это — сорок лет с лишком оставаться ребенком?



— Говорят, каждый должен зарабатывать свой хлеб. А когда делаешь других счастливыми, и сам становишься почти счастливым. Это моя работа, и я делаю свое дело. А потом... еще несколько лет, и я состарюсь. Тогда и жар молодости, и тоска по недостижимому, и несбыточные мечты — все останется позади. Может быть, тогда мне станет полегче и я спокойно доиграю свою роль.

Он встряхнулся, отгоняя эти мысли, в последний раз кинул мяч. И побежал к своему чемодану. Том, Билл, Джейми, Боб, Сэм — он со всеми простился, всем пожал руки. Они немного смутились.

— В конце концов, ты же не на край света уезжаешь, Уилли.

— Да, это верно... — Он все не трогался с места.

— Ну пока, Уилли! Через неделю увидимся!

— Пока, до свиданья!

И опять он идет прочь со своим чемоданом и смотрит на деревья, позади остались ребята и улица, где он жил, а когда он повернул за угол, издали донесся паровозный гудок, и он пустился бегом.

И вот последнее, что он увидел и услышал: белый мяч опять и опять взлетал в небо над остроконечной крышей, взад-вперед, взад-вперед, и звенели голоса: «Раз-два — голова, три-четыре — отрубили!» — будто птицы кричали прощально, улетаая далеко на юг.

Раннее утро, солнце еще не взошло, пахнет туманом, предрассветным холодом, и еще пахнет холодным железом — неприветливый запах поезда, все тело ноет от тряски, от долгой ночи в вагоне... Он проснулся и взглянул в окно на едва просыпающийся городок. Зажигались огни, слышались негромкие, приглушенные голоса, в холодном сумраке взад-вперед, взад-вперед качался, взмахивал красный сигнальный фонарь. Стояла сонная тишина, в которой все звуки и отзвуки словно облагорожены,

на редкость ясны и отчетливы. По вагону прошел проводник, точно тень в темном коридоре.

— Сэр, — тихонько позвал Уилли.

Проводник остановился.

— Какой это город? — в темноте прошептал мальчик.

— Вэливилл.

— Много тут народу?

— Десять тысяч жителей. А что? Разве это твоя остановка?

— Как тут зелено... — Уилли долгим взглядом посмотрел в окно на окутанный предутренней прохладой город. — Как тут славно и тихо, — сказал он.

— Сынок, — сказал ему проводник, — ты знаешь, куда едешь?

— Сюда, — сказал Уилли и неслышно поднялся и в предутренней прохладной тишине, где пахло железом, в темном вагоне стал быстро, деловито собирать свои пожитки.

— Смотри, паренек, не наделай глупостей, — сказал проводник.

— Нет, сэр, — сказал Уилли, — я глупостей не наделаю.

Он прошел по темному коридору, проводник вынес за ним чемодан, и вот он стоит на платформе, а вокруг светает, и редет туман, и встает прохладное утро.

Он стоял и смотрел снизу вверх на проводника, на черный железный поезд, над которым еще светились последние редкие звезды. Громко, навзрыд закричал паровоз, криками отозвались вдоль всего поезда проводники, дрогнули вагоны, и знакомый проводник помахал рукой и улыбнулся мальчику на платформе, маленькому мальчику с большим чемоданом, а мальчик что-то крикнул, но снова взревел паровоз и заглушил его голос.

— Чего? — закричал проводник и приставил ладонь к уху.

— Пожелайте мне удачи! — крикнул Уилли.

— Желаю удачи, сынок! — крикнул проводник, и улыбнулся, и помахал рукой. — Счастливого, мальчик!

— Спасибо, — сказал Уилли под грохот и гром, под свист пара и перестук колес.

Он смотрел вслед черному поезду, пока тот не скрылся из виду. Все это время он стоял не шевелясь. Стоял совсем тихо долгие три минуты — двенадцатилетний мальчик на старой деревянной платформе — и только потом наконец обернулся, и ему открылись по-утреннему пустынные улицы.

Вставало солнце, и, чтоб согреться, он пошел быстрым шагом и вступил в новый город.

---

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ СОЛНЦА

— Юг, — сказал командир корабля.

— Но, — возразила команда, — здесь, в космосе, нет никаких стран света!

— Когда летишь навстречу Солнцу, — ответил командир, — и все становится жарким, желтым, полным истомы, есть только один курс. — Он закрыл глаза, представляя себе далекий пылающий остров в космосе, и мягко выдохнул: — Юг.

Медленно кивнул и повторил:

— Юг.

Ракета называлась «Копа де Оро», но у нее было еще два имени: «Прометей» и «Икар». Она в самом деле летела к ослепительному полуденному Солнцу. С каким воодушевлением грузили они в отсеки две тысячи бутылок кисловатого лимонада и тысячу бутылок пива с блестящими пробками, собираясь в путь туда, где ожидала эта исполинская Сахара!

Сейчас, летя навстречу кипящему шару, они вспоминали стихи и цитаты.

— «Золотые яблоки Солнца»?

— Йетс!

— «Не бойся солнечного жара»?

— Шекспир, конечно!

— «Чаша золота»? Стейнбек. «Кувшин золота»? Стефенс. А помните — горшок золота у подножия радуги?! Черт возьми, вот название для нашей орбиты: «Радуга»!

— Температура?..

— Четыреста градусов Цельсия!

Командир смотрел в черный провал большого круглого окна. Вот оно, Солнце! Одна сокровенная мысль всецело владела умом командира: долететь, коснуться Солнца и навсегда унести частицу его тела.

Космический корабль воплощал строгую изысканность и хладный, скупой расчет. В переходах, покрытых льдом и молочно-белым инеем, царил аммиачный мороз, бушевали снежные вихри. Малейшая искра из могучего очага, пылающего в космосе, малейшее дыхание огня, способное просочиться сквозь жесткий корпус, встретили бы концентрированную зиму, точно здесь притаились все самые лютые февральские морозы.

В арктической тишине прозвучал голос аудиотермометра:

— Температура восемьсот градусов!

«Падаем, — подумал командир, — падаем, подобно снежинке, в жаркое лоно июня, знойного июля, в душевное пекло августа...»

— Тысяча двести градусов Цельсия.

Под снегом стонали моторы; охлаждающие жидкости со скоростью пятнадцать тысяч километров в час струились по белым змеям трубопроводов.

— Тысяча шестьсот градусов Цельсия.

Полдень. Лето. Июль.

— Две тысячи градусов!

И вот командир корабля спокойно (за этим спокойствием — миллионы километров пути) сказал долгожданное:

— Сейчас коснемся Солнца.

Глаза членов команды сверкнули, как расплавленное золото.

— Две тысячи восемьсот градусов!

Странно, что неживой металлический голос механического термометра может звучать так взволнованно!

— Который час? — спросил кто-то, и все невольно улыбнулись.

Ибо здесь существовало лишь Солнце и еще раз Солнце. Солнце было горизонтом и всеми странами света. Оно сжигало минуты и секунды, песочные часы и будильники; в нем сгорали время и вечность. Оно жгло веки и клеточную влагу в темном мире за веками, сетчатку и мозг; оно выжигало сон и сладостные воспоминания о сне и прохладных сумерках.

— Смотрите!

— Командир!

Бреттон, первый штурман, рухнул на ледяной пол. Защитный костюм свистел в поврежденном месте; белым цветком расцвело облачко замерзшего пара — тепло человека, его кислород, его жизнь.

— Живей!

Пластмассовое окошко в шлеме Бреттона уже затянулось изнутри бельмом хрупких молочных кристаллов. Товарищи нагнулись над телом.

— Брак в скафандре, командир. Он мертв.

— Замерз.

Они перевели взгляд на термометр, который показывал течение зимы в заснеженных отсеках. Четыреста градусов ниже нуля. Командир смотрел на замороженную статую; по ней стремительно разбегались искрящиеся кристаллики льда. «Какая злая ирония судьбы, — думал он, — человек спасается от огня и гибнет от мороза...»

Он отвернулся.

— Некогда. Времени нет. Пусть лежит. — Как тяжело поворачивается язык... — Температура?

Стрелки подскочили еще на тысячу шестьсот градусов.

— Смотрите! Командир, смотрите!

Летящая сосулька начала таять.

Командир рывком поднял голову и посмотрел на потолок. И сразу, будто осветился киноэкран, в его сознании отчетливо возникла картина, воспоминание далекого детства.

...Ранняя весна, утро. Мальчишка, вдыхая запах снега, высунулся в окно посмотреть, как искрится на солнце последняя сосулька. С прозрачной хрустальной иглолочки капает, точно белое вино, прохладная, но с каждой минутой все более жаркая кровь апреля. Оружие декабря, что ни миг, становится все менее грозным. И вот уже сосулька падает на гравий. Дзинь! — будто пробили куранты...

— Вспомогательный насос сломался, командир. Охлаждение... Лед тает!

Сверху хлынул теплый дождь. Командир корабля дернул головой влево, вправо.

— Где неисправность? Да не стойте так, черт возьми, не мешкайте!

Люди забегали. Командир, зло ругаясь, нагнулся под дождем; его руки шарили по холодным механизмам, искали, щупали, а перед глазами стояло будущее, от которого их, казалось, отделял один лишь короткий вздох. Он видел, как шелушится покров корабля, видел, как люди, лишенные защиты, бегают; мечутся с распахнутыми в немом крике ртами. Космос — черный замшелый колодец, в котором жизнь топит свои крики и страх... Ори сколько хочешь, космос задушит крик, не дав ему родиться. Люди суетятся, словно муравьи в горячей коробочке, корабль превратился в кипящую лаву... вихри пара... ничто!

— Командир?!

Кошмар развеялся.

— Здесь.

Он работал под ласковым теплым дождем, струившимся из верхнего отсека. Он возился с насосом.

— А, черт!

Командир дернул кабель. Смерть, которая ждет их, будет самой быстрой в истории смертей. Пронзительный вопль... жаркая молния... и лишь миллиарды тонн космического огня шуршат, не слышимые никем, в безбрежном пространстве. Словно горсть земляники, брошенной в топку, — только мысли на миг замрут в раскаленном воздухе, пережив тела, превращенные в уголь и светящийся газ.

— Ч-черт!

Он ударил по насосу отверткой.

— Господи!..

Командир содрогнулся. Полное уничтожение... Он зажмурил глаза, стиснул зубы. «Черт возьми, — думал он, — мы привыкли умирать не так стремительно — минутами, а то и часами. Даже двадцать секунд — медленная смерть по сравнению с тем, что готовит нам это голодное чудовище, которому не терпится нас сожрать!»

— Командир, сворачивать или продолжать?

— Приготовьте чашу. Теперь — сюда, заканчивайте. Живей!

Он повернулся к манипулятору огромной чаши, сунул руки в перчатки дистанционного управления. Одно движение кисти — и из недр корабля вытянулась исполинская рука с гигантскими пальцами. Ближе, ближе... металлическая рука погрузила «Золотую чашу» в пылающую топку, в бестелесное тело, в бесплотную плоть Солнца.

«Миллион лет назад, — быстро подумал командир, направляя чашу, — обнаженный человек на пустынной северной тропе увидел, как в дерево ударила молния. Его

племя бежало в ужасе, а он голыми руками схватил, обжигаясь, головню и, защищая ее телом от дождя, торжественно ринулся к своей пещере, где, пронзительно рассмеявшись, швырнул головню в кучу сухих листьев и даровал своим соплеменникам лето. И люди, дрожа, подползли к огню, протянули к нему трепещущие руки и ощутили, как в пещеру вошло новое время года. Его привело беспокойное желтое пятно, повелитель погоды. И они несмело заулыбались... Так огонь стал достоянием людей».

— Командир!

Четыре секунды понадобилось исполинской руке, чтобы погрузить чашу в огонь.

«И вот сегодня мы снова на тропе, — думал командир, — тянем руку с чашей за драгоценным газом и вакуумом, за горстью пламени иного рода, чтобы с ним, освещая себе путь, мчаться через холодный космос обратно и доставить на Землю дар немеркнущего огня. Зачем?»

Он знал ответ еще до того, как задал себе вопрос.

«Затем, что атомы, которые мы подчинили себе на Земле, слабосильны; атомная бомба немощна и мала; лишь Солнце ведает то, что мы хотим знать, оно одно владеет секретом. К тому же это увлекательно, это здорово: прилететь, осилить — и стремглав обратно! В сущности, все дело в гордости и тщеславии людей-козявок, которые дерзают дернуть льва за хвост и ускользнуть от его зубов. Черт подери, скажем мы потом, а ведь справились! Вот она, чаша с энергией, пламенем, импульсами — назовите как хотите, — которая даст ток нашим городам, приведет в движение наши суда, осветит наши библиотеки, позолотит кожу наших детей, испечет наш хлеб насущный и поможет нам усвоить знание о нашей Вселенной. Пейте из этой чаши, добрые люди, ученые и мыслители! Пусть сей огонь согреет вас, прогонит мрак неведения и долгую зиму суеверий, леденя-



ший ветер недоверия и преследующий человека великий страх темноты. Итак, мы протягиваем руку за даянием...»

— О!

Чаша погрузилась в Солнце. Она зачерпнула частицу божественной плоти, каплю крови Вселенной, пламенной мысли, ослепительной мудрости, которая разметила и проложила Млечный Путь, пустила планеты по их орбитам, определила их ход и создала жизнь во всем ее многообразии.

— Теперь осторожно, — прошептал командир.

— Что будет, когда мы подтянем чашу обратно? И без того такая температура, а тут..

— Бог ведает, — ответил командир.

— Насос в порядке, командир!

— Включайте!

Насос заработал.

— Закрывать чашу крышкой!.. Теперь подтянем — медленно, еще медленнее...

Прекрасная рука за стеной дрогнула, повторив в исполнинском масштабе жест командира, и бесшумно скользнула на свое место. Плотная закрытая чаша, рассыпая желтые цветы и белые звезды, исчезла в чреве корабля. Аудиотермометр выходил из себя. Система охлаждения билась в лихорадке, жидкий аммиак пульсировал в трубах, словно кровь в висках орущего безумца.

Командир закрыл наружный люк:

— Готово.

Все замерли в ожидании. Гулко стучал пульс корабля, его сердце отчаянно колотилось. Чаша с золотом — на борту! Холодная кровь металась по жестким жилам: вверх-вниз, вправо-влево, вверх-вниз, вправо-влево...

Командир медленно вздохнул.

Капель с потолка прекратилась. Лед перестал таять.

— Теперь — обратно.

Корабль сделал полный поворот и устремился прочь.

— Слушайте!

Сердце корабля билось тише, тише... Стрелки приборов побежали вниз, убавляя счет сотен. Термометр вешал о смене времен года. И все думали одно: «Лети, лети прочь от пламени, от огня, от жара и кипения, от желтого и белого. Лети навстречу холоду и мраку». Через двадцать часов, пожалуй, можно будет отключить часть холодильников и изгнать зиму. Скоро они окажутся в такой холодной ночи, что придется, возможно, воспользоваться новой топкой корабля, заимствовать тепло у надежно укрытого пламени, которое они несут с собой, словно неродившееся дитя.

Они летели домой.

Они летели домой, и командир, нагибаясь над телом Бреттона, лежавшим в белом сугробе, успел вспомнить стихотворение, которое написал много лет назад:

Порой мне Солнце кажется горящим деревом...  
Его плоды золотые реют в жарком воздухе,  
Как яблоки, пронизанные соком тяготенья,  
Источенные родом человеческим.  
И взор людей исполнен преклоненья —  
Им Солнце кажется неопалимым деревом.

Долго командир сидел возле погибшего, и разные чувства жили в его душе. «Мне грустно, — думал он, — и я счастлив, и я чувствую себя мальчишкой, который идет домой из школы с пучком золотистых одуванчиков».

— Так, — вздохнул командир, сидя с закрытыми глазами, — так, куда же мы летим теперь, куда?

Он знал, что все его люди тут, рядом, что страх прошел и они дышат ровно, спокойно.

После долгого-долгого путешествия к Солнцу, когда ты коснулся его, подразнил и ринулся прочь, — куда лежит твой путь? Когда ты расстался со зноем, полуденным светом и сладкой негой, — каков твой курс?

Экипаж ждал, когда командир скажет сам. Они ждали, когда он мысленно соберет воедино всю прохладу

и белизну, свежесть и бодрящий воздух, заключенный в заветном слове; и они увидели, как слово рождается у него во рту и перекатывается на языке, будто кусочек мороженого.

— Теперь для нас в космосе есть только один курс, — сказал он.

Они ждали. Ждали, а корабль стремительно уходил от света в холодный мрак.

— Север, — буркнул командир. — Север.

И все улыбнулись, точно в знойный день вдруг подул освежающий ветер.

## СОДЕРЖАНИЕ

КАНУН ВСЕХ СВЯТЫХ. Роман.

*Перевод М. Ковалевой* ..... 5

ОКТЯБРЬСКАЯ СТРАНА.

Сборник

ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ УМЕРЕТЬ

ПРЕЖДЕ МОИХ ГОЛОСОВ. *Перевод Н. Аллуан* ..... 119

КАРЛИК. *Перевод С. Трофимова* ..... 124

СЛЕДУЮЩИЙ. *Перевод М. Воронежской* ..... 141

ПРИСТАЛЬНАЯ ПОКЕРНАЯ ФИШКА

РАБОТЫ А. МАТИССА. *Перевод М. Пчелинцева* ..... 187

СКЕЛЕТ. *Перевод М. Пчелинцева* ..... 200

БАНКА. *Перевод М. Пчелинцева* ..... 225

ОЗЕРО. *Перевод Т. Ждановой* ..... 245

ГОНЕЦ. *Перевод М. Молчанова* ..... 252

ПРИКОСНОВЕНИЕ ПЛАМЕНИ. *Перевод А. Оганяна* ..... 261

КРОШКА-УБИЙЦА. *Перевод Т. Ждановой* ..... 276

ТОЛПА. *Перевод М. Молчанова* ..... 298

ПОПРЫГУНЧИК. *Перевод М. Воронежской* ..... 309

КОСА. *Перевод Л. Бриловой, С. Сухарева* ..... 332

ДЯДЮШКА ЭЙНАР. *Перевод Л. Жданова* ..... 350

ВЕТЕР. <i>Перевод Л. Жданова</i> .....	360
ПОСТОЯЛЕЦ СО ВТОРОГО ЭТАЖА. <i>Перевод Т. Ждановой</i> .....	372
ЖИЛА-БЫЛА СТАРУШКА. <i>Перевод Р. Облонской</i> .....	387
ВОДОСТОК. <i>Перевод С. Анисимова</i> .....	405
ДЕНЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ. <i>Перевод А. Левкина</i> .....	415
УДИВИТЕЛЬНАЯ КОНЧИНА ДАДЛИ СТОУНА. <i>Перевод Р. Облонской</i> .....	431

### ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ СОЛНЦА.

#### Сборник

РЕВУН. <i>Перевод Л. Жданова</i> .....	449
ПЕШЕХОД. <i>Перевод Норы Галь</i> .....	458
АПРЕЛЬСКОЕ КОЛДОВСТВО. <i>Перевод Л. Жданова</i> .....	463
ПУСТЫНЯ. <i>Перевод Норы Галь</i> .....	476
ФРУКТЫ НА САМОМ ДНЕ ВАЗЫ. <i>Перевод М. Молчанова</i> ..	487
МАЛЬЧИК-НЕВИДИМКА. <i>Перевод Л. Жданова</i> .....	500
ЧЕЛОВЕК В НЕБЕ. <i>Перевод М. Молчанова</i> .....	513
УБИЙЦА. <i>Перевод Норы Галь</i> .....	518
ЗОЛОТОЙ ЗМЕЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕТЕР. <i>Перевод В. Серебрякова</i> .....	528
Я НИКОГДА ВАС НЕ УВИЖУ. <i>Перевод Л. Жданова</i> .....	534
ВЫШИВАНИЕ. <i>Перевод Л. Жданова</i> .....	538
БОЛЬШАЯ ИГРА МЕЖДУ ЧЕРНЫМИ И БЕЛЫМИ. <i>Перевод С. Трофимова</i> .....	543
И ГРЯНУЛ ГРОМ. <i>Перевод Л. Жданова</i> .....	558
ОГРОМНЫЙ-ОГРОМНЫЙ МИР ГДЕ-ТО ТАМ. <i>Перевод О. Васант</i> .....	574

---

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ. <i>Перевод А. Оганяна</i> .....	590
EN LA NOCHE. <i>Перевод В. Серебрякова</i> .....	602
СОЛНЦЕ И ТЕНЬ. <i>Перевод Л. Жданова</i> .....	607
ЛУГ. <i>Перевод Л. Жданова</i> .....	617
МУСОРЩИК. <i>Перевод Л. Жданова</i> .....	635
ВСПЫХНУЛО ПЛАМЯ. <i>Перевод М. Молчанова</i> .....	640
ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ. <i>Перевод Норы Галь</i> .....	649
ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ СОЛНЦА. <i>Перевод Л. Жданова</i> .....	659

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ

**Рэй Брэдбери**

**ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ СОЛНЦА**

Ответственный редактор *Г. Батанов*  
Художественный редактор *А. Сауков*  
Технический редактор *М. Печковская*  
Компьютерная верстка *А. Щербакова*  
Корректоры *Т. Кузьменко, Ю. Иванова*

**ООО «Издательство «Э»**

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Өндіруші: «Э» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Тауар белгісі: «Э»

**Интернет-магазин** : [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

**Интернет-дүкен** : [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ - Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,  
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша

арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92.

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта Өндіруші «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 11.04.2018.

Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Ньютон».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 35,28.

Доп. тираж 2000 экз. Заказ №3680

Отпечатано с готовых файлов заказчика

в АО «Первая Образцовая типография»,

филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**ЛитРес:**  
один клик до книг



**Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:**  
142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,  
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

**По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными оптовыми  
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж  
International Sales: International wholesale customers should contact  
Foreign Sales Department for their orders.**

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,  
в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.:**  
+7(495) 411-68-59, доб. 2261.

**Оптовая торговля бумажно-беловыми  
и канцелярскими товарами для школы и офиса:**  
142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,  
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

*Полный ассортимент книг издательства для оптовых покупателей:*

**Москва.** Адрес: 142701, Московская область, Ленинский р-н,  
г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1. Телефон: +7 (495) 411-50-74.

**Нижегород.** Филиал в Нижнем Новгороде. Адрес: 603094,  
г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза».  
Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94).

**Санкт-Петербург.** ООО «СЗКО». Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны,  
д. 84, лит. «Е». Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. **E-mail:** server@szko.ru

**Екатеринбург.** Филиал в г. Екатеринбурге. Адрес: 620024,  
г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2ш. Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08).

**Самара.** Филиал в г. Самара. Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е».  
Телефон: +7(846)207-55-50. **E-mail:** RDC-samara@mail.ru

**Ростов-на-Дону.** Филиал в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 А. Телефон: +7(863) 303-62-10.  
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 В. Телефон: (863) 303-62-10. Режим работы: с 9-00 до 19-00.

**Новосибирск.** Филиал в г. Новосибирске. Адрес: 630015,  
г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3. Телефон: +7(383) 289-91-42.

**Хабаровск.** Филиал РДЦ Новосибирск в Хабаровске. Адрес: 680000, г. Хабаровск,  
пер. Дзержинского, д. 24, литера Б, офис 1. Телефон: +7(4212) 910-120.

**Тюмень.** Филиал в г. Тюмени. Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени.  
Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Алебашевская, д. 9А (ТЦ Перестройка+).  
Телефон: +7 (3452) 21-53-96/ 97/ 98.

**Краснодар.** Обособленное подразделение в г. Краснодаре  
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Краснодаре  
Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, лит. «Г». Телефон: (861) 234-43-01(02).

**Республика Беларусь.** Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Минске. Адрес: 220014,  
Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Жукова, д. 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto».

Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92. Режим работы: с 10-00 до 22-00.

**Казахстан.** РДЦ Алматы. Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровский, д. 3 «А».  
Телефон: +7 (727) 251-59-90 (91, 92). **Интернет-магазины:** www.book24.kz

**Украина.** ООО «Форс Украина». Адрес: 04073 г. Киев, ул. Вербова, д. 17а.  
Телефон: +38 (044) 290-99-44. **E-mail:** sales@forsukraine.com

**Полный ассортимент продукции Издательства «Э» можно приобрести в книжных**

**магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине [www.chитай-gorod.ru](http://www.chитай-gorod.ru).**

Телефон единой справочной службы 8 (800) 444 8 444. Звонок по России бесплатный.

**В Санкт-Петербурге:** в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.

Тел.: +7(812)601-0-601, [www.bookvoed.ru](http://www.bookvoed.ru)

**Розничная продажа книг с доставкой по всему миру. Тел.: +7 (495) 745-89-14.**

ISBN 978-5-699-92953-5



9 785699 929535 >







В  
Б

ОТНЫ  
ОСНОВАТЕЛИ

Весь  
**БРЭДБЕРИ**

ЗОЛОТЫЕ  
ЯБЛОКИ  
СОЛНЦА



ISBN 978-5-699-92953-5



9 785699 929535 >

